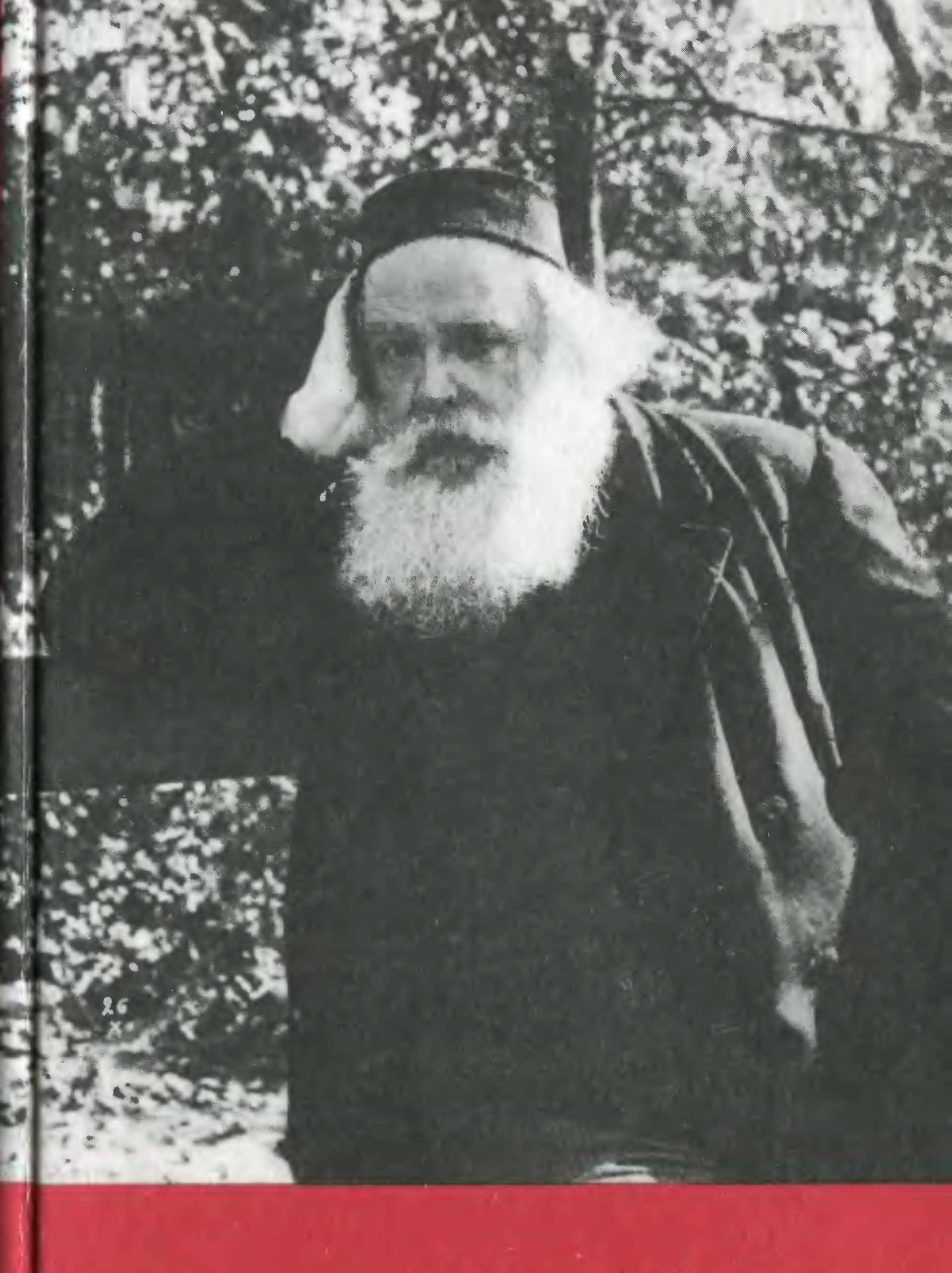


С.А.НИЛУС

Сергей Александрович НИЛУС

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ



Сергей Александрович НИЛУС

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

СИЛА БОЖИЯ И НЕМОЩЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

*Записки игумена Феодосия
и другие повести*



Составление и общая редакция
А. Н. СТРИЖЕВА

Полное собрание сочинений выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса (1862–1929) в шести томах включает все его произведения, как выходившие отдельными изданиями, так и те, что рассыпаны в периодике. В приложениях к томам собраны материалы, дополняющие излагаемое автором, и наиболее важные толкования текстов. Заключительный шестой том будет содержать публикации биографического характера, раскрывающие уникальный жизненный путь С. А. Нилуса, а также характеристики людей из его окружения. Завершит том подробная библиография произведений писателя и литературы о нем. Все книги этого издания снабжены редкими снимками. Подобного собрания сочинений С. А. Нилуса еще не предпринималось, и наше начинание закладывает основание для всестороннего освоения наследия талантливого представителя отечественной духовной литературы.

ISBN 5-87468-075-6

СИЛА БОЖИЯ И НЕМОЩЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Записки игумена Феодосия и другие повести

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Господи, благослови!

Выпуская в свет ряд очерков из жизни близких к нам по времени православных христиан, но таких — увы! — далеких по духу для большинства моих современников, я долгом своим почитаю прежде всего предварить моего боголюбивого читателя о том, что все написанное в них одна сущая правда, в которую лично я верю всем сердцем моим, всем умом, всем помышлением, и без этой веры моей, за которую готов постоять до последней минуты моей жизни, я не позволил бы себе требовать от читателя моего и внимания к малому труду моему, из страха грядущего Страшного Суда Господня, на котором каждый христианин, а в их числе и моя христианская немощь, должен неизбежно или оправдаться от слов своих, или осудиться; и от этого страшного осуждения да избавит меня Господь!

Непрестанно сокрушаясь о всеобщем, казалось мне, оскудении веры в христианском міре, сердцем своим с великой горечью и болью отзываясь на установившееся в последние дни мировой христианской жизни зло братоненавидения и человеконенавистничества, видя, как христианский мір заливается кровью войн и усобиц, с ужасом обращая свой испуганный взгляд на богоотступничество цвета русского общества, призванного стоять во главе умственного и нравственного развития истерзанной и окровавленной Родины, этой Богом поставленной хранительницы Православного духа, я, признаюсь, в законном ослеплении своем был уверен, что угас уже истинный дух Православия в России, оскудел Преподобный, не стало праведника и, стало быть, неизбежна для нее, а с нею, по слову великих русских подвижников духа, и для всего богоотступнического міра участь библейских Содома и Гоморры. Окружающая меня и всякого верующего христианина грозная действительность не давала ли мне права питать эти мысли?!

Но в глубинах народного сердца, зримых одному Богу, еще недавно жила такая полнота и сила духа Христова, так близка была еще недавно к Богу живая вера русского человека, что не могло мое сердце мириться со страшной и братоубийственной мыслью: нет в России седми тысяч, которых соблюл бы Себе Господь и которые еще не подклонили выи своей Ваалу... И я искал их всем сердцем своим, всем помышлением моим и, видит Бог, нашел, но не там,

где светит кровавый свет міра сего, не на высотах человеческого разума, а в тайниках сокровенных еще нетронутого народного сердца, в среде тех немудрых міра, которых от века избрал Себе Бог, чтобы посрамить сильных, чья слава и проповедь делом Христовой любви и самоотвержения заключены не в убедительных словах человеческой мудрости, но **в явлении духа и силы**, данных им для того, чтобы, по слову апостола, вера наша утвердилась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.

И многих рабов Своих нелицемерных и истинных показал мне, ищущему, Господь, и во главе их под перо мое просится одно великое для Православной и Самодержавной России имя, к которому с трепетной надеждой и верой обращены взоры всех истинно русских людей и от кого после Бога они ждут своего спасения... Но о живых праведниках, какое бы они место в міре ни занимали, от самого великого до самого низкого, — не лет ми и глаголати, и потому до времени сохраним имена их только в своей молитвенной памяти.

Но мір праведников недавно отшедших ко Господу — это уже достояние всех хотящих на их примере жати свое спасение; о них я и поведу здесь, в моих очерках, речь свою в радостной надежде, что одним, совершенным, она будет в утешение, а другим, ищущим Бога в истине, а не «в препретельных земной мудрости словесах», она послужит в утверждение и в вечное спасение в небесных обителях Отца и Царя нашего Небесного.

Христос Господь, Бог наш, в Троице славимый, вчера, днесь и во веки Той же, и потому в ряде очерков, предлагаемых вниманию боголюбцев, я, начав жизнеописанием игумена Феодосия Попова, во всем всем нам подобострастного человека, заключаю свой малый труд преподобным Марко Фраческим, о котором писано с таким вдохновением Четь-Минеями, столь основательно позабытыми теми, кто почитает себя цветом современной образованности.

Главнейшая же цель труда моего — на достоверных показаниях и примерах близких нам по времени христиан утвердить в сердце моего читателя непреложное свидетельство апостольской истины, явленной в словах апостола Павла в его Втором послании к Коринфянам: «Ибо знаем, что, когда — земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный!»

Труд мой ничтожен — он труд только списателя верного, но и за него молю и прошу того, кому он придется по сердцу, не оставить грешного моего имени поминовением молитвенным к Творцу всяческих.

Сергей Нилус

СИЛА БОЖИЯ И НЕМОЩЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Часть I

Игумен Феодосий (Попов)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Иисус Христос вчера и днесь,
Той же и во веки.

Так в Духе Святом утверждает святой апостол Павел, обращая свое вдохновенное слово к Церкви верующих всех стран, всех времен до скончания века. И слово это, Как Слово Божие, измениться не может; и как Церковь Божию, так и слово апостольское не одолеют и врата адовы, — этому верит христианская вечность, и должны верить и мы, православные христиане, предназначенные к вечности, к вечному спасению, к вечному радованию, к вечному царствованию вместе с Царем славы, Христом Иисусом. Такова вера наша, и с этой верой Богу милующу мы и отойдем в Царство Света немерцающего и незаходимого.

Но как горькая действительность мало соответствует светлым христианским упованиям! Где сила Христова просвещения духа челове-

ческого? Где подвижники духа? Где вера их? Где сила их, переставляющая горы? Где явно действующая благодать Духа Святаго? Где они, великие светильники веры, Преподобные, эти ангелы во плоти, нас спасающие?..

Тревожное сердце христианское, недоуменно и втайне озираясь на окружающую его действительность, с тревогой, близкой к отчаянию, готово вопросить Господа своего: да есть ли теперь даже и спасающиеся? А злобный дух времени змеиным шепотом отступничества уже шепчет рабам своим: христианство дискредитированно — долой христианство, долой Церковь, долой монашество, попов, долой все предрассудки и суеверия веры, тормозящие движение земной культуры, прогресса единого бога — человеческого разума! Царь міра — плоть, вечное блаженство — царство всеобщей сытости! Прочь призраки и мечтания слабых разумом, обольщенных и обольщаемых своекорыстными жрецами!.. Вот какие речи ведет к своим ученикам и последователям дух времени сего, князь міра сего, торжествуя уже близкую свою конечную победу над ослабевшим в духе христианством. Так, по крайней мере, думает отступнический міր.

«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». На все времена сказано было это слово нашим Спасителем и Богом: во все времена стадо Христово, верное своему Пастыре-Начальнику в полноте духа и истины, было не велико, потому что всегда был тесен и прискорбен путь Креста Христова и

широко отверсты врата, ведущие в погибель; в конце же времен, при внешнем и кратковременном торжестве зла, оно будет казаться еще меньше, но все-таки будет Церковью, которой не одолеть всей силе вражьей.

И теперь, в наши лютые и многобедственные времена, еще живут и работают на Божьей ниве незримые міру Божьи трудники, те «седмь тысяч», которых соблюл Себе Господь и которые не подклонили выи своей Ваалу.

В одну из поездок моих в Оптину Пустынь за беседами с богомудрыми старцами довелось мне услыхать об одном из членов этого святого братства, игумене Феодосии, скончавшемся в 1903 году и последние годы своей жизни приютившемся на покой под тихую сень Скита великой духом Оптинской обители. И всё, что рассказывали мне об этом Старце, до того было близко моему сердцу, так трогательны были о нем еще живые воспоминания, что я невольно им заинтересовался. Богу угодно было раскрыть мне душу этого молитвенника и дать мне в руки такое сокровище, которому равного я еще не встречал в грешном своем общении со святыми подвижниками, работающими Господу в тиши современных нам православных монастырей.

Сокровище это — автобиографические заметки в Бозе почившего игумена, которые он составил незадолго до своей праведной кончины. Со времени учреждения православных монастырей не было примера, чтобы кто-либо из их насельников и подвижников оставил о себе

свои воспоминания, касающиеся самой интимной стороны жизни монашеского духа, сохранил бы подробную историю своей души, стремящейся к Богу, своих падений и восстаний и поведал бы о силе Божией, в его немощи совершавшейся и неуклонно руководившей им на пути к земному совершенствованию в благодати и истине и к Царству света невечернего. Тем и драгоценны эти заметки, что они с необыкновенно правдивой ясностью указывают нам, что и в наше время, и в ослабевшем нашем христианском духе возможен и всякому доступен, с Божьей помощью, путь спасения и соединения с Господом Иисусом, Который все Тот же, что был от создания человека и останется Тем же вовеки. С необычайной живостью и с неослабевающим интересом ведется эта летопись сердца почившего игумена и раскрывается история земного испытания этой христианской души. С редкой правдивостью, с которой автобиограф не щадит и самого себя, повествуется им и о той мирской и монастырской обстановке, в которой трудилось его сердце в искании Бога и Его вечной правды: как живые воскресают перед читателем тени недавнего прошлого, тени тех средних русских людей, из которых одни работали над созданием храма Божьяго в сердце Православной России, а другие по слабости своей и неведению — над его разрушением. С редкой силой, с летописной простотой ведется удивительное повествование это о людях, о событиях, о душе человеческой и о силе Божией, над всей их немощью совершавшейся, и

сам игумен восстает перед читателем во всей яркости своего духовного облика.

Уверенный в особой назидательности этих заметок почившего игумена как для верующего православного люда, так и для монашествующей современной братии, я разобрал их, связал их по силе своего разумения в одно целое, не убавив и не прибавив в них ничего своего, самоизмышленного, и даже, по возможности, сохранив слог и способ выражения мыслей самого автора. Покойный, не получив законченного образования, не мог создать и обработать цельного литературного произведения, но природное дарование его было не из заурядных, и оно дало в его заметках такой богатый и яркий литературный, бытовой и психологический материал, что легок был мой труд, который я теперь и предлагаю вниманию и назиданию моего дорогого читателя.

В напутствие к биографии игумена Феодосия сообщу характерную черту прозорливости великого старца и наставника монашествующей братии Оптиной Пустыни и всего православного верующего міра, отца Амвросия Оптинского, под духовным крылом которого воспитывался и отец Фео́досий.

Жил игумен Феодосий уже на покое в Скиту Оптинской Пустыни и, несмотря уже на известную только одному Богу степень своей духовной высоты, нередко подвергался искушению от духа уныния, столь знакомого всем, кто внимал своей духовной жизни. В одно из таких искушений прибегает старец-игумен к

старцу Амвросию и почти с отчаянием плачет к нему:

— Батюшка, спаси — погибаю! Свинья я, а не монах: сколько лет ношу мантию, и нет во мне ничего монашеского. Только и имени мне, что — свинья!

Улыбнулся Старец своей кроткой улыбкой, положил свою руку на плечо склонившемуся перед ним и плачущему игумену и сказал:

— Так и думай, так и думай о себе, отец игумен, до самой твоей смерти. А придет время — о нас с тобой, свиньях, еще и писать будут.

Это мне рассказывал один из сотаинников жизни покойного игумена, ныне еще здравствующий отшельник Оптинский.

Лет двадцать прошло с этих знаменательных слов блаженного Старца, и суждено было им исполниться через мои грешные руки, руки того человека, который в то время сам так далек был не только от подвижников монашества, но и православным-то числился по одной метрике, выданной Московской Духовной консисторией для поступления в гимназию.

О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как неисповедимы судьбы Его и неисследимы пути Его! (Рим. 11, 33.)

ЗАПИСКИ ИГУМЕНА ФЕОДОСИЯ О СВОЕЙ ЖИЗНИ

I.

Относительно моей родословной вот что я не раз слышал в юности лично из уст моего родителя.

Пращур наш местожительство имел в селе Мелике в 12 верстах от г. Балашова, Саратовской губернии. В то время город этот был не что иное, как деревня, принадлежащая помещику Б.....у, а селение Мелик — несколько сотен семей язычников-идолопоклонников мордовцев. Мой пращур был их старший повелитель и начальник. Когда Петр I, желая скрыть свои благодетельные и мудрые планы от наблюдения кабинетов европейских держав, строил флот для взятия Азова в Воронеже, пращур наш, без всякого со стороны правительства к тому побуждения, возымел собственное желание принести, по силе возможности, дань своего вер-

ноподданнического чувства, и, когда Государь нуждался в материальной помощи, он нарубил для него несколько сот вековых корабельных дубов, срубил их в плоты и собрал несколько тысяч пудов ржаной муки от всех подвластных ему племен. Все это он желал доставить в кулях на плотах по рекам Хопру и Вороне. Но так как в то время не было в той стране хороших лоцманов и по рекам не было открыто судоходство, то план его не осуществился и цель не была достигнута. Плоты, которые были спущены с грузом кулей муки во время полой воды, занесло в рукава заливов, а некоторые и вовсе потонули. Только несколько плотов догнали до Новохоперской крепости. С великим горем ускакал мой пращур на лошадях в Воронеж и предстал пред лицо Державного и объяснил ему о неудаче своего предприятия. Петр не оставил без внимания усердия мордвина и пожаловал ему в знак своей милости водяную мельницу на реке Хопре, близ села Репного, в вечное потомственное владение и несколько десятин лесу с землею, на что была выдана грамота, впоследствии записанная в церквах Репнинской и Беломойской. Подаренный лес был окопан глубокой канавой, следы которой я не раз еще видел, когда езжал с родителем моим на охоту с ружьем осенью за зайцами. Местность эта поднесь называется «Крутица», а прежде называлась «Лес Вагаева», по прежней нашей коренной фамилии.

В бытность свою в Воронеже, пращур мой не раз удостоивался беседовать со святителем

Митрофаном, и им был научен таинствам Христовой веры, и был крещен в реке Воронеже, а по возвращении своем в село Мелик он убедил всех жителей этого села принять Св. Крещение. Впоследствии пращур мой, по усердию своему, выслал одной из Цариц отлитый по его заказу колокол, который был цел еще и во дни жизни моей бабки. Рассказывая мне об этом событии, бабка моя сказывала мне, что мельницей и лесом мы владели до царствования Екатерины II. Когда же эта великая Государыня повелела размежевать земли по принадлежности, то в это время прибыл к прадеду моему межевой и сказал ему секретно в его доме:

— Вагаев! если ты не дашь мне пяти рублей, то я мельницу твою и лес твой отмежую в другие дачи, а тебе отрежу в другом месте, пониже.

Но у прадеда моего был на это свой особый взгляд: за что-де я дам пять рублей? Что может он мне сделать? Я имею царскую грамоту, никого не боюсь, денег не дам, а нужно будет, и до Царя дойду.

— Эй, Вагаев! дай — тужить будешь, — говорил землемер, — синяя — не велики деньги.

— Ладно! — отвечал ему пращур, — мы сами знаем, где Царь живет.

И уперся на своем. Земля с мельницей была прирезана к другой даче, а ему было велено построить мельницу ниже. С мельницы семью пращура выгнали, и бабушка моя со своей матерью пошли по плотине, оглашая воздух раздирающими сердце воплями. Завелась тяжба. Пра-

дед со своей грамотой в Петербург и здесь уже на опыте, хотя и поздно, узнал русскую народную пословицу «До Бога высоко, а до Царя далеко». Истратив там порядочный куш экономией и трудами накопленных тысяч и не дождавшись чего-либо в свою пользу, он с грустью позднего раскаяния окончил в Петербурге свою жизнь, а все бывшее при нем имущество пропало бесследно. Событие это тяжко отразилось на благосостоянии его семьи. Впоследствии даже следы этой грустной истории были уничтожены г. Струковым, местным предводителем дворянства, который, под видом расследования, выпросил у моей бабушки крепостные документы и бросил их в печку. Мельница поступила в опись Палаты государственных имуществ и с того времени сдается с торгов от казны в арендное содержание.

Чтобы покончить со всей этой бесконечной тяжебной историей, начальство, во избежание возобновления наследниками дела, велело и самую нашу фамилию из Вагаевых изменить в Поповых. Хотя и поныне еще есть потомки Вагаевых, но родовая земля, лес и мельница давным-давно не принадлежат им.... Такую роль в жизни нашего рода сыграла пятирублевая синяя ассигнация... Кажется, нельзя было бы этому и поверить, но, к несчастию, это была правда из времен... шемякина суда.

Еще, я помню, видел крепостные наши документы пятикопеечного достоинства. Да к чему они? Прадед и землемер давно уже в сырой могиле превратились в тление до будущего

Суда и вечной жизни, и самые синие пятирублевые ассигнации заменены теперь государственными кредитными билетами.

Проходит образ міра сего.

Вот имена моих ближайших родоначальников:

Прадед моему отцу — Симеон, жена его — Соломония.

Дед — Иаков, жена его — Фекла.

Отец — Родион, жена его Васса.

Родитель мой — Афанасий, мать моя — Агафия.

Братья мои: Феодор, скончался в 1846 году на 21г. от рождения, Иоанн родился в 1835 году (я был 8 лет).

Сестры: Екатерина, Пелагия.

Всех же нас у родительницы было 21 человек, но те умирали во младенчестве году, трех и пяти лет.

Родительница моя умерла в 1851 году 27 сентября и похоронена на общем кладбище (Новом) в г. Балашове на 51-м году от рождения своего. Родитель скончался в 1857 году августа 7-го на 60-м году, а погребен в селе, бывшем городе, Добром, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии, близ Тихвинской церкви.

Сотвори им, Господи, вечную память.

Прошу всех православных с поклоном до земли и с росой сыновнего усердия на ресницах поминать их имена на проскомидии и в частных своих святых молитвах, и благий Господь в милости Своей да помянет всех нас. Аминь.

II.

Говаривала мне моя бабушка: «Когда я была лет восьми или девяти, мы жили в селе Репном от г. Балашова в 7 верстах. Я любила очень ходить в церковь и, как услышу звон колоколов, сзывающий народ к обедне, так сейчас и бегу в храм Божий. Бывало, и в будни я так-то ради церковной службы бросала игры с подругами, с которыми бегала по зеленой траве, ловя бабочек, и, как зазвонят в церкви, так оставляю все и бросаюсь в церковь. В церкви я становилась у самого амвона, против Царских врат, и зорко следила за всеми действиями священника. Причина моих наблюдений за священником была та, что однажды, бывши в праздник с моими родителями у обедни, я видела над престолом, немного повыше главы священника, прямо над Святой Чашей парящего Голубя, который был бел как снег и неподвижно, едва заметно трепеща крыльями, держался в воздухе. И видела я это не раз и не два, а несколько раз, о чем я передала своей подружке, и мы всегда с нею, как только, бывало, услышим звон колокола, так и бежим изо всех сил, желая перегнать друг друга, и станем вместе у амвона, дожидаясь появления блестящего белого Голубка! И уж как же любили мы Его за то, что Он был такой беленький, такой-то хорошенький!

Но были дни, когда мы так и не могли дождаться этого чуда, которое совершалось только во время служения старика священ-

ника (отца, если я не ошибаюсь, священников ныне служащих, Алексия и Иоанна Росницких). Только в его служение мы и видели всегда нашего Голубка. При другом священнике этого не бывало. Когда же мы объяснили об этом нашим родителям, а родители сказали священнику Росницкому, с тех пор мы с подругой уже более не видали чудного Голубочка...»

Бабушка моя, как я ее помню, была очень богомольна: целые ночи без сна, стоя на коленках, она маливалась Богу, и делала это она всегда в потемках, в спальне или в зале, где только не было людей. Когда зимой на полу стоять было холодно, бабушка становилась молиться на лежанку и, забывая где она и что она, полагая поклоны, незаметно приближалась все ближе и ближе к краю лежанки и наконец падала на пол. И случалось это с ней не раз. Мы, как несмысленные дети, бывало, засмеемся, восклицая: «Ну, бабушка наша опять полетела!» А бабушка как ни в чем не бывало влезет опять на лежанку и опять станет на молитву. Иногда, сделав один земной поклон, она засыпала на поклоне и в таком положении храпела так, что ее было слышно в других комнатах. Так продолжалось несколько минут. Потом она опять скоро пробуждалась и опять принималась молиться и класть земные поклоны.

Были дни, когда к ней приходили ее родные сестры, тоже старушки, одна — из села Репного, а другая — городская. Те жили очень бедно, а родитель мой жил в довольстве, и ба-

бушка моя по жизни своей была много счастливее их... Бабушка принимала своих сестер с особой лаской и гостеприимством и заставляла меня тогда по вечерам читать акафист Спасителю и Божией Матери, а сами старушки становились все на колени, молясь Богу, и со слезами на глазах вслух произносили за мной: «Радуйся, Невесто неневестная!» или «Иисусе Сыне Божий, помилуй нас!» После этого они меня заставляли читать, что я и делал с великим удовольствием, помянник, что в Псалтири, который начинается так: «Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твоя, от века сущия, ихже ради вочеловечился еси и распятие и смерть спасения ради право в Тя верующих претерпети изволил еси» и т. д. Все это сопровождалось земными поклонами. Затем шли моления за Царя и за всех, «иже во власти суть», и оканчивалось: «Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения отцем и братиям и сотвори им вечную память».

После этих молитв, если зимой бывало еще рано ужинать, заставляли они меня читать Киевский Патерик, или Четь-Минеи, или что-либо из Библии — Бытия, Иова, Товита или про Иосифа. Я читал, а семейство наше все безмолвно слушало и нередко отирало набегавшие и катившиеся по щекам слезы. Прискорбно нам тогда бывало, когда старший брат мой, Феодор, приходил из конторы и начинал читать литературные произведения светских писателей — Загоскина, Марлинского, Поле-

вого, Пушкина и др., к чему он имел особенное пристрастие. Маменька моя любила его чтение, и он, бывало, с улыбкой на устах скажет нам:

— Ну, отцы, убирайтесь-ка в другую комнату. А нет — так милости прошу к нашему шалашу послушать и нас, грешных.

И случалось, что мы сидели и слушали и улыбались при чтении каких-нибудь смешных повестей; хохотали же обыкновенно всякий раз, когда брат читал Гоголя. Бабушка послушает, послушает и закончит тем, что скажет:

— Бознать, что за галиматья! И слушать-то нечего. То ли дело Священное-то Писание: там как в зеркале видишь свои немощи и поплачешь о своем окаянстве! А что это? Слова нет о вечности... Зубы только скалить! Эх вы, дураки, дураки!.. Не читай, Федюшка, эти бальe, читай более Священное Писание, оно более тебя умудрит и просветит ум твой, чем эти умники-то своими писаньями: время только тратят понапрасну. Умники писали, дураки читают, а полоумные слушают да зубы скалят... Полно вам! идите-ка молиться Богу да ложиться спать, чем празднословить.

Часто бабушка, угощая меня чем-нибудь, говорила мне:

— Смотри, Федя, умру — поминай меня!

Я всегда ей обещался. И все наши с ней посиделки она всегда заканчивала словами:

— Смотри, не забудь, а то и помянуть-то некому будет: я на энтих краснобаев-то уж и не надеюсь.

III.

Однажды пришла моя бабушка зимой от утрени. Родитель мой еще не вставал. Побранив его за леность, она сказала ему:

— Встань! запиши для памяти...

— Чего, матушка? — спросил родитель.

— Запиши: озимые хлеба будут ныне лето плохие — лебеда уродится. Ранние пшеницы вовсе не родятся, средние будут хороши; гречи мороз убьет, а проса вовсе пропадут...

Родитель записал бабушкино предсказание, и время его в точности оправдало.

На другой год пришла она тоже от утрени зимой в какой-то праздник и сказала:

— Ну, Афанасий! на лето будет страшный голод — ничего не родится.

Упросила родителя, чтобы он дал денег на покупку ржи.

— Поверь мне, — сказала она, — увидишь, что я не лгу — голод, голод, и голод-то будет страшный.

Родитель дал ей 400 рублей ассигнациями, и она сама ездила в село Беково и купила там сто четвертей ржи, которую родитель всыпал в порожние винные бочки, вставив дны, и они стояли до весны рядами близ подвала. Когда же началось народное бедствие от голода, бабушка с изволения родителя, взяла к себе еще другую женщину из хлеба, и эта женщина только и знала, что пекла хлебы, а бабушка резала их на ломти и раздавала нищим, которые сотнями стояли у наших окон. Голод был ужасный.

Что только тогда не ел бедный народ! Уже не говоря о лебеде, толкли древесный лист, кору, даже гнилушки, отчего многие пухли и умирали. Пуд ржаной муки доходил до 1 р. 50 к. серебром, что составляло по тогдашнему счету на ассигнации 5 р. 25 к. и дороже.

Бабушка моя лечивала и неизлечимые болезни, и притом самыми простыми средствами: девятисилом, полынью, чернобылью и т. п.

Однажды ей знакомый доктор сказал:

— Смотри, Семеновна, ты со своими лекарствами попадешь в острог: умрет какой-нибудь скоропостижно, и скажут, что ты его отравила.

— А ты не смейся! — отвечала ему бабушка. — Смотри — сам как бы не приехал ко мне лечиться. Знаю я вас: вы все на словах-то лекари, а на деле-то вас и нет.

Вскоре этот доктор впал в опасную болезнь и не миновал-таки он рук моей бабушки, которая его и вылечила. После выздоровления своего от бабушкиного лечения он дивился и говорил:

— Никуда мы со всей своей медициной не годимся против Семеновны.

А бабушка моя, слыша те речи, отвечала:

— Не наука ваша виновата, а вы плохо ей учились и, когда лечите, всё относите к себе. А вы бы сперва помолились Богу да попросили бы Его помощи. А этого-то ведь у вас и в уме нет. Вы только тогда к Богу-то прибегаете, когда вас самих заберет черная немочь. А чуть прошло, ну и опять заболтаете такую дичь, что гнусно слушать... Вольнодумцы! хоть бы уж

сознавались себе, что, дескать, мы виноваты, а то — куда тебе! — хлебнут дури-то без меры да и кричат как безумные: Бога нет!.. Вот и слушай вас, ученых дураков!

Сходить бабушке, бывало, за 10 или 20 верст, посетить и навестить больного — это для нее ничего не значило, и дома никому о том не скажет. Выдавали бабушкины тайны иногда знакомые мужички: едут в город, встретят ее с палочкой пешком идущую в их село да и скажут о своей встрече моему родителю, а ее сыну. И вот вернется со своего похода бабушка, ее и спрашивают:

— Где ты, матушка, была?

Она всегда отвечала, что была по приглашению у кого-либо из богатых граждан, к которым она и была вхожа. И когда мой родитель, бывало, смеясь за обедом ей на это скажет: «А кто же это с палочкой пешком шел там-то?» — бабушка улыбнется виноватой улыбкой и начинает оправдываться:

— Да как вам сказать правду-то? — ведь вы еще браниться будете. А как не пойти-то — человек-то бедный, старый, да и призреть-то за ним некому. Я его обмыла, и лекарство составила, и попросила там таких-то, чтобы они Бога ради позаботились о нем.

Зато и велика же и сердечна была к ней признательность от черного народа. Денег же за лекарство она ни с кого никогда не брала, кроме того, что ей самой стоило лекарство, а это всегда было не дороже 10, 20 и много, много 30 копеек.

Любила моя бабушка принимать к себе и странников, которых она вводила к себе в дом на ночлег, иногда даже целыми толпами. Угощала их чем Бог послал, как родных, от всей своей полноты душевной. Маменька моя, любившая чистоту полов до пристрастия, иногда даже резко выговаривала бабушке за ее любовь к странникам, особенно когда они, бывало, осенней порой лаптями своими нанесут грязи и запачкают полы на кухне. Во избежание брани, бабушка, накормив странников и уложив их на отдых, сама подоткнет подол и вымоет пол в угоду невестке.

Усердие ее к церковным службам было изумительное: она ни одной службы никогда, когда была дома, не пропускала, не обращая внимания ни на время года, ни на погоду. Такое усердие к Божьему храму я знал только в бабке о. Филарета, что в Площанской пустыни, и еще одну старушку, по фамилии Арбузову. Недаром все они с моей бабушкой трое были подругами от юности до самого гроба.

Кроме Богом данного искусства врачевания, бабушка моя была и замечательной по своему времени акушеркой. «У кого я училась повивать, — говорила нам не раз бабушка, — старушка та жила около ста лет и очень была опытна в повивальном искусстве. Такой с ней раз был случай: пришлось повивать у дьячихи своего села, и, когда родился младенец мужского пола, она сказала его матери:

— Смотрите не забудьте, что я вам скажу о будущности этого младенца. Я, конечно,

умру и не дождусь, когда он достигнет возраста мужества, а вы мои слова запишите: если Богу будет угодно и младенец останется жив, то он будет большой человек, к Царю будет близок и станет бо́льшим начальником.

— Почему ж ты это знаешь? — спросили ее родные и родители младенца.

— Да как же мне не знать, когда он и во чреве-то сидел не как прочие...»

Младенец этот был впоследствии генерал Репнинский (читайте биографию Сперанского).

Особое это было искусство у старушки. Понимают ли в нем что-нибудь современные акушеры?!

И бабушка моя, тоже раз повивавши в одном доме, сказала, чтобы записали:

— Младенец этот богатым будет.

И время оправдало ее предсказание.

IV.

Пришло наконец время и моей праведнице бабушке помирать. Я служил в это время в земле Войска Донского в Нижнечирской станице дистанционным на службе у В. Н. Рукавишникова при брате его Алексее, управлявшем его делами. Бабушка уже достигла глубокой старости. Это было в 1848 году, а во дни Пугачева бабушка была лет шестнадцати или семнадцати. Видел я сон: будто бабушка взяла меня за руку и повела внутрь какого-то великолепного, вновь отстроенного дома с роскошной внутренней отделкой и богатейшей мебелью, чудным балконом и крыльцом в дивно цвету-

щий сад. В дому этом еще никто не жил. Глядя на всю эту роскошь, я удивился и спросил бабушку:

— Чей это, бабушка, дом и для кого он выстроен?

Она мне ответила:

— Этот дом выстроила я для себя.

И с этими словами повела меня на крыльцо, а с крыльца — в сад. Удивляясь необыкновенно изящной отделке крыльца, я взглянул кверху и увидел, что одной доски в потолке нету и до самой крыши зияет дыра. Удивился я этому и спросил:

— Бабушка! отчего это одна доска не прибита? Все так прекрасно отделано, а это оставлено: ведь это сильно безобразит. Не Бог весть чего одна-то доска стоит! — нужно бы прибить.

— Что делать, внучек, — ответила бабушка, — вот и весь дом выстроила, а одной доски и той не могу прибить. Это, прошу тебя, постарайся ты доделать — я теперь уж не в силах и больше трудиться не могу.

С этими словами — «я теперь не могу, — прошу тебя, уж ты доделай» — я проснулся и долго размышлял, удивляясь и этому сну, и красоте виденного дома. Встал я с постели, зажег свечку и записал во всех подробностях свой сон, а с первой почтой написал своим родителям, прося их известить меня, что такое происходило у нас в доме ночью такого-то числа и нет ли вообще каких новостей. Ответ был получен такой: «Этого числа, о котором ты пи-

шешь, бабушка твоя ночью окончила свою земную жизнь и перешла к небесной вечности со всеми таинствами Святыя Апостольския Соборныя Церкви».

Так перешла в небесные обители праведная душа моей старушки бабушки.

V.

Молитвами Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святаго Архангела Михаила и прочих небесных Сил бесплотных, святаго славного Пророка и Предтечи Господня Крестителя Иоанна, св. Великомученика Феодора Стратилата и прочих всех св. Мучеников и Мучениц, и Марии Египтянины, св. преподобных отец Антония и Феодосия и прочих Киево-Печерских Чудотворцев, Преподобного Сергия Радонежского и всех Святых, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, Боже наш, помилуй и спаси нас. Аминь.

За молитвами преподобных отцов: игумена Оптинской Пустыни о. архимандрита Моисея, старцев иеросхимонахов — о. Макария и о. Амвросия, и друга моего и брата моего, сотоварища от юности иеросхимонаха Филарета (Площанской пустыни), и прочих отцов и братий, благослови, Господи, написать и поведать о жизни моей многогрешной, от дней моего рождения и до поступления на покой из Перемышльского Св. Троицкого Лютикова монастыря в Скит Оптиной Пустыни, и спаси меня, многогрешного.

Многие из числа отцов и братии Оптиной Пустыни и матерей женской Казанско-Амвро-

сиевой пустыни, всечестная игумения мать Евфросиния и другие близко мне знакомые лица неоднократно мне советовали и просили меня написать на память обо мне, многогрешном, кое-что из воспоминаний моей жизни. И родные мои того же желали. И вот, в исполнение, кладу перед всеми земной поклон и со слезами прошу усердно простить меня за все и не забывать во св. своих молитвах, чтобы и мне, многогрешному, получить кончину христианскую и благоприятный ответ в день Судный. Аминь.

Родина моя — Саратовской губернии город Балашов, а рождение мое было того же уезда в селе Большой Карай. Случилось это в 1824 году в феврале месяце, а крещение мое было 8-го того месяца.

Когда я родился, у меня уже был брат, нареченный Феодором. А почему и мне священником в первый день, повнегда родити жене отроча, дано было то же имя Феодор, это скажется ниже. Сам же я этого не знал до десятилетнего возраста.

Родителя моего звали Афанасий Родионович Попов, а матери имя было — Агафия Андреевна, в девицах Склярова. У матери моей было три брата: Моисей, Фока и Петр Андреевичи Скляровы. Фамилия их вышла из Малороссии, а родиной — слобода Остров от г. Балашова в 60 верстах. Второй брат моей матери, Фока Андреевич, был очень умный человек и всю свою жизнь служил по питейной части комиссионером у откупщика Петра Ивановича Ковалева (или Коваленкова) и других его сотоварищей по

откупу, Устинова и Образцова. Ковалев жил до самой смерти в г. Балашове, а с ним и мой дядя, Фока Андреевич. Третий брат, Петр, жил при Фоке Андреевиче и тоже служил по откупу дистанционным поверенным. Старший же, Моисей, жил в доме родителей своих в слободе Острове и был слободским всего уезда, по избранию всех обществ, земским головой.

И родитель мой почти что всю жизнь тоже был на службе по питейной части подвальным у того же откупщика Ковалева, и так как брат моей матери, Фока Андреевич, был комиссионером, а эта должность была влиятельной, то ему жилось хорошо, потому что управляющие откупами, из уважения к комиссионеру и сестре его, моей матери, были хлебосолами всему нашему семейству.

О годах моего раннего младенчества вот что я слышал от моей матери и бабушки: после крещения моего я 40 дней лежал в люльке без крику и малейшего движения. Не подавал я голосу даже и тогда, когда меня вынимали из люльки и подносили к груди. Заплакал я в первый раз, когда, по прошествии 40 дней, меня снесли причастить в церковь и из церкви принесли домой. С тех пор я долго не переставал плакать, не давая никому покоя ни днем ни ночью, так что вынуждены были мне нанять в няньки бедную сиротку девочку, чтобы она меня нянчила на дворе. Когда нянька, вынося меня гулять, подходила к церкви, я переставал плакать. Это было замечено, и когда потом я начинал, бывало, плакать, то матушка говорила няньке:

— Неси, неси его на паперть!

А церковь в селе Карае была близко от нашей квартиры. И так со мной делали всякий раз, как я начинал плакать: понесут на церковную паперть — я плачу, а там я немедленно успокоиваюсь, и уже домой меня приносят спокойным надолго. Когда же я стал понимать, то сам стал указывать по направлению к церкви, давая этим знать, чтобы меня несли туда, особенно когда я слышал благовест. Поэтому меня почасту приобщали Святых Христовых Таин.

От 1830 по 1835 год родитель мой жил в селе Макаровке Балашовского уезда на должности подвального. Когда мне пошел 8-й год, мы с братом Феодором уже учились у местного сельского священника, о. Димитрия. Человек с тринадцать всех нас у него училось.

Изучая Священную Историю и Катехизис, я узнал, что есть Ангелы, которые охраняют нас, и бесы, которые ищут нашей гибели. Не знаю как и почему, но мне пришла мысль испытать, правда ли это? И вот, сидя на крыльце нашей квартиры, когда родители мои отдыхали после обеда, задумал я эту мысль свою привести в исполнение: встал я, это, с крыльца, пошел на задний двор и дорогой вслух сказал:

— Послушай, бес, если ты что-либо можешь сделать, то уверь меня в этом: принеси мне в амбар тонкую, хорошую веревку. Если ты это исполнишь, то я пойду в хлев, куда коров загоняют, и там удушусь на этой веревке... Вот-то удивятся товарищи мои, когда увидят меня повесившимся на перекладине!.. Ну,

слышишь, бес, что я тебе говорю? Исполни ж мое желание!

На всем дворе в это время никого не было. День был жаркий, ясный. Бродили тучки по небосклону. Сказавши эти слова, я пошел к амбару, который был плотно затворен. По дороге к амбару в голове моей мелькнула другая мысль: удушиться, подумал я, неприятно, а лучше брошусь-ка я в колодезь на заднем дворе. Колодезь этот был очень глубокий, и вода в нем была чистая и прехолодная. Принадлежал он соседу, протопопу, и из него брал воду всякий, кто бы то ни пожелал. Был он выкопан между двумя дворами у одной из стен... И вот, подойдя к амбару, я, растворивши дверь, к удивлению своему увидел почти целый моток новой, тонкой бечевы. Взял я его в руки и, миновав коровник, пошел к колодцу и нагнувшись стал в него смотреть. Глубоко, глубоко поблескивала в нем его холодная вода, а в мыслях моих точно кто-то говорил: вот когда я туда брошусь и, конечно, утону, тогда товарищи мои да и многие другие будут удивляться, как это и почему я утонул в колодце? Я невольно улыбнулся в ответ на эти мысли и сказал:

— Нет, бес, лучше уж я пойду удушусь. Вот тогда-то товарищи мои придут и будут удивляться, когда я буду висеть в петле!

С этими словами, развязав найденный моток новой бечевы, я сделал петлю и завязал конец... Оставалось только всунуть голову в петлю, и жизнь моя была бы прекращена... Я оробел и вдруг громко и весело засмеялся, воскликнув:

— Лезь же ты сам, проклятый, а я тебя поддержу!..

И в это мгновение из туч на небе блеснула ослепительная молния и раздался такой громовой удар, что я во всю свою жизнь подобного не слыхивал. Я сильно перепугался и изо всей силы бросился бежать из хлева к дому на крыльцо, а дождь после удара полил ливнем как из ведра... Когда я вбежал на крыльцо, там стоял мой родитель; стояли с ним и другие, и все они удивлялись небывалому удару грома и необыкновенной яркости ослепительной молнии, повторяя: «Ну уж и удар! такого мы еще и не слыхивали». Через несколько часов пришло известие, что этим ударом убита женщина в селе Потьме, за рекой Хопром, верстах в трех от села Макарова.

Об этом своем поступке я никогда никому не сказывал, но с того времени убедился, что есть злые духи, и стал внимательнее и прилежнее молиться Богу и моему Ангелу-Хранителю.

VI.

Верстах в трех от села Макарова было имение князя Григория Сергеевича Голицына. Княжеская усадьба была расположена на горе, и неподалеку, под горой, — винокуренный завод князя. Князь очень доброжелательно относился к моему родителю, с которым ему приходилось иметь дело по винному откупу. Любил князь часто утром и вечером совершать прогулку верхом на лошади. И вот, однажды подъехал он верхом к нашей квартире. Мы в это время всей

семьей сидели за обедом; окно было открыто на улицу; день был ясный, и князь, подъехавши к окну, громко, с приветливой улыбкой, сказал:

— Приятного аппетита всем вам желаю!

Конечно, родитель мой, завидевши князя, быстро выскочил из-за стола и выбежал к нему на улицу, а мы — дети и мамаша — засуетились и тоже, побросавши обед, кинулись к дверям к нему навстречу. Побежали навстречу князю, правда, старший брат мой Феодор да сестра Екатерина (ныне схимонахиня в Шамордине), а мы, несколько оробев, стояли около обеденного стола. С ласковым приветом вошел князь к нам в дом и, видя наше замешательство, весело сказал:

— Прошу всех вас и детей сесть за стол, как сидели, тогда и я с вами сяду, а иначе выйду вон.

Желание его быстро было исполнено. Князю был подан стул, и с той же приветливой улыбкой смотря на нас, он радушно к нам обратился со словами:

— Ну, вот и я с вами буду обедать!

Родитель мой сказал князю:

— Смею просить вас, ваше сиятельство, рюмкой водки?

— И прекрасно, и умно ты сделаешь, — согласился князь, — а кстати, у меня и аппетит есть выпить рюмку, а мало — выпьем и по две.

Начали закусывать. Князь все посматривал на нас и вдруг спросил родителя:

— Это все дети твои?

— Наши, ваше сиятельство, — отвечал мой родитель.

— А что ж, учатся ли они где у тебя?

— Учатся, ваше сиятельство, у приходского священника, о. Димитрия.

— А почему ж ты не обратился ко мне с просьбой, чтобы их отправить учиться в село Зубриловку, где учатся дети покойного моего брата? Дети-то его вдовы — две дочери уже почти невесты, а вот два сына — твоим детям однолетки, и учат у них все немцы да французы... Да и дети-то всех ее дворовых обучаются особыми учителями. Вот бы и твоих туда отдать!

— Смею ли я просить о сем ваше сиятельство? Кто мы такие, чтобы дети наши учились с детьми ее сиятельства? Я и подумать-то о сем не смею, чтобы просить вас о помещении детей моих в их училище, — смиренно сказал мой родитель.

— Экой ты, братец, какой чудак! — улыбнулся князь, — ты этим ей и мне доставишь большое удовольствие: нам-то приятно будет, чтобы дети твои были образованнее и умнее других, которые учатся у дьячков и отставных солдат, и даже у сельского батюшки.

Низко кланялся мой родитель князю и усердно благодарил его за великую его милость. Князь улыбался радушно и на изъявления благодарности отвечал:

— Нечего, брат, благодарить прежде времени. А вот завтра соберите-ка их в путь-дорожку да и пришлите их ко мне часу в деся-

том утра, а я их при письме моем отправлю в Зубриловку. Охлопочите только поместить их к кому-нибудь из зубриловских жителей.

Тут родитель мой и бабушка сказали:

— Да в Зубриловке и священник-то отец Иоанн Андреевич Росницкий — нам родственный.

— Вот и прекрасно, — сказал князь, — так присылай же твоих детей ко мне в дом, а я их при письме отправлю к своей свояченице.

Родитель мой усердно благодарил князя, а мать и бабушка чуть не в ноги ему кланялись. Пожав им всем руки, нам князь сказал: «Итак, в 10 часов жду вас!» — и с этими словами от нас уехал. Все мы были поражены и очарованы простотой его обращения.

Целую ночь мать и бабушка не спали: пекли, жарили, варили, готовили пирожки с запеченными яйцами, кур, яйца всмятку; наложили всё в мешок, тщательно завязали — нам в путь-дорогу. А село Зубриловка от села Макарова — не более верст двенадцати. Уложили весь наш багаж, а утром, часу в шестом, напоив нас чаем, помолившись Богу и благословив нас со слезами на глазах, расцеловали нас, прося вести себя благоприлично и давая нам всякие советы и указания, как нам жить в чужих людях. Родитель мой, смотря на их слезы, улыбался и подшучивал:

— Эк далеко вы их отправляете! Смотрите-ка: шутка-дело — за двенадцать верст: как тут не плакать!.. Мало вы им, вижу, кур-то с яйцами и с пирожками насовали в мешок!

Смеялся он и над нами: «Пришла экая беда: теперь уж вы недельки две-три друг с другом не увидитесь».

А бабушка, утешая нас, на слова родителя говорила: «А я вас через недельку навещу — пешком приду к вам».

Тут подали лошадей и усадили нас, целуя беспрестанно. Наконец, осеняя нас крестным знамением, родитель сказал кучеру: «Ну, трогай! Счастливый вам путь! Вези их прямо к князю, к дому и, получив от князя письмо, вези их тогда в Зубриловку, к священнику о. Иоанну. Передай вот ему мое письмо... Ну, с Богом!»

И мы тронулись в путь; а мамаша и бабушка долго всё стояли, провожая нас глазами. Мы привстали на повозке, сняли картузы и всё кланялись им, пока их стало не видно.

Часа через два приехали мы к дому князя. На крыльце нас встретил его камердинер и спросил нас:

— Вы — дети Афанасия Родионовича?.. А, — так идите по этой дорожке в сад, там и встретите князя.

Так мы и сделали и у садовой беседки встретили князя, который пошел к нам навстречу со словами:

— Молодцы, что так рано приехали! Вот вам букеты цветов и письмо к княгине. Когда приедете, передайте ей все это от меня. Отправляйтесь же с Богом. Счастливого вам пути желаю.

Мы простились и поехали к княгине. Она встретила нас ласково и приветливо, благода-

рила за букеты, приняла письмо и сказала, что просьба князя о нас ею с удовольствием будет исполнена. И священник нас встретил ласково и принял на житье в свою квартиру, где мы и прожили около двух лет, пока шло наше ученье в зубриловской школе.

VII.

Началось наконец и наше ученье в зубриловской школе. Хотя и почиталась она князем Голицыным образцовой, но преподавание в ней было довольно-таки старозаветное: все уроки свои мы должны были учить наизусть, в долбежку — и Священную Историю, и Катехизис, и арифметику. Кроме этих уроков, нам преподавали и чистописание. Княжата учились дома со своими французами и немцами, а в свободные часы приходили играть с нами. Один из них учил нас маршировать, как солдаты маршируют, варить кашицу на огне и копать землянки; а другой обучал нас охотничьему искусству: как охотиться на зверей — волков, лисиц и зайцев; как трубить в рога и трубы, давая знать о каком-либо звере. В этой игре я исполнял обязанности гончей, и дали мне кличку — Галка. Я был картав и, когда они меня вместе с учителями спрашивали: «Фединька! как тебя назвали?» — громко им отвечал: «Гайка», и все тогда очень надо мной смеялись, говоря: «Не гайка, а галка, — скажи: галка!» Я не обижался, а смеялся вместе с ними, уверяя их, что так не могу сказать, потому что картав. И меня они за это всегда ласкали.

В училище нас учили от восьми часов утра до пяти пополудни, после чего мы шли домой обедать; а к другому дню нам задавали уроки. Уроки требовалось, как я уже говорил, отвечать наизусть. В свободное от уроков время нам дозволялось играть в разные детские игры. Из этих игр любимыми нашими были игры «в казанки» или «шлюцки» и «в крысы», то есть бегать друг за другом и ловить. Не знаю уж сам как и почему, но все ученики, в случае своих детских ссор или драки, всегда обращались ко мне для разбора вины и умиротворения, и мне нередко случалось трепать до слез виновных, но они никогда на меня не сердились, а всегда оставались довольны моей справедливостью и беспристрастием. Особенно много недоразумений и ссор происходило во время игры «в казанки»: нарушались условия игры, били в кон произвольно, и старшие неправильно обыгрывали младших, и часто за это бывала брань и драка. И вот в это время все товарищи обращались ко мне, крича: «Что ж это такое, Федя, делается! Это и играть нельзя!» — и требовали не дозволять им бесчинничать или удалять их из числа играющих. И когда я, бывало, стану им говорить, они, поначалу, начнут мне противоречить и браниться. А у меня от детства был вспыльчивый характер, и, когда увижу, что неправильно обижают товарищей, да еще меня начнут бранить, говоря: «Да ты-то что за птица? тебе какое дело?» — тут сердце мое вспыхнет, я хватался за их волоса, и очень, очень чувствительно для них бывало мое нака-

зание. Дело всегда кончалось тем, что протестующие покорялись со слезами и криком: «Не будем, не будем! Федя, прости! будет бить-то!..» А товарищи с торжеством приговаривали: «Прибавь, прибавь им еще, Федя, чтобы они помнили, как нужно играть!» Под мою сердитую руку попадало и княжатам, и я всем, не исключая и их, с криком гнева говорил: «Что же это вы делаете? что вы старше нас, так и обижаете несправедливо? Ступайте жалуйтесь учителям — они лучше разберут, кто из нас прав и кто виноват!» И меня все ребятишки хвалили: «Так-де вот им и надо, пусть идут жаловаться, а мы тогда оправдаем тебя».

На эти детские игры и проказы смотрели часто гувернеры и учителя и, улыбаясь, хвалили меня за справедливость.

Так продолжалось невозбранно довольно долго, пока не пришлось мне за свою справедливость сильно перетрусить.

Как-то раз играли так-то вот мы, вдруг явился к нам посланный от княгини и потребовал, чтобы я к ней шел немедленно за ним в дом. Вот тут-то я и сробел. А щедрые на посулы товарищи мои, конечно, меня предали и стали мне вдогонку кричать:

— Вот тебе там достанется на орехи! Отдерут тебя на конюшне!

С большой робостью взошел я в зал дома, где княгиня с двумя своими дочерьми и мальчиками-сыновьями сидели за столом. Там же сидели и учителя детей — француз и немец. Кругом их стола лежали громадные собаки, и

им наливали в миски и подавали каждой собаке ее кушанье, но лакать из мисок они только тогда принимались, когда княгиня им по-французски даст на то разрешение. Тогда только, замахав ласково хвостами, собаки и принимались за свою еду... В страхе и трепете, с крупной слезой на ресницах, подошел я к столу прямо к княгине... К великому моему изумлению, не с гневом, а с ласкою она обратилась ко мне и сказала: «Не бойся, мальчик Фединька, тебе ничего не будет. Эти глупые только пугают тебя. Мы призвали тебя — расскажи мне, как и за что ты бьешь детей, с которыми ты учишься и играешь «в казанки»?»

Я робко, заикаясь и картавя, рассказал, что бью их за то, что, нарушая условное правило игры, сильные пользуются своей силой и неправильно обижают меньших товарищей... Тут княгиня, как бы с гневом, обратилась к своим детям и громко, отрывисто, по-французски сделала им, по-видимому, выговор или замечание... Дети сконфузились, покраснели, а учителя улыбались и качали головой.

Сделав своим детям выговор, княгиня с лаской обратилась ко мне и сказала:

— Не бойся, мальчик: ты прекрасно делаешь, что следишь за порядком вашей детской игры, и продолжай следить, чтобы старшие не обижали младших. — И с этими словами подала мне два больших апельсина, сказав:

— Вот тебе от меня гостинец за твою справедливость! — Тут и дочери ее, и учителя начали хвалить меня и давать с десертного стола,

кто — апельсин, кто — винограду, пряников — словом, наложили мне полные карманы гостинцев. Я поцеловал руку у княгини, и она меня велела проводить обратно.

Вместо слез, таким образом, я из дома княгини вынес торжество и радость. С радостью меня встретили и товарищи и говорили мне:

— Ай да Федя, молодец! в какую честь попал!

Но мне моя честь не даром досталась: после княжеских подарков мне учителя стали задавать уроков вдвое больше, чем другим. Я это сразу заметил: шли мы из училища с товарищами, я и обратился к одному из них, говоря:

— Ну-ка, Коля, покажи мне, сколько тебе задали к завтрему!

И тут я увидел, что мой урок гораздо более. До слез стало мне тогда и грустно и обидно. За что это мне? — подумалось мне — и что мне теперь делать? Это мне уж и играть с товарищами не придется!.. Не пошел я тогда, с горя, домой, а пошел в сад. В саду стоял омет соломы, а у соседа были цесарки. Заметил я по своим наблюдениям, что цесарки эти, взлетая на насест, долго на насесте не успокоиваются и час, а иногда и более кричат и цыкают, пока-то умолкнут и заснут. Придя в сад, разложил я на земле между кустами смородины и крыжовника все свои книги, и, раскрыв их на тех страницах, где были отмечены карандашом мои уроки к завтрашнему дню, я упал на колени и горько заплакал, подняв руки кверху, и со взором по-

темневшим от слез стал молиться Богородице: «Матерь Божия, взгляни, что со мной делают учителя! Посмотри на мои книги — вот отметки карандашом, и все эти уроки я должен выучить к завтрему. Когда ж мне играть-то с товарищами? А не выучу, меня будут сечь розгами. Матерь Божия, Тебе все возможно, — умоляю Тебя, умножь мне память и помоги мне избавиться от наказания. Я не сейчас пойду играть с товарищами; буду твердить уроки под ометом до тех пор, пока цесарки не сядут на нашест и не перестанут кричать, а тогда я закрою свои книжки и пойду к товарищам играть в надежде на Твое, Преблагословенная, милосердие. Слышишь, Матерь Божия? Выучу или не выучу я свои уроки, а уж как цесарки перестанут кричать, я уйду играть, а на утро Ты мне дай такую память, чтобы мне сказать свой урок без ошибки и чтобы не удалось учителям меня высечь. Помоги же мне, Преблагословенная Дево, Матерь Господа моего Иисуса Христа, в честь и славу Имени Твоего. Вверяю я себя Тебе и, как сказал, так, надеюсь на Тебя, и буду делать». Положил я три поклона Господу Иисусу Христу и Пречистой, закрыл по истечении назначенного срока свои книжки и ушел играть с товарищами. Они уже меня дожидались и, увидя меня, закричали:

— Да, где ж ты был, Федя? мы заждались тебя... Во что играть?.. Ну, давайте «в крысы»...

Наутро, к удивлению учителей, я отвечал все свои уроки без малейшей ошибки.

VIII.

Старшему моему брату не легко давалось ученье, и он по ночам со свечкой засиживался над своими уроками, но, при всем прилежании, часто не мог отвечать урока наизусть, за что и попадало ему от учителей. Сидел он однажды до полуночи, твердя свои уроки к следующему дню, а поутру не мог двух-трех строчек ответить перед учителем и священником, у которого мы жили. Священник назвал его болваном и с угрозой сказал ему:

— Счастлив ты, что я иду служить Литургию, а то я отпорол бы тебя розгами. А вот постой, приду из церкви и если ты у меня не выучишь урока как следует, то я прикажу отпороть тебя, болван ты этакий!

Я сидел тут же у другого стола и увидал, как у брата слезы закапали на стол, и стало мне жаль брата: за что же — подумалось мне — его сечь, когда он за уроками почти всю ночь напролет не спал? Пойду я в церковь, помолюсь за брата Царице Небесной, Она уже меня раз послушала, Бог даст, и на этот раз не оставит.

Церковь от училища была недалеко, — за княжеским садом: стоило только перелезть через невысокую ограду и — там... Задумано — сделано! Я вышел из училища, попросившись выйти, а сам — через ограду да прямо в церковь. Боясь, чтобы меня не увидел священник, я отворил одну половину двери и осторожно заглянул в храм. В церкви только и было, что три старушки, заказавшие заупокойную обед-

ню; священник и диакон были в алтаре, а дьячок в это время на клиросе пел: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи...» Быстро проскользнул я в церковь прямо на правую сторону придела, за колонну, и взглянул на иконостас... Глаза мои упали на икону Божией Матери итальянской живописи с Предвечным Младенцем на руках. Как живые, Они смотрели на меня. Я пал перед святою иконою весь в слезах на колени и со всем усердием стал молиться Владычице:

— Матерь Божия Преблагословенная! Я пришел просить Тебя за брата моего, Феодора: его священник обещал за леность высечь розгами, а он всю ночь не спал, твердя уроки. Матерь Божия, сотвори милость — смягчи сердце учителя, отврати от брата моего наказание. Ведь я верую, что ты родила Господа Иисуса Христа, Который за нас и наше спасение умер на Кресте и затем воскрес. Я знаю все заповеди, знаю «Верую» с начала до конца; смягчи же сердце учителя — мне жаль брата. Если уже нужно его посечь, то пусть лучше меня за него накажут: очень мне жаль брата. Дай, Матушка, брату моему побольше памяти, чтобы он так же учился, как и прочие умные ученики. Матерь Божия! Если Ты мою молитву услышишь, я всегда буду прибегать к Тебе, а если нет, ни о чем Тебя просить не буду. А я этого не хочу: я хочу всегда прибегать к Тебе с молитвой!

С этими словами я поклонился в землю перед иконой, поцеловал на ней Богородицыны ножки и опять повторил:

— Помоги, если можешь; а я знаю, что Ты можешь! А то я не буду уже больше просить Тебя ни о чем.

В это время запели «Достойно есть, яко воистину...» и я выбежал из храма. В училище старшие ученики меня спросили, куда я бегал и где так долго был; я отговорился расстройством желудка.

Вскоре за мной пришел из церкви и священник о. Иоанн. Я ждал с трепетом, что будет он говорить брату. Отец Иоанн подошел к нему и ласково, ласково ему сказал:

— Вот тебе в благословение Богоматери святая просфора!

Благословил ею брата и отдал со словами:

— Тебе эта просфора от Божией Матери в благословение и улучшение твоего учения. Молись Ей: Она тебе поможет, и ты будешь учиться хорошо!

Можно себе представить, как поразили меня эти слова! Я заплакал и, выбежав стремглав из класса, пал ниц на землю и благодарил молитвенными слезами Матерь Божию за Ее великую и явную милость.

С тех пор брат стал гораздо лучше учиться и даже обогнал многих других своих товарищей.

IX.

Этот случай, так меня поразивший, произошел уже на второй год нашего с братом ученья в зубриловской школе.

Вскоре после этого княгиня с детьми стала собираться в Петербург, а дети должны были

перед отъездом ехать к князю, чтобы проститься. Княгиня велела им взять и нас с братом, чтобы повидаться с родителями и с ними вместе вернуться в Зубриловку. Когда мы доехали до села Макарова, княжеские дети не прямо поехали к дому князя, а подъехали к квартире наших родителей и вместе с нами вошли в дом. Радостно удивились родители наши такой неожиданности. Подали чай, и за чаем княжата улыбаясь сказали нашей матери и бабушке:

— А знаете ли, для чего мы к вам приехали? Мама прислала нас предложить вам, не согласитесь ли вы своего младшего сына, Фединьку, отпустить с нами в Петербург, а там и за границу, во Францию, учиться вместе с нами?

Это подтвердили и приехавшие с нами княжеские учителя... И, Боже мой, что тут поднялось! — как перепугались мать моя и бабушка! Чуть не со слезами отвечали они на это лестное предложение:

— Нет, нет, нет! Куда нам равняться с княжескими детьми!.. Да и к чему нам французский и немецкий языки! Выучили Священную Историю и молитвы да немножко арифметики — более нам ничего и не нужно. Вот детям княгини — другое дело, а нам — всяк сверчок знай свой шесток!

Учителя и княжата стали уверять, что расходов никаких не будет, что княгиня все берет на свой счет, что я вернусь к ним человеком ученым, помощником им и обеспеченным на всю жизнь, но мать и бабушка и слышать ничего не хотели, заплакали и объявили наотрез,

что сына своего меньшего они ни за границу, ни в Петербург ни за что не отпустят.

— Будем молиться за княгиню и детей ее, — говорили они, — чтобы Господь умножил им Свои милости и лета жизни; только пусть княгиня нам не вменит этого в вину — нам первое утешение видеть детей наших при нас: каждому свое дитя дорого.

Так велик был испуг и горе их, что княжата и не рады были, что разговор этот затеяли, и, напившись наскоро чаю и заверив их, что княгиня на них не будет сердиться, они быстро собрались в обратный путь, а нам с братом велели садиться в экипаж вместе с ними. Любезно распростились они с матерью и бабушкой, мы с ними расцеловались и к вечеру уже были в Зубриловке. Дня через три княгиня с детьми выехала в Петербург. Перед отъездом мы получили от княжат в подарок их картузы и сертучки, а впоследствии из Петербурга они мне прислали чудесный перочинный ножичек с пилочкой, вилочкой и иглой, а также пряников.

С тех пор я их во всю свою жизнь больше не видел.

X.

В 1835 году мы выехали из села Макарова в г. Балашов, где мой родитель выстроил два дома: один каменный, а второй — дубовый, из вековых дубов, бывший господский дом, который родитель мой купил на снос. В этом доме поселился жить брат моей матери и наш благодетель, Фока Андреевич Скляров; в нем он и

скончался, как добрый христианин, напутствованный Святыми Таинами.

В 1836 году родитель мой, было оставивший службу, вновь поступил на место подвального в г. Аткарск.

Жизнь моя в течение 1835 года в Балашове осталась мне на всю жизнь памятной, потому что от брата своего двоюродного я научился такому греху, о котором стыдно и глаголати. Великою милостью Божиею я был спасен от этого греха и вот каким образом.

Уже по переезде в Аткарск, как-то раз, поутру рано, родители мои, бабушка и крестная мать пили чай, а мы все дети и другие товарищи, у нас ночевавшие, спали на полу в соседней комнате. Дверь была открыта; я в это время проснулся и понеживался и вдруг слышу разговор между моими родителями и крестною моею, Любовью Ивановною, и в разговоре этом часто повторяют мое имя. Я прислушался и слышу:

— Да что-то из него будет? — говорила моя мать. — Помните, что священник-то вам сказал?.. Да, да! ведь когда он родился, у нас уже был сын Феодор, а священник, давая молитву новорожденному, подошел ко мне, я лежала тогда на кровати, задернутая пологом, — да и говорит: «Желаю вам здравия; какое имя угодно вам дать новорожденному?» Дайте, говорю, ему имя Николай. Стал молиться священник, и, когда нужно было дать имя, он вдруг остановился и умолк. Долго он молчал и наконец произнес имя — Феодор. А я ему сказала, что у меня уже есть сын Феодор. Когда он окончил

молитву, я ему это помянула, а он мне ответил: ничего, при крещении исправим... Пришел день крестин, и вот что мне рассказывала Федина крестная: взял священник в руки ребенка, чтобы погрузить в купель и только хотел произнести: крещается раб Божий, младенец... — да на слове этом запнулся и молчит. Минут пять, сказывала она, показалось мне, он молчал так-то и мы все молчали. Слышим — погрузил ребенка с именем Феодор. Очень мы были этим недовольны. Когда кончилось таинство, крестная, а потом, в доме, и мы приступили к священнику с выговором, а он нам на это ответил: я вам как священник скажу — ведь вы видели, что я стоял долго, не погружая младенца в купель. Я желал дать ему имя Николай, но вот Бог свидетель, что я в ту минуту забыл все имена, кроме имени Феодор, и другого, при всем старании, произнести не мог — точно у меня кто связал язык. И хочу вам сказать, заметьте это: меня, быть может, и в живых не будет, а вы припомните тогда: будет младенец этот, когда вырастет, монахом.

Я лежал и затаив дыхание слушал этот разговор... Что такое — монах? — размышлял я, — никогда такого имени не слыхал я... Тем разговор обо мне и закончился, но врезался он глубоко мне в память.

Впоследствии я стал расспрашивать бабушку о том, что такое монах и какие вообще бывают монахи, и бабушка мне все разъяснила и рассказала о Киево-Печерских св. отцах и о нетленных их мощах, почивающих в Киев-

ских пещерах. Ярко запечатлелся этот бабушкин рассказ в моей памяти, и я просил бабушку, чтобы она, когда будет в Киеве, купила мне там книгу о Киевских угодниках, что бабушка вскоре и исполнила, сходивши в Киев на богомолье. Помню я вечера с бабушкой, по возвращении ее из Киева: зазовет она, бывало, меня к себе в комнату, и заставляет меня читать ей вслух Патерик, и, слушая, поясняет мне жития Преподобных. С тех вечеров зародилось у меня горячее желание, рано или поздно, побывать в Киево-Печерской Лавре и все там лично самому видеть, о чем пишут и о чем говорит бабушка.

Тем временем пристрастие мое к греховному навыку, приобретенному от двоюродного брата, все усиливалось. И вот приснился мне страшный сон: вижу я, что будто я умер и мое тело лежит бездыханным; а сам я будто своей душою стою рядом и гляжу на свой труп и удивляюсь... И вдруг увидел я двух Ангелов — один как бы мой Хранитель и другой — как бы его начальник. Этот старший Ангел и говорит моему Хранителю:

— Что же ты стоишь?

И Ангел мой как будто поднял меня на воздух и уже хотел лететь со мною кверху, на небо, но старший Ангел остановил его и сказал:

— Куда ты хочешь лететь с ним? Ему не туда дорога, а вон его место! — и Ангел указал своим перстом вниз.

И когда я взглянул на указанное старшим Ангелом место, то увидел море огня пламене-

ющего, и в нем кишмя кишели многие тысячи людей. Такое это было страшное видение, что я и высказать не могу. Старший Ангел, указывая рукой, опять сказал:

— Вон ему место!

И когда я взглянул в том направлении, то увидал огонь синий и зеленый, и в этот-то огонь и бросил меня мой Ангел-Хранитель... Боже мой! Сейчас содрогаюсь при этом воспоминании — такой ни с чем не сравнимый ужас и жгучую боль ощутил я тогда. И я кричал от нестерпимой боли, а Ангел мой стоял и смотрел сверху на мое мучение. Тогда старший Ангел сказал ему:

— Чего же ты еще ждешь?

И Ангел, который меня бросил в огонь, отвечал ему:

— Да жаль мне его — он обещает более не грешить!

Старший Ангел возразил:

— Да он не исполнит своего обещания...

Господи! Как же я кричал и плакал и уверял, что больше грешить не буду!

— Ради Бога, — кричал я, — выньте меня из этого пламени!

Тут мой Ангел-Хранитель взял меня за руку и вытащил. И когда меня вытащили из адского пламени, тогда старший Ангел спросил моего Хранителя:

— А что, ты мне ручаешься за него?

В ответ на это мой Хранитель спросил меня:

— Обещаешься ли не делать того греха?

— Не буду, не буду! — с неописуемым страхом вопил я.

Тогда мой Ангел-Хранитель повернул меня к себе спиной и так меня толкнул своей рукой в затылок, что я, проснувшись, дня три ощущал боль в затылке.

Крик мой во сне был такой отчаянный, что разбудил всех домашних. Потом меня спрашивали, что со мной было, но я ответил, что ничего не помню.

С той поры я отстал совершенно от постыдного моего греха; стал ходить с бабушкой каждый день к обедне, отказался есть мясное и обедал уже с бабушкой, потому что она скоромное не ела и сама готовила себе отдельно постную пищу. Родители меня бранили, находя, что я выдумки выдумываю, прихотничаю, обвиняли в этом и бабушку. А бабушка не была в этом повинна: это я уж очень своего сна испугался. Каждый вечер в ее комнате читал я бабушке Патерик, а она мне рассказывала о мощах, о церквах, о подвигах, и я тайно стал по ночам молиться Богу, спать на дровах... Заметила это как-то сестра моя, Екатерина, и рассказала матери и брату. Узнал от них о моих ночных подвигах и мой отец и начал выговаривать бабушке:

— Это вы, матушка, в этом виноваты: сведете малого-то с ума... Вот отпороть тебя хорошенько, — сказал он, обращаясь ко мне, — и запретить тебе с бабушкой обедать!

Но тут уже маменька за меня заступилась и уговорила отца: пусть-де себе подвижничают с бабушкой — ничего, мол, тут дурного нет. Будет постарше и сам не согласится всегда

есть один хлеб да пить одну воду; пусть их себе молятся...

Так нас и оставили с бабушкой в покое.

А во мне все усиливалась и зрела мысль: как бы мне это побывать в Киеве.

XI.

Из жизни нашей в г. Аткарске врезался особенно мне в память еще один эпизод, оставивший неизгладимый след на всю мою жизнь. Эпизод этот связан с посещением Аткарска преосвященным Иаковом, епископом Саратовским, впоследствии Архиепископом Нижегородским.

Объезжая епархию, он посетил Аткарск и служил в соборе Литургию. Муж он был высокоучительный и проповеди свои говорил народу всегда без тетради, экспромтом, отчего и не оставил по себе следа в церковно-проповеднической литературе. Народ любил Преосвященного и с великим благоговением внимал его поучениям. Изумительна была простота и сердечность его речи, и так она шла близко к народному сердцу, так близко в него проникала, что даже я, в то время 11-летний мальчик, запечатлел в своей памяти во всех подробностях одну из таких его бесед, которую и хочу теперь попутно записать в свои воспоминания.

Народ считал Преосвященного святым. И вот святой этот муж, совершив Литургию в Аткарском соборе, вышел в своей святительской мантии на амвон, оглядел своим добрым и проницательным взглядом предстоящих, заметил в их среде детей, в том числе и меня, и сказал:

— Дети! подойдите ко мне поближе!

Нас выступило вперед несколько человек, и впереди всех — я. Я стал прямо перед лицом Владыки, и он, как бы ко мне обращая свое слово, начал говорить так:

— Хочу я, дети, побеседовать с вами о молитве. Знаете ли, как надо себя приучить к молитве?.. Нужно сперва понемногу молиться, но как можно чаще. Молитва, как искра: она с течением времени может превратиться в великий пламень, но, чтобы воспламенить эту искру, нужно неослабное усердие, нужно время и нужно уменье. Возьмем, например, два угля: один — огненный, а другой — простой, холодный. Попробуйте воспламенить этот холодный огнем другого — что для этого нужно сделать? Надо приложить холодный уголь к огненному. Но, и приложив их так-то, вы холодного угля не воспламените, если не будете понемногу и постоянно дуть на огненный уголь. Если будете дуть на него слишком сильно, то из него будут вылетать искры, но холодный уголь не воспламенится, и труд ваш будет напрасен. А вот если будете дуть на огненный уголь постоянно и умеренно, то скоро весь ваш холодный, приложенный к нему уголь превратите в огонь. Тогда будут пламенеть не только оба ваши угля, но, если вы их и отдалите друг от друга на известное расстояние, загорится и все, что вы между ними поставите или положите, и тогда может разлиться целое море пламени.

Но, чтоб зажечь в печке сырые дрова или воспламенить и раздуть влажный уголь, сколь-

ко для этого нужно и времени, и труда, и терпения, а, главное, постоянства!.. И вот, говорю вам, мои деточки, — молитва есть огнь, и еще говорю, что она — угль горящий, а сердца наши — холодные угли. Поэтому и надо нам каждый день молиться — это все то же, что приложить холодный уголь своего сердца к огненному углю молитвы и раздувать его понемногу. Поверьте мне, дети, что если вы послушаетесь меня и будете каждый день молиться понемногу, но постоянно, то сердца ваши воспламенятся любовью огня божественного, но только смотрите не молитесь порывами — не выдувайте искр из огненного угля молитвы: помните, что за порывом вслед ходит лень и искрами не воспламените угля своего сердца. Начинайте так: сперва по три поклончика, говоря: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», и поклон; «Пресвятая Владычице наша Богородице, спаси мя грешнаго» и тоже — поклон; «Вси Святии, молите о мне грешном» — поклон, — да и будет. А завтра опять непременно повтори. И так продолжай изо дня в день и впредь; и заметите тогда, дети, что поначалу лень вас будет одолевать, как тяжесть какая, но если вы будете постоянно класть по три поклона, то после увидите, что вместо трех вас потянет класть и более, и тогда сама молитва будет от вас требовать умножения поклонов. Это уже будет означать, что уголь сердца стал возгораться силою веры и воспламеняться любовию к Богу и что постоянство ваше стало приносить

вам и плоды, от которых умножается жажда молитвы...

Испытайте-ка, деточки, мои слова на деле и увидите, что это так и бывает, как я вам говорю. Прибегайте к Богу, как к родимой матери: Он благ и всеведущ, Он любит нас, как мать любит своих детей. Если вы будете просить Его, Он непременно услышит вас и исполнит вашу просьбу, если только она не противна Его святой воле. Он Сам сказал: «Просите, и дастся вам», и поэтому смело прибегайте к Нему во всех ваших нуждах: идешь в училище, — преклони колени, но так, чтобы тебя никто не видел, кроме Бога, и попроси, чтобы Он озарил твой ум и память, и ты увидишь, что скорее и лучше будешь знать уроки, чем другие или сам ты прежде, когда не обращался за этим к Богу. Так поступайте всегда, перед всяким вашим делом. Молитесь, деточки, молитесь чаще; прощайте обижающим вас, и Бог міра будет всегда с вами. Каждый вечер и день кайся перед Господом, в чем согрешил, и моли Его благость, и, в чем согрешил, уже старайся не делать более, и, если как-либо и опять согрешишь, опять тотчас кайся и говори: Господи, я согрешил — помилуй меня и помози мне исправиться. И Он простит тебя и поможет твоему исправлению. Молитесь, дети, чаще Богу, и Он спасет вас.

Поучение это так врезалось в мою память, что вот уже сколько лет прошло, и я его записываю, как по книге читаю.

Как кончил Владыка свое поучение, я принял его благословение и с тех пор, с вечера

того памятного дня, начал ежедневно класть три поклона: Господу Иисусу, Божией Матери и всем Святым.

XII.

Винный откуп Ковалева кончился, и родитель мой вновь возвратился в дом свой в г. Балашов и вскоре снял на 12 лет водяную мельницу на реке Терсе, Аткарского уезда. Там же он снял и рыбную ловлю на реке Терсе и на прилежащих к ней озерах от сел Сосновки до села Матышова, где было большое рыбное озеро, в котором, случалось, в одну тоню неводом ловили лещей и судаков пудов по триста. Рыбу продавали в слободе Елани во время базарных дней. В этой же слободе была большая хлебная торговля и в дни базарные покупали и продавали тысячи четвертей пшеницы-кубанки. Купцы туда наезжали из г. Ельца.

Вскоре родитель меня взял из дому к себе на мельницу, а мать наша со всеми семейными осталась при доме в Балашове. Мне было скучно жить на мельнице — я тосковал по доме и думал день и ночь, как бы мне сбежать от этой жизни и вернуться к матери в Балашов, где у меня был закадычный друг и брат по духу, уже раз бегавший от родителей в Киев к угодникам. Этот приятель мой, по пути в Лавру, заходил в Оптину Пустынь, был на благословении у старца иеросхимонаха Леонида в его келье, и Старец, благословляя его, сказал при народе:

— Вот этот наш!

А товарищу его, купеческому сыну из Балашова сказал другое:

— Ну, этот не наш, а купец! — и еще что-то такое не особенно лестное. Впоследствии товарищ этот женился на трех женах и скоропостижно скончался, а еще при жизни его, меня и друга моего, когда мы с ними ходили в Оптину, старец Макарий предупреждал о нем, чтобы мы с ним не имели дружбы, не были с ним откровенны и даже вовсе бы прервали общение. Сказано нам это было еще до его женитьбы.

Мысль о Киеве и о моем паломничестве в Лавру неотступно преследовала меня, а тут еще привязалась ко мне скука: больно уж меня не удовлетворяла жизнь на мельнице вдали от семейных, с отцом, который был целыми днями занят. Чтобы как-нибудь рассеяться, я ходил с удочками ловить рыбу на реку Терс. Часто ужение бывало удачно и мне попадались на удочку крупные окуни. Это меня утешало. Ходил я и на охоту с ружьем: по лугам Терса было много озер, и из них одно большое с песчаными островками и с большим камышом, где дичь выводила своих птенцов. В обилии, целыми стадами, водились там кряковые утки, чирки, нырки и всякая другая утиная мелочь. Даже дикие гуси и те попадались большими стадами. Приволье, изобилие милой старины!.. Куда все это девалось?!

По берегу Терса рос мелкий лесок, и в этом леске было много высоких муравьиных куч. Хаживая на охоту, я не оставлял мысли уйти в Киево-Печерскую Лавру, и на реке ли с удоч-

кой, на озере ли или в леске с ружьем я сердцем был всегда там с великими Печерскими угодниками и чудотворцами. Особенно близок был моему духу преподобный Феодосий Печерский с его подвигами. И вот задумал я ему подражать: заходил в самую чащу леса, разрывал муравьиные кучи, снимал с себя все белье и так, опоясавшись только по чреслам, становился в самую середину разрытого муравейника. Муравьи моментально тысячами осыпали меня с ног до головы и, как мелким осенним дождем, обдавали меня брызгами своего едкого, жгучего спирта... Что это была за нестерпимая боль! Точно палящим огнем обжигала мое тело муравьиная злоба, а я, едва преодолевая добровольное свое мучение, становился на колени, возводя ум, сердце, очи и руки к небу, и жарко молился Пречистой, чтобы Она удостоила меня побывать в Своей Лавре для поклонения св. мощам и чудотворному Ее образу Успения. Молился я и преподобному Феодосию, чтобы он испросил у Господа милости быть мне иноком.

Такие подвиги я предпринимал почти всякий раз, как бывал в прибрежном лесочке, и, странно, нестерпимая боль подвига проходила, как только я надевал на себя белье — точно как будто не меня кусали рассерженные насекомые, у которых я неразумно и безжалостно разрушал жилища.

XIII.

Но несмотря на мое подвижническое усердие, моя мечта побывать в Киеве грозила так и

остаться мечтой. Тогда я решился прибегнуть к хитрости, чтобы так или иначе, а уже поставить на своем и развязаться с моим тоскливым житьем на мельнице.

Отправившись раз на охоту с ружьем, я забрался на середину того большого озера, о котором говорил выше. На самой середине озера был остров, поросший густым камышом; туда можно было, хоть и с трудом, добраться по песчаным отмелям, которые мною были изучены в совершенстве. Под шелест камыша, я всесторонне обдумал свой рискованный план и решил во что бы то ни стало привести его в исполнение. Нужны были терпение и воздержание, а этому меня научили муравьиные кучи.

Залег я на своем острове и стал ждать, когда меня взыщутся на мельнице, а тогда, сказал я себе, дело видно будет. Так и просидел я до самого солнечного заката.

А между тем дома, на мельнице, меня хватились. Ждали к обеду, — меня нет; ждут к чаю, — я все не возвращаюсь. Стали расспрашивать у всех, не видали ли где меня? Узнали, что я очень рано, поутру, ушел с ружьем на охоту. Давно уже мне была пора вернуться, а меня все нет. Родитель мой сильно встревожился и стал просить помольщиков, чтобы они сели верхом на лошадей и объехали бы окрестные места — по реке, в лес, к большому озеру — словом, объехали бы всюду, где можно было бы рассчитывать меня найти живым или мертвым. Сочувствуя родительской тревоге, помольщики сели на своих лошадей и разъехались в

разные стороны, и вскоре вся окрестность в разных направлениях огласилась криками:

— Фединька, Фединька! где ты? Откликнись нам!

А Фединька, затаив дыхание, с трепетно бьющимся сердчишком, чувствуя в глубине совести, что творит не совсем что-то ладное, притулился на острове и из его камышей ни звука не подавал в ответ на отчаянные вопли помольщиков. Тем временем солнце уже почти закатилось, темнело, и мне на пустынном острове оставаться долее становилось жутко, и я, выбравшись из камыша, стал так, чтобы меня можно было увидеть с берега озера, с которого до меня долетали оклики разосланных за мною гонцов. Меня вскоре заметили, и с криком «Вон он! вон он — на острове!» — ко мне по воде, верхом на лошади, подъехал один из помольщиков, усадил с собой на лошадь, и все радостно вернулись на мельницу. Как обрадовался мне мой бедный перепуганный родитель!.. Он бросился ко мне, осыпая меня вопросами, но я молчал как воды в рот набравши: я решил притвориться помешанным... Еще более перепугался мой родитель и послал за священником, который жил от мельницы саженях в двухстах, близ церкви, за рекой Терсой. Пришел вскоре священник и начал со мной говорить, а я в ответ понес всякую чепуху, и все решили, что я сошел с ума, или объевшись какой-нибудь вредной травы, или еще по какой-либо неведомой причине. Велико было горе моего родителя!

Тем не менее надо было со мной на что-нибудь решиться, и по общему совету решено было меня запереть в чулан, где я... преспокойно и преприятно проспал до утреннего чая. К этому времени пришел опять священник, и родитель мой, отперев дверь чулана, позвал меня пить чай... На стене чулана висела сабля, купленная родителем у какого-то прохожего солдата. На зов родителя я, как настоящий сумасшедший, быстро вскочил с кровати, схватил со стенки саблю, бросился к двери, где стоял родитель, и замахнулся на него саблей. Он быстро отскочил прочь... Я вновь и уже изо всей силы размахнулся и ударил саблей по двери, да так рубнул, что отколол половину дверной доски... Вслед за этим я заорал что есть мочи: «Вот я вам дам!..» — и понес такую околесную, что меня схватили и опять заперли в чулан... Никто не мог понять, что это вдруг со мною сделалось.

В это время приехал к нам на мельницу из Камышина двоюродный мой брат, Трифон Моисеевич, служивший дистанционным поверенным по откупу. Он ехал в Балашов для получения нового паспорта. Все ему обрадовались в надежде, что он поможет определить, какая такая приключилась со мной душевная немочь, и рассказали ему всё, что произошло. Он пожелал меня видеть, сам пошел за мной в чулан и, поздоровавшись, позвал меня пить чай. Я вышел из своего чулана довольно покойно и сел за чай, молча прихлебывая из блюдечка, а потом опять, ни к селу ни к городу, понес разную

чепуху... Видя, что мое душевное состояние нисколько не изменилось, родитель мой стал просить приехавшего брата свезти меня в Балашов к матери, и все в один голос нашли, что меня нельзя в таком положении оставлять на мельнице, где я могу или изуродовать себя, или утонуть. Этого мне только и было нужно.

Родитель мой написал к матери письмо, и меня с письмом брат свез в город. Я выдерживал характер и все представлялся помешанным.

В городе меня не решились держать в доме, а сдали на попечение тетке, уже пожилой девице, сестре моей матери, жившей во дворе нашего дома, во флигеле, и помогавшей матери по домашнему хозяйству. Вот в этот-то флигель и заключили меня до времени, и тетка моя приставлена была ходить за мной. Она меня навещала в моем заключении и носила пищу. Я продолжал вести себя как помешанный.

Уж на что умен был и проницателен дядя мой и наш благодетель, Фока Андреевич Скляров, о котором я уже упоминал раньше, и того я ввел в заблуждение: он, как и прочие, поверил моей душевной болезни и посоветовал матери вызвать доктора. Сами Ковалевы, наши хозяева, приняли участие в нашем семейном горе и послали свою лошадь за доктором в село Падов, написав ему от себя письмо. Приехал доктор, осмотрел меня, пощупал пульс, посмотрел язык, оглядел меня пристально, пожал плечами и поставил такой диагноз:

— Ничего особенно я в нем не нахожу. Со временем он придет в нормальное положе-

ние и будет здоров. Вы старайтесь ничего ему наперекор не говорить и развлекайте чем можете, чтобы он был весел. Все пройдет со временем.

Поистине для моих целей лучшего определения болезни сделать было нельзя!

С отъезда доктора маменька моя несколько успокоилась на мой счет и стала меня навещать во флигеле, а то прежде ходить боялась, да и горе ее было слишком велико. Я стал понемногу с ней разговаривать, иногда даже как совсем здоровый, и однажды, подметив в ней доброе расположение духа, сказал ей:

— Маменька! отпустите меня в Киев для поклонения св. мощам Печерским: я дал обет, что если вскоре выздоровлю. то пойду в Киев в благодарность Матери Божией за мое исцеление. Верите, маменька, что, если вы меня отпустите, я вскоре буду совсем здоров, а — нет, то я умру, мамаша!

Со слезами мне на это ответила мать:

— Милый мой Фединька! не в моей это воле — вот как отец согласится?!

— Да вы только, — сказал я, — от себя его поусерднее попросите: он вашу просьбу и желание, наверно, исполнит. А иначе скажите ему, что я могу умереть. Ну что такое — отпустить меня недель на шесть, не более?! И я вернусь к вам, за молитвы Богоматери и св. чудотворцев Печерских, здоровым.

Маменька пообещалась отпросить меня у отца, и, слава и благодарение Господу! желание мое и просьба матери отцом были уважены.

Надо ли говорить, что я тут же и выздоровел!

Через несколько дней я уже отправился в путь к Киеву пешком с попутчиками — богомольцами из нашего города.

XIV.

И вот я — в Воронеже у раки святителя Митрофана, у Иоасафа — в Белгороде, у св. Афанасия Сидящего — в Лубнах, у св. Макария — в Переяславле, у Чудотворной иконы Божией Матери — в Ахтырке — и всюду один: со своими земляками я простился в Воронеже — дальше они не пошли. Наконец достиг я и цели своих пламенных желаний. Солнце уже было на закате, когда я, мокрый от сильного дождя, застигшего меня неподалеку от Лавры, усталый, дошел до св. ворот великой обители. Вечерня только что отошла, и богомольцы толпами расходились на гостиницы. В св. воротах мне встретился инок, остановился, взглянул на меня и неожиданно меня спросил:

— Откуда ты, мальчик?

— Из Саратовской губернии, из города Балашова, — ответил ему я.

— Что ж, есть у тебя здесь кто-либо из иноков знакомый?

— Вы, — сказал я, — святой отец, первый мне будете знакомый: я здесь в первый раз и никого не знаю.

— Ну, так, — сказал он, — иди, брат, ко мне в келью — у меня и переночуешь. Поужинаем с тобою, а наутрие там, как Бог благословит...

И привел меня в столярную, где у него была и келья. Обласкал он меня, как отец родной, угостил ужином и уложил спать, сказав:

— Отдыхай, брат! а завтра пойдем к ранней обедне.

Можно ли выразить словами или описать, с какою радостью и восторгом вошел я в первый раз в главный соборный храм Успения Богоматери? Понять волновавшие тогда меня чувства может только тот, кто хоть раз в жизни от всего своего сердца, от всего помышления, от всего существа своего возносил пламень своей молитвы к Богу...

Когда я после поздней Божественной литургии подошел в числе прочих богомольцев к святой иконе Успения Богоматери, чтобы приложиться, я ощутил от нее такое благоухание, какого ни прежде, ни после уже более не обонял, но это не было благоухание розового масла, которым обычно умащают св. иконы, это было что-то такое чудное, с чем никакие запахи самых благовонных цветов сравниться не могут, и душа моя исполнилась восторга неземного.

Прожил я в Лавре на гостинице более двух недель как одно блаженное мгновение. Каждый день ходил в Пещеры к ранней обедне, и меня стали знать Пещерные монахи. Один из них, расспросив меня, чей я и откуда, поручил мне с ним вместе ходить со свечкой в руках передовым с богомольцами, читать для них вслух надписи на гробницах Угодников. И я ходил, весь объятый трепетным восторгом, возглашал громким голосом святые имена тех, которых весь

мір со мною вместе недостоин, клал земной поклон перед каждой гробницей, прикладывался к св. мощам со словами: «Святый Преподобный (имярек), моли Бога о нас» — и то же внушал делать и остальным, следовавшим за мною богомольцам. Это добровольное и неизъяснимо для меня радостное послушание я нес почти каждодневно... О святое, благословенное и на всю мою жизнь незабвенное время!..

Пришла наконец пора собираться мне и в обратный путь: побывал я во всех святых местах Киева — во всех храмах Киевских, в Софийском соборе, у св. Великомученицы Варвары — всюду возносил я свою пламенную молитву к Господу и Пречистой, и главной моей молитвой была просьба о том, чтобы Они меня приняли в число иночествующей братии, хотя бы на самое тяжелое послушание... Последнюю свою службу в Киеве я отстоял в Успенском Лаврском соборе. Теснота в соборе была великая. Я стоял всю службу на коленях перед чудотворной иконой Богоматери. И жарка же была моя к Ней слезная молитва!.. Вверив себя и всю свою судьбу Преблагословенной, приложившись в последний раз к святой Ее иконе Успения, поклонившись Ей до земли, я пробрался к раке преподобного Феодосия. Пал я перед нею ниц и опять молился: слезы сами так и текли из глаз моих, как вешняя вода, пригретая весенним солнышком, и все об одном была моя молитва. Восторг моей молитвы дошел наконец до того, что я, не чувствуя себя, схватил своей рукой себя за волосы, с силой рванул и вырвал из

головы своей большую прядь волос и со словами: «Вот тебе, Преподобный, залог моего желания стать иноком» — положил эту прядь сверх гробницы, прямо в руки изображения пр. Феодосия, и опять на коленях продолжал молиться и плакать у св. раки.

Вдруг вижу: из угла храма, где стоит рака, идет ко мне, раздвигая народную толпу, престарелый седой инок. Подошел он ко мне, нагнулся почти к самому моему лицу и тихо спросил:

— Это что же ты положил сверх раки-то на изображение Преподобного?

— Это мои волосы, — тихо и трепетно ответил я старцу, — я вложил в руки Преподобного, вверяя себя его святым молитвам. Он игумен здешний, и я просил его, чтобы он умолил Господа рано или поздно быть мне иноком.

— И Бог исполнит твое желание, — тихо сказал, наклонясь ко мне, старец и пошел обратно в темный угол, из которого вышел.

В тот же день я поклонился Киеву в последний раз и отправился в свой далекий обратный путь на родину. По дороге я заходил в Воронеж к великому святителю, Архиепископу Антонию, получил его благословение и удостоился слышать из уст его ободрившее меня слово: «Подожди — рано еще — успеешь!..»

Стало быть, я буду монахом!.. Очень я был этим утешен.

XV.

Как рады были родители моему возвращению из далекого странствования, всякий пред-

ставить себе может. Благополучное мое возвращение внушило им ко мне такое доверие, что родитель мой нашел возможным вверить мне отдельную отрасль своих дел — свечную лавку, из которой он торговал оптом и в розницу восковыми свечами, и я стал, несмотря на свои юные годы, почти самостоятельным торговцем, приказчиком на отчете.

В это время я познакомился и близко сошелся с купеческим сыном, Феодором Андреевичем Какирбашевым, торговавшим от меня по соседству — через лавку — юхтовым и железным товаром. Сблизила нас с ним общая любовь к монашеству. Впоследствии он был наместником в Площанской пустыни (Орловской губ.), где и окончил свою жизнь, приняв перед смертью схиму. К нашей дружбе присоединился еще и другой сосед, тоже купеческий сын, торговавший галантерееею, бакалейным и колониальным товаром. Этого путь впоследствии ничего не имел общего с нашими юношескими стремлениями и надеждами. Но в то время мы все трое были как одна душа и стремились к одной цели, и целью этой был монастырь и подвиги иноческой жизни. Только воля родителей стояла перед нами как стена непреодолимой преградой к осуществлению наших пылких влечений.

Жили мы тогда так: день занимались каждый своей торговлей, а наступала ночь — мы собирались вместе в теплушку к галантерейщику и там по целым почти ночам молились, читая акафисты, псалтирь, каноны, и когда изнемогали от трудов бденных, то, прочитав молитвы на

сон грядущий, помянник и главы три из Евангелия и Апостола, ложились спать, укрепляя себя взаимным примером и добрыми советами. Ночным караульщикам наших лавок было вменено в обязанность будить нас в три часа утра, и в этот ранний час мы опять становились на молитву́. Кроме того, мы каждый день стали ходить и в будни к утрени и к обедне, прислуживали в алтаре, носили подсвещник, подавали кадило, читали часы. Нам из всего города принадлежал первый почин подавать просфоры на проскомидию о здравии и упокоении, чего раньше в Балашове не было в обычае. На нас глядя стали подавать и другие, так что вскоре к проскомидии стало собираться частных просфор до пятидесяти и более. Богатое наше именитое купечество, усердное к Божьим храмам, так полюбило этот добрый христианский обычай, и через то приношение просфор до того умножилось, что печение просфор стало прибыльным занятием, которым занялось несколько девиц, и оно было источником их пропитания. Священники нас очень любили за наше усердие и звали «монашатами», а сверстники подсмеивались и то же название обращали в насмешку. Особенно недоброжелательно к моим стремлениям и моему поведению относился старший мой брат, Феодор, служивший при откупных делах конторщиком и кассиром. Начитался он Пушкина и других светских писателей, и колом в горле стояло у него монашество... Подавали мы и милостыню, и заключенных в темницах посещали —

словом, всей душой стремились осуществить в своей юной жизни заветы Христова учения.

А мысль о монашестве все росла и зрела в моем сердце. Нетерпеливый мой характер едва мирился с препятствиями...

День и ночь я думал свою неотступную думу и наконец решился на тайный побег. Остановка была за паспортом, но план у меня уже созрел, оставалось только привести его в исполнение.

XVI.

Как старожил и домовладелец, отец мой был хорошо знаком почти что со всеми именитыми гражданами нашего города: секретарь Градской думы, или, по тогдашнему, Магистрата, Яков Иванович, был моему отцу приятелем, и вот из этих-то добрых отношений я и замыслил извлечь выгоду для выполнения плана моего побега. Задуман он был хитро, и я до сих пор удивляюсь той ловкости и смелости, с какой я устроил свое бегство.

Выбрал я денек, когда отца дома не было, и пошел в Думу, и, хотя это был Царский, следовательно, неприсутственный день, я знал, что Яков Иванович, как добрый пример службиста, будет на своем посту, несмотря на праздник. Мало таких осталось теперь ретивых чиновников, да какие и остались, то терпят их на службе больше из милости... Яков Иванович, действительно, был в Думе и сидел на обычном своем месте, разбирая вновь поступившую почту. Я смело подошел к нему и попросил его написать и выдать мне паспорт.

— Что, али куда собираешься ехать? — поглядывая на меня поверх очков, спросил Яков Иванович...

— Да вот, нужно спешно ехать с восковыми свечами на ярмарку в село Карапшовку, Аткарского уезда.

— Э, Фединька, не вовремя ты пришел-то сегодня: ведь нынче табельный Царский день, а присутствия-то в эти дни не бывает... Впрочем, погоди, спрошу у писца, не отперт ли сундук, где хранятся бланки.

Сундук, на мое счастье, оказался отпертым.

— Ну, так возьми ж сам в сундуке один бланк, напиши его, занумеруй и приложи печать. А там снеси его к подпису к твоему дяде — он гласный, а нет — к градскому голове, Филиппу Александровичу: кто-нибудь из них тебе и подпишет.

Все это, за исключением подписи гласного или градского головы, я проделал, занумеровал свой паспорт; секретарь его подписал и печать приложил. Я поблагодарил доверчивого Якова Ивановича и отправился домой. Дело мое, стало быть, остановилось за главной подписью. Что теперь мне делать? — думал я: дяде мне сказать про паспорт нельзя — он родителю скажет, или брату, или матери, спросит, куда и зачем я еду, и тогда весь мой план будет разрушен... Постой! — вспомнил я: дома, в столе, есть старый папашин паспорт. Пришел домой, полез в стол, нашел паспорт, приложил его к оконному стеклу вместе с моим бланком и сперва карандашом, а затем и чернилами свел подпись

городского головы, да так искусно, что сам городской голова прозакладывал бы свою голову, что это им подписано, и паспорт мой таким образом оказался в полном порядке.

Вечером, когда все улеглись, я из своего сундука достал две смены белья, несколько серебряных рублей и два десятирублевых золотых и в ту же ночь тайно бежал из города, никому не сказавшись и не простившись ни с кем из родных. Только мой друг и брат духовный, Феодор Андреевич Какирбашев, знал о моем побеге и даже провожал меня за город. Он уже был и сам раз в таких бегах и некоторое время прожил послушником в Площанской пустыни, пока его силой оттуда не вытребовали родители. На его сочувствие и скромность я мог вполне рассчитывать. С его кожаной сумочкой, с которой когда-то и он бегал, убежал и я.

Куда я шел, я и сам не знал... На другой день своего бегства я нагнал по дороге целое семейство паломников, вышедших раньше меня из нашего города. Шли они в Воронеж на поклонение св. мощам святителя Митрофана; с ними и я дошел до Воронежа. А дальше куда?.. Тут я вспомнил, что некогда у моего родителя в услужении был один молодой человек, родом из обедневших дворян, по фамилии Костенков. Про него я много слышал от моей покойной бабушки, которая мне рассказывала, что он был молодой человек необыкновенно расторопный и услужливый и, что называется, молодец на все руки; но одним он моей бабушке не нравился, и крепко не нравился: сквернослов

он был ужасный, особенно когда бранил рабочих, но что всего более было бабушке не по сердцу — это то, что от него проходу не было женскому полу и матери горько обижались на него за своих дочерей. Сколько раз бранила его моя бабушка, сколько усовещивала, а он ей все твердил одно:

— Не бранись, бабушка! — вот уйду в монахи, тогда и за тебя буду Богу молиться.

— Э, пес, пес! Уж тебе ли быть монахом! — ворчала на него бабушка, — такому-то озорнику, шалаборнику, девушнику?!

— Ай, бабушка, бабушка! — со смехом отзывался на бабушкино ворчанье «озорник», — не такие еще, да и то попадали в рай, а в монастырь-то попасть легче... Тогда, бабушка, я за тебя буду молиться, а теперь так ты за меня молись, чтобы Бог помог мне исправиться.

Только долго не исправлялся «озорник», а бабушка все ворчала и гневалась, хотя, я уверен, втайне за него молилась... И вот настал день, пришел «озорник» к моей бабушке и, весело улыбаясь, объявил ей:

— Вот что, бабушка! пришел я к тебе благодарить за все твои выговоры и благие пожелания. Благослови меня теперь вместо матери идти в монастырь — час мой настал, и я желаю порешить с міром. Не забуду я никогда твоей брани и добрых советов и буду, пока жив, за тебя молиться, а ты молись за меня, окаянного грешника!

Надо ли говорить, как таким речам обрадовалась бабушка? Она благословила «озорника»,

обняла его своей старческой рукой, как мать родная...

— А деньги-то у тебя, озорника, на дорогу есть? — спросила бабушка.

— Ни копейки, бабушка, нет!

Она пошла его провожать за город и, сняв с себя крест, благословила его еще раз, надела свой крест ему на грудь и дала ему на дорогу пятьдесят копеек старыми пятаками. Поклонился «озорник» бабушке до земли уже не с улыбкой, а со слезами и направил свой путь к Троице-Сергиевой Лавре... Потом дошли до бабушки слухи, что Костенков поступил послушником к Преподобному Сергию, обратил своей даровитостью и ревностным послушанием на себя внимание лаврского начальства, лет через восемь после своего поступления в обитель был посвящен в иеромонахи и недонократно сопутствовал митрополиту Филарету в его поездках в Петербург уж служить при Митрополите... Потом, как я слышал, он был строителем Давыдовской пустыни. Имя его в монашестве было Герасим.

XVII.

Вот об этом-то Герасиме я и вспомнил и решил из Воронежа идти к нему в Троице-Сергиеву Лавру, а там, подумал я, видно будет, как Господь устроит мое желание...

Отправился я из Воронежа, конечно, пешком на Задонск. Тогда еще не были открыты мощи святителя Тихона. Из Задонска, помолясь Богу и отслужив панихиду в пещерке, я по-

шел на Москву и оттуда, уже не помню на какой день, во время вечерни пришел в Троице-Сергиеву Лавру. Войдя в ограду обители, я подошел к книжной лавочке и спросил монаха, как мне найти иеромонаха Герасима.

— Подождите немного здесь, — ответил мне монах, — о. Герасим — служащий. Вот отойдет вечерня, он пойдет тут, мимо нас, в свою келью: тогда вы и подойдите к нему.

И точно: не прошло и получаса, стал народ выходить из храма, а за народом вышел и о. Герасим, роста высокого, с прекрасными длинными волнистыми волосами, с небольшой бородой и необыкновенно величественной, прекрасной наружностью. На него мне указал лавочный монах и сказал:

— Вот он — иди к нему под благословение!

Я подошел и, поклонившись до земли, принял его благословение.

— Ты откуда, мальчик? — спросил меня о. Герасим.

— Из города Балашова, — отвечал ему я, — внук известной вам бабушки Василисы Семеновны. Она вам кланяется и просит ваших святых молитв.

Бабушка моя еще тогда была жива... Радостной улыбкой осветилось лицо о. Герасима, и с любовью он переспросил меня:

— Так ты ее внук? Сын Афанасия Родионовича?.. Давно ль ты здесь?.. Идем же со мной в мою келью!

С какой теплой радостью обнял меня и вновь благословил о. Герасим, когда мы вошли с ним в

его келью. На столе уже был приготовлен чай, и за чаем он прямо засыпал меня вопросами: о бабушке, о родителях, о всем нашем житье-бытье... Любовь и добрая память о прошлом говорила в этих расспросах — я едва успевал отвечать на них о. Герасиму...

— С кем же ты сюда приехал? — спросил меня батюшка.

Пришлось мне тут рассказать ему все о моем тайном побеге из родительского дома и о моем стремлении поступить в монастырь.

— В какой же ты монастырь желал бы поступить? — спросил меня о. Герасим.

— Да вот, — ответил ему я, — хотя бы к вам в келейники.

— И с радостью я бы тебя оставил у себя, — сказал мне он, — но, видишь, друг, — выйдет твоему паспорту срок, тебе необходимо будет вернуться домой к родителям, а за год, что ты пробудешь у меня в многолюдной Лавре, ты ничему не будешь в состоянии не только научиться, но даже как следует видеть из иноческой жизни. Мой тебе совет: поживи здесь недельку-другую и отправляйся отсюда в Оптину Пустынь, в Скит, к о. Макарию — поживешь в Оптиной год и увидишь истинных монахов-подвижников; а здесь тебе будет в твои лета не на пользу.

— А далеко эта Пустынь?

— Да верст двести с небольшим: от Калуги до Козельска и Оптиной верст около семидесяти... Вот там есть истинные подвижники монашеской жизни и старчество, а здесь, Фединь-

ка, бойкое место — слишком людно, а в твои лета, без опыта монашеской жизни, говорю тебе любя и из благодарности к твоей бабушке и родителям, здесь жить тебе будет не в пользу. В Оптиной все узнаешь, все поймешь: великий старец — иеромонах Макарий и великие там подвижники.

Дня два прожил я у о. Герасима в Троице-Сергиевой Лавре и, нежно, с любовью простившись с ним и получив его благословение, отправился обратно в Москву, а из Москвы на Калугу и в Оптину.

XVIII.

Был жаркий ясный летний день, когда я, отмахав семьдесят верст от Калуги до Козельска, подходил к Оптиной. Солнце уже склонялось к закату, жара спадала... Я сильно устал — и то сказать: семьдесят верст пройти за один день — не шутка, впору и большому пешеходу постарше. Не дойдя до перевоза через реку Жиздру, быстро несущую свои воды под самой Оптиной, я свернул около небольшого озера налево, в лесок. Мне захотелось есть. Я снял с плеч свой кожаный мешок, вынул оттуда хлеб, яичек, соль... и в эту минуту вдруг вспомнил о матери, о родительском доме, о скорби, которую я причинил своим побегом матери, представил себе ее горе, ее безутешные слезы... и стало мне до боли жалко мать свою родную. Пал я на колени и горько, горько заплакал. Жарко я молился тут Богу и Пречистой, моля Их избавить мою родимую от ее сердечной

муки, внушить ей и всем близким моим надежду на мое благополучное возвращение... После молитвы я немножко успокоился и сел закусывать, а, закусивши, опять заскорбел: куда я пришел? Нет у меня здесь никого не только близких, но даже и знакомых... Говорил мне, правда, о. Герасим, что в Скиту есть два инока — отец с сыном из Саратова — Никита и сын его Родион, но ведь они, с горечью думалось мне, люди мне совсем незнакомые... Что-то ждет меня в этом чуждом для меня месте?.. А между тем солнце уже закатывалось: надо было решаться, и я, со скорбью в сердце, пошел к парому. Паром стоял под другим берегом на Оптинской стороне. У парома суетился перевозчик — старичок лет шестидесяти...

— Дедушка! — стал кричать я ему, — перевези меня на тот бок!

И он мне ответил протяжно, по-стариковски:

— Сей-час, род-ноой! — и подтянул паром к моему берегу. Тихонько передвигал он старческими своими руками канат, и, когда паром уже со мною вместе был на середине реки, вдруг зазвонили в Оптиной во все колокола. Шла всенощная, и это уже был второй звон. Мой старичок-перевозчик осенил себя крестным знамением и, поглядев на меня пристально, сказал:

— Вот еще какого перевожу: в первый раз и со звоном!.. Да ты, мальчик, откудова?

— Из Саратовской губернии! — ответил ему я.

— Из Саратовской? Эва, откуда! Издалека ж ты пришел. Что ж, есть у тебя тут родные, что ль?

— Нету, дедушка, нет никого.

— Да к кому ж ты идешь?

— Да старец тут у вас есть, какой-то отец Макарий!

— Есть, брат, есть: он в Скиту живет — в Скит ступай — там его и найдешь.

Переехал я через Жиздру и прямо пошел в церковь, где шла служба. Это был храм, как я потом узнал, во имя Введения во храм Пресвятыя Богородицы. В церковь нельзя было пробраться — так было много народу, и я стал у двери направо... Ноги мои от усталости и от дорожной пыли, забившейся в обувь, горели как в огне. Простоял я с полчаса, и больше не мог уж терпеть, и, выйдя из храма, сел на ступеньки паперти, разулся и стал из портянок выколачивать пыль... Ко мне подошел престарелый, с седой бородой инок и спросил меня:

— Ты это, брат, откудова?

Я ответил. Он не удовлетворился моим ответом и продолжал:

— Эва, откуда! Далеко!.. А ныне-то откуда пришел?

— Из Калуги.

— Что ж, родственники у тебя, что ль, здесь есть?

— Нет, батюшка, ровно никого — ни родственников, ни знакомых...

И с этими словами я заплакал... Старичок-монах с любовью и необыкновенно теплым участием опять обратился ко мне с вопросом:

— Что, аль к нам в обитель послужить пришел?

— Да, батюшка, — ответил я, — желаю быть монахом... Где, скажите мне, найти мне тут старца о. Макария — я про него слышал в Сергиевой Лавре?

— О любезный мой! так иди ж к нему скорее, а то кабы в Скиту не заперли ворота.

И добрый старец проводил меня до самого Скита и, прощаясь со мной у калитки, ласково, ласково сказал мне:

— Ну, теперь иди с Богом! Мне ведь все странники родные: я сам, брат, по-твоему много прошел... Ну, иди, иди с Богом. Мир тебе!

XIX.

В те времена, когда со мной совершились эти события моей жизни, скитский лес был куда гуще и величественнее, чем теперь, и в вечном полусумраке его святой тайны Божьяго девственного создания догорающий день быстро сменялся мраком ночи и темная тень ложилась плотнее и гуще, чем на просторе обширного Оптинского монастырского двора. Красота был в то время скитский лес, когда в благоговейном трепете подходил я со своим путеводителем к св. воротам, скрывавшим за собой, казалось мне, истинных небожителей, временно и только для назидания людям сошедших с горняго неба на грешную землю... Вспомнил я по дороге, что о. Герасим, прощаясь со мной в Сергиевой Лавре, сказал мне:

— А ты постарайся найти, как придешь в Оптину, в Скиту двух рясофорных монахов, отца с сыном — они ваши, саратовские. Зовут

отца Никитой, а сына Родионом; они, наверное, к тебе будут ближе других.

И вот, идя дорожкой по лесу в Скит, я и думал: ах, если бы мне найти своих земляков — все бы было лучше...

Когда ушел мой старец-путеводитель, я, еще не входя в святые ворота, бросился на колени перед изображениями св. Отцов на стенах св. входа и слезно им помолился, чтобы они меня приняли в скитскую братию, и затем трепетно переступил порог Скита, осенив себя крестным знамением... Меня сразу обдал густой, чудный запах резеды и всей роскоши скитских цветов благовонной вечерней зари догоревшего знойного летнего дня... Прямо передо мною, пересекая мне дорогу, смотрю, идут два инока... В скитском храме зазвонили во все колокола... Я поклонился инокам в землю...

— Откуда, брат?

Я назвал свою родину. Иноки переглянулись между собой...

— Не знаете ли, — спросил я, — где мне найти двух монахов, отца с сыном из Саратовской губернии, по фамилии, кажется, Пономаревых?

— А что ж, они родственники тебе, что ли?

— Нет, — говорю, — не родственники, а как у меня здесь никого нет, то я и ищу хоть земляков.

— Ну и слава Богу говори: твои земляки с тобой-то и разговаривают — я отец, а это — мой сын...

При этом они мне дали братское целование. Это были Никита и Родион Пономаревы, в мона-

шестве Нифонт и Иларион. Сильно обрадовался я этой встрече, в которой не мог, конечно, не усмотреть промыслительного о мне грешном Божьяго смотрения. Скит мне сразу сделался родным.

— А где бы мне увидать старца Макария? — спросил я земляков. Отец Родион, сын старика о. Никиты, сказал мне:

— Пойдем за мной в церковь — он там, и я тебя подведу к нему под благословение.

Батюшку Макария мы, действительно, застали на молитве в церкви. Шло бдение. Доложили ему обо мне.

— Какой-то странник, батюшка, вас спрашивают. Желает вас видеть и сказывает, что наш земляк, — доложил Старцу о. Родион.

Надо сказать, что Пономаревым я при встрече не успел ничего другого объяснить, кроме того, что я ихний земляк: ни имени моего, ни фамилии они не знали, да и во всей Оптиной меня никто знать не мог.

— Где он? — спросил Старец.

— Стоит у церкви.

— Приведите его сюда ко мне...

И меня ввели в церковь и подвели к Старцу. Я упал ему в ноги с замирающим от волнения сердцем, и, когда встал, Старец, благословляя меня, сказал:

— Э, да это, знать, Федор!..

Дивное прозрение...

— Откуда ты сегодня пришел?

— Прямо из Калуги, — ответил я вне себя от изумленной радости, представ перед дивным Старцем.

— Так веди ж его скорей в трапезу, — сказал батюшка о. Родиону, — да скажи повару, чтобы он хорошенько чем Бог послал его накормил... Да ты уж, — обратился ко мне старец, — после ужина-то не ходи ко бдению, а ложись спать, а то ты устал, голодный!

И правду сказать, и голоден я был, да и было мне с чего устать, пройдя за день более 60 верст.

В трапезе меня накормили досыта. Смотрю, о. Родион тащит мне подушку...

— Это мне к чему ж? — я еще хочу пойти ко бдению, — сказал я о. Родиону.

— Старец не благословил, а велел спать ложиться, — возразил мне о. Родион.

Пришлось умерить свое усердие. Ложась спать, я попросил о. Родиона побудить меня к обедне и... заснул сном крепчайшим. Это была первая моя ночь в Оптинском Скиту. Ни снов, ни видений: как лег, так и заснул беспробудно до следующего утра.

XX.

Высоко стояло солнышко на небе, когда поутру тот же инок пришел в трапезную и разбудил меня. Был уже 8-й час утра.

— Ну, земляк, — сказал он мне, — батюшка о. Макарий прислал за тобой, чтобы шел к нему в келью чай пить.

— А как же обедня-то?

— Обедня? Обедня-то уж отошла, и батюшка за тобой послал, придя от обедни. Я у батюшки келейником, и будить тебя к обедне он меня не благословил. Не скорби о том, что

проспал обедню — это так Старцу было угодно, и послушание паче поста и молитвы. Вот завтра, живы будем и Господу будет угодно, разбудят тебя в два часа, тогда вставай, только не ленись!

При этих словах мы подошли к келье Старца, о. Родион мне сказал:

— А как взойдешь к Старцу, будь посмелей и говори ему все откровенно, как отцу, да, взойдя, помолись и потом поклонись Старцу до земли — такое у нас чиноположение.

А я не только готов был кланяться, но и ноги целовать Старцу и землю, на которой следы стоп были Старца...

Когда мы взошли в прихожую старцевой кельи, батюшка о. Макарий сидел в ней в белом холщовом худом балахончике с четками в руках. Встретил меня Старец весьма ласково. Я поклонился ему земным поклоном, и он, благословив меня, с ангельской улыбкой сказал мне:

— Что, брат Федор, проспал? выспался?

— Простите, батюшка, проспал.

— Что ж, приятный сон был для тебя?

— Да я и не просыпался — крепко спал.

— А поблагодарил Господа за приятный и здравый сон?

— Нет, батюшка!

— Ну, так иди ж вот с келейным, отцом Родионом, и пейте там вместе с о. Амвросием чай, и тогда в келье положи пятьдесят земных поклонов и поблагодари благого Господа за дарованный сон. Знаешь ли, кому дает Господь приятный сон?

— Не знаю, батюшка.

— Он дает сон любящим Его: «аще поспиши, сладостно поспиши...»

В это время взошел второй келейник Старца, как я потом узнал, иеродиакон о. Амвросий.

— Возьми-ка вот брата-то, отца Феодора, к себе в келью, и пусть он у вас и живет с отцом Родионом. Пойте его чаем и берите с собой в трапезную до тех пор, пока я его позову к себе...

В этот раз мы чай пили все вместе: Старец, о. Родион, о. Амвросий и я у Старца в келье. За чаем батюшка меня подробно и ласково расспросил о родителях, о родне, о моем желании поступить в монастырь...

— Так ты хочешь быть монахом? — спросил меня Старец.

— Хочу, батюшка.

— Молись прилежнее Богу, будешь и монахом.

После чая мы с келейником вышли от Старца все вместе в келью о. Амвросия, где о. Родион сообщил мне о себе, что он с отцом своим родом из Саратова и в нашем городе хорошо знаком с нашим городским головой, Филиппом Александровичем Туркиным. Много мы тут побеседовали с ним о родине.

О. Родион вскоре ушел, а о. Амвросия позвали к Старцу. Уходя, о. Амвросий дал мне книжку Исаака Сирского, и я прочел в ней «о молитве», а затем занялся осмотром внешней обстановки кельи. Незатейлива была она: жесткая деревянная кровать; под кроватью большое

лукошко с соломой; на кровати узенький полстничек и подушка с холщовой наволочкой. В переднем углу небольшой образ, и перед ним горела лампада; стул, столик и рукомойник с тазом — вот и вся келейная мебель, что была в то время у о. Амвросия... Лишним казалось мне только лукошко с соломой... Когда вернулся в келью о. Амвросий, я его спросил:

— На что вам, батюшка, лукошко это?

— Да вот, хочу гусенят выводить, — ответил мне смеясь батюшка...

Так и не узнал я, на что ему было лукошко. Шутник был батюшка, и шутник приятный, — с ним весело жилось, но в шутках его всегда заключалось что-либо назидательное и полезное для жизни.

XXI.

Спустя три дня о. Амвросий сказал мне:

— Брат Феодор, иди к старцу о. Макарию — он пойдет с тобой к о. игумену Моисею для определения тебя в обитель.

Когда мы со Старцем пришли в игуменские покои, о. Макарий ввел меня из прихожей в зал, а сам пошел в кабинет или спальню к о. Моисею, и спустя минут двадцать они вошли оба в залу. Тут в первый раз увидел я великого игумена. Поклонился я ему в ноги и принял благословение, и о. Макарий сказал ему:

— Вот, батюшка о. игумен, я привел вам нового подвижника Федора; он желает поступить в монастырь для испытания себя в иноческой жизни: благословите его принять.

— Благословен Господь, посылаяй к нам рабов Своих, — ответил о. игумен, — а паспорт-то у тебя есть? — спросил он меня.

Я подал паспорт.

— А деньги есть у тебя?

У меня сохранились мои два золотые и еще несколько серебряной мелочи. Я отдал ему деньги, и он при мне положил их в ящик стола, стоящего в зале, и потом звонком вызвал молодого келейника и сказал:

— Бежи в рухольную и спроси у рухольного, чтобы он дал тебе на его рост свитку и пояс ременный.

Стремглав побежал келейник. Пока он бегал в рухольную, о. Моисей кратко объяснил монастырское чиноположение Оптиной, обязанности истинного послушника, и объявил мне, что принимает меня в число братства, и благословил мне дать келью в среднем этаже башни, что у ворот близ булочной лавки, окном на реку Жиздру.

Быстро возвратился из рухольной келейник и принес мне послушническое одеяние. Надо было видеть, из чего состояло это одеяние! Свитка из сурового мухояра, поношенная, с несколькими заплатами... а пояс — простой белый, корявый, с железной петлей для затяжки, точно чересседельник для рабочей лошади...

Отец игумен взял в руки свитку, поглядел, показал мне...

— Ведь вот, брат Федор, какая одежда-то у нас! — сказал он мне как бы с сожалением, — плоховата, вишь, одежда-то!

— Так что ж, батюшка? — отвечал ему я, — ведь преподобный-то Феодосий Печерский, когда бежал от матери, такие же носил, а не шелковые...

— А ты разве знаешь житие Преподобного?

— Читал в Патерике.

— Ну, хорошо — так скидай же сертучок-то свой да в подражание Преподобному и носи эту свитку.

И, сказавши это, о. игумен благословил и меня, и свитку. Оба старца помогали мне снимать мой сертучок, помогли надеть и свитку; а когда меня нужно было опоясать, о. игумен взял в руки ремень, посмотрел на него и, показывая мне его, опять как бы соболезнуя промолвил:

— Вишь, и пояс-то дали какой корявый! — и оба вместе с о. Макарием, подпоясав меня, застегнули как должно. Я поклонился о. игумену в ноги, и оба старца меня благословили...

— Ну, теперь спасайся о Господе, — сказал мне о. игумен, — молись усерднее, старайся подражать жизни св. Отец, будь образцом и для нас немощных. А что тебе будет нужно, приходи ко мне и говори все небоязненно, а мы, по силе возможности, будем утешать и тебя, как ты утешил нас своим приходом к нам в обитель, из любви к Богу оставил своих родителей и вся яже в міре. Господь да укрепит тебя, иди с миром, а утром я назначу тебе послушание.

Со слезами бросился я к ногам старцев, облобызал их в восторге радости, что меня приняли в обитель, и, поцеловав затем благослов-

ляющие их руки, пошел за келейником и водворился в назначенной мне келье.

Так совершилось мое первое вступление в великую Оптину Пустынь.

XXII.

Келья, мне отведенная, должно быть, давно была необитаема, и воздух в ней был такой спертый, что, отворив в нее дверь, я так и не затворял ее до тех пор, пока меня не перевели в корпус, где была живописная, назначив мне в ней проходить послушание и учиться живописи. Недолго я жил в этой башне, но, как ни была в ней неприглядна обстановка, я не могу передать того чувства, которое я испытывал тогда в своем сердце: я горел огнем ревности и любви к Богу... Боже мой! что это была за радость! Сердце как воск таяло, и для меня легко было всякое послушание. Я тер в живописной краски, топил баню, ходил на общие послушания: поливал овощи, убирал сено; красил с о. Пименом полы в Казанской церкви; сажал капусту. Потом назначили меня в кухню, где через полгода сделали поваром. Трудное было это послушание, но для меня и его было мало: я старался, когда отдыхали помощники, за них что-нибудь сработать — носил дрова, хлебы из хлебни, разрезал их на ломти, раскладывал рыбу по блюдам — словом, я, что называется, сгорал от жажды деятельности. Когда меня назначили в живописную, я учился рисовать карандашом и тушью; ходил к ранним обедням, где пел на клиросе, — голос у меня

хороший — дискант; опять тер краски и красил с о. Пименом полы; при этом я исполнял некоторые обязанности келейного у отца Петра Александровича Григорова, хотя и продолжал жить в живописной. Обязанности эти не были особенно сложны: я ставил ему самовар и убирал келью, за что он поил меня чаем и дал мне разрешение пользоваться его библиотекой.

Этот о. Петр Александрович Григоров был из военных — человек ученый; служил в военной службе в царствование Государя Александра Павловича и в смутные дни воцарения Николая I. Затем ушел в Задонский монастырь, где был келейником у великого затворника Георгия, после смерти которого поступил в Скит Оптиной Пустыни и был в Оптиной вроде письмоводителя. Замечательный был это человек, и я от него многому понаучился, наслышавшись от него и про многие политические тайны прошлого времени, и про его жизнь, и про великого раба Божия Георгия-затворника. Хорошо мне было тогда жить в живописной! Петр Александрович меня любил; батюшка о. Макарий тоже. Оба они меня ласкали своими милостями: к о. Макарию мне было разрешено ходить, когда было мне можно, и утром и вечером в келью к келейникам, батюшке — о. Родиону и о. Амвросию. Баловали меня даже пряниками, которые я получал и от Старца, и от Петра Александровича. Сладко мне жилось в то время в Оптиной, — это было в 1845 году, — и жутко было подумать, что придется-таки мне дать о себе знать на родину, когда истечет срок паспорту; надо

было дать весточку о себе родителям, которые обо мне ровно ничего не знали... Хотя любовь к Богу и побеждает любовь естественную, но не могу и не хочу скрыть, что, живя в обители, я часто вспоминал скорбь своей матери и нередко со слезами падал на колени перед чудотворным образом Казанской Божией Матери, что в Казанской церкви, и молил Преблагословенную, чтобы Она утешила Своею благодатною силой горе моей дорогой родительницы.

А все-таки мне было жутко открыть свое блаженное пребывание в Оптиной. И мудрено ли то было, когда Оптина была не только для меня, убогого разумом, но и для высоких людей уголком рая, точно забытым ненавистью врага рода человеческого или, вернее, огражденным от нее всесильной властью Царицы неба и земли, Приснодевы Богородицы? Благолепие храмов и священнодействий; стройное пение; примерная жизнь в духе благонравной и преуспевающей духовно под богомудрым водительством старца Макария и игумена Моисея братии; дивные службы церковные, окрыляющие дух пренебесной радостью... могло ли что на земле сравниться с дивной Оптиной!.. А отдельные подвижники Оптиной, эти земные небожители! Старец Макарий; игумен Моисей; иеросхимонах Иоанн, обличитель и гроза раскола; Варлаам, бывший игумен Валаамский, с тяжелым сосновым отрубком на плече; «томлю томящего мя» ответил он, когда нечаянно был застигнут одним из братий за тайным своим подвигом, — безмолвник и созерцатель, делатель умной молитвы...

А Петр Александрович Григоров, оставивший вся красная міра, о котором я уже сказывал! А многие другие, явные и тайные подвижники духа, известные или только Одному Господу доведомые, которыми изобиловала тогда Оптина! Богом моим свидетельствую, что при игумене Моисее обитель Оптинская цвела такой высокой нравственностью, что каждый мальчик-послушник был как старец. Я видел там в полном смысле слова земных ангелов и небесных жителей. Что это было за примерное благочиние, послушание, терпение, смиренномудрие, кротость, смирение! Оптина была школой для российского монашества.

Вспоминая любовь старца Макария, не могу не упомянуть об одном помысле, вошедшем мне в сердце, когда я раз пришел к нему в келью пить чай с его келейниками. Самовар еще не становили. Был жаркий июльский день. Сидя на крыльце кельи, я услышал стук топора за кельей. Я пошел на этóт стук и застал келейника, иеродиакона Амвросия, трудящимся до поту за одного больного брата, послушника Василия. Я смотрел на его ревность из любви к больному брату и молился мысленно, чтоб Господь призрел на дело любви и благословил дни его жизни. И в это время я услышал в себе внутренний голос, мне говорящий: «Этот отец будет во времени Старцем в этой обители вместо о. Макария». Впоследствии помыслу этому суждено было сбыться: иеродиакон Амвросий стал по смерти о. Макария великим Оптинским старцем.

Но ни помыслам, ни благодатным видениям, как бы ни были они знаменательны и вожделенны, старец Макарий не дозволял давать легкомысленной веры.

Однажды, во время описываемого мною пребывания в Оптиной, был со мной такой случай. Заболело у меня горло, сделалась сильная опухоль, и я сильно заболел.

Смерти я не боялся, но мне хотелось еще потрудиться в обители, и так как болезнь грозила принять серьезный оборот, то я сильно упал духом. В скорби духа я заснул и вижу во сне, что я лежу больной, и вот — подходит ко мне Спаситель, как Его пишут на иконах явления Марии Магдалине по Воскресении, — нагой, через плечо покрытый покровом, и говорит мне:

— Феодор, ты нездоров?

— Нездоров, Господи!

Спаситель приблизился ко мне и рукою Своею вскрыл мне грудь, так что я видел свое сердце и всю мою внутренность...

— Да, нездоров, — сказал Он и, сказавши это, стал ко мне боком, и из ребра Его брызнула на меня фонтаном кровь и вода, и, как дождем благодатным землю сухую, оросили они мне все мои внутренности. Затем Он закрыл мне грудь, еще раз оросил ее Своею Кровью и, сказавши: «Теперь ты будешь здоров», — стал невидим, а я проснулся.

Опухоли в горле — как не бывало, и я встал с постели совершенно здоровым.

Немедленно пошел я в Скит к старцу о. Макарию, чтобы рассказать ему о дивном видении. Старец выслушал меня со вниманием и обычной ему любовью и, несколько помолчавши, сказал:

— Что ты сделался здоров, за это благодари Господа, но сну этому не верь.

— Как же так, батюшка, не верить-то? Вы сами свидетели, что я был сильно болен, а вот мгновенно здоров, — возразил я не без горечи и удивления Старцу.

— Слушай меня! — сказал мне о. Макарий. — Если бы и точно, за молитвы святых Отец, сон твой был благодатный, то и тогда гораздо для тебя полезнее не верить сну. Веря сну, ты не избегнешь самомнения, а испытай себя, спроси свою совесть: ну достоин ли ты, чтобы явился к тебе Спаситель?.. Положим, что милости Его бездна многа и судьбы Его кто исповесть, но, во всяком случае, недоверие сие не будет служить тебе препятствием ко спасению... Положи себе, что ты женат и имеешь жену, которую ты хотел испытать в верности, для чего ты, отъехав как бы в дальнюю сторону, через несколько дней вернулся бы к жене под искусной маской, под которой тебя невозможно было бы узнать. Положи, что маска эта красивее тебя и так искусно сделана, что ты в ней другой человек и ни одна женщина не могла бы в ней тобой не заинтересоваться. Под этим обличьем ты стал бы прельщать свою жену... Скажи мне, был бы ты обижен, если бы жена твоя в ответ на твои обольщения

ответила тебе личным оскорблением, соблюдая свою супружескую тебе верность?.. Не стал ли бы ты ее еще больше любить и уважать?.. Ну, вот видишь — так и ты поступи: от всей души возблагодари Господа за выздоровление, а сну не доверяй, памятуя свое недостоинство и греховность.

Так вразумил меня Старец, прозревая во мне зарождающуюся склонность к самообольщению...

Так, в жизни монастырского послушания, тихих радостях монашеской жизни, назидаясь примером и речами богомудрых моих наставников и собратий, провел я благополучно 1846 год в стенах великой Оптиной. На небе был я или на земле, не знаю; но — увы! земля на этот раз в моей жизни оказалась сильнее неба и для временного пустынножителя назрела неотложная нужда в паспорте. С великой тугой сердечной написал я из Оптиной родителю письмо о высылке паспорта, но в ответ получил угрозу вытребовать меня через полицейское управление. Сильнее всех в моей семье восстал против моего монашества брат Федор, который и всегда-то был, как человек нового духа, враг монахов и тут пошел на меня прямо-таки войной и поднял бурю против меня на семейном совете.

Батюшка о. Макарий благословил о. Амвросия написать от своего имени родителям письмо, чтобы они не препятствовали моему желанию посвятить себя иноческой жизни. В письме этом родители мои предупреждались Старцем,

что противлением своим сыну на вступление в монашество они могут навлечь на себя гнев Божий и лишиться благословения в делах своих... Письмо было отправлено, но мне что-то не чаялось получить исполнение своего желания. Так и вышло: вскоре пришел за мной игуменский келейник и позвал к о. игумену.

Когда я вошел в залу, то за столом увидел городничего г. Козельска. Хотя городничий мирно попивал игуменский чай, сердце мое обмерло от тяжелого предчувствия... О. игумен сообщил мне, что родители мои требуют высылки моей в г. Балашов через полицейское управление, и городничий к игуменским словам добавил с усмешкой:

— При этапе конвойном.

Я заплакал...

— За что ж по этапу? — возразил о. Моисей, — выдайте ему проходной билет от Козельска до Балашова.

Городничий согласился.

— Конечно, так, — сказал он, — за что же по этапу — он никакого преступления не сделал.

В конце концов мне было вручено проходное свидетельство, и я должен был отправиться на родину.

Поговевши в последний раз в Оптиной, я простился с великим плачем с братией, со старцем о. Макарием и с о. игуменом. Великий Старец ласково утешал меня и сказал мне, что рано или поздно, а я все-таки буду монахом, только бы я не вступал в супружество.

— Не плачь, — говорил мне о. Макарий, — не плачь. Уверяю тебя — никогда не отчаявайся в милосердии Божием: оно безгранично. Силен Бог извести тебя из міра, — и ты со временем будешь иноком. Просите и дастся вам... И мы будем за тебя молиться.

О. игумен, прощаясь со мной, достал из столика положенные туда при моем вступлении два золотые, которые так все время там и лежали, и я, поклонившись старцам и Оптиной до лица земли, обливаясь горькими слезами, отправился пешком на родину.

О. Родион провожал меня до св. Пафнутиевского колодезя.

Так завершился мой побег из родительского дома... Что-то меня ожидало по возвращении под кров родительский?..

XXIII.

— Ах ты вшивый! сколько ты наделал нам скорби и слез матери!..

Такими словами встретил меня родитель, когда я вернулся под кров отчего дома. В слезах радости свидания после долгой разлуки обнимались мы с отцом, матерью и сестрами. Только в брате моем старшем, Феодоре, радость свидания не была особенно заметна: он больше подсмеивался надо мной и над вынужденным моим возвращением, как бы торжествуя, что не без его усиленного настояния мне не был выслан родителями паспорт. Незлой был он человек, но, прости ему, Господи, сильно зараженный духом времени... Узнавши о моем возвращении, к

нам набрался полный дом родных и знакомых: кто просто хотел видеть беглеца и порадоваться вместе с родителями его возвращению, а кто явился меня защищать от предполагаемого гнева родительского. Но в родительском сердце не было гнева: радость встречи после двухлетней скорби заставила их все забыть, и я вновь вступил в семейную жизнь в полном повиновении и покорности воле родительской, занимаясь делами моего отца, который все еще продолжал держать водяную мельницу и вести торговлю церковными свечами. Брат Феодор служил по откупам, сестра Екатерина без меня была выдана замуж. Года полтора была она в замужестве за прекрасным и умным молодым человеком, и настолько образованным, что он был учителем губернаторских детей, но незадолго до моего возвращения он скончался от чахотки.

Это был первый тяжкий удар моим родителям, особенно матери, который они понесли после письма батюшки о. Макария, писанного им о. Амвросием с увещанием не препятствовать мне в моем стремлении стать монахом.

Другие скорби были еще впереди... В это время в моей жизни произошел случай, о котором я считаю нужным упомянуть в летописи моей жизни.

В доме родителя моего стоял постоялец, служивший поверенным по комиссионным делам винного откупа, коломенский мещанин, Ульян Герасимович Ульянов. Как-то раз собрались мы со своей семьей и со своей женой Ульянов все вместе за обеденным столом в

кухне. Во время обеда произошел разговор о воплощении Сына Божия. Ульянов, человек хотя и малообразованный, и в особенности malоначитанный в Слове Божием, но вольнодумный, стал издеваться надо мной, над моими задушевными желаниями, и в особенности над монашеством. По гордости и безумию, он, что называется, из кожи вон лез, кощунствуя над верой православной и над всем, что только было в моем сердце святого. Особенно глумился он над верой в существование дьявола и всей его нечистой силы...

— Какие такие бесы? — хохоча говорил он, — и кто их видел? не любо — не слушай, а лгать не мешай... Экий вздор, какие бесы! Стыдились бы и говорить о таком вздоре!

— Прочтите Евангелие, — отвечал я ему, — и из него убедитесь в этой истине: Спаситель не раз в земной Своей жизни исцелял бесноватых, изгонял духов нечистых, как то было с Гадаринским, например, бесноватым, когда Он повелел легиону бесов выйти в стадо свиное...

В ответ на мои речи Ульянов хохотал пуще прежнего и продолжал злобно кощунствовать. Я весь трясся от внутреннего гнева...

— И что такое ваше Евангелие? — не унимался Ульянов, видимо тешась над моим негодованием, — кто его писал?.. Все это — выдумки, вздор, чтобы морочить людей и ездить на их шее попам, архиереям да тунеядцам — монахам...

При этих словах, я, едва удерживая себя, чтобы не кинуться на него, стал его просить,

чтобы он переменил разговор, но его точно муха какая-то укусила, и он со злым смехом продолжал кощунствовать еще страшнее, еще невыносимее... Тут сидели мои родители и безмолвствовали. Это меня еще более потрясло, и я, не помня себя от охватившего меня внутреннего пламени, схватил со стола нож, поднял его над своей головой, вскочил со своего места и вне себя от гнева повелительно крикнул кощуннику:

— Или ты должен умолкнуть, негодяй, или я тебя навсегда заставлю замолчать!

Меня трясло как в лихорадке. Бледный как полотно, я уже готов был кинуться на Ульянова, но тут родители бросились на меня и удержали мою руку, готовую пролить кровь кощунника.

С гневом родители выгнали меня из-за стола... Я подчинился воле родительской, но с великой силой оскорбленного за поруганную святыню чувства крикнул, уходя из кухни, Ульянову: «За твое неверие меня выгнали из-за стола, но помни, негодяй: ты именуешься христианином и не веришь воплощению Бога Слова, издеваешься над Евангелием — знай, что это не пройдет тебе даром, и не нынче завтра постигнет тебя кара Божия. Едешь ты в уезд и — попомни мои слова — не вернешься оттуда благополучно. Тогда придется тебе принести раскаяние, да будет поздно: Бог поруган не бывает!»

С этими словами я вышел из кухни. Оставшись наедине с собой, я несколько пришел в

себя и поскорбел, что наговорил столько угроз, но слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Признаюсь, не о том я скорбел, что произнес угрозу, но о том, что слово угрозы может не исполниться и после этого Ульянов еще более будет глумиться над всем, что так дорого и свято было душе моей. Я наложил на себя пост и день и ночь стал усердно молиться Богу и Преблагословенной Деве Марии, чтобы не остаться мне посрамленным перед вольнодумцем и чтобы он уверовал в истину св. Евангелия и исповедал Сына Божия, пришедшего во плоти для спасения грешников, верующих в Него, от них же первый есмь аз... Что же вышло? На другой или на третий день после описанного случая Ульянов выехал по делам откупа в уезд. Приехавши в село Макарово, он почувствовал озноб и послал к подвальному взять у него бутылку двойного 120-градусного спирту. Нагревши его и раздевшись донага, он стал им натирать свое тело. Дело было вечером. На столе стояла свечка. Натираясь спиртом, стоя недалеко от стола, Ульянов нечаянно слишком близко подвинулся к столу, спирт вспыхнул, и несчастный вольнодумец очутился весь в пламени. На неистовый, отчаянный его крик прибежал его кучер; но, отворивши двери комнаты и увидевши своего хозяина нагого и всего в пламени, от испуга упал в дверях в беспамятстве. За кучером вбежала хозяйка квартиры и, поняв, в чем дело, схватила с кровати одеяло, накинула его на Ульянова и тем потушила пламя. Все тело несчастного было обожжено, почернело,

вздулось и покрылось волдырями и гнойными нарывами. Когда его привезли обратно в город и когда его, полубесчувственного, вынимали из саней, я шел домой из лавки. Увидев меня, Ульянов со стоном воскликнул:

— Ну, Федор Афанасьевич, теперь, брат, верю! Видишь, как Бог меня наказал!..

Кучер же его, потрясенный случившимся с его хозяином, вскоре умер. Все это так повлияло на Ульянова, что с той поры он стал говеть и причащаться Святых Таин Плоти и Крови Христовых и сделался истинным православным христианином.

Надо ли говорить, как это происшествие отозвалось в моем сердце?!

XXIV.

Вскоре обстоятельства семейной жизни заставили меня покинуть кров родительского дома: отцовские дела пошатнулись так, что мне пришлось искать опять службы по откупу. Слово блаженного старца Макария не шло мимо. По внешности все оставалось по-прежнему, только маменька становилась все грустнее и задумчивее.

Стояли непроданными оба наши дома; молола водяная мельница, арендованная у казны родителем, но капитал, вложенный в нее, таял не по дням, а по часам: водой ее прорывало по нескольку раз в год, вынуждая ее к продолжительному бездействию, а между тем аренда за нее в Палату государственных имуществ была очень велика; рабочие стоили дорого, да и

содержание семейства обходилось отцу более тысячи рублей в год.

Дома́ едва окупали свой расход. Родитель крепился и старался скрыть свое критическое положение, так что для меня оно долго оставалось тайной.

Однажды вечером, в отсутствие отца, сидели мы с матерью за чайным столом. Маменька разливала чай. Вдруг вошла в комнату работница, которая у нас жила несколько лет, и обратилась к матери с такими словами:

— Как же, Агафья Андреевна, — завтра нужно квас варить, а у нас муки-то нету?

Я заметил, что при этих словах матушка изменилась в лице, и, когда работница ушла, сказала мне:

— Федюк! поймай черную кошку и отнеси ее к тархану — он за нее даст копеек сорок: на это купи муки пуда три...

Меня эти слова как варом обожгли. Неужели же мы дошли до такой крайности? Надо продать кота, чтобы купить муки, когда у нас еще было два дома — один каменный, в котором мы жили, а другой деревянный, 7 окон в длину и 5 в ширину, с полной обстановкой, с чудной надворной постройкой... Однако положение было именно таково, и мне надобно было решиться поступить на должность, чтобы кормить родителей и сохранить хотя бы остатки состояния. Брат Федор хоть и служил, но ничего или почти ничего не подавал в родительский дом: человек он был нового покроя, — самому на себя едва хватало жалованья.

Я оставил дом родительский и поступил по откупным делам в Новочеркасск писцом в контору В. Н. Рукавишникова в I-й Донской округ. Вскоре я был переведен в Усть-Медведицкий округ, в станицу Раздорную, и был назначен подвальным с жалованьем в 200 рублей при готовой квартире, отоплении и освещении. Служба, по обстоятельствам того времени, была крайне выгодная, и я целиком все жалованье отсылал родителям. Повышения по службе шли за повышениями, — меня начальство очень любило, — и вскоре я уже был дистанционным с окладом жалованья, кроме наградных, в 800 рублей. И это все жалованье я отсылал домой родителям, что приводило в немалое изумление наших сограждан и сердило моего брата Федора, которого моя помощь унижала в глазах родителей и знакомых. Мне же делать это было отрадно, да и не трудно, тем более что в откупных делах наживались тогда все от мала до велика, кто только имел с ними соприкосновение по откупной службе. Это не было тайное хищение, а открытое пользование безгрешными доходами, которые так и текли сами собой в карманы служащих, начиная с низших и кончая высшими. Я пользовался доброхотными приношениями от сидельцев, которых защищал от неправильного и алчного суда, но часто, сообразуясь с их семейным положением, отдавал им обратно половину приносимой ими благодарности, за что и был всеми ими любим так, что они мне открывали все тайны сложного откупного дела.

Полна соблазна была эта широкая привольная откупная жизнь, особенно в мои молодые годы в среде вольного женского казачьего населения. Свобода его нравов, в отсутствие мужей, часто призываемых на службу, граничила с самым откровенным развратом. И где мне, пылкому юноше, да еще свободному в денежных средствах, было устоять и не попасть с головой в тенета всюду расставленного соблазна красоты благородных и любвеобильных дочерей тихого Дона! О мои монашеские стремления! О Оптина моя дорогая! Где тогда были вы?..

Новое горе свалилось на голову моих бедных родителей: едва стали они несколько поправляться в своих денежных делах, благодаря моей поддержке, как внезапно, в цвете лет, умер мой старший брат Феодор, и меня, пленника и раба страстей, вызвала родительская воля обратно на родину.

Дома я застал родителей в скорби великой по случаю смерти брата и меня ожидало новое искушение. Как я ни увлекался на Дону красавицами казачками, но в минуты отрезвления от увлечений я продолжал таить в моем сердце желание оставить мір и уйти в монастырь и только, случалось, плакивал над своими падениями. Дома мір, в лице моих родителей, в это время готовил мне непереходимую пропасть, которая должна была, казалось, навеки отделить желания мои от их осуществления. По приезде моем в дом родительский, скорбная мать стала меня умолять со слезами, чтобы

я женился, что это одно — знать меня женатым и пристроенным — может ее успокоить и утешить в тяжелой перенесенной утрате. Твердо помнил я речи старцев, которыми они меня напутствовали из Оптиной, — я долго крепился, но тяжкие обстоятельства, безграничная любовь к матери, ее беспрестанные слезы и мольбы взяли верх над моими стремлениями, и я дал ей слово исполнить ее просьбу. Господь видел, что в этом решении моего желания не было, а была только одна жалость к слезному горю матери: я готов был и тело и душу свою отдать в жертву, только бы мне дано было утереть слезы родимой, вызвать на уста ее хотя бы тень радостной улыбки.

Нашли мне и невесту, дочь богатого купца нашего города, с хорошим приданым и средствами и богатой родней. Пошли переговоры, смотрины... Дело налаживалось как нельзя лучше... Но душа моя была скорбна и исполнена тяжкого уныния. Все меры употреблял я, чтобы утаить мою скорбь от зоркого взора родительницы и казаться веселым. До поры до времени мне это удавалось... но, Боже мой! до чего мне тяжело было на сердце!..

А дело свадьбы близилось между тем к концу: родителю удалось с хорошей выгодой продать свой каменный дом и выручить за него порядочный капиталец, предназначенный им для свадьбы; состоялось наконец в нашем доме решительное свидание с дядей невесты и священником, на котором должно было обсудить и решить все условия предстоящей свадьбы

касательно приданого, капитала и проч. Мне нужно было угощать гостей, и по приказанию матери я вышел в другую комнату, чтобы вернуться оттуда к гостям с подносом и вином в бокалах и рюмках. Когда уже я шел к гостям с угощением, я приостановился на минуту за полуотворенной дверью и как стоял, с подносом на руках, опустился на колени в пламенной молитве от всего существа своего к Богу об избавлении меня от женитьбы и горько, горько заплакал... Это было мгновение... Я быстро оправился, отставил поднос, отер катившиеся слезы, взял опять бокалы с вином и вошел в гостиную. Слезы мои были замечены. Раздались восклицания:

— Э! он никак плачет? Женихи у людей радуются, а наш плачет! это что-то неладно...

Священник тут вмешался и вывел меня и мою семью из неловкого положения.

— Не удивляйтесь, — сказал он, — его слезам: женитьба — дело великое, здесь решается вся участь человека: мудрено ли тут человеку с понятием и заплакать?

Священническое слово, сказанное со властью, отвело внимание гостей от моего растерянного вида, и дело переговоров продолжалось своим обычным порядком. Оставалось, повидимому, подчиниться обстоятельствам и сдержать слово, данное матери... Но ин суд человеческий, и ин — Божий!..

В этот же вечер пришел к родителю моему один купец, который несколько лет с ним жил в коротком знакомстве и по личной дружбе, и

по прежним торговым делам моего родителя. Когда-то купец этот вел большие дела не только местные, но и с другими городами, но пожар, излишняя доверчивость к неудачному подбору приказчиков и затем кредиторы лишили его всего достояния, и он жил без дела, едва перебиваясь, что называется, с хлеба на квас. Но родитель мой, по старой памяти, продолжал еще питать доверие к его коммерческим способностям.

В этот вечер, узнав, что у родителя собралась порядочная сумма за проданный дом, купец этот повел с ним речь такого рода:

— Ты знаешь, Афанасий Родионович, мои прежние дела и мою деятельность. Я остался все тот же, только вот пожар выбил меня из колеи. Теперь мне предстоит крупное дело по хлебной части, на котором безошибочный громадный барыш обеспечен. Вы продали дом — деньги у вас есть: доверь мне деньги, и, чем сыну твоему служить по откупам, пусть лучше под моим руководством учится коммерции. В самое короткое время капитал тебе вернется утроенным, и сын станет на самостоятельное дело...

Слово за слово — купец сумел нарисовать такую соблазнительную картину скорого и верного обогащения, что родители мои отдали ему в тот же вечер все свои деньги без расписки, только сказали ему:

— Смотри ж, не сделай низости — ты нас тогда убьешь: здесь все, что только мы имеем. Расписки мы с тебя не берем, а вот, — указали

они ему, — икона Спасителя и Царицы Небесной — пусть Они будут между нам и тобой Свидетелями.

Дело все это совершилось с быстротой непомерной, произошло на моих глазах, и я был свидетелем, как купец поклялся на иконы в верности своему слову и взял от родителей моих деньги. Утром он уже ускакал в Саратов и в течение десяти каких-нибудь дней успел купить и запродать 15 тысяч пудов муки. От этой операции родителям очищалось рублей с лишком двести. В десять дней больше двухсот рублей — было с чего обрадоваться...

Но непродолжительна была радость моих доверчивых родителей: купец этот, когда еще торговал за свой капитал, имел однажды дело с заграницей и остался должен по векселю. Этот вексель оказался предъявленным на него в Саратове. Узнав об этом заблаговременно, купец этот успел распродать весь товар, капитал припрятал, а что осталось от имущества, перевел на имя жены. Поступок этот нанес жестокий удар моим родителям и окончательно подорвал их благосостояние. Все это совершилось менее чем в две недели, с быстротой молниеносной, и имело ближайшим своим последствием расстройство моей свадьбы. А она ли не казалась верной!

Я писал об этом старцу Макарию и получил от него ответ: «благодари Бога!..» Это был пятый удар моей семье по выходе моем из Оптиной.

Слова Старца сбывались с поразительной точностью — скорби чередовались скорбями:

овдовела сестра Екатерина; расстроились дела; умер брат Феодор; погиб в неверных руках капитал, остаток былого состояния, и, наконец, разбилась мечта моей матери — моя свадьба.

О неисповедимые пути Божии!

За все Ему — слава и благодарение.

XXV.

Пришлось мне опять потянуть свою откупную лямку: без моей поддержки родителям было бы очень плохо. Теперь служба моя меня перекинула из области Войска Донского в Уфу, а затем вскоре в Уральск. Долго жил я в Илецкой защите, был дистанционным в Гурьеве, неподалеку от Каспийского моря, при устье реки Урала. Много поездил по Букеевской Орде и близко ознакомился с бытом киргизов-кочевников. Служба моя и тут была чрезвычайно удачна — жалование и доходы были большие, и опять я все свое жалование до копейки высылал родителям. Временами, как непотухший огонек, вспыхивала во мне ревность к монашеской жизни, но сыновние обязанности и действительная необходимость жить и работать в міру для обеспечения существования родителей смиряли тайную скорбь моей души, жаждавшей обрести Бога в монастырском уединении, в отрешении от міра, в котором все мирское против Бога.

Во время своих поездок в киргизские степи я пробовал попутно между делом по своей службе заниматься миссионерской деятельностью среди киргизов, старался распространять

учение веры о Воплощении Сына Божия, но, видно, не было во мне на то истинного призвания, и проповедь моя не имела желанного успеха. И то сказать: мудрено было, служа по откупу, возвещать народам Слово Божие...

Замечательно уживалась в сердце киргизов с их верованиями, чуждыми христианству, вера в Святителя Николая. Язычники, простые сердцем, они умудряются с верой в своих богов соединить веру в силу чудес великого Божьяго угодника, который в их мнении едва ли не выше их богов и даже Самого Господа Иисуса, тоже им известного по общению с христианами. Я сам видел, как эти дети ковыльных степей в наших православных храмах ставили Святителю восковые свечки и говорили мне:

— О, это бачка сердитый! ему надо всегда давать, что обещаешь. Пропал у тебя лошадь, пропал кайдал*, — обещал свечку Миколай — живо бачка пригнал кайдал. Ми ему всегда хороший баран давал.

Веруют они и Господу Иисусу, и Пречистой, но с меньшей силой, чем Божьему угоднику, признавая в них хороших, добрых людей. В этом отношении наши доморощенные ученые вольнодумцы не так далеко ушли в своих религиозных воззрениях от полудиких кочевников. И, подумаешь, сколько ума и усилий было потрачено ими, чтобы дойти в жизни своего по Св. Крещению христианского все-таки духа до киргизских понятий! Стоило того! О жалкие в своем безумии мудрецы міра!..

* Стадо овец.

— Иисус Криста? — говорил мне один киргиз, когда я спрашивал его, знает ли он Спасителя. — Иисус Криста? О, как не знайт! Мой знайт: хороший человек — много бедным помогает: кого рука болит, рука давал; кого нога болит, нога давал. Все давал. Его Бог любил — Он что Его ни просил, все Ему давал.

— Откуда ж ты Его знаешь? — допытывался я у киргиза.

— Экой твой какой! Ты, бачка делай добро, а то и твой будет знайт Криста. Наш часто с русским говорит: ну вот, твой говорит; мой говорит, а вот они слушайт. Так и узнал... Пропал раз моя кайдал баран. Мой день ездил степь искайт, другой — нет мой кайдал. Плачет моя. Вот едит мой верхом степь одна и думайт: пропал мой кайдал — моя бога серчал, мина не слыхал, — так я зову Криста. Да боялся мой, ну-ка моя бога узнает. Ну, думал мой, долго думал; остановил лошадка, стал коленки и резко сказал: Иисус Криста! Найди мой кайдал баран, я Тебе ширной мой даст баран на жертва, самый ширной. Пожалуйста, найди — мой просит Твой! И что ж, бачка! — не успел мой встать и сесть на лошадка, — глядит моя, — а мой старый баран вышла из камыша да и кричит: бя, бя! Смотрит моя: другой баран, третий... и весь кайдал из камыш идет... Ну, мой рад; спасибо Тебе Криста, Ты не так, как наша бога: скоро слыхал моя просьба. Ну, вот мой приехал в кибитка, сказала всем, что нашел кайдал; и после все я и мой, и жены мой, и дети мой самый ширный баран дал

Криста на жертва... Только бы наш попа не знал, а то мой — беда!

— Ну, так бы ты всегда звал себе Христа на помощь, — сказал я киргизу.

— Это мой знайт, только нельзя: бога моя осерчайт. Тихонько можно, но и то, чтобы попа наш не знал. Да, ведь бачка, бога у всех одна — вера только разный... — Так заключил нашу беседу мой киргиз.

«Бога у всех одна, только вера разная!» — так говорят и доказывают теперь люди века сего, отступники христианства, предатели Православия. Но что простительно непросвещенному язычнику, не будет прощено отступившим от Христовой истины, и услышат они грозные слова: «Се оставляется дом ваш пуст!..» Господи помилуй!..

XXVI.

Проповедуя Господа Воплотившегося словом, часто обращаясь сердцем к мысли о монашестве, я тем не менее не мог соблюсти в себе должной чистоты и часто падал, и были падения мои и велики, и часты. В скорби сердечной я писал в минуты раскаяния старцу моему Макарию в Оптину, каялся, казнил себя и вновь неудержимо падал.

И тогда опять писал, недоумевая, что мне делать: сердце ждет иноческой жизни, — старцы мне ее в удел определяли, — а плоть беснуется, и я не могу воздержаться от падений. Уж не лучше ли для меня супружеский союз,

чем бесплодное покаяние и все продолжающаяся жизнь греха?

От Старца ответы на письма были в одном духе: «Это все от твоего нерадения, но повинуйся Промыслу Божию с благодарением, старайся, по силе возможности, исполнять заповеди Божии в степени твоего служения... Уверяю тебя, что ты будешь монахом. Но о времени не могу сказать — это в непостижимой судьбе Божией и твоем нерадении...»

Слова «твое нерадение» оскорбляли сердце мое, и я, чтобы уверить Старца в неутолимой моей жажде иночества, взял разрезал руку и кровью своей написал ему, что ею я подтверждаю свое стремление служить Богу. В ответ от Старца я получил следующее письмо:

«Почтенный о Господе Феодор Афанасьевич! От 10 июля посланное тобой письмо мною получено, из коего вижу, что премилосердый Господь сохраняет тебя на житейском волнующемся море и доселе непогруженным в волнах оного, хотя и были, как видно, сильные приражения волн через твои слабости, но милосердие Божие и долготерпение Его, видно, устрояют наилучшее для тебя. Вот даже и предстоящую твою судьбу не допустил придти к совершению, но уничтожил замыслы міра, хотящего привязать тебя к себе крепкими узами*. Принеси же за это немолчное благодарение премилосердому Господу, столько пекущемуся о твоем спасении. Имей твердое намерение исполнить свой обет и, пока еще плывешь по

* Мою женитьбу.

бурному океану міра, имей страх Божий твоим кормчим, а покаяние — гребцами, кои управят тебя к благоотишному пристанищу. Покаяние, говорю, не тогда только, когда придешь к духовнику на исповедь, но имей всегдашний залог оного в сердце своем, памятуя грехи свои, о которых ты кратко вспомянул, чувствуя, кого ты оными оскорбил, удобнее восстягнешься от повторения оных. Ты в недоумении вопрошаешь, почему Господь не пошлет тебе скорого избавления от міра? и сам от моего имени отвечаешь: за гордость; а тут себя оправдываешь: «Боже мой! перед Тобой ли мне гордиться?» и проч. Я не могу тебе сказать, почему Господь не допускает исполниться твоему желанию. Судеб Господних бездна многа, и нам оные непостижимы; но что в тебе есть гордость, как и все мы ей не чужды, только в разных степенях, доказывают твои падения. Святый Иоанн Лествичник пишет: «идеже последовало падение, тамо предварила гордость», хотя мы и думаем, что нет в нас гордости, но плоды доказывают, что есть.

Не можем также сказать о себе, что имеем смирение, потому что дела противные оному творим; а где нет смирения, там явно, что его место заступает гордость, так как, где нет света, там — тьма. Итак, вместо оправдания надобно иметь сознание.

Дерзость твоя — в писании кровию о служении Богу и братии совсем излишня: довольно иметь благое произволение и пролитие духовной крови при искушениях и борениях со стра-

стями на опыте, ибо воиново мужество и храбрость, также и усердие к Царю, показуются во время явственного сражения с неприятелями. По сему разумей и о духовном борении. Только тут надобно иметь оружием смирение, которое все силы и сети вражии сокрушает, а не дерзость.

Остаюсь желатель твоего здравия и спасения многогрешный И. М. 28 июля 1851 года»...

Потом, спустя немного времени, я получил от о. Макария его карточку и при ней совет моей матери, чтобы она оставила все излишние попечения и заботы о делах хозяйственных и ходила бы, по возможности, постоянно в церковь. Преподав мне этот совет для матери, Старец потребовал, чтобы я ей о том написал от его имени.

Волю Старца я немедленно исполнил, а сердце тревожно забилось о родимой.

XXVII.

Когда родительница получила мое письмо, в котором я написал ей о совете о. Макария, то немедленно попросила родителя моего написать мне в Уральск, чтобы я оставил службу и поспешил вернуться домой в Балашов. Сама же матушка вслед за получением моего письма совершенно изменила свой образ жизни: перестала суетиться и хлопотать по домашнему хозяйству и вся обратилась к Богу, земное оставляя и к горнему устремляясь. Храм Божий стал для нее местом, которое сосредоточило на себе все ее помышления, и она начала ходить ко всем службам, не пропуская

в особенности ни одного дня, чтобы не быть у Божественной литургии. Матушка была совершенно здорова, и, когда я приехал по вызову родительскому в Балашов, я застал ее на вид такой же здоровой, какой ее оставил, отправляясь на службу. Она даже была весела и страшно рада меня видеть. Если бы не письмо о. Макария, которое невольно наводило на размышление, нельзя было и подумать, глядя на родительницу мою, что Ангел смерти уже спешит взять ее душу и представить Творцу всяческих.

Двадцать один день я провел в кругу семейных, и ни одного раза матушка ни одним словом не обмолвилась, что она готовит себя к переходу в вечную жизнь; только непрестанное, ежедневное хождение в церковь давало разуметь, что совет Старца был для ее сердца предварением приблизившейся для нее вечности.

Дни проходили за днями, и сердце мое, встревоженное было по моем возвращении домой, стало понемногу успокаиваться. Вся семья была собрана в кругу: отец, мать, старшая сестра — вдова Екатерина, я и малолетки — брат Иван и сестренка Поля. Жизнь протекала мирно, по-семейному. И внутри меня и вне, в семейном быту, наступило какое-то затишье, ненарушаемое заботами завтрашнего дня. Не было даже речей о том, что предпринять мне, главному кормильцу семьи, источнику ее благосостояния. Слово старца Макария исполнялось свято — житейское попечение было оставлено.

Шел двадцать первый день со дня моего возвращения из Уральска. Матушке вдруг захотелось к обеду дичинки.

— Поди, Фединька, настреляй мне дичинки какой-нибудь, а я из нее к обеду приготовлю жареное, — сказала мне родительница. Желание ее было исполнено, и из настрелянной дичи матушка сама изготовила обед. С заметным удовольствием покушала и все вспоминала за столом библейскую историю об Исааке и Иакове...

— Вот, — говорила она, обращаясь ко мне, — я — точно Исаак, а ты — Иаков; я ем тобою на охоте изловленное, и ты ждешь моего благословения на первородство.

Матушка говорила как бы в шутку, а дело-то вышло на самом деле, всерьез: на другой или на третий день после этого обеда родительница моя захворала и тут же пожелала поисповедоваться, особороваться и причаститься; но так как она хотя и чувствовала себя больной и слабой, но могла еще через силу держаться на ногах, то и ни за что не позволила, чтобы Святые Дары были принесены к нам на дом.

— Хочу в церкви сама подойти к Господу, — сказала матушка, и мы с ней поехали вместе на дрожках в церковь к Литургии. Обедню она едва достояла, но к Св. Чаше приступила с большой твердостью и силой и сама твердым и ясным голосом произносила священные слова исповедания Христа Господа: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос Сын Бога Живаго...» Но когда причасти-

лась, то совсем изнемогла, и я ее в полуобморочном состоянии вывел на паперть. Немного оправившись, она попросила меня отворить входную дверь в церковь и так на паперти дослушала окончание Божественной службы. По окончании благодарственных молитв я ее привез домой; и тут она слегла в постель и уже более не вставала.

Прошло несколько дней с того времени, как матушка слегла окончательно, подкошенная своим предсмертным недугом; она слабела не по дням, а по часам и наконец велела нам всем собраться у своей постели и выразила желание благословить всех нас. Когда ей подали икону Божией Матери, она привстала на кровати, но силы не выдержали, и матушка вся в слезах упала на подушки без памяти. С ней сделалось что-то вроде конвульсий, и хотя она вскоре оправилась, но объявила, что благословлять нас не будет, а поручает нас покровительству Преблагословенной.

— Я прошу Владычицу, чтобы Она не оставила вас, — сказала она и стала молиться Ей с горячими слезами, неоднократно повторяя:

— Тебе вверяю их, Матерь Божия! Ты им будь покров и заступление!..

Помолившись с пламенной верой, матушка подозвала к себе нас всех и стала говорить:

— Я умираю. Смотрите имейте любовь между собою и, если любите меня, оказывайте отцу своему всякое почитание. Никогда не поминайте, если когда-нибудь заметили, что он оскорбил меня каким-либо словом — это дело не

ваше. Помните одно, что он всю свою жизнь провел в трудах и работе о вашем спокойствии и воспитании. Успокойте его вашей покорностью и любовью, утешьте его старость вашей заботой о нем и детской преданностью. Исполняйте заповеди Божии каждый в своем звании. Будьте милостивы и сострадательны к нищим, прощайте обиды оскорбляющим вас и чтобы гнев ваш угасал прежде заката солнца того дня, в который он возгорелся. Держите веру святую Святой Церкви Православной, храните предания и заветы святых Отцов. Не примыкайте к вольнодумцам... А ты! — обратилась она ко мне, взяв меня за руку и соединив ее с руками сестры Екатерины и 4-летней Поленьки и указывая на брата Ивана, стоявшего у ее колен, и на отца, который стоял у ног кровати, — а ты, — повторяла она, — не оставь вот этих. Я тебе их вверяю. Будь им вместо отца. А вы слушайте брата, и Бог не оставит вас. Молитесь чаще и усерднее Божией Матери — Ей я вас всех вверяю. А ты, Федя! не оставляй их и прежде времени не уходи в монастырь: если Богу угодно, еще успеешь. Исполнишь мой завет, и да пребудет тогда над тобой Божие благословение и мое...

Мы внимали словам угасающей матери и горько плакали, но ни одно ее слово не осталось незапечатленным в моем сердце: каждое слово ее точно высекалось на его скрижалях стальным резцом пламенной материнской любви и веры.

Еще несколько дней угасала родимая. Мы проводили целые ночи без сна у дорогого изго-

ловья и не отходили от одра матери почти ни на минуту. Особенно ухаживала за ней сестра Екатерина. Но как ни бодрствовали мы, но не могли уловить последнего ее вздоха: когда она отошла ко Господу, мы все спали, утомленные бессонными ночами, и пропустили время ее предсмертной агонии. Нас ранним утром разбудила дальняя по сватовству наша родственница, Мария Ильинична П., девица лет 40, дочь очень богатых родителей. Необыкновенной душевной чистоты и жизни была эта истинная раба Божия. Приятная лицом, очень богатая, она волею не пожелала выйти замуж, а девичество свое вместе с тремя другими девицами такого же, как и она, духа посвятила Господу. Она свои деньги и те, что ей давали добрые, благочестивые люди, определила на устроение в г. Балашове женской обители, которой в Балашове еще не было. Со временем ее желание исполнилось, и теперь в Балашове есть женский монастырь... Так вот, эта-то девица и пришла к нам на ранней утренней зорьке, разбудила сестру и сказала:

— Встань-ка, Катенька, и пойдем посмотреть мамашу. Что она?

— Спит, — был ответ полусонной сестры.

— Все равно, пойдем — я ее хочу видеть.

И когда они взошли, то нашли матушку уже скончавшейся. А ранний неожиданный приход Марьи Ильиничны объяснился так, — она это тут же нам рассказала:

— Я спала крепко, — говорила она нам, — вдруг на заре слышу — кто-то меня кличет по

имени. Я не просыпаюсь. Меня тогда кто-то толкнул в бок со словами: встаньте, пожалуйста, и идите к нам в дом: я ведь умерла, а они меня не видали. Идите утешьте их, чтобы они не плакали... И когда я тут же проснулась, то увидела вашу мать уже выходящей из моей спальни. Удивившись этому, я сейчас же встала и пошла к вам в дом и вот нашла все так, как она мне поведала в видении. Теперь именем вашей матери и ее словами, только что мною слышанными, я прошу вас не плакать, а молиться о ней Богу. Ведь мы все рождаемся для того, чтобы умереть, и умираем, чтобы воскреснуть для вечной жизни.

Великую радость влили в нашу скорбь эти речи. О родная наша! Ты и с того света, по неизреченной милости Божией, озарила мрак нашей земной скорби светом Богооткровенной истины, беспредельной Божественной любви и милосердия! Вечная тебе память, родимая!..

XXVIII.

Отдав последний долг сыновней любви почившей родительнице, я прежде всего должен был озаботиться о поступлении вновь на место: вся семья, начиная с родителя, по предсмертной воле матери и по моему сыновнему долгу осталась на моих руках. О монашестве, стало быть, нечего и думать, а надо было как можно скорее приниматься за добывание насущного хлеба.

Испросив благословения у родителя, я отправился к управляющему откупными сборами

Тамбовской губернии, Василию Никитичу Рукавишникову, брату родному известного откупщика А. Н. Рукавишникова. У него я служил еще раньше в земле Войска Донского. Он меня любил, и, когда я, уезжая к родителям, оставлял у него службу, он обещал меня вновь к себе принять, если это мне понадобится. Так и случилось, и меня он назначил дистанционным в г. Усмань Тамбовской губернии. Таким образом, жизнь моих семейных была вновь обеспечена. Но моя жизнь духовная, мои стремления, жажда моя служения Богу?.. О, каким тяжким искушениям подвергались они в эти годы! Это была непрестанная, кровавая борьба духа с плотью, и, каюсь, часто, слишком даже часто, дух был одолеваем плотью.

Единственной поддержкой мне в это время было непрестанное мое хождение к ранним обедням. Там, в Божьем храме, изливалась душа моя, молившаяся Господу, чтобы Он ими же весть судьбами спас меня от соблазнов міра. Но падения следовали за падениями... Товарищи мои нередко удивлялись мне, когда в самые веселые, по-видимому, минуты наших веселых собраний я брал в руки гитару и, перебирая задумчиво струны, голосом исполненным внутреннего волнения, дрожащим от скрытых слез, напевал любимый в то время мною романс:

Меня никто не понимает,
И никому меня не жаль,
Судьбе моей никто не внемлет,
И не с кем разделить печаль...

Иногда, под наплывом чувства тяжкой неудовлетворенности, я бросал гитару, убегал в соседнюю комнату и рыдал, как ребенок, неутешными слезами, — оставляя товарищей в полном недоумении... К великому моему горю, эти минуты слезного раскаяния не оберегали меня от страстных увлечений...

Служа в г. Усмани, я квартировал в доме одной госпожи, у которой и столовался. Особа эта жила в свое удовольствие, даже роскошно, и мне жилось у нее очень хорошо в смысле продовольствия. У ней жила из милости, в качестве бедной родственницы, молоденькая вдова, не старше двадцати двух — двадцати пяти лет. Она, несмотря на свой юный возраст, была уже за двумя мужьями и с обоими прожила не более полутора лет. Дело наше с ней обоих было молодое, и вот однажды, сидя с ней на балконе нашего дома, мы вступили с ней в откровенный разговор... Слово за слово, она мне поведала грустную историю своей неудавшейся молодой жизни и между прочим сказала:

— Мудрено, Федор Афанасьевич, в моем положении быть честной: на все нужны деньги, а где их взять? Поневоле изменишь нравственности...

— А много ли вам нужно, чтобы избегнуть такой крайности? — спросил я с живым к ней участием.

Она сказала мне цифру, и так как сумма эта была в пределах моих средств, то я тут же ей и выдал, сколько она сама назначила...

— Только бы вы не изменяли целомудрию и каждодневно ходили в церковь и молились Богу, — объятый порывом великодушной жалости, сказал ей я... На этом наша беседа в этот день и кончилась.

Наутро, идя, по обычаю, к ранней обедне, вспоминая разговор мой с молоденькой вдовой, я чувствовал себя как бы Святителем Николаем, спасающим от разврата девическое целомудрие... Прости меня, угодник Божий!.. Но недолго мне пришлось быть на этой высоте, и по малом времени я уже был в преступной связи с прелестницей. Совершилось это очень быстро и очень просто, а немного времени спустя я уже был оповещен, что плод любви нашей уже лежит под ее сердцем... Как громом меня поразило известие. Что было делать мне? Нельзя же было оставить ее несчастной, а выход был один — жениться... А монастырь? а обеты?.. Господи, до чего я был близок тогда к совершенному отчаянию!..

В это-то страшное для меня время, когда все сердце мое обливалось слезами позднего и, казалось, бесплодного раскаяния, я должен был выехать по службе в уезд. Поздно вечером в селе Нелже, окончив разлив питей в питейные заведения и забрав с собой всю денежную выручку, пришел на квартиру и, помолившись Богу, лег спать. Но сердце не о сне думало, а весь мой помысл сосредоточился на страшном для меня вопросе о женитьбе. Помышляя о своих обетах, о жизни своей, столь несоответственной

моим стремлениям, я горько плакал, уткнувшись в подушки, и с молитвой к Пречистой о заступлении заснул. И вижу я во сне: перед иконой Божией Матери молится преосвященный Тамбовский Николай. В это время из иконы выступает Прп. Сергий Радонежский и становится сбоку иконы. И мне будто бы нужно подойти к Царице Небесной, чтобы поцеловать Ее Пречистые стопочки, но, взглянув на Нее, я сознаю свое недостоинство, все свои преступления и, горько зарыдав, падаю ниц на землю. Лежу я так-то на земле, обливаюсь слезами и вместе чувствую, что не в силах разорвать преступную связь: слишком люблю предмет своей страсти. В таких-то чувствах я молюсь Владычице и прошу Ее, чтобы Она Сама, силой данной Ей благодати, спасла меня от уз брака и дала мне возможность не уклоняться от данных обетов... И услыхал я тут незримый голос, делавший мне выговор, и был удостоен поцеловать стопу Преблагословенной. По всему моему существу разлилась тогда неизъяснимая радость, и я проснулся, и когда проснулся, то заметил, что вся моя подушка была омочена слезами.

С этого времени я прервал свою связь... Боже мой! Сколько пришлось мне вынести тогда сцен, слез, упреков, проклятий, угроз лишить себя жизни! Но, рассказав ей свой сон, я был непоколебим и хотя она ему не верила, но я твердо стоял на своем и старался ее убедить, что она сама поверит истине моих слов и судьба ее устроится помимо меня, а что мне все-таки предстоит монашество.

Прошло со времени моего разрыва самое короткое время. Моей вдовушке надо было, по приглашению ее родственника, ехать в Задонск на свадьбу. Перед отъездом она забежала ко мне и сказала:

— Хоть помолись ты обо мне, чтобы Господь меня пристроил, а то, беда моя, — куда я теперь скроюсь?

— Вы вот мне все не верите. А если угодно Царице Небесной, чтобы я был в монахах, то вы выйдете замуж, — говорил ей я, стараясь ее утешить.

Сам я всей силой души верил своему сну, верил в помощь Царицы Небесной. Но она не верила. И жалко мне было ее, и горько я плакал, прося помощи свыше.

Что же вышло?.. Пока они жили в Задонске, приехал неожиданно к ее родственнику богатый елецкий купец Ж. Увидав ее, он сразу в нее влюбился и, заинтересовавшись ею, спросил родственника:

— Чья это молодая дама?

— Это моя сирота-племянница, — ответил он, — и притом крайне несчастная.

— Чем?

— А вот, видите, как она молода, а уже была замужем за двумя мужьями и жила-то за ними, за обоими, не более полутора лет.

— Вот и прекрасно! — воскликнул Ж., — такую-то нам и нужно: я вдовец — не пойдет ли она за меня замуж, за третьего?

Так это было неожиданно, да к тому же купец этот был очень богатый, что родственник

моей вдовушки поначалу было усумнился, — уж не шутит ли богатый. Но тот продолжал:

— Я серьезно вам говорю, что если ваша родственница пойдет за меня, хромого старика (он прихрамывал на одну ногу), то я ее возьму за себя.

Послали за ней. Она сразу тоже было не поверила, но, когда увидала, что дело выходит всерьез, с радостью согласилась. Еще удивительнее было то, что Ж. торопил со свадьбой и захотел ее сыграть тут же, чтобы о ней не успел узнать никто из его семейных. Дело закипело на всех, что называется, парах, и не успел я оглянуться, как в одну ночь прикатила на тройке в Усмань из Задонска торжествующая вдовушка и с радостью всем нам объявила:

— Я приехала за метрическим свидетельством: я ведь выхожу на днях замуж, и, представьте, еще за кого? за богача елецкого Ж.!

Она была очень довольна и наутро уже укатила обратно в Задонск с метрическим свидетельством, где, к удивлению всех, тут же и вышла замуж.

Так окончилось мое усманское искушение. Беспредельна была моя благодарность Пречистой. Я твердо решил изменить свою жизнь.

XXIX.

По обстоятельствам моей службы меня вскоре перевели в Лебедянь той же Тамбовской губернии. В Лебедяни в те времена бывала каждый год огромная ярмарка, и разливание для

продажи бывало многие тысячи ведер. Должность подвального там была очень трудной и ответственной. И вот на эту-то должность меня и сочли нужным перевести под начальство управляющего, некоего Ивана Андреевича Дивеева, человека благочестивого и редко доброй и благородной души. Я продолжал и в Лебедяни по-прежнему, несмотря на ядовитые насмешки сотоварищей по службе, свои хождения к ранней обедне. Это было замечено Дивеевым, и он очень ко мне расположился. Не надеясь на свои духовные силы в борьбе с обуревавшими меня страстями, я решил бороться с ними телесным способом, часто простаивая целые ночи напролет на молитве, и, наконец, обложил себя по голому телу железными веригами на шалнерах. Местный слесарь сделал мне их за золотой полуимпериал. Вериги я эти носил не снимая день и ночь, и от них у меня сделались раны, следы которых видны у меня и доселе.

Плоть моя, под влиянием таких чрезвычайных мер, правда, до некоторой степени обуздалась, но зато начались искушения со стороны духа.

Однажды вечером управляющий позвал меня к себе и пригласил на другой день ехать за 17 верст от Лебедяни в Сезеневский женский монастырь помолиться и отслужить панихиду по основателе обители, великом подвижнике и затворнике Иоанне Сезеневском. Предложение это мне было как нельзя более по духу, и мы на другой день вечером выехали в обитель, чтобы переночевать там и отстоять Литургию. Когда

после Литургии мы пошли к панихиде в пещерку, где покоится последним сном до общего воскресения великий подвижник, и видя, как народ и вместе с ним мой управляющий прикладывается к его чеканному изображению на гробнице, как к изображению святого, я неожиданно для себя внезапно вознегодовал. Как, подумал я, целовать простое изображение человека, непризнанного еще святым Св. Синодом! — это невежество! И, дав волю этому чувству, я, когда подошел к гробнице, поцеловал только изображение на ней креста, а сердцем сказал, обращаясь к почившему затворнику: «А твоего изображения я целовать не стану, пока тебя не признает Церковь!» — и с этой мыслью я отошел негодуя от гробницы.

Управляющий пошел к игуменье, а я — к экипажу. Кроме нашего, было много и других экипажей, и, прислушиваясь к разговору кучеров, я услыхал, как один говорит другим:

— Он (затворник Иоанн) все ел с деревянным маслом. Бывало, сделает себе яичницу из одного яйца и ту ест с деревянным маслом...

Это он делал для того, подумалось мне, чтобы быть после смерти нетленным. Наверно, он знал, что деревянное масло препятствует трупу разлагаться. Безумная эта мысль, развиваясь все далее, довела меня в конце концов до полного неверия в подвиги и святость жизни затворника. А дальше пошло в голове что-то и вовсе ни с чем не сообразное: ничего нет чудесного... все тайны природы, кажущиеся чудесными, пока еще они не открыты и не разга-

даны человеком... сны, мечты, воображение!.. Я путался в мыслях все более и более и кончил тем, что и вовсе запутался.

По возвращении своем домой в Лебедянь в самых растрепанных чувствах я оправил машинально в своей комнатке лампадку перед образом Божией Матери и лег на диван лицом к стенке. Не успел я как следует задремать, как вдруг почувствовал, что кто-то ударил меня тихо по плечу, и между дремой и пробуждением я услыхал голос, говорящий мне:

— Ты думаешь, что я ел все с деревянным маслом для сохранения своего тела нетленным. Я ел его от грыжи.

Я мигом обернулся и увидал около себя затворника Иоанна точь-в-точь такого, каким он изображается на портретах. Сказав мне эти слова, он стал невидим.

Ужас объял меня от этого видения: оно было так ясно, так живо, что у меня не было ни минуты сомнения в том, что Божий угодник явился мне для обличения моего кощунства. Я вскочил с дивана, и долго не мог успокоиться, и все ходил взад и вперед по комнате. Понемногу сила впечатления от виденного стала ослабевать, и опять зароились в голове отступившие было мысли: расстроенное воображение, оптический обман, галлюцинации!.. Слова эти и в то время были уже в большом ходу между теми, кому хотелось быть умными.

У меня в это время болели и сильно гноились глаза. Как бы в ответ на роившиеся в моей голове соображения, молнией промелькнула в ней

и другая мысль: если это видение — не бред расстроенного воображения, а истинное явление, то пусть исцелится моя глазная боль без всяких медицинских средств. Тогда я уверую.

Наутро, когда я шел на службу, мне встретился по дороге фельдшер И. П., знавший о моей глазной болезни, и дал мне пузырек с лекарством, говоря:

— А я вам нес лекарство против глазной боли!

Лекарство я взял, поблагодарил фельдшера, но воспользоваться им не успел по встретившимся мне спешным служебным делам, которые требовали усиленного занятия. Вечером, собираясь из дому к товарищу по службе, чтобы с ним идти к его невесте, у которой я был сватом, я, подвязывая манишку, взглянул в зеркало и увидел, что глаза мои как будто никогда и не болели.

XXX.

С этого времени моя внутренняя жизнь стала еще суровее: ночные мои молитвы я старался усилить, но вериги продолжать носить уже не мог — на теле сделались язвы, которые мне не давали возможности продолжать этот подвиг. На службе и с товарищами я по внешности не изменял своих отношений, но в своем домашнем, келейном, так сказать, быту я усердно стал стремиться подражать монашескому подвигу: по ночам вставал на молитву и, случалось, простаивал на ней до самой ранней обедни, к которой ходил неопустительно каждый

день. Кощунственные мысли меня оставили, но зато началось другое.

Однажды, в полночь, стоя на молитве, я увидал сбоку себя темную тень и ясно услышал страшный, зловещий голос:

— Если ты не перестанешь подвизаться, я много наделаю тебе неприятностей...

Жутко мне стало, но я прочитал молитву Иисусову и опять продолжал молиться. Тень исчезла... Через несколько времени со мной произошло такое страшное приключение: дело было вечером; по обязанностям своей службы, уходя из подвала, где в чанах стоял спирт, я тщательно осмотрел чаны, что делал ежедневно по окончании дневной работы, и всё нашел в полной исправности. Утром следующего дня я вместе с бондарем вошел в подвал и, к великому своему ужасу, увидал, что весь пол подвала залит спиртом. Оказалось, что за ночь вытек самый большой чан, в котором было более 200 ведер. На полу — море вина, а чан пустой. Я перепугался до полусмерти. «Боже мой! — воскликнул я, — спаси меня!..» Надо было как-нибудь скрыть происшествие от управляющего и поторопиться собрать сколько возможно спирту, пока еще на дворе и в конторе спали. Насосом и ливерами мы с бондарем выкачали обратно в чан это разливанное море, пол усыпали песком, и казалось, что и следов несчастия не осталось. Но на деле, когда я стал проверять утечку, спирту много не достало до нормы. Пришлось заявить управляющему. Я получил жестокий нагоняй, особенно когда стал просить увольнения. Тем не

менее я настоял на увольнении, опасаясь в будущем неприятностей еще горших. Но вот что показалось всем странным и загадочным: когда я сдавал подвал своему преемнику, то весь подвальный спирт оказался налицо. Удивился управляющий, удивились рабочие... Я не особенно удивился, зная, **чье** это было приражение, и только мог вздохнуть благодарной молитвой к Богу и Пречистой...

Наш управляющий, Иван Андреевич Дивеев, очень меня уговаривал не покидать службы. Хотя он и погорячился было со мной, но, как человек очень добрый и меня любивший, тут же и раскаялся в своей горячности. Но меня уговорить было совершенно невозможно: я был уверен, что настало время для меня удалиться в монастырь. Нападение на меня вражье в міру я приписал медлительности моей в исполнении данного уже давно обета, а чудесное обретение спирта я приписал моей решимости разделаться с міром. Уверенность эта так во мне была крепка, что я убедил Дивеева в необходимости для меня покинуть службу, чтобы в дальнейшем и для себя и для него не навлечь еще больших неприятностей, тем более что страшное видение повторилось вновь и угрожало мне новыми ужасами. Религиозно настроенный Дивеев вынужден был со мною согласиться, когда я ему открыл свои видения, и дал мне увольнение.

Но независимо от вражьего на меня нападения, которое, казалось мне тогда, было попущено мне за мое нерадение к исполнению моих обетов, я считал себя, до некоторой сте-

пени, и в нравственном праве перед родителем и семьей оставить о них дальнейшее попечение: на руках у родителя оставались только две сестры — вдова Екатерина, уже сама стремившаяся в монастырь, и малолетняя Поленька, которая не могла очень обременить отца, тем более что, еще когда я был на службе в Усмани, я ему отдал все свои сбережения, а он обещал мне, когда я того пожелаю, дать увольнительное свидетельство на поступление в монастырь.

Итак, рассуждал я: сестра Екатерина и я поступим в монастырь; Поленька останется с отцом, который может перебиться со своими деньгами, а брат Иван, уже сам поступивший на службу, не требует попечения; с течением же времени и он может занять мое место в заботах о старике отце и малолетней сестре.

Очень мне все это тогда казалось гладко и рассудительно...

XXXI.

Упомянув о брате Иване, что он уже был на службе, я должен в хронологическом порядке своего повествования отступить несколько назад и рассказать, каким образом его поступление на службу состоялось. В неисповедимых путях Божественного Промысла младшему моему брату суждено было занять в моей жизни важное место, и сама судьба его, тесно с моей связанная, настолько интересна, что меня, я уверен, простит за это отступление тот, кто еще не бросил до сих пор чтения моей рукописи.

Когда я служил еще в земле Войска Донского и жил в Раздорской станице, в числе служащих поверенных был моим товарищем некто Федор Михайлович Абрамов, молодой человек прекрасной наружности, редко веселого характера, притом певец с хорошим голосом и чудесный гитарист. Это был мой первый и закадычный приятель, с которым мы, что называется, жили душа в душу. Но служить нам с ним по откупу вместе пришлось недолго, так как отец его определил на Кавказ, на службу к известному богачу армянину Мирзоеву, который был самым крупным поставщиком спирта на нашу Кавказскую армию. Это время на Кавказе было временем крупных нажив для ловких дельцов — золото в их карманы лилось рекою, в полном смысле слова, без счета... Отъезжая на Кавказ, Абрамов, получив расчет у Рукавишникова, заехал ко мне проститься в Раздорскую, дав для того 80 верст крюку, и прожил у меня три дня. Эти три дня совместной жизни нас до того сблизили, что на прощанье мы с ним обменялись шейными крестами, стали «крестными братьями» и дали друг другу клятву быть на всю жизнь как братья родные. Он уехал после того в Темир-Хан-Шуру, где скоро приобрел доверие своего хозяина и по коммерции стал немалым человеком.

В добрый час, как потом оказалось, мы стали с ним крестовыми братьями...

Во время моей службы в Лебедяни, родитель мой надумал съездить из Балашова в Воронеж на поклонение мощам святителя Митро-

фана и оттуда, на возвратном пути, привез ко мне младшего моего брата Ивана, которому в то время было 16 лет. Родителю моему желательно было определить его писцом в питейную контору, но я, уверенный в том, что откупа доживают свой век, — к тому же и слухи такие ходили, — просил родителя, чтобы он лучше определил Ивана к какому-нибудь капиталисту-коммерсанту, хотя бы до времени и без платы, чтобы только пристроиться к крупному коммерческому делу. Родитель согласился на мой совет. Брату моему это было очень неприятно, но, делать нечего, пришлось подчиниться родительской воле... Когда они вернулись домой, к отцу моему зашел в гости некто Евреинов, наш бывший согражданин, а в это время житель г. Темир-Хан-Шуры, где у него была торговля. За беседой выяснялось, что Евреинову нужно ехать в Москву и на Нижегородскую ярмарку за товаром, а жену, за которой он приехал, отправить из Балашова в Шуру.

— Да вот, горе мое, — жаловался Евреинов, — отправить-то мне ее не с кем!

На это мой родитель предложил ему взять жене в спутники брата Ивана...

— Да уж, кстати, и взяли бы вы его к себе на службу, — прибавил мой родитель. Евреинов согласился, и судьба брата была решена...

Таким образом, в Темир-Хан-Шуре брат мой очутился с крестовым моим братом, Федором Михайловичем Абрамовым. Но друг друга они не только не знали, но и о взаимном существовании не имели никакого понятия.

А между тем Абрамову суждено было оказать на строй жизни моего брата большое влияние, и встреча их и знакомство состоялись при следующих обстоятельствах.

Однажды Федор Михайлович шел из своей конторы через площадь, где торговые ряды. В то время в рядах у дверей каждого магазина стояли диваны, и на этих диванах отдыхали прохожие, больше, конечно, офицеры, по пути к главнокомандующему из своих частей или из военной канцелярии. Можно сказать, что диваны эти были местом их обычных собраний, где они собирались потолковать о военных или о своих домашних делах... В тот день, в который состоялась встреча моего брата с Абрамовым, у Абрамова по дороге из конторы к главнокомандующему, князю Лорис-Меликову, потухла сигара, и он, подойдя к лавке, у которой стоял мой брат, сел на диван, а брат, заметив, что сигара потухла, подал ему спичку. Раскуривши сигару, Абрамов спросил брата:

— А ты, мальчик, откуда родом?

— Из Балашова, — ответил брат.

— Из Балашова? — переспросил Абрамов, — а не знаешь ты в Балашове Федора Афанасьевича Попова?

— Как не знать, когда он мне родной брат!

— Да как же ты попал сюда?.. А брат твой где?

— Брат в монастырь ушел...

— Да верно ли ты это говоришь? Неужели Федор Афанасьевич тебе брат? — изумлялся Абрамов, не веря собственным ушам.

— Да смею ли я так нагло лгать? — уверял его брат.

— И письма у тебя от него есть? — допытывался Абрамов.

— Не далее как вчера я и от него, и от родителя получил письма...

— Ну, вот что, бра́т! Приходи ко мне завтра пораньше утром чай пить — я чай пью рано — да приноси с собой письмо брата: я тогда узнаю, тот ли это Попов, о котором мы говорим, а то — все бывает, — может, это только его однофамилец...

Абрамов дал свой адрес брату, и наутро дело выяснилось, и встреча эта повела к удивительной, как потом оказалось, перемене судьбы моего брата. Добрый и верный друг Абрамов, обрадовавшись известиям обо мне и встрече с братом, велел ему написать немедленно письмо ко мне и к родителям с просьбой разрешить брату переменить место и поступить на службу к другому хозяину по рекомендации Абрамова. Разрешение это нами было дано, и вскоре брат поступил на службу к одному владимирскому коммерсанту, торговавшему в Шуре и нажившему во время военных действий против Шамиля крупное состояние. У этого купца была единственная дочь, которой и было суждено впоследствии стать женою моего брата. Вот эта-то свадьба впоследствии и развязала меня окончательно с міром... Но я забегаю вперед, а теперь перехожу к рассказу о моем вторичном поступлении в монастырь.

XXXII.

Во время моей службы в Лебедяни я часто ходил к службам в Троицкий монастырь. Бывая в монастыре, я полюбил его запущенный, тенистый сад, где в самой середине его чащи стоял нежилой деревянный сруб, покрытый тесом, с полом, но без печей и без рам. В этот сруб по осени ссыпали яблоки. До того мне полюбилось это уединенное место, что, гуляя в этом саду в полном, конечно, одиночестве, я неоднократно молил Бога, чтобы Он благословил мне поселиться в этом срубе и в нем проводить отшельническую жизнь... Когда я решился уйти вторично из міра в монастырь, то, получив расчет от управляющего своего, Ивана Андреевича Дивеева, после истории с пролившимся спиртом, я пошел к игумену монастыря и просил его, чтобы он принял меня в свою общину жить в этом срубе под именем сторожа. У меня для окончательного поступления в монастырь не было увольнения от общества, а без него я мог жить в монастыре только по паспорту, под видом вольнонаемного. Об этом разрешении я молил игумена, со слезами великой жажды подвига, и получил его без особого затруднения.

«Господь тебя да благословит» — такими словами игумена положено было начало моему вступлению во второй раз в вожделенную для меня монастырскую ограду.

На новое свое жительство я перебрался в первых числах апреля, когда на дворе еще стояли порядочные заморозки, и, Боже мой!

сколько я натерпелся тогда от холода в своем срубе, от крыс и мышей, бродивших в нем целыми вереницами. От холоду я долго не мог ложиться спать, становился на молитву и усиленно клал земные поклоны. Едва согревшись, пробовал заснуть, но крысы и мыши начинали бегать по всему срубу, поднимали такую возню, что в ее разгаре не стеснялись прыгать мне на голову и бегать как ошалелые по всему телу. Кроме добровольного и вынужденного указанными обстоятельствами подвижничества, я нес еще послушание у свечного ящика и вскоре начал чувствовать такое изнеможение, и физическое, и нравственное, что вряд ли бы его долго выдержал, а на изменение своего положения я мог рассчитывать или с окончательным поступлением в монастырь по получении увольнения, или с выходом из монастыря обратно в мір. Со слезами молил я Преблагословенную, чтобы Она помогла мне получить это, как клад, не дававшееся увольнение, но получить его не мог — все не было на то ни Божией воли, ни родительской. О, какое тяжкое это было время!

Слава и благодарение Господу, не допустившему мне потерпеть выше моих сил!.. Через наш монастырь шли в Оптину Пустынь монахини Тамбовского монастыря. Это были духовные дочки старца Макария, несшие в Оптину для продажи мухояр своего рукоделья, а главным образом шедшие за духовным советом к своему руководителю. С ними я послал Старцу извещение, что я опять вышел из міра, и просил

объяснить ему, где я поселился и что делаю... Наступили между тем теплые дни, — и мне стало немного полегче.

А тут еще со мной произошел случай, очень меня и утешивший и ободривший. Однажды, после вечернего пения в храме (я пел на клиросе), я подошел к иконе Всех Скорбящих Радости и стал усердно молиться Преблагословенной об увольнении. Ко мне вдруг подошел неизвестный молодой человек и сказал:

— Ты просишь об увольнении. Не плачь — получишь!

Когда я опомнился от радостной неожиданности этих слов, молодого человека уже в храме не было. Таинственное это явление — человека или ангела, не ведаю, — сильно окрылило мой дух. Но радость надежды сменилась для меня вскоре новым испытанием.

Не успели уйти монахини, как приехала ко мне из Балашова сестра Екатерина вместе с двоюродным моим братом. Цель ее приезда была уговорить меня бросить монастырь и опять поступить на службу, так как им с отцом и младшей сестрой вскоре нечем будет кормиться. Тяжело было мне все это выслушивать: и жаль было семьи, но еще более было жаль себя, своих высших, но все недостижимых стремлений. Душа моя рвалась на части. И вот, в этом состоянии духа мы с сестрой отправились в Сезеневский женский монастырь поклониться гробнице Иоанна Затворника, в надежде, что Господь смилостивится и укажет мне мой путь.

Когда мы с сестрой возвратились из Сезенева, в это время пришли из Оптиной Тамбовские монахини и передали мне, что батюшка Макарий требует меня немедленно к себе в Оптину для личного свидания. Я уговорил сестру остаться в Лебедяни дождаться моего возвращения, а сам на другой же день с двоюродным братом вышел пешком в Оптину. Старец принял меня ласково и благословил до времени остаться в Оптиной, а в Лебедянский монастырь пока не возвращаться. Двоюродный мой брат, таким образом, вернулся в Лебедянь один, и сестра, не достигши цели своей поездки, вернулась с ним обратно в Балашов с тяжелым чувством разочарования и в скорби на мое жестокосердие. А как мне было расстаться с моей мечтой, как было ослушаться воли Старца?! А мои семейные, думалось мне, проживут как-нибудь и без моей помощи, если Господу угоден путь, мною избранный...

XXXIII.

И поселился я жить в Оптиной, которая мне после Лебедянского монастыря с его уже поврежденной духовной жизнью показалась да и на самом деле была раем духовной жизни для человека, ищущего христианского совершенствования под руководством опытного Старца. А таким руководителем испытанной мудрости и всяких христианских добродетелей был старец Макарий. Много за это время довелось мне слышать богомудрых его бесед об иноческой жизни, терпении, смирении, смиренномудрии,

послушании, безмолвии и любви, но важнее всего был его личный пример и пример тех, которые проводили жизнь совершенствования во Христе Иисусе под неусыпным духовным надзором его беспримерной любви и попечительности. Что это был за человек!.. И любили же его те, которых Господь удостоил быть его духовными детьми!..

В описываемое мною время (шел 1853 год) в Оптинском Скиту при старце Макарии состоял в числе послушников Ювеналий Половцев, впоследствии Архиепископ Виленский. В то время он был еще совсем молодым человеком. Происходил он родом из известной дворянской фамилии, довольно богатой, и был он человек образованный, в цвете сил обширных своих дарований... Не забуду никогда одного незначительного по внешности, но полного глубокого по внутреннему смыслу значения случая, происшедшего на моих глазах в келье старца Макария. Сидели мы как-то в третьем часу дня втроем — я, о. Иларион и Ювеналий — и пили чай в келье у Старца. Вдруг отворилась дверь из покоев Старца, и сам батюшка из двери поклонился Ювеналию:

— Ювеналий, поди ко мне!

В руках Ювеналия было недопитое блюдечко — только раз хлебнуть... Ювеналий тем не менее и не подумал допить остаток чаю, поставил немедленно по зову Старца блюдечко на стол и побежал к батюшке. Старец заметил, что чай Ювеналиев остался на блюдечке, и улыбнулся...

— Поди, — сказал он Ювеналию, — допей в блюдечке чай, а тогда и приходи!

Он так и исполнил.

Сколько в этом малом примере смирения и послушания в молодом человеке, рождением своим призванном руководить и повелевать, а не носить иго послушания у смиренного старца-монаха!.. Таково было обаяние личности и духа о. Макария. Мудрено ли, что на смену ему в этой временной жизни в Оптиной уже созревал не менее великий ему преемник — Амвросий!..

Как ни хорошо жилось мне в Оптиной, но меня вскоре потянуло с великой силой повидаться с другом моей юности, Феодором Андреевичем Какирбашевым, о котором я уже упоминал в этой летописи земного моего странствования. В описываемое мною время он уже был иеродиаконом Площанской, что в Орловской губернии Севского уезда, пустыни. Десять лет прошло с тех пор, как я с ним в последний раз виделся, и мне непреодолимо захотелось опять видеть этого искреннего своего друга и сомолитвенника времен детских и юношеских молитвенных наших подвигов. Открыл я свое желание Старцу и получил его благословение. В Площанскую пустынь я отправился излюбленным своим способом, по образу, как говорится, пешего хождения.

Надо ли описывать радость нашей встречи с другом детства моего?.. Отца Филарета я уже застал в сане иеромонаха, восходящим от силы в силу в меру возраста Христова. Совершенна была радость нашего свидания; да и могла ли

она быть иной, когда основа нашей дружбы и встречи была одна — любовь о Христе Иисусе и общее стремление к жизни духа, к совершенствованию благодатью Божией в этой любви божественной!.. Поселили меня, странника и пришельца, в одном коридоре с о. Филаретом, и кельи наши были рядом — из двери в дверь. Сходились мы вместе ежедневно за утренним и за вечерним чаем и жили, в полном смысле слова, душа в душу в боголюбезном общении духа и любви христианской. Что это было за незабвенное время, что это была за радость, міру невместимая!..

Увы! непродолжительна была моя блаженная жизнь в Площанской пустыни: собиралась гроза военная Крымской кампании — пошли слухи об усиленном военном наборе, к которому мог быть привлечен и я, если бы дело дошло до созыва ополчения. С другой стороны, родитель мой с сестрами стал уже доходить до последней крайности и писал мне письма, в которых, жалуясь горько на свое положение, взывал ко мне, как к сыну, о поддержке. Младший брат мой еще не нашел тогда своей судьбы... И был я в великом борении духа. А между тем Севастопольская несчастная война была уже в полном разгаре... Дни моей духовной радости в Площанской пустыни быстро летели, и мне было незаметно, как промчался и канул в вечность год и наступил второй моего пребывания в этой святой и великой по духу обители.

Отца с сестрами мне за это время удалось устроить в Лебедяни, при помощи моего благо-

детеля и боголюбца, Ивана Андреевича Дивеева, которому я писал о тяжелом положении моей семьи. Добрый Дивеев тотчас вызвал моего отца из Балашова, послав ему с сестрами денег на дорогу, и устроил его на 25 рублей в месяц жалованья подвальным при пивном заводе. Жизнь в провинции тогда еще была дешевая, и 25 рублей в месяц были достаточны для скромного прокормления целого семейства. С этой стороны немного успокоена была душа моя. Но военная гроза, потрясая самые основы государства, била и меня, заставляя трепетно ожидать моего вызова в ополчение. Опасения мои были не напрасны, и вскоре был разослан по всем обителям строгий указ, чтобы все проживающие в них по паспортам явились в свои общества. Надо было немедля собираться опять в мір... О горе! о томление духа!..

И вот, в горести своей, я как бы в тонком сне, совсем как наяву, имел видение: в моей келье находятся будто бы Государь Николай Павлович в мундире и Наследник престола Александр Николаевич в полном императорском одеянии. Государь сидит такой грустный, а Наследник стоит перед ним... И вдруг Государь, обращаясь к своему царственному Сыну, сказал:

— Подойди ко мне!.. Война окончится замирением...

На этом я проснулся и тут же рассказал свой сон о. Филарету.

— Смотри, — сказал он мне, — умрет наш Государь!

И на другие сутки дошли до нас известия, что умер Государь Николай Павлович и воцарился Александр II.

XXXIV.

Обливаясь слезами, уходил я из Площанской пустыни обратно в мір. О горе мое, о мучение!.. Прощаясь с другом моим, зашли мы с ним в храм. Службы не было. Подошел я со слезами к чудотворной иконе Божией Матери, и когда помолился Ей, изнемогая от волновавших меня чувств, и подошел к Ней прикладываться, то вложил за ризу иконы приготовленную мною заранее записку, как бы прошение к Самой Преблагословенной, чтобы Она помогла мне избавиться от міра и сохранила меня во всех путях моей жизни. И сказал я затем вслух Ей, Владычице:

— Тебе, Матерь Бога моего, вверяю я душу свою и молю Тебя — исходатайствуй мне благословение на увольнение от міра. Сын Твой и Господь мой сказал, что грядущего к Нему Он не изгоняет вон, а я вот другой раз выхожу от Него обратно в мір... Где же обещание Его? Неужели грехи мои победили Его благость?.. Помоги, Владычица!..

И многими другими словами молился я Преблагословенной и, обнявшись в последний раз с о. Филаретом, пустился вновь в тот опостылевший мне мір, от которого так отбивался и к которому все еще оказывался прикованным какою-то тяжкою, точно заколдованною цепью...

Не могу выразить словами всю скорбь сердца моего, когда я шел обратно в мір. Я не рад был даже своему существованию... И пришла мне дорогою мысль зайти к моему Старцу в Оптину Пустынь. Помысл говорил мне, что если я его теперь не увижу, то уже более никогда его на этом свете не увижу. Дорога мне была на Лебедянь к родителю, и, чтобы дойти до Оптиной, мне надо было сделать 120 верст крюку. И я это сделал.

Когда увидел меня батюшка Макарий смущенного и в слезах, то стал меня утешать и сказал мне:

— Не скорби: в силах Господь утешить тебя и извести тебя из міра.

— Нет, батюшка, — отвечал я ему, — верно, грех моих ради, Господь отвергнул меня от звания иноческого.

— Не так говоришь, — сказал мне Старец, — грядущего к Нему Он не изгоняет вон. Моли Его благость и предайся Святой Его воле, и Той сотворит. Верь мне — будешь ты монахом, но, когда и в какое время, этого я не могу сказать тебе, но думаю, что со смертью родителя твоего тебе откроется путь к иночеству. А теперь укрепи себя надеждой на Бога и иди к родителю и, по силе нужды его с сиротами, твоими сестрами, усиль свою сыновнюю обязанность в обеспечение их сиротства и его старости. Будет время, что и сверх твоего ожидания откроется тебе путь к желаемой цели. А теперь иди и исполняй обязанности сына.

И когда я уходил из благословенного Скита Оптиной, то, — о Старец мой любвеобильный! — он пошел меня провожать, и, когда я плакал дорогой, он остановился сам, остановил меня и сказал:

— Жаль мне тебя: ты идешь в мір — с тобой встретятся искушения... Но помни слова мои: не отчаявайся! Еще повторяю тебе: с тобою будут искушения — *не отчаявайся*!.. Сон, когда-то виденный тобой, что ты горел в огне разных цветов, и указывает на эти разного рода искушения. Но искушения породят в тебе ведение, а познание своих немощей обогатит тебя смирением, и ты будешь снисходительнее к другим. Повторяю тебе опять: будут с тобой искушения, но *не отчаявайся*, и, что бы с тобой ни было, пиши ко мне всегда обо всем, а я, по силе возможности, буду отвечать тебе.

При этих словах Старца, я упал ему в ноги и, обливая их слезами, просил святых молитв его...

— Господь да благословит тебя, Господь да сохранит тебя, Господь да поможет тебе и да изведет Он тебя. Мир тебе. Не скорби: в силах Бог утешить тебя; придет время — будешь и монахом. Тогда вспомнишь слова мои. Уверяю тебя, что будешь ты монахом!

Это были последние слова блаженной памяти великого старца Макария, обращенные ко мне. Простившись с ним и приняв его последнее мне на земле целование, я, успокоенный в духе, пошел в Лебедянь к родителю и в мір предстоящих мне искушений.

Предчувствие меня не обмануло: старца Макария я уже на земле более не видел.

Соедини нас, Господи, во Царствии Твоем!

XXXV.

Оригинально произошла моя встреча с родителем... Как я уже говорил, добрый Иван Андреевич Дивеев дал ему место подвального при пивном заводе. Это была с его стороны тайная милостыня, так как ему хорошо были известны все обстоятельства моей семейной жизни и стремления мои, которым он, как человек в высокой степени религиозный, сочувствовал от всей своей доброй и боголюбивой души. Не ограничившись тем, что он дал отцу место, Дивеев поместил его и всю семью на готовую квартиру с отоплением и освещением. Жилось ему сравнительно хорошо; но уже стал немощен и стар мой родитель, а несостоятельность, в которую он впал в родном городе, где занимал в свое время не последнее место, почти сокрушила последний остаток его старческих сил. Много пришлось перенести ему в Балашове перед выездом в Лебедянь: глухая вражда тайных врагов, которых он там приобрел на общественной службе, благодаря своему правдивому характеру, только ждала его несостоятельности, чтобы вырваться наружу, и много довелось испытать горького бедному отцу, пока не пришел к нему на помощь Дивеев. Так, видно, все ведется на белом свете: пока в богатстве, потуда и в чести; а обеднял — всем опостылел и никому не стал ни мил, ни нужен...

Я не давал знать родителю о своем выходе из монастыря и о возвращении, так что приход мой для него был совершенной неожиданностью. Лет пять или шесть мы с ним не виделись с того дня, как он был у меня с братом Иваном. Из семейных только сестра Екатерина видела меня сравнительно не так давно, когда приезжала уговаривать меня выйти из Лебедянского монастыря, но за эти два года, что она меня не видала, я уже успел сильно перемениться, особенно в послушническом одеянии, которое я носил и в котором возвращался из Площанской пустыни. Я был уверен, что меня даже не узнают, и — не ошибся.

В Лебедяни контора пивного завода, в котором служил родитель, стояла на так называемой Тяпкиной горе, а пивной завод и квартира отца были под этой горой. Надо же было случиться, что, когда я спускался под гору и приближался к отцовской квартире, меня нагнал родитель, возвращавшийся из конторы завода домой. С сумкой за плечами, в весьма убогой одежде, сожженный лучами солнца, запыленный, с посохом странника в руках, я поклонился отцу до земли и спросил его:

— Не знаете ли вы, где бы мне здесь найти Афанасия Родионовича Попова, служащего по питейной части?

Родитель не узнал меня и ответил:

— Тот, кого вы ищете, говорит с вами. Что вам нужно?

— Да у него, — сказал я, — есть сын в монастыре?

— Есть.

— Ну, вот он-то и просил меня убедительно найти вас и передать вам о его житье-бытье.

С великой радостью родитель пригласил меня к себе, и тотчас по приходе велел поставить самовар, и стал меня расспрашивать о сыне. Я крепился и не выдавал себя. В это время сестры подавали нам чай и тоже меня не узнавали. Со слезами на глазах слушали они мой рассказ о брате, нимало не догадываясь, что сам брат с ними говорит. Я едва сам удерживался от слез, особенно при взгляде на младшую сестренку, Поленьку, но не хотел до времени выдавать себя. Тут к нам вошла в комнату женщина, у которой я стоял на квартире, когда был подвальным. Она узнала меня, но не вполне еще уверенная, что это я, вызвала сестру Поленьку в другую комнату и сказала ей:

— Это брат ваш. Уверяю вас, что это он.

Поленька порывистым шепотом позвала сестру Екатерину:

— Сестрица, иди скорей сюда!... Посмотри, ведь — это с папашей-то чай пьет братец наш!..

И та, как взглянула, так и бросилась ко мне, обливаясь радостными слезами... Отец так и ахнул:

— Ах ты вшивый! да как же это я не узнал тебя!..

И пошла тут радость, слезы, восклицания, объятия.... Забыл я тут и жизнь свою монастырскую...

Нужно же было тому быть, что в это самое время был в Лебедяни, проездом из Во-

ронежа в Москву, брат нашего откупщика, бывший мой управляющий и начальник, Алексей Никитич Рукавишников, и они меня вместе с Дивеевым тут же и приняли вновь на службу. На другой день я был назначен в село Доброе, пятьдесят верст от Лебедяни, дистанционным, где и была мне назначена квартира. Семейные мои заставили меня обрить бороду, а сослуживцы за одну ночь, без ведома моего, сюрпризом, заказали портному полную штатскую пару и пальто, что меня до крайности удивило и тронуло. За сутки ничего не осталось во мне по обличью монашеского, и опять потекла старая, знакомая мирская жизнь с ее суетой, бестолочью и призрачными обольщениями...

XXXVI.

Но гроза военная все еще не проходила. На престоле уже был Александр II, от которого ждали заключения мира, но мира еще не было, и я сильно унывал, зная, что при наборе в Балашове ратников меня отцовские враги не пощадят и забреют лоб без всякого сожаления к моей семье. Я усиленно молился Богу, чтобы минула меня эта горькая чаша. И вот, в это время во сне я увидал чудное видение: вижу я себя, что будто я в каком-то великолепном храме, точно в Сезеневе. Передо мною иконостас, а вверху его, на великолепном троне, в полном архиерейском облачении, со скипетром в руках, сидит Спаситель. По правую Его руку стояла Матерь Божия в скромном одеянии, предстоя в безмолвной молитве пред Гос-

подом. По левую руку Спасителя, преклонив одно колено, стоял Предтеча и Крестйтель Господень Иоанн; правая его рука была приложена к сердцу, а левой он указывал вниз, где на воздухе был из белого тумана крест, а под крестом стояло многое множество народа. И в толпе этой стоял глухой шум, как бы от вод многих. Пречистая и Креститель молились со слезами Господу об этом народе, и по Лику Спасителя, преклонившего главу Свою, было заметно, что молитва была услышана.

На этом видение кончилось.

В это время из Успенского женского монастыря проезжала известная мне старица, монахиня Архелая. Я ей открыл о своем видении. Долго помолчавши, она сказала мне:

— Это сон какой-то дивный. Смотри, как бы не попасть тебе в ратники!

Такое толкование простосердечной старушки, в тон моему тайному беспокойству и опасениям, окончательно смутило дух мой, но Господу угодно было меня утешить последующим затем вскоре видением. Было это во сне. И видел я, что я молюсь ночью в саду и что на дворе стоит майское тепло и благоухание. Стоя на молитве, вдруг слышу с высоты, над головой моей, голос, зовущий меня по имени:

— Феодор! Чего ты скорбишь? Не скорби — Я дам мир Европе!

И когда я взглянул на небо, то увидел в невыразимой воздушной дали Спасителя, стоящего в белой льняной одежде, опоясанной золотым поясом. Сверх этой одежды была другая,

а в руках Спаситель держал крест, как то пишут на местных иконах... Когда видение это скрылось, я проснулся вне себя от радости. И что же? На другой день после этого видения мир был заключен, и кончились таким образом все мои душевные смуты.

XXXVII.

Из Лебедяни я выехал, сняв родителя со службы, со всем своим семейством в село Доброе, когда-то бывшее городом. Опять началась для меня обеспеченная и прибыльная служба дистанционного, и мiр опять, вопреки моим обетам, понемногу стал меня затягивать в свои сети. Кончилось тем, что я, к стыду моему, увлекся красотой жены одного купеческого сына и стал вновь рабом своих страстей. О монастыре я, казалось, и думать забыл, хотя в минуты просветления сердце мое с тревогой обличало мое поведение. Но жизнь шла своим порядком, брюхо было сыто; а сытое брюхо, как известно, к ученью глухо, особливо к ученью света, добра и истины, еже во Христе Иисусе, Господе нашем.

Однажды приехал ко мне один мой приятель, человек молодой, служивший в Добром становым приставом, и соблазнил меня ехать на охоту за утками. Собралась нас целая компания, и покатили мы на тройках верст за 15 от Доброго. Было это время, когда матерые утки линяют и держатся в камышах на озерах. И вот на одном-то из таких озер мы и начали свою охоту. Мы со становым пошли по одному бере-

гу, а остальная компания — по другому. Ружья у нас были отличные, и охотились мы с подружейными собаками. Дичи было много, собаки работали на славу, да и охотники не зевали, — и скоро мы наколотили препорядочно и молодяку, и старых уток, и селезней. Обилие дичи и непрерывная бойня несколько поутомили меня и поохладили охотничий пыл. Я шел опустив ружье и задумался. Мысль моя невольно обратилась к монастырю, к невыполненным обетам... Когда же, думал я, удастся мне наконец поступить в монастырь? где все обещания прозорливого старца Макария?.. Я взглянул на небо и с горькой усмешкой недоверия сказал: «Ну, где же Божий Промысл? Какой это Промысл! Все это игра случайностей, игра воображения!..»

В это мгновение из камышей вылетела утка... Меня что-то изо всей силы ударило в спину и точно обожгло. Гулко прокатился выстрел, и я тут же упал на землю — почти в беспамятстве... Ко мне подбежал становой — лицо, искаженное испугом, и прерывающимся от волнения голосом спросил:

— Голубчик ты мой, жив ли ты? Прости, Христа ради, — это я нечаянно... Нечаянный был выстрел...

Оказалось, что становой хотел было выстрелить по взлетевшей утке, но, когда он вздумал вскинуть к плечу ружье, курок преждевременно спустился, и весь заряд крупной утиной дроби угодил мне в спину. А ружье у станового было такое, что этой дробью в сорока саженях пробивало доску... А я шел впереди

станового саженях в семи или восьми... Бедный становой весь трясся, бледный от испугу, и только причитывал:

— Ах, ах! голубчик ты мой, я тебя убил! я тебя убил!

Когда прошла первая минута испуганного оцепенения, я попробовал приподняться. Это мне удалось. Кое-как сняли они с меня сюртук. Рубашка была вся смочена кровью, но кровь уже более не текла, и я не чувствовал боли. Боль была мгновенная только при выстреле: меня точно обожгло или укололи в спину острыми вилками, а затем она также мгновенно и прошла. Силы ко мне вернулись, я почувствовал, что опасности нет, встал с земли, и мы пошли пешком к лошадям. Я велел становому ничего не говорить о случившемся, но охоты мы уже более не продолжали — не до охоты уже нам было. Вернулись домой, я сказал о том, что со мною было, только сестре Екатерине со строгим запретом что-либо говорить отцу, а становой послал свою тройку за доктором в имение князя Васильчикова, неподалеку от Доброго.

Рано поутру приехал доктор, осмотрел мою спину и улыбаясь сказал:

— Хорошо же вы охотитесь!.. Только вы не беспокойтесь: опасного ничего нет. Вот я вам пришлю примочку, а вы ее приложите к ранам, когда будете ложиться спать, — боль и успокоится...

Но в том-то и дело, что боли у меня никакой не было... Напившись чаю, доктор уехал

обратно. На ночь я не воспользовался докторской примочкой, лег спать и уснул самым приятным сном. Вставши поутру, я попросил сестру дать мне другую рубашку, и когда я ее стал менять, то из моей спины дробины посыпались на пол. Изумленный и обрадованный явному чуду, дарованному мне для вразумления моего, я обратился к образу Спасителя, висевшему тут же в комнате, и взмолился Ему:

— Оставь мне, Господи, в теле моем хоть несколько дробинок в память милосердия Твоего ко мне!

И во мне остались три дробинки, которые я храню в своем теле и до сего времени, да видят на мне щедрую и милостивую руку Господню.

После этого вновь возгорелась ревность моя жить по Бозе и в Боге. Опять переменил я образ своей жизни и стал все чаще и чаще задумываться о монашестве. Я вспомнил слово старца Макария, которым он меня предостерегал от отчаяния, и я не давал духу уныния заживаться подолгу в моей душе, но о монастыре мне пока и думать было нечего: за плечами моими был старик отец, уже обремененный и годами, и немощами, сестра-вдова и подросточек, младшая сестричка — все трое беспомощные, у которых только и было надежды, что на меня да на мой заработок. Приходилось поневоле мириться с жизнью в міре, и я смирился в твердом, однако, уповании на то, что рано ли, поздно ли, а изведет меня все-таки Господь на монашеское делание. Тем не менее, радуясь

исполнению сыновнего долга, счастливый по службе, любимый начальством в лице благодетеля моего Дивеева, любимый сотоварищами по службе я бывал иногда, по немощи человеческой, близок к самому тяжелому унынию. Спасался только молитвой ко Господу и Пречистой, — и не оставлял меня Господь даже в минуты малодушия моего. А малодушным мне приходилось бывать частенько.

Разыгрывалась раз в конторе лошадь в лотерею. Я взял один билет, и, когда приступили, в моем присутствии, к розыгрышу, я помолился в сердце своем Преблагословенной, чтобы утешила меня Она выигрышем, дав в нем мне знамение в том, что Господь внемлет моей просьбе и я буду иноком. Не лошадь мне была нужна, но унывающая моя душа жаждала утешения. И я был утешен: билеты все вынули, остался один мой, и лошадь таким образом мне и досталась.

Очень меня тогда это и утешило и ободрило.

XXXVIII.

В селе Добром вскоре скончался родитель и был похоронен близ церкви Тихвинской Божией Матери. Отошла с миром ко Господу настрадавшаяся душа его и осиротила всех нас и больше всего, конечно, беспомощных моих сестер, у которых на всем свете родного только и осталось, что моя к ним любовь и мое попечение. О брате Иване давно не было никаких известий, и трудно было рассчитывать на его поддержку и по его молодости, и по положе-

нию человека, живущего только на скромное жалованье торгового приказчика. Туманились последние надежды на развязку мою с міром: не обрекать же было моим уходом в монастырь на голодную смерть двух близких и дорогих мне существ. С помощью Божией, мне удалось отдать всю свою душу бедным сестрам и все силы свои посвятить на то, чтобы отереть всякую слезу их сиротства и одиночества.

В это время ушел со службы мой доброжелатель и благодетель Дивеев. На его место был назначен другой управляющий, совершенная противоположность своему предшественнику — безбожник и бич для бедности и низших своих служащих, сидельцев винных лавок. Особенную лютость и бессердечие он проявлял во взыскании штрафов, разорительных для бедных его подчиненных. Меня эта жестокость трогала до глубины сердечной и мало-помалу накопляла в моем сердце сильное негодование против угнетателя. Ко мне он относился как к исправной части откупной машины и даже сперва было повысил по службе, назначив дистанционным в Лебедянь, но потом перевел в Козлов, из Козлова в Елец, из Ельца в Липецк, не давая мне обосноваться на одном месте. Такая цыганская служба заставила меня жить на две квартиры: сестер я поместил жить в Лебедяни, а сам стал жить как попало в тех городах, куда меня забрасывала воля управляющего. Такая служба моя продолжалась не очень долго, и вскоре мне пришлось стать свободным гражданином вселенной. А вышло это дело так: у меня был

обычай, которого я не оставлял ни на один день, — это ходить ежедневно к ранней обедне. Обязанностям моим служебным это вредить не могло, потому что в контору я от обедни приходил все-таки раньше других. И вот на почве моего усердия к церкви Божией и вышло у нас столкновение с управляющим. Неоднократно уже, при встрече с ним и при малейшей возможности, он с ехидством глумился над церковностью и зло подсмеивался, вышучивая мое усердие к церковным службам. Я долго молчал, но он все не унимался и продолжал меня язвить при малейшем поводе. В конце концов я вышел из терпения и сказал ему:

— Извините меня: я не знал, что для вас, как для духа злобы, несносны те служащие ваши, которые молятся Богу!

В ответ на это он разразился самым гнусным кощунством и в заключение речей своих со злой усмешкой, под которой скрывалась едва сдерживаемая ярость, повышенным тоном сказал мне:

— Одна дикая глупость молиться каким-то там святым: как будто нужно их ходатайство, раз Он Всеведущ...

И понес затем такую кощунственную ахинею, что я, тоже повысив голос, крикнул ему:

— Уверяю вас, что вы без того не умрете, чтобы, не находя себе ни в чем помощи, не призвать на помощь себе святых. Только будете ли услышанны, за то не ручаюсь. Смирит Господь ваше безумие — помяните мое слово!

На этом первое наше столкновение и кончилось: управляющий сдержал себя, а я не стал больше говорить ничего; но злое семя личной ко мне вражды зрело в душе моего начальника.

Прошло с этого столкновения довольно много времени. По какому-то делу у меня было объяснение с управляющим, и он, без всякой с моей стороны вины, напал на меня, начал делать мне выговор и тут же попрекать монашеством, называя его ханжеством, и опять стал всячески кощунствовать над православной верой. Я не выдержал и вспылил:

— Выше это ваших понятий, — сказал я управляющему, — ваше дело — спиртуозы, о них и говорите!

Он до того на это замечание мое рассердился, что обругал меня площадными словами и даже осмелился коснуться праха моей матери. Я свету, что называется, не взвидел...

— Вы можете взыскивать с меня, — закричал я на него, — но чести моей матери я не позволю вам касаться, — иначе я тебя, безумца, по-своему заставлю замолчать...

Я готов был убить его чем попало...

Эта выходка моя настолько его сконфузила, что он только и нашелся сказать мне:

— Ах, какой в тебе недостаток для твоего стремления!

— И это дело не ваше, — ответил ему я, — сдерживайте лучше свою безумную заносчивость, а цензором моей нравственности я вам быть не позволю.

— Так, так! — сказал он мне, — ну, в таком случае, вы не можете служить со мною.

— Очень рад перестать быть свидетелем вашего бесчеловечия, — ответил я.

На этом кончилась моя служба по откупным делам.

XXXIX.

На службе по откупу я успел сделать некоторые сбережения и потому без опасения мог смотреть в будущее свое и моих сестер. Наняли мы приличную квартиру, обзавелись прислугой. Приличная обстановка уже была, и зажили мы с сестрами как нельзя лучше. Капиталец, хоть и небольшой, которым я мог располагать, давал нам возможность даже иметь некоторое изобилие в домашнем обиходе. Я весь отдался тихой семейной жизни с дорогими моему сердцу сестрами.

От брата известий не было.

Но недолго продолжалось мое беспечальное житие: по доверчивости своей я роздал большую часть своих денег взаймы, доверие мое было обмануто, и я лишился большей части своего капитала. Чтобы не тревожить сестер, я утаил от них свою скорбь, но, видя, как быстро стал истощаться мой кошелек, начал предаваться тайному унынию. Пробовал развлекаться чтением лучших наших светских писателей, но они на меня нагоняли своим безбожием еще большую тоску, еще большее уныние. В эти грустные для меня часы уходил я в сад и предавался отраде одиночества. Нет ничего

лучше одиночества, когда скорбит душа, болит и тоскует сердце!.. И стал я ясно слышать голоса, сперва негромкие, как бы издалека, а затем эти голоса усилились и дошли до дикого вопля...

— Ну что, монах! — кричали мне эти голоса, — где ж твоего Бога для тебя помощь? Ну-ка, призови Его, — что Он послушает тебя? Ха-ха-ха!

Раздавался зловещий, страшный хохот: «Ха-ха-ха! Оставь-ка лучше свои помыслы о монашестве — живи как живут в міре!.. Не быть тебе в монастыре! Да и не трудись призывать небо себе на помощь — оно тебя не услышит!»

Боже мой! что это был за ужас — эти голоса!.. И чем дальше, тем это становилось все хуже, все страшнее. Дошло наконец до того, что я не только стал слышать эти леденящие душу ужасом голоса, но и видеть в отдалении стоящую страшную толпу, с хохотом мне кричащую:

— Монах, монах! Где ж Бог твой? где сила Его?.. Ну-ка, ну-ка, призови, попробуй — призови!.. Нет, ты наш, наш ты, и все мечты твои, и все твои надежды — все наше, все наше!..

Нельзя словами передать того мучительного ужаса, который наводили на все мое существо этот адский хохот, эти страшные дикие вопли... Я стал бояться выходить один в сад, стал избегать одиночества. Подозрительно поглядывали на меня ближние мои, видя во мне какую-то растерянную испуганность: уж не начинается ли у меня горячка, думали они; но

я был совершенно здоров и физически и умственно — был такой же как всегда, каким я и теперь, когда пишу эти строки. Но стоило мне, немного успокоившись, выйти одному в сад, как опять неслись мне навстречу крики иногда зримой, чаще же незримой толпы:

— Монах, монах! ха-ха-ха, монах! Ну, что ж, где помощь, где сила Бога твоего?

Однажды те же слова стал мне с дерева выкрикивать ворон, а потом уже и целые стаи воронов подхватили этот демонский припев, каркая и кружась над моей головой:

— Где помощь Бога твоего? Монах, монах! ха-ха-ха!

В конце концов я привык к этому дьявольскому издевательству и спасался от него коленопреклоненной усердной молитвой. И не знаю — почему, но в сердце моем росла и крепла уверенность в близкой помощи свыше и в скором освобождении меня от міра. Я верил словам старца Макария.

Со дня кончины отца шел уже третий год, а с выхода из Площанской пустыни — седьмой. Какой-то тайный во мне голос вещал, и я слышал его своим внутренним слухом: «Ты тогда получишь увольнение от міра, когда у тебя на родине будет городским головой Рожков!»

Чудно это было, а я все-таки этому голосу верил.

XL.

Последние крохи моего достояния доедали мы с сестрами, которым мне пришлось-таки

открыть обман, лишивший меня моего капитала. Не раз уже они упрекали меня в беспечности и говорили:

— Что же ты, брат, не заботишься о должности? На что ты надеешься? Ведь дойдешь до того, что будешь стыдится самого себя.

На эти речи ответ мой был один:

— Ныне год моего освобождения, и я непременно уйду от вас в обитель.

В Балашове в это время уже был городским головой Рожков. Сестры не знали моих надежд, грустно улыбались, говоря:

— Смотри, брат, не потужи после! Хорошо, если осуществятся твои надежды; а если — нет? что тогда делать будешь?

Бывало и так, что вдруг меня оставляли надежды, и я мысленно повторял себе вслед за сестрами: «И впрямь, что же я тогда делать буду?»

И в эти минуты уходил я к себе, падал безмолвно лицом на землю и рыдал, как ребенок, измученным своим сердцем прося помощи свыше.

В один из таких дней, когда тяжелая тоска уныния налегла своею тяжестью на мое сердце, я заснул на молитве и увидел сон: будто я в каком-то городе, посреди площади. И все жители этого города в страшной тревоге бегали толпами из стороны в сторону: одни бегут сюда, другие туда, как на пожаре. И чувствую я, что и городу этому, и народу должно погибнуть. И в это самое время я вижу вверху, на облаках, Преблагословенную Деву Матерь Бога мо-

его с Предвечным Младенцем на руках. На главе Ее была корона, у Богомладенца в ручках — скипетр, а под ногами у Них — луна. И по обе стороны Пречистой, но ниже Ее, на облаках, увидел я двух иноков в мантиях, а у одного из них мантия была как бы архиерейская. Под иноками было также облачко, и на нем надпись: «Фео... Фео...» И очень мне хотелось прочитать во сне эту надпись до конца и узнать имена тех двух иноков. Но, сколько я ни усиливался, более разобрать не мог, как: «Фео... Фео...» Когда же я спросил во сне, кто эти иноки и что это за надпись, то мне было кем-то отвечено:

— Не усиливайся прочесть — не узнаешь: это тайна!

И узнал я только своим сердцем, что с появлением этого дивного видения и город, и я спасены...

На этом я проснулся и долго удивлялся виденному, но вера в скорое мое избавление окрепла после этого видения, и речи сестер уже не производили на меня прежнего действия.

XLI.

Уже немного, совсем немного оставалось в моем кошельке денег: призрак злой нищеты все чаще и чаще вставал перед моими испуганными глазами. На службу по откупу мне после моей истории с управляющим поступить было трудно, а где было искать другой? Да, кроме того, я и помыслить не мог опять закабалить себя міру, не отказавшись совсем от своей веры: к чему же тогда прозорливость

Старца, к чему мои предчувствия, знамения, видения? К чему всё, чем все время питалась и была жива душа моя? Отказаться от веры значило для меня то же, что решиться на самоубийство: я же ведь всем своим существом знал, что такое живая и животворящая вера: для меня она была не одним богословским умствованием, а всей жизнью моей души... Я терпеливо ждал часа воли Божией, но, признаюсь, становилось подчас жутко. Что-то будет с бедными сестрами?

Истинно и непреложно Божье слово — «сила Божья в немощи совершается»: от брата Ивана из Темир-Хан-Шуры пришло письмо, в котором он извещал меня, что он приедет ко мне в Лебедянь вместе со своим хозяином и чтобы я никуда до его приезда из Лебедяни не отлучался. Брат писал так: «Едем мы с хозяином и приказчиками в Москву и на Нижегородскую ярмарку и на пути заедем к тебе в Лебедянь для свидания с тобою и сестрами...»

Это было в 1860 году. Мне шел 33-й год, а брату Ивану — 25-й. В последних числах мая брат и все ехавшие с ним — и хозяин, и приказчики прибыли к нам в Лебедянь. Более семи лет не видались мы с братом, и была радостна наша встреча, но я еще не знал, что она мне готовит, а то бы возрадовался еще более.

Приготовлен был сестрами обильный обед. Уставили они стол винами и закусками, как и подобает, по русскому обычаю, для встречи желанных и долгожданных гостей. Рады были брату, но хотелось еще и поприветить имени-

того гостя, чуть не миллионщика, братниного хозяина... И вот, когда мы сели за стол и уже обедали, я вспомнил наших стариков родителей и сказал:

— Ах, брат! Живы были бы наши родители и видели бы они нас всех собравшихся вместе: то-то бы они нас благословили, то-то бы возрадовались!

При этих словах сестры заплакали, заплакал и я. Глядя на нас, заплакали две невестки нашего домохозяина, очень любившие моих сестер и приглашенные нами к обеду. Смотрю, и хозяин брата тоже до слез умилился... Брат налил бокал и хотел потчевать приезжих гостей, но его остановил хозяин:

— Подожди, Иван Афанасьевич, — сказал он, отирая слезы, — я недаром ехал сюда знакомиться с твоими родными: хотелось мне лично убедиться в правде рассказов твоих о твоей семье. Теперь я все видел, все знаю. И вот пришло время сказать тебе и всем твоим, что я решаюсь выдать за тебя единственную дочь мою... Возьмите, Федор Афанасьевич, образ и благословите братца вашего жениться на моей дочери, Марье Васильевне.

Все при этих словах встали. Я снял со своей груди образок — материнское благословение, брат положил три поклона, и благословил я его словами:

— Да будет над тобой и над вами благословение Божие!

И что тут было, Боже милостивый!.. Дух захватило от нахлынувшего на всех нас потока

умиленных, благодарных слез к Богу и Преблагословенной. В одну душу слились все души наши, и мы только могли целоваться друг с другом и плакать. Плакали и целовались, целовались и плакали... А в сердце моем точно ангели пели: се, год избавления твоего! Се, год оправдания веры твоей и надежды твоей!.. О незабвенное время!..

После обеда будущий тесть моего брата попросил меня достать лошадей, и мы втроем, с ним и с братом, ездили в Лебедянский Троицкий монастырь: ему хотелось видеть место, где я жил и молился. Видел он и сад монастырский, и сруб; показал я ему все места, на которых я плакал и молился, прося Господа, чтобы Он устроил жизнь мою и сотворил меня Своим иноком. Была у меня в срубе спрятанная крышка гробовая, свидетельница моих ночных молитвенных воздыханий, и ту я нашел и показал своим спутникам. С видимым сочувствием смотрел на все Василий Дорофеевич (так звали миллионщика), обо всем расспрашивал и, когда мы ехали обратно из монастыря домой, сказал мне:

— Ну вот, Федор Афанасьевич, мы возьмем теперь от тебя к себе в Шуру сестрицу, Пелагию Афанасьевну, а ты, во исполнение данного обета, иди в обитель и молись за всех нас Богу.

С этою радостною для меня вестью мы и вернулись домой, где нас ждали с чаем. Выпили мы тут на радостях, закусили, и в тот же вечер мой Богом ниспосланный благодетель и будущий родственник выехал из Лебедяни на Москву с братом и со всеми приказчиками,

наказав мне привезти в Москву дня через три сестру Поленьку.

О глубина премудрости и милосердия Божия!..

XLII.

Быстро стала теперь устраиваться моя судьба: через три дня я выехал из Лебедяни с сестрой Екатериной и Поленькой в Москву, а из Москвы Поленьку с транспортом товаров и нашей служанкой вскоре отправили в Шуру. Меня Василий Дорофеевич щедро наделил деньгами, сам с братом уехал на Нижегородскую ярмарку, а мы с Екатериной возвратились в Лебедянь. Таким образом были улажены все пути для моего поступления в монастырь. Старшая сестра тоже решила без меня не оставаться в міру, а пожелала поступить в Троекуровскую обитель, что вскоре и исполнила*.

Теперь мне нужно было ехать в Балашов хлопотать об увольнении из общества. Но и тут все устроилось сверх всякого ожидания необыкновенно легко и просто: само увольнение ко мне пожаловало из Балашова, не дожидаясь моих хлопот. Пока я собирался ехать, ко мне принесли из полиции объявление. Пришел я в полицейское управление, а мне и подают увольнительное свидетельство для поступления в иноческое звание. Прислано оно было дядей моим по матери, Петром Андреевичем Скляровым, по письму моему, которое я ус-

* Теперь она живет схимонахиней в Шамординской Казанско-Амвросиевой женской пустыни.

пел написать ему перед отъездом с Поленькой в Москву. Видно, нет запоров и стен, которые могли бы устоять в час исполнения воли Божией: не устояла перед ней и канцелярская волокита... Оставалось мне теперь решить выбор монастыря, в который поступить, а затем уже всецело предать себя воле Божией, а свою волю отсечь до самой гробовой крышки. Но куда было мне идти? Казалось бы, что лучше в Оптину или Площанскую пустыни, где меня знали и где всех я знал и все любил? Но — нет: что-то меня отвлекало от этих великих кораблей монашеского спасения, и мысль моя обращалась все больше в сторону Лебедянского Троицкого монастыря: манил меня его уединенный старый сад с заброшенным срубом... Усердно я молился Богу, чтобы Он Сам мне указал мой путь. И увидел я сон: сад; в саду келья, а в келье стоит на коленях и молится инок с седой, окладистой, продолговатой бородой. Я спросил кого-то во сне: кто это? И мне было отвечено: это ты!.. Тут я проснулся и недоумевал: где этот сад и где эта келья? и в этом недоумении я пребывал до поступления моего в монастырь, когда я уже наяву увидел это место... Но об этом я скажу в свое время.

В селе Троекурове жил и подвизался великий старец, Иларион Троекуровский. Слава о его богоугодной жизни, молитвенных подвигах и прозорливости была достоянием не одного только Тамбовского края, но и далеко за его пределами. К нему некогда обращался за советом в положении, подобном моему, о. Амвросий

Оптинский, когда еще был учителем Липецкого Духовного училища, и от него он и получил указание той обители, где впоследствии и было прославлено Имя Божие в житии этого великого Оптинского Старца. «Ступай в Оптину, — сказал о. Иларион о. Амвросию, в то время еще Александру Михайловичу Гренкову, — и будешь в Оптиной опытен...» К этому-то Божьему угоднику я и решил обратиться за подобным же советом, положив в своем сердце от него уже не уклоняться, что бы мне ни представилось потом на пути моем...

— Бог благословит: ступай в Лебедянский монастырь! — сказал мне затворник Иларион.

Во мне тотчас же заговорил дух противоречия:

— Зачем же, батюшка, мне туда, когда я уже жил в Оптиной?

Минуты три-четыре помолчал Старец и опять повторил:

— Поступи сперва в Свято-Троицкий Лебедянский, а тогда и в Оптинскую Пустынь.

Я продолжал недоумевать, а Старец мне три или четыре раза повторил:

— Да! это так: сперва — в Троицкий Лебедянский, а тогда уже в Оптину Пустынь.

Тут я вспомнил свое видение Старца, молящегося в саду в келье, и мне ясно представился сруб мой в монастырском саду и мое первое в нем пребывание. Короче сказать, я узнал место — и решился последовать совету старца Илариона.

Так началась вторая половина моей жизни.

XLIII.

Слава и благодарение благому Господу: слова и предсказания блаженной памяти старца моего, иеросхимонаха Макария, сбылись в полном смысле слова, и я, за святыми его молитвами, поступил наконец в монастырь в то самое время, когда, казалось, утрачена была всякая надежда выйти мне из міра. Но «невозможное от человек, возможно от Бога», и, воистину, сверх чаяния открылся мне путь к иночеству, как некогда и писал мне старец Макарий.

Передал я сестру свою, Поленьку, брату в Москве, и она, как я уже сообщал, отправилась в Темир-хан-Шуру; сестре Екатерине устроил место в Троекуровской женской общине* и сам с 27-го на 28 июля 1860 года поступил в Свято-Троицкий Лебедянский монастырь. Настоятельствовал там в то время казначей, он же духовник мой, о. Иоасаф, который, склонившись на мои просьбы, обусловил мое поступление в монастырь тем, что торжественно перед святой иконой обещал никогда не посылать меня в мір, особенно же с певчими «в ход» с иконой Пресвятой Троицы. Кто знает тяжесть соблазнов для новоначальных иноков этого послушания, тот поймет, почему, при всем ревностном моем желании служить Богу в иноческом звании, я на первых же порах своего поступления в монастырь решился отказаться от одного из монастырских послушаний.

---

* Теперь монастырь.

Торжественно обещал мне настоятельствующий исполнить мою просьбу, но... впоследствии изменил своему слову...

Угодно было Господу в недоведомых путях Своих моего спасения подвергнуть в этом монастыре пыл мой и ревность к духовному подвигу тяжким испытаниям и через горнило величайших искушений провести меня до той святой и тихой пристани*, возлюбленной духу, в которой я пишу теперь, благодарно вспоминая все, казавшееся мне злом монашеского моего прошлого.

За Тебя умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец, обреченных на заклание, но всё сие преодолеваем силою Возлюбившего нас (Рим. 8, 36−37).

«Кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?..»

Когда я шел в обитель, на дороге к ней заблаговестили в большой колокол ко всенощному бдению, а подходил я к святым воротам — зазвонили во все, и со слезой величайшей признательности к Виновнику моего освобождения я вступил наконец в святую обитель с тем, чтобы уже никогда более не возвращаться в мiр.

Уже на первых порах моего вступления в монастырь мне пришлось искать благоволения того мiра, от которого я так хотел убежать; пришлось об отведении мне кельи просить не настоятеля, а... вдовствующую лебедянскую купчиху Ф...ю С...у, дом которой был в близких

* Скит Оптиной Пустыни.

отношениях с настоятелем, и просьбы ее имели большое влияние на его волю. Келлия была мне отведена на верху корпуса большой трапезной залы.

Послушание мне было благословлено ко свечному ящику, на этом послушании я пробыл три года.

Недолго, однако, наслаждался я миром и спокойствием в стенах святой обители: исконный враг рода человеческого вскоре омрачил дни мои печалью. Сказано же: «Чадо, аще приступаеши работать Господеви, уготови душу твою во искушение».

Не прошло и трех месяцев со дня моего вступления в монастырь, как постигло меня уже второе по счету искушение. (Первым я считаю то унижение, которому пришлось подвергнуться, прося отвода мне кельи у мирянки.) Стояли дни Покровской ярмарки. В монастыре было много именитого и благочестивого купечества, и свечная выручка была более 200 рублей серебром. Стоял я у ранней Литургии и, видя все умножающуюся выручку — свечную и кошельковую, подумал я: дай-ка я ее всю перенесу после обедни в Троицкую церковь: двери там старинные, прочные, железные со внутренним замком, да еще и другим прочным замком запираются, с накладной старинной цепью. Здесь же, думаю я, и двери плохи, и замок плохой, слабый — как бы не ввести кого во искушение грехом святотатства. Задумано — сделано: во время вечерни незаметно для других перенес я всю выручку в Троицкую цер-

ковь, оставив в Покровской только для сдачи рублей двадцать пять.

На этот раз предчувствие мое меня не обмануло: на другой день, во время утрени, пошел пономарь Николай в Покровскую церковь для приготовления необходимого к служению ранней Литургии и к ужасу своему увидел в притворе храма, что входные двери в церковь растворенны, замок сбит и валяется на полу, а свечной ящик взломан, свечи повыкиданны и разбросанны, и с ними кое-где медные деньги. Побежал перепуганный пономарь к настоятелю, настоятель послал гонца за мной, и мы втроем могли только убедиться в одном, что были в св. храме грабители и что они бесследно скрылись. Я сказал настоятелю, что выручки было более 200 рублей, и он, во избежание следствия, строго-настрого запретил и мне, и пономарю разглашать о случившемся. Очень обрадовался настоятель, что я догадался припрятать выручку в верное место, и благодарил меня за сметливость.

В обители в это время в числе братии был один иеромонах из тамбовских дворян, о. Петр, к которому я имел особое душевное уважение и был с ним в отношениях столь близких, что, кроме него, не имел собеседников, и ему я открывал свою душу, как бы старцу. Знал я его еще тогда, когда в первый раз подвизался в том монастыре в саду, в срубе. Часто мы с ним, бывало, скорбели и вздыхали о беспорядках, допущенных слабым управлением, и сокрушались о том неимоверном зле, которое вносят с

собою в монастыри вдовствующее духовенство и семинаристы, исключенные из семинарий за неуспешность и безнравственное поведение. А таких в обители нашей была большая часть всей братии.

Вот этому-то иеромонаху я и имел неосторожность и слабость в дружественной, келейной, с глазу на глаз беседе рассказать о случившемся святотатстве. Мог ли я думать, что в его сердце уже засеяны были против меня врагом нашего спасения семена зависти, которая со временем не только в нем, но и во многих из моей Лебедянской собратии разрослась до степени адской злобы? А между тем семена злобной зависти не только уже были засеяны в сердце иеромонаха Петра, но уже ко времени моей откровенной с ним беседы дали, как потом оказалось, и спелый злой плод. И вышло-то это все из-за того, что он был подвержен слабости к «лекарственному», попросту говоря, к водке, и ему в обличение выставляли меня, как пример, достойный подражания. Угнетало его это тем более, что ктитором он был сам в продолжение более десяти лет.

Что он наговорил про меня настоятелю после нашей с ним беседы, то осталось неизвестным, но мне пришлось перенести тяжкое испытание. Упоминаю я о случившемся не для того, чтобы обличать и бичевать в других пороки, но чтобы показать, как через невнимательных к своему спасению и к жизни своей души слабых людей враг-диавол строит свои ковы против всех хотящих жати свое спасение.

Наступила поздняя ночь. Я уже был в своей келье. Вдруг в келью мою не вошел, а ворвался сам настоятель в нетрезвом, прости Господи, виде. Я только что заснул, как услышал его грозный оклик и страшный стук в дверь моей кельи. Перепуганный, не чаявший себе ниоткуда никакой беды, я вскочил с кровати и отворил дверь. Не успел настоятель и ноги перенести через порог кельи, как исступленным голосом закричал на меня:

— Вон, мошенник! Вон сейчас же из обители, чтобы и духу твоего здесь не было!.. Мошен-ник э-та-кий!!

И понес он тут на меня такую брань, что я от испуга и от неожиданности не знал, что и делать и говорить. Трясясь от испуга, я со слезами кланялся настоятелю в ноги, прося его сказать мне причину гнева, но тот и слышать ничего не хотел и только кричал:

— Вон! — тебе говорят, мошенник! Вон, сейчас же из кельи вон!.. Еще расспрашивать стал!.. Бери все свое и ступай куда хочешь: ты нам не нужен... Да ты и не можешь жить в обители!..

Валяясь у него в ногах и обливая пол слезами, я продолжал умолять его открыть мне причину, за что он так на меня гневается, и, начиная догадываться, что не за мою ли откровенность с о. Петром, я стал уверять настоятеля, что я никому ни про что не рассказывал и был только у одного о. Петра, но в ответ на мои заверения он все продолжал кричать одно: «Вон! Ты не способен к монастырской жизни».

Можете себе представить мое положение? Куда мне было идти? На дворе — ночь, денег — ни гроша, да и от людей стыдно... Но делать было нечего: я начал, все продолжая стоять на коленях, умолять его, чтобы он дозволил мне пробыть в монастыре хотя бы до утрени, и он на это согласился только с тем, чтобы, как ударят в колокол к заутрени, меня уже не было в монастыре; и с этим приказом настоятель вышел из моей кельи, продолжая и за дверью поносить меня всяческими унизительными словами.

Когда он ушел, остался я один в своей келье, слезы затмили мне глаза мои и я упал беспомощно перед иконой Божией Матери и долго безмолвно рыдал перед нею. Выплакал я перед Преблагословенной скорбь мою и затем помолился Ей, чтобы Она, Всесильная, отвела от меня козни вражьи и смягчила начальническое сердце. Всю ночь я так промолился, и — дивны дела Твоя, Господи! — еще не успели высохнуть мои слезы, перед самой утреней на рассвете, размышляя о том, что мне предпринять, слышу я, что кто-то идет ко мне. Как голубь забилось мое сердце, грудь стеснил страх: ну, думаю, идут меня выгонять. Я весь обратился в слух. Постучали ко мне в келью. Безмолвно отворил я двери, и коленки мои задрожали, когда я увидал опять вошедшего ко мне настоятеля... Велико ж было мое удивление, когда вместо брани и грозного окрика я услыхал от него вопрос:

— А ты небось всю ночь проскорбел?

— Как же, батюшка, было мне не скорбеть! — ответил я и при этих словах опять горько заплакал и упал ему в ноги, прося простить меня.

— Нет, ты меня прости, — сказал он и упал мне в ноги, — я узнал теперь, что ты не виноват — это меня смутили, оболгав тебя. Не бойся! Я нарочно пришел пораньше, чтобы ты остановился сбираться. Пожалуйста, прости: я невинно оскорбил тебя, но что делать — такое уж вышло искушение!

Но и мне уже было не до претензий — так обрадовала меня милость Божия. Я целовал руки настоятеля и только мог говорить одно:

— Бог вам простит, меня простите!

И мы расстались с ним во взаимном мире.

Так и не удались врагу его хитросплетенные козни.

XLIV.

Неудача в одном не остановила врага моего и всего человеческого рода работать против меня на ином поприще и делать мне всякие пакости, цель которых была все одна излюбленная им цель — выгнать новоначального монаха во что бы то ни стало из обители. Но приставленный от Бога к каждой христианской душе ее Ангел-Хранитель бодрствовал и отводил наветы вражьи то собственными моими предчувствиями и молитвами, как то было в вышеописанном случае, то через добрых людей, которых Бог поставлял мне на пути моем, и все вражьи козни обращались ему же в стыд и

посрамление. Конечно, сердце мое от этого страдало немало, пока не обращал Господь плача моего в радость; но такова уж от Бога нам предопределенная на земле невидимая брань, которую необходимо испытать каждой душе христианской, и тем более монашеской, особливо предназначенной воинствовать и побеждать недремлющего искусителя. Моя пятнадцатилетняя монашеская жизнь в монастыре духовно расстроенном — великий показатель этой непрестанной брани, в которой падала моя собратия, падал и я, восставал я, восставали и они. Грехи наши и падения были видимы міру, но наше покаяние было доведомо и зримо только одному Господу Богу. Не в осуждение, — помни, читатель, — вскормившей меня обители пишу я эти строки, а как правдивый списатель истинных событий моей жизни. Не блазнись тем, что будет изображено в этой части летописи моего недостойного монашества, а старайся назидаться для душевной твоей пользы и для пользы того великого призвания, которое именуется иночеством и которое может подниматься при добром управлении до высот Оптинских, едва достижимых человеческому духу, но зато и падать под руководительством недостойных до низин Лебедянских. Но помни, дорогой мой читатель, что и на этих низинах есть спасающиеся и мір спасающие, тот спасающие мір, который их презирает и гонит... Говорю я это попутно, а теперь обращусь к повествованию.

После тяжелой истории с настоятелем, так благополучно для меня окончившейся, я вос-

пользовался мирным устроением его ко мне сердца и умолил его, чтобы он испросил мне у епархиального архиерея разрешение жить мне в саду, в том срубе, в котором я некогда жил и в мере своих сил подвизался. Намерение мое Владыке было доложено, и он его благословил привести в исполнение.

А было это дело так: тяжело было мне с тайными стремлениями души моей к уединению жить на молве монастырской среди братии духовно неблагоустроенной и вспомнилось мне мое видение, когда я самого себя в образе седобородого старца видел молящимся в срубе монастырского сада. Помолился я усердно Господу Богу и по молитве стал дожидаться прихода настоятеля в сад. Когда вошел в сад настоятель, я сидел в садовой беседке.

— Что сидишь? — был его вопрос ко мне.

— Простите, батюшка, Господа ради, — ответил ему я, — я сидел и вас дожидался, желая вам открыть мою душу и желание.

— Говори, — сказал он мне, садясь на доску, положенную на кирпичики, заменяющую собою садовую скамейку. — Говори, — повторил он, — а я послушаю!

Я высказал ему свое желание поселиться в саду для безмолвной жизни и просил его на это благословение. Настоятель выслушал меня благодушно.

— С моей стороны, — сказал он, — не будет препятствий — переходи, живи! Но вот беда в чем: это ныне воспрещено, и без разрешения на это высшего епархиального началь-

ства я строить келью не могу тебе благословить. Переходи вон в тот сруб да и живи в нем лето под названием садовника, а зимой — опять в обитель.

Я поблагодарил его, но сказал, что цель моя не та, а что я хотел бы навсегда поселиться в саду в собственной келье, которую я и выстроил бы на свой счет.

— Только, батюшка, — сказал ему я, — я сам понимаю, что такое дело нельзя сделать без архиерейского разрешения уже и потому, что нынче вы ко мне благоволите, а перейду я сюда и выстрою келью, а враг возьмет да изменит ваше сердечное ко мне отношение, и что же тогда будет? Вы скажете: вон!.. Нет, батюшка, это уж надо будет сделать фундаментально, а пока что я, по вашему благословению, буду временно жить в срубе. Вот скоро приедет в Сезенево Владыка для освящения новой теплой церкви, там вы и скажите про меня архиерею и попросите его благословения мне строиться и поселиться на безмолвие.

— Оно бы хорошо было, — отвечал настоятель, — да я ведь еще не игумен. Бог знает: нынче — я, а завтра — другой.

— Верьте, батюшка, — сказал ему я, — если Господу угодно будет, чтобы мне здесь поселиться, то Владыка сделает вас игуменом.

Сказал я это спроста, но слова мои пришлись по сердцу настоятелю.

— О, тогда бы я для тебя исхлопотал, — обрадованно сказал он мне, — а теперь молись и молчи пока!

Вскоре Владыка прибыл в Сезенево для освящения храма. Приглашен был туда и настоятель. Перед отъездом он зашел ко мне в келью и сказал:

— Ну, молись! Еду: проси Бога, чтобы Он расположил сердце Владыки и предоставил мне случай и время сказать о твоем желании и просьбе.

Кланяясь ему в ноги, я сказал опять:

— Если будет угодно Богу мое желание, то и вы будете игуменом.

Не буду говорить о своих чувствах, когда я ожидал возвращения настоятеля из Сезенева, не выразить мне и той радости, когда отец настоятель, вернувшись в монастырь и идя по дорожке сада ко мне, еще издали мне крикнул:

— Встречай игумена!

Я упал ему в ноги и с трепетом сердечным спросил:

— Ну, а мне что благословил Владыка?

— Благодари Бога: Владыка с радостью благословил тебе строиться, и я благословляю. Бог благословит: стройся и живи хорошенько да о нас молись!

Так исполнилось мое заветное желание. Оставалось мне теперь этот сруб переделать в жилую келью, но тут-то и стала на моем пути самая для меня непреодолимая преграда, которой я не мог предвидеть: сруб-то был, а денег на перестройку-то и не стало — их у меня кто-то украл из кельи, пока я был в церкви. И попал я в положение и глупое, и горькое: «сулила синица сжечь море, а море не зажгла». Что тут было делать?

Ходил я раз по дорожкам сада, думал свою горькую думу и горько плакал. Вдруг слышу, что кто-то идет сзади меня. Наскоро утер я свои слезы, обернулся и увидел позади себя известного лебедянского купца, Николая Васильевича Чурилина. Это был хлебный торговец, у которого, кроме того, был винный склад и трактирное заведение. Поздоровался со мной Чурилин, взглянул на меня да и говорит:

— Чтой-то с вами, Федор Афанасьевич? вы никак плачете?

Я было замялся, но вдруг мое сердце как-то сразу к нему расположилось, и я поведал ему свое горе.

— О том плачу, — сказал ему я, — что благословлено мне по моему желанию поселиться в этом саду, в этом самом срубе жить караульщиком, и средств нет у меня, чтобы этот сруб отделать и жить в нем: нет в нем ни печки, ни ставней в окнах — вот об этом-то я и плачу.

— Не плачьте, — ответил мне на это Чурилин, — заутро придут сюда и плотники, и печники, отделают вам так, как вам будет угодно, а деньгами мы когда-нибудь сочтемся.

Я был поражен и бросился было ему в ноги, но он не допустил меня до земли и опять повторил:

— Заутро вы на деле увидите мое обещание: я уже от отца игумена слышал о вашем намерении и о благословении вам Владыки на уединенную жизнь...

Дивны дела Твоя, Господи! Утром пришел я в сад, увидел, что уже и кирпичи были

привезены и рамы были вставлены, и плотники работали с печниками над созданием моего уединения.

И залился я тут благодарными слезами к Богу и к моему неожиданному благодетелю.

Не прошло и недели с этого события, как однажды, при выходе моем из храма по окончании ранней Литургии, у меня произошло столкновение с известной уже моему читателю купчихой Ф...й С...й, которую я вынужден был при вступлении моем в монастырь просить о келье. Эта купчиха остановила меня и сделала мне в резких выражениях строгий выговор за то, что, идя мимо нее по церкви с колокольчиком и выходя из храма, я не только не хочу ей кланяться, но даже и не смотрю на нее. Это была правда, потому что я старался всегда в храме видеть только себя, но не других, и, идя куда-нибудь, держал свои глаза опущенными вниз.

— Как келью просить, — кричала на меня купчиха, — так куда какой ласковый и красноречивый, а теперь так и знать не хочет!.. Так я же тебе докажу, кто я! и не токмо в кельях, но и в монастыре-то, брат, тебе места не дадут!

Поразили меня эти слова в самое сердце, и я, что называется, не сморгнув ответил:

— Да я и так знаю, кто вы: вы — женщина, и притом еще, к сожалению, злая. Но грозить один Бог силен, а мы — что? Зловоние во гробе, пища червям и тление: нынче мы живем, а завтра мы — ничто!

Она так и затряслась от злости, но от страшного волнения не нашлась, что мне ответить.

Постоял я за правду и за себя, но это обстоятельство сильно меня беспокоило, так как я хорошо знал, что воля этой женщины рабски будет настоятелем исполнена. А что она отмстит мне непременно, в этом я был совершенно уверен.

Но Бог судил иначе: вслед за этим столкновением она захворала, и тут я должен, к стыду моему, признаться, что, когда в храме во время Литургии молились с коленопреклонением о ее выздоровлении, я дерзал, по безумию своему, молиться иначе, прося Господа, чтобы Он призрил на мою молитву и избавил от нее, от скорби и от сетей вражиих настоятеля и меня от неизбежных неприятностей. Я не говорю, что молитва моя была услышанна, не об этом я говорю, нет, но о безумии моем. Тем не менее она умерла, и, когда оплакивали ее смерть, я радовался в сердце своем, о чем плачу ныне, непрестанно молясь о душе ее, и буду молиться, дондеже есмь.

Помилуй, Господи, создание Твое!

XLV.

Приблизительно около этого времени со мной произошло и другое, подобное вышеписанному обстоятельство.

Писал мне брат из Темир-Хан-Шуры, чтобы я попросил кого-нибудь из присутствующих в городском магистрате списать для него пункты нового положения о подаче гильдейских капиталов, а также форму гильдейского свидетельства. Все это брат просил ему вы-

слать как можно скорее, с первой же почтой, в Темир-Хан-Шуру. Письмо это было получено в какой-то праздник, и в этот день у настоятеля на закуске было порядочно много народу и в числе их приказные. Желая исполнить просьбу брата, я позвал к себе одного более других бедного приказного, о котором я знал, что он обременен большим семейством: думал я этим и доброе дело сделать, и брату поскорее угодить. Когда приказный этот пришел ко мне в келью, я объяснил ему, в чем заключается моя к нему просьба, причем не умолчал и о том, что к нему обращаюсь преимущественно перед другими, зная его бедность и желая ему дать заработок.

— Нате вам, — сказал я ему, — пять рублей, но смотрите сделайте мне то, о чем прошу, к первой почте и с первой же почтой отправьте данное вам поручение моему брату по известному вам адресу.

Пять рублей по тому времени были большие деньги, на которые можно было целому семейству прокормиться не менее месяца, и я знал, что за услугу я переплачивал ровно втрое, во внимание к бедности приказного, да отчасти и спешности поручения.

Благодарности приказного не было конца: он даже, без всякого с моей стороны требования, перекрестился на икону Царицы Небесной и поклялся на нее, что верно исполнит мою просьбу. Я заметил ему на это:

— Смотрите ж: вы клянетесь Царице Небесной, но помните, что Бог поруган не бывает.

Меня вы можете безнаказанно обмануть, но неисполнением клятвы постарайтесь не подвергать себя Божьему гневу.

Приказный еще более стал меня уверять в верности своего обещания; и я еще дал ему, по его просьбе, 50 копеек на водку, чтобы уже все остальные деньги он отдал бы, во избежание соблазна, своей жене.

Проходит дня три, его нету. Жду еще день, то же — ни слуху ни духу. Посылаю к нему. Приходит...

— Что же вы?

— Да что, — отвечает он мне, — секретарь просит пять рублей, чтобы дать списать новое положение.

— Так что же вы мне об этом не сказали, — говорю ему я, — я бы и без него нашел где списать.

— Да что? совестно было к вам явиться: я ведь тогда, шедши от вас, домой-то не попал. Зашел в трактир, приказал подать себе графинчик... рюмочка за рюмочкой — меня порядочно-таки забрусило, а тут, как на грех, шасть! — и секретарь — в гостиницу. Ну вот, говорю ему, кстати: у меня есть к вам покорнейшая просьба... и объяснил ему, в чем дело. Так что же — говорит — это мы все сделаем: вели-ка подать графинчик... Пока мы сидели за водкой, явились шарманки — а у нас в голове-то уже шумело порядочно: запели девицы с шарманками, мы — подпевать, так, молодцы, натянулись, что и не помним, как нас и по домам-то развезли... Всё прокутили, что было...

— А жена-то ваша, — перебил я его, — что в это время с детьми делала, когда вы веселились в гостинице?

— Что делать-то, — отвечал он, — конечно, плакала!

— Ну, это, — сказал я, — дело ваше, но деньги-то были даны не на пьянство, а им на хлеб... Ну, в сторону это... А что же вы мне выписку-то?

— Да где ж, — говорит, — я ее вам возьму? Секретарь без денег не дает списать...

И ведь говорит-то человек точно сладкий изюм ест... Представьте себе мое положение: почта на дворе, как говорится, а готового ничего нет и деньги пропали... А виновник моих бедствий между тем точно сух из воды вылез и как ни в чем не бывало говорит:

— Вы уже другому-то никому, пожалуйста, не поручайте дела: пожалуйста, мне еще хоть два целковых, и я вам к вечеру принесу всё, а завтра вы еще успеете подать на почту... Вот, смотрите: клянусь я вам на икону Царицы Небесной — будь я анафема, трижды проклят, и притом если я не исполню своей клятвы, то дай мне, Господи, и трех дней не прожить и дай мне, Царица Небесная, и помереть без покаяния!.. Ну, слышите, как я вас заверяю? И после того вы мне еще не верите?

— Да ведь вы уж меня один раз, и тоже с клятвой, бессовестно обманули?

— Что делать? виноват — простите! но хоть дозвольте мне оправдать себя перед вами!

Хоть и скорбно мне было и не было у меня уже более доверия к этому человеку, я дал ему опять последние свои три целковых (рубль он еще у меня допросил) и сам остался без копейки: времени оставалось у меня в обрез, а после таких страшных клятв у меня была хоть слабая, а все-таки надежда, что этот человек, быть может, на этот раз меня не обманет.

— Трех дней после обмана не дай мне, Господи, прожить!

С такими словами ушел от меня приказный, забрав последние мои деньги и обещая к вечеру принести исполненное поручение.

Пришел вечер — его нету. Пришло и утро. Почта уже ушла. На другой день вижу его — он выходит от отца игумена.

— Что же вы? Где же ваши клятвы?

Он даже и шапки не снял и с насмешкой мне ответил:

— А то как же вас, дураков, надувают!

— А уверение ваше и клятвы перед Царицей Небесной? Неужели и это для вас ничего не значит?.. Не пройдет вам это даром: верьте мне — вас Пресвятая Троица накажет, потому что ложь ваша есть хула на Святаго Духа.

Он зло засмеялся и сказал:

— Так что ж? Пусть себе наказывает на здоровье!

Слыша такую небоязненную дерзость, я содрогнулся... Он шел со мной рядом и дерзко, вызывающе смеялся.

— Много мне Дух твой Святой сделает?! Этак бы давно все перемерли! — глумился богохульник.

Я оставил его, но сказал ему:

— Попомните три дня сроку, который вы себе дали, когда клялись перед иконой!

Он в ответ на эти слова еще пуще засмеялся.

Грустно и тяжело было мне это видеть и слышать: я не мог думать, чтобы люди могли доходить до такой дерзости, до такого безумного богохульства. За себя я его простил, но гневен был мой дух на него за хулу на святыню.

И что же? Не прошло это ему даром: ровно на третий день он пошел мыться в торговую баню и там неожиданно скончался скоропостижно.

Имя его было Александр Федорович. Он был несколько лет письмоводителем у лебедянского стряпчего.

После этого поразительного происшествия я, не говоря никому ни слова о моих отношениях с покойным, нанял лошадей и с одной лебедянской просвирней отправил святую икону, перед которой он клялся, в новоустроенную Иларионовскую Троекуровскую общину к начальнице, матери Арсении, и просил, чтобы икону эту поставили там навсегда в храме.

Икона эта писана на полотне, с Предвечным Младенцем на руках, змий под ногой Преблагословенной, и луна — под Ее ногами.

Зовется икона эта — «Жизнедательница».

XLVI.

Неся послушание у свечного ящика и, стало быть, постоянно присутствуя при всех церковных службах, я не мог не заметить, что церковь находится в страшном небрежении: из храма недели по две, а то и по месяцу не выкидывали сору, а около печки и за печкой сметали и сбирали всю нечистоту огромными кучами. Особенно велика была «мерзость запустения на месте святе» — в алтарях, откуда сору никогда не выметали, а заметали его за жертвенники, так что в Покровской, например, церкви за жертвенником было наметено пыли на пол-аршина, так что от кучи всякого мусора на целый аршин от пола истлела и самая одежда жертвенника. Окошки в церквах протирались только тогда, когда их вставляли и изредка в алтаре лишний раз промывали такой тряпицей, которая на стеклах разводила своей грязью точно древние какие-то гиероглифы. А о пыли на иконостасах и говорить нечего... Очень меня все это тревожило, и я скорбел, видя полное невнимание ко всему этому бесчинству со стороны власть имущих, которым, казалось, до всего этого и дела-то не было. Пономари же были тому и рады, так как свое послушание исполняли не за святую честь и радость, а как тяжкое и ненавистное для них бремя.

Не в осуждение им записываю я это, вспоминая прошлое, а в назидание тем, которые, если будет угодно Богу, прочтут эти строки.

Я стал просить настоятеля, чтобы он благословил меня помогать пономарям. Отец игумен, еще в это время добро ко мне расположенный и даже даривший меня особым вниманием, с любовью дал мне свое благословение, и я с великой радостью и рвением стал приводить храм свой в порядок: вытаскал все кучи пыли и мусора, алтари вымыл, иконостасы обмел и даже протер мокренькой тряпочкой, свечи в подсвечниках исправил; вычистил самые подсвечники, а некоторые упросил игумена отдать слесарю, чтобы он их исправил, а то они были доведены до того, что только с трудом в них можно было вставлять свечи, которые от ослабевших винтиков и вставленные качались как пьяные. Богомольцы уже давно на это роптали, но никому до их ропота не было дела.

— Вот завелся еще какой святоша, — зашептали пономари и их родственники — некоторые из иеромонахов, — хочет ввести новые порядки, хочет выслужиться. Иди-ка, брат, откуда пришел! Видали мы таких-то выскочек — из молодых, да хочет быть ранним. Знал бы свой ящик! Я ли, не я ли! Люблю благолепие и чистоту в храме!.. Зачем ты сюда пришел? Шел бы в свою Оптину!.. А знать, там не сладко? Иль прогнали? Здесь хочешь командовать? Нет, брат, не придется!

Сперва шептали, но так, что их шопот ясно доносился до моего слуха, а потом уже и заговорили громко и даже с угрозой. Но я молчал и продолжал делать свое дело, как будто эта брань меня и не касалась.

Из церкви, когда мне удалось привести ее в некоторый порядок, я, незаметно для себя, перенес свою деятельность сперва на церковную паперть, где накопились груды телячьего и всякого иного помета: через двор монастырский по нерадению был дан сквозной путь для всех, и ворота монастырские были всегда открыты, так что все лето на дворе обители гуртом и ватагами ходили и паслись и лошади, и коровы, и телята, и свиньи, и овцы, и гуси — вся, словом, хозяйственная живность монастырских соседей, которая не только паслась в монастырской ограде, но прямо-таки, что называется, живмя жила и покоилась днем и ночью во дворе обители. Слободские жители так привыкли к этому беспорядку, что даже нарочно к нам подгоняли и вгоняли в ворота свои стада.

И не было до этого никому дела, как не было дела и до того, что в дни базарные и праздничные сотни женщин разгуливали по обители. Обо всем этóм не одна моя душа скорбела, скорбела и лучшая часть братии, но что она могла сделать, представляя собой меньшинство, запуганное, забитое, можно сказать, задавленное торжествующим большинством?..

Как бы там ни было, но я, в мере своих сил, старался приложить свою руку, чтобы хоть как-нибудь обезвредить сокрушавшее меня зло.

Ропот на меня еще более усилился.

— Все это он для того делает, — рассуждали между собою враги моей деятельности, — чтобы люди видели и говорили: вот, дескать, раб Божий!.. Напрасны, брат, труды твои, —

говорили они уже мне прямо в глаза, — ведь это — тщеславие!

Но были и такие, что говорили:

— Дай Бог тебе здоровья! Помоги тебе, Господи!

Я на все отвечал молчанием и молился Богу, чтобы Он дал мне терпение, а их сердца просветил светом благоразумия.

Так вел я свою линию и убеждался в том, что Господь видимо меня не оставляет, а те, кто восставал против меня, теряли свое послушание, и их заменяли другими. Так были отставлены от своих должностей и враги мои — пономари: попались они в том, что без зазрения совести делили между собой и обителью доходы пополам, говоря попросту, воровали. Попались они в воровстве из-за того, что я упросил настоятеля приставить к продаже просфор одного брата, устранив на время от этой обязанности пономарей: просфорная выручка за один месяц с 5 и 8 рублей повысилась сразу на 35 рублей, а расход просфор остался тот же.

И зашипела же на меня тут змеиная вражья злоба:

— У, ябедник!

И стали на меня смотреть как на язву для обители.

Взгрустнешься, бывало, подчас, но, благодарение Господу, не заходило солнце, чтобы в сердце моем оставалась злоба. Я даже нарочно заходил в кельи к тем, которые меня считали своим врагом, и просил у них земно прощения, если когда-либо позволял себе во время

возмущения своего сердечного сказать им горькую для них истину.

Они говорили:

— Бог простит!

Но ненависть их ко мне умножалась.

XLVII.

Понадобилось мне как-то сделать к самовару трубу. Не смея с такой малостью беспокоить начальника, я пригласил к себе в келью слесаря, не брата монастырского, а мирского, и просил его за мой счет сделать мне эту поделку. Он обещал исполнить заказ к следующему дню. Прошло более двух недель; вижу я его в церкви и спрашиваю:

— Что же вы мне трубу?

— Простите, — отвечает он мне, — не знаю я, как вам об этом и объяснить: в то время, когда я от вас пошел, меня кликнул к себе отец казначей и спросил меня, у кого я был. Я сказал, что был у вас, и когда он узнал, зачем вы меня звали, то просил, и не только просил, но строго приказал трубы вам не делать. Пришлось приказание его исполнить, а ослушаться его, сами знаете, я не посмел.

— Да сказал ли ты ему, — спросил я, — что я за работу заплачу?

— Как же! — отвечал мне слесарь, — конечно, сказал. Только он к вам что-то заметно не благоволит.

Не зная причины такого нерасположения, не чувствуя за собой никакой вины, да притом и не имея с казначеем никаких отношений и

даже разговоров, я удивился и пошел к нему в келью объясняться. Отец казначей был дома. Без малейшей тени неудовольствия в голосе я спросил его:

— Позвольте, батюшка, узнать, что за причина тому, что вы запретили слесарю делать мне трубу к самовару? Ведь вам известно, что я ее заказал на мой счет?

Отец казначей сконфузился и что-то невнятно стал говорить в свое оправдание, но мне по его глазам ясно было видно, что в его сердце семя ненависти ко мне дало уже большие ростки. Трубу мне сделали, но я еще долго не мог дознаться причины злобы, которая против меня зрела в душе казначея. Очень я скорбел духом, видя такую недоброжелательность.

Однажды во время Литургии приехал к нам в обитель известнейший в городе Лебедяни, благочестивый и ревностный к благолепию храмов и благороднейший из дворян некто Лука Алексеевич Федотов, более известный в городе по прозвищу Сибиряк. Пришел он прямо с приезду в храм и стал ставить налепки и свечи к святым иконам. Ставя свечу в Успенском приделе перед иконой Покрова Божией Матери, он заметил, что на паникадиле, висевшем перед иконой, одна из трех цепочек была связана мочальной веревочкой. Это его тронуло до слез. В это время к нему подошел отец игумен, случайно подошел и я ставить поданные богомольцами свечи. Разговаривая с отцом игуменом, Лука Алексеевич обратился вдруг ко мне и сказал:

— Отец Федор, что это такое? вы уже мочалой стали связывать цепи паникадила?

Я чувствовал, что его замечание относится не столько ко мне, сколько к отцу игумену, здесь присутствовавшему, и, признаюсь, втайне радовался. А Лука Алексеевич между тем продолжал:

— Ай да ктитор! Вот так молодец — мочалой спаивает!

Я воспользовался этим удобным случаем и в ответ стал ему говорить:

— Вот то-то и есть: всю вину вы на ктитора возлагаете, а где ему взять? Ишь, вот вы и богаче других, а привезли из экономии своих свечей: а что бы купить их в храме? Поневоле будешь связывать мочалой... Вон, видите, как иконостас-то ветх: чем нас-то укорять, — вы имеете средства, возьмите-ка да обрадуйте нас — возобновите-ка его, и покров Преблагословенной осенит дни жизни вашей, и если не здесь, то за гробом вы получите свою мзду, а Святая Церковь будет за вас вечно молиться словами заамвонной молитвы: «освяти любящих благолепие дому Твоего».

Видно, во благовремении были сказаны мною эти слова, и не остались они без плода: после Литургии подошел ко мне Лука Алексеевич и сказал:

— Прошу вас, отец Федор, наймите резчика и позолотчика и возобновите Успенский иконостас, а что будет стоить, я беру расходы на себя. Но имейте в виду, что так будет, если вы сами наймете, а если — о. игумен, то пусть сам он и платит.

Сказал он это так, потому что в эти дни бедный о. игумен был в периоде своей роковой болезни и пил почти, что называется, «мертвую», и было это Луке Алексеевичу хорошо известно.

По слову благодетеля Успенский иконостас был отделан заново, но внимание благотворителя ко мне, недостойному, не прошло мне даром.

XLVIII.

Пришел я однажды вечером в келью отца казначея попросить у него для освещения сальных свечей. У казначея в это время были гости — фельдшер градской больницы и еще один монастырский послушник, известный своим особо безнравственным поведением (впоследствии он был сдан в рекруты). На столе стоял самовар и огромный графин с «очищенной». Получив благословение, я объяснил казначею цель своего прихода...

— А, свечей тебе надобно, свечей?.. Да, свечей!.. Да вот, любезный, позволь-ка тебя спросить: какими это ты правилами руководствуешься, что каждую неделю сообщаешься Святых Таин? А? что ты мне на это ответишь?

Это была правда: со дня поступления своего в обитель и с благословения своего духовного отца, отца игумена, я каждую неделю или в вечерню пятницы, или за утреней в субботу исповедовался и в тот же субботний день причащался Святых Таин, что неуклонно исполняется мною и доселе...

— Иль тебе неизвестно, — продолжал наступать на меня несколько уже подвыпивший казначей, — что правила Церкви советуют мирянину сообщаться только четыре раза в год? Понимаешь ли ты, любезный, к чему приступаешь? А?.. Ведь это Таинство страшное — как же ты дозволяешь себе приступать так часто? А? Ты не имеешь в себе таких и добродетелей, чтобы быть достойным такого частого общения со Христом... Ты, должно быть, сектант какой-нибудь! Ты — молокан!.. Наверно, молокан, а иначе бы ты не дозволил себе быть таким дерзким. Какая это у тебя цель? Сознайся — это для того, чтобы люди видели твое лживое благочестие? Сознайся: ты — молокан? а? ну, говори!

Хоть и поразило меня такое нападение, но я твердо ответил отцу казначею в присутствии сказанных двух свидетелей:

— Если вы, батюшка, желаете знать Символ моей веры, то прошу вас его выслушать от начала до конца.

— Говори! я слушаю.

И я, осенив себя крестным знамением, начал читать: «Верую во Единого Бога Отца»... — и кончил: — «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь».

— Вот, — сказал я, — батюшка, мое исповедание веры. А что я приобщаюсь каждую неделю, то это не по особым моим каким-либо достоинствам, которых не имею, а потому что сознаю себя более других грешным и больным. Потому-то и приступаю к Могущему спасти

погибшего. Вы знаете, что не здравии требуют врача, а болящие, и из них первый есмь аз. Не смею я допустить даже и мысли той, чтобы я когда-либо мог быть от дел достоин приобщения сей Святыне, нет; а приступаю, сознавая себя крайне недостойным, но только верую, что, по благодати Господа и Спаса нашего Иисуса Христа и за молитвы Преблагословенной и всех Святых, я освящаюсь, причащаясь... Что же касается моих сердечных чувств, то предоставьте их ведать Богу.

Умолк отец казначей... Помолчав немного, он грубо спросил меня:

— Ты кто?

— Послушник Феодор, — отвечал я.

— Хорошо — это мы сейчас узнаем, оправдаешь ли ты степень звания своего делом...

И при этих словах он налил полный стакан «очищенной» и, указывая своим перстом на стакан, повелительно сказал мне:

— Пей! Я тебе приказываю.

Богу одному известно, как тяжела была для меня вся эта сцена... Скрепя сердце, чтобы не дать излиться закипевшему в нем чувству гнева, я со смирением ответил ему:

— Простите, батюшка! Я этого исполнить не могу.

— Как так? Это — почему?

— Да потому, — сказал я, — что меня и без этого страсти тревожат и кишат в моем сердце как черви, а святой апостол Павел пишет, чтобы не упиваться вином, в нем же есть блуд...

— Так я, стало быть, по твоему заключению, блудник? А? Как смел ты мне это сказать? А?

И при этом казначей настолько вышел из себя, что начал выражаться площадными словами, всячески ругая и понося меня.

— Прекрасно! Благодарю!.. Так я блудник! Ах ты... — кричал он на меня, все ближе и ближе на меня наступая... Я пробовал его успокоить, но напрасно... Тогда я поклонился и пошел из кельи, но мне пришлось уже не идти, а бежать, так как казначей кинулся было за мной, чтобы в сенях меня схватить и бить, но я предварил его намерение бегством. И долго я потом плакал, скорбя на казначея, который был только орудием, на силу диавольскую, которая в обители со слабым управлением творила бесчиние как хотела.

XLIX.

За работу по устройству и отделке моей кельи в саду еще не было уплочено благодетелю моему, Николаю Васильевичу Чурилину. Очень меня это беспокоило, хотя Чурилин ни словом, ни делом не намекал мне, что пора бы мне произвести ему уплату. Довольно крупная сумма, данная мне тестем брата перед поступлением моим в монастырь, от которой у меня уже ни гроша не оставалось, лишила меня возможности обратиться вновь к нему за помощью, а в долгу мне оставаться не хотелось. И очень я скорбел духом.

Как-то раз иду я от своего послушания к себе в келью, и неотступно преследует меня моя скорбная дума: как и чем рассчитаюсь я с Чурилиным? Вдруг подходит ко мне одна из известных своим благочестием гражданок города Лебедяни и совершенно для меня неожиданно спрашивает меня:

— Не имеете ли вы в чем нужды?

Очень тронул меня участливый тон вопроса, но, стараясь строго исполнять советы святых Отцов, не благословляющих монаху иметь дело с женским полом, я скрыл от нее свою нужду.

Спустя несколько времени приблизился день памяти моего во блаженном успении старца, иеросхимонаха Макария, скончавшегося о Господе 7 сентября 1860 года. Очень мне хотелось почтить память блаженного Старца особенным угощением братии, но, за неимением средств, сделать это представлялось крайне затруднительным. С верой и слезами помолился я Пречистой, прося Ее помочь мне и осуществить мое усердное желание. За несколько дней до кончины отца Макария опять подошла ко мне та же раба Божия и говорит:

— Отец Феодор! вы скрываете от меня нужды ваши, тогда как я наверно знаю, что вы крайне нуждаетесь: я видела во сне Ту, Ей же от Архангела было принесено с небесе приветствие — «Радуйся, Обрадованная» и от Нее Самой я получила повеление в словах: «Помоги ему». Теперь даже и стали бы вы отказываться, я не отойду от вас, пока вы не примете от меня на нужды ваши.

Что оставалось мне делать после этих слов?!

От этой боголюбивой жены я получил столько, что хватило мне и на расплату с Чурилиным, и на помин святой души праведного старца Макария Оптинского.

И невыразимо я радовался изливаемым на меня, недостойного, милостям Преблагословенной, и плакал я в грешной своей молитве ко Господу.

Я умолчу о имени той особы, через которую я получил благодеяние, имея от нее заповедь не открывать ее имени во все дни ее жизни, а если не будет особой надобности, то и после ее смерти.

Каких только скорбей не в силах перенести верующая душа человеческая при одном только таком знамении с неба!

Буди Имя Господне благословенно от ныне и до века!..

L.

Однажды в праздничный день отец игумен не присутствовал за трапезой. Был один отец казначей и, конечно, братия. Я был назначен на этот день читать за трапезой Четь-Минеи. Во время трапезы братия, пользуясь послаблением со стороны казначея, до того забылась, что смехом, громкими разговорами и разными бесчинными действиями окончательно заглушила чтение. Я остановился читать и умолк. Молчал я довольно-таки долго, пока не заметил этого отец казначей и не обратился ко мне с вопросом:

— Это что еще такое значит? Почему ты замолчал?

— Да чтобы не мешать общему вашему разговору, — ответил я.

— Читай! — крикнул на меня казначей. — Читай, мальчишка!

Я повиновался и начал читать. Но казначей с братией как бы нарочно заговорили еще громче прежнего, а некоторые стали между собою ругаться, толкая друг друга в бока.

Грустно мне стало смотреть на допущенное бесчинство: дух мой возмутился до слез, а сердце как бы пламенем охватила по Бозе ревность, я громко сказал:

— Отцы святые и братия! ради Преблагословенныя Девы, Матери Бога нашего, именем всех святых, а наипаче преподобных Отец, писавших уставы чиноположения для обители, ради Антония и Феодосия и всех святых Печерских, умоляю вас умолкнуть и слушать чтение! Или уж благословите мне замолчать, и тогда продолжайте свои разговоры. Только прежде обратите внимание на свое бесчиние: сообразно ли оно с местом, временем и долгом степени вашего звания?

Боже мой! что тут поделалось и с казначеем, и со всей частью единомысленной ему братии! Рекой полились на меня укоризны, ругательства — словом, в трапезной воцарился полный хаос...

— Вот явился в наш век какой ревностный преподобный! Ах ты мальчишка! — раздались гневные восклицания, — что ты? начальник,

что ли, наш? Из молодых, брат, да хочешь быть ранним!..

— Яйца, что ли, кур учат? — кричал на меня казначей, — еще нас учить вздумал! Да как ты смел это при мне сказать всей братии?

Я воспользовался мгновением затишья их ярости и громко сказал:

— Вы слышали, что я сказал и как сказал. Теперь мое дело — молчать, а ваше — или исполнить мою просьбу, или держаться своих правил...

Опять поднялась против меня буря, но я уже молчал до самого конца трапезы и от всего сердца молился за них Богу.

Не прошло мне это даром, и вскоре ризничий донес на меня отцу игумену, что он замечал неоднократно, как я, оставаясь один в алтаре, становлюсь против престола на священническом месте, преклоняю колени, целую престол, беру с престола Крест и Евангелие, целую их и потом будто даже касаюсь святого ковчега и беру из него для целования в руки Святое Тело и Кровь Господню. Отец игумен призвал меня к себе и начал мне делать строгое замечание в присутствии ризничего, который даже при мне не постеснялся подтвердить взведенную на меня клевету.

— Не смею я много оправдываться и уверять вас, отец игумен, в своей невинности, — сказал я, — но попрошу вас, отец игумен, приказать ризничему пойти со мной в Троицкий храм и подтвердить свои слова перед иконой Одигитрии, и если его не постигнет в эти же

минуты суд Божий, тогда признайте меня виновным.

Но отец игумен велел мне оставить это дело без последствий, а спустя некоторое время, убедившись каким-то образом, что я был оклеветан, сам у меня просил прощения в том, что поверил клевете по злобе на меня взведенной.

LI.

Перед постригом моим в рясофор, не зная о том, что в сердце отца игумена уже созрело это решение, я в тонком сне имел такое видение: будто я стою у свечного ящика в Успенской половине храма и вдруг слышу, что какой-то мне неизвестный голос зовет меня в алтарь:

— Феодор! взойди сюда!

И так — до трех раз.

Удивляясь этому дивному голосу, я вошел в Успенский алтарь, совершил должное поклонение святому престолу и увидел, что у угла к востоку близ престола стоит как бы отец игумен, а на престоле рядом с Крестом лежит серебряный корчик, полный чистой воды, и над ним поднимается пар. Я подошел к отцу игумену, поклонился ему в ноги, и он, благословляя меня, указал на корчик и сказал мне:

— Возьми и пей!

Считая себя недостойным неосвященными руками взять что-либо с престола, я, не двигаясь с места, стоял в страхе.

Отец игумен вторично мне сказал:

— Возьми и пей! Это нужно было пить вон — кому, — прибавил он, указывая мне

рукой по направлению к Царским вратам... Я почему-то в эту минуту не оглянулся на Царские врата, взял в руки корчик и, осенив себя крестным знамением, стал пить из корчика воду, которая оказалась прохладной и необыкновенно на вкус приятной... И сколько я ни пил этой воды, а она в корчике как будто все умножалась. Я усиливался выпить ее всю, но чем более глотал, тем корчик делался полнее. Но я все продолжал пить. И стало мне до того трудно, что, казалось, вода, наполнив все мои внутренности, дошла до самого моего горла. Я напряг последние силы, глотнул еще раз и будто выпил из корчика всю воду... Тут я взглянул на Царские врата и увидал нагого младенца, сидящего на кругленьком аналойчике, вроде столика. И младенец этот не спуская с меня глаз зорко смотрел на меня, и так он был красив, что глаз нельзя было оторвать от него. Глядя на меня, младенец ангельски улыбался. И заметил я, что он был весь мокрый, как будто его только что вынули из воды, и вода струилась с него чистыми, как алмаз, каплями по всему лицу и телу его, — и это придавало ему еще большую красоту. Сидел этот дивный младенец с ножками на аналойчике, и по чреслам покрыт он был белым полотном, и это же полотно было подостлано под ним. Сзади этого младенца стоял монах, как будто отец казначей, а на плече у него было чистое полотенце, которым он отирал катящиеся по телу младенца капли чистой воды. И увидел я, что по лицу младенца, около его уха, вдруг потекла грязная вода,

как бы с пылью растворенная. Дивясь красоте младенца, я спросил отца игумена:

— Кто этот младенец?

И чей-то голос мне ответил:

— Это ты!

А отец игумен сказал:

— Я хочу, чтобы ты был моим сыном.

И после того я услышал опять прежний голос, звавший меня в алтарь. Голос этот мне говорил:

— Ну, видел ты себя? Теперь вставай и иди к утрени.

При этих словах я проснулся, и в это самое мгновение ударили в колокол к заутрени, а я встал и пошел, дивясь бывшему.

В рясофор я был пострижен вскоре после этого видения в Ильинском храме на день Одигитрии, то есть 28 июля. Постригал меня за Литургией сам отец игумен. Одежда моя с вечеру была положена перед образом Богоматери на аналойчике, а наутро, к удивлению пономаря и ризничего, аналой этот с одеждою оказался переставленным к местной иконе Илии пророка. Удивлены они были потому, что, кроме них, в храме никого не было, а они аналоя не переставляли и храм до литургии был заперт.

При постриге в рясофор имени мне изменено не было, и я был наречен паки Феодором.

LII.

Спустя некоторое время после великого и знаменательного для меня дня пострижения в рясофор, но еще до пострижения меня в ман-

тию, приходит ко мне в келью отец игумен и в разговоре неожиданно обращается ко мне с такими словами:

— Ты сам видишь, что казначей у меня окончательно человек неспособный, бесхозяйственный, да, к несчастью, еще и выпить любит... Ну, это-то хоть туда-сюда; а вот что плохо, так это то, что, замечаю я, в нем не только монашества, но и просто-то христианского и тени нет. Так вот, прошу тебя, не откажись заменить его собою, а об этом я уже буду лично просить Преосвященного.

Казалось бы, такое отличие должно было меня обрадовать, но меня оно испугало — так ясно мне представился весь ужас того положения, в которое я неминуемо попал бы, если бы принял лестное предложение отца игумена. Я знал несчастную слабость своего настоятеля, которая его заставляла относиться снисходительно к порокам его подчиненных, и назначение меня казначеем при нем равносильно было бы тому, как если бы он мне сказал: ты видишь мои действия, ни в чем не сообразные с уставами св. Отец, основателей монастырских общежитий, будь казначеем и молчи и ни в чем мне не препятствуй, а я буду попрежнему и примером своим, и управлением окончательно искоренять из своего монастыря и благочиние, и благочестие... Оборони, Господи! Да не будет!

Выслушал я игуменское предложение, стал перед иконой Преблагословенной и сказал настоятелю тихо и кротко, но твердо:

— Спаси вас, Господи, батюшка, за ваше внимание ко мне, недостойному, но позвольте и мне быть с вами откровенным и высказать вам и чувства мои, и мои мысли не как перед начальником, а как перед отцом. Нас, батюшка, здесь в келье только двое, и пусть Матерь Божия будет между нами свидетельницей. Вы предлагаете, стало быть, мне должность, или послушание казначейское?

— Да, — ответил мне игумен, — желаю даже.

Я поклонился ему в ноги и благодарил его, но, вставши, продолжал:

— Ах, батюшка, не поняли вы доселе меня, а иначе бы вы и не стали мне предлагать этой должности (и тут я опять поклонился ему в ноги)... Только вот что, батюшка: молю я вас и прошу — не думайте обо мне и просить Владыку, потому что если вы все-таки на своем настоите, то, несмотря на то что вы игумен, а я буду казначей, я таких от вас реформ потребую, о каких вы и не думали.

— Каких реформ? — удивленно спросил меня игумен.

— А вот каких, батюшка: здесь ведь общежитие, так и должно быть у нас все так, как Отцы святые передали нам, начиная с кухни и кончая всем духом братского общежития. Пищу, например, чтобы варили на кухне не мужики нанятые, а из числа братии иноки; да всё это — по уставу: огонь-то чтобы брать от иконы Спасителя или от престола во время утрени; потом, положив земной поклон пред на-

стоятелем и испросив благословение, только тогда бы и шли на дело. Да и на деле-то, чтобы младший на все просил благословение у старшего, так, чтобы ковша воды не смел влить в котел не помолившись: «Молитвами св. Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!», и, только когда старший скажет «аминь», младший, сказав — «благослови» и услышав — «Бог благословит», только тогда он может приступить к своему делу. И так должно вести всякое дело при начале всякого послушания в обители. И просфоры должна печь братия, а не бабы в городе, как это у нас теперь ведется. Да чтобы у нас от старшего до младшего никого не было в праздности, а чтобы каждому по силам его, возрасту и воспитанию было дано послушание. И в город-то, и в слободу отнюдь никому не ходить без благословения, ради благословной вины, и то только одному установленному на то брату, кроме особых исключений. Вот и к воротам надо поставить привратника, будильщиков; да и ворота вне службы должны быть не так растворены, как в настоящее время, и чтобы не было пути женскому полу через двор обители... В храмах надо завести чистоту не ту, которая теперь у нас, а такое благолепие, которое бы возвышало душу молящегося и возбуждало благоговение к святыне. Смеху и разговоров на клиросах и в алтаре чтобы и тени не было... Да простите, батюшка, я и от вас-то лично потребую другого поведения во всем... А вина и пьянства чтобы и духу не было в обители; и с похмелья, по-вашему,

я не дозволю давать братии денег и поить их в келье, как вы это делаете теперь. Нет, — на поклоны! Кто не хочет исправиться — с Богом из обители: пусть вместо шестидесяти или пятидесяти, будет жить тридцать, но чтобы обитель была образцом благочестия, а не так, как вы довели. Взгляните по совести: ведь обитель-то служит соблазном для мирских, как рассадник не благочестия, а пьянства, невежества и всяких пороков... Итак, если вы не будете препятствовать новым порядкам, то избирайте меня — я готов. Но если из личных ваших временных видов вы не измените своей системы, то лучше оставьте меня, а иначе я вам буду первый враг и доведу о всех ваших слабостях до сведения Владыки.

Ничего мне не возразил на мои речи игумен, но с этого времени он охладел ко мне совершенно и уже о казначействе для меня более не заикался. Мало того, по несчастной своей болезни, он имел слабость открыть о своем мне предложении самому казначею, с которым во время запоя, за бутылкой, слишком разоткровенничался. Конечно, он пересказал ему и все то, что я ему наговорил в келейной с ним беседе, и тем еще больше возмутил против меня и без того уже яростную ненависть ко мне казначея. С этих пор казначей не упускал удобного случая, чтобы внушать игумену, что я добиваюсь начальства, что я хочу, как они оба выражались, их «стула». И стали они оба стараться вытеснить меня из обители, но как не было за мной никакой вины, то они умыс-

лили перевести меня, дав мантию, в Архиерейский дом в Тамбов. Этого им было бы не трудно добиться, расхвалив меня кому следует и при помощи задариваемых ими членов консистории.

Слава и благодарение Господу, Который не дал им исполнить своего намерения, и все их козни не получили успеха, столь ими желанного!.. Но об этом я скажу в своем месте.

LIII.

Чувство братской любви нередко заставляло меня молиться ко Господу и к Пречистой Его Матери, чтобы излилось на меньшего брата моего Божье благословение и чтобы обогатил его Господь благами земными. И вот однажды после горячей молитвы я изнемог и уснул и вижу во сне, будто стою я у самой паперти каменной церкви, выходя из нее в монашеском одеянии. Взглянув над собою вверх, я увидел луну и чистое, ясное небо, все усеянное звездами... Синевато-туманная даль терялась, уходя в бесконечную высоту... И под луной, несколько сбоку, увидел я плывущую в воздухе лодку, и в ней сидит брат мой, Иван Афанасьевич. На голове у него была темно-малиновая бархатная шапочка татарского покроя, вся красиво и богато расшитая золотом и жемчугом, осыпанная драгоценными камнями; в руках у него была франтовская черная пуховая шляпа. Глядя на меня, он сделал мне шляпой глубокий поклон. И послышался мне в видении голос, говорящий: «Видишь? Так возвеличу брата твоего».

После этих слов я проснулся и, дивясь своему сну, написал брату на Нижегородскую ярмарку, где он в то время находился после закупки в Москве товаров.

Было это три года спустя после моего вступления в монастырь в июне 1863 года. После этого сна брат вызвал меня в Москву для свидания с ним и с его молодой женой. Очень мы были рады свидеться после долгой разлуки. Брат был очень доволен своей судьбой: дело, которое ему досталось от тестя, у него спорилось и он богател не по дням, а по часам; но в беседах с ним я заметил, что есть у него какая-то думка, какое-то тайное неудовлетворенное желание. Я его спросил об этом, и он мне ответил:

— Слава и благодарение Господу за все: всего у меня много. Есть у меня уже и две дочки, но вот горе — сына не имею.

— А что? — спросил я его, — видно, тебе очень бы хотелось сына?

— Еще бы, — отвечал он, — какой же отец и мать не желали бы иметь сына? Но да будет, видно, воля Божия!

Очень меня взволновали братнины слова.

На другой день отстоял я в Успенском соборе Литургию, помолился у св. мощей угодников Божиих, Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, зашел к Иверской и у чудотворной иконы излил в молитве скорбь свою за брата, умоляя Матерь Божию, чтобы Она умолила Сына Своего даровать сына моему брату. Помолившись, я купил в Иверской часовне вершка в два, в

серебряной ризе, икону Преблагословенной с целью благословить ею брата пред отъездом, и, когда пришло нам время расставаться, я благословил этой иконой не брата, а жену его и при этом с верой, от всей своей глубины сердечной, сказал:

— Силен Господь утешить вас и даровать вам сына!

Под благословение хотел было подойти мой брат, но я почему-то благословил не его, а жену, сказав:

— Нет! я желаю, чтобы сестра подошла.

И когда она положила три поклона и хотела было взять икону в руки, я повторил опять:

— Эта святая икона да будет вам в благословение на рождение сына и чтобы умножил Господь вам детей и сыновей даже до седми.

На этом мы расстались с братом и невесткой.

Прошел год, и у них родился сын, которому дали имя Феодор. На второй год родилась дочь по имени Александра...

В год рождения Александры брат виделся со мною и с какой-то на этот раз внутренней досадой сказал мне:

— Опять родилась дочь, а ты мне говорил, что у меня родится до семи сыновей.

— Не лучше ли, брат, — сказал я ему, — молиться ко Господу — да будет воля Твоя, а не наше желание. Почем ты знаешь, что сыновья будут тебе на радость?

— Ну, как бы там ни было, — ответил мне брат, — а я хочу, чтобы у меня были сыно-

вья — на то и прошу ваших монашеских молитв. Будет с меня и двух девок, а тут еще третья родилась.

По всему было заметно, что духовное устроение брата как христианина уже начинало портиться от счастья и удачи в его житейских делах...

После этого у него скончалась дочь Александра, и вскорости родились ему второй сын Александр, потом третий — Василий, четвертый — Иоанн, пятый — Николай, шестой — Виктор, седьмой — Алексей и восьмой — Владимир. Последней у брата родилась опять дочь — Ольга.

И так во всем была брату удача — и в семье, и в торговых его делах. Его считали мильонщиком; все главные военные начальники жали ему руку; был он принят в доме у Лорис-Меликова, у Чавчавадзе и у других полководцев. У князя Чавчавадзе он и дом купил, где и жил до самой смерти. В Темир-Хан-Шуре, где были его главные дела, он даже с хлебом-солью от общества встречал Государя Императора и был удостоен приглашения к Высочайшему столу. Брат за свои пожертвования был награжден многими медалями и в купечестве слыл за одного из самых передовых деятелей, и, благодаря этой репутации, а главное, конечно, и крупному своему состоянию, он был даже в близких отношениях и с крупнейшими московскими коммерческими домами, и, между прочим, с домом Московского городского головы Королева.

Не нравилось мне только знакомство брата с вольнодумцами, которыми так обиловали шестидесятые годы. Влияние их с каждым годом становилось на него все сильнее, и оно проявлялось в нем в чертах очень резких, которые больно отзывались в моем сердце. Стал он не соблюдать церковных уставов, отдаляться от Церкви, смеяться над монашеством. Не раз доводилось мне слышать в его компании отзывы о монахах как о тунеядцах и однажды в Москве, в гостинице Кокорева, где брат занимал несколько номеров и где жил и я, приехав на свидание с братом, довелось мне услыхать от него за ужином такие речи:

— А ведь ты небось думаешь, — сказал он, обращаясь ко мне, — что твое благословение доставило мне все, чем я теперь пользуюсь?.. И понес он далее такие кощунственные речи, что у меня так и обмерло сердце.

Брат был несколько выпивши и, не довольствуясь страшными своими словами, вошел в какой-то азарт: вдруг вскочил со стула, снял порывисто со своей шеи образок Божией Матери и бросил его под стол... Я был поражен и уничтожен этой дикой, безумной выходкой брата и, хотя это и не было в моем обычае, вышел на этот раз из номера не говоря ни слова. Наутро пришел ко мне коридорный и попросил меня пойти к брату. Не успел я переступить порога его номера, как он упал мне в ноги и стал просить прощения. Я подал ему образок, который он накануне с такой дерзостью бросил на пол. Он опять кинулся мне в ноги, прося прощения.

— Не у меня проси прощения, — сказал я ему, — а у Той, Которую ты оскорбил своей безумной дерзостью.

Брат каялся, объясняя свой поступок излишком выпитого вина, но семя духовного разложения в нем таилось и зрело, пока не дало такого ростка, который его и погубил впоследствии.

Тут мне придется забежать лет на 15 вперед, к тому времени, когда я уже был в Перемышле, в Лютиковом монастыре.

По дороге в Москву, брат заехал ко мне и тут тоже за ужином, выпив изрядно кахетинского, к которому получил пристрастие на Кавказе, он, как некогда в кокоревской гостинице, стал придираться ко мне и, в пылу неприятного разговора, повышенным голосом вдруг сказал:

— А ведь ты, вероятно, думаешь, что все, что я имею, дал мне твой Христос?

— А кто же? — спросил его я.

Брат указал мне на свой лоб и сказал:

— Вот — кто, а не твой Христос!

Тут я не вытерпел и вспылил до того, что и теперь каюсь, но, видно, сказанного уже не воротишь. В страшном гневе на брата я переспросил его:

— И ты, мерзавец, дерзко отвергаешь милость к тебе Божию и относишь все данное тебе к своему уму, отвергая даже Имя Господне?

— Да, конечно, — повторил он, — конечно, не твой Христос!

Тут вне себя я крикнул ему что было силы:

— Сейчас вон от меня, мерзавец!

С братом был и старший сын его. Я позвал своего келейника и сказал:

— Выведи его вон! А тебе, — обратился я к брату, — говорю: будь ты, анафема, проклят! И попомни, что я тебе скажу: ступай теперь на Кавказ и посмотри, что даст тебе отныне твой ум и твое безумие! Ты мне рассказывал, как пароходные капитаны говорят: «стоп машина!» и пароход останавливается. И я тебе теперь говорю: стоп машина во всех твоих делах! Ну-ка, ступай поворачивай теперь мозгами!

С этого дня я брата своего больше уже не видал. В самом скором времени старший его сын застрелился, второй попал за политическое дело в тюрьму; жену брата, при операции горла, зарезал доктор, а дела его пали до того, что он, с горя, сидя в конторе своего магазина, выстрелил себе в рот из револьвера.

Вот в какую цену обошлось брату его кощунство.

Батюшка отец Амвросий Оптинский, которому я покаялся в грехе проклятия брата, сурово мне за то выговорил, сказав мне:

— Напрасно, напрасно ты предал анафеме брата и проклял дела его!

Но исправить уже этого нельзя: окончившие жить уже не воскреснут до всеобщего воскресения, и я, многогрешный, и поднесь молю Господа, чтобы снял Он с брата моего страшное слово «анафема». Да не лишит Всеблагий Бог за него Своей милости оставшихся в живых детей брата и меня, окаянного!

LIV.

Возымели боголюбивое желание Лука Александрович Федотов и супруга его Любовь Степановна сделать на икону Божией Матери Всех Скорбящих Радости сребропозлащенную ризу. О задуманном пожертвовании сообщили они отцу игумену и испросили у него соизволения на то, чтобы для исполнения их желания послан был в Москву я.

Значительные были они благодетели монастырю, и пришлось моему безвольному и слабому игумену согласиться на их желание. Федотовы вручили мне 22 фунта серебра в столовом сервизе, несколько дюжин с чернью вызолоченных серебряных ложек, около фунта чистого червонного золота и несколько штук драгоценных бриллиантов и отправили меня в Москву к известному фабриканту Сазикову.

Одна работа этой ризы обошлась более 800 рублей серебром.

По приезде моем из Москвы один боголюбивый купец пожелал вызолотить вновь иконостас Покровского придела и расписать весь храм. На все это он мне дал деньги с условием, чтобы вся работа производилась под моим наблюдением и чтобы мне и производить все расходы, не открывая игумену имени жертвователя, но твердо заявил ему от его имени, что все дело должно быть совершено мною. Благотворитель этот желал еще сделать над святыми вратами ангела в рост человека с трубой и венцом в одной руке и мечом в другой и позоло-

тить его червонным золотом. Над вратами ему еще хотелось изобразить масляными красками Пресвятую Троицу в образе трех странников, принимаемых Авраамом под дубом Мамврийским, и сделать под этим изображением подпись: «Господи! аще обретох благодать перед Тобою, помяни раба Твоего».

Пожертвование было крупное, и игумен, опять скрепя сердце, дал мне и на эту работу свое благословение, но все у меня выпытывал:

— Только к чему это? Скажи: кто это такой? кто жертвует?

Хотя и получил я настоятельское благословение, но не было покойно мое сердце: я знал, что по наветам зависти казначея мне не пройдет даром и поездка моя в Москву к Сазикову. До трех раз я приступал к игумену за этим благословением, и всякий раз он его давал мне, не упуская, однако, сказать:

— Скажи мне имя жертвователя! Не возьму в толк, к чему это...

Напоследок, уже в третий раз, он сказал наконец мне определенно:

— Ну, начинайте! Бог благословит.

Но не успел я дать задатка слесарю, чтобы он приступил к работе ангела, а затем взяться и за возобновление иконостаса, как меня потребовали в келью к настоятелю. Уже с первого на него взгляда было видно, что игумен мой находился под влиянием вина и казначея. Как только я к нему явился, он с места запретил мне делать ангела и приказал отложить все дело на неопределенное время.

— Вот еще явился какой возобновитель! — кричал на меня игумен. — Без тебя обитель 400 лет стояла, а ты откуда такой явился? Я-де им два иконостаса возобновил!.. Убирайся-ка откуда пришел!.. Что мы — идолопоклонники, что ли, что вы на ворота кого-то посадить хотите?.. Не надо!.. Я хоть лыком шит, да — игумен; а ты кто?

Я пробовал было напомнить ему, что он уже дал мне свое благословение и что мною уже даны были задатки, но он и слышать ничего не хотел и даже божился, что он мне никогда своего благословения не давал.

Так и не была исполнена воля жертвователя. К счастью, мне были возвращены задатки, и я мог оправдаться перед этим боголюбцем, а могло бы выйти и так, как это было со мной при возобновлении Успенского иконостаса: взял у меня тогда игумен 50 рублей, чтобы расписать в красках купол, но, вместо живописи, он даже и побелки мелом не сделал — так и пропали пожертвованные денежки.

С этого времени гонение на меня усилилось еще больше.

LV.

В числе братии были иноки простые сердцем, преимущественно из крестьян, которые оставили мiр не из временных каких-либо своекорыстных выгод, а единственно из любви к Господу и из желания Ему работать в монастырском уединении. Эти иноки любили меня о Господе и изредка ходили ко мне, чтобы я им

почитал что-нибудь из книг святоотеческих. И я читал им из Иоанна Лествичника, из аввы Дорофея, Симеона Нового, Марка Подвижника, Нила Сорского, Макария Египетского, Исаака Сириянина, Исаии Отшельника и многих других. Удовлетворяя их жажде духовного знания, я в святоотеческих писаниях находил для них ответы на все их недоуменные вопросы. Великая это была и для них, и для меня польза; но диаволу это, наверно, не нравилось, и он стал внушать казначею, а через казначея и игумену прекратить наши братские собеседования; и начали они моим собеседникам говорить:

— Зачем вы ходите к нему?

В простоте своей сердечной и не подозревая козней вражьих они отвечали им:

— Да как же, батюшка, не ходить к нему?.. — и начинали им восхвалять меня не в меру моего достоинства, называя меня ангелом, а не человеком. Можно себе представить, как такие речи действовали на врага, внушавшего против меня завистливую ненависть!

— Вы не понимаете его, — говорили игумен с казначеем, — потому-то вы и ходите к нему и его ублажаете; а мы вам говорим, что это из мошенников мошенник: у него одна цель — быть игуменом. Мы его знаем лучше вас — это мошенник, каких редко...

— Я не доволен теми, — говорил игумен, — кто к нему ходит. Так и знайте, что те, кто к нему ходит, у меня будут на плохом замечании.

Такой неожиданный для них обо мне отзыв крайне их удивил, и, слыша его неоднократно, они заметили явное ко мне недоброжелательство начальства и, боясь его гнева, стали ходить ко мне реже и с великой опаской, со слезами передавая мне причину их кажущегося ко мне охлаждения.

И в Лебедяни, бывая в домах именитых граждан, игумен не упускал случая на вопросы их обо мне отзываться неоднократно о моей личности, называя меня льстецом, гордецом, святошей и страшным мошенником. Бывая часто в нетрезвом виде, он звал меня к себе в келью и тут поносил меня всяческими ругательными словами, а иногда ни с того ни с сего кричал мне:

— Подай сюда ключи от свечного ящика, ты не можешь быть полезен для обители — ты мошенник! Ты ожидаешь моего стула!

И сколько я его ни разуверял именем Богоматери, он ругал меня еще более, говоря, чтобы я вышел из обители.

— Ты — бесполезный человек! — только и слышал я от него в эти минуты.

Я хорошо понимал, что это было на меня гонение вражье от древнего человекоубийцы, пользовавшегося несчастной настоятельской слабостью, но, Боже мой! — до чего тяжело мне бывало это переносить! Тяжело мне было еще особенно потому, что мне не с кем было во всей обители разделить своего горя, не от кого было получить слова поддержки и утешения. И уходил я тогда, одинокий, в свою уеди-

ненную келью и, обливаясь слезами, взывал такими словами к моему Господу:

— Господи мой, Господи! призри на скорбь души моея, и утеши меня благодатною Твоею силою, и укрепи немощи моя, и просвети сердца ненавидящих и гонящих мя светом благоразумия Твоего, да вси единым сердцем и едиными усты будем петь и восхвалять Пресвятое Имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь...

И вот, после одного из таких искушений, вижу я в сонном видении, будто стою я в Покровском приделе во время утрени и, когда запели — «Честнейшую Херувим», вижу я: идет монах, но не простой, потому что на персях его был крест. Лицо монаха этого было несколько рябоватое, бородка продолговато-окладистая, с проседью. На руке он держал мантию, ремень, четки и клобук, а шел из Успенского придела в Покровский алтарь. Проходя через клирос и поравнявшись со мною, он сказал мне, показывая мантию и клобук:

— Готовься!

И очень скоро после этого сновидения я был пострижен в мантию. Совершилось это великое событие моей жизни в день Одигитрии, июля 28-й день 186... год*. После моего пострига отец игумен говорил мне, что он написал на трех записочках для меня три имени и положил их на престол. Два раза во время своего служения он брал с крестом одну из трех записок, и оба раза выходило для меня имя «Феодосий». В день

* Точное число года в рукописи не обозначено.

моего пострига и тоже в день его служения, когда нужно было идти постригать меня за малым входом, он взял с престола записку, и в третий раз вышло мне имя «Феодосий».

Вспомни, читатель, мою молитву у раки Преподобного в Киеве и слова подошедшего ко мне неизвестного старичка монаха и подивись со мною вместе великим и неисследимым путям Господним!

LVI.

Однажды приехала к отцу игумену настоятельница новоустрояемой тогда Иларионовской Троекуровской общины, мать Макария*, в то время очень ко мне благоволившая. Всякий раз как она приезжала в наш монастырь к отцу игумену, она просила вызывать меня в настоятельскую келью. От нее игумен не только скрывал свое недоброжелательство ко мне, но показывал ей, что обо мне он имеет особое отеческое попечение.

Богу ведомо одному, — может быть, в его-то душе и не было бы против меня дурного чувства, если бы не его слабость и не склонность поддаваться чужим и враждебным влияниям. Да и то сказать — нельзя судить души человеческой, а тем более ее осуждать, когда знаешь по себе силу врага рода человеческого. Помни все время, пока читаешь мое повествование, дорогой мой читатель, что я — летописец, а не судья, и разумей, что, описывая мо-

* Имя настоятельницы недостаточно ясно написано в рукописи.

настырское нестроение, я не монастыри обвиняю, а человеческую немощь, поддающуюся диавольскому соблазну, когда ей так было бы легко, с помощью благодати Божией, отражать нападение невидимых врагов: стоило бы лишь строго держаться святоотеческих заветов и богомудрого старчества.

Смотри, как при тех же людях, и с теми же их немощами, и при действии тех же враждебных сил цвела в то время да и теперь, благодарение Богу, процветает Оптина Пустынь и другие высокие обители Российские, где введено и держится старчество. Где Старец, которому всякий инок обязан открывать ежедневно свои помыслы, ради Христа, Которому он служит и ради христианского совершенствования, там вот тебе уже те Евангельские «двое», посреди которых Господь обещал невидимо присутствовать. Это уже — Церковь, которую и врата адовы не одолеют. Где же там безвозбранно действовать лукавому?.. Не то в обителях, подобных Лебедянской, какой она была в мое время...

Но продолжаю рассказ.

Так вот, значит, приехала мать Макария, был, по обычаю, по случаю ее приезда позван к игумену и я. Был тут и казначей. Попили мы чайку, посидели, побеседовали, а затем стали и прощаться. Поднялась мать Макария со своего места, чтобы собираться отъезжать домой, а я держал в руках ее легонькую теплую беличью накидку из рясы блаженной памяти нашего с нею старца, иеросхимонаха Макария. Стоял тут и казначей и вдруг ни с того ни с сего,

точно откуда-то сорвался, указывая рукой на меня, крикнул игумену:

— Видишь ли ты этого человека? Попомни мои слова: вот — дай срок — он нас с тобой так попрет из обители, что ты только ахнешь!

К чему и отчего он стал так предсказывать, но игумен от его слов сконфузился даже до краски в лице, а казначей, ни с кем не простившись, вышел из кельи и так хлопнул дверью, что стекла задрожали, а потом, вслед, опять полуотворил дверь и из-за нее опять крикнул:

— Погоди, он тебе послужит — попомни это! Он обоих нас выгонит из обители!

С тем и ушел. Мы с матушкой Макарией улыбнулись, а отец игумен только и нашелся, что сказать:

— Да, вишь, он немножко тово!

Мать Макария не утерпела и высказала отцу игумену все свое негодование на неблагопристойность этой выходки, а также и удивление, как может дойти в монастыре такое неуважение к настоятелю.

Мне же это, увы, было нисколько не удивительно!..

LVII.

Стоял я однажды в своей келье на молитве перед иконой Распятия Спасителя и вдруг увидел, что губы Божественного Страдальца сделались огненными. Я пришел в такой ужас, что изнемог всем существом души моей, но молиться не мог.

Видение это по малом времени исчезло.

В той же моей уединенной келье, сперва секретно, а потом с благословения отца игумена, который временами благоволил ко мне, я выкопал под полом подземелье, как бы могилу, и поставил в него с одной стороны гроб, а с другой — гробовую крышку. Крышку гроба я сделал, еще когда жил в міру, конечно, тайно ото всякого постороннего взгляда.

Подземелье это было любимым местом для моей молитвы, и туда я часто уединялся молиться, становясь между гробом и его крышкой пред большим Распятием нашего Господа.

От юности моей и по настоящее время я имел и имею неодолимый для меня панический страх перед всякого рода гадами — змеями, ящерицами, червями. Где бы я ни был, в саду ли, в поле или в лесу, молился ли я или просто лежал на траве, меня всегда пугал помысл — нет ли здесь какой-нибудь гадины? Я и до сих пор избегаю попасть в густую траву, а для отдыха стараюсь себе выбрать чистенькое местечко.

В могиле моей, под кельей, неоткуда было забраться никакому гаду, и тем не менее я, всякий раз как в нее спускался, испытывал некоторого рода боязнь встретить там какую-нибудь гадину. Но, несмотря на этот страх, любил я могильное безмолвие, где иногда целые ночи и дни проводил без сна или на молитве, или в размышлении о тайне нашего спасения и неисследимой вечности, ожидающей православно-верующую душу, или на грешной своей молитве.

Враг знал мою слабость и здесь не оставил меня в покое.

Молясь однажды в своей келье, я увидел около себя огромную, длинную, толстую змею. Я обомлел от ужаса. Подползла эта змея к дверце, ведущей в мое подземелье, и вдруг, на моих глазах, стала утончаться и, сделавшись тонкой, как пиявка, проползла в дверную щель и скрылась в подземелье.

После этого видения я долго боялся спускаться на молитву к моему гробу.

Немного дней спустя кто-то во время моего сна нагнул столбик из черных крашеных дощечек, на котором у меня были укреплены стенные часы, да нагнул так, что часы остановились.

Прошло после этого некоторое время, и я решился наконец опять спуститься на молитву в свое подземелье. Зажег я свечу, спустился ко гробу, тщательно осмотрел со свечой все закоулки подземелья, и, убедившись, что в нем нет, кроме меня, ни одного живого существа, я спокойно стал молиться. Не успел я преклонить колени, как увидал, что по могиле пробежала большая ящерица, но не такого цвета, какого они обыкновенно бывают, а цвета человеческого тела. На этот раз я не испугался, а, оставив молитву, взял свечу и стал осматривать свое подземелье. Таких ящериц я нашел несколько штук, перебил их и выкинул. На другой день явление это повторилось, на третий — тоже, и, вместо молитвы, мне пришлось заниматься избиением яще-

риц, которых в подземелье собиралось, всякий раз как я туда спускался, так много, что, пока я их всех переловлю, перебью и повыкидаю, некогда было уже и молиться. Дивился я, откуда было бы им браться, когда и муравью-то и тому неоткуда было пролезть в мою могилу.

Так и пришлось мне на время оставить мое могильное безмолвие.

Спрашивал я садовника монастырского — он был из троекуровских крестьян, — доводилось ли ему в нашем саду встречать ящериц, он с уверенностью мне ответил:

— Никогда! а если бы были, то мог ли бы я, живя безвыходно лето-летское в саду, их не видеть?

Искушение это продолжалось до тех пор, пока я не написал о нем, прося молитв, старцу Амвросию Оптинскому. С этого времени я уже более ящериц не видел.

Прошло после этого некоторое время. Я попрежнему, уже безбоязненно, становился на молитву в своем подземелье, как началось новое искушение, которому не помогли и мои письма к отцу Амвросию. Говорил я о нем и лично, при свидании, великому Старцу, но искушение это не только не прекращалось, но еще более усиливалось: слышались мне, во время моей молитвы, сперва тихие, невнятные голоса, а затем уже и ясное множество голосов, сладко ублажавших мои подвиги. И я, грешный монах, оставлял молитву и по целым часам стоял, прислушиваясь к их разговорам,

услаждавшим тайную гордость и самомнение моей окаянной души.

Боже! милостив буди мне грешному!..

LVIII.

Один брат нередко мне прислуживал, особенно во время болезни. (У меня пухли ноги и были болезненные шишки на коленях. Левую ногу у меня даже скорчило в суставах.) Я утешал этого брата, чем мог, и за копеечные его услуги платил рублями, зная его совершенную бедность. И было этому брату искушение добиться моего послушания у свечного ящика, которым я, по правде сказать, даже тяготился по своей болезни. И вот, столкнувшись с келейником отца игумена, который и послушание-то это получил по моей просьбе, они вдвоем уверили слабого настоятеля, что я по ночам напиваюсь мертвецки пьяным. А я не хвалясь скажу, что, с тех пор как я переступил за ограду обители, не только вина, но и браги не дозволял себе подносить к устам моим, даже за трапезой в день Пасхи.

Не зная ничего о составившемся против меня, по вражьему наущению, заговоре, я часу в 12-м ночи, помолясь Богу, лег спать. Не успел я закрыть глаз, как раздался стук в дверь моей кельи и вошел упомянутый келейник отца игумена, который объявил мне, чтобы я немедленно шел к настоятелю.

Конечно, клевета обнаружилась, но сам-то игумен был не в порядке, и мне пришлось, уже и не вспомню в который раз, выслушать

от него, что я и мошенник, и интриган, добивающийся игуменского стула, и бесполезный для обители человек... Кончилось мое ночное свидание тем, что настоятель отобрал у меня ключи от свечного ящика и, склонившись на мои уговоры, улегся спать.

Келейнику я дал понять, что мне известны его кляузы, но ушел я из настоятельской кельи с великой скорбью в сердце.

Наутро ключи от свечного ящика мне были возвращены.

Подарила мне одна боголюбивая жена флёру (род тонкой кисеи) на окна для защиты на летнее время от насекомых. В это же время я выпросил у отца игумена из церкви маленькое Евангелие и образ Преподобного Сергия. То и другое послужило для врага поводом воздвигнуть на меня новую клевету. Один из наших иеромонахов был как-то раз у меня в келье и увидал на окнах рамки из флера, и сатана наполнил его сердце злобной завистью. Иеромонах этот иногда бывал у той боголюбивой госпожи, и вот, при первой с ней встрече, на вопрос ее обо мне, он стал ей говорить про меня много дурного и, увлекшись, начал ей рассказывать, что я даже вор, потому что украл из церкви Евангелие, икону и флер, из которого поделал себе рамки на окна... Этот флер открыл всю ложь его наветов, и эта госпожа, встретив меня в церкви, предупредила меня, чтобы я сторонился упомянутого иеромонаха, объяснив мне и причину своего предупреждения. Имя этой моей благодетельницы — Любовь Степановна

Федотова, супруга известного уже моему читателю Луки Алексеевича.

Из ряду вон выходящей была эта женщина по своему боголюбию! Муж ее некогда служил в Сибири начальником в том округе, куда ссылались политические преступники, особенно из Царства Польского. Были они с мужем люди богатые, имели единственную дочь, которую любили без памяти, и, по окончании мужем службы в Сибири, поселились они всей семьей в Лебедяни в прекрасном доме. Звали их в Лебедяни сибиряками и очень почитали за выдающиеся качества их редких сердец. Были они глубоко религиозные, к храму Божьему усердные, любили монастыри и монастырское богослужение, к которым и неуклонно езжали по большим праздникам; подавали щедрую и всегда тайную милостыню, выдавали замуж бедных невест, давая им приданое — словом, жили, как истинные христиане.

К единственной их дочери присватался один из богатых местных помещиков, владевший деревней крестьян и богатой усадьбой при реке Доне.

Родители невесты были на эту свадьбу согласны, но неугодна она была дочери, так как она была еще совсем юная девица, а жениху было около 45 лет. Неугодна была эта свадьба и Богу, и Он взял невесту к Себе, не допустив ее до бракосочетания с нелюбимым.

Смерть единственной дочери, умершей в 17-летнем возрасте, тяжко поразила чету Федотовых, но не предались они бесплодному от-

чаянию, а только усилили свою богоугодную деятельность и свои усердные молитвы к Богу. Что касается Любови Степановны, то ее религиозность в это скорбное для нее время возросла до степени подвижничества и уже с этой высоты не опускалась до самой ее кончины. Исполняя по долгу своего звания все свои семейные обязанности, она в корень изменила свои отношения ко внешнему міру, и в течение 10 лет, со дня смерти дочери и до праведного своего конца, она не пропускала ни одного дня, чтобы не быть в храме. Приезжала она к нам в монастырь за час или за полчаса до утрени и ни разу не позволила себе постучаться в ворота обители, чтобы вратарь ее впустил обогреться в храм в ожидании утрени. Даже при 25- или 30-градусном морозе, отпустив своего кучера домой, стояла она на снегу, прижавшись к калитке и дожидаясь, когда вратарь отопрет ворота или калитку. Нередко бывало, что вратарь и игумен с братией просыпали, и, трясясь от жестокой стужи, она все так же безропотно и безмолвно дожидалась, пока наконец-то не откроют ворот те, кому надлежало ведать. О жизни ее, подвигах, благодеяниях нищим, убогим, сирым, вдовицам, церквам и монашествующим знает один только Сердцеведец Господь, я только могу свидетельствовать, что это была великая христианка, редкая из жен, которая, при всем достатке, довольстве и даже изобилии благ земных, не пользовалась решительно ничем и вела жизнь строгой и притом тайной постницы и неподражаемой подвижни-

цы. За тайну передавали мне мать ее, Александра Петровна Антонова, и муж, Лука Алексеевич, что у нее от коленопреклонной молитвы на обоих коленях были величиной в кулак шишки, которые обращались по временам в злые нарывы и раны.

В обращении своем с людьми она была совсем как ангел — с неизменной и кроткой улыбкой на устах, не умевших произнести ни одной жалобы. Глубоко начитанная в Слове Божием, она и ум имела светлый и просвещенный Богопознанием — словом, когда мне приходилось слышать, как мужа своего она называла господином, то представлялась она мне, озаренная как бы сиянием своей святости, одной из дивных Библейских жен, которым приучено было сердце поклоняться от самых юных лет. Это была, воистину, жена святая.

И этому-то ангелу сатана хотел меня опорочить и лишить меня его доверия и непрестанной заботливости о моем духовном сиротстве среди враждебно ко мне настроенного большинства монастырского братства!

Благодарение Господу, неудавшаяся клевета расположила до того Федотовых в мою пользу, что с того времени я стал для них своим в их доме и сердце и был ими назначен душеприказчиком по духовному завещанию ко всему их имению. Это возвысило меня так в глазах лебедянских граждан, что впоследствии, когда я уже был иеромонахом, меня звали еженедельно в Лебедянь для совершения Божественной литургии и для произнесения проповедей.

Иеромонах, меня оклеветавший, едва не заболел от зависти и взвел на меня игумену новую клевету, что будто я нарушаю его безмолвие, стуча ему по ночам в окна, а днем — в двери из желания чем бы то ни было ему досадить. Взведя на меня эту клевету, он сам ей до того поверил, что просил себе перевода в другую келью, так как его келья была близ моей садовой калитки и окнами своими выходила в сад, где было мое уединение. Просьба его была уважена, а мне было через то много неприятностей.

Впоследствии этот иеромонах, утратив всякое значение в лебедянском обществе, чтобы вновь привлечь к себе расположение и внимание, обращался к Владыке Тамбовскому Феофану с просьбой, чтобы его постригли в схиму, но на этот раз наш отец игумен его понял, и Владыка Феофан*, сделав запрос просителю о том, «как он понимает о схиме и как желает жить в схиме», прошения его, по-видимому, не удовлетворил, потому что он и поднесь пребывает иеромонахом.

LIX.

Однажды, в день Рождества Христова, придя к себе в келью от ранней обедни с приглашенным мною странником — монахом одного из московских монастырей, я заметил, что пробой был из двери выдернут, замок сломан, а вошедши в келью, застал в ней полный разгром

* Известнейший духовный писатель и впоследствии великий затворник Вышенский.

всего моего достояния: кроме икон и книг, ничего воры у меня не оставили, забравши всю теплую и холодную одежду, белье, самовар, чашки, сахарницу и сколько было про нуждишку деньжонок — все забрано было до нитки. Оставлены были худенькие старые подштанники, да и те были назло вывернуты и брошены посреди кельи. На другой день одна мухояровая ряска и старый поношенного крепа клобук были подкинуты в мешочке, в котором мне обычно кое-что присылали благодетели мои, Федотовы. Подкинуто это было на гостином дворе к келье одного из братий, живописца, а он и принес все это в трапезную во время обеда. Все остальное мое имущество пропало без вести.

Дня через два призвал меня к себе один иеродиакон. Я застал у него в гостях мирянина, и они мне сообщили, что есть слух о похищенном у меня имуществе, и потому советовали подать в суд. Я ответил, что судиться — не монашеское дело, а вот было бы лучше, если бы вор возвратил мне мое имущество, тогда бы я ему уплатил по стоимости за похищенное и поклялся бы никому никогда не открывать его имени. Конечно, надо было удивляться моей наивности, воображавшей, что вор мог бы поверить моим обещаниям, но тогда это вылилось из моего сердца. И остался я при 25-градусных морозах в одном холодном худеньком подрясничке, и никто из братии, начиная с игумена, не догадался мне предложить ничего теплого. Можно себе представить, как проводил я в своей холодной келье зимние мороз-

ные ночи, не имея чем прикрыть своего продрогшего тела, пока не обзавелся кое-каким теплым одеянием! Согревала меня молитва Иисусова да земные поклоны, которые и клал я усердно, едва перемогаясь от холода до утрени. И как же бывал я рад тогда услышать к ней благовест! В храме было много теплее, чем в моей келье, и я бежал туда, дрожа весь как в лихорадке.

В мае месяце, в наступившем, стало быть, новом году, после тех рождественских праздников, когда у меня была совершена первая покража, пришел я тоже от ранней Литургии в свою келью и застал у себя полное повторение того, что было на Рождестве: замок был сорван и все, кроме книг и икон, было разворовано до нитки. Было у меня тут подозрение на одного брата, но он не допустил меня до осмотра своей кельи. Я не стал настаивать и спустя некоторое время с одним братом, жившим на гостинице, нашел в саду, в траве, один свой тулупчик да три-четыре грязные рубахи, а все остальное кануло в воду.

Совершив у меня руками подвластных ему людей две кражи, враг диавол вновь стал ополчать против меня отца игумена, и начал он опять преследовать меня. Где тайно, а где явно — угрозами и лаской принялся он восстанавливать против меня ту часть братии, которая была расположена ко мне: опять повторялась, по наговорам казначея, старая история с запрещением бывать у меня кому бы то ни было. Боялись они, видимо, чтобы я не составил против них

братской жалобы высшей власти. Дело дошло до того, что стали запирать сад, а если и отпирали, то следом следили и за мной, и за теми, кто входил в сад. Стоило кому-нибудь подойти к моей келье, как точно из земли вырастал игумен и спрашивал:

— О чем собрались толковать? — а затем усаживался около моей кельи и сидел до тех пор, пока или уйдут, или сам скажет:

— Пойдемте-ка! а то велю скоро запирать.

Бывало, на вопрос игумена «куда идешь?» — иной брат ответит:

— К отцу Феодосию чаишку напиться...

— Ай у тебя нет? — скажет игумен.

— Есть-то есть, — ответит брат, — да хочется мне с ним побеседовать или там — книг отеческих вместе почитать.

— Ну, — возразит игумен, — зачем к нему ходить? Иди ко мне: ты у меня давно чаю не пил.

И волей-неволей приходилось повиноваться брату. А уж в игуменской келье заводились опять знакомые речи:

— Ведь вы его не знаете: он не только мошенник, а из мошенников-то мошенник... и т. д.

Брат молчал и слушал, а затем со слезами иногда на глазах говорил мне:

— Господи! да за что они вас так ненавидят?.. Терпи, родимый наш, пожалуйста, не скорби!

А причина ненависти была все та же: всякий раз как усиливалась в монастыре, по вине игуме-

на и казначея, распущенность, я шел к игумену и с глазу на глаз, на коленях и со слезами, целуя его руки, умолял его прекратить бесчинство, которое лезло даже в храм, не щадя великой службы Божественной литургии. Про трапезную уже и говорить было нечего: там не только братия, но даже десятилетние мальчики, родственники некоторых иеромонахов, вынуждались пить сивуху квасными стаканами, особенно в день чьих-либо поминок. Но все мои просьбы оставались гласом вопиющим в пустыне. Когда же узнали, что благодетели мои, Лука Алексеевич и его жена, сделали меня своим душеприказчиком по завещанному для нашего монастыря имуществу, то отец игумен стал окончательно гнать меня из монастыря. Сперва принялся он за меня советом, говоря:

— Ты видишь, какая здесь братия, — иди, пожалуйста, от нас в какую-нибудь пустынь да там и спасайся.

Потом заговорил со мною уже в форме приказания, чтобы я непременно подал прошение на перемещение меня в Оптину Пустынь или в иную обитель:

— Я и братия не желаем, чтобы ты жил в нашей обители, — с гневом говорил мне игумен, — ты не способен, а твой характер невыносимо тяжел для нас.

Я знал, что братия тут была ни при чем, а моего удаления хотел только он с казначеем, и потому объявил ему, что я из обители без особой причины не уйду. Вне себя от гнева игумен крикнул мне на это:

— Сказываю тебе: иди куда хочешь — ты здесь не нужен!

Я ушел невзвидев света от горьких слез и, придя в свою келью, по малодушию своему стал просить себе у Господа смерти.

Обессилев от молитвы и слез, я заснул и увидел во сне, что будто я стою на молитве и вдруг вижу, что вся моя келья наполнилась сонмом поющих дивную песнь: «Побеждаются естества уставы в Тебе, Дево Чистая. Девствует бо рождество и живот предобручает смерть. По рождестве Дева и по смерти жива спасаеши присно, Богородице, наследие Твое...» И как же это было пето! — того ни пересказать, ни передать человеческим голосом невозможно. Кончилось пение, и видение скрылось, а я проснулся весь в слезах... И долго, долго звучала у меня в ушах гармоническая мелодия этого сладкого, чудного пения.

С этого дня я положил себе за правило, отходя ко сну, петь до трех раз слышанные во сне слова, стараясь подражать их небесной гармонии.

В тот же день, выйдя из своей кельи, я встретил отца игумена гуляющим по саду. Увидев меня, он сам подошел ко мне и поклонился мне в ноги, прося у меня прощения за бывшее и говоря:

— Живи, молись и за меня! Мало ли чего не бывает... А ты не серчай: горшок с горшком и то сталкиваются, а мы — живые люди. Это меня все казначей смущает.

LX.

На время в моей жизни водворилось некоторое успокоение. Но беды, вернее сказать, бесы, отступив посрамленными на одном фланге, повели наступление с другого.

Был в саду монастырском, позади игуменского корпуса, небольшой пруд, и в нем водились караси. Я испросил у отца игумена благословение поохотиться когда вздумается на карасей с удочкой, а из пойманных карасей варить себе уху... Сижу я как-то с удочкой на берегу пруда, а позади меня — отхожее место настоятельского корпуса. Вдруг слышу, что со второго этажа корпуса что-то шлепает прямо в выгребную яму. По малом времени опять слышу: шлеп-шлеп-шлеп!.. Меня это заинтересовало. Оставил я на берегу свою удочку, а сам тихонько подошел к выгребной яме и увидал, что из жидкости торчат непотонувшие пучки восковых свечей. Я догадался, что это кто-нибудь из игуменских келейных ворует свечи из игуменского чулана. Отца игумена в это время дома не было — он отъезжал на монастырский хутор, верст за 15 от монастыря.

На другое утро сижу я на крылечке своей кельи и кормлю своего ворона... Да, я и забыл в своих воспоминаниях про этого моего друга-приятеля, не один год разделявшего со мною мое одиночество, а он стоит того, чтобы и ему уделить местечко в летописи моей жизни. Прерву-ка я свой рассказ да и поведаю кое-что и о моем пернатом друге.

Когда я еще был в Лебедяни подвальным и жил в доме Неронова неподалеку от питейной конторы, я не раз просил своего домохозяина, чтобы он мне достал, хотя бы за деньги, молодого вороненка. Хозяин пообещал мне достать одного из гнезда, которое было в строении сальни, но обещания своего не мог исполнить, так как воронята уже слетели с гнезда.

Очень тогда это мне было досадно, а делать было нечего — приходилось ждать следующего лета. Сидел как-то раз хозяин с женой у себя на крыльце и пил чай, а в это время через двор летели старый ворон со своей самкой и молодыми воронятами. Хозяин возьми да и скажи мне:

— Вот бы упасть одному вороненку для нашего постояльца!

И при этих словах один вороненок взял да и упал на землю, неподалеку от хозяйского крыльца, и тут же был пойман хозяином. Когда я взял вороненка из его рук, то вся воронья стая долго летала и кружилась надо мною, пока я не унес его к себе домой. Вскоре вороненок этот так привык ко мне, что летал за мною всюду, куда бы я ни ходил: пойду в подвал, он летит за мною, не боясь залететь даже и в подвальное помещение; а уже в дом — и говорить нечего — он влетал как в свое собственное гнездо и брал пищу прямо из моих рук. Иногда, плотно покушавши, он улетал на волю, но неизменно возвращался домой на ночлег. Удивительно мне было, когда, бывало, дашь ему несколько кусков сырой говядины, а он

возьмет их и спрячет где-нибудь на дворе; а там, смотришь, прилетит к нему старая пара его родителей, а вороненок разыщет спрятанные им куски мяса, поднимется с ними на крышу и угощает своих родителей. Любо мне было смотреть на это проявление в птице детской любви и как мне было стыдно и больно за детей человеческих, не разумеющих того, что доступно даже и птичьему разумению!

Когда я поступил в монастырь, со мною вместе поступил и мой вороненок, возмужавший и ставший уже добрым большим вороном.

В моем одиночестве и в скорбях, которыми меня преследовала вражья сила, я привязался еще более к моему другу. Был у меня в Туле знакомый инженер, и он мне прислал для моего ворона серебряных бубенчиков и медаль с выбитой на ней надписью: «Ворон о. Феодосия». Я приладил и то и другое на ворона: медаль повесил ему на грудь, а бубенчики, как у охотничьих ястребов, на хвост и на оба крыла; и когда в таком уборе летел мой ворон, то его слышно было издалека, а отец игумен, бывало, сидит на крыльце и улыбаясь говорит:

— Ну вот и становой наш едет.

И все смеялись на игуменское замечание.

Иногда мой ворон и проказничал на свой воровской вороний лад: одно время он повадился летать к одному лебедянскому мяснику и портил у него вывешенные для просушки кожи.

С мясником мы сошлись полюбовно, и он обещал мне не делать вреда моему другу, если я буду платить за убытки. В другой раз он за-

летел в окно к молодому лебедянскому квартальному и стащил у него с окна деловые бумаги, которые он только что принес от городничего. Квартальный этот незадолго до того женился, и, конечно, его больше тянуло к жене, чем к служебным обязанностям. Придя от городничего, он положил на окне бумаги, перевязанные красной ленточкой, а сам пошел в соседнюю комнату к жене пить чай. Все это видел с крыши соседнего дома мой ворон, и, когда квартальный ушел, он слетел со своего наблюдательного поста и, схватив на лету за красную ленточку бумаги, полетел с ними в монастырь, где и запрятал их в порожнюю разбитую бочку. Эту сцену заметили соседи квартального, подняли крик, на который прибежал квартальный и послал в погоню за вороном верховых пожарных. Сколько тут было суматохи, сколько всякого гвалту!.. В монастыре всем было известно место, куда мой ворон складывал все, что ему удавалось стащить, и бумаги были найдены в целости в разбитой бочке.

Для меня мой ворон был большим утешением, даже привязанностью; и пернатый мой друг тоже платил мне, как умел, своей птичьей любовью.

Помянув, таким образом, добрым словом моего верного друга, я обращусь теперь вновь к прерванному повествованию.

Так вот, когда на другое утро после истории с воровством восковых свечей сидел я на своем крылечке и кормил ворона, пришел ко мне молодой еврей, торговавший вином за мо-

настырской оградой в одной из ближних посадских улиц. Снявши вежливо шляпу, он поклонился мне и сказал:

— Какое прекрасное место, отец Феодосий, вы выбрали себе!.. Мне очень бы желательно было со вами поближе познакомиться. Вы не смотрите на то, что я — еврей: у нас Бог Отец один, и я хорошо понимаю и вашу религию, и все, что касается до монашеской жизни.

Завелась беседа на библейские темы, и мой собеседник, оказавшийся очень начитанным в Библии, попросил у меня позволения зайти в мою келью. В келье беседа продолжалась, и уже под ее конец мой новый знакомец сказал мне:

— Батюшка! и между евреями есть люди по жизни гораздо более благочестивые, чем живущие в вашем монастыре послушники из исключенных семинаристов. Вот я вам скажу хотя бы про игуменского келейника, Ивана: он неверен, а ему отец игумен вверяет даже ключи от многих замков в обители, когда куда-нибудь отлучается из монастыря. Мне жаль отца игумена — его Иван так когда-нибудь обокрадет, что у него ничего, кроме носильного платья, не останется. Вы только, отец Феодосий, не говорите, что от меня слышали, а Ванька ворует у игумена восковые свечи пучками и, срывая с них бумагу, кладет их в чугуны, ставит в печь, а когда воск растает, разливает его в кружки фунтов по семи, и по три, и по пяти. У меня он забирает водкой, а за нее расплачивается воском. Сообщите об этом тайно отцу

игумену, но только меня не выдавайте: ведь Ванька-то не один — у него есть и товарищи по воровству, пьянству и распутной жизни. Если вы меня выдадите, то они мне могут жестоко отомстить.

Заручившись от меня обещанием, что о его имени не будет и речи, еврей ушел от меня, выражая мне всякое уважение и рассыпаясь в благодарностях за ласковый прием.

Вскоре после этого посещения пришел ко мне отец игумен и в разговоре сообщил мне, что у него пропали две бумажки по 50 рублей.

— Я хорошо помню, — говорил игумен, — что я их куда-то положил, а вот искал их и нигде не нашел. А взять их у меня, казалось бы, некому: кроме келейного Ивана у меня и не было никого.

— А вы, батюшка, — сказал я ему, — попробуйте-ка так сделать: прикажите себе заложить лошадь да скажите Ивану, чтобы он знал, что вы об этих бумажках помните: поищи-ка, брат, пожалуйста, их хорошенько — мне сейчас недосужно, а вернусь я, тогда ты мне их и отдашь. Деньги тогда, наверно, найдутся, и вот вы тогда убедитесь, насколько верен вам ваш любезный келейник.

Игумен так и сделал: съездил в город, и, когда вернулся, Иван ему поднес будто бы найденные в Библии деньги. Тогда, чтобы отцу игумену яснее доказать неблагонадежность его келейного, я посоветовал ему опять куда-нибудь отлучиться и спрятать все ключи, кроме одного — от свечного чулана.

По стъезде отца игумена, я сел опять у пруда ловить карасей, а Иван проделал свою штуку со свечами как по писаному. Когда возвратился игумен, я раскрыл ему Ивановы штуки и показал в выгребной яме торчащие пучки свечей, набросанные туда его любимцем. Игумен был поражен и вскоре выслал Ивана вон из монастыря, объяснив ему, что это я довел до его сведения о всех его мошеннических проделках. Конечно, уходя из обители, Иван пригрозил мне местью.

— Отплачу я тебе, такой-сякой! Погоди — будешь ты у меня помнить хлеб-соль! — сказал он мне на прощанье. И вскоре иду я с конного двора с ведром воды, а бывший келейный стоит у садовой калитки и держит в руках моего ворона. Ворон бьется, кричит, кусает его руки, а Иван в моем виду взял да изо всей силы и ударил его головой о каменную стенку, так что кровью его забрызгал всю стенку, да и кричит мне:

— Вот тебе моя благодарность! Погоди, я тебе и еще отплачу!

Мне и до сих пор еще жаль моего ворона — каково же мне было тогда!.. Прости, Господи, творящему зло и не ведающему, чью он творит волю!..

Был у меня обычай в хорошие лунные ночи выходить на молитву в сад. Хотел я было идти молиться Богу на открытом воздухе и в ночь того дня, когда так безжалостно лишили жизни моего пернатого любимца, но на меня напал какой-то никогда со мной не бывалый страх.

Осенил я себя крестным знамением и не пошел наружу, а наутро пришел ко мне один из братии да и говорит:

— Счастлив ты, что не выходил ночью из кельи — тебя караулило несколько человек, чтобы убить. Пойди-ка посмотри, какие они по себе следы оставили!

И действительно, у садовой беседки я нашел на примятой траве разбитые водочные бутылки и четыре короткие, по аршину, дубинки: дожидались, стало быть, меня мои ненавистники, да Бог отвел — не дождались.

LXI.

В великих скорбях моих Господу угодно было даровать мне и великое утешение в лице семейства Федотовых: в нем я находил во всякое время сердечное к себе сочувствие, оно меня поддерживало благим советом, оно и воодушевляло меня к терпеливому несению всякой ниспосылаемой на меня скорби. Накануне моего видения, после тяжелого объяснения с отцом игуменом, когда он решительно объявил мне, чтобы я выходил вон из монастыря, я был в доме моих благодетелей и, рассказав им о том, что меня выгоняют как неспособного, малодушно и горько заплакал. Плакали со мной и они, мои незабвенные доброжелатели, и дали мне совет остерегаться выходить по ночам из своей кельи, и убедили меня приглашать ночевать в сад какого-нибудь караульного. Я и пригласил одного живущего близ монастыря мужика, по имени Иону, чтобы он приходил но-

чевать ко мне в сад. Об этом прознал отец игумен и тайно от меня выгнал моего караульщика, а сам опять возгорелся против меня ненавистью и тут порешил меня сбыть из монастыря в Архиерейский дом при посредстве своих консисторских хлебосолов и соборного ключаря. Чтобы скрыть свой замысел, игумен с казначеем через своих консисторских приятелей предварительно устроили вызов в Архиерейский дом двоих из нашей обители с тою целью, чтобы показать мне, когда меня туда вызовут, что не со мной первым это делают.

Узнав об этих происках, благодетель мой, Лука Алексеевич Федотов, немедленно отправился к игумену и поклялся ему своей честью, что если он меня чем-либо замарает в глазах Владыки или какие-нибудь другие составит против меня козни, то он вслед выедет сам на почтовых к Владыке, и тогда уж пусть игумен на него не гневается — он все расскажет сам Владыке и раскроет перед ним всю их с казначеем подноготную.

На всякий случай Лука Алексеевич заготовил было и письмо к Владыке Феофану, но тут Феофана вскоре перевели во Владимирскую епархию, и письмо хотя и было отправлено, но за отъездом Владыки оставлено без последствий, кажется, впрочем, более потому, что незадолго перед этим письмом в «Тамбовских Епархиальных Ведомостях» было опубликовано о награждении нашего игумена за «примерное управление обителью». То ли еще бывает в век наш!..

Как бы то ни было, а сила заступничества за меня Луки Алексеевича сделала свое дело, и при новом владыке Феодосии, во время посещения им нашей обители при обозрении епархии, он меня, грешного монаха Феодосия, рукоположил во иеродиаконы, во время своего служения в Троицком храме. И совершилось это событие в 1864 году июня в 15-й день.

В тот же день и наш казначей получил набедренник за примерное ведение монастырского хозяйства.

По отъезде Владыки слабость монастырского управления достигла высшей степени, и последствием распущенности было то, что один из наших иеродиаконов в пьяном виде утонул в монастырском пруде. Узнали об этом только тогда, когда усмотрели плавающее тело, а до тех пор — так хороши были монастырские порядки — никому и в голову не пришло справиться, куда пропал целый иеродиакон. Дали, конечно, знать в полицию, началось следствие: приехал частный, но без лекаря, посмотрел с понятыми на вынутый из воды труп, отобрал ото всех показание и написал акт дознания, к которому и велел всем подписываться. Подписался игумен, подписался казначей, приложили и братия свои руки без всякого возражения; велено было подписаться и мне. Я видел, что все подписывались, не знавши даже к чему, так как акт дознания никому не был прочитан, а лист, на котором отбирались подписи, был белый и к делу подшит особо, да и самые показания не были скреплены и прошнурованы, а потому я попро-

сил частного, чтобы он мне сперва прочел, к чему я должен был прикладывать свою руку. Конечно, для меня после моего начальства все равно было к чему следом за ними ни подписываться, но я хотел, чтобы стала известной причина этого несчастного происшествия: мне важно было, чтобы дознание установило факт пьянства в монастыре и чтобы этой причины смерти иеродиакона нельзя было бы утаить в рапорте Преосвященному. Я надеялся, что хоть это официальное дознание обратит внимание Владыки на бесчинства, допущенные в обители слабым управлением.

Мое несогласие до крайности раздражило как игумена, так и частного. Казначей же стоял в стороне и, видимо, радовался моему ослушанию, уверенный, что за него мне придется тяжко ответить перед светской властью и пасть окончательно в глазах отца игумена. Но мне было все равно: я хотел пожертвовать собой для блага обители.

И поднялась же тут на меня, Боже великий, такая брань, посыпались со всех сторон такие угрозы, что не будь твердо и обдуманно мое решение, то впору было бы бежать без оглядки. Когда замолкли общие крики, выступил против меня и сам частный и, грозно возвысив свой голос, крикнул мне:

— Знаете ли вы, кто я? Знаете ли, что я с вами сделаю? Я составлю сейчас на вас протокол и засвидетельствую ваше ослушание законам и власти, а затем предам уголовному суду!

— Воля на то ваша, — ответил я, — делайте что хотите, но я не подпишусь.

Частный еще более возвысил голос и, как громом, хотел поразить меня словами:

— Именем Государя Императора приказываю вам — подпишите, или я докажу вам законов силу!

Он даже побледнел и задыхался от гнева.

— Не подпишусь! — отвечал я.

— Почему?

— По многим причинам.

— Слышите ли вы и понимаете ли вы, что я вам говорю? — захлебываясь от гнева, кричал мне частный. — Именем Императора приказываю тебе — подпишись!

— Воля Государя Императора для меня священна, — с твердостью отвечал я, — и за Веру, Царя и Отечество я не пощажу своей крови и даже самой жизни, а подписываться на стану, и вы сами от меня не вправе того требовать, тем более что вы и следствие-то произвели без соблюдения законных формальностей...

— А в чем именно? А?

— Да вот, в записанных вами показаниях все листы без законной скрепы, а лист с подписями так и вовсе белый и к делу не подшитый: на нем можно написать выше подписей все, даже денежное заемное письмо. И что он тогда? Обитель должна будет уплатить только потому, что вы заставили отца игумена и всю братию подписаться под листом чистой бумаги — так, что ли?..

Надо тут было видеть конфуз частного!.. Пришлось-таки ему забрать и переделать вновь все дело, а взволнованный игумен ушел в свою спальню, ворча на всеуслышание:

— Вот навязался на нашу шею мошенник! анафемская душа! Погоди: я покажу тебе форму!

Дознание было переделано, как я хотел, и было в нем засвидетельствовано, что иеродиакон утонул от нетрезвого поведения.

Многих скорбей мне это стоило, но рапортом Преосвященному было донесено, что умерший утонул в белой горячке.

А Владыка, получив такой рапорт, безмолвствовал, оставив в обители все по-старому. Нет — не по-старому стало у нас после того в монастыре, а еще хуже прежнего. Довольно будет сказать, что из Четь-Миней начали вырывать целые листы для куренья табаку, а монастырская власть уже ни на что более не обращала внимания. Правда, ездили к нам и благочинные, но их умели делать и глухими, и немыми. А были из них и такие, которые возвышались даже до выговора игумену за то, что при выезде их из обители... не трезвонили в колокола!..

LXII.

Какая же была причина тому, что так низко падала древняя обитель? Почему так было слабо игуменское управление? В ответе на второй вопрос заключен и ответ на первый.

Игумен наш всех боялся и старался не о порядке в обители, а только о том, чтобы кто-нибудь не составил на него прошения Владыке и не завелось бы дело. Мы видели, каковы они были сами с казначеем: не мудрено было, что они и не щадили никаких денег, лишь бы затушить всякую искру протеста против нестроения в управляемом ими монастыре. Эта боязнь у них доходила до такого страха, так была всем известна, что некоторые из приказных, исчерпав все источники для выпивки, напишут, бывало, от себя прошение да и придут к игумену, говоря:

— Вот, батюшка, такой-то написал на вас (а иногда, для разнообразия, — на какого-нибудь брата) прошение.

И игумен осыпал их деньгами и запаивал водкой.

«Каков поп — таков и приход», — говорит мудрость народная: оттого и в нашем монастыре за правило было принято отказывать в поступлении в обитель каждому умному и трезвому человеку, зная наперед, что ему не ужиться с братией, большая часть которой состояла из исключенных семинаристов и вдовцов белого духовенства. Еще простеньких мужичков у нас принимали за безответность и как чернорабочую силу, и ими-то, по правде сказать, только и держался монастырь, отвлекая от него кару Божию. А что из себя представлял остальной состав братии, то его можно назвать только истинной язвой монашества, которое держалось и могло держаться в монастырских стенах только одной дисциплиной — стаканами сивухи,

щедро раздаваемыми рукой монастырского начальства, которое и само только этой дисциплиной и держалось. И творилось это под видом доброты душевной, из жалости будто бы к павшему брату подносилась ему водка и давались деньги на табак. Действительная же цель была другая: начальству, редко бывавшему трезвым, нужно было окружить себя такими людьми, которые сами были бы перед ним в чем-нибудь замараны, а стало быть, и безгласны. Натворит каких-нибудь штук брат в пьяном виде, ему нет за то не только выговора, а его же еще и одобряют, поднося стаканчик и говоря:

— На, опохмелись! Ну, что делать: мы все немощны, все — под грехом!

Но такая система не приносила того плода, какой был бы желателен монастырскому начальству, и пасомые садились на шею своим пастырям, пользуясь их слабостью к тому же пороку: приходили к игумену и казначею в безобразно пьяном виде, требовали вина, денег и ругали их всячески. И все требования их удовлетворялись безропотно, можно даже сказать, рабски. Общий порок ставил их всех под круговую друг за друга ответственность и творил из них хотя и безобразную, но тесно сплоченную и дружную семью, умевшую прятать концы в воду и крепко держаться друг за друга, скрывая от постороннего взгляда высшего начальства все, что творилось у них келейно. Наказаний в монастыре не было и в помине: за семь лет я не видал ни разу, чтобы кого-нибудь ставили на поклоны. Да и кому было ставить и кого ставить?

И все живущие в монастыре радовались таким порядкам и называли игумена «душа-человек». Но были и такие, которые со мной вместе от них страдали и плакали. Слезы их иногда доходили до сведения игумена, но он мало ими смущался, махал рукой и говорил:

— Пускай их там себе говорят что хотят, а я хоть лыком шит, да игумен. Они-то говорят, а я свое дело знаю!

Говорить ли о том, что за игумена вся консистория стояла горой и всегда представляла о нем Владыке как о человеке редкой души, ни на кого еще не подававшем ни одного рапорта. Конечно, консисторские хорошо сами знали, что ему этого сделать было никак нельзя, и потому один из его приятелей, столоначальник консистории, советовал ему, как в минуту откровенности говорил мне и сам игумен:

— Ты подбирай к себе дурачков, чтобы они ничего не понимали!

Можно поэтому себе представить, как я был ему мил, когда приходил к нему в келью умолять со слезами прекратить монастырское бесчинство!

Кто мог бы подумать, глядя на такое падение истинного монашеского духа, что, в то время как мы стремглав, вниз головою, летели в пропасть, рядом с нами, в 7 верстах, росла и цвела Троекуровская Иларионовская женская обитель, а в 12 верстах те же женщины, истинные рабы Божии, за молитвами Сезеневского затворника Иоанна, воздвигали не обитель, а лавру?!

А наш игумен не унывал и все ждал себе наперсного креста, хотя в обители его уже начинали разваливаться стены. Мечты эти в нем растили и поддерживали члены консистории, заставлявшие его на так называемое просвещение юношества вносить ежегодно 400 рублей, а то и более. Но Владыка почему-то все откладывал награждение, и тогда игумен впадал в уныние и сожалел о своей ошибке. Как-то раз в горести своей он и мне это высказывал.

— И что ж, батюшка, вы не постыдитесь его надеть? — спросил я.

— А что мне стыдиться? ведь я числюсь попечителем богоугодных заведений.

— А я думал, что вы наперсного креста ждете себе за уничтожение благочиния в обители, — сказал я и привел в каприз игумена.

Я знаю, что меня многие не похвалят за мою дерзость, но надо было быть на моем месте — жить, видеть и претерпеть всю горечь ненависти и бесчиния управления нашим монастырем, чтобы понять, каково было моему сердцу дожить до награждения нашего настоятеля давно им жданным наперсным крестом, и еще за что? За «примерное управление»!

Кому ведома ревность о Доме Господнем, тот поймет и не осудит меня.

Отче милостивый! отпусти нам и буди милостив ко всем нам, грешным!

LXIII.

Однажды, в праздник Богоявления, после поздней Литургии, вся братия, по заведенному

порядку, собралась в келью отца игумена «для утешения». В обителях древних по уставу во дни поста «прилучившуся празднику», например в Николин день 6 декабря, стало быть Рождественским постом, давалось разрешение на «елей из освященного кандила» для «утешения» братии, то есть позволялось постную без масла пищу готовить на лампадном масле. Конечно, тогда и лампадное масло было не нынешнее, а беспримесное — оливковое, да и братия-то была тогда не наша, Лебедянская.

У нашего отца игумена «утешение» было иное: сперва подавали чай, а потом приступали прямо к водке, которую казначей подносил прямо квасными стаканами, не исключая из числа пьющих и малолетних.

Оговорюсь: я так старательно записываю в летописи моей жизни весь ужас нашего монастырского бесчиния для того, чтобы потомство знало, если до него дойдет моя рукопись, что за язва, что за чума для монашества и монастырей белое духовенство, которое, овдовев, принимает постриг по большей части из личных своекорыстных видов. У нас в монастыре это сословие было господствующим. Горе той обители, которая его принимает в число братства без предварительного продолжительного искуса! Чтобы решиться его допустить в монастырь, нужен искус гораздо более продолжительный и тяжкий, чем для простых мирян. Во всю мою продолжительную монашескую жизнь я за редкость великую видел кого-либо из монашествующего белого духовенства, который,

достигши начальствования, не привел бы к упадку вверенной ему обители. Над столпом монашества — старчеством эти люди смеются, отеческие книги с трудом разбирают, к послушанию не способны, жаждут «кружки», к трудам последние, а на «поминах» — первые.

Часть, конечно, были и будут и из них иноки высокой подвижнической жизни и образцы монашеского смирения, но они — исключение, которое только подтверждает общее правило...

Возвращаюсь теперь обратно к игуменскому «утешению».

Когда начали пить чай, в другой комнате, где была младшая братия, ставили закуску на разных тарелках: икру, рыбу, селедку и проч. Не успел келейник расставить все это и отойти, как послушники и монахи бросились мгновенно к закускам, давя друг друга, хватая их в рот и засовывая в карманы. Поднялся крик, шум, ругательства; закуску стали вырывать из рук друг у друга...

Не вытерпел я и шепотом сказал казначею:

— Удивляюсь, батюшка, вашему молчанию: почему бы вам не сказать двух-трех слов и прекратить подобное бесчинство? Ведь и у свиней, как пишет один святой Отец, есть свой порядок, а тут — взгляните, что делается: ведь это — кабак!

Боже мой, что тут сделалось с казначеем! Он так толкнул от себя свою чашку с чаем, что весь чай разлился по столу и потек на пол. Как сумасшедший вскочил он из-за стола, глаза его засверкали, как два угля, побледнел и с пеной

у рта, как бешеный, брызгая мне слюной в лицо, подскочил ко мне и закричал не своим голосом:

— Как ты смел мне это сказать? Кто ты? Что ты меня учишь? А! Что же это за дьявол навязался на нашу шею!

С этими словами он выскочил в залу, где сидел отец игумен, и начал ему и всей старшей братии кричать, что я его и их ругаю бесчинниками, нарушителями отеческого благочестия...

— Вот он какой мошенник! — кричал он, — вот он как относится о нас каждому встречному и поперечному! Что вы на него смотрите? А вы, отец игумен, дозволяете всякому мальчишке, щенку, у которого материнское молоко на губах не обсохло, говорить такие дерзости в глаза! И мало того, дозволили ему поселиться в саду; а ему не только в саду, а и в обители не должно быть места. Напишите на него рапорт да и выпроводите его вон из монастыря: пусть поживет в Сарове или в Оптиной — там соблюдается для подобных благочиние на дровяном дворе!

Я дал ему излить всю накипевшую у него против меня злобу, вышел на середину залы и стал объяснять, что в действительности было, но казначей не давал мне говорить и все кричал:

— Какие мы бесчинники, мошенник ты этакий? У нас древнее благочестие. Погоди, брат, мы тебе хвост выщипим!

Насилу игумен уговорил его замолчать на время и дать мне высказаться. Я стал на колени среди залы и ко всем присутствующим

обратился со слезной мольбой ради Христа, ради Богоматери, ради всех Святых пресечь наконец силою предоставленной игумену власти бесчинство если не во всем монастырском обиходе, то хотя бы в храме, в трапезе и в игуменских покоях. Я не плакал только, я рыдал, валяясь у них в ногах, но они все... безмолвствовали. Казначей бросался было меня ругать, но ему отец игумен приказал замолчать, и он ушел в другую комнату, озираясь на меня, как зверь, грозя пальцем и приговаривая:

— Погоди, брат — мы у тебя хвост-то повыщипим: будешь знать, как учить старших!

На этом дело и кончилось. Только когда я шел уже спустя некоторое время с игуменского «утешения» к себе в сад, казначей кликнул меня к себе в келью и, к удивлению моему, стал у меня просить прощения, говоря:

— Прости, пожалуйста, и не серчай, что я тебя оскорбил. Это я ведь нарочно сделал, чтобы возвысить в других мнение о управлении нашем: надо же было услужить игумену. Что, брат, делать — человеки! Я и сам вижу, что хуже надо, да некуда; но ведь это не от меня. А ему хоть не говори, он-то и виной всему своевольству. Ты правду говорил и правильно все заметил, но что же я-то буду делать, о Господи!.. Если бы ты, брат, знал, как я сам об этом в душе скорблю! Но что поделаешь, когда у нас игумен — колпак... Прости ж и не серчай!

— Бог вас простит, — ответил я ему в полном недоумении от его речей, а казначей все свое:

— Глаза бы мои на все это не глядели, а ничего не поделаешь!

Слава Богу, что мы хоть мирно расстались и миром закончили печальное столкновение.

Но мира истинного с окружающей меня обстановкой и людьми в Лебедянском монастыре у меня так и не было до конца совместного жития моего с Лебедянской братией.

LXIV.

Падала наша обитель не по дням, а по часам и материально, и нравственно. Все мои старания помочь ей нравственно подняться разбивались как о стену горох: попробовать бы ей чем-нибудь помочь, подумал я, хоть материально-то, и первое, на что упало мое внимание — это был фруктовый сад, столь близкий моей келье и, понятно, потому и моему сердцу. Сад наш старел, а варварское к нему отношение власть имущих без всякой жалости насильственно сокращало его старые и многоболезненные дни: его рубили на дрова для нужд монастырских. Была у монастыря верстах в пяти своя роща — дуб и береза, но по бесхозяйственности часто случалось, что летом не было дров даже для варки пищи, и это — не от экономии, а по простой распущенности: у нас лес целыми сотнями дарили посторонним нужным людям в город; братия зимой так топила печи, что растворяла, как летом, и окна и двери, а на лето запасу дров у нас частенько и вовсе не оставалось даже для трапезы. Повар

поищет-поищет дрова да и идет к игумену: дров нет; а тот пошлет его в сад и скажет:

— Поди в сад и поруби там сухих вишен.

Придет повар в сад, сухого вишеннику или не найдет, или искать не станет и с досады начнет себе рубить здоровые яблони.

Случится мне это видеть, я и кричу ему:

— Что ты это, брат? Бога ты не боишься: можно ли рубить хорошие плодовые деревья!

А он, вместо ответа, пустит мне площадное ругательство и прибавит:

— А ты что такое за птица — игумен, что ли? Где ж мне взять дров-то? Время нешто ждет — мне обед варить надо!

Раз такой случай был на глазах Троекуровской игумении, матушки Макарии, вышедшей со мной в сад на прогулку. И удивлялась же она, глядя на наши порядки!..

На монастырской земле, за гостиницей, была удобная земля и довольно большое место. О нем еще и раньше благодетель обители, Лука Алексеевич Федотов, говорил игумену как о месте, годном для разведения сада, но сказанное доброе слово, по заведенному у нас обычаю, было основательно позабыто. Захотелось и мне предложить игумену вспомнить благой совет Луки Алексеевича.

Нетерпеливо выслушал мое предложение игумен и воскликнул:

— А мне какая нужда рассаживать для других — дети они мои, что ли? Что я им — лакей разве?

— Неужели вам, батюшка, — сказал я, — неприятно теперь бывает гулять в саду, посаженном, спаси его, Господи! игуменом Никоном, пользоваться с него весь год плодами, да еще получать аренды больше чем 200 рублей в год?

— Да, оно, конечно, хорошо! Только вот трудов много, да к тому же и денег, а где я их возьму?

— Зато, батюшка, поблагодарит вас потомство, когда будет отдыхать под тенью деревьев, вами посаженных, и пользоваться их плодами.

— Нужна мне очень его благодарность! Я уж тогда буду в могиле.

— Зато имя ваше не умрет в памяти благодарных сердец.

— Вот чудак! Да ведь на это деньги нужны, да и народ.

— Денег немного нужно: сотня самых лучших трехлетних яблонь стоит пятнадцать рублей.

— Ну, что ж! хватись-ка, ан рублей сто и надо? да еще не отделаешься... да надо садовника, да надо поливать... А кому это? для кого?.. Захотят, так сами и насадят. Поди-ка, нужно очень? Есть сад — чего еще?

— Сад этот, батюшка, уже устарел: вы видите, что деревья стали уже сохнуть, да и мороз их зимой немножко повредил.

— Ну, брат, вот когда ты будешь игуменом, тогда и насадишь, а у меня для этого денег нету!

Так отрезал мне игумен и уже хотел, видимо, прекратить разговор, но я не отставал.

— Неужели, батюшка, — остановил я его, — вам жалко для этого полезного дела ста рублей? Ямки покопать и поливать мы можем братией сами: вы только благословите — и многие с радостью примутся за это дело.

— Тебе говорят, — ответил уже с некоторым нетерпением игумен, — говорят тебе, что денег нету. Ну что ты пристал? Эка, подумаешь, попечитель какой: за двадцать лет вперед думает! Не твое это дело — ступай, внимай себе: без тебя обитель 400 лет стояла и тебя не будет — будет стоять. Надо на это сперва приготовить деньги.

— Да вы, батюшка, вот уже три года готовите, а все говорите денег нет...

Я чувствовал, прости Господи, что в моем сердце закипело негодование и, каюсь, дальше в разговоре своем я не сдержался и вышел из пределов, дозволенных в обращении монаха со своим игуменом.

— «Денег нету!» — продолжал я, — посылая сборщиков говорили, что это на возобновление Покровского иконостаса. Они вам более 1500 рублей уже собрали, а иконостас все тот же... К слову пришлось, так уж простите, я вам скажу горькую истину: вам с казначеем мало в год 500 рублей пропить, а на сад ста рублей нет. Грех вам, батюшка! Благословите: я на свои деньги насажаю и все сделаю, что нужно будет для разведения сада.

— Мало бы ты чего не сделал, да не велят. Когда будет твоя воля, тогда и сажай! А теперь ступай вон, дерзитель, — я хоть лыком шит, да игумен.

На том и кончилась на этот раз наша беседа и, несмотря на мою дерзость, мы разошлись довольно мирно. Спустя некоторое время встретились мы как-то с ним в саду, он вспомнил наш разговор и мне заметил:

— А ты, брат, тово, — меня тот раз обидел — можно ли так говорить начальнику: «вам с казначеем 500 рублей мало в год пропить»?..

— Простите, батюшка, но ведь это правда.

— Мало ли что правда, да всего говорить нельзя, а тем более начальству.

— Вам, — сказал я, — прискорбно слышать о том, что вы делаете; а каково смотреть на то, что вы делаете?! Не делайте, и не будут говорить, а то хоть кого горе возьмет — простите!

Игумен промолчал. Мы и на этот раз с ним расстались благодушно, хотя и не пришлось договориться до дела.

Но, видно, пришло время новому саду быть: однажды мы были вместе с отцом игуменом в доме Луки Алексеевича Федотова и пили чай. Я опять, по предварительному уговору с Лукой Алексеевичем, завел разговор о саде, и вместе с ним мы, что называется, прижали отца игумена к стене, и он наконец дал свое благословение начать посадку, с тем, чтобы мне посадить 200 яблонь, Луке Алексеевичу — 150 и отцу игумену — 150; всего чтобы было 500 корней.

Было это уже осенью поздней, и стояло порядочно холодно. Добрый и благороднейший Лука Алексеевич на другой же день приехал к нам в монастырь, чтобы разбить места; а вместе с тем были привезены и прививки. Но и тут отец игумен, тайно убеждаемый казначеем, распорядился было выгнать из сада уже нанятых рабочих под предлогом, что уже, дескать, и поздно и холодно.

— Что вы делаете, — нашептывал ему казначей— ведь он (то есть я) вам тогда совсем на шею сядет; вы думаете, что посадку сада вам припишут? Не вам, а всё ему. Не будь его, скажут, не было бы и сада.

Но на этот раз казначейские козни не выгорели, и глядя на уже сделанные затраты и на привезенные прививки отцу игумену пришлось, хоть скрепя сердце, дать свое благословение на посадку. И было тут посажено не 500, а 700 штук плодовых деревьев.

Не обошлось и после этого без скорби: некоторые саженые яблони по ночам вырывали с корнем и тут же бросали поломанными, а несколько штук, как потом узнали, стащили в корчму и в город к приятелям и продали, в чем и были уличены купцом Чурилиным. Но как бы то ни было в два-три года было посажено более 1000 дерев, и все они, благодарение Богу, принялись, несмотря на то что и сажали их поздно, и уходу за ними почти не было: когда, например, говорили о. игумену: «Надо бы, батюшка, полить посадки», — он неизменно всегда отвечал:

— Это еще на что? А как же лес-то растет?..

И когда стал возрастать наш сад, и я, бывало, иду на него полюбоваться, я слышал, как отец игумен или кто-нибудь из братии мне вслед полушепотом говорили:

— Вон новый игумен пошел в свой сад... Самозванец!

Но то дивно, что с этого времени братия стала стыдиться при мне бесчинствовать, и случалось, что идешь в трапезу к обеду — там чистый базар с казначеем и игуменом во главе, — а меня увидят и предваряют друг друга:

— Тише — Феодосий идет!

И все придет в порядок; а некоторые иеродиаконы и даже иеромонахи стали, при встрече со мной, неожиданно для меня снимать шапки.

LXV.

В мое время жил в числе братии один иеромонах из вдовых священников, отец Ав... Кончил он курс богословских наук далеко не из первых учеников, но по протекции выпало ему, когда уже он был монахом, стать учителем латинского языка в первых классах Лебедянского Духовного училища, впоследствии переведенного в г. Липецк. Никогда этот иеромонах не соглашался служить соборне, если с ним вместе служил казначей: казначей тоже учился когда-то в семинарии, но дальше риторики не пошел, а при соборном служении ему надо было стоять первым по игумене — так вот это-то и

нетерпимо было для нашего богослова. Бывало, совершает он уже и проскомидию, а как узнает, что будет служить с игуменом казначей, то бросит и проскомидию, снимет с себя облачение и скажет:

— Что-то мне нездоровится.

И уйдет вовсе из храма.

Долго ему в его местничестве не уважали, и потому в торжественные дни он никогда не служил, ни за что не соглашался выйти на соборный молебен, твердя одно:

— Чтобы мне да стать ниже казначея! — этого я себе никогда не дозволю: я выше его — пусть еще он до моего доучится.

Так и держал он свою линию, пока не сошлись они на чем-то с казначеем и тот не уступил ему своего места. И стал наш о. Ав... на первое место по игумене; и надо было видеть поступь его, взоры, весь вид его, которым он каждому как бы внушал: смотри-де, кто я — я выше казначея!..

У этого иеромонаха была привычка во время совершения проскомидии спихнуть с тарелочки Богородичную просфору, а на ее место взять да и поставить свою частную заздравную. Служил я раз с ним, и, когда он это сделал, я молча снял его просфору с тарелочки и поставил на жертвенник, а Богородичную поставил на подобающее ей место на отдельной тарелочке, в честь Пречистой устроенной. Взглянул на меня иеромонах, взял опять свою просфору и вторично поставил на место Богородичной. Скорбно мне это было, но, чтобы не

возмущать его духа, я смолчал и сделал вид, что как будто этого не заметил.

В другой раз то же повторилось, но уже при отце игумене, который стоял в алтаре близ жертвенника. Я опять молча снял его частную просфору, а Богородичную поставил на свое место. Иеромонах мой, смотрю, тотчас взял свою просфору и поставил рядом с Богородичной. В это время я кадил в алтаре. Окадивши алтарь, я подошел к жертвеннику и увидел, что его просфора стоит на самой середине тарелочки, а Богородичная свесилась с тарелочки и одним краем лежит на жертвеннике. Скорбно мне стало за такое неуважение к Имени Той, в Чье Имя вынимается эта просфора, и я опять молча поставил ее на середину тарелочки, а частную просфору иеромонаха поставил на жертвенник. Побледнел мой иеромонах, и так и затрясся от гнева. Грозно взглянул он на меня и сердито кинул мне вопрос:

— Ты учить меня, что ли, хочешь?

Я поклонился и ответил:

— Простите, батюшка, я не дозволю себе учить вас, а просто ставлю Богородичную просфору на уготованное место ей.

— То-то — я вижу! — сказал он и опять поставил свою просфору рядом с Богородичной. После Литургии, когда прочтены были благодарственные молитвы, я принял от него благословение и не вытерпел — сказал ему:

— Простите, батюшка, но вы оскорбляете мои религиозные чувства: для чего это вы так небрежно позволяете себе спихивать с тарелоч-

ки просфору в честь и память Преблагословенной и на ее место ставить свою частную? Если вы это делаете неумышленно, то да не вменит вам Господь сего во грех; если же вы творите это с умыслом, то вот здесь, у престола благодати, говорю вам, что накажет вас Господь.

Сконфузился мой иеромонах, а я продолжал:

— Простите, вы более уже от меня этого никогда не услышите, а будете делать по-старому — я безмолвно буду скорбеть об унижении Той, Ее же молитв Святая Церковь просит, чтобы Господь принял бескровную жертву в пренебесный и мысленный жертвенник. Ныне вот в последний раз я вам это говорю, и от вас теперь будет зависеть утешить меня или продолжать оскорблять мои чувства. Но не забудьте, что Бог поруган не бывает. Простите меня!

И я поклонился ему.

Он так сконфузился и растерялся, что не знал, что мне и ответить, а спустя некоторое время сам пришел ко мне в келью чай пить и старался себя оправдать, говоря:

— Это я ведь для того так делал, чтобы кто-нибудь не взял моей просфоры.

А выходя от меня из кельи и благословляя меня, он добавил:

— Ревнив ты, отец Феодосий, и как огонь и нас воспламеняешь уважением к святыне! Это хорошо. Дай Бог тебе!

— Помолитесь, батюшка, — сказал я ему, кланяясь в ноги, — чтобы буяя моя ревность не вменена была мне в осуждение.

И мы мирно расстались.

LXVI.

Хотя и стали в монастыре относиться ко мне с некоторым как будто уважением, но скорби от братии и от начальства меня не оставляли: прочистишь, бывало, зимой себе дорожку от своей кельи, глядь — за ночь монастырская молодежь возьмет мне да кучками в рядочек и понасажает своих следов, так что, не очистив, и не пройти. Во время служения мне старались подать самое плохое облачение... Были мне подарены одним лицом дорогие атласные поручи — на них испортили кресты, кинули их куда-то в сырое место, испятнали какими-то рыжими пятнами и порвали. На мой вопрос — кто порвал? получил ответ: «Мыши поточили». А отец игумен, зная, что поручи мои испорчены, всякий раз как служил со мною, приказывал не без ехидства пономарю:

— А отцу Феодосию положи поручи ему подаренные...

Еще с поступления моего в монастырь я положил себе за правило, испросив на то моему недостоинству благословение духовного отца, еженедельно исповедоваться и причащаться Святых Таин; когда же меня рукоположили в иеродиаконы, то по совету и благословению великого моего старца, Амвросия Оптинского, я обязательно чреду своего служения отправлял с правилом, то есть с приготовлением. Мое недостойное усердие и послушание Старцу, конечно, стало ненавистно врагу моего и общего человеческого спасения, и он не замедлил и

тут воздвигнуть на меня свою брань, действуя на сослужащих со мною иеромонахов. Доходила эта невидимая брань иногда до того, что мне иеромонахи стали во время Богослужения смущать мой дух такими словами:

— Что ты? Ангел, что ли, или Серафим Саровский? Кого ты из себя корчишь? Великого, что ли, из древних?.. ханжа ты этакий!..

— Я не могу с тобой служить, — говорил другой, бледнея от гнева, — ты дух мой смущаешь...

И эти слова я слышал из уст того, кто во время их произнесения умывал руки и читал молитву: «аз же незлобием моим ходих...»

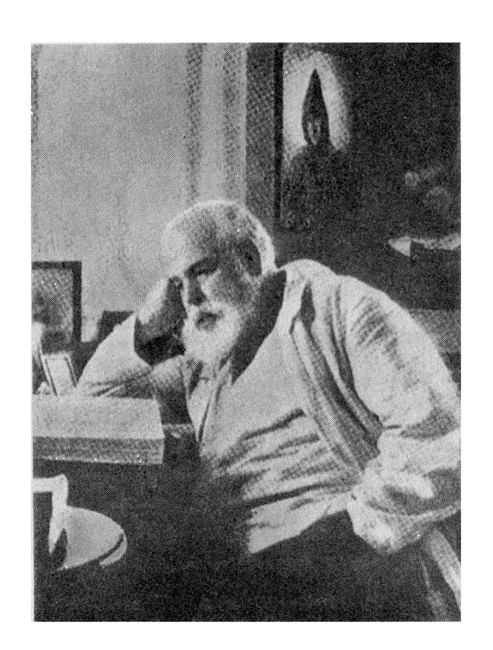
— Простите, батюшка, — говорил я, — вникните в слова произносимой вами молитвы — можно ли с такими словами на устах изливать свой гнев на брата и сослужителя? За что? Только за то, что я служу с правилом?..

— Что ты учителем хочешь мне быть? А? святоша этакий... Вот навязался на шею!..

Со мной старались даже избегать «входной», и когда я говорил: «Что же, батюшка, вы меня не подождали минутки?» — мне в ответ или злобно молчали, или разражались невероятной бранью. Особенно преследовал меня один иеромонах, отец М.., и однажды не захотел даже мне преподать Тела и Крови Христовой, но в это время в алтаре стояли иеромонах Н... и казначей, и из них первый, увидав неправильное действие иеромонаха М..., подошел к престолу и заметил ему, говоря:

— Что это вы делаете?

Сергей Александрович Нилус в рабочем кабинете





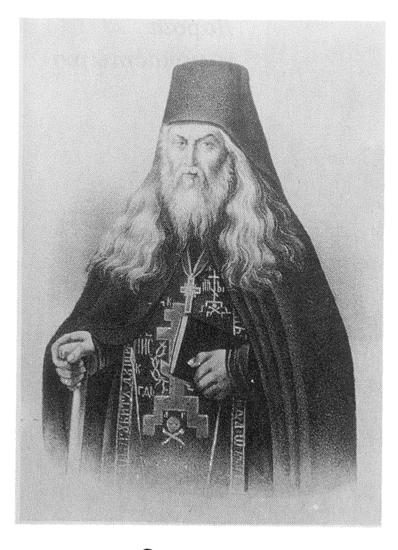
С. А. Нилус в кругу семьи



Оптина Пустынь.
Вид храмов и колокольни с восточной стороны



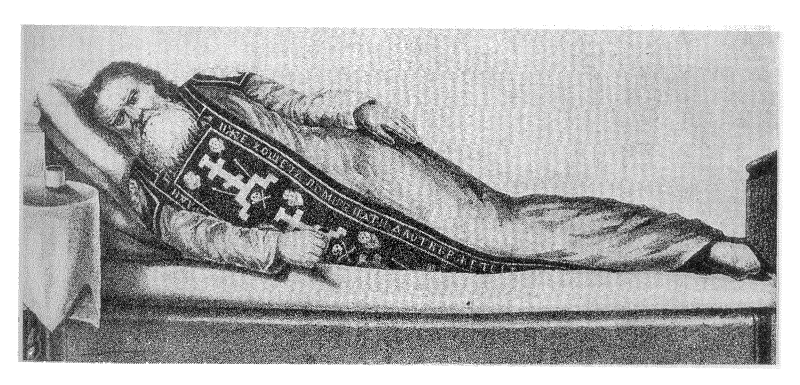
Внутренний вид монастыря



Отец Лев
(Наголкин)



Старец Макарий
(Иванов)



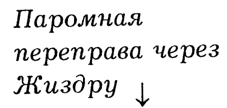
Схиархимандрит Моисей на смертном одре



Дорога к монастырю

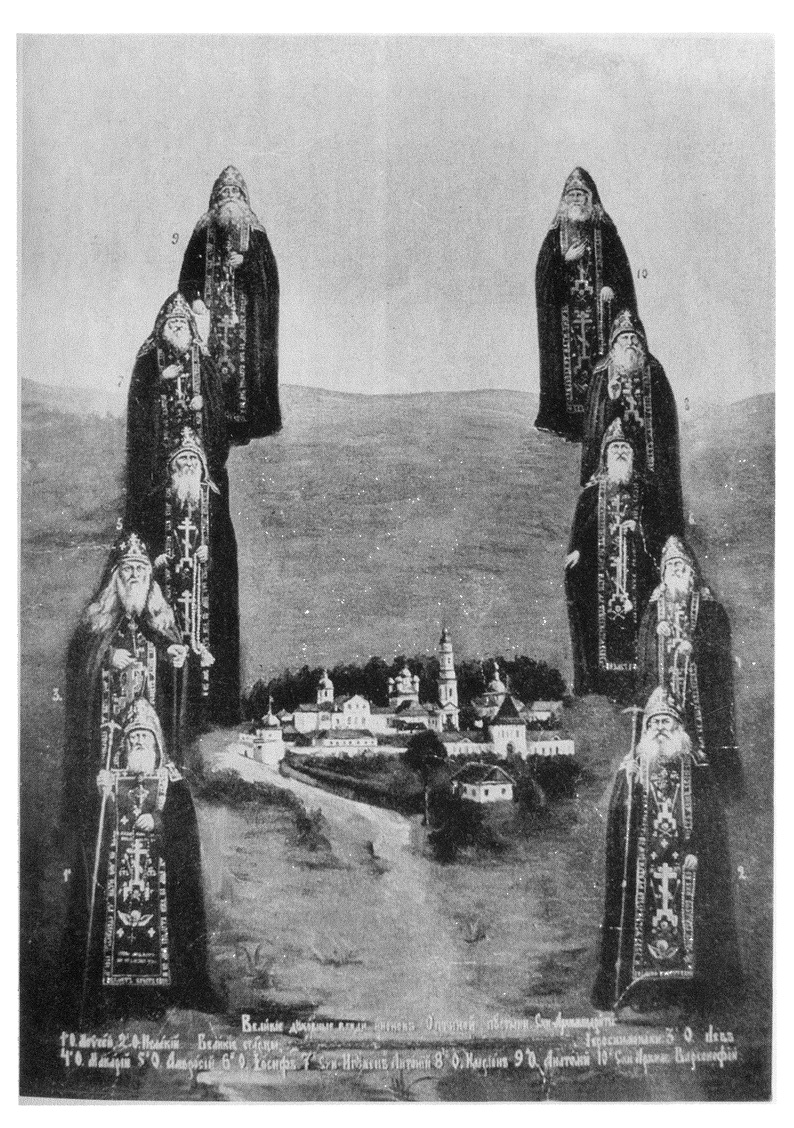


Монастырь со стороны реки Жиздры

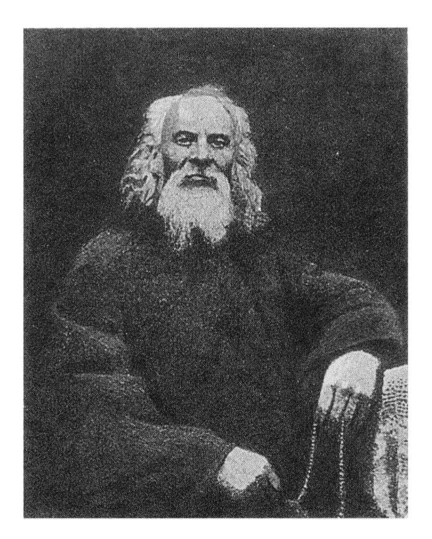


Паромная переправа через Жиздру ↓





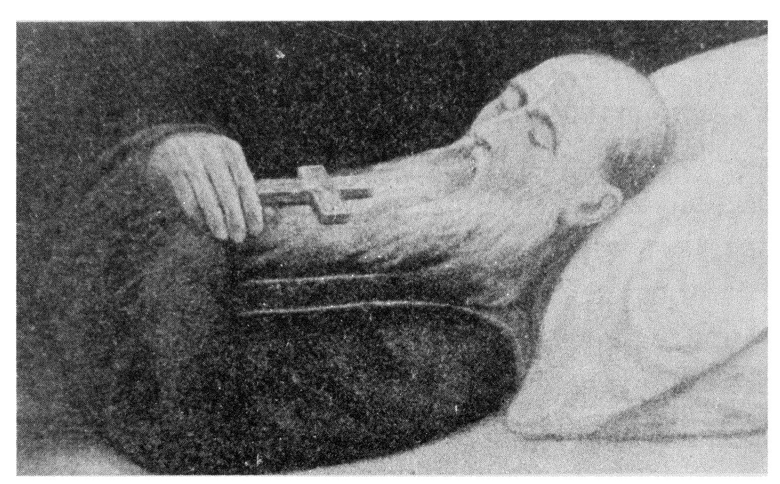
Почившие настоятели и старцы Оптиной Пустыни



Иеромонах Даниил (Болотов)



Старец Амвросий



Старец Амвросий на смертном одре



Старец Амвросий (Гренков)



Старец Анатолий (Зерцалов)



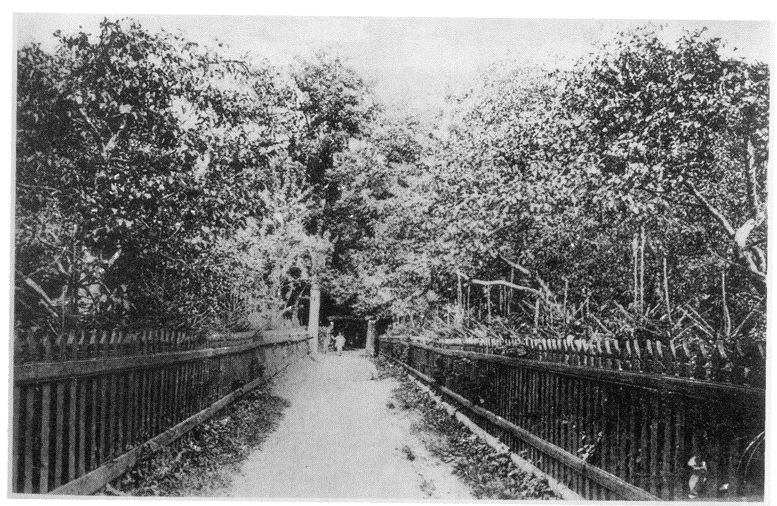
Молебен на могиле старца Амвросия



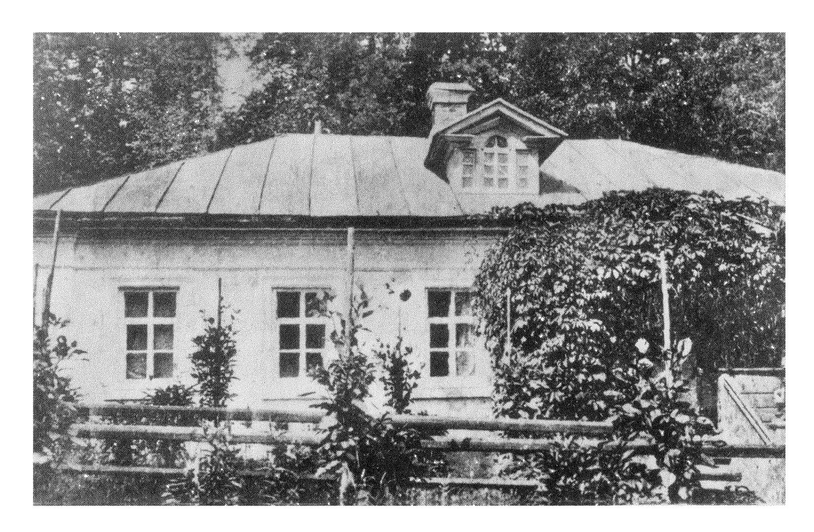
Епископ Михей (Алексеев)
с братией монастыря у входа в Введенский собор



Схиархимандрит Ксенофонт (Клюкин)



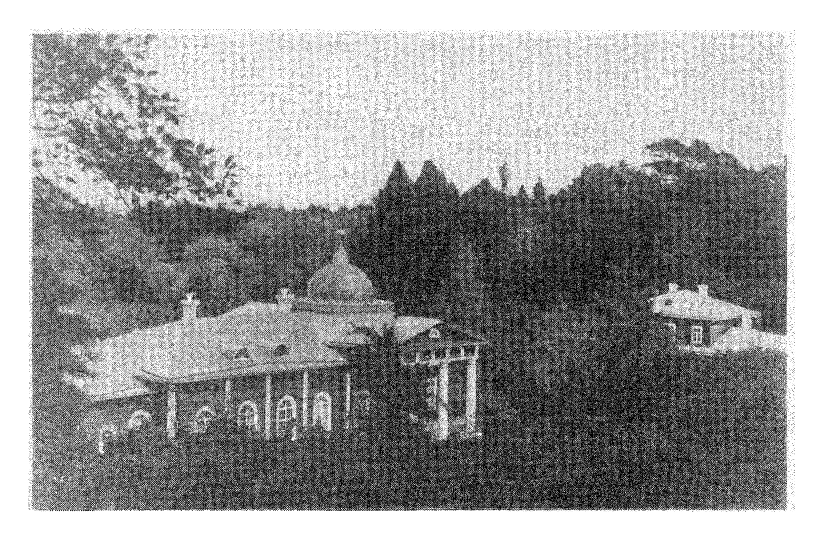
Дорога из монастыря в Скит



Оптинский скит, хибарка скитоначальника



Надвратная башня
Иоанно-Предтеченского скита



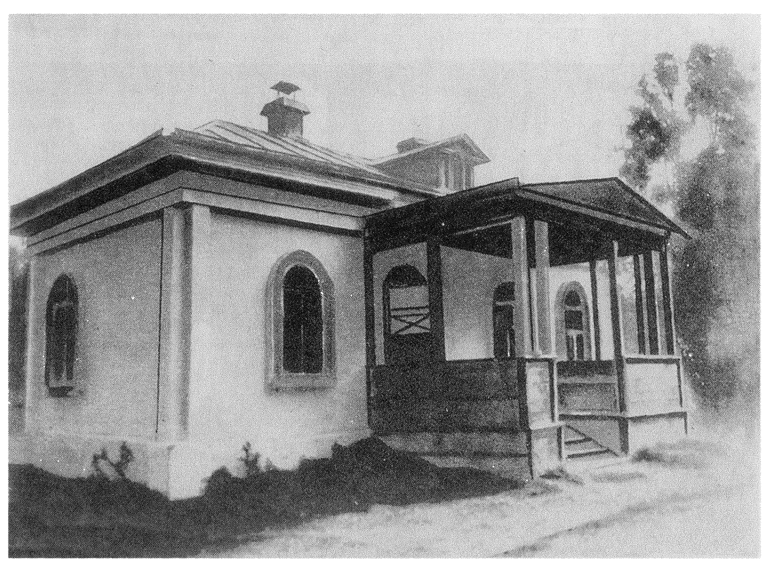
Иоанно-Предтеченский храм в Скиту



Скитская братия
на ступенях храма Льва Катанского



Оптина Пустынь. Храм преп. Марии Египетской. 1989 год



Дом, в котором останавливался Ф. М. Достоевский



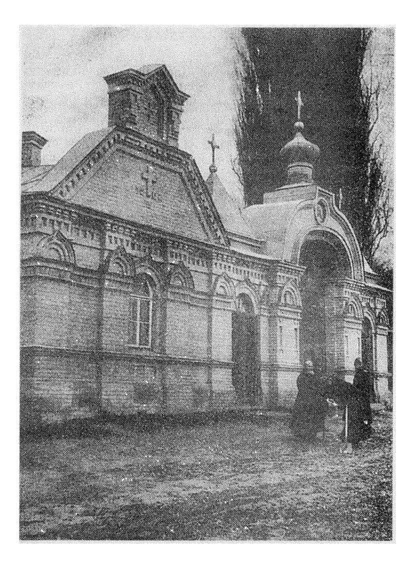
Образ преподобного Серафима, находившийся в рабочем кабинете С. А. Нилуса



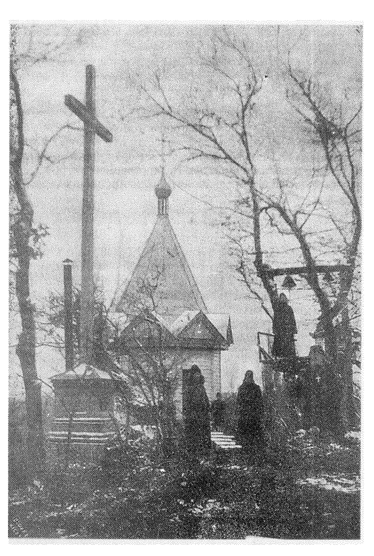
Благословение Свято-Введенской Оптиной Пустыни



Святитель Игнатий (Брянчанинов)



Церковщина. Врата обители



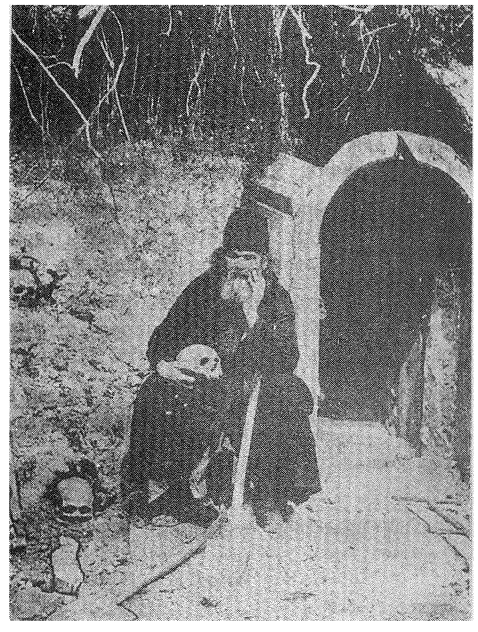
В Церковщине над пещерами



Раскопки в Церковщине



Иеромонах Мануил (Ковш)



Иеромонах Мануил у входа в пещеры

Казначей же в это время молчал. Тогда заступник мой, повысив голос, сделал служащему еще более резкое замечание, на которое пришлось отозваться и казначею, и он, в свою очередь подойдя к престолу, вынужден был сказать:

— Преподайте: ведь иеродиакон-то готовился, кажется...

Только тот поймет меня, кто на себе и в моем положении испытал подобные искушения вражии.

Помянутый иеромонах до того дошел, наконец, что, когда перед началом Богослужения я подходил к нему брать благословение, он с места спрашивал меня:

— Ты опять с правилом?

— С правилом, батюшка!

И тот иеромонах прямо вон выходил из себя от гнева, отталкивал меня и не давал благословения.

Такой образ его действий вынудил меня обратиться к отцу игумену и просить его, чтобы он при всей братии потребовал от него объяснений, так как поведение его не столько обижало меня, сколько нарушало учение и правила Святой Церкви. Игумену на этот раз пришлось исполнить мое законное требование. Хотел было иеромонах уверить братию и игумена, что я — бесстыдный лжец и что я оболгал его, но тут же, при всей братии, был изобличен сам во лжи иеродиаконами Арсением и Гедеоном, которые мою правоту торжественно удостоверили при всем соборе. И было иеромонаху посрамление великое.

Еще великий мой старец, Амвросий Оптинский, дал мне совет выбрать удобное время и предложить отцу игумену, не благословит ли он мне вступить на круглый год в чреду ежедневного служения ранних Литургий с тем, чтобы прочие иеродиаконы чередовались в служении поздней, если только на это последует согласие самих иеродиаконов. Иеродиаконы все согласились с радостью, и я, получив благословение игумена, вступил в отправление чреды годичной.

Прошло всего только три недели со вступления моего в чреду, а уж враг научил казначея позвать к себе одного иеродиакона из белого духовенства и подпоить, а подвыпившего уговорить, чтобы он заявил претензию против моего ежедневного служения. Но недолго продолжалось это искушение: этот иеродиакон сам во время трапезы покаялся мне в своей вине, объяснив, откуда были ему подговоры. Я пошел к казначею и спросил его:

— Что, батюшка, препятствует вашему спасению в моем служении? Зачем вы научили диакона не допускать меня к служению ранних?

Казначей изменился в лице и гордо, громко и грозно спросил меня:

— Какой тебе диавол сказал это?

— Не диавол, батюшка, а диакон сказал это мне в трапезной при братии, объяснив, что вы ему просто приказали не давать мне служить. Сколько я терпел и терплю от вас, но не могу терпеть, что вы меня безвинно лишаете,

да еще против игуменской воли, радости служения Господу. Бог вам — Судья!

Казначей на эти слова бросился ко мне с криком и поднятой рукой, вероятно, чтобы дать пощечину, но, к счастью, на крик его вошел отец игумен и ударить ему меня не пришлось. Тогда он накинулся с криком на отца игумена:

— Что вы на него, мошенника, с...а с...а, смотрите? — кричал он как безумный, — теперь он меня обвиняет, а завтра доберется и до вас!

И с этими словами он бешено выскочил вон из кельи, а отец игумен повел меня в свои покои и сказал:

— Оставь их: ты видишь, они, как звери, на тебя нападают. Не знают они ничего, а я-то верю, что ты из ревности по Бозе желаешь служить. Ну что делать — потерпи! Вот поеду в Тамбов с годовыми отчетами, возьму тебя с собой и произведу тебя во иеромонахи. Ты только молчи, никому об этом не сказывай.

Я поклонился ему в ноги, а он опять, меня благословляя, сказал:

— Бог да благословит тебя, а я желаю, чтобы ты был иеромонахом.

Тут вошел казначей. Я и ему поклонился в ноги, прося прощения за то, что смутил дух его своим обличением.

— Бог тебя простит, — сказал он, — а я прощаю. Смотри ж, не поминай сего более никому.

И был на сей раз посрамлен враг — диавол. О, если бы люди жили более духовной жизнью

и ведали бы все козни его! Как бы тогда жилось им на свете!..

LXVII.

Но недолго продолжался мир души моей: опять заработала в міре незримом вражья сила... Поступив в монастырь, я не мог оставить Оптинского старчества, видя в нем и вообще в старчестве единый путь, с помощью благодати Божией, к монашескому спасению, и потому каждый год, два раза к 7 декабря и к 8 мая, ездил на совет к старцу моему, великому иеросхимонаху Оптиной Пустыни, отцу Амвросию. Конечно, близкое моему духу старчество не было пощажено лукавым духом, воздвигавшим на него хулы и насмешки, больно отзывавшиеся в моем сердце.

— И что это такое за старчество? — говорил мне отец игумен, — и кому оно в наше время нужно? Еще в прежние времена — куда ни шло, а теперь на что оно, когда ныне всякий знает, как жить? Ну и живи как знаешь: на то и ум Бог дал каждому, чтобы им руководиться. Хорошо было быть старчеству в древние времена в Палестине для простонародья, не знавшего грамоты: ему нужны были руководители. А нынче всякий ребенок не менее другого старца знает. Ходи в церковь да молись Богу — и всё тут.

А наши ученые монахи из «белых» богословов прибавляли:

— Ныне свет учения всех озарил: держись учения Евангелия и заповедей — вот тебе и

старчество. Все это вымыслы людей невежественных, прежних времен, а ныне я сам напишу поумнее других старцев.

Тяжело и больно было мне слышать такие речи, а еще ужаснее было видеть и жить среди плодов таких самочинных суждений: много к нам приходило в обитель из міра юных сердец с горячим расположением и ревностью к подражанию житию святых Отец и пламенной любовью к Богу, и — что же? В скором времени без духовного руководства, без старческого окормления их духовно неудовлетворенной, жаждущей души, они охладевали в своей ревности и не только делались неспособными к жизни иноческой, но становились в прямое отягощение не только міру, в который они устремлялись обратно из обители, но и самим себе. Да и те, которые удерживались в обители, мы уже видели, во что они обращались без старчества. И это была та самая соль земли, о которой говорил Спаситель, но соль, терявшая в своем самочинии силу и становившаяся годной только... на попрание міру...

Скорбно мне все это было, и я сражался, как мог и чем мог, с хулителями старчества, но мне в ответ сыпались насмешки, злоречие, оскорбления... Называли меня ханжой, святошей, лицемером, ненавидели меня и ненависть свою ко мне переносили и на тех из братий, кто был ко мне близок, и даже мстили им.

Но не были они виноваты, а виноват был в гонениях, на меня воздвигаемых, все тот же исконный человекоубийца, действовавший в них

прикровенно, так, что они по привычке уже и не замечали его козней. А старчество так нестерпимо опасно лукавому духу, что, по авве Дорофею, он ненавидит не только самое наставление старческое, но даже самый звук голоса его произносящего, ибо знает, что «спасение есть во мнозе совете, а имже несть управления, падают аки листвие».

Что же за орудие такое для спасения души человеческой это старчество? — спросит меня, быть может, тот, кому достанется, если Богу угодно, разбирать мою рукопись. Не моими малограмотными речами ответить мне на возможный вопрос этот, а отвечу я словами и писа́нием мужей ученых и богомудрых: отшельника Скита Оптиной Пустыни, отца Климента Зедергольма, известного ревнителя Православия и писателя К. Н. Леонтьева, самих богомудрых старцев Оптинских и, наконец, светильника Русской Церкви, епископа Феофана, затворника Вышенского.

Вот что пишут они о старчестве.

Что такое старчество?

Переход о. Леонида в Оптину Пустынь замечателен тем, что им введено и упрочено в этой обители так называемое **старчество.** Этот основанный на евангельском, апостольском и святоотеческом учении образ монашеского жития в наше время пришел в такое забвение, что о нем считаем не лишним сказать несколько слов.

Старчество состоит в искреннем духовном отношении духовных детей к своему духовному отцу, или Старцу.

Преподобные Климент и Игнатий в Добротолюбии выставили пять признаков такого искреннего духовного отношения: 1) полная вера к своему наставнику и предстоятелю; 2) истинно-истинствовать перед ним в слове и деле; 3) не исполнять ни в чем своей воли, а стараться во всем отсекать оную, то есть ничего не делать по своему желанию и по своему разумению, а всегда обо всем вопрошать и делать по совету и воле наставника и предстоятеля; 4) отнюдь не прекословить и не спорить, так как прекословие и спорливость бывают от рассуждения с неверием и высокомудрием; 5) совершенное и чистое исповедание грехов и тайн сердечных (2-я ч. Добротолюбия, гл. 15).

«Прельстишася, — говорит св. Иоанн Лествичник, — возложившии упование на самих себе и возмнившии не обретати нужды в руководителе» (Слово 1, глава 7). «Якоже корабль, имеющий искуснаго кормчаго, благополучно, Божиим содействием, входит в пристанище: тако и душа, имущая добраго пастыря, удобно на небо восходит, хотя бы прежде и много зла соделала. Как идущий по неизвестному пути без путеводителя удобно на оном заблуждает, хотя бы был и весьма разумен: тако и путь монашества самовластно проходящий удобно погибает, хотя бы и всего міра сего премудрость знал» (Слово 26, глава 236 и 237).

«Кто идет (иноческим путем) самочинно, без евангельского разума и без всякого наставления, — говорит Марк-подвижник, — тот много претыкается, впадает во многие ямы и сети

лукавого, и во многие впадает беды, и не знает, какой конец получит... Ибо многие прошли путь свой со многими трудами, подвижничеством и злостраданиями, и многие труды претерпели Бога ради; но самочиние, нерассуждение и то, что они не искали от ближнего наставлений, соделало таковые труды их тщетными» (Послание к Николаю иноку).

«Не мощно собою самем кому добродетелей художеству навыкнути, — говорит св. Григорий Синаит, — аще и нецыи, якоже учители, искус свой употребиша. Еже бо от себе самого, а не по совету предуспевших творим, мнение имать, паче же рождати обыче*. Аще бо Сын Божий ничесоже от Себе творит, но якоже научи Его Отец, сице творит: и Дух не бо глаголати имати от Себе, кто есть сей, к толикой добродетели высоте достигший, яко не требуяй иного кого тайноводящаго его? Гордыню паче, неже добродетель непщует имети: прельстился есть» (1-я ч. Добротолюбия, гл. 15, о безмолвии).

«Не всех же должно вопрошати, но единаго, ему же вверено и других окормление, и житием блистающа, убога убо суща, многа же богатяща, по писанию (2 Кор. 6, 10). Мнози бо неискусни мнозех несмысленных повредиша, их же суд имут по смерти. Не всех бо есть наставити и инех, но имже дадеся Божественное разсуждение, по Апостолу, *разсуждение духов* (1 Кор. 12, 10), отличающее горшее от лучшаго

* Что делаем доброго по своему смышлению, без совета с опытными людьми, то обычно порождает в нас самомнение. — *Ред.*

мечем слова. Кийждо бо свой разум и разсуждение естественно, или деятельно, или художественно имать, а не вси *духовное*. Сего ради глаголa премудрый Сирах: *Мирствующии с тобою да будут мнози, советницы же твои един от тысящ* (Сир. 6, 6). Не мал же подвиг есть наставника обрести непрелестна и делы, и словесы, и разуменьми. В сих видим есть кто непрелестен сый, егда свидетельствовано от Божественных писаний имать и деяние, и мудрование, смиренномудрствуя, в них же подобает мудрствовати» (1-я ч. Добротолюбия, гл. 7, о прелести).

Духовное отношение требует от руководимых, кроме обычной исповеди перед Причащением Святых Таин, и частого по потребности исповедания Старцу и духовному отцу не только дел и поступков, но и всех страстных помышлений и движений и тайн сердечных как о сем говорят: Василий Великий (в правилах, пространно изложенных в вопр. 26), Симеон Новый Богослов (в 1-й ч. Добротолюбия, гл. 122) и другие святые Отцы.

«Невозможно, — говорит св. Кассиан Римлянин, — впасть в бесовскую прелесть тому, кто живет не по своему хотению и разумению, а по наставлению старцев. Не может лукавый враг посмеяться над неопытностью того, кто не привык по причине ложного стыда скрывать все возникающие в сердце его помышления» (собеседование 2-е о рассуждении, глава 10)*.

---

* Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида, в схиме Льва, гл. II (изд. Козельской Оптиной Пустыни).

«Заповеди Христовы, — говорит авва Дорофей, объясняя значение монашества, — даны всем христианам, и всякий христианин обязан исполнять их: они, так сказать, должная дань царю. И кто отрекающийся давать дани царю избег бы наказания? Но есть в міре великие и знатные люди, которые не только дают дани царю, но приносят ему и дары; таковые сподобляются великой чести, великих наград и достоинств. Так и отцы: они не только сохранили заповеди, но и принесли Богу дары. Дары же сии суть: девство и нестяжание. Это не заповеди, но дары; ибо нигде не сказано в писании: не бери жены, не имей детей. Так же и Христос, говоря: «продаждь имения твоя» (Мф. 19, 21), не дал этим заповеди; но, когда приступил к нему законник и сказал: «учителю благий, что сотворю, да живот вечный наследую», Христос отвечал: «ты знаешь заповеди: не убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй на ближняго своего» и проч. Когда же тот сказал: «сия вся сохранил от юности моея», Господь присовокупил: «аще хощеши совершен быти, продаждь имения твоя и даждь нищим» и проч. (Мф. 19, 16–21.) Он не сказал: «продай имение твое», как бы повелевая, но советуя, ибо слова «аще хощеши» не суть слова повелевающего, но советующего» (Поучение первое аввы Дорофея об отвержении от міра).

Христианство далеко от нынешнего учения земных удобств и земного благоденствия. В основании своем оно есть безустанное понуждение о Христе; и все наши добрые каче-

ства, облегчающие нам от времени до времени эту борьбу плоти и духа, суть не что иное, как дары Божии. Заслуги только в вере, в покаянии и смирении, если не можем понудить себя; все невольно хорошее в нас, все естественно доброе есть дар благодати для облегчения борьбы. Когда, вопреки сухости сердца и равнодушию ума, идет христианин в церковь или дома становится на принудительную молитву, это выше, с точки зрения личной заслуги, чем молитва легкая, радостная, умиленная, горячая... Такая приятная молитва есть дар, награда, милость. Это не наше, это Божие. **Наши только вера и смирение**, то есть презрение к себе и благодарение Богу за всё, даже и за нестерпимые муки в здешней жизни.

Один добрый принудительный поступок человека жестокого или холодного (по данной ему, без вины его, натуре) ценнее в глазах Церкви, чем многие милости и многие щедроты по природе добродушного и щедрого человека. Симпатичнее нам, людям, будет, конечно, этот последний; мы можем только признать, что ему по благодати отпущен такой высокий дар благодати; но один хлеб, брошенный нищему скупцом Петром — мытарем, ценится по учению Церкви более, чем самая привлекательная (в житейском смысле) щедрость расточительного по нраву человека. Возьмем другой пример. Мария Египетская была страстная по природе женщина; она не искала даже мзды за те грешные удовольствия, которые доставляла людям ее красота. Она не

по природному темпераменту стала чиста и строга, а по страху Божию. Если бы она была женщина с природной благодатью чистоты или некоторой холодности, то ей бы не нужно было скрываться в пустыне. Тогда ей нужна была бы борьба не против чувственности, а против чего-нибудь другого, например против внутренней гордости, жестокости, лжесмирения, лукавства, как бывает часто с людьми хладнокровными или более чистыми и по природе строгими в нравах.

«Нудящие себя только восхищают царство небесное...»

Вот почему монашество стало развиваться и распространяться на Востоке и Западе именно с тех пор, как прекратилось внешнее гонение. Мученичество, внешние гонения были сначала средством получить «небесные венцы». Только после мирского торжества христианства явилась потребность иного мученичества — добровольного, свободного отречения от соблазнов, от роскоши, даже от самых невинных, допущенных законом радостей семейной жизни. Если кто думает, что это легко, пусть попробует. Он увидит, что и в наше время быть добросовестным монахом есть великий труд (я говорю — добросовестным); и если есть у этих **добровольных мучеников** утешения и отрады, то они или детски просты (например: отдохнуть лишний час, съесть что-нибудь получше, чего давно уже не ел и не видал даже), или самого высокого, самого идеального, мистически-сердечного, так сказать, характера.

Хорошее монашество есть высокий цвет христианства; те, кто думают, что Церковь может жить без монашества (хотя бы и весьма несовершенного и слабого), ошибаются. Указывать на то, что первые века Церковь жила без монахов, — значит впадать в заблуждение людей, не знающих дела. В первые века Церковь жила и без правильной церковной службы, без определенной литургии, без окончательно утвержденного учения о таинствах, без ясно разработанного догмата. Если так, если все дело и весь пример в первых двух-трех веках, то отчего же бы не оставить и ясный догматизм, и литургию, и все церковные обряды, предоставив каждому выводить, что ему угодно из Евангелия и Апостольских посланий? Однако многие из нерадящих о монашестве и презирающих его испугались бы подобной дерзости.

Монашество, сказал я, есть цвет христианства; слишком молодое деревце еще не цветет и плодов не приносит; и слишком старое, близкое к гибели дерево также перестает цвести. Монашество было не нужно в первые века гонений, простоты и сравнительной малочисленности христиан; оно стало потом естественным результатом развития, и гибель монашества была бы верным предвестником гибели самого православного церковного учения, то есть в том народе, который оставил бы иночество.

В Оптиной Пустыни с 20–30-х годов прошлого столетия начало процветать **старчество**. Что такое «старчество», люди, не посещающие монастырей и незнакомые ни с историей

Церкви, ни с духом истинного православия, вовсе не знают.

Рискуя привести в ужас некоторых из моих просвещенных читателей, я прямо скажу, что старец у нас есть именно то, что у католиков называется: directeur de conscience. Не нравиться подобное приравнение может с двух совершенно противоположных точек зрения. Слышать, что православный старец есть то же самое, что directeur de coscience, может быть неприятно и очень православному человеку, и человеку равнодушному в делах веры; первому потому, что он смотрит на папство как на заблуждение, а второму потому, что «иезуиты-де очень лукавы и слишком много стараются приобретать влияния». И, наконец, разве у всякого нет свидетельства своей собственной совести?

Но этого рода рассуждения происходят лишь от того, повторяю, что у нас слишком мало знакомы с историей христианства, с его основами, оттого, что настоящий его смысл «не от міра сего» забыт, и образованный человек считает себя вправе брать из христианства то, что ему вздумается, и отвергать то, что ему кажется отсталым и бесполезным.

По мнению некоторых, главное содержание идеи христианства на католический лад заключено в презрении к плоти, в преувеличенном спиритуализме, в признании за зло всей природы, всех естественных влечений и радостей, в аскетическом отречении от міра.

Но не аскетическим взглядом на жизнь, на страх Божий, на смирение, на глубокую при-

рожденную греховность нашей природы, не отрицанием всемогущества человеческого, не отрицанием возможности какого бы то ни было счастья на этой земле, не советами безусловно, по мере сил, покоряться учению Церкви и советам ее представителей в нашей личной жизни — отличается католичество от восточного Православия — напротив, это все именно то, что у него есть общего с православным учением, — оно отличается позднейшим исключением тех основных догматов, которые были признаны первоначальною Церковью, и введением новых, подобно догмату единоличной непогрешимости папы (вместо непогрешимости Вселенских Соборов), о незапятнанном первородным Адамовым грехом зачатии Божией Матери или об исхождении Святаго Духа и от Сына и другими. Вообще, надо заметить, что папство мало существенного убавило и отвергло из учения единой и всеобщей первоначальной Церкви, но, напротив того, прибавило много лишнего. Поэтому в нем и не могло не остаться многого из первоначального апостольского и святоотеческого учения. Отец Климент Зедергольм говорил мне: «В католичестве истина до того глубоко спутана с самыми опасными для души заблуждениями, что надо обращаться с ними очень осторожно: и хвалить трудно западную Церковь, и опрометчиво, невпопад, порицать ее опасно перед публикой. Воображая по неведению, что порицаешь только одно папство, можно очень легко и некоторым сторонам наших верований повредить!»

Сверх этого надо заметить еще вот что: хотя вся историческая судьба России тесным образом связана с Православием, однако надо, в некоторых случаях, как можно внимательнее отличать наши национальные свойства от свойств, принадлежащих самой Православной Церкви. Учение Церкви одно, но приложение этого учения к жизни, история практических отношений Церкви к народу может быть разная в разные времена и у различных наций, исповедующих ту же веру. Различать это чрезвычайно важно уже для одного того, чтобы национальные недостатки или исторические несчастия наши не переносить ошибочно на характер самой Церкви. Хомяков в своих письмах к Пальмеру говорит: «Сомневаться в истине Православия нельзя только потому, что проповедь его идет не так успешно, как проповедь католицизма. Это может зависеть от национальных недостатков тех народов, которые в настоящее время служат главными представителями восточного Православия. Русские и греки виноваты в том, а не учение Церкви». Хомяков говорит это относительно внешней проповеди; то же самое можно сказать и относительно внутреннего руководства совестей. Не учение Церкви противно духу старчества (то есть духовному руководству совести), а наши исторические условия, наши национальные недостатки тому виною, что старчество (несомненно сильно развитое у нас в удельный и московский периоды наши) заглохло в последние века не только по отношению к верующим мирянам, но

и в стенах монастырей. Подчиняясь в общих чертах уставам Церкви, высшее и более образованное сословие наше уже давно привыкло полагаться только на собственный ум и собственную совесть, даже и в важных вопросах, и к духовнику обращалось лишь как к совершителю треб, который нравственных наставлений не мог преподать. И к несчастью в большинстве случаев, наше образованное сословие было право. В монастыри не всякий имел время, средства и охоту далеко ездить; а белое наше, и сельское и городское, духовенство было издавна, за немногими исключениями, поставлено в такое жалкое положение, что, кроме боязни, простительной корысти и человекоугодия, оно не могло ничего обнаруживать перед людьми образованных классов. Какое же тут могло быть старчество?

Определяя точнее смысл старчества, надо сказать так: разум наш недостаточен; есть минуты в жизни, когда он нам неотступно твердит: «Я знаю только то, что ничего не знаю!» Нужна положительная вера; у меня эта вера есть. Я знаю, положим, в общих чертах учение Церкви. Читал **Жития**. Там я беспрестанно вижу примеры, как цари, полководцы, ученые и вообще миряне прибегали за советами к людям высокой духовной жизни, к людям, освободившимся по возможности, по мере сил человеческих, от страстей и пристрастий. Отпущения грехов на исповеди мне недостаточно: меня это не успокаивает — я не доверяю вполне и постоянно по долгу христианского

смирения свидетельству одной **моей** совести, ибо это свидетельство прежде всего основано на гордости личного разума. Поэтому в трудных случаях моей жизни, где я беспрестанно поставлен между грехом и скорбью, я хочу обращаться с верой к человеку беспристрастному и по возможности удаленному от наших мирских волнений, хотя и понимающему их прекрасно. Я верю не в то, чтобы духовник или старец этот был безгрешен (безгрешен только Бог; и святые падали), ни даже — что он умом своим непогрешим (это тоже невозможно). Нет! я с теплой верой в Бога и в Церковь и, конечно, с личным доверием к этому человеку за его хорошую жизнь прихожу к нему, и что бы он мне ни ответил на откровение моих тайн, даже помыслов, я приму покорно и постараюсь исполнить. А при этом я, верующий мирянин, могу быть лично и очень умен, и чрезвычайно развит, и в житейских делах гораздо даже опытнее старца. Но стоит только мне вспомнить историю человечества или взглянуть беспристрастно на окружающую жизнь, чтобы понять, до чего даже гений бывает иногда неразумен и до чего самый хороший человек иногда срывается и в отдельных случаях поступает хуже худого. И Священное Писание, и история Церкви к тому же совпадают вполне в этом отношении с практическою жизнью. Иуда был апостол; а разбойник разбойничал. И так различно они кончили свою жизнь! Арий был человек лично прекрасной жизни, но он сделал Церкви и человечеству более вреда

своею умственною гордостью, чем многие убийцы и развратные люди.

Вот смысл отношений ученика и духовного сына к старцу.

Думать, что подобное отношение к духовнику есть исключительно католическая черта, и Православию совершенно чуждая, значило бы то же считать — что бы такое?.. ну, например, что плохая обработка русских полей есть отличительная черта славянских воззрений на агрономию, а не случайный и временный результат исторических и географических условий нашей национальной жизни.

Как же может учение Православной Церкви не требовать, чтобы духовенство было как можно влиятельнее на нашу личную жизнь, когда оно так высоко ставит и сан священства, и монашеский образ?

Наша распущенность, общая и мирянам и духовенству; наше равнодушие, наш «поздний ум, богатый с колыбели ошибками отцов», — вот в чем причина сравнительной слабости у нас духовного руководства, а не в какой-либо существенной черте церковного учения.

Монах, в сущности, все тот же православный христианин, как и не монах, только поставленный в особые, благоприятные для строгой жизни условия; и мирянин верующий, в сущности, все тот же аскет, только с большей свободой. Если взять и в наше время целый ряд убежденных христиан, начиная от строжайшего афонского пустынножителя до какого-либо человека богатого или высокопоставленного в

обществе, то, как бы ни велика была разница во внешнем образе жизни всех этих людей, поставленных между двумя крайностями — между сырой пещерой Афонского схимника и барскими палатами русского государственного деятеля, все же идеал сердечный у них один, философия жизни одна, нравственный критерий один, догматы одни, усилия направлены к одной и той же цели — к поддержанию в себе во время земной жизни близости ко Христу и к Его учению. Быть может, иногда мирянину, занятому гражданскими и другими личными обязанностями, окруженному соблазнами роскоши и живущему во многолюдном городе, труднее принудить себя каждый день заходить поутру в часовню, чем монаху выстоять большую службу; уже по тому одному труднее, что мирянина ничто к тому не понуждает, кроме собственной веры; а монаха, живущего в общине, понуждает быть в церкви так называемая «среда», тогда как его одолевают лень и рассеянность. Не для Бога, так для братии он пойдет в церковь.

Итак, говорю я, разница между самоограничивающимся и понуждающим себя о Христе мирянином и монахом только количественная, а не качественная, не существенная. У хорошего монаха те же краски гуще, черты выразительнее, та же сущность, но более освобожденная от всех мирских украшений и тягостей. Иначе, какое же бы могло иметь значение монашество, если бы оно не исходило, как высший плод, из того же христианского обще-

ства и если бы, с другой стороны, посредством своих молитв, своего примера и своего руководящего влияния, оно на этот внешний христианский мiр не влияло?

В этом смысле, говоря о пользе и даже необходимости старчества для монахов, надо подразумевать и то, что оно и для мирян может быть чрезвычайно полезно.

Я даже спрашиваю себя, не полезнее ли оно иногда для мирян, чем для самих монахов? Монах, если он мало-мальски добросовестен, сдерживается начальством, общиной; он беспрестанно в церкви слышит поучения, имеет всю возможность читать часто Священное Писание и святых Отцов, а мирянину **нашего времени** когда самому внимательно подумать о Боге и своей душе?*

Так пишет о старчестве известный всему русскому литературно образованному миру бывший русский консул в Салониках и писатель-публицист, Константин Николаевич Леонтьев, на личном опыте изведавший всю силу и значение старчества в лице старца Амвросия Оптинского**.

«Великая важность и великое значение духовного отношения к старцам доказывается особенно двумя следующими примерами.

Преподобный Феодор Студит пишет: «Один старец не раз приказывал ученику своему ис-

* К. Леонтьев. Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни.

** К. Н. Леонтьев умер месяц спустя по кончине о. Амвросия, постриженный в мантию с именем Климента.

полнить некоторое дело, но тот все отлагал. Недовольный сим старец в негодовании наложил на ученика запрещение — не вкушать хлеба, пока не исполнит порученного дела. Когда ученик пошел, чтобы исполнить повеленное, старец умер. После его смерти ученик желал получить разрешение от наложенного на него запрещения. Но не нашлось никого в пустынной местности, кто бы разрешил это недоумение. Наконец ученик обратился со своей просьбой к Константинопольскому патриарху Герману, который для рассмотрения этого дела собрал других архиереев. Но ни патриарх, ни собравшийся собор не нашли возможным разрешить епитимию старца, о котором даже неизвестно, имел ли он степень священства. Посему ученик до смерти принужден был питаться пищею из одних овощей»*.

В Прологе 15 октября повествуется: в Ските жил монах, который в продолжение многих лет был послушлив своему отцу; наконец по зависти бесовской отпал от послушания и без всякой благословенной причины ушел от старца, презрев и запрещение, ибо он имел от старца запрещение за непослушание. Пришедши в Александрию, он был схвачен и принуждаем тамошним князем отречься от Христа, но остался непоколебим в твердом исповедании веры и за это был мучен и предан смерти. Христиане того града взяли тело нового мученика, положили в раку и поставили оную во святом храме. Но в каждую литургию, когда

* Пр. Феодора Студийского огласительные поучения в русском переводе. М., 1872. С. 133.

диакон возглашал «елицы оглашеннии изыдите», рака с телом мученика, к удивлению всех, невидимою силою выносилась на паперть, а по окончании литургии сама собою поставлялась опять в храм. Один александрийский вельможа молился о разрешении этого недоумения; и ему было открыто в видении, что замученный монах был ученик такого-то старца и за непослушание был связан от него. Как мученик, он получил венец мученический, а как связанный запрещением старца, не может оставаться при совершении Божественной службы, пока связавший не разрешит его. Тогда же отыскан был старец, который пришел в Александрию и разрешил связанного от запрещения. С того времени рака уже никогда не трогалась с своего места.

«Многие в настоящее время, особенно из отвергающих путь духовного отношения, в оправдание свое ссылаются на недостаток и оскудение духовных наставников. Но св. Василий Великий говорит, что если кто усердно поищет доброго учителя, то и непременно найдет (слово подвижнич.). И св. Симеон Новый Богослов учит: «Молитвами и слезами умоли Бога показать тебе человека, который бы мог хорошо упасти тебя». И далее говорит: «Лучше называться учеником ученика, а не жить самочинно и обирать бесполезные плоды своей воли» (Добротолюбие, гл. 33).

Впрочем, если бы кто и по тщательном и усердном искании не мог обрести духовного наставника и руководителя, в таковой нужде

старец Паисий Величковский в письме к иерею Димитрию предлагает следующий совет:

«В нынешняя лютыя времена, еже многому плачу и рыданию достойно, до зела таковым наставником оскудевшим, аще кии ревнителие от инок восхотели бы таковым житием Богу угождати, Сам Бог и Божественное чтение преподобных отец онех, общежительных наставников, Божиим промыслом даже и доселе соблюденное, есть учитель и наставник: на неже, аки на онех самех, взирающе внимательне, со страхом Божиим и разумом чтущии могут отчасти, Божиим поспешеством, и житию их Богоугодному подражатели быти, окормляеми и вразумляеми суще отцем своим, о имени Христовом их собравшим, или от них единомысленне избранным, иже не от себе, но от писания святаго и от тогожде святых отец учения чад своих духовных научающем» (Житие и писания Паисия Величковского. Москва, 1847. С. 248).

Путь старческого окормления во все века христианства признан всеми великими пустынножителями, Отцами и учителями Церкви самым надежным и удобнейшим из всех, какие были известны в Христовой Церкви. Старчество процветало в древних Египетских и Палестинских киновиях, впоследствии насаждено на Афоне, а с Востока перенесено в Россию. Но в последние века, при всеобщем упадке веры и подвижничества, оно понемногу стало приходить в забвение, так что многие даже начали отвергать его. Уже во времена Нила Сорского старческий путь многим был ненавистен, а в

конце восемнадцатого столетия и почти совсем стал неизвестен. К восстановлению в России этого, основанного на учении св. Отцов, образа монашеского жития много содействовал знаменитый и великий старец, архимандрит молдавских монастырей, Паисий Величковский. Он с великим трудом собрал на Афоне и перевел с греческого языка на славянский творения аскетических писателей, в которых содержится учение о монашеском житии вообще, и в особенности о духовном отношении к старцам. Вместе с тем в Нямецком и других подчиненных ему молдавских монастырях он показал и применение этого учения к делу. Одним из учеников архимандрита Паисия, схимонахом Феодором, жившим в Молдавии около 20 лет, этот порядок иноческой жизни передан иеросхимонаху о. Леониду, а им и учеником его, старцем иеросхимонахом Макарием, насажден в Оптиной Пустыни.

Тогдашний Оптинский настоятель о. Моисей и брат его, Скитоначальник о. Антоний, положившие основание своего иночества в брянских лесах, в духе древних пустынножителей, давно желали ввести старчество в Оптиной Пустыни, но сами не могли выполнить этого дела, потому что были озабочены многотрудными и многосложными занятиями по устройству и управлению обители и потому что вообще соединение в одном лице двух этих обязанностей, настоятельства и старчества, как мы уже упоминали, хотя в прежние времена при простоте нравов и бывало, но в наше время весьма неудобно и даже

невозможно. Когда же в Оптиной Пустыни поселился о. Леонид, тогда о. Моисей воспользовался этим и, зная его опытность в духовной жизни, поручил его руководству всех братий, жительствовавших в Оптиной Пустыни, и всех приходивших на жительство в монастырь.

С того времени весь внутренний строй монастырской жизни изменился в Оптиной Пустыни. Без совета и благословения Старца ничего важного не делалось в обители. К его келлии ежедневно, особенно в вечерние часы, стекалась братия с душевными своими потребностями: каждый спешил покаяться перед Старцем, в чем согрешил в продолжение дня делом, словом, помышлением, просить его совета и разрешения во встреченных недоумениях, утешения в постигшей скорби, помощи и подкрепления во внутренней борьбе со страстями и с невидимыми врагами нашего спасения. Старец всех принимал с отеческою любовью и всем преподавал слово опытного назидания и утешения.

Благодетельно стали отражаться богомудрые наставления Старца на Оптинском братстве, которое понемногу начало совершенствоваться в нравственном отношении.

Искусное врачевание немощствующих душ, мудрость Старца, свидетельствуемая любовью и почтением к нему настоятеля и братии, скоро сделали о. Леонида известным и вне обители. С каждым годом стечение народа в Оптиной Пустыни умножалось, через что она видимо процветала. Понимавшие хорошо духовную жизнь мужи, но подвизавшиеся в затворе или без-

молвии — Георгий, затворник Задонский, Иларион Троекуровский и др. — со всех сторон России стали присылать под руководство о. Леонида в Оптину Пустынь для обучения в монашеской жизни людей всякого сословия, искавших для себя более надежного пристанища. Отовсюду начали стекаться братия, как пчелы в улей, дабы напоевать сердца свои потоками сладости Божественной, истекавшей из медоточных уст Старца».

Это толкование старчества принадлежит перу отца Климента Зедергольма.

В 1834 году перешел из Площанской в Оптину Пустынь иеромонах о. Макарий Иванов, с самого поступления в эту обитель начавший помогать Старцу в обширной его переписке с лицами, просившими у него духовных советов и назидания. В то же время о. Макарий стал и помощником Старца в духовном окормлении братии и посетителей, особенно же с 1836 года, когда был определен духовником обители*.

8 октября 1839 года в Оптину Пустынь прибыл учитель Липецкого Духовного училища, Александр Михайлович Гренков, которому Промысл Божий судил стать прямым преемником по старчеству Леонида и Макария и великим светильником Православия, на многие годы озарившим светом своего кроткого и немерцающего сияния всю верующую, еще не отпавшую от веры отцов Русь Православную.

* Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида, в схиме Льва, (изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни). Одесса, 1890. С. 181. (Составил о. Климент Зедергольм.)

Таково старчество по свидетельству людей, проникшихся его духом и свое проникновение им запечатлевших принятием на себя монашества.

Один из них (о. Климент Зедергольм) был сыном реформатского суперинтенданта в Москве и одним из лучших студентов историко-филологического факультета Московского университета. Другой (К. Н. Леонтьев) — известнейший публицист, один из ярких представителей русской образованности шестидесятых годов и всей так называемой «великой эпохи великих реформ», бывший Российский консул при турецком правительстве. Оба — духовные дети старца Амвросия.

А вот что писал великий затворник Вышенский, епископ Феофан, об основном различии между откровением помыслов старцу и исповеданием перед духовником*.

«Милость Божия буди с вами!

Ваше смущение и беспокойство относительно исполнения возложенного на вас послушания совершенно законно, потому что и доброе дело можно делать не добре, и тем губить и плод его. Успокоить вас может только точное определение, что подлежит вашему ведению, особенно же, что окончательно вами решаться должно и что от вас должно переходить к духовнику для исповеди и таинственного разрешения. Кто должен это определить? Ваш настоятель. Вам, старцам, надо сойтись вместе,

* Письма еп. Феофана // «Душеполезное Чтение» 1896 года, С. 224–226.

разъяснить затруднения, встречаемые вами в своей практике, придумать меры к устранению их и затем прийти к настоятелю, доложить ему о всем и просить сделать властные распоряжения относительно всего или по вашему мнению, или по своему (его?) собственному. После всего вам останется только разумно исполнять постановленное и быть покойну.

Мне же решать что-либо по сему делу совсем не приходится. Ибо очень возможно, что я решу так, — старцы этак, — а настоятель еще иначе. И выйдет пересыпанье из пустого в порожнее. А ведь у нас с вами есть на руках дела не пустые и не порожние.

Да как же это у вас уместны недоумения?! У вас ведь это святое душеспасительное дело исстари ведется — разумею старчество и откровение. Думаю, уже на деле не раз разрешались всевозможные случаи. Собрать бы эти решения, и вышел бы кодекс старческих решений.

Как это не сделано, то вам, кроме настоятельского определения круга вашего действования, остается только обратиться к старцам же, в деле состоящим, а не к кому-либо другому, незнакомому с этим делом. Я совсем незнаком с этим делом. Общее рассуждение о сем деле у меня есть. Достаньте изданную Афонцами маленькую книжку «Что потребно покаявшемуся и вступившему на путь спасения». Там достаточно определено дело старчества, но только в общих положениях, или в теории... Что же до практики касается, то об этом и слова нет. Потому-то, не имевши прак-

тики, не следует и браться за изображение дел сей практики. Об обязанностях старчества я всегда той был мысли, что сюда относится только откровение помыслов и смущение и разрешение их или, лучше, — разъяснение, как быть. Коль же скоро из того, что открывает брат старцу, нечто встретится такое, что требует исповеди и таинственного разрешения, то в этом надо отсылать к духовнику. Что именно под таковым признавать должно, это решите сами между собою — разумею старцев — и утверждения настоятельского испросите. Что вы не смели отказаться от старчества, это в порядке. Но когда настоятель заметит, что вы негожи, и отставит, то поклонитесь и отблагодарите.

Говорите: «Старцу приходится разрешать, наказывать». Мне думается, что старцу не следует ни разрешать, ни наказывать. Его дело рассудить и определить состояние ученика, разъяснить ему, как дошел до худа, и указать способ, как на будущее время избегать этого и как погасить страсть, от которой произошло дело, и помолиться. Старец — советник, а не судья и не каратель. Его дело — пожалеть и воодушевить, предав брата благодати Божией.

«Приходит ученик, — кается в нарушении заповеди. Старец наказывает поклонами и прощает». Сознательное нарушение явной заповеди требует исповеди перед духовником и таинственного разрешения. Старец, выслушав ученика, дает ему разъяснение относительно падения и указывает способы, как избегать таких падений... и потом отсылает к духовнику. Тот разре-

шает и налагает епитимию. Старец дает только советы: ты бы поусердней помолился, не дал бы себе поесть, как обычно... и от сна уял бы часть некую и подобное. Слова «благодатию Своею Бог простит» имеют смысл благожелательный. Бог да простит тебе, брате, или — Бог простит, брате! Не унывай, — крепись и борись, разрешение же в силе — «елика разрешите» — ему не принадлежит. Разрешение старцево не имеет разрешительной силы, свойственной таинственному разрешению. Это принадлежит духовнику.

Старцу принадлежит разрешение грехов простительных, и разрешаются они самим откровением. Как открыт такой грех, так и прощен. У св. Димитрия Ростовского исчислены такие грехи, в повседневной исповеди и в молитве на сон грядущим есть немного указаний.

Какую имеет силу старчество?.. Великую и превеликую, только вся она не юридического свойства, а нравственного — советы, разъяснения, воодушевления, молитвы. Долг старца, чтобы всякий ученик отходил от него как обмытый, как бы искупавшись.

В случае перемены старца, все от прежнего старца советованное должно быть оставлено. Ученичество снова начинается для ученика. Больше сего не имею, что сказать.

Главное соберитесь и всё определите и бойтесь зайти в область духовничества» (сообщено настоятелем Валаамского монастыря, игуменом Гавриилом).

Как смотрели на старчество сами подвигоположники старчества в Оптиной, старцы Лев,

Макарий и сам о. Амвросий, видно из вышеприведенного рассуждения о старчестве, взятого мною из жизнеописания Оптинского старца иеромонаха Леонида (в схиме Льва), составленного по благословению о. Амвросия и с его одобрения о. Климентом Зедергольмом. Но непосредственно и сами благодатные старцы высказывались письменно по этому вопросу, особенно, когда началось гонение на старчество во времена о. Леонида в Оптиной, когда некоторые даже и духовные лица, отчасти по недоразумению, а главным образом, по наущению от врага-диавола, не терпящего ничего доброго и истинного, восстали против старчества как бы против «нового учения», и притом едва ли, по этому враждебному мнению, не еретического.

В числе приходивших к о. Леониду для духовных советов были и девицы разных сословий, которые, не имея склонности к брачной жизни, но желая с молодых лет уневестить себя Единому Небесному Жениху и Невестокрасителю чистых душ, Царю Христу, просили о сем совета у опытного старца*. Он принимал и их с отеческою любовью и, раскрывая им правильный взгляд на иноческую жизнь, научал идти узким путем отсечения своей воли и разума и не только удаляться от страстей, но исторгать и самые корни их, очищая сердце от страстных помыслов и мысленных приражений через частое откровение и исповедание оных опытным и искусным в духовном делании. Не-

* Жизнеописание о. Леонида, сост. о. Климентом Зедергольмом. Издание Оптиной Пустыни, 1890 (гл. VI).

которым из них, изъявлявшим искреннюю готовность идти сим путем, советовал вступить в Белевскую обитель и вручить себя руководству одной тамошней старице, м. Анфии, которая возросла и преуспела в деятельной духовной жизни под опытным руководством самого о. Леонида и относилась к нему за духовными советами и наставлениями еще до водворения Старца в Оптиной Пустыни.

Против этого-то руководства восстал священник Белевской обители о. Г., неусумнившийся обозвать этого рода малоизвестные отношения именем ереси. По его наветам и доносу возникло целое дело, причинившее немало скорбей м. Анфии и ее духовным дочерям. Из писем старцев, писанных ими к м. Анфии и единомысленным с нею сестрам, приведем здесь одно, выясняющее взгляд самих Боговдохновенных старцев на суть дела и на их духовное окормление своих духовных детей.

«Достопочтеннейшие о Господе
мать Анфия и мать Н...!

Мы прочли ваше письмо с немалым удивлением. «Маловере, почто усумнился еси?» (Мф. 14, 31) — так говорил Божественный наш Спаситель возлюбленному ученику Своему Петру в то время, когда он утопал. Теперь то же потопление случилось с вами, а мы тем же гласом Спасителя взываем к вам: «Маловере!» Неужели многократные опыты наших наставлений от Божественных писаний и святых богоносных Отец не могли удостоверить вас в истине спасительного пути, коим шествовали преподоб-

ные Отцы, которым мы тщимся подражать по мере сил наших? Хотя недостойны и скудны в добродетелях, но желаем вам, хотящим спастися, шествовать путем, указанным нам ими; а потому немало огорчает нас ваше малодушие. Если вам угодно слушать нас, то «почто злая помышления входят в сердца ваша?» (Мф. 9, 4.) Рассматривая едва не потонку действие врага рода человеческого, видим, как он тщится, под предлогом истины, совратить вас с пути избранного, с пути добродетели. Спрашиваем вас: может ли учить иностранному языку тот, кто оного не знает? Великое различие между людьми, дознавшими по опыту и знающими по одному слуху. Кто в какой чин призван, тот в нем да пребывает. Опыт — лучший учитель. Писано есть: «Да будут тебе друзи мнози, но советник един от тысящ» (Сир. 6, 6). А когда усумневаетесь в советах и наставлениях наших, почто прибегаете к нам? Мы никого к себе не привлекаем: вы это знаете.

По уставам иноческого предания, при пострижении, от Евангелия предают **старицам**, а не духовным отцам, которым (то есть старицам) и должны первоначальные открывать свою совесть для получения советов и наставлений, как противостоять искушениям вражиим; но это не есть исповедь, а откровение; и в сем случае исполняется апостольское предание: «исповедуйте другу другу согрешения ваши» (Иак. 5, 16). Таинство же исповеди совершенно другое и не имеет к откровению никакого отношения; обязанности духовника совершенно дру-

гие, нежели отношения к старицам. Припоминаем об одной синклитике, которую архиерей передал одной старице и вопросил ее, в каком находится исправлении? Получил в ответ, что слишком добра к ней; тогда он предал ее другой старице, строжайшей, и, по прошествии некоторого времени, узнал от нее, что сия смягчила ее нравы: не есть ли они образ и нынешнего предания? Мать игуменья ваша поступает благоразумно и сообразно уставам иноческого предания, желая сестер заблаговременно приучить к очищению своей совести до пострижения в монашество; а тем самым делает настоящий искус, по преданию святых Отец, в иночестве просиявших.

Что же касается до того, что будто в келлии без священника нельзя молиться, то это более удивления достойно, нежели вероятия. Сколько видим святых жен, в пустыне жительствовавших, в посте просиявших; чем занимались они, как не молитвою в уединении? Святая Мария Египетская в пустыне без пресвитера приносила свои молитвы и токмо в последний год жизни удостоилась узреть святого Зосиму и принять от него Святые Христовы Таины. Насчет же того, что без благословения старицы ничего не делать, это не только полезно, но и спасительно. Из множества примеров, имеющихся в Патерике и писаниях святых Отец, напоминаем о том ученике, который, будучи послан на послушание от старца в город, едва не впал в любодеяние, но, воспомянув старца, невидимою силою был восхищен и

очутился в келлии своей. Что относится до старцев, то в девичьих монастырях подразумевать должно о старицах. Не все старцы были священники, сие ясно видеть можно из жития преподобного Пафнутия, Боровского чудотворца (1 мая), ибо у него в монастыре из 700 братий не было ни одного священника, но все были под руководством старцев. Итак, лучше сообразоваться с уставами иноческого жития и быть спокойными.

В Добротолюбии, в послании св. Кассиана к Леонтину игумену (4-й части лист 157 на обороте) напечатано: «Авва Моисей рече: да не точию, яже творим, но и яже помышляем, открываем отцем; и да ни в чем же своему помыслу веруем, но и во всем словесем старец да последуем; и оно быти добро веруем, еже аще они искусят. Сие же делание не точию истинным разсуждением и правым путем инока невредима пребывати устрояет, но и ото всех сетей диавольских без вреда того сохраняет». Сия помянув вашей любви от многого малое и поручая вас покрову Божию и слову благодати Его, остаемся ваши недостойные богомольцы, многогрешный иеросхимонах Леонид и многогрешный иеромонах Макарий.

19 сентября 1840 года».

LXVIII.

Конечно, напрасно было думать мне, что временный отдых, данный мне врагом человеческого рода после столкновения с казначеем и сравнительно изредка нарушаемый гонением на

меня за защиту старчества, напрасно, говорю, было думать, что отдых этот будет продолжителен, и у нас в обители вскоре произошел один весьма печальный случай, который мог бы ввести меня в скорбь тягчайшую, если бы не милость Божия, помиловавшая меня, грешного. Началось новое вражеское гонение на меня с того, что, как я уже раньше говорил, не по духу было моему начальству и братии расположение и даже любовь ко мне Луки Алексеевича Федотова, сделавшего меня по смерти его единственной дочери душеприказчиком по завещанию к его немалому имуществу. И завещано-то оно было нашему монастырю, а вот — поди ж ты — как мутил лукавый и возбуждал против меня братию за это!

Девица Федотова, дочка Луки Алексеевича, — упокой, Господи, душу ее в селении праведных! — была погребена у нас, в ограде монастырской. На могиле ее заботливая родительская любовь насадила цветы, и, конечно, я почитал для себя святой обязанностью поливать эти цветы ежедневно, когда стояла засуха. И сколько же мне было брани за эту поливку, это и описать трудно!..

Было у меня положено за правило выходить на это дело в 6 часов вечера, и к этому часу к могиле уже собирался праздный народ — послушники, иеромонахи и даже казначей, направляя стопы свои в трапезную к ужину.

— Какой это монах! — восклицали мне вслух одни.

— Наемник! — ворчали другие.

— Всем бы ты был хорош, — говорили более доброжелательные, — но это дело твое соблазняет не только иноков, но даже мирских. Грех тебе!

— Да что ему не поливать, — глумились третьи, — он ведь за это сотни рублей берет, мошенник этакий!

— Не ругай его! — слышались возражения, — ведь он их душеприказчик!..

Тяжко было мне на сердце, но я старался бороться с лукавым словами смирения:

— Простите меня, дурака! — говорил, — простите, если оскорбляю и соблазняю вас...

— Знаем мы тебя, химера! — отзывались мне на эти слова мои хулители, — только и слов у тебя что — «простите», а завтра опять придешь?

— Простите — приду! — отвечал я.

И на другой день, бывало, опять начинается та же история, пока-то им это надоело. Но тут и произошел такой случай, о котором не след бы и глаголати...

Однажды пришел я от поздней Литургии, где был сослужащим, к себе в келью и только что снял рясу, как вдруг услыхал торопливый стук в дверь моей кельи. Отворяю и вижу садовника, бледного как смерть, с испуганным лицом... Что такое?

— Батюшка, подите-ка за мной скорее, — проговорил он едва переводя дух от волнения.

— Да что у тебя там такое?

— Да идите — увидите! Чудо-то какое! ведь у вас на дорожке лежит мертвый голенький

младенчик... Должно, его через ограду перекинули!

И правда: на дорожке лежало жалкенькое, ничем не прикрытое, маленькое тельце новорожденного и уже мертвого мальчика... Я послал садовника за игуменом и сам пошел вслед за ним: очень уже у меня волновалось сердце — я предчувствовал уже скорби, которые меня ожидают...

Пришел игумен. Послали за полицией, за доктором. Поднялись в обители суды-пересуды... Приехала полиция, приехал доктор. Младенца анатомировали и, определив, что он четырехмесячный недоносок, предали земле. Но заваренную чьей-то немилостивой рукой кашу пришлось расхлебывать мне, грешному Феодосию.

— Ай да отшельник! — радостно восклицали мои недоброжелатели, — ай да затворник! вот так пустынник! Вот зачем он и в саду-то поселился, — поди-ка, кто бы мог это подумать?.. Да ведь они — святоши — все такие!

Младенец был подкинут не далее 7 сажен от моей кельи. Толпы народа запрудили весь сад и усеяли все монастырские стены, когда производили анатомирование младенца...

Каково было слышать эти речи! Но, благодарение Богу, я перенес это искушение с таким хладнокровием, как будто оно меня вовсе не касалось. И когда некоторые из братии, жалея меня, советовали не скорбеть, я отвечал:

— Простите меня и помолитесь обо мне, грешном!

— Да в чем же ты просишь прощения? — спрашивали меня доброхоты.

— В день оный узнаете вину, если теперь не верите, — отвечал я, вспоминая грехи юности моей и неведения, а также и горькие падения моей прежней жизни...

У подкинутого младенца нашли трех матерей сразу: была ярмарка в это время и было три роженицы, детей которых не отыскали. Кто из них была повинна в этом ребенке, доведомо одному Господу.

Приими, Господи, раскаяние виновной!

LXIX.

И видел я вскоре после того дивный сон: стою я будто в Троицком храме в алтаре, на правой стороне, к стеночке. Идет Божественная литургия, и поют «Блажени плачущии, яко тии утешатся»; и надо кому-нибудь из иеродиаконов облачаться, чтобы идти с выходом Евангелия. В алтаре в это время, на одной со мной стороне, стоит будто отец игумен, и я вижу, как он старается незаметно для меня спрятать ризы, чтобы не дать мне облачиться. И когда он около комода делал вид, что приводит что-то в порядок, а сам в это время прятал от меня облачение, пропели все «блаженны», и выходить некому, так что служба остановилась... В это мгновение из южных врат вошла в алтарь величественная жена в богатой, как бы царской одежде, с длинным шлейфом по земле. И когда я увидел, что в алтарь входит женщина, то сердце мое исполнилось ревности и я хо-

тел было сказать ей: остановись, кто бы ты ни была! Ты — женщина и должна выйти отсюда, ибо земля, на которой ты стоишь, свята есть — Господеви... Но едва я это помыслил, как жена эта обратилась взором своим ко мне и им указала, что ей здесь место, а затем она грозно подошла к отцу игумену и спросила:

— Почему ты не даешь ризы отцу Феодосию? Для чего ты их от него прячешь?

Отец игумен будто бы страшно растерялся и второпях подал мне поручи, сказав:

— На, надевай!

И необыкновенно красивы были эти поручи, вышитые золотом и осыпанные драгоценными каменьями... И не успел я надеть этих поручей на обе руки, а надел только на одну, как жена эта вышла из алтаря, а другой иеродиакон облачился в старый стихарь и пошел со входом. И запели тут точно архиерейским хором: «приидите поклонимся... молитвами Богородицы поющия Ти: аллилуия...»

А я все дивился на надетый поруч и с этим проснулся, и когда проснулся, то увидел, что рука моя была поднята вверх.

Долго я удивлялся этому сновидению и тому, кто бы могла быть эта жена и что значило, что она упрекала отца игумена и, как человек, недоумевал. Хотя я и привык относиться к сонным видениям с большой осторожностью и не доверяться им, но этот сон оставил по себе в моем сердце сильное впечатление.

Вскоре после этого сна к нам стали ожидать приезда владыки Феодосия, и, начиная с

игумена и казначея, многие также и из братии говорили мне:

— Вот приедет Владыка, и тебя посвятят во иеромонахи.

А отец игумен добавлял:

— Здесь не будет неизбежных расходов, как в Тамбове, — здесь уже заодно и посвятим тебя.

Но когда приехал Владыка, он представил ему, что иеромонахов достаточно, а что я, как кандидат на священство, нужнее во иеродиаконах, потому что во всякое время исправен и могу служить, а другие иеродиаконы не таковы. Так и не состоялось на этот раз мое посвящение: очень уже меня опасалось мое начальство как возможного их заместителя на тот случай, если бы их слабости дошли до сведения Владыки. Сказывали мне, что перед приездом архиерея казначей говорил игумену:

— Да вы только посвятите Феодосия: тогда никто из граждан к нам и под благословение-то не подойдет. Уж и теперь на него многие смотрят как на единого от древних, а тогда и с Троицей-то* никто нас в дом брать не будет...

Сколько было в передаче этих слов правды, судить не мне, но на дело это было похоже. Меня даже не допустили в приезд Владыки до служения с ним в соборе.

Великой печалью поражено было мое сердце, но не потому что меня обошли — недостоинство мое меня обличало, — а потому что приезжал Владыка, как говорится, ни про что,

* Чудотворная икона Лебедянского монастыря.

а уехал ни с чем: беспорядки наши, о которых он уже был предуведомлен (ему писал Л. А. Федотов), не удостоились внимания Преосвященного, и, послужив у нас, приняв трапезу, он остался благодарен, и когда, отъезжая, садился в карету, то осенил братию крестным знамением и промолвил благожелательно:

— Ну, братия, молитесь!

И больше мы от него ничего не слыхали.

О сила великая ключаря и благочинного!

А между тем в то время, когда архиерей кушал в игуменских покоях, что за умопомрачение творилось в трапезной! Шум, гвалт, бесчиние, разливанное море!.. Казначей вырывал из рук трапезного пятый штоф сивухи, угощая братию, которая уже и без того была достаточно «утешена». Трапезный не давал, казначей рвал из рук... Крик, ругательства! Тут же пьяные кучера владыки и благочинного, с трубками в зубах, ругаясь площадными словами, заигрывали песни и, не держась уже на ногах, приваливались к лавке...

Я все это видел, и вот это-то самое и заставляло скорбеть мое сердце. А тут еще злобные и торжествующие улыбки моих недоброхотов точно кичились своим торжеством надо мною, точно говорили:

— Ну что? видишь, как мы боимся архиерея!

И встретил я по отъезде Владыки нашего казначея: идет он из трапезной и уже едва стоит на ногах. Взял он меня за руку и, едва лопоча пьяным языком, стал говорить мне:

— Не скорби, отец Феодосий: будет время, будешь и ты иеромонахом. Я сочувствую твоей скорби: ты желаешь лучшего устроения в обители — я знаю это. Но что ты будешь делать, когда ты сам видишь, какой у нас игумен? Я, брат, тоже, брат, был и так и сяк... да нет, брат, ничего не сотворишь: это просто Крылов «чурбан», а для этих порядков надо «журавля»... Я ведь, брат любезный, все понимаю!.. Ну, не скорби, пожалуйста, не скорби!.. Придет время... а теперь терпи!

И он лез ко мне целоваться.... Я всю ночь не мог уснуть — сон бежал от глаз моих... И это называется обозрением епархии! И как это, думалось мне, можно было так в глаза обманывать Владыку?.. О другом о чем я и думать боялся...

LXX.

Стоял я за ранней Литургией у свечного ящика; смотрю, вошел в церковь какой-то юродивый и стал скромненько в углу, у самой печки. Когда, по окончании службы, народ выходил из храма, шел и отец игумен. Юродивый этот вышел из своего угла, подошел к игумену и, показывая ему рукой на меня, громко сказал:

— Смотри! — видишь ты вон энтого монаха, что стоит у свечного ящика? Смотри ж, помни, что я тебе скажу: ты его не трогай! А тронешь, то сам свои портки с себя сронишь!

Игумен ничего не нашел сказать ему в ответ. А юродивый этот, которого я прежде никогда не видал, пришел после того ко мне в келью и объявил мне:

— Хочу чай пить — напой меня чаем!

И пока я ставил самовар, он все время ходил у меня по келье и что-то бормотал про себя невнятное, а затем подал мне образок святителя Афанасия Сидящего, что в Лубнах, и, давая мне его, сказал:

— Вот тебе святитель Афанасий в помощники: молись ему — он все больше любит помогать дворянам. Он тебе поможет. Молись ты за меня, а я — за тебя, а он — за нас: вот и будет хорошо!

Я спросил юродивого об его имени. Он мне ответил:

— Я отцу Иоанну Сезеневскому брат, а о моем имени ты после от кого-нибудь узнаешь, а то я забыл, как меня звать...

Сказывал я батюшке отцу Амвросию про этого юродивого, и батюшка мне говорил про него:

— Я его знаю — это истинный раб Божий, и вот, посмотри: все его предсказания сбудутся.

И точно, по времени они все сбылись, да так, что я о них невольно вспомнил.

Вскоре после этого свидания меня рукоположил преосвященный Феодосий в иеромонахи и было мне великое утешение принимать самого Владыку вместе с известными по жизни отца Амвросия и по истории устроения им Шамординской женской обители — помещиком Феодором Захаровичем Ключаревым, тогда уже иноком, и бывшей его в міру супругой, тоже в то время уже инокиней, Амвросией.

И стал ко мне, по рукоположении моем, ходить народ для совета и благословения, и я говорил об этом великому моему старцу, батюшке Амвросию, спрашивая его, что мне делать с народом — вступать ли мне с ним в беседы или уклоняться. И батюшка мой ответил мне так:

— Ведь ты за ними не посылаешь — они сами к тебе идут под благословение и просят твоего совета: так нечего тебе от них и отказываться, а преподавай им благословение да и совет подай, что Господь внушит тебе отвечать на их вопросы. Бог благословит: говори им во утешение.

И вот, по благословению батюшки Амвросия и во исполнение предсказания блаженного юродивого, первыми мне пришлось принять двух женщин, из которых одна пришла ко мне за советом, а другая просто как ее спутница. Было это дело так: шел я от ранней обедни. Подхожу к своей келье и вижу, что у крылечка стоят две женщины, и по обличью их видно, что они — не из простонародья, хотя одеты были так просто, что не всякий бы узнал, что они из благородных. Эти женщины объяснили мне, что желают получить от меня совет по очень важному делу. Я поставил самоварчик и пригласил их в келью, и тут одна из них мне объяснила, что она родная сестра помещика Д. В. Наумова. Этого Наумова я знал еще тогда, когда служил в Лебедяни по откупу: у него в 30 верстах от Лебедяни было имение — целая деревня крестьян и конный завод. Был он человек холостой и большой охотник до картежных собраний и женского пола, хотя мотом и кутилой не был.

Так вот, оказалось, из слов моей посетительницы, что она ему сестра родная и зовут ее Екатериной Васильевной Щербаковой. Умер у нее муж, и на руках ее осталось трое малолетних сыновей и две дочери, и всех их нужно учить, а у нее всего достояния — одно маленькое, расстроенное имение по соседству с братом, и для воспитания детей средств у нее не хватает, а время уходит, и она не знает, что делать.

Рассказала мне она о своем безвыходном положении и со слезами спрашивала моего убогого совета. И поставила она меня в крайне затруднительное положение, и не знал я, что и советовать ей... Только вдруг меня точно что осенило: я благословил ее образком святителя Афанасия Сидящего, который мне был дан юродивым, и сказал ей:

— Вы теперь для воспитания детей живете в Ельце — советую вам в первое же воскресенье одеть ваших деток в праздничное, лучшее платье и пойти с ними в каменный храм, который от вас недалече, и, когда войдете в храм, поставьте всех детей ваших перед местной иконой Божией Матери и научите их, чтобы они, когда запоют «Достойно есть, яко воистину», стали бы все на коленки, а вы — позади их, и все вы просите Матерь Божию, чтобы Она приняла вас под покров Своего милосердия. Смею уверить вас, что Матерь Божия, увидав ваши слезы и смиренную молитву веры вашей, испросит вам милость от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, и вы безбедно проживете, и дети ваши получат желаемое вами воспитание.

Совет этот, верую, внушенный мне свыше, г-жою Щербаковой был исполнен в точности, и Матерь Божия вняла их сиротской молитве: вскоре заболел при смерти брат ее, Д. В. Наумов, и перед концом своим для всех неожиданно распорядился своим имением не в пользу братьев, людей состоятельных, а в пользу своей сестры — вдовы, и в этом смысле, не сказав никому из близких, он и оставил по себе духовное завещание. Вскорости тут он и умер, и г-жа Щербакова получила со своими детьми и все его достояние.

И вышло благословение святителя Афанасия Сидящего на помощь дворянке, и притом первой, которая пришла ко мне за духовным советом. Вот что значили слова блаженного:

— Он все больше любит помогать дворянам.

Но тут вскоре начались для меня новые скорби от игумена, и, в оправдание предсказания юродивого, умер благодетель и верный защитник нашего настоятеля, благочинный архимандрит В..., и как только началось на меня новое гонение от игумена, его и уволили от настоятельства на покой — и исполнились, таким образом, слова юродивого:

— Как его тронешь, так и свои портки сронишь!

LXXI.

Многое можно было бы мне и еще написать о жизни моей в Лебедянской обители, жизни, исполненной всяких скорбей и искушений и от злого духа, и от людей, не ведавших,

что творивших, но будет с меня и того, что написано: «еже писах — писах».

Пятнадцать лет уже исполнилось со дня моего вступления в обитель, и срок моего в ней пребывания, предназначенный мне, видимо, исполнялся: чья-то невидимая рука уже предупреждала меня о том, что приближается время моего отшествия из этого места моего плача и воздыханий. Так — шел я от ранней обедни к себе в келью и вдруг, чего никогда не бывало, калитка оказалась запертой; и на ней явилась откуда-то надпись:«Здесь тебе скоро нельзя будет ходить».

Я пошел к другим воротам, которые были вне стен монастырских, и на этих воротах было точно так же написано:«И здесь тебе скоро не придется более ходить».

Меня это поразило, но, приписав это чьей-нибудь шутке, я потом вскоре об этом случае позабыл.

Слышал о моих скорбях и гонениях друг мой и отец о Господе и брат по иночеству, отец Филарет, и писал мне, чтобы я переходил к нему в Площанскую пустынь*, в новоотстроенную им келью в саду. Писал мне, зовя к себе, и даже неоднократно, из Переславль-Залесского Троицкого Даниловского монастыря архимандрит Герасим (Косенков), тот, которого еще моя бабушка-покойница благословила на иноческий путь; но я твердо держался раз данного обета никуда из Богом мне через старца Илариона

---

* Орловской губернии, Севского уезда.

назначенного монастыря не выходить, пока не наступит то время, тем же Старцем предуказанное, когда придется перебраться мне в вожделенную моему сердцу Оптину Пустынь.

И наконец время это настало.

Когда сменили нашего игумена, отца Иоасафа, около этого времени скончались и мои благодетели Федотовы, а я вступил по утвержденному Елецким окружным судом духовному их завещанию душеприказчиком ко всему их имуществу, оставленному Лебедянскому монастырю и заключавшемуся в капитале, землях, лесах и домах. В то же время к нам в монастырь был назначен в настоятели Святейшим Синодом ректор Тифлисской семинарии, архимандрит Валентин. Кавказские родные мои уже мне писали о нем весьма неутешительные известия, что вскоре же по его к нам приезде и оправдалось. Ознакомившись с духовным завещанием Федотовых и узнав из него, что монастырское начальство не имеет при мне права распоряжаться завещанным имуществом, а также осведомившись заблаговременно о моем характере, архимандрит Валентин решил меня из монастыря выжить, что называется, не мытьем, так катаньем... И вот, не прошло и месяца с его водворения в нашем монастыре, иду я раз по дорожке в саду к себе в келью и несу ведерко воды для самовара, как повстречался со мною новый настоятель и говорит:

— Ах, какое прекрасное вы себе избрали место для жительства, отец Феодосий! Я вам завидую, право, завидую!

И начал он мне тут медоточиво излагать всю красоту духовной жизни в уединении, а кстати, и моего одобрительного поведения; но рацею свою кончил он неожиданно такими словами:

— Только вот что, отец Феодосий, я должен вам сказать: нужно вас перевести из этого уединения внутрь монастыря. Мнение мое таково, что там жизнь ваша, будучи на виду у братии, послужит к исправлению слабостей здешнего братства. Здесь вы только спасаете себя, а, живя среди братии, вы можете влиять и на их поведение.

На этом мы расстались — он с ехидной улыбкой, а я, как громом пораженный.

Услыхали о том лебедянские граждане и упросили исправника, чтобы он, будучи в Тамбове, заехал к архиерею и попросил Владыку приказать архимандриту не трогать меня из моей кельи. Владыка просил исправника передать настоятелю, что он не благословляет переводить меня из моей кельи внутрь обители. Приехал исправник к архимандриту с этим извещением в седьмом часу вечера и застал его уже в некоторых градусах повышенного настроения духа, и когда исправник передал ему обо мне слова Владыки, то отец архимандрит в ответ исправнику гневно возвысил голос и, как бы передразнивая Владыку, сказал:

— Не благословляю! не благословил!.. Эка штука какая — не благословил! Пусть он благословляет там у себя в Тамбове, а здесь я начальник, и, следственно, его неблагословение для меня ничего не значит. А вы можете пере-

дать вашему Феодосию, что ко дню Пасхи я все-таки переведу его в монастырь, да, мало того, и келью его сломаю!

И он в точности привел свои слова в исполнение, но кельи моей не ломал до времени.

И вот, перевели меня, грешного Феодосия, в сырую, темную, холодную келью, в которой только что были стены вымазаны известью. И это ранней-то весной, когда еще не могло быть никакой сушки сырым стенам! Мало того, один из иеродиаконов вылил под пол целую бутылку скипидару, так что было трудно дышать.

Утром, едва передышавши ночь, я пошел к архимандриту и сказал ему:

— За что, батюшка, вы мне оказали такую немилость? — ведь в келье моей невозможно жить.

— А вы, — отвечал он мне, — привыкли, чтобы у вас пахло резедой или розовым маслом... — И много он мне тут наговорил неприятного.

Делать было нечего — надо было покоряться: поднял я окошки, растворил настежь двери и, выдув и мало-мальски осушив келью, затворился в ней, так как ко мне не велено было строго-настрого никого пускать из народа.

Написал я обо всем подробно моему великому старцу, батюшке Амвросию Оптинскому, и получил от него ответ подавать немедленно Владыке прошение об отпуске меня на месяц или на два в Киев. «Когда получишь отпуск, — писал мне батюшка, — то в Киев ты не езди, а приезжай ко мне в Оптинский Скит, я же

немедленно от себя напишу в Тамбовскую консисторию, чтобы тебя не задерживали высылкой билета». Я, конечно, так и сделал.

И раньше делались мне предложения на перемещение в Скит Оптиной Пустыни: предлагали мне помещение в келье корпуса Федора Захаровича Ключарева и затем в корпусе, выстроенном графом Александром Петровичем Толстым для отца Климента Зедергольма. Но при всех скорбях моих и воздвигаемых на меня врагом нашего спасения гонениях у меня не было желания оставить колыбель моего иночества — всегда звучал мне тайный голос в сердце моем: «в терпении вашем стяжите души ваша». И положил я сердцу моему обет — не иначе оставить избранное мною от начала и предуказанное мне место, как только если меня будут гнать, как негодяя, силою власти, по слову Спасителя: «аще гонят вас во граде, бегайте в другий».

И бывало мне до нестерпимости тяжело в моем монастыре, и мог бы я в предотвращение скорбей и в воздаяние моим гонителям пресечь им их злохудожество непосредственным обращением к митрополиту Московскому Филарету, к которому я имел доступ, но я обращался только к молитве, прося Господа и Пречистую просветить сердца моих гонителей светом благоразумия, воеже творити Святую волю Его и их молитвами помиловать и меня грешного. И батюшка Амвросий, старец моей великий, тоже все советовал мне терпеть и предаться воле Божией, не открывая наготы братьев моих, чтобы не нанести удара монашеству, и без того

уже ненавидимому «умниками» века — либералами, реформаторами, вольнодумцами и нигилистами. И я терпел и молчал, пока не исполнился час воли Божией и сам батюшка Амвросий не вызвал меня под благодатную сень великой из великих Оптиной Пустыни.

Но мне что-то долго не высылали билета из консистории, и «уны во мне сердце мое, и смятеся дух мой», и не было в моем сердце такого уныния за всю мою многогрешную жизнь. В таких безотрадных мыслях, чувствуя, как непомерной тяжестью навалилась на грудь мою безысходная тоска, лежал я на койке в сырой и холодной своей келье при закрытых дверях и спущенных занавесках, и вдруг — о Господи! — отворилась дверь моей кельи, и в келью вошла Сама Преблагословенная Дева Матерь Господа нашего Иисуса Христа, держа Предвечного Младенца на Своих пречистых руках; и в ручках Младенца была виноградная кисть. И протянул мне, окаянному, Младенец ручку Свою с виноградной кистью. А сзади Пречистой вошли святые мученицы; но сколько их было, мне за Царицей Небесной не было видно; и у всех у них были в руках небольшие кресты и высокие, зеленые ветви, наподобие осоки. И сказала мне Преблагословенная словеса Свои сладости неизреченной:

— А вот, мы пришли навестить тебя!

И с этими словами чудное видение скрылось из грешных глаз моих...

Не могу я передать сладости, ласковости и приятности небесного голоса Пречистой...

Уныние мое исчезло, аки дым, и в сердце моем водворилось такое неизреченное торжество, такая радость, что сердце мое было вне себя от восхищения и, как голубь, трепетало в груди моей, вырываясь, казалось мне, и с многогрешной и окаянной душой моей.

О Преблагословенная! о Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим!..

LXXII.

Вскоре после этого видения, дарованного не заслугами моими, а неизреченной милостью Божией, я получил наконец и свой отпуск, с которым и выехал к батюшке Амвросию в Оптину Пустынь.

Батюшка меня встретил с радостной улыбкой словами:

— Ну что — приехал, отец Феодосий?

— Приехал, мой батюшка, — сказал я ему, обливаясь слезами и бросившись к ногам святого Старца.

— Ну, не скорби — все к лучшему Бог устроит! — сказал добрый батюшка. — Пей чай да иди к отцу игумену Исаакию, скажи, что я тебя к нему прислал.

И, попивши чайку, отправился я к отцу игумену, и, когда нам с ним келейник подал было чай в соседней с залой комнате, я пить чая не стал и на вопрос отца Исаакия: «Ну, что ж, не пьешь?» —ответил ему земным поклоном и сквозь слезы охватившего меня волнения сказал:

— Простите, батюшка: не чай я пришел пить, а просить у вас милости принять меня в число братства вверенной вам обители.

Отец Исаакий быстро вскочил с диванчика и, подымая меня за руку с пола, ласково промолвил:

— Что ты, что ты? плачешь о чем? Ведь ты был у батюшки, отца Амвросия?

— Был.

— Что ж он тебе сказал?

— Да к вам послал.

— Ну хорошо: пей чай и ступай уже от моего имени к батюшке.

Так я и сделал. Когда я пришел к Старцу и объяснил ему, что прислан к нему отцом Исаакием, батюшка отец Амвросий встал со своей кроватки, надел на голову свою теплую камилавочку, взял меня под руку и, выйдя наружу, повел меня в соборный корпус, где ежедневно совершается братское правило. Там среди комнаты стоял небольшой сафьянный диванчик. Батюшка сел на него и начал снимать с ножек своих сапоги, и когда снял один сапог, а я хотел было скинуть другой, то он удержал меня, сказавши:

— Погоди немного! — а сам обратился к иконе «Взыскание погибших», перед которой всегда горела день и ночь неугасимая лампада, и с лицом, исполненным глубокого и сосредоточенного молитвенного внимания, долго и молча смотрел на нее умиленным взглядом. Помолившись так тайной молитвой перед иконой,

батюшка обернулся ко мне, положил на мое плечо свою ручку и сказал:

— Слушай, отец Феодосий, что я тебе скажу: с того времени как я поступил в Скит, я никого лично не водворял на службу в келью. Тебя первого сам привел и первого водворил. Вот тебе келья вместо Лебедянской в саду: смотри ж, живи, спасайся, молись и за меня молись!

С этими словами батюшка встал с диванчика, благословил меня, надел сапог на ногу и пошел из кельи в скитский сад, где его сразу обступила народная толпа, а я, проводивши его, вернулся в соборный корпус в отведенную мне келью, где и прожил с первых чисел июня 1875 года по 20 декабря 1876 года, когда неожиданно указом из Калужской консистории был вызван к архиепископу Григорию 2-му, которым и был назначен настоятелем в Свято-Троицкий Лютиков монастырь. Настоятельствовал я там, управляя братией, до 15 марта 1894 года, и оттуда был водворен обратно в Скит Оптиной Пустыни, где и живу доселе, вот уже до 15 апреля 1903 года, когда записываю сие для памяти.

Всего было в моей жизни много и было много мне скорбей и разных неприятностей и от Лебедянской братии, и от начальников, и от самого себя. За все — благодарение Господу! Всем научал Он, Всеблагий, меня грешного и вел меня недоведомыми Своими путями к познанию самого себя, учил терпению, указывал мне мои немощи, таящиеся в моем сердце стра-

сти, о которых я бы без испытаний и не знал, и во всем совершал Он, Неисследимый и Премудрый, Свою святую волю, и да будет она благословенна от всех Им сотворенных и от меня, многогрешного, во веки. Буди! Буди!*

Молю Тебя, Преблагий, не поставь в грех тем, кто гнал меня и ненавидел, и не помяни в день оный, но молитвами их, по бездне благодатной благости Твоей, за молитвы Преблагословенной и всех Святых, ради дражайшей пролитой Тобою Крови Твоей, спаси нас всех, Господи! Озари сердца наши светом Твоего богоразумия, да единым сердцем и устнами вси в признательности сердца воспоим Тебе вечное громогласное:

Аллилуия!

У вас, у всех, отцы святые и братия, со слезами целуя руки и ноги ваши, прошу: простите и меня, аще словом, видом или делом когда-либо, как-либо, оскорбил и опечалил или соблазнил. Простите, ради Распятого на Кресте, мне вся, яже содеях лютых, и помолитесь за меня, а я всех и за всё прощаю, как и всегда прощал, не давая солнцу закатиться во гневе моем. Многие скорби принял я и многим сам

---

* Все, что было мною здесь написано, не для того писано, чтобы кто подумал, что я не имел за собой никаких недостатков, нет, я был много немощнее других и крайне малодушен в часы скорбей моих, утешая себя одной надеждой на бесценность заслуги Сына Божия. Каялся я ежедневно, ежедневно клал и начало к исправлению и... ежедневно видел крайние свои немощи, о чем и плакал, боясь часа смертного и Страшного дня Судного. А писал я, единственно вспоминая из прошлого, как оно было на деле, ничего не прибавляя и не убавляя.

досаждал, желая и умоляя Господа исправить обитель, в которой я полагал начало моей иноческой жизни, и тем возвеселить сердца, жаждущие славы Пресвятаго Имени Божия на земле, но зла никому не желал я и, видит Бог, никому не мстил за обиды, мне нанесенные.

Молю и прошу всех отцов и братий, родственников моих и всех православных христиан, если кто пожелает поминать меня по смерти моей в своей ли частной молитве или при Бескровной Жертве, поминать и возлюбленные моему сердцу имена великих и неизменных моих благодетелей — Луки Алексеевича и супруги его Любови Степановны Федотовых и матери ее, Александры Петровны Антоновой, — вместе с именами моих родителей — Афанасия и Агафии. А кому это покажется затруднительным, то пусть поминает только их, а имя мое пусть исключит из своей молитвенной памяти. **Это мое духовное завещание для всех любящих меня, и за послушание воздаст Господь каждому по сердцу его.**

Богу нашему слава, Ему честь и держава всегда ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Матерь Божия, спаси нас!

Несколько слов от составителя биографических воспоминаний игумена Феодосия.

Благожелательство старца Оптиной Пустыни, иеросхимонаха Иосифа, с благословения которого составлено это жизнеописание, дало мне возможность воспользоваться рукописным

материалом, оставшимся в Скиту Оптинском после почившего игумена. Использовал я этот материал, как умел и как мог, но с любовью и в убежденном сознании, что он даже и в моей слабой обработке может и должен принести великую пользу как монастырям русским, этим великим хранителям Православия и Православной России, так и подвизающейся в них иночествующей братии. Быть может, спросит меня кто-нибудь: на чем основана такая моя уверенность? В ответ я не стану вдаваться в подробное оправдание моего взгляда и скажу просто: «чтущий да разумеет!..»

Большим пробелом в воспоминаниях почившего игумена представляется отсутствие какого-либо следа в них о периоде настоятельства его в Троицком Лютиковом монастыре Калужской епархии — от 20 декабря 1876 года по 15 марта 1894 года — и о последних годах его жизни на покое в Скиту Оптиной Пустыни — с 15 марта 1894 года по 20 октября 1903 года, — день его кончины и венца земной его жизни. Как все, что совершается в жизни этой привременной, творится только Волею Божией, то признаем и в этом обстоятельстве Десницу Господню, которой одной — власть открывать завесу прошедшего, настоящего и будущего, и не будем доискиваться на стороне того, чего не нашли в первоисточнике, в уверенности, что не будет это полезно для единой цели как труда моего, так и единой цели жизни всякой души христианской — ее вечного спасения в небесных обителях Отца нашего Небесного.

О последних годах жизни почившего в Бозе игумена мне со слов очевидцев известно сравнительно немногое, а вместе с тем и очень многое. Немногое — в том, что касается, так сказать, исторических фактов из его жизни, а многое — в той великой к нему любви Оптинской братии, которая окружала смирение последних годов его жизни и которая проводила его в последний приют всех земнородных пришельцев и странников — в могилу братского кладбища Скита Оптиной Пустыни.

Отличительная черта конца земных Христа ради подвигов почившего игумена, по воспоминаниям Оптинской братии, была его необыкновенная незлобивость, смирение и редкий дар благоговейно-умилительных слез во время совершения Божественных служб, особенно же Таинства Евхаристии*. Славился игумен Феодосий и особым тонким юмором, всегда утешавшим смиренных Оптинских иноков меткостью и назидательностью игуменских суждений в области словопрений или обыденной монастырской общинной жизни.

Но все же отличительной чертой этого выработанного милостью Божией и собственными усилиями воли характера было смире-

* В полной мере исполнились на нем пророческие слова великого Оптинского старца Макария: «Искушения породят в тебе ведение, а познание своих немощей обогатит тебя смирением, и ты будешь снисходительнее к другим». Но величайшая эта христианская добродетель приобретена была им не сразу, как это видно из его автобиографических записок, а постепенно, и принесла свой плод только к концу его земной жизни, когда он достиг меры возраста Христова.

ние, которым он до конца дней своих бил своего невидимого врага, общего всему христианскому міру.

Приходит как-то раз игумен Феодосий в трапезную, а там два брата моют посуду и спорят между собою. Один из них говорит:

— Если я вижу брата моего близким к падению, то моя обязанность остановить его на этом пути словом предупреждения.

А другой возражает:

— Нет — это будет с твоей стороны духовной гордостью: этим ты его можешь соблазнить, а себя ввести в прелесть.

И заспорили между собою на эту тему оба инока. А иноки те были из новоначальных.

На спор этот случился игумен Феодосий, пришедший на трапезную с ведром за водой, чтобы идти мыть в Скиту отхожие места. Это было его добровольное послушание. Увидели игумена спорящие и воскликнули:

— Ну вот, батюшка отец игумен и разъяснит нам наше недоумение!

А игумен в ответ:

— Ну вот! ну вот! Нашли кого спрашивать! Меня-то, дурака?..

— Да, батюшка, скажите же нам что-нибудь по этому вопросу! — не отставали от него молодые иноки.

— Да что вам от меня, дурака, какая польза?.. Ну — знай себя и будет с тебя: вот вам и мое дурацкое слово!

И с этими словами налил себе игумен в ведерко воды и пошел чистить скитские ретирады.

Еще один скитский брат рассказывал мне про игумена Феодосия: «Истинный раб Божий он был, и мне думается, был в нем и дар прозорливости, только он его тщательно скрывал от других. Вот что я на себе испытал: с небольшим прошло года два или год с чем-нибудь, как я принят был в Скиту послушником, и, конечно, как всякого искреннего новоначального, меня снедала неумеренная ревность о Боге, и я, что называется, горел усердием не по разуму. В такое время, крайне опасное для новоначальных иноков, я на свой лад судил и рядил и братию, и скитские порядки: мне казалось, что в Оптиной все не то, к чему стремилась в міру душа моя, и, наконец, в мыслях своих дошел до того, что решил уйти из Скита, так как нет в нем ни одного спасающегося и с братией скитской, думал я, только свою погубишь душу, а пользы никому не принесешь... Как-то раз с особенной силой напал на меня этот дух-искуситель, и иду я, понурив голову, по скитской дорожке в саду, а в голове так и долбят неотвязные мысли: уйду, уйду! Сами гибнут и меня погубят!.. Вдруг кто-то меня толк в спину. Я обернулся, смотрю — сзади меня игумен Феодосий, — лицо такое серьезное, а глаза так и светятся добротою и участием...

— Не так, не так думаешь, брате! Все здесь спасутся и спасаются, и ты спасешься, только каждый своим путем.

Проговорив эти слова, игумен и отошел от меня, а я был до того поражен, что не сразу даже и опомнился, но мысли мои в голове

после этой встречи приняли совсем другой оборот, и я не ушел из Оптиной и думаю в ней, если Богу будет угодно, и сложить грешные свои кости».

До конца дней своих игумен Феодосий приносил свою службу Богу и едва ли не в день своей кончины служил Литургию.

Здоровьем своим он славился среди Оптинской братии, и дивились же они этому богатырю, когда он, бывало, в Крещенские морозы из жарко натопленной братской бани, нагой, прямо с раскаленного банного полка выбежит на снег и сидит на нем, пока не переберет мороз все его жилочки и все суставчики. Клубом валит от него банный пар и сверкающим на солнце инеем падает на обнаженное игуменское богатырское тело, а ему и горя мало: посидит-посидит так-то на морозе и опять на полок париться. А было ему уже в ту пору за шестьдесят лет.

— Ну и молодец же игумен! — восхищались его здоровьем братия.

Когда пришла пора ему умирать, игумен Феодосий послал сказать в Скит одному близкому ему по духу брату, что он что-то себя очень плохо чувствует и просит его прийти к нему и принести с собою аптечку электрогомеопатии графа Маттеи, в целебное свойство которой он верил. Брат этот застал игумена уже в предсмертной борьбе угасающей жизни с грозным призраком смерти.

«И что ж вы думаете, — сказывал мне этот брат, — враг-диавол, преследовавший игумена

всю его жизнь, и тут не отстал от него: руками кончающегося игумена он срывал с него монашеский его параман, чтобы лишить его спасительных язв нашего Господа, которые он всю свою монашескую жизнь носил на своем теле, и не дать ему отойти с этой печатью монашеских обетов ко Господу... Я не захватил с собой своей аптеки и, пока бросился за ней в свою келью, пока вернулся к игумену, великое таинство смерти уже успело совершиться: игумен Феодосий уже лежал мертвый на своей кровати с монашеским крестом в руках, сложенных крестообразно на груди, и с параманом на спине, который лежал на нем, как следует истинному воину Христову, представшему на смотр своему Царю, Владыке Христу».

Так кончилась жизнь старца игумена Феодосия. Мир праху его, а молитвами его — милость Господня всем призывающим Имя Божие во истине.

Сергей Нилус
Николо-Бабаевский монастырь
17 августа 1906 года

СИЛА БОЖИЯ И НЕМОЩЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Часть II

ИЗ ПИСЕМ СТАРЦА МАКАРИЯ ОПТИНСКОГО К МОНАШЕСТВУЮЩИМ

Севская игумения Магдалина скончалась 25 августа в 12 часов. Обитель осиротела! Неутешный плач, стон и вопль во всей обители продолжаются; но даже и мирские все рыдают о ее лишении. Она, матушка, заслужила такую любовь простотою, смирением, терпением и незлобием. 300 сестер успокоивались под ее кроткомудрым правлением. Несомненно, что она получит блаженную вечность: она предчувствовала свою кончину и кое-как намекала о сем; в самое время кончины некоторые сестры видели венец звездный над ее кельею; а Площанский отец строитель за несколько дней пред кончиною ее видел сон: будто вдруг небеса отверзаются и о. Леонид (Лев) оттоле говорит к игумении: «Магдалина! Скоро ли ты придешь ко мне? Я давно жду тебя и построил тебе келью», и она будто отвечает: «Скоро, скоро, батюшка, приду». Вот Вам, батюшка, радостно-печальные весточки; Вы, верно, прольете

слезы печали и радости о сей досточтимой матери. При трогательном чтении описания кончины ее, нельзя было никому удержаться от слез, а особливо представя пораженных скорбью чад ее духовных.

Из Писем старца Макария Оптинского к монашествующим (изд. 1862. С. 65)

САМООТВЕРЖЕННАЯ ИГУМЕНИЯ

Оптину Пустынь в 30-х годах прошлого столетия в числе многих, приходивших и до нашего времени приходящих к Оптинским старцам за духовным советом, посещали игумения Севского монастыря Магдалина 1-я с монахиней Досифеей Лыкшиной.

Обе в мíру были вдовы: одна — полковника, другая — генерала. Монахиня Досифея в Севском монастыре несла послушание по канцелярской части и потому всюду во всех поездках сопровождала свою игумению.

Замечено было Оптинской братией и постоянными посетителями пустыни, духовными детьми великого старца Леонида, положившего основание старчеству в Оптиной, что старец Леонид всякий раз при встрече с игуменией и ее письмоводительницей с улыбкой, не лишенной для окружающих некоторой таинственности, называл игумению то — «победитель», то — «фельдмаршал» и особенно часто — «кавалер-игумения». И на эти прозвища все трое, во главе со

Старцем, улыбались с таким видом, что всем это видевшим казалась несомненной какая-то тайна, какое-то общее для всех их воспоминание, не лишенное некоторой, если можно так выразиться, игривости, вообще чего-то, чего нельзя вспомнить без улыбки. Великая духовность и святость этих трех лиц исключала даже возможность какой-либо не только игривой, но даже несерьезной мысли об этом общем для них воспоминании, и, конечно, тем больший интерес возбуждали и прозвища эти, и эти улыбки.

Один из современников старца Леонида, Оптинский монах Арсений, ближе других, вероятно, стоявший к другому великому Оптинскому старцу, Макарию, другу, сотаиннику и ученику старца Леонида, заинтересовался этим и осмелился как-то раз спросить батюшку Макария, что означают эти прозвища игумении Магдалины, но Старец отвечал:

— После о том узнаешь!

«И вот, — пишет в своей тетрадке, из которой я выписываю эти строки, монах Арсений, — прошло с тех пор немало времени; поехал я в Киев. Езда тогда была в Киев через Севск, и я не преминул быть в Девичьем Севском монастыре и посетить почтенную старицу, игумению Магдалину, которая при своих посещениях нашей Богоспасаемой Оптиной всегда отличала меня своим доброжелательством и доверием. Старца Леонида в это время уже не было в живых.

При этой встрече моей с матушкой игуменией я, вспомнив слова старца Макария — «после узнаешь», — решился приступить к ней с

неотступной и убедительной просьбой объяснить мне, что значили слова и улыбка почившего великого Старца.

Была тут в игуменской келье и неразлучная спутница и собеседница игумении, мать Досифея, которая, дай Бог ей доброго здоровья, просьбу мою поддержала, сказав игумении:

— Ну, матушка, скажите ему уже всё — за что называл вас батюшка такими именами, да еще потом прозвал нас и «хороводницами». Теперь уж, матушка, времени с того много прошло, — чай, и поперемерли те-то, кого это касается. Расскажите-ка, матушка!

И вот, что рассказала мне матушка, то я здесь и записываю в точности со слов этой почтенной Старицы и хранительницы словесных овец стада Христова.

— Когда в наш Севск прибыл драгунский полк, офицеры полка начали учащать к нам в церковь и порядочно-таки бесчинничать. Ни одной, бывало, вечерни не пройдет, чтобы не было от них каких-нибудь самых наглых дерзостей. И было очень скорбно нашему сердцу видеть такое умаление духа Христова в христолюбивом воинстве, и вспоминались нами со страхом слова Спасителя: «Вы есте соль земли, аще же соль обуяет, чим осолится; ниво-чтоже будет ктому, точию да изсыпана будет вон, и попираема человеки». А в то время офицеры Государева войска, да и теперь, кто были они, как не соль земли Русской?!

К тому времени, как начали у нас в церкви бесчинствовать господа офицеры, в число сестер

к нам поступила Александра Викентьевна, институтка, красавица собой, и это довело до истинного беснования «христолюбивых» вождей, и даже самого полковника, хотя он уже был человек немолодой, да к тому же еще и семейный. И пошло у нас в храме такое непотребство, что хоть святых вон выноси: придут наглецы в церковь Божию, шарят во всех углах и громко, с подлым смехом спрашивают друг друга:

— Где она, где она?

Наконец, дело дошло до того, что меня уже из города стали предупреждать, что полковые хвалятся схватить Александру Викентьевну и силой увезть из монастыря. Что тут делать? — думаю; зимой вечерня отходит уже темно — это очень удобно устроить, да к тому же полковник злонамеренно выбрал себе квартиру против самого монастыря и ко злу тем присоединил новое зло: у нас — обедня, а у них музыка гремит, у нас — вечерня, а у них, как станет смеркаться, зорю играют; а сам полковник для тех же офицерских штук зачастил да зачастил в церковь на великий соблазн и скорбь всем нашим монашенкам... Меня, думаю я, это в могилу уложит! Ну, рассуждаю я в самой себе, что же будет толку из того, что я умру от одних своих думок? Умирать все одно, что от думок, что от дела, и, призвав на помощь старческие молитвы батюшки Леонида и при содействии всемогущей благодати Божией, я решилась наконец на последнюю крайность...

Приказала я собрать всех сестер к себе в келью и объявила им, что ввиду тяжкого со-

блазна, который угрожает всему монастырю, они должны удвоить свою бдительность, и особенно усугубить молитвы, а что я до последней капли крови постою за монастырь при помощи старческих и общих молитв. Объявив о том сестрам, я Александре Викентьевне запретила ходить в церковь, и в особенности к вечерне...

Приблизился для полка праздник — день Ангела полкового командира. Я приказала сготовить пирог с разукрашенными печеньями и просфору о здравии именинника и своего ближайшего соседа и все это послала к нему с матерью казначеей Магдалиной и матерью Досифеей, и приношением этим полковник наш был отуманен, как Валтасар, и попался в ловушку, как Олоферн. Наговорил он тут нашим посланницам с три короба всяких глупостей, а мать Досифея, не переча ему по мыслям, тоже с ним острила и шутила.

— Вы меня уверяете, — спрашивал полковник, — что мать игумения меня полюбила?

— Да как же вас не любить, — пресерьезно ответила ему мать Досифея, — когда вы нас почти каждый день забавляете!

И так всё в том же духе.

Расстались они с полковником такими приятелями, что хоть бы весь век жить вместе. И обещал полковник явиться ко мне с визитом; а Досифея-то моя будь умна да и скажи на это полковнику:

— Покорно просим пожаловать, ваше высокопревосходительство!

Это величание его еще более восхитило, и он обещал непременно утешить нас своим посещением, вероятно, уже предвкушая в своем антихристианском сердце образовать из монастыря готовый сераль с мусульманскими гуриями.

Недолго собирался полковник с визитом: уже на следующий день пожаловал ко мне его адъютант просить разрешения явиться.

Конечно, я ответила, что, мол, просим покорно дорогого гостя. Является гость в полной парадной форме.

— Добро пожаловать, — говорю я, — ваше высокопревосходительство! Покорно прошу — садитесь. Да чем вас потчевать? Мы вот скоромной-то пищи не употребляем, да нынче-то и день постный...

— Да, я слышал, — отвечает мне весьма любезно полковник, — слышал. Только, знаете, вы это напрасно: к чему эти посты? Это все одна глупость, выдумка, одна фантазия!

— Ну, — говорю я полковнику, — это, ваше высокопревосходительство, не нами установлено, не нами заведено, не нами и кончится.

И пока-то мы так говорили, девушки наши монастырские, по моему распоряжению, то та, то другая — ко мне, будто как за делом, и всё глупый разговор-то прерывают. А он не понимается и всё продолжает болтать свои глупости:

— Вы, мать, напрасно своих девушек так строго держите и никуда не пускаете. Ишь, какие хорошенькие! просто — прелесть: не стыдно бы их и моим кавалерам под пару!

А девушки мои поминутно ко мне вбегают и всё наш разговор прерывают. Я делаю вид, что на них гневаюсь и выговариваю им:

— Ах, подите вы от меня, — право, надоели!.. Вот так-то, — говорю я полковнику, — ваше высокопревосходительство, начальнику-то: всё хлопоты, и не можно днем хорошего человека принять, — и поговорить-то свободно не дадут — сами видите. То ли дело — вечерком: никто нам тогда не помешает. Да вы приходите по-домашнему, без формы, а то нам без привычки страшно на вас и посмотреть!

— Так, так, мать с удовольствием! — отвечает он мне, — только уж вы, мать, будьте тогда откровенны!

На этом мы в этот раз и простились с господином полковником.

На следующий день этот господин со своими сорванцами пожаловал к вечерне, и в церкви началось бесчинство с еще большим нахальством. Тут подошла к полковнику мать Досифея и говорит:

— Ваше высокопревосходительство! вас мать игумения просит к себе.

— А, прекрасно, — говорит он, — идем!

Приняла я его так же благосклонно, и он начал с еще большею дерзостью и нахальством говорить мне самые непозволительные пошлости.

Делать нечего, протянула я время, пока от вечерни из церкви все вышли вон. И когда мне об этом тихонько доложили, то тут уж я тон свой переменила.

— Девушка! — крикнула я, — а что, из церкви вышли?

— Вышли, матушка.

— Так, запирайте ворота и калитки, а ключи принесть сюда!

— Ключи здесь, матушка.

— А что ж, — спросила я, — сошлись старшие монахини?

— Есть, — отвечают они, — человек тридцать, матушка!

— Довольно! пусть войдут сюда!

И когда вся моя приемная наполнилась монахинями, я обратилась к ним и громким, решительным голосом сказала:

— Вот, матери, судите меня с этим человеком!.. А вы, господин командир Государева полка, принявши присягу пред святым Евангелием в добросовестном служении Богоучрежденной власти Царя и Вере Православной, знаешь ли ты, что присягой этой ты поставлен быть блюстителем закона и благочестия в России, и особенно во вверенном тебе полку? Известно ли тебе, что и игумения монастыря имеет от Бога чрез Святую Его Церковь повеление и святую обязанность блюсти в себе и во вверенном ей словесном стаде Христовом девство, целомудрие, чистоту и заповеди Божии? Знаешь ли ты, что эта обязанность предлежит и всем христианам, но что мы, монахини, в этом еще даем особые и страшные обеты, как и ты присягу твою, перед святым Евангелием во услышание всей Церкви?.. Теперь: если в военное время неприятель атакует полк, что

тогда должен делать полковник? — скажите нам, господин, а мы послушаем!

— Конечно, — отвечал растерявшийся от неожиданности полковник, — принимать все меры, чтобы отбить неприятеля, хотя бы это и жизни стоило.

— А если бы кто изменил Царю? — спросила я.

— Тому, — сказал он, — политическая смерть или расстрел.

— Хорошо!.. Ну а если волк попадется в овчарне, что должен хозяин хищному волку сделать? оказать ему милость и выпустить на волю?

— Что за детские вопросы вы предлагаете мне, мать игумения, — смешно, право! Ну ясно как день: обыкновенно убить волка, и всё тут.

— Покорно благодарим тебя, господин полковник, за твой праведный суд, — сказала я, — и этот суд твой мы теперь же и совершим над тобою, как над волком, расхищающим агниц Христовых. Дело решенное: ты исполнение этого суда получишь в эту же ночь... А теперь что вы, матери, скажете: убить ли нам сего волка или глаза ему выколоть?

Раздалось несколько голосов:

— Лучше, матушка, глаза выколоть!

— Матушка! — выступила тут из рядов мать Оболенская, — матушка! какая неволя руки поганить в волчьей крови, все одно, что в собачьей, а лучше повесим его как собаку, да и только!

— Нет, нет, Маргаритушка, — сказала я, — не дело говоришь: тогда все вы должны

будете подлежать уголовному суду, а я вам сказала, что одна за всех жертвую собой. Подведем мы его к калитке, и я палкой выколю ему глаза, а вслед предам себя в руки правосудия. Пусть уже он останется живым — все-таки еще и покаяться может... Прощайте, сестры, может быть, более не увидимся! Поминайте в своих молитвах мать вашу, положившую свою душу за вашу непорочность и за охранение ваших девственных обетов, хранить которые я обещалась Богу до последнего издыхания. Пусть я, грешница, буду для вас живым примером.

При этих словах я поклонилась им до земли.

Тут прямо стон поднялся в моей келье: плач, рыдание, скорбные восклицания!..

— Матушка! — кричали мне сестры, — мы все идем с тобою — пусть всех нас посылают на каторгу!

— Нет, — заявила я решительно, — оставайтесь все, я одна иду. Подайте мне ваточник поплоше: на что мне в тюрьме-то хороший?.. Теперь прощай и ты, господин полковник: больше ты отныне меня тоже не увидишь!

И я и ему поклонилась в ноги.

И что же в моей немощи совершила сила Божия!.. Пока я все это говорила, полковник мой все время стоял как остолбенелый и молчал, только трясся как в лихорадке. Когда же я ему сделала земной поклон, то он зарыдал как ребенок и в ужасе воскликнул:

— Права ты, мать игумения! и повинен я лютой казни; но чем же виновато семейство

мое? жена, дети?.. Они должны остаться навек несчастными — умоляю тебя, сжалься над ними!

— Господин! — ответила ему я, — я лучшего счастья не могу им доставить, как вернуть им отца с вечным уроком благочестия и добронравия. А что они теперь, несчастные? по примеру своего развратного безбожника отца, они и сами будут такими же!

— Нет, матушка, — воскликнул полковник, — клянусь вам — я уже не останусь таким!

— Не легче нам от этого, — возразила ему я, — вишь у тебя полк — ты всех своих сорванцов заразил своим безбожным развратом. Да и за тебя ручаться опасно: забудешь эту свою ловушку и будешь мстить; а мы — люди беззащитные: один Бог — наша надежда, Который лишил тебя здравого рассудка. Кончено! и суд кончен!

— Святые матери! — взмолился полковник, — помилуйте, уговорите свою праведную игумению! Я все, что угодно, для вас сделаю!

Тут вступилась за него мать Досифея.

— Матушка! — сказала она, — а что если господин полковник оставит Севск? Ведь он может переменить стоянку своего полка в другой уезд — тогда нам не может уже быть никакого опасения.

— Хорошо, Досифеюшка! — сказала я ей в ответ, — а ну как он нас да обманет? Ему ведь только отсюда дорого выбраться, а тогда он другое запоет!

Не успела я этого сказать, как полковник бросился мне в ноги, стал на колени и сквозь слезы начал умолять меня простить его, восклицая:

— Нет, нет, матушка, не солгу! Даю вам торжественную клятву пред Господом Богом и перед всеми Святыми, что завтра же распоряжусь о перемене полковой стоянки. Только молю и вас, матушка и сестры, здесь присутствующие, дайте и вы мне клятву в том, что тайна этого вечера, пока я жив, останется тайной!

Подумала я, посоветовалась тут между собою с сестрами; и согласились мы помиловать на этих условиях полковника, но я сделала одну оговорку, что тайна эта до времени, которое после его смерти определит Господь, останется тайной для всех, кроме моих Старцев духовных, которым я это открыть должна. На том и порешили, дали друг другу взаимную клятву, целовали крест, и после четырехчасового испытания с хлебом-солью мать казначея с матерью Досифеей проводили полковника до его квартиры, где и расстались с тем, чтобы уже более на этой земле не видеться.

Полковник свято исполнил свою клятву, и на следующий же день после памятного для всех нас вечера он отправил своему начальству рапорт, в котором донес, что хотя он и полк стоянкой очень довольны, но так как во всем уезде тинный прудовой водопой, производящий по наблюдению ветеринара в лошадях мыт и зуд, от которых лошади очень худеют, то он и

ходатайствует о скорейшем переводе полка из Севска.

Недели через две, слышим мы, гремит музыка, играют походный марш, и драгунский полк вместе со своим полковником и всеми офицерами выступил навсегда из Севска, а у нас в обители водворилась тишь да гладь да Божья благодать.

Так совершилась Божья сила в немощи моей человеческой. Вот отчего улыбался при встрече со мной и звал меня «фельдмаршалом» великий Оптинский старец Леонид».

Наказывал Господь русское воинство за отступничество от великого примера боголюбивого Суворова, истинного христианина и верного сына Православной Церкви, казнил Наполеоном, наказывал Севастополем, Парижским трактатом, Берлинским договором, покарал, наконец, кровавой казнью Японской; гремит ныне гнев Божий и над флотом нашим, почти уничтоженным, и над войском, разбитым и опозоренным в грозе изменнических мятежей и позорных расстрелов безбожных изменников Богу и Царю Православному; с великим трудом остаток воинской чести и доблести и былой суворовской славы поддерживают верные присяге войсковые части во главе с доблестным Семеновским полком; ученые и многоученые военачальники изобретают реформу за реформой для преобразования когда-то великой русской армии, но никому, о Боже великий! — никому невдомек, где корень все-

му злу, которое губит и Россию, и непобедимую ее некогда армию!

Не наведет ли подвиг Севской игумении Магдалины и стыд посрамленного слабой старушкой монахиней полковника на верный путь тех, кому ведать надлежит обновление нашего несчастного войска и обезумевшей России?! Благослови, Господи!..

НЕСЧАСТНЫЙ

В одну из моих поездок в благословенную Оптину Пустынь довелось мне встретиться с одной Божьей старушкой, устроившейся доживать свои дни поблизости от этого святого места.

В страшные дни, переживаемые Родиной, терзаемой внутренними и внешними врагами, единственным приютом, где сколько-нибудь успокоивается и смиряется взволнованное сердце, могут служить только эти тихие пристани духа — наши православные русские монастыри, в которых еще чувствуется дыхание Духа Животворящаго, ощущается веяние умиротворяющей благодати святыни. Вне — злоба, ненависть, развал политических и иных страстей; внутри, в ограде монастырской — тишина, затишье, тайна Божьяго домостроительства, созидающего новую жизнь нового человека-христианина для новой земли и неба, где правда обитает.

Нет слаще и вожделеннее для смятенного духа или маленькой скорби маленького челове-

ка, как тихая эта пристань молитвенных воздыханий человека к Богу. И ютятся эти маленькие люди с трепещущим сердчишком к великому дому Господню: приходите только и пейте от источника воды живой, текущей в вечность — в дому Господнем всем места хватит!..

Моя старушка, от имени которой я и поведу сейчас свой рассказ, была из тех, для простоты которых смысл и значение Оптинской благодати утаены не были, и приютила она свою серенькую одинокую жизнь под ее воскрылия. Тут-то и была наша с ней встреча, за встречей беседа, а за беседой и история помощника казначея одного из уездных казначейств нашего обширного отечества. Показалась она мне полезной для тех, кто хочет и, с помощью Божией, умеет поднимать свой взор от земли к небу: я и записал ее со слов моей Анны Дмитриевны, а теперь предлагаю вниманию моего читателя.

I.

Вот что поведала мне Анна Дмитриевна.

«Во второй половине прошлого столетия, приблизительно в предшествующее эмансипации десятилетие, на должности помощника казначея Е. уездного казначейства состоял некто Андрей Александрович Карасев*. С ним-то и произошла та история, которая, ударивши по нем, коснулась до известной степени и меня. Андрей Александрович, старый одинокий бобыль, умер в доме моего отца, секретаря мест-

* Фамилия вымышленная.

ного общественного банка, и повесть своей жизни рассказал мне незадолго до своей кончины.

На памяти моей Карасев был человек крайне молчаливого, и даже на вид несколько угрюмого, характера. Но отличительной чертой этого замкнутого и в себе сосредоточенного человека была его ненависть к тому полу, который в те времена звался слабым и прекрасным, то есть к нам, женщинам. Одной мне да женской половине нашего семейства он еще делал исключение, а от остальных женщин бегал с угрюмым и ненавистническим видом. Ко мне у него было даже что-то вроде нежной дружбы, поскольку она могла проявляться в молчаливой суровости его отношений; со мной он иногда и заговаривал сам, и так это было необычно, что даже отец мой заметил и полушутя-полусерьезно попробовал ему один раз сказать:

— А что бы вам, Андрей Александрович, жениться на Анюте? А то ведь пропадет ваша пенсия!

Надо было видеть нашего женоненавистника при этих словах моего отца! Он весь както съежился, собрался в себя и резко так ответил:

— Нет, кум! меня на это не возьмешь: у меня на всякую свадьбу заклятье, и меня женить — легче гору своротить!

Сказал как отрезал и вышел в другую комнату. Ведь чуть не поссорился он тут с отцом, а уж на что его любил, и даже кумом его доводился, крестив у него младшую мою сестру, Клавденьку.

По счастью, размолвка не была продолжительна, и дружба его ко мне из-за нее нисколько не пострадала, а к концу жизни его даже еще более усилилась. А все-таки пенсия после него пропала.

Так угрюм и молчалив был Андрей Александрович, что, если бы не его пристрастие к игре в карты, в «мельники», «свои козыри», в «шестьдесят шесть» и тому подобные безобидные домашние карточные игры, во время которых он несколько оживлялся, да любовь его к чтению вслух духовных книг, которые он любил нам читывать, его, иной раз, можно было принять, с его болезненным видом, за мертвого человека. По этой его молчаливости можно было бы думать, что и история его жизни ушла бы с ним в могилу, если бы не его предсмертная болезнь и мой уход за ним во время этой болезни: это нас с ним сблизило настолько, что душа его открылась и поведала мне свою сердечную тайну.

Быть может, ее и знал кто-нибудь из Еских старожилов, где мы жили и где служил Андрей Александрович, но мне-то она стала открываться в последний год его жизни, а уже окончательно открылась только незадолго до смерти этого несчастного человека.

Собиралась я как-то утром к поздней обедне. Андрей Александрович, как свой уже человек в нашей семье, пил с нами чай и, по обычаю своему, помалкивал. Пока наши пили чай, а я собиралась, принесли с почты письмо, адресованное на его имя. Письмо он прочел, как

будто несколько изменился в лице, перекрестился да и говорит мне:

— Анюта! На тебе рубль: пойдешь в церковь — подай за упокой души новопреставленной Синклитикии и отслужи по ней панихиду!

Я взяла рубль, сходила к обедне, помянула рабу Божию Синклитикию, отслужила по ней панихиду и вернулась домой. Села пить чай, смотрю — на полу лежит разорванный и неубранный конверт от письма. Я подняла его, взглянула на адрес и увидала внизу подпись: «Из тульского тюремного замка...» Меня это поразило: кто бы это мог у Андрея Александровича умереть, да еще женщина, и где же еще — в остроге? Близких, мы все знали, у него никого не было. Знали мы, что он когда-то был женат, но жена его, как он сам сказывал, у него умерла давно... Кто бы это была умершая в остроге Синклитикия?.. И имя-то какое-то странное!.. Спросить же самого Андрея Александровича я боялась, а помимо него узнать было неоткуда. Так прошел почти целый год, и я каждый раз, как ходила к обедне, носила Андрея Александровича рубли на помин души новопреставленной рабы Божией Синклитикии. Было очевидно, что на этом имени я встретилась с тайной его души, но, что это была за тайна, выяснилось, как я уже говорила, при конце жизни нашего кума.

II.

Вот эта история.

В начале 50-х годов прошлого столетия Андрей Александрович был, что называется,

мужчина во всей красе возраста, да и положение, по должности помощника казначея, для того малотребовательного в глухой провинции времени занимал немалое и, стало быть, для многих невест нашего города был приманкой хоть куда. Однако внимание завидного жениха не обратили на себя барышни состоятельного круга, а выбор его, вопреки ожиданию многих, остановился на круглой сироте, жившей из милости в одном богатом доме нашего уездного города. Красавица она была на редкость, но только и было у нее приданого, что ее выдающаяся красота, и было естественно, что Андрею Александровичу не пришлось за ней долго ухаживать, и скоро в городе прошел слух о близкой их свадьбе. Вскоре слух этот подтвердился: на жениховский счет невесте было сделано приданое, а тут же вскоре их и повенчали. Совершилось все это быстро: горожане наши не успели толком и посудачить о женихе с невестой, как они уже стали мужем и женой.

Вот с этого-то рокового дня свадьбы и началось злоключение всей жизни Андрея Александровича.

Из церкви, после венчания, молодые приехали благополучно домой, где их и всех многочисленных свидетелей нового супружеского счастья ожидал обильный пир: Андрей Александрович не жалел издержек, чтобы как можно торжественнее отпраздновать праздник своего сердца. Но Бог судил иначе, и праздник обратился в горе, а веселие — в плач, и на плечи молодому свалилась такая скорбь, кото-

рой наши горжане в патриархальности своих обычаев не только не видывали, но о которой даже и слухом-то не слыхивали.

По приезде из храма после венчания домой, молодые супруги были встречены толпой поздравителей разного пола, звания и возраста. Полилось шипучее искрометное вино; раздались шумом восклицания, поцелуи, приветствия: в общем приветственном гуле и суматохах смешалось все — и поздравители, и новобрачные. Затем веселая и шумная толпа разделилась на группы и разъединила новобрачных... А искрометная влага хлопала пробками, и рекой разливалось по бокалам шампанское...

Молодой сиял радостью увенчанной любви, но непродолжительно было его счастье... Распорядитель брачного пира пришел приглашать новобрачных и гостей к обеденному столу, стали соединяться разрозненные группы приглашенных, и тут заметили, что самой виновницы торжества нет ни в одной из собравшихся групп гостей. Раздались по всему дому восклицания:

— Синклитикия Платоновна, где вы?

А Синклитикии Платоновны и след простыл. Искали ее по всему дому, обыскали, можно сказать, все мышиные норки: бегали в сад, искали по двору, во всех дворовых хозяйственных постройках... С молодым обморок сделался; а молодая как сквозь землю провалилась, — так и не нашли Синклитикии Платоновны.

Тут всем стало ясно, что сотворилось что-то неладное, настолько что-то необычайное, чему жители нашего города сгоряча даже и

названия подобрать не сумели. Что же вышло? А вышло то, что Синклитикия Платоновна для отвода только глаз заглянула в квартиру мужа и вслед, воспользовавшись поздравительной суматохой, под каким-то благовидным предлогом вышла из залы, прошла на крыльцо, где уже стоял дорожный экипаж и укатила в направлении к выезду из города. Все это, как потом оказалось, видели соседи и ахнуть не успели, а понять-то уже только потом поняли, когда дознались, что Синклитикия Платоновна сбежала с одним молодым местным помещиком. Узнал об этом и несчастный молодой, но горю своему уже не мог ничем помочь: и молодая, и ее соблазнитель скрылись бесследно из нашего города.

Кто-то из купцов наших, имевших торговые дела в Поволжьем, спустя несколько месяцев после сего романического приключения встретил будто бы беззаконную парочку где-то, кажется, в Саратове, но обездоленному Андрею Александровичу легче от этого не стало, и он, по коренному обычаю большей части русских несчастливцев, запил с горя мертвую.

Долго пил Андрей Александрович свою мертвую чашу; пил ее не неделю, не две, а пил месяцы. Конечно, такой образ жизни не мог не отозваться на службе, но начальство с полгода по крайней мере терпело его гибельную страсть, сочувствуя его безнадежному горю, пока не было вынуждено сделать ему первого замечания.

За замечанием последовало предостережение; за предостережением — выговор; но, по-

катившись раз под горку, Андрей Александрович уже не мог остановиться, и пришлось ему вовсе уйти со службы. Любившее его начальство, расставаясь с ним, сказало ему на прощанье:

— Опомнись, Андрей Александрович! Опомнишься — опять на службу примем.

Хоть и посуровее те времена были против нынешних, но больше по виду: стлали жестко, зато спать было мягче. Теперь наоборот: «На устах — мед, а в сердце — лед», — говорит мудрость народная. Грубоваты были, что и говорить, тогдашние нравы, особенно в нашем захолустье, но сердца умели судить по человеку и сочувствовать страданию ближнего. Таково было и начальство Андрея Александровича, увещавшее его опомниться.

Но где было ему в то время опомниться?! Со службы он ушел, а затем вскоре и вовсе выбыл из нашего города.

Посудили-порядили наши горожане о событии, погоревали о неопытной его жертве, предали анафеме и коварную, и ее соблазнителя, а затем, как все на свете забывается, забыли и опозорившее наш город приключение с новобрачными...

III.

Но не забыло его бедное, измученное сердце Андрея Александровича.

Следующий период его жизни, после того как он расстался с нашим городом, застает его в губернском городе Т., куда он со скудными

остатками своих сбережений, с погибельной страстью ко всероссийской утешительнице — чарке перевез и свое одинокое горе.

Когда было пропито все и оставалось только носильное платье, чудом уцелевшее на его грешном теле, пришло время ему волей-неволей приостановить свой запой. В Т. нашлись добрые люди, разглядевшие и под пьяным обличьем живую и страдающую человеческую душу, и, когда кончился запой, определили они Андрея Александровича по вольному найму писцом в губернское казначейство.

Старая, привычная работа затянула мало-помалу своим механическим трудом когда-то образцового служаку, и потекла для него обновленная прежняя чиновничья жизнь — серая, тусклая, однообразная... а все же — жизнь...

Андрей Александрович смирился, но с этого времени сделался тем женоненавистником, каким я его впоследствии узнала, замолчал наглухо и молчал так крепко, что только перед открытой своей могилой рассказал одной мне, и то по особому доверию за мой уход во время его болезни, историю своей искалеченной, горькой жизни.

В Т., однако, недолго пришлось ему пользоваться своим относительным покоем; недолго продолжалось мрачное полузабытье, которым душа его стремилась отделить себя от соприкосновения с міром...

Снимал он в одном из т-ских переулков, поближе к казначейству, не то от хозяев, не то от жильцов комнату окнами в переулок.

Как-то, уж под вечер, — дело было поздней осенью, — придя со службы и отобедав чем Бог послал, засел он, по усвоенному обычаю, к окошечку и стал глядеть на улицу... Известны картины провинциальных переулков глухой осенней порой, когда на них спускается сумрак ненастной, холодной ночи!.. Лил дождь, обмывая запыленные летом и засиженные мухами стекла. Темнело, скорее, серело. Андрей Александрович все сидел да сидел, не отрывая мутного, безжизненного взгляда от потемневшего окошка, бессмысленно, но упорно следя за струйками дождя, слезящими оконные стекла...

Весь ушел он в свое безотрадное, унылое одиночество. Тоска — впереди, беспросветная, глухая ночь! А позади? жгучая, кровная, незаслуженная, несмытая обида, непоправимое, неисцельное горе.

Вдруг — стук в соседнее окошко!.. Там — другой, третий... И кто-то упорно забарабанил сперва по стеклу, а затем уже сильнее по оконной раме. Настойчивый, наглый стук этот вывел горемыку из его забытья; сжалось сердце от предчувствия какого-то нового неожиданного удара; Андрей Александрович встрепенулся, вскочил и бросился к окошку, в котором от стука дребезжали стекла... Не успел он его открыть как следует, как чья-то рука в полуотворенное окно сунула ему какой-то мягкий сверток и из сумрака сгустившейся осенней ночи вместе с порывом ворвавшейся в комнату промозглой, холодной сырости, как отравлен-

ный кинжал, в самое сердце Андрея Александровича вонзил возглас знакомого, любимого голоса:

— Андрей! Это тебе — твоя дочь Татьяна. Люби ее вместо меня!

Пока, ошеломленный неожиданностью и страшной сердечной болью, несчастный успел опомниться и прийти в себя, за окном уже никого не было; а в мертвой тишине захолустного переулка где-то уже вдали погромыхивал и замирал шум колес быстро удалявшейся кареты, уносившей, как и в тот роковой свадебный день, ту, которой так безнадежно было отдано бедное сердце... А это была у окошка она — жена его только по одному, ею опозоренному, его имени... Сон это был, что ли, тяжкий, давящий кошмар?..

Нет, то не был сон: в судорожно сжатых руках Андрея Александровича что-то, закутанное в мягкий женский платок, беспомощно билось и трепетало и что-то пищало так жалобно, жалобно...

IV.

Одному Богу было известно, какое чувство руководило матерью несчастного ребенка кинуть его в руки так жестоко, коварно обманутого ею человека и мужа только по имени, но Андрей Александрович ребенка не бросил.

Когда он опомнился от страшного нервного потрясения, первым его порывом было броситься за извергом — женщиной не пощадившей в нем ничего святого. Он было бросился со

своим свертком на улицу, но злодейки и след уже простыл; один только убогий огонек уличного фонаря, засветившийся на отдаленном перекрестке в сыром тумане осенней ночи, мог бы указать путь, по которому умчалась мать покинутого ребенка, но он молчал, безмолвный свидетель тяжкого преступления, совершенного предательской рукой над беззащитным сердцем. Куда было бежать?.. А между тем живое беззащитное маленькое существо билось в судорожных конвульсиях, надрываясь от беспомощного плача.

Смягчила эта жалкая беспомощность сердце несчастного... И с этой роковой ночи удивленные хозяева, затем соседи, а там и весь переулок узнали, что Бог дал Андрею Александровичу дочку Таню. Одни пожимали плечами не без некоторой доли ехидства; другие недоумевали; третьи пребывали равнодушнее, но таких, конечно, в т-ском переулке было значительное меньшинство, как и во всякой провинции, всегда склонной проявлять особый интерес к интимной жизни ближнего.

«Это — твоя дочь Татьяна!» О, злая, беспощадная насмешка!

И жгла эта насмешка бедное сердце и днем и ночью как раскаленным железом незажившую, болезненную рану сердца несчастного. Что бы с ним было, если бы не ребенок, отвлекавший заботой о себе его сердце от безнадежного отчаяния, — христианину страшно и подумать! Беспомощность и заброшенность ни в чем не повинного младенца, покинутого на его попече-

ние, отогнали от Андрея Александровича черные мысли, и он кончил тем, что страстно полюбил маленькую Таню. Кто проникнуть может в глубину человеческой души? Не перенесло ли отвергнутое сердце своей любви на то, что было живой частью любимой женщины?.. Андрей Александрович не расставался ни на минуту с ребенком; только служба — источник пропитания этих двух заброшенных существ — отрывала его на время служебных часов от маленькой Тани, зато все остальное время было посвящено ей безраздельно. Как же любило, стало быть, его сердце мать этого ребенка!

Но недолго крепился Андрей Александрович: старая тоска, неизжитое горе взяло верх над воздержанием, одолела старая страсть, и — опять завилось горе веревочкой, и затонуло оно в мертвой чаше. Опять запил бедняга.

В Т-е, где его меньше знали, меньше и терпели его на службе; когда стала заметна начальству страсть, вернее, болезнь горемыки, со службой ему пришлось расстаться вторично, — с ней рушилась, стало быть, последняя преграда, сколько-нибудь удерживавшая его от окончательного падения. Опускаясь с каждым днем все больше и больше, растрачивая на свое безумие последние гроши, Андрей Александрович дошел наконец до того, что стал таскаться по самым последним кабакам, пропивая остатки даже домашней своей обстановки. И вот, в один ненастный зимний вечер, когда на дворе бушевала такая вьюга, что добрый хозяин на улицу и собаки не выгонит, забрел он с питомицей своей

на руках в один из последних притонов пьяной страсти. Побоялся он, что ли, тёмной ночью, в морозную вьюгу, возвращаться с ребенком домой, или уже у него к тому времени и дома-то не было, только пришлось ему заночевать с малюткой на холодном земляном полу у кабацкой стойки. Видно, есть до поры до времени у пьяного своя судьба-покровительница, или уж Богу не угодно было погубить исстрадавшуюся душу, только Андрею Александровичу эта ночевка прошла даром, ну а ребенок простудился насмерть и, прохворав с неделю, Богу и отдал свою ангельскую душеньку.

Эта неделя у изголовья умиравшей Тани отрезвила несчастного, и со смертью последней его на земле привязанности отступила от него и его гибельная страсть: он бросил пить и уже до конца своих дней более не прикасался к рюмке.

Что переработалось в его сердце, что вынесла его душа, когда маленький могильный холмик скрыл под собою навеки последний обломок минувшего?

Видно, и яд бывает сладок, если его подносит любимая рука. Люди старого закала это понимать умели. Должно быть, понимал это и Андрей Александрович...

V.

Последний, уже совершенно трезвый период жизни Андрея Александровича прошел весь опять в нашем городе. Опять его приняли на службу в казначейство, где он вскоре и занял

свое старое место помощника казначея. Служака-то он трезвым был отменный.

К тому времени история его уже успела настолько основательно забыться, что для меня она из уст его была новым откровением. Родители-то мои, быть может, ее и помнили, но с нами, дочерьми, об этом никогда не говорили. Наши времена-то были не то что теперешние: и взрослые не всегда знали то, что теперь детям открывают чуть не с пеленок...

Прошло уже пять лет со времени кончины новопреставленной Синклитикии, умершей в остроге. От Андрея Александровича я узнала, когда он поведал мне свою историю, что эта узница была его женой. Двенадцать лет томилась она в тюрьме, так и не увидала больше земной свободы. Тайна ее преступления была унесена Андреем Александровичем в могилу; только стороной, уже значительно позже, довелось мне от кого-то слышать, что ее соблазнитель умер от болезни, которая судебным властям показалась подозрительной, едва ли он не был отравлен, и вот по делу-то об его отравлении и была обвиняема жена нашего горемыки. В те времена суд был долгий, и Синклитикия Платоновна до суда так-таки и не дожила, в остроге отстрадав и отплатив своими страданиями Небесному Правосудию за то зло, которое она на земле причинила бедному сердцу своего мужа. Но за достоверность этого слуха я не могу ручаться: другое было дело, если бы я об этом узнала из уст самого Андрея Александровича, а он, как я уже сказывала, на этот счет

не обмолвился ни одним словом: видно, хорошо умело прощать его сердце.

Со времени своего возвращения в наш город Андрей Александрович поселился жить в нашем доме, и так к нему и к нам привязался, что даже крестил вместе со мною младшую мою сестренку. Духовным этим родством он дорожил до того, что до конца своей жизни звал кумовьями моих родителей. Меня же он звал просто по имени — Анютой.

Так вот, когда прошло пять лет со смерти жены, заболел и наш кум-горемыка. Старый ли запой отозвался на потрясенном организме, а может быть, — кому доступна глубина человеческого сердца — и трагическая смерть жены повлияла, но этой болезни суждено было стать для Андрея Александровича последним этапом к переходу в вечность.

VI.

Необыкновенно заболел своей предсмертной болезнью наш несчастный. Видно, уже так было Богу угодно, чтобы за исключительные его страдания увенчаться ему и исключительной кончиной.

Был май месяц 1881 года, так около 25-го числа. Сирень уже отцвела. Наступало жаркое лето... По издревле заведенному в провинции доброму обычаю, послеобеденные часы посвящались сладкому отдохновению, как тогда говорили, «в объятиях Морфея» или «Храповицкого». После обеда, обыкновенно раннего, — не позже двух часов — и после отдыха у нас к

пробуждению домочадцев ставился самовар, за которым обычно хозяйничали или я, как старшая, или моя мать. На меня же была возложена и обязанность будильщицы.

Андрей Александрович отдыхал после обеда в одной комнате с отцом: отец — на постели, а он — на диване. До этого дня наш кум был совершенно здоров, да и после обеда лег отдыхать ни на что не жалуясь. В этот же день все стали собираться к послеобеденному чаю, а его, смотрю, все нет. Я окликнула его, но ответа не получила. Окликнула опять. Ответа нет. Вошла я в комнату, где он отдыхал, и что же вижу? — стоит Андрей Александрович около своего дивана уже почти совсем одетый; в руках у него жилетка, и он все мнет ее руками, а сам ничего не видит и не слышит.

— Андрей Александрович, а Андрей Александрович! Идите ж чай пить: все уже собрались и вас ждут.

А Андрей Александрович хоть бы голову повернул в мою сторону: стоит как зачарованный, мнет в руках жилетку; глаза широко раскрыты и смотрят куда-то вверх и все в одну точку. У меня сжалось сердце от какого-то предчувствия.

Я опять ему:

— Андрей Александрович! да идите ж: мы чай пить вас дожидаемся!

Как будто опомнился он немного от настойчивого звука моего голоса и на этот оклик стал отвечать, но все не отрывая взгляд от какой-то мне невидимой точки:

— Некогда, некогда мне теперь, Анюта, чай пить: домой надо идти скорее!.. Давай мне сапоги, калоши, шапку, палку!.. Да неси все скорее... Пора, пора!..

Я не поняла сразу, куда это ему домой-то пришла пора собираться, и хотела было обратить его речи в шутку: думала, не заспался ли мой Андрей Александрович.

— А где дом-то ваш? — спросила я его, — куда это вы так идти-то спешите?

— Там — мой дом! — указывая вверх, ответил Андрей Александрович, — там — и мой, и твой, и кума, и всех, всех!..

А глаза стали у него еще как-то больше. На зрачки прямо жутко было смотреть — до того они расширились...

«Так вот оно что!» — подумала я испуганно...

— Там, там — дом наш! — продолжал говорить, точно в забытьи, Андрей Александрович, — все скоро там будем: и кум, и кума... и ты туда тоже пойдешь в свое время!.. Никто дома своего не минует!..

— Да вы разве что-нибудь там видите? — спросила я, а у самой сердце так и заколотилось.

— Все, все вижу, Анюта... Хорошо там, Анюта! Веди меня туда скорее, скорей веди! Уж немного осталось мне до дому: веди скорей!

— А как немного-то?

— Да **три шага** всего, а там и дом!

И Андрей Александрович вздохнул с какой-то особенной удовлетворенной радостью...

Тут вошел в комнату мой отец, и мы с его помощью кое-как надели на Андрея Александ-

ровича его жилетку и пиджак и привели его к чайному столу. Он шел с нами как автомат, с глазами, устремленными все в ту же незримую для нас точку.

Привели его к столу, усадили, налили ему чаю... Он вдруг склонил свою голову на руки и, облокотившись на стол, стал тереть себе одной рукой лоб и все в том же полузабытьи говорить:

— Быть и не быть — статья міра такая!.. В этом вся статья міра: сейчас тут, а завтра — где? Был и нету!... Как — нету? Есть!.. Был, есмь, буду!.. Вот и вся статья міра: быть!..

Все тут мы поняли, что Андрею Александровичу настало время умирать и что это — ему предсмертное видение.

Водворилось торжественное и вместе жуткое молчание... Продолжалось оно довольно долго, а Андрей Александрович все тер свой лоб и приговаривал всё те же слова...

Наконец молчание наше было прервано моим отцом:

— А мне, — спросил отец, — скоро, кум, там быть?

— Вскоре после меня и ты туда пойдешь! — ответил ему Андрей Александрович... И мать, и я, и сестра стали его о том же спрашивать, но в это время у него внезапно покраснело лицо: он как-то полуоткинулся на кресле и захрапел. Глаза закрылись... Мы хотели его поднять, чтобы перенести на кровать, да не осилили — послали за нашим кучером, и с его помощью отец перенес Андрея Александровича на диван в свою комнату. Хотели было там уложить его на ди-

ван, но сделать этого не удалось: какая-то сила приводила его в сидячее положение. Так и оставили мы его сидеть, обложив подушками, а под ноги поставив кресло.

Он все храпел, но лицо уже не было так красно.

В таком положении он провел восемь суток, не приходя в сознание. Призвать хотели доктора, но кум наш до того их терпеть не мог, что отец мой, боясь, как бы он, придя в сознание, не увидел около себя доктора, сделать этого не позволил.

Тяжелое для всех нас было это время — эти восьмеро суток: приходилось и днем и ночью дежурить у изголовья больного, ни на минуту его не покидая, в ожидании, что вот-вот он придет в себя. В конце последних суток у него вдруг открылось горлом кровотечение: два глубоких таза вышло из него крови, и тут он очнулся в полном сознании. Потребовал, чтобы его обмыли; надел с помощью отца чистое белье и, как ни в чем не бывало, только очень слабый, вышел через восемь суток своего забытья к послеобеденному чаю. За столом сидел как здоровый, но уж из-за стола встать не мог: с ним сделалось что-то вроде паралича в ногах и тут-то он уже окончательно заболел своей предсмертной болезнью.

VII.

Тяжелая эта была болезнь, и сопровождалась она таким тяжелым запахом от больного, что отец мой, несмотря на все свое располо-

жение к куму, уговорил его поместиться в городской больнице. Сам свез его туда на своей лошади и сдал с рук на руки больничному начальству.

— Не скучай, кум, — сказал он ему, — навещать каждый день тебя будем. А поправишься — опять к нам милости просим. Видишь — твое дело уже идет на поправку: какие были ноги-то твои? А теперь уже и владеть ими начинаешь. В больнице тебя живо выправят.

Кум обещал не скучать. Но не прошло и двух дней, как он неожиданно для всех нас явился к нам в дом, едва передвигая свои больные, опухшие от водянки ноги. Отец был в это время на службе.

— Обманул кума-то: не остался в больнице, — заявил он нам с болезненной и жалкой улыбкой, — к вам притащился помирать — уж вы меня, ради Христа, не гоните!

У кого же хватило бы духу гнать беднягу, и он остался доживать у нас свои страдальческие последние дни. Но тем не менее в доме ему оставаться было немыслимо: слишком тяжкий дух шел от его больного, исстрадавшегося тела, и мы на общем совете порешили поместить его в нашем саду. Была там у отца небольшая холодная постройка — уютная, чистенькая, заново оклеенная обоями комнатка, куда в летние жары любил удаляться отец мой на ночлег от ночной духоты в доме и от утренних мух; вот эту-то комнатку мы и отвели больному. Был июнь месяц; стояло тепло, и ему в саду было

куда лучше, чем в доме. Только одна беда была: никто из прислуги за ним ходить не хотел, не перенося его запаха. И правда — тяжек был дух от Андрея Александровича!.. Пришлось ходить за больным мне, его куме: так и доходила я за ним до самой его последней минуты.

Тихая, блаженная была кончина страдальца. За две недели до смерти, по его желанию, мы его особоровали и причастили, и с этого дня и до самой своей кончины он не переставал тихонько, про себя, петь: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас!..»

Изредка заставлял меня поиграть ему на гитаре, — я на ней немного поигрывала, — а затем опять принимался петь Трисвятое.

Так прошли последние две недели перед его смертью.

Жалел он меня, что тяжело мне было за ним ухаживать, хотя я ему этого ничем не выражала.

— Потерпи немного, бедная Анюта: скоро, скоро я тебя освобожу — уже и шагу полного не осталось до могилы!

— Полноте, Андрей Александрович, что вы говорите такое: еще мы с вами в «шестьдесят шесть» поиграем. Бог даст, скоро совсем поправитесь!

А где там было поправиться: больной таял, как догорающая свечка.

Он загадочно и грустно улыбался в ответ на мои успокоительные речи, а сам все твердил одно:

— И полного шагу-то и того не осталось!

Я не понимала в то время этих слов: из памяти вышло, что говорил он нам во время своего видения. А дело-то потом само себя оказало, и стало ясно, что это были за «шаги» Андрея Александровича.

24 августа была суббота. Я пошла вечером ко всенощной. Возвращаюсь домой, а мне и говорит прислуга:

— Вас что-то Андрей Александрович вскричался: идите к нему скорей!

Я побежала в сад и с ужасом вижу: стоит мой Андрей Александрович в дверях своего помещения и не своим голосом кричит мне:

— Анюта! беги скорей, купи два хлеба!

И было чего мне попервоначалу испугаться: все время мой больной был без ног, а тут встал сам и стоит у дверей как здоровый, да еще кричит таким, показалось мне, страшным голосом. От изумления и перепугу я ему не сразу ответила, а он опять кричит:

— Беги скорей, покупай два хлеба!

Тут я немного пришла в себя и ответила:

— Успокойтесь, Андрей Александрович, подите лягте: какие теперь хлебы — булочные все заперты.

— Да не эти хлебы — не булочные: небесные два хлеба принеси для нас с тобой, Анюта!

Не поняла я его тут, а он о Причастии, стало быть, говорил, называя его небесным хлебом.

Уложила я его тут в постель. Он совсем обессилел.

На другое утро — было это воскресенье — я собиралась к ранней обедне, а он начал кончаться, и с первым ударом колокола вылетела из измученного тела исстрадавшаяся душа того, кого на земле звали Андреем Александровичем Карасевым.

Умер он 25 августа, а около 25 мая заболел. Ровно три месяца исполнилось его болезни со времени его видения: они-то и были загадочными тремя шагами, отделявшими горькую земную жизнь несчастного от блаженной жизни вечности.

VIII.

Поплакала я по нем, когда его хоронили, — уж очень я к нему привязалась за последнее время, очень пожалела его за все горе, которое довелось перенести на земле горемыке куму. Прошло сорок дней со дня его кончины. Все сорок дней я ходила ко всем службам, подавала за обедней частички за упокой его страдальческой души, служила панихиды... Только на сороковой день вот что произошло со мной: это вы уж как хотите, так и понимайте!..

Собралась я к ранней обедне последний раз помянуть кума у престола Божия; стала одеваться да уж сама не помню как, сидя на стуле, взяла да заснула. Смотрю это — во сне ли то или наяву, разобраться в этом я не умею — и вижу: отворяется дверь в мою комнату и входит сам Андрей Александрович, как живой, но только такой хороший, хороший! и лицо радостное. Входит он и говорит:

— Ты меня не бойся, Анюта! я к тебе только на минуточку: меня насилу к тебе отпустили — уж очень я к тебе просился, и отпустили-то всего на самое короткое время... Да ты меня не бойся же, Анюта!

— Да я и не боюсь вас, Андрей Александрович, — ответила ему я, а у самой поначалу, ох как жутко было на сердце... Потом — ничего, обошлось и стало как-то и интересно, и радостно: что, мол, дальше будет?

— Вот зачем я пришел к тебе, Анюта: я хочу тебе показать, какую я тебе со мной рядом комнату приготовил. Хочешь ее посмотреть?

— Покажите, милый Андрей Александрович!

Тут Андрей Александрович подошел к глухой стенке моей комнаты, что-то там отодвинул, и моим глазам предстала чудная, светлая, невиданной красоты комната; а за ней — открытая дверь в другую, соседнюю...

— Эту вот я тебе приготовил, — сказал мне Андрей Александрович, — а вот та другая, рядом — это моя теперешняя. Видишь, как нам будет с тобой хорошо!*

Сладко-сладко стало у меня на сердце: я забыла весь свой мимолетный страх и уже смело обратилась с вопросом к душе своего кума — я уже знала, что это была душа его:

— Скажите мне, Андрей Александрович, страшно вам было переходить мытарства? Ведь вы уже их, стало быть, теперь перешли, если вас ко мне отпустили?

---

* «И боляй, и служай едину мзду приимут», — говорят святые Отцы. — *Ред.*

— Экая-какая ты, Анюта! — все-то тебе расскажи. Некогда мне, Анюта, — пора домой: ведь я на короткий срок отпущен... Ну да, видно, делать нечего: еще с тобой минуточку побуду... Есть у тебя тут каша?

— Есть! — ответила ему я. Смотрю: действительно, на моем столике откуда-то взялась тарелка, верхом полная каши, и рядом с тарелкой ложка.

Андрей Александрович взял ложку и стал ею брать и откладывать с тарелки по нескольку крупинок каши:

— Вот столько, — говорит он, — отдал я за такой-то грех; столько — за такой, а вот столько — за такой... — Все свои грехи перечитал Андрей Александрович, а тарелка с кашей как была верхом полная, так, вижу, и осталась...

— А вот это все, — добавил Андрей Александрович, указывая на полную тарелку, — отдал я за грех тайной злобы, которую я держал на своем сердце, и только-только хватило мне на расплату... Храни сердечный мир со всеми, Анюта! Всех и за все прощай от всего сердца; не осуждай никого — и сама судима не будешь!.. А теперь пока прощай, Анюта!

С этими словами скрылось мое видение, а я очнулась или проснулась — это уж вы сами рассуждайте как знаете. Как была я полуодетая, так и очнулась, сидя на своем стуле.

В приходском храме благовест уже звал меня к последней сороковой обедне по душе новопреставленного раба Божия Андрея.

Прошло с того вот уже двадцать четыре года, успела я и состариться и здоровьишко растерять, а все еще обещанной комнаты не могу удостоиться: видно, все осуждаю, — не исполняю, видно, как следует посмертного завета на земле несчастного, а в селениях праведных блаженного Андрея Александровича...

Упокой, Господи, душу его в мире и в мире Своем премирном!..»

Такова история, слышанная мною в Оптиной Пустыни от Божьей старушки...

Подумай-ка над ней, дорогой мой читатель! Не наведет ли она тебя на ту правду, которой тщетно добивается твоя душа в этом во зле лежащем міре?!

ИЗ МІРА БОЖЕСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

К 200-летию кончины Святителя Митрофана

I.

В старых рукописях, в которых одно время довелось мне рыться, в поисках святых воспоминаний о великом молитвеннике за грешную Русскую землю, преподобном Серафиме Саровском, я нашел один документ величайшей важности для православно-христианских упований.

Документ этот — письмо некоей генеральши Ефимович к рославльскому помещику, Михаилу Николаевичу Семичеву. Письмо это помечено октябрем 1834 года, и касается оно благодатных чудес Святителя Митрофана, со времени святой кончины которого 23 ноября 1903 года исполнилось ровно 200 лет.

Привожу это письмо в подлиннике.

«Любезнейший братец!

Спешу сообщить вам существеннейшее событие в жизни нашей. Какие чудотворения милосердия Божия явлены нам! Какой явной благодати удостоены добродетельные Соколовские!

У них в селе Преображенском было сие святое событие.

Дочь Василия Азанчевского воспитывалась в Смольном монастыре и десять лет была одержима ужаснейшими болезнями: у нее были припадки беснования; была слепота на один глаз, и имела ногу изболевшую. Обе монархини — покойная и нынешняя* — приложили о ней многомилостивейшие попечения, но все искусство докторов было бессильно и для нее бесполезно, и она оставалась в лазарете безнадежных. Там удостоилась она видеть во сне три раза Святителя Митрофана, который, явившись в последний раз, исцелил ей ногу. Она проснулась, попробовала булавкой онемевшее место, с восторгом почувствовала боль и могла, с помощью ленты, ступить на ногу и ходить. Но она не решилась тогда исполнить приказание Угодника объявить сие чудотворение, боясь неверия своих подруг.

Год, как она отпущена из монастыря. Не имея матери, она в Москве просила родственницу свою свозить ее в Воронеж, но болезнь этой родственницы (ее уже нет ныне в живых), воспрепятствовала сему. Болящая Азанчевская крайне сему огорчилась и непременно

* Мария Феодоровна и Александра Феодоровна.

пожелала, чтобы отвезли ее в Преображенское к Соколовским.

Добрая сестра, Анна Андреевна Соколовская, не щадя своего здоровья, берегла ее дни и ночи, но припадки ее становились так сильны, что во время их самые сильные мужчины не могли ее удерживать.

II.

10 августа было начало чудотворений.

Дочь Соколовского, Елена Павловна Лыкошина, везла малолетнего сына в Смоленск к доктору и заночевала в своем имении в шестидесяти верстах от Преображенского. Там она нашла одного своего слугу умершим; и в ту же ночь видит во сне, что он воскрес и говорит ей:

— Не удивляйся! Это ничего против тех чудес, какие ты увидишь в доме твоего отца. Спеши туда, как можно, к ночи.

Проснувшись в сильном волнении, она тотчас уехала к отцу, куда уже, оказалось, съехались и много родных, сами не зная почему.

В 10 часов вечера начались у болящей припадки сильнее прежних и продолжались до 12 часов ночи... Вдруг она воскликнула:

— Верую, Святый угодник, верую! Но без ленты ходить не могу!..

Говорила отрывисто, как будто кому-то отвечала, а затем — опять:

— Верую! верую!..

С этими словами она вскочила и, кинувшись как бы к ногам Угодника, целовала пол и как бы за кем читала молитву...

Все были в таком волнении, что никто не собрался с силами за нею писать...

Потом болящая села и говорила:

— Не могу открыть глаза — уже десять лет закрыт... Верую, верую! — И кинулась к ногам Угодника; затем наклонилась, как бы под Евангелие подходила под благословение; раскрыла грудь, на коей была рана и в которую еще утром Анна Андреевна вкладывала много корпии, и вдруг вскрикнула:

— Помазал, помазал!

Каково же было поражение всех предстоящих, когда увидели, что рана исчезла...

В четыре часа пополуночи она упала на кровать в сильной слабости и, отдохнувши, спросила:

— Видели ли вы угодника Божьяго святаго?

Отвечали ей:

— Нет, мы недостойны видеть такой благодати.

Она опять сказала:

— Он придет завтра и послезавтра... И другой был с ним Тихон Задонский, но я не могла его рассмотреть — так было от него светло. Он принимал Евангелие от Святителя Митрофана.

Болящая передала слова, которые ей сказал Святитель:

— Вот и я — на помощь твоих страданий! Я прислан от Бога исцелить тебя для прославления Его Имени. Терпи, мужайся и не унывай духом. Много тебе будет искушений, а потом получишь исцеление, не будешь иметь никаких болезней, но будешь страдать за имя мое.

На это приветствие она ответила ему:

— Угодно тебе исцелить меня — я буду прославлять благодать, милость и имя твое; угодно тебе прекратить жизнь мою — я, на одре смерти лежащая, в изнеможении сил скажу: да будет воля твоя!

Потом она рассказывала, что Святитель Митрофан выговаривал ей за то, что она не объявила никому в Смольном монастыре о происшедшем исцелении ее ноги, которое посему было приписано лечению лекарей. Она отвечала, как было выше сказано, что боялась неверия.

Угодник ответил:

— Кто не верит, пострадает более тебя...

III.

В тот день — это было 11 августа — она получила исцеление глаза, ноги и рана ее закрылась, но припадки к 11-му часу стали еще сильнее, и она начала упрекать, что брат ее и Лыкошина не истинно верующие, что они хоть и верующие, но вера их пополам с любопытством, и что она оттого сильнее страждет.

В двенадцатом часу ночи явился ей Святитель Митрофан. Опять было то же моление. Когда пришла в себя, сказала, что Угодник объявил ей, что в следующую ночь он ей откроет жизнь, смерть и Царствие Небесное. К третьему часу ночи спросила себе чистое белье и сказала:

— Рубашка будет освящена нынешнюю ночь.

В десятом часу утра с нею были необыкновенные припадки, продолжавшиеся до трех часов дня.

Следующую ночь явился Святитель Митрофан, открыл ей книгу ее жизни, в коей от самого ее детства вписаны все ее дела, добрые и дурные, ее чувства и помышления. Потом он показал ей смерть. Она закричала:

— Как темно! — и с ужасом искала себе защиты у Угодника, и опять кричала:

— Заступи, помоги, выведи! — и как бы оборонялась от кого-то. В это время тело ее местами вспухало и покрывалось синими пятнами. Потом в трепете и исступлении воскликнула:

— Ах, как хорошо и светло!.. Господи! Ты очистил мою душу!

На ее лице был виден необыкновенный восторг... Потом, вдруг опечалившись, воскликнула:

— Для чего же мне еще здесь жить? Кому нужна жизнь моя?.. Да будет воля твоя, святой Угодник!.. Молю тебя благословить всех, кого я назову.

И стала называть с расстановкой, как бы давая Угоднику повторять, имена всех предстоящих, многих отсутствующих и всех православных христиан.

Тут все с воплем кинулись под ее руки, которые она держала так, как бы получала благословение. А она все время явления хватала Анну Андреевну Соколовскую: видно было, что ей хотелось подвинуть ее к Угоднику.

Потом Святитель Митрофан помазал ее миром. Она подставляла для помазания руки и ноги и отирала их рубашкой. После того как Святитель возложил на ее голову руки, тогда она поспешно велела разбудить всех детей, говоря, что лишь их невинные уста должны прикоснуться к сему освященному месту.

По ее словам, Святитель ей сказал так:

— Вступая в новую жизнь, старайся приобретать нетленные богатства: смирение, кротость, терпение, любовь и несомненную надежду на милосердие Творца и да будет твоим путеводителем вера!

Пришедши в себя, она тотчас попросила везти себя в Смоленск к Божией Матери. Велела снять с себя рубашку, так как Святитель сказал:

— Ты ею будешь исцелять больных.

А затем сказал:

— Тебе явится Ангел-Хранитель.

IV.

18-го числа, в сопровождении всех тогда бывших, поехали в Смоленск; без затруднения и помощи всходила и сходила по лестницам и несколько дней была совершенно здоровою, но часто задумчива, молчалива и сонлива.

Ровно за неделю до Покрова дня — в понедельник — она ослабела, и когда уснула, то вдруг стала ясновидящею: отвечала на мысли каждого, кто сидел дома в третьей комнате. Мучилась, если вдруг чувствовала, что кто-либо искушает каким-нибудь неверием. Гово-

рила такие слова, каких никогда не умела говорить. Потом сказала:

— Не думайте, чтобы это я вам говорила. Нет! я внушена Ангелом — он при мне. Вот он!.. А в самый день Покрова Пресвятыя Богородицы Пречистая покроет меня Своим святым омофором и все предстоящие будут видеть эти чудеса.

Тут все в великой радости хотели послать к своим знакомым, но она не позволила, говоря:

— Довольно будет тех, кому нужно быть. Богу угодно избрать для прославления сих чудес Леонида, ректора Смоленского, Павла и Платона Егоровичей Соколовских и Платона Рачинского.

Эти дни в Смоленске больная была в отрадном положении — и дни и ночи, и говорила:

— Ах, как бы я желала, чтобы вы все могли хотя минуту насладиться этим небесным сном, которым я теперь насладилась!.. Ах, как сладостно, как приятно!..

Она вставала поминутно, переходила из комнаты в комнату; потом опять засыпала и опять во сне начинала говорить. По всему было видно, что она желала освятить весь дом сопутствующим ей Ангелом, потому что переходила из комнаты в комнату по всему огромному дому.

Она чувствовала, ежели кто подъезжал к дому, и говорила:

— Вот еще едут верующие!

Непонятно, по какой причине съехалось шестьдесят человек, хотя никто не был извещен.

Когда кто входил с малою верою, она начинала страдать тоской и говорить с такой убеди-

тельностью, что каждый трепетал и приходил в должное чувство.

Иные боялись, чтобы она именно их грехов не обличила. Она чувствовала их мысли и говорила:

— Боятся иные (не говоря именно кто), чтобы я не объявила их грехов, а забывают, что Спаситель будет судить всех явно, а не тайно и что сей страх означает совесть нечистую.

И в прекраснейших изречениях начала говорить, как мы должны очищать совесть нашу, подобно садовнику, очищающему сад от дурных растений: он не вдруг, но всякий день понемногу их вырывает. Так и мы понемногу должны искоренять наши пороки.

Многие хотели записывать ее слова, но она не позволила, говоря, что эти слова должны быть у каждого в сердце, а не на бумаге...

Одна особа, приехав в тот дом, почувствовала такой неизъяснимый трепет, что не могла оставаться вместе со всеми и ушла в верхний этаж. Болящая хотя и во сне, но явно сказала:

— Бедная! она страдает, и я страдаю.

На другой день она почувствовала, что та молится Богу и сказала:

— Погибающая душа скоро обратилась.

Потом велела позвать ее к себе, стала над нею молиться, чтобы Бог обратил ее к добродетели, обняла ее нежно и начала говорить:

— Другие думают, что мы достойнее ее, а того не знают, что она была последняя, а теперь первая.

Затем обратилась к Соколовским и с восторгом говорила:

— Добрые души! Они не воображают, как часто Ангел записывает их добрые дела. Они вникли в положение Анны Андреевны Соколовской. Милая и кроткая! Душа ее страдает о сыне и молчит, — до сих пор мне ничего не сказала, а он провинился и наказан. Но, слава Богу, что он имеет испытание это в молодых летах.

Сейчас не могу описать вам всех ее разговоров, но скажу о последнем важнейшем происшествии.

V.

По возвращении обратно в дом Соколовских, Ольга Васильевна (больная Азанчевская) начала говеть к будущему воскресенью, то есть к 23-му числу, и в этот день удостоилась причаститься Святых Таин.

В числе посетивших ее во время болезни был Смоленского Авраамиева монастыря архимандрит Леонид, который приезжал 25-го числа, а потом вторично посетил ее 30-го числа, ночевал в доме и на Покров день после обедни уехал. Также был того же монастыря эконом и Болдина монастыря игумен Никодим, и она, сонная, рассказывала каждому о чудесном своем исцелении от Угодника в таком точно порядке, как описано выше...

Можете себе представить, в каком находились все мы волнении в день Покрова Пресвятыя Богородицы!

30-го к вечеру она стала слабеть и велела положить себя в спальне Анны Андреевны, на ее кровать; и тут начались страдания — тоска о неверующих; и так она металась, что боялись, как бы у нее не отвалилась голова. Многие не могли смотреть и вышли из комнаты, кроме Анны Андреевны Соколовской и Елизаветы Андреевны Храповицкой, которых она от себя не отпускала.

К девятому часу вечера опять все собрались около нее, но она так ослабела, что более походила на мертвую, чем на больную. Тут мы заметили, что она начинает вытягиваться, как при последних минутах жизни, с хрипотой в груди, и, наконец, видим непостижимые для человека чудеса: она поднимает руки вверх и так оставляет их в распростертом положении. Потом опускает ноги с постели и делает земной поклон, опуская голову до полу без помощи рук; потом привстает, и по движениям рук, которыми она обнажает грудь и спину, протянутием оных, равно и ног, мы заключаем, что она помазуется Царицей Небесной. При сих действиях говорит:

— Радуйся, Радосте наша! покрый нас честным Твоим омофором.

Сие повторила два раза. Потом становится на ноги и от слабости падает на постель, а ноги ее уже мы должны были положить на постель при помощи других, близстоявших. Затем мы увидали, что сложила руки, как будто для получения благословения. Тут она начала говорить имена всех родных, всех здесь присутствовав-

ших, отсутствующих и всех христиан, верующих во Имя Божие, — и все это очень внятным языком... Потом, помолчав немного и все продолжая держать руки в том же положении, она сказала:

— Еще прикажешь?.. Не угодно?.. — Приняла руки и положила их на грудь со словами:

— Да будет воля Твоя!

Немного погодя она воскликнула:

— Свершилось, свершилось! — и с сими словами села на постель и уже в полном сознании сказала:

— Прославим единым сердцем и едиными устами чудеса Божии!

Засим начала с нами обниматься, а мы — ее поздравлять с благодатию исцеления...

Во все время происходившего мы все стояли на коленях в великом страхе и рыдали.

Исцеленная после этого осталась в постели. Сидя в постели, совершенно здоровая, спросила просфоры, а потом горячего чаю, который ей и подали. Она в этот день ничего не пила и не ела... В постели она оставалась до следующего дня.

В восьмом часу утра 1 октября призван был священник отслужить благодарственный молебен и акафист Божией Матери. Затем она встала, и мы все пошли пешком — также и она с нами — в церковь, где отслушали Литургию и молебен угоднику Божию Митрофану.

Теперь Ольга Васильевна совершенно здорова.

При исцелении были:

1) Архимандрит Авраамиева монастыря Леонид;

2) поручик Александр Васильевич Азанчевский и сестры его, гвардии капитана дочери — девицы, Анна и Екатерина;

3) жена штабс-ротмистра Елена Павловна Лыкошина с малолетним сыном, Николаем;

4) живущая в доме Азанчевских из дворян девица, Авдотья Семеновна Азанчевская;

5) генерал-майор Иасон Семенович Храповицкий с женой, детьми, с живущей в их доме девицей, Александрой Алексеевной Курашевой, и гувернаткой, Елизаветой Егоровной Доланд;

6) полковник Василий Иванович Рачинский с братьями своими Платоном, Иваном и сестрой Александрой;

7) Павел и Платон Егоровичи и Анна Андреевна Соколовские и прочие, подробно в письме поименованные».

Самому міру не вместить описания всех чудес, источаемых милосердием Божиим над грешным человечеством через святых Своих угодников. Наши Четь-Минеи, Прологи — неистощимое море чудес и знамений, совершенных и до наших дней совершаемых благодатью Святаго Духа по истинной и нелицемерной вере в Господа нашего Иисуса Христа. И если приблизилось к нам тяжкое и лютое время, когда, видимо для всех верующих истощается чаша долготерпения и милосердия Божия, а с истощением ее сокращаются и чудесные явления

Духа Милующаго, то не на Бога вознесем мы хулу нашу за жестокие язвы, на нас налагаемые, а на самих себя: мы — отступники от веры Христовой, мы — тати и разбойники, ставящие в безумной гордыне своей престол свой выше Божьяго, самих себя — на место Творца всяческих. Безумцы мы, жалкие мы, ослепленные миражом устроений земного нашего благополучия, разрушители старого и внутри себя творческого духа для создания нового не имеющие! Куда мы идем, в какую бездну стремимся очертя голову? мы, дерзающие признавать христианство дискредитированным, отвергающие Того, Кто один только и есть и Путь, и Истина, и Жизнь и без Кого мы не можем творить ничего ни в духе, ни в истине?! Откуда же, откуда же возьмем мы дар творчества, когда Первоисточник всякого творчества нами отвергнут, алтари Его повергаются, храмы поруганы, а призванные быть сосудами благодати Духа Святаго — священство царское — стадо Христово и его пастыри и учители предались не устроению Небеснаго Царства в душе человеческой, а царства плоти, противления Духу Христову, всякой мерзости, хищения и лицемерного обмана в деле, в слове, в помышлении? Можем ли мы требовать у Бога Его милостей, Его чудотворений, Его знамений к нашему благу, к нашему спасению и здесь на земле и там — на небе, когда доходим и уже почти дошли до полного отрицания Самого Всевышнего?.. Так не говорите же, хулители Духа, остатку верных и тем, чья вера под злодейским

и братоубийственным вашим натиском изнемогает: где Бог ваш и где явления Его Духа, подобные описанному? Не говорите, не дерзайте кощунственно глумиться над достоверными свидетелями веры, бросая в них грязь вашей клеветы, что свидетельство их — лживые легенды, сказки, плод нафанатизированного воображения. Вы требуете, чтобы эти чудеса и знамения были вами запротоколены, вашими отступниками, лжецами и клеветниками засвидетельствованы, вашему суду предоставлены, и тогда только вы им поверите, а святым вселенского христианства всех веков вы не доверяете... Хорошо сказал про вас Спаситель: «если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес — не поверят...»

Так пусть слова, запечатленные верой этого рассказа будут вам, отступники, во свидетельство, чтобы не сказать вам в день Судный: не было во времена наши свидетелей милости Твоей, Господи!

Христос — вчера, днесь и во веки Той же. Аминь.

Николо-Бабаевский монастырь
22 июня 1906 года

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИВОЙ ВЕРЫ

Из келейной монашеской сокровищницы

I.
Истинное событие из жизни княгини Анны Феодоровны Голицыной

(Из рукописи монаха Арсения)

В тридцатых годах прошлого столетия, стало быть, с небольшим 70 лет тому назад, жило в Москве семейство князей Голицыных, род которых, вероятно, и до наших дней не потерял еще связи с Первопрестольной и в потомстве своем, надо полагать, и теперь еще здравствует и благоденствует во славу Божию и Родины. Думаем так потому, что полагаем: от семени доброго растет и древо доброе. А от доброго дерева каким же и плодам-то быть, как не по роду его? Так, по рассуждению

человеческому, думается нам, если только не успело за семьдесят-то с лишком лет остареть и задичать дерево, корень которого была в тридцатых годах княгиня Анна Феодоровна, в девицах Боборыкина, а по мужу Голицына. Вот о ней-то мы и поведем сейчас речь со слов келейных записок, оставшихся по смерти престарелого инока, современника описываемому в них событию.

Княгиня Анна Феодоровна была по тем, еще сравнительно богобоязненным временам, женщина простая в своих обычаях и, по замечанию лиц ее знавших, обыкновенная рядовая православная христианка: добрая жена своему мужу, добрая мать своим детям, и жила с мужем во времена описываемого события уже 11 лет с небольшим. Теперь такие жены и матери на редкость, а тогда они еще не были в диковину... От природы княгиня была сложения слабого, нрава тихого и спокойного, всегда ровного, простосердечная, но в православной вере твердая. В те времена высшее столичное общество увлекалось чтением мистически-масонских книг, располагавших ум и сердце к пиетизму или просто к полурелигиозной мечтательности, и редкие из представительниц этого общества могли избежать тонкого яда этой духовной заразы. Строго православно настроенная и утвержденная в вере отцов, княгиня Анна Феодоровна избегла общей участи, оценив по достоинству масонскую пропаганду не столько умом своим, сколько верным чувством своего православного сердца.

Всецело отдавая себя семейным обязанностям, в них сосредоточив все свои земные удовольствия, княгиня все свои интересы заключила в свой домашний обиход и ему, в лице мужа и детей, отдавала всю любовь и нежность своего любящего сердца. Светские собрания, балы, театры, увеселения были ей чужды: она тяготилась ими и их избегала, не находя в них для себя ничего привлекательного. Любимые места ее прогулок и посещений были святые обители, тихие кладбища, поле, лес, загородные уединенные дачи. Влекло ее сердце к себе уединение, тишина, безмолвие, и только ради них, как для высшего удовлетворения потребности души, она изредка позволяла себе уходить на время от тихого огня своего домашнего семейного очага. Но в домашнем кругу, среди семейных, в беседах с мужем любимой темой для ее разговоров бывали рассуждения о будущей жизни, о состоянии душ умерших за гробом и о приготовлении к смерти. Бывали ей неоднократно благодатные сновидения, о которых она с великим умилением сообщала своим ближним, но в общем порядке своей жизни она не выделялась какой-нибудь особой духовностью, а была просто верующей хорошей русской женщиной, блеск европейского образования не затмил тихого мерцания Божьего душевного огонька истовой веры в Бога и Его Православие. Говела и постилась она каждый пост и всякий раз во время чревоношения близкое к родам причащалась Святых Христовых Таин. Так было и в последний и самый трудный период ее беременности.

1834 год. 7 мая она, после очень тяжелых родов, разрешилась от бремени близнецами-мальчиками. Незадолго до родов удостоилась она в сновидении видеть Спасителя в том виде, в каком он иногда изображается на живописных иконах: во весь рост, в хитоне розового цвета, с голубою верхнею ризой, с раздвоенной на конце бородой, с дивным высоким челом, небесного цвета глазами и с рукою, ее благословляющей. Рассказывая о видении этом в великом восхищении, она передавала, что имела дерзновение просить Господа, чтобы Он преобразился перед нею, как на горе Фаворе перед учениками Своими. И отвечал на ее просьбу Господь:

— Для чего ты теперь этого желаешь? Таким ты Меня узришь, во всей славе Моей, во второе Мое пришествие на землю.

И сказала она Господу в видении этом:

— Тогда устрашусь я, Господи, как и прочие люди; теперь же я этого желаю потому, что очень люблю Тебя, Спасе мой!

И ответил ей Господь:

— Жди же Святой недели!

Прошла Святая неделя, на которой она причащалась, наступил май, совершилось великое таинство рождения в мір двух православных душ близнецов ее, мальчиков, больная стала уже оправляться, а ожидаемого ею чего-то обещанного Спасителем, но ею незнаемого — все не совершалось.

На рассвете 22 мая уже выздоравливавшая княгиня вдруг почувствовала в себе такую пе-

ремену, что, опасаясь быстрой кончины от внезапного упадка сил, потребовала немедленно позвать к ней духовника. Когда прибыл к постели больной духовник со Святыми Дарами, у княгини уже стал тупеть язык, но Святых Таин она удостоилась причаститься еще в полном сознании. Потускневший было взгляд ее после Причащения внезапно прояснился, и на ее спокойном и светлом, но уже помертвевшем лице появилась живость красок возвращающейся жизни. С твердостью духа, замечательной для слабого ее тела, простилась она с мужем, благословила детей и, прося прощения у всех домочадцев, имела достаточно силы сказать:

— Молитесь обо мне Богу, а я также там буду за вас молиться, если буду достойна.

Потом княгиня попросила всех оставить ее наедине с духовником, желая получить от него последние наставления для перехода в вечность и для совершения над ней таинства Елеосвящения.

— Недолго уже теперь мне жить с вами! — сказала она окружающим.

Когда началось над нею совершение Елеосвящения, она велела позвать мужа и, рукою подозвав его к своей постели, тихо спросила его:

— Слышишь ты это пение? оно тебе нравится?

Князь ответил, что для христианина нет ничего более утешительного.

Больная сказала:

— Да! Это пение полезно и важно для земных: только оно одно и может быть для них

утешением. Приучай к нему себя, детей и домашних, а я скоро услышу там другое, лучшее — Ангельское пение... Мне хорошо здесь было и там будет хорошо — ты не плачь обо мне!

Когда кончилось соборование, во время которого она была в совершенной памяти, больная, утомленная, закрыла свои глаза и впала в беспамятство, продолжавшееся более часа и похожее на сон. Но дыхание становилось все реже, тише и незаметнее — чувствовалось разлучение души с телом, и над умирающей духовник прочел молитвы на исход ее чистой и богоугодной души.

К этому великому в жизни каждого христианина часу смертному успели прибыть к постели умирающей один за другим известнейшие московские врачи того времени, доктора Рик...р и Килд...ский. Освидетельствовали они пульс и решительно объявили, что жизнь прекратилась. На лице княгини выступил крупный холодный смертный пот. Один из врачей, державший ее пульс, положил руку покойной ей на грудь и объявил окружавшим:

— Скончалась!

Все присутствовавшие опустились на колени и заплакали...

Велико же было удивление всех, когда несколько мгновений спустя умершая открыла свои глаза, свежие, ясные, и твердым голосом, какого от нее за все время болезни не слыхали, спросила:

— Где я?

Надо было видеть в это мгновение выражение лиц у светил медицинской науки, только что перед тем с непоколебимой уверенностью объявивших о ее смерти. Надо было видеть радость убитого горем мужа!..

Ничего не нашли сказать в объяснение совершившегося врачи, изумленные и потрясенные не менее всех остальных присутствовавших. Возвращение к жизни княгини Анны Феодоровны казалось всем подобием воскресения, тем более что и сама она, вернувшись в жизнь, имела вид существа уже другого, нездешнего міра: ожившая была в течение 9 часов вне сознания и понимания окружающей ее обстановки — никого не узнавала и всему земному казалась совершенно чуждой.

Очевидные свидетели бывшего с княгиней Голицыной записали так этот необыкновенный случай — передаем записанное в их подлинных выражениях:

— Где я? — стала говорить княгиня по своем пробуждении, — скажи мне кто-нибудь! Неужели я опять в этом темном, скверном, душном и скучном міре?.. Ах, зачем я разлучилась с тем светом, где видела Спасителя? Там всё такие прекрасные лица... А здесь какие все — уроды, безобразные, грубые, гадкие!..

— Неужели, — спросили ее окружающие, — вы не узнали нас, княгиня? Это — ваш муж, а это ваши дети.

При этом лицо, обратившееся к княгине, назвало ей всех ее детей по имени.

— Муж! Дети!.. — сказала княгиня, — Нет — никого не знаю, да и слов этих ваших не понимаю. Я видела там правда детей, но как те были прекрасны!.. А эти... какие они дурные!..

Помолчав немного, она опять заговорила:

— Да, не хотела бы я уходить оттуда: там так хорошо, светло, весело — как мне там было легко!.. Я была там совсем здорова; а здесь как мне трудно, тяжело, скучно! Но Спаситель мне сказал: поди еще поживи там, где была, и, когда не будешь там нужна, Я опять тебя возьму оттуда... Что же делать!.. — Тут она вздохнула. — Вот опять пришла на мытарство, на страдание, но нельзя было не повиноваться Спасителю — Он наш Бог, Он искупил нас... Но Он опять скоро за мной пришлет.

Ожившая замолкла. Потом опять заговорила:

— Как мне хочется видеть Спасителя! Дайте мне Его образ!

Подали образ Успения Божией Матери.

— Нет — не этот, — сказала она, — здесь много ликов, а мне подайте образ одного Спасителя — к Нему одному я стремлюсь, Его одного люблю, к Нему стремлюсь... стремлюся! Надо любить, почитать и молиться Божией Матери и святым Угодникам — это нужно, это необходимо, но там, откуда я сейчас вернулась, там вся жизнь в Господе нашем Христе Иисусе... Его образ дайте мне!

Муж княгини подал ей открытый молитвенник.

— Вот тут, — сказал он, — есть образ Спасителя.

— Нет, — отвечала она, — я не хочу целовать картинки — подайте мне тот самый образ Спасителя, которому молятся.

Подали Нерукотворенный образ Спаса.

— Вот Он, Которого я видела, — воскликнула она в восхищении, — Вот Он — Спаситель мой! — И, крепко взяв руками образ, она осыпала Его пламенными лобзаниями, повторяя в восторге:

— Люблю Тебя, Спаситель мой! Одного Тебя люблю! Возьми опять меня к Себе!

Потом она обратилась к присутствующим и спросила:

— А вы любите Спасителя? — и затем продолжала:

— А если любите, то целуйте Его все, все: Он наш Бог, наш Искупитель — нельзя не любить Его!

Все, кто был у одра больной, приложились к образу... Больная велела опять поставить его перед собой и, не отрывая от него взгляда, исполненного неземной любви, стала смотреть на него.

Обрадованный возвращением к жизни любимой жены, муж княгини приблизился к ее постели и, наклонясь к ожившей страдалице, нечаянно сел спиной к образу. Оглядевши мужа быстрым негодующим взглядом, княгиня воскликнула:

— Мне говорят, что это мой муж... Что же это за муж, который так непочтителен к

Спасителю! Сейчас обернись к Нему и поклонись — Он Бог наш, Он наш Искупитель!

Приказание ее было немедленно исполнено.

Увидав на руке мужа обручальное кольцо, она спросила:

— Что это у тебя на руке?

— Это — обручальное кольцо, мой друг, — ответил князь.

— Я не понимаю, что это за слово — кольцо, — недоумевающе сказала княгиня.

— Да это то самое кольцо, — сказал князь, — которым меня с тобой обручил священник, когда мы венчались.

— Почему же у меня на руке нет такого кольца?

— По болезни твоей, мой друг, его с тебя сняли.

— Зачем же?.. Нет, подайте мне мое кольцо — сказано: Бог сочетает, а человек да не разлучает. Только Бог волен разлучить.

Когда ей подали кольцо и она сама его надела, то сказала:

— Теперь знаю, когда нас священник обручал. Ты в самом деле мой муж.

В это время к больной подошел доктор и сказал:

— Не говорите, княгиня, много — вы слабы. Примите лекарство или святой воды*. Усните, закройте глазки!

---

* Тогда, в тридцатых годах, очевидно, врачи не отвергали значения для верующих пациентов святой воды и рецепты свои еще сознательно писали «Cum Deo». Много ли таких врачей теперь?..

— А ты кто такой? — обратилась к нему княгиня, — и что это за слова — «слабы», «лекарство», «сон»?.. Какой мудреный, непонятный у вас язык!.. У нас там ничего такого нет, никто так не говорит... Да какое ты право имеешь мне приказывать? Вот если муж прикажет мне закрыть глаза, так я его послушаюсь: Бог сам велел жене повиноваться своему мужу...

— Что у вас болит, княгиня? — спросил доктор.

— А тебе что за дело? Я закрыла глаза не оттого, что мне больно, а оттого, что мне тяжело смотреть на вас всех таких, которые утратили в себе образ Божий!

— Ты, мой друг, — обратился к ней ее муж, — приняла недавно самое лучшее лекарство — Святое Тело и Кровь Христову.

— Да, — сказала княгиня, — я это очень знаю и понимаю. Как мне стало после того легко и приятно!.. Только вы напрасно теперь думаете, что я больна: я не больна, а здорова... Я видела там Спасителя, но Он опять послал меня к вам.

Тут князь спросил ее:

— Не приказывал ли там через тебя Спаситель чего-нибудь?

— Да, приказывал, — ответила княгиня, — Он велел усерднее молиться и лучше жить.

— Скажи мне, мой друг, — спросил ее князь, — удостоюсь ли я также быть там, где ты была теперь?

— Да, — отвечала княгиня, — будешь и ты там, только молись Богу.

— Кстати, милая, — обратилась к княгине ее тетка, — видела ли ты там Володеньку (это был княгинин новорожденный ребенок, который после крещения вскоре умер), видела ли ты и остальных твоих умерших детей?

— Видела, или нет — вам об этом знать не нужно; а если и видела, то вам не скажу, да и не могу сказать, потому что вы недостойны. Да вы меня и не поймете... Какие вы злые — всё только любопытствуете, а в душе своей не верите и верить не хотите... Да ты-то кто такая, что у меня спрашиваешь?

— Я — твоя тетка, М...я Д...вна, кума твоя, которая твоих детей принимала от купели.

— Ну, — сказала княгиня, — у тебя там другое имя... А меня как у вас здесь зовут? — неожиданно спросила княгиня.

— Тебя зовут Анной, милая!

— У вас тут еще как-то величают друг друга, — сказала, немного помолчав, княгиня, — как меня здесь величали?

— Ваше сиятельство, княгиня Анна Феодоровна Голицына, — ответили ей.

— Какой у вас вздор! Там ничего такого нет... Ах, как мне у вас скучно, как скучно быть с вами!

В это время пришел в дом духовник княгини, священник прихода, в котором жило ее семейство. Никто об его приходе ей не докладывал, но она тотчас его узнала и с радостной улыбкой сказала:

— Как я рада вам, батюшка! Благодарю вас, что вы меня причастили и особоровали. Я виде-

ла Спасителя, и вас я очень рада видеть: ведь вы носите на себе Его образ... Отойдите все прочь!

Когда по ее приказанию все присутствовавшие отошли в сторону и у ее постели остался только один духовник, она тихим голосом сказала ему:

— Именем Господним благослови меня, отче, в путь!

Священник благословил ее и, возложив руку свою на ее голову, громко прочел над нею следующую молитву: «Господь Бог Премилостивый да ущедрит тя, Господь Иисус Христос вся благая прошения твоя да исполнит, Господь Всемогий да избавит тя от всякия напасти, Господь да научит тя, Господь да вразумит тя, Господь да поможет тебе, Господь да спасет тя, Господь да защитит тя, Господь радости духовныя да исполнит тя. Господь душе и телу твоему да будет заступник. Господь, яко милосерд и благий человеколюбец, прощение грехов да подаст ти. Господь Бог Иисус Христос в день судный да помилует тя и да благословит тя во вся дни живота твоего. Аминь!»

Взволнованный великим таинством совершившегося, священник, прочитав молитву, ушел, а княгиня, по уходе его, только о нем одном и говорила, но уже голосом изнемогающим. Еле внятно потребовала, чтобы ей подали образ Спасителя и крест, семейную святыню, со Святыми Мощами, в последний раз приложилась к ним, велела отнести их на место и уже коснеющим языком сказала окружающим:

— Молитесь и говорите за мной: во Имя Отца и Сына, и Сына... Сына...

И со словом — «Сына», замершим на ее устах, княгиня Анна Феодоровна Голицына предала дух свой Богу, Которого так возлюбила.

27 лет от роду была она, чистая эта и Богу угодная православная русская женщина, когда отлетела со своим Ангелом-Хранителем ее светлая душа в міp горний и вошла во славу своего Господа.

Для чего даровано было ей Творцом всяческих ее кратковременное возвращение из небесных обителей на грешную землю к людям, грехами исказившим свое Богоподобие, свой образ божественный — как знать? Свидетели совершившегося чуда, записавшие это дивное событие, пытались в рукописи своей дать объяснение ему тем, что почившая княгиня, по любви своей к мужу, обещала ему явиться по смерти своей, чтобы утешить его извещением о своей участи за гробом. Но такое объяснение годится, быть может, для спиритуалистов, а для нас, верующих православных, объяснение только одно — в словах нашего Спасителя: «Веруяй в Мя, аще и умрет, оживет...»

II.
Дивные откровения в сновидениях крестьянской девушки Евдокии

Передо мной старая, пожелтевшая от времени тетрадка в четвертую долю листа старинной, толстой и грубой бумаги; на ней надпись:

«Тетрадь иеромонаха Евфимия». На заголовке тетради: «Чудные сновидения девицы Евдокии, крестьянки 25 лет, бывшие с нею в разные времена ее жизни. Перевод с французских слов Татьяны Борисовны Потемкиной, которая слышала их от Евдокии на простонародном языке»... а ниже заголовка: «Евдокия, девица 25 лет, крестьянка княгини Горчаковой (ее деревни в Смоленской губернии)»...

Проносится передо мною образ минувшего: великосветская, известная, даже знаменитая, барыня высшего русского общества, близкая ко Двору, лично известная и любимая Государями Александром I, Николаем I и почитаемая Александром II, истинно православная христианка, патриотка, богатейшая женщина своего времени — словом, высота всего знатного и богатого, что только было в русском обществе времен крепостного права, и рядом с ней... простенькая бедная темная и, по человеческим понятиям, невежественная крестьянская крепостная девушка...

Девушка что-то рассказывает, и, надо думать, рассказывает что-то необыкновенно удивительное, настолько чрезвычайное и интересное, что знатная ее собеседница ловит каждое ее слово и быстро его записывает в свою книжку... по-французски?!

Татьяна Борисовна – настоящая хорошая православная русская женщина и истинная патриотка по своим чувствам; она хорошо говорит и чувствует по-русски, ну а писать и думать она может только на языке Боссюэтов

и Фенелонов, на языке тех, которые в то время почитались творцами всего образованного и изящного, на том языке, незнание которого не давало в высшем русском обществе права никому считать себя образованным...

Такое уж было время!..

В конце этой тетрадки отца иеромонаха Евфимия, неведомого мне старца (уже из третьих, а может быть, и четвертых рук досталась мне эта рукопись), подписано: «Перевод отца Феофана Комаровского».

Итак, четыре личности были в свое время заинтересованы тем, что было записано в этой уже разрушающейся от тяжести протекших многих лет тетрадке: знатная барыня-аристократка, крестьянская девушка, иеромонах, владелец рукописи, и переводчик ее — тоже или священник, или иеромонах, но не из простых, а из тех, кто в свое время знал язык образованных русских прошлого столетия. Что же это за ветхая деньми тетрадка, которая могла в себе сосредоточить столько живого интереса, который захватил собою внимание столь разнообразных по своему положению лиц?..

Да, я думаю, и ты заинтересуешься этой тетрадкой, мой боголюбивый читатель, когда, сгладив несколько ее старинный слог, но сохранив без всякого изменения ее содержание, я изложу тебе, что в ней написано. Слушай!

Когда сравнялось Евдокии девять лет, у нее умерла от родов мать, разрешившись от бремени двойнями. Новорожденные двоешки так быстро последовали за своей матерью на

тот свет, что их даже не успели окрестить, и Евдокия осталась на руках у своего отца, человека честного и благочестивого, чего нельзя было сказать с такой уверенностью про покойницу. Отец Евдокии был простой крепостной крестьянин княгини Горчаковой, конечно, что называется, необразованный, даже почти неграмотный, но имевший в своем сердце страх Божий, любовь к ближним и святое сознание обязанности перед долгом. Все, чем был сам богат отец Евдокии, он старался воспитать и в сердце своей сироты-дочки, внушая ей, что закон Божий состоит в том, чтобы удаляться от зла и творить добро, и что только тот человек Богу приятен, кто несет свой крест в терпении и уничижении.

«Я так была в этом наставлена, — говорила Евдокия, — что только у меня это и было, и, когда надо мной насмехались, я никогда не чувствовала злобы и думала, что в эти минуты угождаю Богу. Это мне помогало переносить людские насмешки».

Евдокия росла девочкой робкой и молчаливой и, казалось, не умела сказать двух связных слов, за что и слыла у своих сверстниц дурочкой. Так и звали ее дурочкой, но господа ею были довольны, так как она была очень трудолюбива.

Когда еще Евдокии не исполнилось девяти лет, стало быть при жизни матери, она увидела во сне, что мать ее должна умереть в течение года. Мать была испугана этим сном, а отец бранил ее, что верит снам ребенка; но сон

сбылся, и мать Евдокии умерла от родов в том же году.

Отец старался выучить Евдокию молитвам и часто бивал ее за непонятливость; и правду сказать, девочка не была из понятливых и вслед забывала мудреные для ее возраста и развития молитвенные слова, но душа ее, видимо, уже умела молиться и настолько быть близкой невидимому міру, что девочка опять во сне получила приказание сказать отцу, чтобы он ее перестал бить, так как все, чему он ее учит, она впоследствии узнает и выучит без труда. Она рассказала свой сон отцу, и на этот раз он ей поверил и бить перестал.

В другой раз она видела, будто находится в каком-то большом храме и моет пол. За работой своей она приблизилась к одной стороне церкви и видит в полу отверстие, а в глубине его — гроб. Подошло к ней какое-то дитя и на ее вопрос: «Чей это гроб?» отвечало: «На вашем языке это гроб, а на нашем покой, в котором опочивает старец, который в храме этом ежедневно совершает Литургию».

И Евдокия во сне на самом деле увидела этого божественного старца совершающим с великим благоговением великое таинство Вечери Господней и слышала дивное пение. Видела она потом, как старец этот сел как бы для отдохновения на стул у окна и погрузился в благоговейное размышление. Перед старцем на столе лежали благословенные хлебы, и, казалось, он вкушал от них, но не было умаления хлебов. И сказал невидимый голос Евдокии:

— Подойди поближе к старцу: тебе впоследствии предстоит о нем вспомнить!

И подошла она к старцу, упала к ногам его и в умилении омочила их слезами. Поднявшись с полу, Евдокия просила у старца его святых молитв о себе и о ближних своих.

— Я думала, — сказывала она, — что меня солнышко освещало, а это исходили лучи света и тепла от лика святого старца.

На старце было черное одеяние, и сердце девочки исполнилось к старцу любовью и благоговением, словами не выразимыми.

Несколько мальчиков вывели Евдокию из церкви, указывая ей дорогу, и вид их был так прекрасен, таким сияли они светом, что она подумала — это Ангелы...

— Мне показалось во сне, — говорила потом Евдокия, — что я одна найду дорогу, но мальчики эти или Ангелы, не оставили меня одну, а проводили, напоминая мне, чтобы я ничего не забыла из виденного и даже заставили меня во сне повторить все по порядку, как было, и запомнить в точности и вид, и одежду старца. И сказали они мне:

— Старец этот — Святой Макарий, а храм, в котором он опочивает во святых мощах в гробнице на левой стороне церкви — древний Можайский собор.

Евдокию очень тревожила загробная участь ее матери, и она, в тревоге за спасение ее души, неотступно молила Бога, чтобы Он ей открыл посмертную жизнь матери. И вот, после исповеди, в ночь перед Причащением, при-

виделся ей сон: пришла к ней какая-то женщина и спросила ее:

— Хочешь ты видеть мать свою?

Евдокия ответила, что желает. Тогда женщина эта ей предложила сводить ее к известному всей Москве Ивану Яковлевичу Корейше, который был там в доме умалишенных и слыл, а может быть, — Бог весть — и был великим прозорливцем. Но, приглашая Евдокию в Москву к Ивану Яковлевичу, женщина та сказала:

— Он — колдун и может тебе показать мать твою!

Но, услыхав слово «колдун», Евдокия во сне от посещения Ивана Яковлевича отказалась, сказав, что нехорошо обращаться к колдунам и что ей это строго запрещено отцом ее духовным.

— И в ту же минуту, — рассказывала Евдокия, — я очутилась перенесенной на середину некоего поля, где и увидала два стада: одно стадо состояло, как я почему-то сразу узнала, из 10 500 овец, а другое — из 5 500; и то, большое, стадо было без пастыря, а у меньшего был пастырь и хорошие пастбища. Я попала в это малое стадо, и мне среди него было так хорошо, что и выйти из него не хотелось. И сказала я:

— Боже мой! оставь меня здесь — нигде мне так хорошо и сладко не было. У нас теперь зима, а тут — что за весна благоуханная!

И слышала я тут незримый голос:

— Не для того ты сейчас здесь, чтобы остаться, а для того, чтобы рассказать на земле все, что увидишь.

Тут мне приказано было взглянуть на большое стадо, состоящее из 10 500 овец, и тот же голос сказал:

— Видишь ты это большое стадо? Оно без пастуха и нуждается в пастбищах: твоя обязанность словом своим и молитвою возвратить сих овец в хорошее стадо и в лучшие пастбища.

И подумала я: видно, господа мои, князья Горчаковы, на меня прогневались и назначат меня пасти стадо — ведь у нас, крестьян, обязанность эта почитается самой низкой. Но не успела я этого подумать в сердце моем, вместо большого стада овец увидала я собрание людей, скорбящих и тоскующих, а на месте доброго меньшего стада явились существа, схожие между собою лицами, но все такие молодые, такие прекрасные, что не описать их человеческим словом. И увидела я, что два маленькие ягненка, черные и худые, стоящие вне обоих стад, стараются присоединиться к доброму стаду; но все овцы, к которым они приближались, не подпускали их к себе; и слышны были из доброго стада голоса, говорящие:

— Это — не наши!

И, отринутые всеми овцами доброго стада, бедные ягнятки эти приютились к одной овце одинакового с ними цвета, одиноко и сиротливо стоявшей вне доброго стада. Овца эта испускала жалобные стенания, и место, на котором она стояла, было холодное, мрачное, и воздух того места был такой тяжкий, что в нем дышалось с большим трудом и нуждой великой. И как только увидала я эту овцу, тотчас она измени-

ла вид свой, и в ней я узнала матушку свою, а в двух маленьких ягнятках показаны мне были два рожденных ею близнеца, которые не успели принять Святое Крещение. И — дивное дело! — как только я опознала в них мать свою и ее детей, вся моя к ним чувствительность и все о них сомнения превратились в холодность, а на место их явилось одно только желание уйти как можно скорее из этого печального и мрачного места.

И повел меня за собою незримый голос по таким трудным и смрадным дорогам, что я едва в состоянии была идти; но тот же голос мне сказал:

— Потрудись и ты: Я страдаю более тебя; а затем Я покажу тебе дела еще более дивные.

И поведена я была каким-то длинным проходом и, услыхав жалобные и громкие стенания, спросила:

— Откуда исходят эти стоны?

И мне было сказано:

— Это страждущие во аде души грешников.

Я сказала:

— Господи! покажи мне это место вечных страданий!

И голос мне ответил:

— Я тебе покажу многое.

И была я подведена к краю огромной пропасти, и тот же незримый мой спутник мне сказал:

— Ты увидишь здесь страшные мучения.

И увидела я в пропасти той народ, кипящий как бы в негашеной извести, и, увидевши,

ужаснулась, и напал на меня страх, как бы и мне не упасть в эту пропасть... Из пропасти этой кто-то как бы железными щипцами извлек одну грешную душу, и мне было повелено следовать за нею. Я спросила:

— Куда она идет?

И мне было отвечено:

— Душа эта идет отыскивать свое место.

И увидела я мертвое, обезображенное тело, которое при земной жизни принадлежало этой душе. И когда эта душа приблизилась к тому безобразному и мертвому, что было некогда ее телом, то возопила та душа:

— Господи! неужели мне надо войти в этот отвратительный труп?

И начала она плакать и сетовать и стенать жалобно.

Образ души этой был образ человеческий, но только он был много меньше по величине своей, и душа эта вид имела непривлекательный. Так боялась, так трепетала эта душа от отвращения при виде своего земного тела, что только могла вопиять об одном ко Господу:

— Господи! лучше умножь во сто крат мои мучения, которые я терплю во аде, но не посылай меня в это тело отвратительное!

И просила я, чтобы мне был объяснен смысл этого видения.

— Это — образ будущего воскресения грешников, — поведал мне незримый голос. — Ты видишь из него, что для грешной души самым тяжелым мучением будет войти в прежнее свое тело, которое уже станет тогда веч-

ным, и в нем душа будет испытывать сугубые мучения, так как ее плоть, ставшая вечной, будет служить возгнещением вечному огню... Обо всем, что ты здесь видишь и что узнала, ты должна рассказать на земле.

— Господи! — сказала я, — но кто же мне, простой крестьянке да еще такой, которую считают дурочкой, поверит, что мне были такие откровения?

— Поверят те, кто помнит слово Божие, а остальные пусть смеются над тобой: те поверят после.

Тут душа, за которой я следовала, бросилась в кипящую смолу.

И сказала я:

— Пойдем отсюда!

Голос мне отвечал:

— Потерпи: близость Моя утешает здесь находящихся!

Потом я была проведена в иное место страданий. И там раздавались стоны и жалобные вопли грешников.

— Господи! — сказала я, — как Ты, Всеблагий, не имеешь к ним сострадания?

И голос мне говорил:

— Я жалею о міре и потому показываю тебе все, что ожидает грешников по смерти. Я дал им Мое слово, но они забыли его — напомни им угрозу Мою: расскажи, что видела, что показано было тебе из жалости к міру. Я Сам за них страдал более, нежели они. Я даровал им даром рай, а они купили себе ад... Но ты просила показать тебе еще адские

муки — так вооружись мужеством: ты их увидишь!

И была я подведена как бы к какому-то дому и была поставлена против его двери, и в дверь эту кто-то ударил точно железным запором, и тотчас эта дверь отворилась... И увидела я «некоего», сидящего в огне, и страшное пламя исходило из уст его... Я была потрясена таким ужасом от невообразимо страшного вида его, что в трепете возопила:

— Теперь я вижу, что я уже умерла!

Но голос мне сказал:

— Слушай теперь, что тебе будут говорить!

И страшный «некий», в огне сидящий и из себя извергающий пламя, сказал мне:

— Душа! чему дивишься? Если ты в продолжение твоей жизни жила, чтобы угождать диаволу и его аггелам, то ты уже больше не Божия, а моя!

Тогда в ужасе я вскричала:

— Так, стало быть, тот, кто меня привел сюда, меня оставил?

Но тот же голос, за которым я шла все время, ответил мне:

— Нет, не оставил Я тебя и не оставлю здесь; но слушай со вниманием слова, которые Я говорю, ибо ты должна все, что услышишь и слышала, рассказать на земле, ничего не прибавив и не убавив из слышанного и виденного.

И, обратясь к «ужасному», голос сказал:

— Сатана! ты ошибаешься: эта душа еще не принадлежит ни Мне, ни тебе: еще не кончена земная жизнь ее.

И сказал на эти слова «ужасный»:

— По какой же причине и за что Ты даешь этой душе такое видение и показываешь ей тайны и глубину Твоих путей?

Голос отвечал:

— Не за заслуги сей души извещаю ей судьбы Мои, но по милосердию Моему к людям и во свидетельство им она должна видеть и знать то, что ей показано. Ты поторопился, сатана, послать свою сопротивную силу на землю, чтобы смутить и погубить людей — еще не узнал ты времени своего, и хотя ты успел приобрести царству своему 10 500 овец Моих, но Я прощу им, и если нужно будет, то прибавлю 30 лет земной жизни этим душам грешным, чтобы привести их на путь покаяния. Ты водил свою силу на разорение и погибель народов, ты воздвиг против них свое орудие — Наполеона, но для Меня нет деления людей на французов и русских, а знаю Я только человеческие души. Сила твоя — во злобе и лжи, но Моя сила — в милосердии, и на сто грехов Мне довольно одного доброго дела, чтобы спасти душу. По образу Моему Я сотворил человека, но не для тебя, а для Меня. Люди своевольно следуют и губят себя за тобой, но Я сотворю во время определенное, что они отдалятся от тебя.

И сказал мне голос:

— Выйдем отсюда!

И привел Он меня в место сокровенное, где я услышала некое совещание и вновь получила повеление объявить его на земле. В совещании этом я услышала о казнях, определенных

земле, дабы ими привести людей через покаяние в злых их делах к Богу.

И был совет святых послать на землю язву тяжкую, смертную, или превратить в знамение людям воду в кровь, или потрясти землю великим землетрясением, или уничтожить великий град Москву за беззакония человеческие, как Содом и Гоморру. Но сказал святым Своим Господь:

— Если Я пошлю язву, добрые истребятся вместе со злыми, а не останется на земле добрых, как устоит она? Если воды обращу в кровь, то все живущее на земле погибнет — и люди, и звери, и птицы, и рыбы. Пошлю землетрясение — те, кто будет им пощажен, возмнят, что они лучше тех, которые им будут наказаны. Москву истребить? Святые, от многих веков в ней почивающие, просят к ней Моей милости, и ради Моей любви к ним пощажу Москву.

И было решено на Совете Господнем опустошить часть земли голодом и не дать ей плодоносить для наказания тех стран, где забыты законы Господни, где презрены священные праздники, установленные в память благодеяний Божиих, явленных Его милосердием грешной земле. И повелено мне решение Суда Господня оповестить людям моей земли. И сказала я:

— Господи! верить мне никто не захочет, что я была свидетельницей всего виденного и слышанного.

Голос незримый сказал мне:

— Моим повелением уже возвещали в иных странах христиане, сердцем и разумом простые.

Теперь и для России Я избираю глас невежественных и слепцов, дабы им посрамить премудрость сего міра. Правосудие Мое истинно, и Суд Мой нелицеприятен: твоя обязанность — говорить, а Мне — творить Мою волю. Если в этом году слова твои сочтут басней, следующий докажет истинность твоего посольства. Как верно то, что святой Мой Макарий нетленными мощами почивает в Можайске, так и то верно, что исполнится на людях России Мое наказание.

И сказано мне было тут, что тот старец, которого я видела в своем видении в древней соборной церкви в Можайске и есть св. Макарий, что мощи его почивают в земле 195 лет и молитвы его низведут на Россию великое Божие благословение.

И было мне сказано о пастырях Церкви Господней, о священниках, что весьма немногие из них достойно носят это имя, но что как бы ни были они малодостойны великого своего призвания, но Литургия, ими совершаемая, все-таки — Литургия, ибо вместо них Ангелы Господни совершают служение. Говорили святые, что грех великий тем священникам, которые нюхают табак во время Богослужения и принимают без должного благоговения Тело и Кровь Христову. Но сказал мне голос:

— Ты слышала в Можайске Божественное служение Моих ангелов, знай, что и в земном Моем клире ты услышишь певцов Моих, тела которых изможденны Меня ради, а души Мною насыщены. Но много и таких, коих тела насыщены, но души изнеможены.

О господах наших мне было сказано, что они прогневляют Бога балами, театрами — роскошью сатанинской и обольщением.

И сказано мне было еще про мудрецов міра и ученых, что они забыли Божий Закон, не веруют вечным мучениям, учат многому, а «единое на потребу» оставили. Сказал мне голос:

— Не тот Мне любезен, кто много из премудрости земной знает, а воли Моей не творит, а тот, кто хотя и весьма мало знает, но делает много, творя по заповедям Моим.

О военных мне было сказано, что беседа их соблазнительная и нечестивая — мерзость в очах Господних и что невоздержность языка их погубит...

Видение это мне было 16 февраля 1839 года...

3 мая 1840 года я видела во сне, что мне должно быть 20 мая в Можайске и заказать панихиду по св. Макарии и молитвы святого отстранят гнев Божий.

В другом сне мне было сказано, чтобы я сходила в Новоспасский монастырь к отцу Филарету* рассказать свой сон. Я была у него и рассказала ему все, что удостоилась видеть. Отец Филарет советовал мне не унывать от препятствий, искушений и даже гонений, которых я должна ожидать, а пребывать во всякое время верной Богу и Его велениям.

В другой раз я получила во сне повеление идти во Ржев к Спиридону Яковлевичу**, кото-

---

* Один из тех, вероятно, Божиих подвижников, которыми стоит міръ и которых весь міръ недостоин.

** Ржевский блаженный Христа ради юродивый и прозорливец.

рый в то же время видел сон, возвестивший ему мое прибытие.

На третьей неделе Великого поста 1839 года, в ночь с пятницы на субботу, я видела сон, в котором мне было приказано рассказать все, что видела, Великому Князю Наследнику Александру Николаевичу. В этом же сне, в утверждение моей душевной бодрости для исполнения страшного приказания предстать перед очи Наследника Русского Престола, мне было показано, что и Государь Наследник имел в ту же ночь видение Господа, Который ему сказал:

— Хочешь ли ты знать пути Мои?

— Хочу, Господи! — отвечал Великий Князь.

И ему было сказано:

— Не от Меня ты услышишь их, а вот эта тебе их расскажет.

И я была показана Наследнику в его сонном видении.

Но прежде чем мне было решиться говорить с ним, со мной сделалось такое душевное томление, такое явилось отвращение от исполнения данного мне поручения, что я себе нигде места не находила, пока наконец, находясь в церкви, я не приняла твердого решения идти к Государю Наследнику во что бы то ни стало. Необходимо мне было сказать об этом своим господам и просить их разрешения, и, к великой моей радости и удивлению, господа мои меня выслушали с любовью и дозволили мне следовать моему внушению.

В это время в Бородине были военные маневры, на которых присутствовали Государь Император с Наследником Цесаревичем. Когда я подошла к Наследнику престола, он спросил меня, что мне нужно. Я рассказала ему мои сны и, чтобы он поверил им, прибавила, что я та самая, которую он видел во сне в ночь с пятницы на субботу третьей недели Великого поста. Ночь эта оказалась отмеченной в памятной книжке Великого Князя, и, крайне удивленный, он выслушал меня с большим вниманием и немедленно послал меня в палатку Государя Императора. Целых два часа я пробыла у Государя, рассказывая ему обо всем виденном и удостоилась Монаршей милости: Государь приказал через князя Орлова выдать мне 10 рублей. Я было не хотела их брать, но и отказаться побоялась, потому что это было приказание Императора.

Рассказывая Государю о бедствиях, которые угрожали России, я сказала Ему, что Он может их до некоторой степени предотвратить открытием мощей святого Макария. Государь мне ответил на это:

— Я недостоин такого дела.

Тогда я сказала ему:

— А разрушить древний Алексеевский монастырь, чтобы на месте выстроить новую церковь, ты почел себя достойным, не потрудившись даже вопросить людей Богоугодных, угодно ли это Божьей воле?

Мне показалось, что слова мои тронули Государя, и я прибавила:

— Ты назначил на построение этой новой церкви 17 лет, но я Тебе скажу: если бы Ты открыл мощи св. Макария, то церковь в его имя ты бы выстроил в короткий срок, а этот, которого ты назначил строителям, не выстроит тебе и в 17 лет!*

Выслушав меня, Государь угрожал мне тяжким наказанием, если окажется, что все ему рассказанное я выдумала от себя; но я ему ответила, что для меня лучше претерпеть всякие казни, чем молчать, ибо я получила повеление говорить.

Когда я вернулась обратно из Бородина к своим господам, то оказалось, что меня уже ожидало от них гонение: отнесясь прежде с верой к моим видениям, теперь они выражали к ним презрение, укоряли меня в тунеядстве и бродяжестве, а затем объявили меня сумасшедшей.

Тяжко мне было вступить в прежнюю свою жизнь, и я наконец решилась опять оставить своих господ и идти в Петербург, чтобы опять видеть Государя и напомнить ему о Суде Божием над Россией. Пришла я из Москвы пешком с рублем серебра денег, и — вот теперь в Петербурге. Не зная здесь ни одной души, я попросила первого встреченного мною будочника свести меня на съезжую, так как у меня не было ни паспорта, ни пристанища. Я провела четыре дня на съезжей и в управе благочиния, где много вынесла всяких насмешек, но и

* Примечание Т. Б. Потемкиной: «В самом деле, спустя несколько месяцев он умер».

там нашлись люди, которые меня слушали со вниманием, а полиция, снявши с меня допрос, перевела в большую тюрьму, где одна из тюремных надзирательниц, пожалев меня, вывела меня из тюрьмы и взяла к себе в дом на поруки.

На этом — конец этого удивительного свидетельства веры*. И уже видится мне современный міp неверия и отступничества, на глаза которого попадутся эти строки: много ли в этом міре найдется таких людей, которые с должным вниманием отнесутся к неисповедимым путям Божиим, явленным здесь, открываемым младенцам, подобным крепостной крестьянской девушке Евдокии, и сокрытым от премудрых и разумных?..

«На суд пришел Я в міp сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы».

И когда видишь теперь духовную слепоту современного человека и страшные кары Божии, на него ниспосылаемые, сердце, смятенное от страха надвинувшихся и грядущих бедствий, невольно ищет в словах Спасителя грозного предупреждения и для событий современных и в них видит угрозу близкого Страшного всеобщего Суда Господня.

---

* Как от тюремной надзирательницы попала Евдокия в палаты Татьяны Борисовны Потемкиной, неизвестно, но можно думать, что при всем известной доступности этой боголюбивой женщины, дававшей приют в своем доме странникам и странницам всякого звания и посещавшей своей добротой места заключения, нетрудно было до нее добраться и Евдокии. Пути Господи неисповедимы.

Судить грядет Судия Грозный и Нелицеприятный слепотствующих богоотступников!

Покайтеся!

III.
Видение одного послушника

Когда архиепископ Ювеналий (Половцев) был настоятелем Курской Коренной пустыни, он получил от одного из послушников этой обители извещение в виде докладной записки об удивительном видении, которого этот послушник был удостоен. Близость Архиепископа к Оптиной Пустыни, в которой он полагал начало своему иночеству и с которой он не терял общения в духе до конца жизни, оставила след этого дивного видения в виде копии с помянутой докладной записки в бумагах и рукописях одного Оптинского монаха. От этого монаха я получил в свое распоряжение эту копию и теперь делюсь ею с моим боголюбивым читателем. Записка эта довольно малограмотна, но изложение ее настолько ясно, что я приведу ее в подлиннике, исправив только погрешности ее против правил правописания.

«Его Высокопреподобию Настоятелю Курской Коренной Рождества Богородицкой пустыни, отцу Благочинному монастырей Архимандриту Ювеналию.

Простите, Батюшка, с Вашего благословения приступаю к сему делу с дерзновением и, объятый слепотою и неразумием, прошу и надеюсь, что Вашим благоразумием и милостивой

отеческой любовью они будут покрыты, ибо в Вашей особе вижу истинного служителя Божиих Таин и потому вручаю себя вашей святыне.

Я как теперь помню, меня жестоко смущал помысл оставить монастырь и уйти в мiр. Соизволяя сему помыслу и смутившись сердцем и душою, я предался отчаянию и наконец решил осуществить свое намерение и вернуться в мiр. Это было в четверток, а уйти из монастыря я назначил себе в воскресенье.

На следующее утро, то есть в пяток утра, когда, по чиноположению монастырскому, будильщик ходил будить братию к утрени, он зашел ко мне и разбудил и меня, но я, по обычной своей лености, лег опять на постель подождать, когда зазвонят к утрени, и тотчас заснул.

И представилось мне следующее видение: вижу я, что я будто уже умер без покаяния, сижу над своим телом и горько плачу. И мысль моя во мне говорит, что я осужден в ад на вечное мучение. В плаче этом я говорю:

— Господи! если бы я знал, что умру в настоящую ночь, то сходил бы к своему духовнику, покаялся бы и просил бы братию помолиться обо мне. А теперь я умер без покаяния, и что мне теперь делать? Господи! хоть бы Ты, подвергнув меня временно мучениям, дал мне воскреснуть, чтобы принести покаяние: Ты долготерпелив и многомилостив, и, что невозможно у человек, у Тебя все возможно.

В эту минуту, когда я так взывал ко Господу, явился некий Юноша, весьма красивый лицом, в белой, блестящей, как бы шелковой

одежде, опоясанный крестообразно на груди широкой розовой лентой. Подошел ко мне этот Юноша, взял меня за руку и повел в какое-то темное, мрачное место. Ах, что же я там увидел!.. Много нагих людей сидит в этом месте: одни горько плачут, другие жалобно стонут, а иные скрежещут зубами, рвут на себе волосы и кричат:

— Увы! увы! горе нам! о, горе, о, беда!..

При виде этого сердце мое исполнилось страха и ужаса, так что я трепетал от страха.

И говорит мне приведший меня туда Юноша:

— На это место мучения широким путем пришли люди, а теперь я покажу тебе, куда тесный путь вводит и куда войти можно только скорбями многими.

И только он выговорил слова эти, как явился другой Юноша, во всем подобный первому, и назвал его по имени, но имени этого я припомнить не могу. И Юноша этот берет меня за руку и говорит первому, водившему меня:

— Пойдем к его гробу: там начали петь панихиду!

Тут мы все трое очутились в нашем соборе, но только ни гроба, ни тела моего я там не видал, а только слышал пение: «Твой есмь аз, воззови мя, Спасе, и спаси мя».

Мне стало вдруг легко и радостно и весело на душе. И говорит мне первый Юноша:

— При пении панихиды душе делается всегда весело.

В это мгновение представилось мне, что мы стоим перед какими-то великолепными вра-

тами, и вижу я: у врат этих стоит множество Ангелов в белых, сияющих одеждах и лица их — красоты неизреченной. Путеводители мои вошли в эти врата невозбранно, а меня предстоящие Ангелы туда не допускали, и один из них сказал:

— Писано есть: ничтоже скверно внидет семо!

Тогда один из моих путеводителей обернулся на эти слова и сказал Ангелам:

— Пустите его — Бог милосердует о нем!

И по слову его расступились Ангелы и дали мне дорогу. И не успел я переступить порога врат, как раздалось неслыханное, великолепное пение: «Сии врата Господни и праведные внидут в них!»

И так пение это было приятно, что я не мог достаточно насладиться несказанной его сладостью.

Пройдя врата, мы вступили во внутренность какого-то дивного храма, и там я увидел великое множество людей всякого возраста и звания, и одни из них держали в руках кресты, другие — зеленые ветви, иные — цветы, иные — свечи, а некоторые ничего в руках не имели, но все были в великом восхищении и неизреченной радости. И носился там благоуханный воздух, тонкий и приятный, как бы голубого цвета. И сказал мне один из Юношей:

— Смотри — это покой мирских людей... Пойдем далее: я покажу тебе покой монахов, потрудившихся в Коренной обители!

Тут мне показалось, что мы поднимаемся как бы по лестнице куда-то выше. И я спросил водившего меня Юношу:

— Позвольте мне узнать ваше имя!

Юноша отвечал мне:

— Имя мое — Послушание. Запомни же, что и тебя послушание введет в Царство Небесное.

Только мне сказаны были эти слова, как мы вновь предстали пред великими вратами и оказались в храме или обители красоты неописуемой и еще более великолепно сияющей, чем виденный мною раньше храм. И сказал мне сопутствующий мне Юноша:

— Се — покой монахов!

В умилении и восторге, не в состоянии будучи достаточно насладиться открывшимся предо мною зрелищем, смотрю я влево от себя и вижу как бы облако и на нем — множество Ангелов, и плетут они венцы из различных цветов такой красоты и приятности, что нет им подобия на земле нашей грешной. И спросил я:

— Кому эти венцы и цветы?

И было мне отвечено:

— Работающим в терпении усердно Господеви, терпящим скорби в самоотвержении, писано бо есть: «Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает: не даст молвы праведнику». Терпи и ты: терпение преодолеет всякие скорби. Ибо говорит Господь: «В терпении вашем стяжите души ваша». Вмале потрудившиеся покоиться будут здесь вечно со святыми Отцами. Все они терпением заслужили славу.

Жизнь земная не что иное, как воспитание младенца, потому и писано: «Аще не будете аки дети, не внидете в Царство Небесное». Разбери свойство доброго отрочати и поревнуй!

Наслаждаясь красотой этой небесной обители, мы пошли далее и вступили в обширную долину, на которой росли многоразличные цветущие деревья, из которых некоторые были с плодами, но только я не мог понять — с каками. По долине этой протекали дивные реки чистой, прозрачной как хрусталь воды, и весь воздух был напоен ароматным запахом бесчисленных прекраснейших цветов. Спутник мой, Юноша, указывая мне на это место, сказал:

— О нем, провидев духом, говорил пророк Исаия: «Имже не возвестися о нем, узрят, и иже не слышаша, уразумеют». А апостол Павел, увидев славу, уготованную любящим Бога, желал разрешитися и со Христом быти. Пророк же Давид, мысленно созерцая эти покои Господни, так говорил: «Покой мой зде, да вселюся в онь. Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! желает и скончавается душа моя во дворы Господни...» Слышал, сколько я привел тебе свидетельств? Смотри же, зажегши светильник веры, не угаси его и старайся сосуд твой наполнить елеем добрых Христа ради дел, чтобы выйти тебе с радостию во сретение Небесного Жениха, Христа. Если будешь всегда таков, как теперь, и верою ограждать себя от духа уныния и отчаяния, я всегда буду с тобою.

И сказал мне Юноша:

— Пойдем к Престолу Господа Вседержителя Иисуса Христа!

И пошли мы далее всё той же прекраснейшей долиной, и увидели впереди нас стоящий хор Ангелов и как бы храм, а посреди его — второй Ангельский хор, стоящий по левую сторону, а по правую — третий. И расступились перед нами Ангелы, давая нам невозбранный проход и смотря на нас с улыбкой небесной любви и радости. Когда же мы проходили через Ангельские ряды, то два мои спутника, Юноши Ангелы, тихо коснулись моего плеча и сказали:

— Блажен ты, юноша, что оставил мір и измлада возлюбил Христа Господа!

И стали Ангелы петь: «Господа пойте дела и превозносите Его во вся веки!»

И что же это было за дивное пение! И нет ему подобия в звуках человеческого пения!..

Тут, с левой стороны, увидел я, стояли три аналойчика, подобные нашим церковным: на одном лежал Крест, изукрашенный цветами, на другом — Евангелие золотое, на третьем — икона Знамения Божией Матери. И видел я: идет прикладываться к ним попарно, с великим благоговением множество монахов, одетых в белоснежные одежды: игумены впереди, за ними архимандриты, сзади архимандритов — иеромонахи, монахи и послушники.

И сказал мне Ангел:

— Это монахи, потрудившиеся в Коренной пустыни.

Ангел мне назвал их всех по имени, но имен их я не помню.

Я спросил:

— Где же отец Иоанн Асеев?

Ангел ответил:

— Он здесь.

— А можно его видеть? — спросил я.

— Нет, — отвечал Ангел, — увидишь его после. Пойдем и мы приложимся!

И пошли мы в паре с моим Ангелом, и когда мы подошли ко Кресту, то Ангел сам перекрестился и сказал мне:

— И ты перекрестись!

Мы приложились ко Кресту, Евангелию и иконе. И в это время правый хор Ангелов запел: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...», а левый затем пел: «Просвети мя светом разума Святаго Евангелия Твоего». И вышли потом все хоры Ангельские на середину храма и запели: «Величит душа моя Господа и возрадовася дух мой о Бозе Спасе Моем...» и так до конца песни.

И если бы душа моя была в теле, то расторглись бы их союзы: до того сладко, величественно и великолепно было это Ангельское пение. И трепетала душа моя восторгом невыразимым.

При звуках небесных этого небесного песнопения храм наполнился такого благоухания, что и уму представить невозможно. Не передать мне языком человеческим того восторга, радости, услады сердечной, которые испытывало тогда сердце моей души, растроганной и умиленной.

В храме, где совершалось это дивное торжество, иконостаса не было, а была на его месте как бы огромная завеса розового цвета, и

по всему храму сиял свет светлее в бесчисленное число раз земного солнца, так что не было возможности смотреть вверх от неестественного блеска.

И там в свете неприступныя славы Своей был Престол Господень...

Но я не мог Его видеть...

И сказал тогда мне мой Ангел:

— Теперь пора тебе к утрени. Только помни, что имя мое — Послушание. Ты теперь видел славу, уготованную любящим Бога: не скорби, что пошел в монастырь. Многие желали этого пристанища, но, не быв избранны, не могли его достигнуть...

И при этих словах Ангела я проснулся. Сердце мое исполнено было страха и радости и, как голубь, трепетало, и не знал я, где я нахожусь — на небе или на земле. Пошел я к утрени в церковь и стоял там до поучения, углубясь в размышление о виденном, после чего возвратился в келью...

Прошу святых Ваших молитв и благословения. Многогрешный послушник С. Ч. 1863 года сентября 20-го дня».

Вот что, по видению неведомого, но Богу угодного послушника Коренной пустыни, уготовано для вечного радования о Христе Иисусе, Господе нашем, всем любящим Его и проходящим путь земной жизни, этого великого училища младенчествующих душ, в послушании, смирении и терпении.

Неземной, непередаваемый языком человеческим восторг, радость, умиление и испол-

ненное вечного удовлетворения счастье вечное и неизобразимое!

И когда посмотришь с высот небесных, отверзающихся в видениях смиренным сердцем и простым разумом, просвещенным единым чистым светом живой и деятельной веры, когда взглянешь оттуда на смуту современного человечества, в погоне за призрачным, невозможным и недоступным на земле счастьем заливающего братской кровью войн и междоусобий грешную землю, тогда заскорбит и заноет великой жалостью сердце верующего христианина о безумии жалкой гордости человеческого разума, бессознательно и стремительно влекущего человечество на самое дно геенны нечеловеческой злобы и страдания, с которого уже нет возврата...

Но кто из мнящих себя богатыми разумом поверит теперь этому свидетельству истины?

«Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».

IV.
Замечательное сновидение

2 октября в 2½ часа пополудни 1850 года в Предтеченском Скиту Оптиной Пустыни скончался иеромонах Никон.

Несколько дней спустя по исполнении шести недель, а именно 18 ноября, в день воскресный, после утрени, новопосвященный иеромонах Варсонофий, готовясь служить раннюю Литургию, прочел правило ко Святому Прича-

щению и от усталости, в ожидании звона к обедне, присел на стул и тотчас заснул. И показалось ему во сне, что он видит в каком-то незнакомом ему месте многочисленное собрание скитской и монастырской братии и среди них, к удивлению его, сидит умерший иеромонах Никон. И думает во сне Варсонофий: как он здесь? Ведь он умер! И с такими мыслями Варсонофий обратился к братии и сказал:

— Смотрите — это отец Никон!

И братия будто тоже увидела в своей среде почившего иеромонаха. В какой он был одежде, этого Варсонофий не заметил, но видел, что на голове его была камилавка, но без клобука, как обыкновенно носят служащие иеромонахи и иеродиаконы во время служения. На руках Никона, обернувшегося лицом к востоку, лежал младенец, и Никон вслух поминал некоторые имена, и когда, помянув несколько имен, произнес имя «Никон», — то младенец, до того времени молчавший, сказал ему:

— Я — Никон!

И эти слова младенца пробудили в Варсонофии желание узнать о его загробной участи, и он спросил младенца:

— Где же ты теперь находишься?

— В раю!— ответил младенец, — между святыми.

Варсонофий спросил опять:

— А каков рай?

Младенец хотя общими и краткими выражениями, но сильно восхвалил красоту рая. Какими словами он был описан, этого Варсоно-

фий упомнить не мог, но впечатление осталось у него такое, что рай неизобразимо прекрасен. Вспомнив о мытарствах, он спросил младенца:

— А по мытарствам тебя водили?

Младенец, как бы вспоминая что-то очень тяжкое, ответил протяжно:

— Уж водили-водили! водили-водили!

И видом своим, и произношением этих слов младенец выразил, что он прошел мытарства с тяжелым испытанием.

— Как же ты от них избавился? — спросил Варсонофий.

— Пришел Архангел Михаил, — отвечал младенец, — и вывел меня оттуда.

Еще о многом спрашивал младенца Варсонофий, и младенец отвечал ему на все его вопросы, только все это было Варсонофием позабыто. Он помнил только из времени этой беседы, что он обращался к окружающей братии, говоря им, чтобы и они предлагали свои вопросы младенцу, так как он на всё отвечает. Но братия стояла молча, и никто у младенца того ничего не спрашивал. Тогда Варсонофий вспомнил об аде и спросил:

— А ад ты видел? Скажи мне: тяжки в нем мучения?

И показалось Варсонофию, что младенец не находит слов, чтобы с достаточной силой изобразить лютость адских мучений. И в то же время явилось у ног Варсонофия какое-то чудовищное животное, которое беспрестанно на его глазах меняло свой вид, поднималось, опускалось, делилось на части и мало-помалу

исчезло. Что было это за страшное животное, этого Варсонофий определить не мог, но ему во сне подумалось, глядя на его видоизменения, что в них заключен образ многоразличных степеней адских мучений. После этого видения Варсонофий младенца уже более не видал, а как будто сквозь какую-то отворенную дверь вышел к братии и рассказывал им об ужасах ада, как сам о них мог понять из своего видения.

Проснулся Варсонофий в великом страхе, и тут пришел будильщик возвестить о времени идти служить Литургию.

Иеромонах Никон был приобщен Святых Таин только за три с половиною часа до кончины, в полной памяти, хотя говорил тупо и мало и не совсем внятно. По верованию же Святой Православной Церкви, умирающий вскоре после сподобления Святых Таин не проходит мытарств. Почему же, спросят боголюбцы, не то было с Никоном?

И действительно, преподобные Каллист и Игнатий (в 92-й гл. «о безмолвии») приводят слова Иоанна Златоустого о некотором чудном старце, который сподобился «увидети и услышати, яко имущии отсюда отходити, аще Святых Таин причастятся с чистою совестию, егда умрети имут, дориносяще Ангели, причащения ради онаго, отсюду возносят». Но кто из нас похвалится чистую совесть иметь? Ежели преподобный Марко задержан был на мытарствах целый час, то как можно сделать решительное заключение о тех, кто в жизни хрис-

тианской менее совершен этого дивного святого? Задержан же был Марко Фраческий, как уверяют некоторые прозорливцы, сподобившиеся это видеть, за то, что возбуждал и убеждал душу свою перед кончиной не бояться приближающегося разлучения ее с телом, вспоминая многие свои труды и многие слезы и различные скорби, Бога ради понесенные. Злые же мытари представляли на мытарствах, будто бы преподобный Марко перед смертью хвалился строгою и подвижническою своею жизнью, и потому не допускали душу его восходить на небо до тех пор, пока Божественный глас не повелел святым Ангелам:

— Принесите Ми сосуд избранный!

И это сокровище веры было найдено мною в келейных записках одного из Оптинских иноков. Достались они ему по наследству духовному преемственно от целого ряда предшественников его монашеского подвига, изучавших великое дело Христовой веры не в препретельных человеческаго разума словесах, а в явлениях силы и духа.

Забыли эту науку из наук многие из новых богословов, и, вожди слепые, куда ведут они вверенное их водительству слепое стадо?..

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

I.

Пасха 1906 года долго будет памятна Оптиной Пустыни. Светло праздновался верными в Оптиной обители этот праздник из праздников; торжество из торжеств возвещали міру могучие Оптинские колокола; неслись к самому небу победные голоса одухотворенной меди, ликуя и радуясь вечной победе Неба над адом, жизни над смертью, когда от Литургии Светлого Христова Воскресения многочисленная семья Оптиной братии во главе с маститым своим настоятелем шла в братскую трапезу воздать хвалу Воскресшему Господу радостными розговенами после труда бденного и поста строжайшего Великой седмицы Страстей Господних.

Радостно, победно, торжествующе гудела и переливалась в весеннем воздухе могучая медная волна колокольного великопраздничного трезвона.

О Пасха велия и таинственная, Христе!

Много собралось народу из окрестных сел и деревень на Пасхальную ночь в Оптину: пере-

полнен был собор обители. И после Литургии весь праздничный богомольческий люд веселым и шумным, жизнерадостным потоком вслед за монахами разлился по горе Оптинской, по ступеням храма и лестницы, ведущей к св. воротам, торопясь к перевозу через многоводную Жиздру*, чтобы поспеть к семейным розговенам в кругу своих, проведших Святую ночь в приходском храме.

Хорошо, светло, радостно было на душе у всех. Кто из православных, живущих жизнью матери-Церкви, не знает светлой радости Пасхального утра, когда и само солнышко-то по особому светит — «играет»?!

В 1906 году Пасха совпала с весенним половодьем. Немного не до белокаменных стен Оптиной разливается весной многоводная, омутистая Жиздра; а бывает, хоть и редко, и так, что прямо из ворот садись и поезжай на лодке. И, неся взломанные весенним пригревом седые, косматые от талого снега льдины по стремнине своего русла, доплескивается расходившаяся могучая река желтой волной разлива, заливая прибрежные ветлы и монастырские яблони, до самой твердыни стен Оптинских и лижет порог св. ворот и каменные ступени входа в св. обитель.

II.

В Пасхальное утро памятного дня Жиздра еще не выливалась из берегов, но полая вода, едва сдерживаемая упругими берегами, уже

* Река, протекающая под Оптиной Пустынью.

мчалась с ними вровень, шумя и волнуясь не меньше праздничной толпы, стремившейся к перевозу.

На Оптинском берегу парома не было; он только что отчалил от берега, перегруженный передовой толпой богомольцев. Надо было ждать, а ждать ох как не хотелось деревенской молодежи, по большей части молоденьким девочкам — подросткам лет от двенадцати до шестнадцати. Были с ними и мальчики того же возраста.

— Давай переедем на лодке! Чего там парома дожидаться!

Сказано — сделано. А на грех, на Оптином берегу и лодка оказалась. Старших никого не случилось: своя, стало быть, молодая волюшка! И залезло девичьего народу в лодку столько, что застонала бы лодка, если бы только была живая.

Какой-то мальчишка, на другой грех, тут случился и вызвался править; и отвалила перегруженная народом лодка, и поплыла, едва не захлебываясь своими бортами, на стремнину.

И пяти саженей не отплыли от берега, как лодка, накренившись, черпнула воды одним бортом. С визгом шарахнуло к другому борту девичье стадо, и в миг один на самой быстроте перевернулась лодка и, как яблоки спелые в бурю, попадал народ в омут вешнего половодья.

Батюшки-светы, родимые мои! Что ж тут только было! Одно слово — великая кара грозы гнева Божьего. Не пощадил Господь святыни Своей, Светлого Своего Праздника не по-

щадил... Стоном застонала, криком закричала быстрая Жиздра от стону да от крику утопающих. Увидели на Оптиной колокольне страх этот, стали бить сполох: выбежали монахи, старушки монахини со скотного двора выбежали с иконами — бегут все к берегу, кричат: «Народ тонет, тонет православный народушко!» Пока бежали да добежали до берега, а по Жиздре уже только мертвые, закостенелые от холодной воды молодые тела плывут девичьи, да кружится над омутом между льдинами кверху дном лодка, а на лодке верхом — одна молодая бабенка, за которую душ пять-шесть в воде девок держатся; и все они кричат:

— Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!

Только и спаслись эти, что «Христос Воскресе» кричали.

Шестнадцать молодых девичьих душ со Светлого Праздника отошли из царства земного в Царство Небесное. Тела одних разыскали, других же искали-искали, да так и не нашли: быстра, многоводна и омутиста весенняя Жиздра!

Долго не забудет Пасхального этого утра святая Оптина Пустынь. Не забудут его и окрестные крестьяне, особливо те, у которых на Пасху ту справлялись поминки по утопленнику.

III.

С 1903 по 1907 год мне ни разу не довелось быть в Оптиной, но духом и в письменном общении я был с нею неразлучно до тех пор, пока Господу не было угодно призвать меня

вновь в это святое и великое гнездо старчества, духовного окормителя многих православных, и особенно женских обителей. 1 октября 1907 года, на Покров Пресвятыя Богородицы, Господь призвал меня не только посетить эту дорогую моему сердцу Пустынь, но и поселиться в ней на жительство во внешней монастырской ограде. Отвели мне, страннику и пришельцу, любвеобильные и богомудрые старцы Оптинские уютный домик и благословили жить и работать во славу Божию, пока живется да пока Бог грехов терпит. И поселились мы с женой в этом всех обуреваемых отишии не помня себя от радости, что укрыл нас Господь от молвы и злобы обезумевшего міра.

Еще с первых моих посещений Оптиной, когда я еще был довольно богатым помещиком, у меня завелись кое-какие отношения с окрестными жителями, и в их числе с одним захудалым мужичком из соседней с Оптиной деревни, Стениной. Звали его Сергеем; был он хлебопашцем, а в подспорье коренному своему делу, которое плохо теперь стало кормить и мужика и барина, занимался извозным промыслом на паре заморенных от работы и бескормицы клячонок. Привязался этот Сергей к моей былой помещичьей тароватости и с первого знакомства принял меня в свою дружбу, величая меня «мой барин». Хотя и знал я цену Сергеевой дружбе, но, по человеческой слабости, уступал ее излияниям; и лошаденки Сергеевы были дрянь отменная, и сам он как ямщик никуда не годился, а вся снасть его, до-

рожная была и того хуже, но я других ямщиков и знать не хотел и всюду по козельским святым местам — и в Оптину, и Шамордино* — разъезжал с Сергеем.

И в этот свой приезд в Оптину я вновь, когда мне понадобилось ехать в Шамордино, послал в Стенино за Сергеем. Не забыв старого хлеба-соли, мой Сергей явился немедленно по первому зову на том же уже знакомом мне полуразрушенном тарантасе, перевязанном во всех направлениях пеньковыми обрывками, и с той же парой заезженных, замученных ездой и голодом клячонок.

Не успели мы и полуверсты отъехать от Оптиной, как мой возница обернулся ко мне в пол-оборота с облучка и, по старой со мной дружбе, стал мне выкладывать свои домашние скорби. Они у него были и прежде бесконечные: незадачливый был какой-то мужичонок.

— А уж и скорбь же мне была вскорости после вашего отъезда**: ведь у меня на Пасху девка моя, Катька, утопла. Вспомнить, аж живот замирает! И девка-то какая была — прямо красавица, невеста!

В голосе Сергея при этих словах задрожали слезы; и тут он мне рассказал все то, что читателю уже известно.

— Так и не нашли девки, — продолжал он, едва перемогая волнение, — видно, ее илом за-

* Шамординская Казанско-Амвросиева женская пустынь в 12 верстах от Оптиной. Основана великим старцем, иеросхимонахом Амвросием Оптинским. Чудная по красоте и по духу обитель.

** Последний раз я был в Оптиной зимой 1905 года и выехал 16 января 1906 года.

тащило. И мне-то горе, но вдвое горе кажодень* смотреть, как старуха моя по ней убивается: глаз не осушая второй год по дочке плачет. Аж жуда нападает слушать, как она голосит!

Так плакался мне Сергей на свое горе. Я старался, чем мог утешить, а утешить могла только вера: о ней я и заговорил.

— Жалко мне тебя, Серега болезный, — говорил я, — а все ж не худо бы нам с тобой попомнить, что не век же нам тут всем жить; а на печи ли, на лавке ли или под лавкой, а умирать каждому придется, как срок его, Богом положенный, выйдет... Говела постом твоя дочка?

— Как же! В Великий Четверг причащалась.

— Ну, разве тебе это не в радость? В Великий Четверг причастилась, а в первый день Пасхи Бог ее взял к Себе. А знаешь ли ты, чем Церковь-то наша Святая утешает? Кто, сказывает она, помрет на Пасху, того душа прямо, минуя все мытарства, идет к Господу.

— Знать-то знаю; а все ж, сам посуди, каково это родительскому сердцу? Пуще же всего мне старуху свою жалко: она по девке совсем иссохла.

Жалко мне было Сергея, но утешить его было трудно: в таком горе утешить может только Бог да время, а благодать Божественного утешения еще, видно было, не касалась сердца Сергея. И пришлось мне перевести разговор на другое, чтобы дать иное течение Сергеевым мыслям. Прием этот удался как нельзя лучше,

* Каждый день.

но, и переменив разговор, не напали мы с Сергеем на веселые речи: издавна тяжела доля крестьянская, а теперь с разными свободами да своевольством деревенской молодежи, с дорогой и вольной водкой и того хуже стала. Не стало никакого порядку в деревне, пропала правда-матушка, да к тому же и веры поубавилось, а где и вовсе в крестьянском быту пропала. Не жизнь, а адово преддверие стала жизнь крестьянская. Помоги только, Господи, ее вытерпеть!

Жалко мне было родительского сердца Сергея, но не было мне жаль Сергеевой дочки, Кати.

IV.

Как переселил меня Господь на Покров в Оптину, так и стал ко мне Сергей похаживать то за делом по своей извозной части, а то просто так, не без тайной, однако, надежды: не перепадет ли ему от барина полтинничка на нужду его крестьянскую?..

В конце мясоеда, перед самым Филипповым постом, затеял Сергей играть свадьбу своего второго сына; а незадолго до этого его старший сын, тоже недавно женившийся, чуть не убил его со старухой, своей матерью: затеял с женой от стариков отделиться и отделился, а при дележе отцовского достояния едва-едва не покончил на смерть своего родителя.

— Только я ему сыграл свадьбу, — жаловался мне раньше Сергей, — потратился из последнего, да еще призанял у добрых людей, а они вишь как меня отблагодарили! Спасибо,

что еще хоть живым-то оставили; а все-таки сам-друг с невесткой здорово меня потрепали. Вот они, детки-то, ныне стали! И жаловаться некому!.. Прежде хоть розги боялись, а нынче никого понимать не стали.

Просил, конечно, Сергей у меня денег на новую свадьбу, но у меня у самого на ту пору денег не случилось, да, прости Господи, и были бы, так не дал бы из боязни для Сергея на мои деньги нового раздела со вторым сыном и с новой невесткой.

Так на этот раз и ушел от меня Сергей, не получив поддержки.

V.

— Уж и горький же этот мужичонко, — сказывала мне, по уходе Сергея, живущая у меня на покое одна раба Божия, тридцать семь лет по благословению старца Амвросия Оптинского несшая великий и тяжелый подвиг странничества, — одна беда за другой на него сыпятся. Давно ли одного сына на каторгу за чужой грех сослали! Там дочь утонула; там вишь в семье какая идет завируха: делятся, дерутся, никак не разделятся. А что делить?.. Ну и времена! Доколе же только, Господи, Ты им терпишь?.. А тут ему и от старухи своей ни днем ни ночью покою нет: все по дочери голосит, да ведь как голосит-то! Иду я нынче по лету как-то уж поздно вечером из Шамординой в Оптину: прошла Стенино да и пробираюсь себе тихонько со своей палочкой по берегу Жиздры. Темнеть уже стало. Вдруг в кустах, у

речки, кто-то около меня как застонет, как взвоет, да — в голос, что у меня мурашки в спине закопошились. С нами сила крестная! Я в сторону, давай только Бог ноги: уж не дорезывают ли, думаю, какую душу христианскую? А то сила, думаю, нечистая не тошнует ли в омуте?.. Смотрю: мальчишки деревенские — мне навстречу... Что-то, спрашиваю, мальчонки, у вас тут на речке точно кто стонет? Слышите?.. А, говорят, да это стенинского Сергея жена каждый вечер сюда на реку по своей девке голосить ходит... Тут я осмелела, пошла к ней, стала утешать бабу; да где утешить-то, когда у нее от тоски все нутро выболело? И Сам Господь ее утешал: сколько раз она во сне свою дочь, как живую, видела, и дочь ей наказывала: «Не плачь, — говорит, — маменька, — мне хорошо у Господа». А она и после этого знай свое голосит. Жалко бабу, а Сергея еще жальчее, беднягу!

«Да, — подумал я, — где ж тебе, матушка, утешить, когда и Сам Господь, по ее маловерию, ее не может утешить!..»

VI.

Не прошло и двух недель со дня последнего посещения меня Сергеем, как мне пришли сказать, что у него умерла его старуха и что сам Сергей меня дожидается на кухне. На этот раз уж не на свадьбу пришел он просить помощи, а на похороны. Тут отказу не было.

— Как же это у тебя горе такое стряслось? — спрашиваю.

— Да на свадьбе, должно быть, простудилась моя старуха. Свадьбу-то мы ведь сыграли. А после свадьбы и трех ден не вышло, как свалилась совсем моя баба; неделю похворала да и померла.

На том наш разговор и кончился. А вечером я от своей прислуги и той же старушки странницы услыхал, что не просто умерла Сергеева старуха, а с великим утешением отдала свою исстрадавшуюся душу Господу. Вот что рассказали мне они:

— Вы ушли от Сергея, как дали ему на похороны, а мы его задержали на кухне чайком попоить, — хоть чем-нибудь утешить. Дивно ведь умерла его старуха! Сказывал он нам: в день смерти и до самой кончины была она в полной памяти, причастилась Святых Таин Христовых; а за час или полчаса до смерти она вдруг поднялась на печке, где лежала, а лицо все просияло, да и говорит: «Здравствуй, Катечка, дочка моя родимая! Да в каком же ты сарафане-то хорошем! Как же это ты, моя девочка, иль ты не утопла?.. Ведь утопла ж ты? А сарафан-то на тебе, гляди, новешенький... Как не истлел он в речке-то?..» «Мы, — говорит Сергей, — думали, что это она в бреду говорит — кончается, значит. Что, мать? спрашиваем, — аль помираешь?» «Помирать-то, — говорит, — помираю: вон и Катя за мной пришла...» «Какая, — спрашиваем, — Катя?» «Да наша Катя, — говорит, — да неужто ж вы ее не видите?..» Она говорит, а мы всё думаем, что она уж не в своем разуме; только — нет: ска-

зала это и стала тут же со всеми прощаться. «Прощайте, — говорит, — теперь уж на этом свете нам больше не видеться. Только знайте, что утешил меня Господь, и отхожу я от вас в радости: въяве была сейчас у меня моя Катенька и сказывала, что за мной пришла. «Теперь, — сказала она, — идем ко мне, маменька! Я близко от Господа, и у нас всегда Пасха, и все **Христос Воскресе** поют. А как поют-то! Хорошо у нас, маменька, не так, как у вас!..» Простилась со всеми старуха и с тем кончилась. Вот ведь как померла жена Сергея. Дивны дела Твои, Господи!

Христос Воскресе! Христос Воскресе!.. Кто в пучине холодной весенней Жиздры воспел, в виду неизбежной смерти эту победную песнь торжества Христова, тот спасся; а кого поглотили в своей бездне вешние воды и кому, по неисповедимым судьбам Божиим, не было дано здесь на земле, в водах Жиздры, помянуть спасительное Христово Воскресение, тот за вечную славу Христовой Пасхи, за победный день Воскресения поет и во веки веков бесконечно петь будет славу Воскресшему Господу там, на Небе, в Обителях райских Царя Небеснаго, радуясь о вечном своем спасении.

Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!

Воистину Христос воскрес!

Оптина Пустынь
23 ноября 1907г.

ВРАЖЬЯ СИЛА

Еще в раннем детстве моем приходилось мне слышать жуткие рассказы о страшных проявлениях власти силы нечистой над людьми, поработившими волю свою служению греху и диаволу. Память моя еще и до дней моих, склоняющихся теперь к своему закату, хранит в тайниках своих воспоминания тех впечатлений, которые отразились в ней под влиянием моей старушки няни и тех Божиих старушек, для которых еще так сравнительно недавно были открыты двери «девичьих», и даже «детских», старинных русских дворянских домов, не порывавших тогда своей вековечной связи с многомильонной серой толпой простолюдина, с его простой бесхитростной детской верой. Какие только тайны міра невидимого не были открыты этой вере, чего только не было из того, потустороннего, міра доступно зрению этих «младенцев!..» Кто из нас, православных русских людей, какого бы он ни был звания или состояния, не ознакомился в годы зарождаю-

щегося сознания с тем таинственным, полным чудес и вместе страшным невидимым міром, где действовали и работали на погибель православной душе силы нечистые? Кто не помнит всех этих, олицетворенных верою, а по мудрости века сего — фантазией русского простолюдина, леших, водяных, домовых и их приспешников и рабов из рода людского — колдунов, ведьм и всей им подобной нечистой собратии? Чье детское сердечишко не трепетало в вечернем сумраке сгущающейся осенней или зимней ночи, озаренной трепетным сиянием одинокой лампады, от этих страшных историй?.. И как оно им верило! Как билось оно от жуткого волнения — разорваться, казалось, могло бы оно, если бы не спокойная и торжествующая уверенность старушки няни, что питомцу ее и слушателю нечего бояться, так как доступ к нему силы вражьей прегражден и его Ангелом-Хранителем, и его детски чистой душой, и ее молитвами, и, наконец, всей той неисчислимой благодатью, которой в виде Крещенской святой воды, Афонского ладонцу, святого маслица от мощей Божьих угодников и всякой другой святыни была полна ее божничка, мерцающая огоньком неугасимой лампады. Да и могло ли детское сердце, чуткое ко всякой правде, не верить этим рассказам, когда и сама няня и другие ее собеседницы и рассказчицы в них были уверены еще больше своего маленького слушателя, а некоторые из них даже и сами бывали на полусмерть перепуганными свидетельницами того, о чем повествовали?

Верил и я тому ото всего своего детского сердца, пока дух времени, дух всяческого скептицизма не заглушил было в нем совсем всякой веры в то, что «умные» люди называют сверхъестественным, что обозвали они «бабьими сказками и беднями» и чему они строго-настрого приказали не верить, пригрозив позорной кличкой «дикого обскуранта», а в худшем случае и сумасшедшего. И пришлось мне подчиняться приказу «умных» людей и надолго на место детской своей веры в міръ духовный поставить иную веру в иных богов и в иных кумиров, которым поклонялись и сами «умные» люди: и то сказать, кому была охота в век прогресса прослыть «обскурантом»?

Счет потерял я за время своей так называемой сознательной жизни всем этим кумирам и богам, которых за прожитые дни мои воздвигало, повергало и вновь воздвигало умное человечество, пока, к душевному своему томлению и разочарованию, не убедился я, что и конца не предвидится этим бесконечным сменам богов, и пока не признал, Божьей милостью, той истины, что тайны Свои Творец утаил от премудрых и открыл младенцам.

Но какой борьбы душевной стоили мне и разочарования мои, и обретение той вожделенной истины, которая так просто была дана и так просто воспринята «буими» міра в Православной вере, ее Священном Писании, Предании и Житиях Божьих угодников.

Помнится мне из времени этой тяжелой борьбы сердца моего, упорно отказывавшегося

удовлетворяться одной материей, которую на место жизни духа стремилось поставить «освободительное» движение «великих» реформ шестидесятых и последующих годов, — помнится мне, что впервые резким разладом показалось мне, что в то самое время, когда весь духовный мір подвергся осмеянию и поруганию, а затем и отрицанию, «умные» люди, стоявшие во главе общественного движения, каким-то совершенно непонятным логическим скачком перескочили от «превращения видов», «клеточек и протоплазмы» в ту самую область, которую сами же они подвергли остракизму: материализм подал руку спиритизму, и «умные» люди сочли возможным соединить это несоединимое в общую кашу, скушали эту кашку, ложки обтерли и сказали — спасибо. Чья-то властная незримая рука бросила самый цвет образованного общества, и даже профессоров, к вертящимся столам, блюдечкам и обратила вчерашних отчаянных материалистов в сегодняшних материализаторов невидимых духов.

И тут впервые после вечерних посиделок с няней мне пришлось уже из уст образованных людей, глумившихся над няниными предрассудками и суевериями, слышать убежденные повествования о том, что мне хорошо было знакомо из детских воспоминаний. Заговорили о «непокойных» домах, о привидениях, о предчувствиях, о влиянии умерших на живых; передавали о том, как в «непокойных» домах летали по воздуху тарелки, стаканы, миски, ведра, щетки; раздавались по ночам стуки; чьи-то

слышались страшные шаги, леденившие сердце холодным ужасом... И не одна полиция, не одни перепуганные квартиранты бывали злополучными свидетелями совершавшихся бесчинств, а целые улицы, кварталы и даже города, собиравшиеся толпами глазеть на необъяснимое явление.

«Умные» люди из тех, которые были знакомы с медиумическими явлениями, приписывали эти явления действию «шаловливых духов», ярые нигилисты — жуликам, простые люди, простые и сердцем и верою — нечистой силе. Большинство, таким образом, стояло за духов и тем, в моих глазах, оправдало те детские мои верования, которые тем же большинством, когда я высокомерно пренебрегал голосом простолюдина, были разбиты во дни моей юности.

Сразу воскрес в моей памяти забытый мир старых русских детских и няниных рассказов. Но как полнее и круглее было ненаучное миросозерцание моей старушки, озаренное и осмысленное светом веры, сравнительно с тем хаосом, с которым ученые и умные люди производили свои исследования в области спиритических и медиумических явлений! Знала моя няня эти явления, а с нею вместе знал их и весь простой Русский народ еще в то время, когда и речи не было о психофизической «науке», и относили их к действу исконного богоборца и человекоубийцы — диавола. И были им известны и цель и смысл этих явлений: погибель создания Божьего — души человеческой и вечная ее мука в том месте вечных мучений,

которое уготовано сатане и всему его сатанинскому воинству.

Теперь это Богооткровенное и некогда **опытное** знание христианского разума, отнятое сперва у руководителей дехристианизированного человечества, отнимается и у простого народа: отступающая от отступнического міра благодать Божия попустила врагу человеческого рода утаить свое существование от сынов противления века сего, чтобы тем легче их обольстить и опутать своими сетями... Взгляни же, дорогой читатель, во что обошлась человечеству утрата этого знания! Оглянись вокруг себя, и если душа твоя еще не окончательно лишена способности со скорбью об утрате Христовой веры отзываться на деяния твоих современников, то ты поймешь, что вражья хитрость удалась лукавому как нельзя лучше и что **он** теперь воистину — князь беснующемуся и бесноватому человечеству.

Надолго ли?

Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени! (Апок. 12, 12.)

От одного из Старцев великой Оптиной Пустыни Бог привел мне получить в мое распоряжение рукопись, которая еще во дни блаженной памяти великого старца, отца Амвросия Оптинского, была на его рассмотрении и исправлении. То лицо, от которого мне эта рукопись досталась, утверждало мне, что она пред-

назначена была самим Старцем для печатного назидания современников, но затем почему-то мысль эта была им оставлена. По недоведомым судьбам Божиим только теперь, спустя 15 лет после смерти о. Амвросия, настало ей время увидеть свет. Не прольет ли она некоторого света во тьму совершающихся злодейств и бедствий, от которых застонала Русская земля?!

I.

Вот она — эта рукопись, уже пожелтевшая от времени. Четким почерком на ней изображено следующее:

«В кругу простого народа нередко приходится слышать такие рассказы, которые могут показаться странными и даже невероятными. Один из таких рассказов, записанный нами со слов очевидца, мы предлагаем читателю. По необыкновенности рассказа, ему трудно поверить, но и отвергать совершенно истинность его тоже, кажется, нельзя, потому что сотни людей были очевидными свидетелями описываемого нами события. Мы с намерением указываем на место, где случилось событие и выставляем имена тех лиц, которые каким бы то ни было образом участвовали в нем, дабы любопытствующие, кто имеет возможность, сами лично расспросили их о случившемся.

Событие, описываемое нами, не единственное. Любопытный часто может слышать в простонародии подобные рассказы; и если он внимательно и без предубеждения слушает их, то много найдет причин и верить им.

Подобный рассказ мы встретили в «Православном Собеседнике» (1868 г. Март. С. 76), издаваемом Казанской Духовной академией. Там, в житии преосвященного Илариона, митрополита Суздальского, бывшего первого строителя Флорищевой пустыни, говорится, что в царствование Царя Алексия Михайловича в Москве, в Патриаршей богадельне на Куличках, по действу некоего чародея, вселился демон и живущим там причинял многие пакости. Тогда, по повелению Цареву, для изгнания демона послан был в оную богадельню преподобный Иларион, находившийся в то время в Москве. По принесении Господу молитв, во время которых диавол бесчинствовал, и по окроплении всей богадельни святой водой, когда диавол все еще не выходил из дома, Преподобный спросил его:

— Како ти есть имя?

Он отвечал:

— Имя ми есть Игнатий, княжескаго роду; обаче плотян есмь: меня послала мамка к демону, и абие взяша мя демони...

То было на Москве, при Царе Алексии Михайловиче, а вот что случилось в Новгородской губернии в наше время.

Новгородской губернии, Череповецкого уезда, Колоденской волости, в деревне Миндюкине, в имении действительного статского советника Секретарева, у крестьянина Трудникова* был сын Михаил, мальчик здоровенький и веселенький, да при этом еще и порядочный шалун.

* Прозвище, а не настоящая фамилия крестьянина, которое он получил оттого, что был трудолюбив, но неуспешен.

В 1850 году или, может быть, на год раньше, когда Михаилу сравнялось 15 лет, бедные родители вздумали отдать его в пастухи; но мальчик, привыкший к одним шалостям и детским забавам, которому каждая мало-мальски серьезная работа казалась мукою, сильно начал роптать на свою мать, когда она ему объявила о своем намерении сделать его пастухом. Ропот мальчика доходил даже до дерзости, которая в свою очередь возбудила сильное негодование в сердце его матери. В порыве гнева неосторожная крестьянка прокляла сына и оттрепала его, как только было угодно ее раздраженному сердцу... Волей-неволей, а Михаил должен был наконец уступить требованиям матери: в скором времени его отправили к предназначенной для него обязанности за 35 верст от своей деревни в село Лентево Устюженского уезда.

II.

Живет там мальчик день, другой; прожил целую неделю. Время шло обычным порядком без особых приключений, и можно было полагать, что он уже примирился со своей незавидной долей...

Раз как-то Иван (так звали главного пастуха) отлучился куда-то от стада, оставив при нем своего маленького помощника. День склонялся к вечеру. Иван опять скоро возвратился к стаду, но только Михаила уже не нашел... Начал он его кликать что было мочи, но в ответ ему только зловещее эхо повторяло последние звуки его же голоса...

Возле самого места, где пасся скот, было озеро. У берега этого озера стояла небольшая лодочка... «Уж не там ли он? — подумал Иван про Михаила, — мальчик — баловень; пожалуй, еще вздумает на лодке кататься — беды бы тут с ним не нажить!..» С такими мыслями Иван подошел к тому месту, где стояла лодка, и неподалеку от берега увидел поверх воды труп несчастного Михаила уже без всяких признаков жизни. В сильном смущении от такой неожиданности, пастух побежал в свое село, находившееся верстах в четырех от пастбища, известить о печальной участи его товарища. Слух об утопленнике скоро разнесся по всему селению и вызвал любопытных — и старых и малых — на место печального события... Труп, уже закоченевший как чурбан, был вынут из воды. Затем это дело было доведено до сведения станового пристава и матери Михаила, которые и не замедлили явиться: первый — для производства дознания о нечаянной смерти мальчика, а вторая, — чтобы удостовериться в истинности события и оплакать несчастную кончину своего сына.

Причина смерти Михаила была у всех на виду, и потому положено было без дальних хлопот предать покойника обычному христианскому погребению.

Так как возле самого озера на довольно большом пространстве было топкое место, то тело мальчика сперва понесли на руках, а потом по твердой земле его положили на подводу и повезли уже до самого Лентева на лошади.

Труп, судя по летам покойника, был небольшой и не представлял собою особенной тяжести, и потому весьма было удивительно для всех присутствовавших, сопровождавших утопленника, что лошадь везла его с большим напряжением, как будто на телеге была навалена огромная тяжесть.

Дивились этому необычайному обстоятельству все и никак не могли доискаться его причины...

Между тем над покойником по уставу Святой Церкви был совершен обряд погребения, и тело его было предано земле.

Поплакала бедная мать над прахом своего Миши, погоревали и все свидетели ее нечаянного горя и разошлись по домам, сохранив грустное воспоминание о печальном событии.

III.

Еще время не успело успокоить взволнованных чувств Трудниковой, как однажды утонувший сын ее дал о себе весть в сонном видении и сообщил нечто страшное и столь невероятное о своей мнимой смерти, что если бы не бывавшие тому на памяти народной примеры, сообщению этому трудно было бы поверить.

Вот как было дело.

Настала ночь. Легла Трудникова спать. И вот, в глубоком сне видит она своего Михаила. Приходит он к ней, как будто живой, и говорит:

— Матушка! ты не думай, что я умер: я жив и теперь нахожусь во власти демонов за

то, что ты меня прокляла. Если хочешь, чтобы я воротился к тебе, то кайся в грехе своем, молись обо мне чаще Богу и подавай за меня милостыню.

Этот сон Трудникова видела три ночи сряду...

Сильная скорбь об утрате сына, ужасное во сне извещение о его гибели вследствие материнского проклятия, надежда, хотя и слабая, видеть его опять в живых — все это заставило Трудникову обратиться за советом к одному благоразумному крестьянину, пользовавшемуся доверием среди крестьян всей окрестности.

— Что сын твой жив, — говорит советник, — тому не верь, а молиться Богу за него, подавать по нем милостыню и каяться в грехе своем — это твоя обязанность. Жив ли твой сын, умер ли — во всяком случае твое покаяние, молитвы и милостыня полезны будут и для него и для тебя.

Советник имел основание говорить так; на его памяти был следующий случай: в селе Курилове Череповецкого же уезда жили два брата-купца: один — доброй нравственности, другой — беспорядочной жизни. Такой контраст в характерах родных братьев заставил их разделиться. Добрый брат стал богатеть, а другой вскоре окончательно прокутился... Раз как-то этот последний был у своего брата и застал его с одним крестьянином за дележом довольно большой суммы денег. Подметив это, он подстерег вечерком этого крестьянина в лесу, через который шла глухая тропинка к его дому, огра-

бил у него деньги, а самого убил и пошел как ни в чем не бывало пьянствовать в кабак. Но мужик не был убит до смерти! Оправившись, он добрел до своего села и объявил, кому следует, о случившемся. Преступление было открыто, и преступника засадили в острог...

У преступника была жена. Когда стряслась эта беда, несчастная женщина и дни и ночи плакала напролет... Но вот, к ее утешению, муж ее начал по ночам ходить к ней. На вопрос изумленной жены — как это может быть, раз он сидит в остроге, муж отвечал:

— Дружба со смотрителем острога дала мне полную свободу. А что я по ночам к тебе хожу, — это для того, чтобы люди не видели: не видят — и не бредят.

Через несколько времени и сама жена вздумала навестить своего мужа. При свидании с ним она спросила его о ночных посещениях. Муж сразу догадался, что дело неладно, и, не дав никакого ответа на вопрос жены, написал письмо, и велел ей, не теряя времени, отнести его к брату. Возвратившись домой, она отложила исполнить мужнино поручение до следующего дня. На утро крик малютки дочери созвал народ, и бедную женщину нашли уже мертвою. При допросе девочка сказала, что ночью приходил к ним какой-то мужчина и задушил ее мать. Нашли на божнице письмо от мужа, не доставленное брату, и оно подтвердило показание дочери о таинственных ночных посещениях покойной каким-то лицом, принимавшим на себя образ мужа задушенной женщины.

Рассказал этот случай советник Трудниковой и убедил ее не доверяться ночным видениям, но велел молиться и подавать за душу сына милостыню.

Послушалась мать доброго совета и начала за своего сына молиться Господу и раздавать бедным милостыню, сколько позволяло ей ее скудное достояние.

Проходит год и другой. Сны, подобные вышеописанному, по-прежнему ей снятся, хотя уже не так ясно, как прежде. Искренне кается мать в грехе своем, не устает молиться Богу и раздает милостыню.

Целых двенадцать лет прошло со дня постигшего Трудникову горя.

О сыне не было ни слуху ни духу; да и самые сны, подававшие слабую надежду на его возвращение, давно уже прекратились...

IV.

В это время верст за семьдесят от деревни Миндюкиной, неподалеку от города Череповца, неизвестно откуда появился очень странный молодой человек из крестьян.

Росту он был среднего, телом сух и, что называется, — кости да кожа.

Одежда его состояла из грубых лохмотьев. Но что в нем особенно удивляло всех — это его необыкновенная дикость: точно он был существо какого-то иного, нездешнего міра.

Всех он боялся, от всех старался укрыться, и только крайняя необходимость, чтобы не умереть с голоду, заставляла его заходить в

дома некоторых крестьян. «Придет это он, — рассказывали очевидцы, — станет около двери не говоря ни слова да и стоит так несколько минут. Дадут ему что-нибудь поесть — съест, а не дадут — и так пойдет, опять-таки не сказав никому ни одного слова...»

Путь свой этот таинственный и странный человек направлял к деревне Миндюкиной.

Версты четыре не дойдя до Миндюкиной, он остановился для отдыха в селе Воротишине у крестьянина Василия Яковлевича, где его приняли и успокоили так, как еще недавно простые русские люди умели принимать странников, Божьих людей. Сердце прежнего русского крестьянина, всегда сострадательное к бедствию ближнего, заставило хозяина предложить страннику трапезу и угостить его чем Бог послал. На этот раз у Василия Яковлевича истоплена была и банька. Хозяева предложили своему гостю помыться...

И вот, тут, в бане, хозяин был поражен и даже напуган странностями своего гостя: то он захохочет как-то дико и страшно, то начнет как будто от кого-то прятаться — лезет под полок, за печку... Кое-как вымывшись, он оделся, вышел из бани и побежал куда-то. Во время своего бега он делал такие сильные прыжки, что, казалось, не бежал, а летел по воздуху, при каждом прыжке подымался вверх по крайней мере сажени на три.

Вскоре, однако, это поразительное с ним явление прекратилось, и он отправился в деревню Миндюкину, оставив гостеприимного сво-

его хозяина, надо полагать, в крайнем испуге и недоумении»...

На этом месте прошу моего читателя простить меня, что я прерву последовательное изложение лежащей передо мною рукописи и обращусь к личным воспоминаниям.

Верный списатель доверенного мне документа, я не могу все-таки не чувствовать, что случай, им передаваемый, до того необычен, до того страшен, что в читателе, мало подготовленном к восприятию такого рода рассказов из явлений таинственного потустороннего міра, он может вызвать не только недоумение, но, от чего Боже упаси, и подозрительность: а ну как сказатель этой истории глумится над доверчивостью своего читателя и рассказывает такие вещи, которых не только не было и быть не может, но и сам-то он им не верит. Спешу успокоить тебя, мой читатель, я сам не только верю тому, что передано здесь твоему изумленному вниманию, но попутно вспоминаю, что и в моей памяти сохранился в детстве моем нечаянно подслушанный разговор покойной моей матери со своей тоже уже покойной родной сестрой.

Обе они были воспитанницами передового духа дворянства сороковых годов, были обе образованы по последнему слову образования того времени, вкусили и даже пресытились материализмом годов шестидесятых и, конечно, ни во что сверхъестественное и чудесное не верили. И вот тем не менее из уст их я слышал и запомнил разговор их между собою о каком-то

мальчике лет 6 или 7, едва ли не о брате моей матери, а моем дяде, который впадал в какое-то таинственное состояние, во время которого с ним совершались удивительные и неразгаданные явления: он, не умея играть ни на каком инструменте, брал из рук первого скрипача дедушкиного домашнего оркестра скрипку и играл на ней, неожиданно и даже к испугу для всех, удивительные и неслыханные мелодии; говорил на иностранных языках, которых не знал и о которых в то время не имел и понятия; перепрыгивал с одного берега на другой речку шириною в несколько сажен и вообще творил нечто столь необычное не только для его, но и для всякого возраста, что ставил в тупик всех к нему близких*. Простые люди из прислуги с ужасом видели в этом проявление силы нечистой и твердо этому верили в простоте своей сердечной, ну а образованные и умные думали, конечно, иначе, но, как думали, о том мало говорили, а если и говорили, то

---

* Явление довольно обычное среди бесноватых и находящихся в прелести. В пещерной церкви Гефсиманского Скита, пред чудотворною иконою Богоматери Черниговскою, одержимые бесом, в состоянии беспамятства и в корчах изрыгая отвратительные хулы на все святое, иногда начинали говорить на иностранных языках, хотя это были безграмотные крестьяне или крестьянки, а иногда обличали тайные пороки присутствующих, вовсе не известных им лиц... В житии св. Никиты, святителя Новгородского, повествуется, что он, будучи в состоянии прелести, еще в Печерском монастыре знал весь Ветхий Завет наизусть, а когда молитвами святых подвижников избавился от прелести, то не мог припомнить ничего, что знал в прелести. В житиях святых много подобных рассказов, особенно там, где говорится о волхвах и их чарах. — *Ред.*

так, что и сами смысла в своих речах видели немного. Потом уже, когда стали увлекаться спиритизмом, умные люди додумались до «четвертого измерения», но и на нем, кажется, ногу сломали.

Вот это я слышал в своем детстве.

А что теперь творится в области спиритических явлений там, где спиритизму, не зная, **с кем** имеют дело, предаются «умные» люди, то, пожалуй, могло бы показаться еще невероятнее моей трудниковской истории. Но тому верят, то исследуют, о том пишут, о том говорят, тому предаются «умные» люди, и даже профессора, всем сердцем, все душой, всей верой своей.

Дивное дело! не верят там, где бесы действуют как бесы, прямо, открыто, под явным своим бесовским обличьем, а всю свою веру отдают им же, когда они действуют в облике ангела света «наук» психофизических — в спиритизме, медиумизме, моитивизме или социальных — «свободы, равенства и братства».

Не оттого ли и беснуется современный мір, заливая братской кровью поле смерти всякой свободы, всякого равенства, всякого братства!..

Прости же, читатель, это невольное отступление; далее уже пойдет опять моя рукопись.

V.

«Был воскресный заговейный день перед Петровским постом 1863 года. Перед избою миндюкинского крестьянина Федота Иванова Гришина резвились его маленькие дети со своими

сверстниками. Тут же был и сам Федот кой с кем из стариков соседей. К ним-то и подошел таинственный и молчаливый странник.

— Откуда ты? — спросил его Федот.

— Я — здешний, — отвечал он, — я тебя, дядюшка, знаю.

— Кто ж ты такой? — продолжал спрашивать его Федот.

— А знавал ты Трудникова Мишку? — сказал странник.

— Как не знать — знавал!

— Ну так вот этот-то Мишка — я самый и есть.

— Как так? Мишка утоп, и тело его похоронено.

— Нет, я вовсе не утоп, — с уверенностью ответил странник...

Стали тут всматриваться в лицо незнакомца и, действительно, нашли в нем сходство с лицом давнишнего утопленника. Разница была только в том, что из мальчика, каким он был прежде, теперь он стал большим парнем и имел на переносице знак, как будто от ушиба...

Быстро разнеслась весть по всей деревне о таком неслыханном событии, и вокруг Михаила уже стояла большая толпа народу. Не веря своим глазам изумленные крестьяне, и особенно шаловливые ребятишки, наперерыв лезли к нему каждый со своим испытующим вопросом.

— А меня как звать?.. А меня? а меня?.. — только и слышалось в толпе. Михаил точно отвечал на все вопросы... Изумление толпы достигло крайнего напряжения.

Тут вмешалась одна гришкинская крестьянка:

— А меня знаешь ли?

— Как не знать, — отвечал Михаил, — еще в вашей семье есть слепая старуха, которая только и знает, что на всех ропщет, а потому «мы» постоянно бывали у вас и делали разные проказы.

— А что это у тебя на носу-то за метка? — спросили его.

— Эта метка оттого, — ответил он, — что, когда мы с «дедкой» лесом шли в одно место, я вдруг вспомнил о Боге; вот, мне за это в наказание «дедка» схватил меня за ноги и так сильно ударил о сосну, что и теперь, как видите, знак остался.

— Да как же с тобой все это случилось? Расскажи нам, расскажи!

— А вот, послушайте! — так начал свой рассказ Михаил, — после того как мать меня прокляла, что и было главной причиной моего несчастья, я отправлен был в Лентево пасти скот. Как вам и самим известно, только одну недельку потерпел грехам моим Господь. Прошла неделя. Вдруг подходит ко мне какой-то старик с длинной седой бородой и говорит мне: «Твоя родная мать прокляла тебя, и это материнское проклятие дало мне полную власть над тобой!..» Тотчас начал он скидать с меня все мое платье и наконец раздел меня донага. Оставался на мне один только крест, к которому старик не смел прикоснуться и велел самому его снять с себя. Я волей-неволей дол-

жен был ему повиноваться... Затем он взял валявшийся поблизости около нас отрубок осинового дерева и надел на него все мое платье; а на том месте, где должно было быть моему лицу, он в одно мгновение начертил чем-то лицо, как две капли воды похожее на меня, и бросил этот отрубок в озеро. И я видел, как сбегался народ смотреть на утопленника, как приезжал становой и приходила моя мать. Видел я, как все дивились, почему лошадь через великую силу тащила мертвое тело... А отчего это было, знаете?

— Отчего?

— Оттого, — продолжал Михаил, — что таких, как я, на телеге сидело человек двадцать, да вдобавок с нами был и «дедка» наш*.

— С той самой поры, — продолжает Михаил, — как старик обнажил меня, я стал подобен бесплотному. До самого погребения мнимого моего тела я находился при нем неотлучно. Видел я всех людей там бывших, слышал все их разговоры; но меня никто не видал... С тех пор я уже не чувствовал более ни голоду ни холоду и хотя иногда ел и пил помногу, но это делалось лишь по одной старой привычке. Ел же я и пил, как и подобные мне, там,

* В жизнеописании старца иеросхимонаха Амвросия (изд. Оптиной Пустыни. Ч. II. С. 42-43) записан случай о том, как на оптинском пароме оборвалась огромная, тяжелая цепь, на которой было укреплено бревно парома, и, поднявшееся от этого разрыва, ударило по голове проезжавшую в это время на пароме в тарантасе барыню. Все недоумевали, как могла оборваться такая цепь. О. Амвросий разрешил недоумение такими словами: «Много уж их (бесов) насело на нее».

где люди пили и ели без молитвы и крестного знамения. Это нам давало возможность после осквернять и самую посуду, в которой была пища; люди удивлялись, отчего это пища и питье не вкусны, а удивляться-то и нечему было, коль бы знали, что посуда осквернена нами.

Я мог во мгновение перелетать большие пространства; ничто не могло служить мне преградой на моем пути: дремучие леса и неприступные горы я перелетал, как птица; ходил по воде, как по твердой земле. И скажу вам — подобных мне людей не мало: помню, что в ином месте собиралось нас человек до тысячи. Самым же любимым местом наших сборищ были различного рода увеселительные гулянья и нескромные зрелища, а также и там, где бывали ссоры и брань, — словом там, где люди много грешили без всякого страха... Во время таких сборищ наших, о которых я говорил, мне не раз приходилось встречаться с одной слепой девкой из деревни Липенки Устюженского уезда, которая также участвовала во всех наших проказах*. В деяниях наших и злобных походах на людей соблюдался своего

---

* Об этой слепой девке местные жители рассказывали следующее: вследствие родительского проклятия, она, как и Михаил, подпала власти злых духов и внезапно куда-то исчезла. Усиленная молитва родителей не дала ей долго оставаться под этой страшной властью: месяца через два после ее исчезновения ее нашли брошенной в поле. Дело было зимой, и она отморозила себе обе ноги. Когда ее спрашивали, где она в продолжение двух месяцев была и что делала, она рассказала совершенно сходное с рассказом Михаила. Тогда это был в той местности единственный случай, и девке этой никто не поверил.

рода порядок: во время сборищ наших «дедка» разделял нас на отряды и каждому отряду давал особое поручение, клонившееся ко вреду людей. Мы всегда являлись ревностными исполнителями страстей и похотей человеческих и скорыми помощниками в злодеяниях и бедствиях людей: задумает, например, кто-нибудь утопиться или удавиться — мы всеми доступными для нас средствами помогаем ему в этом. Вон — кузнец Иван Рябинка (в 7 верстах от Миндюкина в деревне Давидове) удавился у себя в овине из-за того только, что управляющий Петр Андреевич Бехтер хотел было слегка его наказать за небольшой обман. Мы ему помогли привести свое намерение в исполнение. Вон — Акулина Потапова (в 6 верстах от Миндюкина в деревне Супранове) из пустяков начала тосковать и от тоски удавилась в своей новой избе, а дети ее, чтобы избежать подозрения и судебной волокиты, тайком вынули ее мертвой из петли, отвезли в лес и там труп повесили на березе. И в этом деле мы тоже были участниками...* На пожарах мы тоже присутствовали, стараясь усилить бедствие. Впрочем, если горели дома людей благочестивых и пожар происходил не от наказания Божия, попущенного за грех, то тут уже мы никоим образом не могли участвовать. В противном же случае мы в этом деле

* Замечательно, что в течение 10 лет со времени этого события до рассказа Михаила никто не знал его подробностей и участия детей Потаповой в сокрытии от властей места ее самоубийства. Все, не исключая и властей, производивших следствие, думали, что Акулина удавилась в лесу на березе.

принимали самое живое и деятельное участие. Вот, например, в деревне Зимнине (Устюженского уезда) одна крестьянка ходила ночью с огнем давать корм овцам и заронила маленькую искорку. Так как она была в ссоре со свекром, то это нам дало власть раздуть эту искру в большой пожар, от которого сгорело все их имущество. Так-то вот и Воротишино горело: помнится, дело это было утром; погода была хорошая, тихая, а во время пожара поднялся такой сильный вихрь, что бревна раскидывал в разные стороны. Все это мы постарались сделать*. Вообще же, мы имели доступ всюду, где только пренебрегали призыванием Имени Божия и знамением креста. Особенно хула и явное презрение к святому давали нам власть входить в общение с людьми, это творящими, и издеваться над ними, как только нам хотелось и позволяло состояние наше. Впрочем, и самая молитва, и крестное знамение получали свою силу только у людей с доброю христианскою нравственностью, а грешник, не желающий оставить своего греха, не избавлялся от нас ни молитвою, ни крестом. Иногда случается, что и добрый христианин забывает про молитву и крестное знамение, однако мы к такому человеку никак не смели подойти, и нам не было даже дано знать и домов таких людей.

* Эти факты и другие, рассказанные Михаилом в подробностях, замечательны тем, что все они случились после его мнимой смерти и о них он ничего бы не мог знать, если бы не был очевидцем, да еще таким, для которого никаких тайн не существовало.

Вот, например, в деревню Ванское (в 14 верстах от Миндюкина) мы не смели входить, а — почему? Потому что там одна набожная старуха имела обыкновение ежедневно вечером обходить свою деревню с молитвой...

— Ну а молиться Богу, стало быть, вы уже вовсе не молились? — спросил кто-то Михаила.

— Нет, молились, — отвечал Михаил, — у нас ежедневно было утреннее и вечернее правило. Только молитвы, которые мы читали, были кощунственным извращением ваших молитв. Молитву Господню, например, мы читали так: «Отче не наш! да не святится Имя Твое...» и прочие молитвы — всё в таком же роде...

Так-то вот за мою дерзость и неповиновение воле родительской наказал меня Господь. Целых 12 лет вел я такую скорбную жизнь, и никогда бы мне уже не видать света Божьего как христианину, если бы не помогли мне избавиться от гибели молитвы и милостыня моей матери.

Когда совсем уже приближалось время моего освобождения из-под власти диавола, наш «дедка», не желая в моем лице упустить из рук своих добычу, вознамерился было совсем погубить меня: приготовил мне петлю и велел мне самому лезть в нее. Но как ни было мне плохо жить, а умирать все-таки не хотелось. «Ну, — думал я, — как уже впихнут меня в оселок поневоле — куда уж ни шло, а сам ни за что не полезу...» Не знаю, чем бы все это дело кончилось, если бы перед самым концом

не появился защитить меня от «дедки» какой-то благообразный старичок, помнится, еще с крестиком на остроконечной шапочке. «Материнские ниточки* вытащили его из твоей власти», — сказал старичок «дедке» и оттолкнул его от меня. «Дедка» исчез.

Затем мой благодетель обратился ко мне и сказал: «Мать тебя прокляла, мать и вымолила!» — и с этими словами надел на меня крестик... После этого я уже не видел более старика и очутился в поле... На мне не было никакой одежды, и я уже начал ощущать холод, чего со мною за все двенадцать лет ни разу не бывало. В это время, на мое счастье, проходили мимо меня какие-то женщины.

Приняли они меня за сумасшедшего и, сжалившись надо мною, отвели меня в свою деревню и дали кое-какую одежонку... Вот, теперь Господь помог добраться и до вас.

— Что ж ты домой нейдешь? — спросили Михаила пораженные его рассказом слушатели.

— Боюсь! — отвечал бедняк.

VI.

Между тем слух о чудесном возвращении Михаила дошел до его матери, и она прибежала немедленно, как только о том узнала, к сыну.

При виде матери Михаил был объят каким-то страхом, и точно невидимая сила сотрясла его, как это бывает, кто видел, с бесноватыми.

* Будучи бедной, Трудникова по большей части творила милостыню раздавая прохожим солдатам нитки своей пряжи.

Опомнившись от страха, Михаил просил находившихся при нем немедленно послать за приходским священником, о. Алексием, в село Гришкино. Желание Михаила было исполнено.

Узнав от посланных о всем случившемся с Михаилом, священник был поставлен в недоумение от такого необыкновенного случая. «Уж не бес ли, явившись в образе человеческом, морочит людей?» — подумал священник и поспешил отправиться к Трудниковой. Тут священник читал над Михаилом заклинательные молитвы из требника Петра Могилы, но не мог обнаружить в нем присутствия злого духа. Странным казалось только, что с того времени, как Михаил увидел свою мать, его не оставляла какая-то робость... Чтобы еще лучше убедиться, что ни в Михаиле нет беса, ни сам он — не злой дух, принявший только образ человека, священник взял его с собой в церковь, отслужил там молебен Спасителю, Божией Матери и Святителю Николаю Чудотворцу и заставил его в алтаре принести перед Господом чистосердечное покаяние во всех грехах своих по чину Православной Церкви. Михаил от искреннего сердца исповедал отцу своему духовному все, что только мог припомнить из своей прежней жизни, когда над ним тяготело материнское проклятие. Прочтена была и молитва, разрешающая его ото всех грехов. Священник все время ожидал, что вот-вот исчезнет привидение, но Михаил оставался по-прежнему Михаилом. Тем не менее и после этого сомнение не оставило священни-

ка, и он побоялся допустить Михаила к Причащению Святых Таин.

Вскоре после того Михаил был взят в близлежащий Моденский Николаевский монастырь и там, еще дважды исповедавши грехи свои сперва перед настоятелем, а потом перед монастырским духовником, сподобился наконец приступить и к Страшным Христовым Таинам.

VII.

Любопытство матери Михайловой, а еще более желание убедиться в истинности явления своего сына, так как она и глазам-то своим не слишком доверяла, заставили ее отправиться в Лентево на могилу того, кого она хоронила как своего сына. Ей хотелось было просить отрыть могилу и посмотреть, что там находится, но время сделало свое: на месте, где было погребено тело или то, что считали телом Михаила, были возведены постройки, и могила не могла быть найдена*.

Недели три после своего появления жил Михаил дома. После того его потребовали к становому в волостное правление для допроса, точно ли он то самое лицо, за которое он себя выдавал. Михаил и перед становым стоял на своем, а, чтобы сильнее его убедить в истинности своего показания, он перед всеми здесь бывшими начал перечислять становому его сокровенные грешки.

* Это можно объяснить тем, что еще в недавнее время у нас самоубийц и утопленников не хоронили на общих кладбищах, а предавали земле на таких местах, которые считались пустырями.

Крестьяне, перед которыми Михаил открывал темненькие тайны станового, подтверждали, что он говорит правду, и только изумлялись, как это могло быть ему известным, но правда эта настолько не понравилась становому, что он приказал обличителя своего высечь розгами, а затем, как преступника, заковал его в кандалы.

Произведя суд и расправу, становой отправился проверять показание Михаила в Миндюкино.

— Твой это сын? — предложил он вопрос матери Михаила.

— Мой! — отвечала она утвердительно.

— Ваш ли это селянин? — обратился он к прочим миндюкинским крестьянам.

— Наш! — ответила толпа в один голос.

— Эх вы дураки, дураки! — стал их увещевать становой, — вот теперь стоит рабочая пора: уедете вы все в поле — а как спалит он вам всю вашу деревню, вот и будет он вам тогда ваш. Раскаиваться будете, да поздно будет.

Повесили свои носы мужики, почесали затылки, и никто — ни слова.

Алексей Купцов, самый богатый крестьянин из всего Миндюкина, первый отказался от Михаила, за ним — другие, и один по одному все присоединились к Купцову, и Михаила в скором времени, подержавши в холодной, упрятали в дом умалишенных.

На другой день после своего отказа от Михаила Алексей Купцов, первый от него отказавшийся, заболел и вскоре умер от водянки.

Миндюкинцы тут же усмотрели в этом кару Божию за Михаила, но, конечно, пальцем не шевельнули, чтобы выручить бедняка из сумасшедшего дома. Тем не менее «глас народа — глас Божий» — говорит пословица. Да и самая пословица, говорится тоже, во век не сломится, а ломаются и сокрушаются, как утлые ладьи, как гнилые деревья, лишь те, кто попирает правду Божию и правосудие»...

Здесь конец рукописи.

В тех же шестидесятых годах, если не изменяет мне память, в журнале «Странник» было напечатано сообщение о случае с одним ямщиком села Костина Петербургской губернии. Этот ямщик водил своих лошадей на водопой на речку и вдруг к неописуемому своему ужасу увидал, что ветви прибрежных ракит, как бесчисленной стаей ворон, усеяны бесами. От тяжести их гнулись ракитовые ветви до самой воды.

Вне себя от страха, ямщик бросил своих лошадей и что было мочи побежал на село, а бесы кричали ему вдогонку:

— Наше время — наша воля! Наше время — наша воля!..

Рассказал ли он об этом своему духовному отцу или другому кому поведал, только рассказ этот увидел в свое время свет в духовной печати и, конечно, вскоре был и позабыт невнимательной памятью современников, а с ними и нами.

В Бозе почивший один из современных нам праведников, отец Амвросий Оптинский, восстановил его в памяти тех немногих внимательных, которые скорбными очами смотрели на

события, совершающиеся в міре и зарождающиеся в Православной России. Тогда еще, с лукавых дней шестидесятых годов, зарождались только они, эти события, но верующий дух проникал в тайну их беззакония и трепетал перед ее угрозой. И отец Амвросий не утешал своей всероссийской паствы, своих детей по духу надеждами на просветление горизонта России, уже и в то время смущаемой тлетворным дыханием ветра с Запада и, вспоминая колпинского ямщика, скорбно повторял зловещую бесовскую угрозу торжества бесовской воли, бесовского времени.

И когда теперь восклонишь от земли свой взгляд, потупленный и скорбный, когда оглядишь исполненным тягчайшего ужаса взором то беснование, которому предается молодая сила той страны, которая еще так сравнительно недавно была святою Православною Русью, только историей Михаила Трудникова, здесь рассказанной, и можешь себе объяснить причину осатанения нашей несчастной, гибнущей и все вокруг себя губящей молодежи.

Не над всею ли ею и не над нами ли, ее отцами и матерями, тяготеет почти поголовное проклятие наших отцов и матерей, из воли и повиновения которых мы с такой жестокой ненавистью вышли, презрев и растоптав все то святое, чем были живы они, чему они веровали и молились и чем строили они в былые времена то, что мы с таким остервенелым озлоблением разрушали, а теперь доканчиваем? Но в Михаиле Трудникове сила сатанинская, овладев им через материнское проклятие, действовала по-

таенно, скрывая целых двенадцать лет и себя, и свое орудие; теперь же она работает явно; тогда в невежестве темного простолюдина, но с боязнью перед светом его веры, теперь — в «образованности» толпы и ее руководителей, открыто и дерзко — во тьме их отступничества и безверия. Но сатана и его темные силы все те же, что и семь с половиною тысяч лет назад. Увы! и соблазняемые им люди, отступившие от Христа, все те же и как некогда в раю до своего изгнания, так и теперь продают блаженство вечности за плод познания... одного зла.

Несчастные, жалкие, ослепленные, безумные Мишки Трудниковы!

Кому только за вас молиться? Чьи «ниточки», Христа ради за вас поданные, вас могут вырвать из когтей диавольских? Ведь большинство уже ваших отцов и матерей разучилось и молиться и веровать!..

Помилуй нас, Господи! Господи, помилуй!

13 июля 1906 г.
Николо-Бабаевский монастырь

Послесловие

Не успел я приготовить к печатанию моей рукописи, как над злополучной Сызранью разразилось страшное несчастье: объятый пламенем большой, цветущий город с пятидесятитысячным населением сгорел в течение одного дня дотла, унеся в своем разрушении множество человеческих жертв. Берем из официального сообщения г. Алексея Толстого следую-

щую выдержку: «...сгорела часть города, но все же это, хотя и было большим бедствием, не представлялось еще катастрофой. Вдруг около 5 часов пополудни на город обрушился по направлению с севера на юг смерч, циклон или ураган — одним словом, нечто невообразимое, что разметывало стоги на лугах и железные листы с городских крыш относило на расстояние до 15 верст от города. К какому роду метеорологических явлений должна быть отнесена эта буря, сказать трудно, но показания обезумевших от ужаса жителей в этом случае не расходятся — это было нечто невообразимое. Подняв весь пыл и жар с горевшей части города, ураган в какие-нибудь 30 минут зажег ими всю центральную часть города одновременно, так что через час весь город был объят пламенем... Мне кажется, — пишет составитель этого сообщения, — что этого краткого описания достаточно убедить читающую публику, что катастрофа должна быть отнесена к разряду стихийных бедствий...»

К какому разряду бедствий или метеорологических явлений отнесешь ты кару Сызрани, боголюбивый мой читатель, после прочтения моей рукописи?.. Не слышишь ли ты в набатном гуле колоколов, несущемся над ее пожарищем, злорадного сатанинского хохота:

— Наше время, наша воля! Наше время, наша воля!..

Помилуй, Господи!.. Господи, помилуй!..

«Покайтеся, люди, а то все такожде погибнете!»

МАРКО ФРАЧЕСКИЙ

Исполняется вторая тысяча лет с той великой и таинственной ночи, когда разверзшееся небо открыло пастухам Вифлеемским сонмы сил ангельских и наполнилось дивным славословием: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!..» Тысяча девятьсот восемь лет, как день один, кануло в вечность с той великой и препрославленной ночи, когда Сын Божий, Предвечный Младенец, вся исполняяй Неописанный, вселившись в утробу Девичью, явил спасение міру Своим воплощением, готовясь волею Своею исполнить волю Отца Своего Небесного и совершить воедино с Собою и со Отцем и Духом Святым все верующее в Него человечество, искупив его крестной Своей смертию и Воскресением от рабства диаволу, греху и смерти.

Побелели нивы, близится жатва... и жатвы так много, что перед страдой предстоящей, непосильной слабым человеческим силам, трепетное сердце человеческое взывает к Госпо-

дину жатвы — да вышлет Он делателей Своих на ниву Свою.

«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас...» Сказавший то Сам Христос Господь, днесь и во веки Той же, Он — Господин жатвы, от Него и делатели: помолимся Ему, и изведет Он их на жатву Свою, на мір Свой, на мир души моей, на мир всех, любящих Его и чающих второго и славного Его пришествия на землю для Страшного и нелицеприятного Суда над искупленным Его страданиями человечеством.

Христос днесь Той же и во веки! Сила Его та же теперь, что была от создания и прежде создания міра в премирной вечности, и силы Его, совершающейся в Церкви, и врата адовы не одолеют. Что же это за сила такая, в чем ее проявление? Мы, именующие себя христианами, так далеко ушли теперь от полноты и простоты первоначального христианского ведения, что нам непонятна и чужда стала сила эта, заключенная вся в явлениях силы и духа, а не в словах премудрости человеческой. А между тем она была и, стало быть, она жива и до сего времени, стало быть, есть она и теперь, только мы-то, насильно отторгающие себя от Первоисточника силы, ею уже владеть не в состоянии: мы — машина, в которой все части исправны, в котле налита вода, наложены дрова в топку — готовая к действию, готовы к великой и плодотворной работе, но нет огня и некому зажечь его, потому что не зовем Того,

Кто один этот огонь возжечь может. А если и зовем, то «от скверны плоти и духа», забыв, что Бог наш есть Огнь, поядаяй все нечистое.

И стоит наша машина без действия: дрова гниют в топке, вода в котле тухнет, железо окисляется, покрывается ржавчиной, заклепки, проеденные ржавчиной, вываливаются, протухшая вода просасывается во все швы и... наконец рвет и самую машину. Наложена печать разрушения и мерзости запустения...

Кто виноват?

А между тем эта машина призвана работать, и работала, и творила дела, как и те, и даже больше тех, которые творил Тот, Который все Тот же, как был вчера, каким будет во все времена, каким останется и в то время, когда уже не будет времени, когда все пройдет и сотворено будет все новое — и новое небо, и новая земля, то небо и та земля, где правда обитает, и где будет Бог обитать с человеками, и где Он отрет всякую слезу с очей их, и где уже не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

В наше лютое и страшное время, когда безумцы, именующие себя христианами, возвышают свой голос, объявляя христианство дискредитированным и отжившим свой век, полезно и благовременно напоминать тем, чье сердце, призванное питаться и жить высоким, не может в тайниках своих сокровенных примириться с тем, что внушают им хулители Духа, полезно и важно восстановить в памяти те Божественные проявления силы христиан-

ской и духа, которыми так велика была у Бога подвижническая вера угодников Божиих... Не новое и не свое предлагаю я вниманию тех, которые удостоят меня своим вниманием, а старое и христианское, настолько основательно забытое, что оно может показаться не только новым, но для некоторых и... неудобь вместимым... Но дело мое — сеять, а прозябнет ли и даст свой плод посеянное семя — это в руках Бога. Итак, с Божьей помощью — в путь!.. в Египетскую пустыню, в Ефиопию, за много веков назад к Тому Христу, Который и теперь Тот же.

«Поведал авва Серапион: живя во внутренней Египетской пустыни, пошел я к великому отцу Иоанну на благословение и, приняв от него благословение, присел отдохнуть от трудов путешествия и задремал. И увидел я во сне двух отшельников, которые так же, как и я, пришли к старцу за благословением. Заметив меня, один сказал другому:

— А, это авва Серапион — примем от него благословение.

Тогда мой старец Иоанн, услыхав, что они между собою говорили, сказал им:

— Дайте ему немного отдохнуть: он только нынче пришел из пустыни и очень устал.

Они же на это сказали старцу:

— Ведь вот сколько времени он трудится в пустыни, а все не идет к Марку, который живет на горе Фраческой в Ефиопии. А ведь между всеми подвижниками пустынными нет рав-

ного тому Марку: ему уже сто тридцать лет от рождения и девяносто пять лет протекло, как он подвизается в пустыне, не видя лица кого-либо из живущих на земле. И вот, незадолго до нашего к тебе прихода, были у него из света уже вечной жизни некоторые святые и обещали ему взять его к себе...

Как только сказали они это отцу Иоанну, я воспрянул от дремоты и, не видя никого у старца, рассказал ему виденное. На это Старец сказал мне:

— От Бога тебе это видение... Только где эта гора Фраческая?..

И сказал я ему на это:

— Молись за меня, отец! — и, сотворив молитву, поцеловал старца и пошел в Александрию. До Александрии же пути было около двенадцати дней, а я его прошел в пять, день и ночь трудясь в пути по жестокой той пустыни, пожигаемый днем таким солнечным зноем, что попалялась и самая земля.

Войдя в Александрию, спросил я о пути к горе Фраческой одного купца, — как далеко она в Ефиопии? И отвечал мне купец:

— Воистину, отец, велика длина того пути: только до пределов Ефиопии, до племени Хетфеев, двадцать дней пути, а та гора, о которой ты спрашиваешь, еще дальше.

И опять я спросил его:

— А сколько нужно будет на потребу телесную взять с собой пищи и пития? — хочу я идти туда.

Отвечал мне:

— Если бы тебе туда отправиться морем, путь твой тогда не будет продолжителен, потому что морским путем недалеко отстоит та страна. Ну, а пойдешь по сухому пути, то пройдешь все тридцать дней.

Услыхав от него все это, взял я воды в плоскую тыкву, немного фиников, и, возложив упование на Бога, взялся за труд путешествия, и шел по той пустыне двадцать дней. И в пути этом не видел ничего — ни зверя, ни птицы: нет в той пустыне ни покоя, ни корма, не сходят там на землю ни дождь, ни роса, и нет в той пустыне ничего, что могло бы идти в пищу.

Прошло двадцать дней, и вышла вся вода, что была у меня в тыкве, и вышли все финики, и я сильно изнемог: ни дальше мне идти было можно, ни назад возвращаться. И был я как мертвый. И вот явились мне те два отшельника, которых я раньше видел в видении у Иоанна, великого старца, и они, ставши передо мною, сказали мне:

— Встань и иди с нами!

И когда я встал, то увидел, как один из них приник к земле и, обратившись ко мне, спросил:

— Хочешь ли ты освежиться?

И отвечал я ему:

— Твоя на то воля, отче!

И показал он мне корень от семян пустынных и сказал мне:

— Бери и съешь от этого корня, а затем продолжай свой путь с силой Господней.

Я съел немного и тотчас освежился, и была беспечальна душа моя: как будто и не было вовсе изнеможения моего. И, показав след, по которому надлежало мне идти к святому Марку, они отошли от меня. Я же, продолжая свой путь, подошел к горе настолько высокой, что она, казалось мне, досягала высоты небесной; и не было на ней ничего, кроме земли и камней. И когда подошел я к горе, то увидел с боку ее море. И восходил я на гору ту семь дней.

Когда же настала седьмая ночь, увидел я Ангела Божия, сходившего с неба к святому Марку со словами:

— Блажен ты, авва Марк, и благо тебе будет. Вот мы привели к тебе отца Серапиона, которого возжелала душа твоя видеть, так как иного рода человеческого ты не пожелал видеть.

Я же, слышав это, шел, по видении том, без боязни до тех пор, пока не достиг пещеры, в которой жил святой Марко. Когда же я приблизился к дверям пещеры, то услыхал, что святой стихословит псалом Давидов: «Перед очами Твоими, Господи, тысяча лет, как день вчерашний...»

И прочие стихи из того же псалма... Затем, от великого избытка в нем духовной радости, начал говорить себе:

— Блаженна душа твоя, Марко, тем, что не осквернилась нечистотами міра сего, не пленился ум твой помыслами скверными. Блаженно тело твое, что не увязло в похотях и страстях греховных. Блаженны очи твои, что не мог их пресытить диавол зрением красоты чуж-

дой. Блаженны уши твои, что не услышали они ни голоса, ни призыва женского в суетном міре. Блаженны ноздри твои, что не обоняли они неприязненного смрада греховного. Блаженны твои руки, что не удержали в себе и не прикоснулись к чему-либо от вещей человеческих. Блаженны твои ноги, не вступившие на пути, в смерть ведущие, и стопы твои, на грех не подвизавшиеся. Душа твоя и плоть твоя исполнились духовной жизни и освятились сладостью святых Ангелов...

И опять продолжал святой говорить к душе своей:

— Благослови, душа моя, Господа и все внутреннее мое Имя Святое Его! Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его!.. Чего скорбишь, душа моя, не бойся, — не будешь ты удержана в темницах адовых и не возмогут беси оклеветать тебя: нет в тебе благостию Божиею порока греховного. Ополчится за боящихся Господа Ангел Господень, и избавит их Господь. Блажен раб, сотворивший волю Господа своего...

И это, и многое другое, в утешение своей души и в утверждение несомненной надежды на Бога, изрек Марк Преподобный... Затем подошел он к дверям пещеры и с плачем радости воззвал ко мне, с умилением говоря:

— Как же велик труд сына моего духовного, Серапиона, потрудившегося увидеть пребывание мое!

И благословил меня обеими своими руками и, поцеловав, сказал:

— Девяносто пять лет я пробыл в пустыни сей и не видел человека. Ныне же вижу лицо твое, видеть которое желал я уже много лет, и ты не поленился поднять на себя труд такой, чтобы прийти ко мне; Господь мой Иисус Христос воздаст тебе воздаяние в тот день, в который будет судить тайное человеческое!

И сказав мне это, Преподобный Марко велел мне сесть.

И начал я, говорит Серапион, спрашивать его о всякой хвалы достойном житии его, и он поведал мне:

— Девяносто пять лет, как я уже говорил тебе, пребываю я в этом вертепе, и не видел не только человека, но ни зверя, ни птицы, ни хлеба человеческого не ел, ни в одежды не одевался. Тридцать лет я страдал от великой нужды и терпел скорбь от голода и жажды и наготы, а больше всего от диавольских нападений. В те годы, вынужденный голодом, я ел простую землю, изморенный жаждой, пил воду морскую. До тысячи раз клялись друг другу бесы потопить меня в море и, схвативши меня и нанося мне побои, стаскивали меня в низ горы сей, но я вставал вновь и опять всходил на верх горы. И опять они влачили меня до тех пор, пока осталась на мне кожа да кости. И когда они, влача меня, били, то вопили мне: «Уйди из земли нашей: от начала не было здесь ни одного человека — как же ты дерзнул прийти сюда?»

После же такого тридцатилетнего страдания, после таких страданий от голода, жажды, наготы и бесовской брани, излилась на меня бла-

годать и милосердие Божие, и Его смотрением изменилась плоть моя естественная, и выросли волосы на теле моем, и приносится мне пища неоскудевающая, и приходят ко мне Ангелы Господни. И было дано мне видеть место Царства Небесного и обителей душ святых, блаженства, обещанного и уготованного творящим добро. Видел я явление рая Божьего и древо разумения, от которого вкусили наши праотцы; видел и Еноха в раю, и Илию... и все, чего только я ни просил, все показал мне Господь...

И спросил я блаженного Марка, говорит Серапион:

— Скажи мне, отец, как совершился приход твой сюда?

Святой, в ответ мне на это, начал повествовать так:

— Родился я в Афинах и проходил там учение философское. Когда же умерли мои родители, то я сказал себе: и я так же умру, как и мои родители умерли — восстану-ка я да добровольно отлучу себя от міра, прежде чем мне неволей быть из него восхищену. И в тот же час совлек я с себя одежды и поверг себя на доске в море, и, носимый волнами, по Божьему смотрению пристал к горе сей...

В такой-то беседе, говорит Серапион, застал нас наступивший день, и я увидел тело его, как зверя, все обросшее волосами, и ужаснулся, и затрепетал от страха: до того не оставалось в нем благолепия вида человеческого, и ни по чем нельзя было бы узнать в нем человека, если бы не голос и не слова, из уст его исходящие.

Увидев боязнь мою, сказал он мне:

— Не ужасайся виду моего тела: плоть тленна — взята от тленной земли...

И спросил меня святой:

— Стоит ли мір в законе Христовом по прежнему обычаю?

И я ему ответил:

— Стоит благодатию Христовой теперь тверже, чем во времена прежние.

Опять спросил он меня:

— Продолжается ли идольское служение и гонение на христиан доныне?

— Престало гонение, — отвечал я, — с помощью святых ваших молитв, и нет идолослужения.

И, слышавши это, возрадовался старец радостью великой. Опять спросил он меня:

— Есть ли ныне в міре такие святые, которые творили бы силою чудеса, о которых Господь в Евангелии сказал: «Если будете иметь веру с зерно горчичное и скажете горе сей: сойди отсюда и ввергнись в море, и будет по-вашему»?

И при этих словах святого, говорит Серапион, внезапно сдвинулась гора с места своего тысяч на пять локтей и села в море. Подняв голову, увидел Марко, что пошла гора, погрозил ей рукою и сказал ей:

— Что с тобою, гора? Не тебе я говорил сдвинуться, а в беседе с братом; стань опять на месте своем.

И когда он сказал это, стала гора на месте своем. Видев же это, я пал ниц от страха, а он, взявши меня за руку, подняв, сказал:

— Разве ты не видел таких чудес во дни твои?

Я же ответил ему:

— Нет, отче!

Вздохнув, заплакал он горько и сказал:

— Горе земле, на которой христиане только именем этим называются, а не таковые по делам своим... — и опять сказал:

— Благословен Бог, что привел меня на место сие святое и не дал мне умереть в отечестве моем, чтобы быть погребенным в земле, оскверненной многими грехами!..

И когда прошел день тот, проведенный нами в псалмопении и духовной беседе, и настал уже вечер, сказал мне Преподобный:

— Брат Серапион, не время ли нам, помолясь, сотворить любовь и вкусить от трапезы?

Я же ничего ему на это не ответил... И тотчас, воздев руки к небу, начал Преподобный говорить псалом: «Господь пасет меня и ничего меня не лишит...» и по окончании псалма обратился он к пещере со словами:

— Предложи, брат, трапезу, — а затем, обращаясь ко мне, сказал:

— Войдем и приступим к трапезе, которую послал нам Бог.

Я же подивился в себе и был в ужасе, так как никого за весь день в пещере не видел, кроме одного Марка святого, а он обращает свое вещее слово кому-то невидимому и повелевает предложить трапезу.

Когда мы вошли в пещеру, то я увидел трапезу и два стола стоящих, и на них положены были два мягких и светлых хлеба, сияющих, как

снег, и благолепные видом своим овощи, и две рыбы печеные, и чистые травы, и маслины, и финики, и соль, и корчага, полная воды, слаще меда. Когда же мы сели, сказал святой Марко:

— Благослови, сын мой, Серапион!

Я же сказал:

— Прости меня, отец!

И сказал святой:

— Господи, благослови!

И увидел я с неба простертую близ трапезы руку, крестом знаменующую предложенные яства. Когда же мы поели, сказал он:

— Возьми, брат, это отсюда!

И трапеза была принята невидимой рукой.

И дивился я и тому и другому: и тому, невидимому слуге (то Ангел Господень бесплотный повелением Божиим служил ангелу во плоти, Марку Преподобному), и тому, что я во все дни жизни моей не вкушал такого сладкого хлеба и прочей пищи и не пил такой сладкой воды, как за той трапезой. Тогда сказал мне святой:

— Видел ты теперь, брат Серапион, сколько благ Бог посылает рабам Своим? На всякий день посылалось мне от Бога по одному хлебу и по одной рыбе, ныне же ради тебя удвоил наш Господь трапезу и послал нам два хлеба и две рыбы. И такой трапезой питает меня Господь все время за первое мое злострадание: за тридцать лет — говорил уж я тебе — моего пребывания на этом месте, не нашел я ни одного корня растительного, которым мог бы питаться; претерпевая и голод и жажду, от великой нужды ел я землю и пил горькую морскую воду, и

ходил я и наг и бос; и отпали от ног моих пальцы от мороза и сильного зноя; и солнце пожгло плоть мою; и лежал я на земле ниц, как мертвый; и бесы бороли меня, как Богом оставленного. Но я с помощью Божией все терпел это ради любви Его Божественной. Когда же исполнилось тридцать лет страдания моего, повелением Божиим выросли на мне волосы, пока не покрыли, как одеждой, все мои суставы. И с тех пор и доныне не возмогли бесы приблизиться ко мне; голод и жажда не обладают мною, и не тяготят меня ни мороз, ни зной, и сверх всего ничем я не был болен. Сегодня же кончается мера жизни моей, и послал тебя Бог сюда, чтобы святыми твоими руками опрятал смиренное тело мое.

И спустя времени мало опять сказал мне святой:

— Брат Серапион! побудь со мною эту ночь без сна, ради разлучения души моей с телом.

И стали мы оба на молитву и пели псалмы Давидовы.

Также сказал мне святой:

— Брат Серапион! по исходе души моей, положи тело мое в пещере этой с миром Христовым, и камнями загради двери пещерные, и тогда ступай восвояси, а здесь не оставайся.

Я же поклонился Преподобному и начал со слезами просить прощения и, моля его, говорил ему:

— Отче! умоли Бога, чтобы взял Он меня с тобою, чтобы идти мне туда, куда и ты идешь.

Отвечал мне святой:

— В день веселия моего не плачь, а возвеселися. Тебе же подобает возвратиться на место свое. Господь же, приведший тебя сюда, да дарует тебе спасение ради труда твоего и Богоугождения твоего. Знай же, что твое возвращение отсюда будет не тем следом, каким ты пришел сюда, но иным необычным шествием дойдешь ты до места своего.

И, помолчав мало времени, опять начал говорить Марко:

— Брат Серапион! Велик этот день для меня — из всех дней жизни моей велик: сегодня душа моя разрешается от страданий плотских и идет успокоиться в обители небесной. Сегодня почиет тело мое от многих трудов и болезней; сегодня примет меня свет покоя моего.

И только сказал он это, как пещера исполнилась света светлее солнца и вся гора та — благоухания ароматного, и, взяв меня за руку, говорит Серапион, начал так говорить Марко Преподобный:

— Пребудь такой же, пещера моя! В тебе я пребыл телом моим, работая Богу во временной моей жизни, и опять пребудет в тебе до общего воскресения мертвое тело мое, бывшее домом болезням, трудам и нуждам. Ты же, Господи, душу мою от тела разлучи: Тебя ради претерпел я голод, и жажду, и наготу, и мороз, и зной, и тесноту всякую. За то Сам, Владыко, одень меня одеждой славы в страшный день пришествия Твоего. Почийте, очи мои, не дремавшие в ночных молитвах; почийте, ноги мои, утомленные от труда ночных стояний! Отхожу

я от временной жизни, всем же, остающимся на земле, желаю спасения: спаситесь, постники, в вертепах и горах скитающиеся Бога ради! Спасени будьте, трудники Божии, всякую нужду и труд терпящие ради приобретения Царства Небесного! Спаситесь, узники Христовы заточенные, правды ради изгнанные, не имеющие иного утешения, кроме Бога единого! Спаситесь, монастыри и лавры, работающие Богу день и ночь! Спаситесь, церкви святые, грешников очищение! Спаситесь, священники Господни, ходатаи к Богу за человеков! Спаситесь, чада Царства Христова, Христу Святым Крещением усыновленные! Спаситесь, Христолюбцы, принимающие странников, как Самого Христа! Спаситесь, милостивые, достойные помилования! Спаситесь богатые в Господе, богатеющие в делах добрых, расточители Христа ради благ земных! Спаситесь, обнищавшие Господа ради! Спаситесь, цари благоверные и князи, правдой и милосердием суд творящие! Спаситесь, смиренномудрые постники и трудолюбивые подвижники! Спаситесь, все о Христе друг друга любящие! Да будешь спасена вся земля и все на тебе живущие в мире и любви Христовой!

И по тех речах обратился ко мне преподобный Марко, говорит Серапион, поцеловал меня и сказал:

— Да будешь спасен и ты, брат Серапион! Христос ради Которого ты с упованием принял на себя труд сей, Тот да воздаст тебе воздаяние по труду твоему в день Своего пришествия!

И опять сказал мне святой:

— Брат Серапион! Заклинаю тебя Господом нашим Иисусом Христом, Сыном Божиим, да не возмешь ты чего-либо от смиренного моего тела, даже ни волоса единого, и да не прикоснется к нему какое-либо одеяние: пусть те волосы, в которые облек меня Бог, пусть они будут телу моему одеждой погребения. И ты здесь да не оставайся!

И когда изрек это святой, и я рыдал, был с небес голос, вещающий:

— Принесите Мне сосуд, избранный от пустыни, принесите Мне делателя правды, совершенного христианина и верного раба! Гряди, Марко, гряди, упокойся во свете радости и духовной жизни!

— Преклоним колена, брат мой!

И мы преклонили колени. И услышал я голос ангельский, говорящий Преподобному:

— Простри руки твои!

Услышав тот голос, я, говорит Серапион, тотчас встал и, взглянув, увидел душу святого, уже разрешившуюся от союзов с плотью, покрываемую руками ангельскими одеждой белосветлою и на небеса возносимую. И увидел я путь воздушный к небу и открывшийся покров небесный... И видел я изготовившиеся и на пути стоящие полки бесовские, и слышал голос ангельский к бесам обращенный и говорящий:

— Бегите, сыны тьмы, от лица света и правды!

Удержана же была на воздухе святая та душа не более часа единого; и был с неба голос к Ангелам вещающий:

— Возьмите и принесите сюда посрамившего бесов!

И когда преподобная душа без вреда прошла сквозь строй полков сатанинских и приближалась к небу, увидел я как бы простертую с небес руку, принимающую душу непорочную. И тут же скрылось видение то от очей моих, и более я уже ничего не видел. Было же это около шестого часа. И опрятал я и положил честное тело святого и ночь ту всю провел на молитве.

Когда же настал день, сотворил я с радостными слезами над телом обычное песнопение и, облобызав его, положил в пещере, заградив двери пещеры камнями. Помолившись довольно, я сошел с горы той с молитвой к Богу и призывая святого на помощь мне для исхождения из той страшной и непроходимой пустыни.

Когда же солнце село, я присел отдохнуть, и вот, предстали мне вновь те два отшельника и сказали:

— Воистину, брат Серапион, тело такого блаженного отца ты сегодня предал погребению, что и міръ весь его не достоин. Теперь встань и путешествуй ночью, так как воздух прохладен — днем же из-за сильного зноя тебе ходить неудобно.

Я встал и последовал за ними и путешествовал с ними до утра следующего дня. Когда же стало светать, сказали они мне:

— Брат Серапион! Иди с миром восвояси и молись Господу Богу.

И недалеко отошел я от них, и когда поднял очи и посмотрел перед собою, то увидел,

что я уже подхожу к вратам церкви, что в монастыре Иоанна, великого старца. Был же я в удивлении великом и прославил громогласно Бога, и помянул я тут слова Марка Преподобного, им мне сказанные: «не тем следом, которым ты пришел ко мне, будет твое возвращение». И уверовал я, что невидимо я был перенесен сюда молитвами святого, и возвеличил я милость Преблагаго Бога нашего, явленную мне по молитве и прошению преподобного отца нашего Марка, верного раба Божия.

Когда же авва Иоанн услышал мой голос, то скоро вышел ко мне навстречу и сказал мне:

— В мире с Богом ты возвратился к нам, брат Серапион!

И пошли мы с ним в церковь, и поведал я старцу и ученикам его все со мной бывшее. И все прославили Бога. Старец же сказал мне:

— Воистину, брат мой, это был совершенный христианин, а мы только именуемся христианами, делами же далеко отстоим от истинного христианства!..»

Такова дивная и, по языческим нашим современным понятиям, сверхъестественная история, переданная позднейшим христианским поколениям со слов преподобного Серапиона Четь-Минеями Православной Церкви.

Творим ли мы дела самоотвержения ради любви Искупителя, подобные Марку Фраческому? От мала до велика подобны ли мы великому старцу Иоанну, в смирении своем сказав-

шему, что он уже считает себя христианином только по имени, а делами далеко отстоит от истинного христианства?

Что же мы про себя-то скажем? Лучшие из нас, наиболее совершенные! что вы про себя-то скажете?.. И когда нам слышится адский голос отступничества, вопиющий, что христианство дискредитированно, скажем себе:

— Узнаём в устах человеческих уста Апокалипсического зверя, говорящие гордо и богохульно, того зверя, которому «дано вести войну со святыми и победить их... и которому поклонятся все живущие на земле, имена коих не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания міра» (Апок. 13).

ПОВЕСТЬ О ПЯТОЧИСЛЕННЫХ МОЛИТВАХ

От времен апостольских христиане всех веков, приступая ко всякому труду, начинали Его молитвою, а окончание его тоже освящали молитвенным славословием Господу, о Нем же живем и движемся и есмы. Поступим же и мы так с тобой, мой благолюбивый читатель!

Но не имея дара творческой молитвы, вспомним и запечатлеем в своей памяти то, что некогда вознеслось ко Господу из вдохновенного благодатью Всесвятаго Духа сердца великого молитвенника Русской земли, иже во святых Отца нашего Димитрия, Митрополита Ростовского и Ярославского. Я уверен, что и для тебя, как и для меня, предлагаемая твоему вниманию «Повесть о пяточисленных молитвах» — творение великого Святителя будет радостной и многополезной новинкой, особенно по тем дивным обетованиям, которые она в себе заключает.

Так прослушай эту повесть, дорогой мой читатель! Я уверен, что ты не посетуешь на

меня за то, что предлагаемое в этой «повести» новое — не мое и не новое, а только основательно и накрепко позабытое. Прости, что я встряхнул ею пыль веков, но эта пыль **святая**...

Один старец от Богоносных Отцев, стоя на молитве и быв в восторзе, слышал глас Господа нашего Иисуса Христа, глаголющий с Пречистою и Пресвятою Богородицею, Материю Своею, рекши к Ней:

— Рцы Мне, Мати Моя, колико болезней наибольших, живущи на свете, претерпела еси Мене ради?

И рече Пресвятая:

— Сыне и Боже Мой! Наибольших пять болезней Тебе ради претерпела: **первая** — егда услышала от Симеона Пророка, еже имел еси убиен быти: **вторая** — егда, ищущи Тебе во Иерусалиме через три дня, Тя не видела есмь; **третья** — егда Тя поймана и связана от жидов услышала; **четвертая** — егда Тя на кресте между разбойниками Распятого видела; **пятая** — егда Тя видела во гробе полагаема.

И рече к Ней Господь:

— Глаголю Тебе, Мати Моя: аще кто каждую болезнь Твою на кийждо день прочтет с молитвою Моею, сие есть «Отче наш» и Архангельское обрадование, сие есть «Богородице Дево, радуйся» — за **первую** болезнь дам ему познание грехов и жаление о них; **за вторую** — дам ему всех грехов прощение; за **третию** — возвращу ему добродетели его, чрез грехи изгибшие; за **четвертую** — напитаю его, при смерти

его, Телом и Кровию Моею Божественною; за **пятую** — явлюся ему Сам при смерти его и прииму душу его в живот вечный. Аминь.

По видению этого Богоносного старца святителем Димитрием Ростовским было сложено нижеследующее молитвословие.

«Начало к сим пяточисленным молитвам.

Слава Тебе, Христу Богу моему, не погубившему мя грешнаго со беззаконьми моими, но даже доселе грехом моим потерпевшему.

(Поклон)

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам; даруй ми, Господи, да ни словом, ни делом, ни помышлением прогневаю Тя, Создателя моего, но вся дела моя, советы и помышления да будут во славу Пресвятаго Имени Твоего.

(Поклон)

Боже, милостив буди мне, грешному, во всей жизни моей: во исходе моем и по кончине моей не остави мене.

(Поклон)

(Сие, падши ниц на земли, глаголи) Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, приими умершаго мя душею и умом, приими мя грешнаго, блудника, сквернаго душею и телом, отыми неприязнь безстудную и не отврати Лица Твоего от мене, не рцы, Владыко: не вем, кто еси, но вонми гласу моления моего: спаси мя, яко имеяй множество щедрот и не хощеши смерти грешника. Не оставлю же Тя, Создателя моего, и не отступлю от Тебе, дондеже послушае-

ши мя и даси всем грехом моим прощение, молитв ради Пречистыя Матери Твоея, предстательствы Честных Небесных Сил Безплотных, Святаго Славнаго Ангела Хранителя Моего, Пророка же и Предтечи Твоего, Крестителя Иоанна, Богоглаголивых Апостол, Святых и добропобедных Мученик, Преподобных и Богоносных Отец наших и всех Твоих Святых, помилуй и спаси мя грешнаго. Аминь.

Царю Небесный. Трисвятое. Отче наш. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Богородице Дево, радуйся.

По сем:

Молитва 1-я

О Мати Милосердая, Дево Марие, аз грешный и непотребный раб Твой, воспоминаючи Твоя болезни, егда Ты услышала еси от Симеона Пророка о немилостивном убиении Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, приношу сию Тебе молитву и Архангельское обрадование, приими в честь и память болезней Твоих и умоли Сына Твоего — Господа нашего Иисуса Христа, да дарует ми познание грехов и жаление о них.

(Поклон)

Молитва 2-я

Отче наш. Яко Твое есть Царство. Богородице Дево, радуйся.

О Богоблаженная и Пренепорочная Отроковице, Мати и Дево, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память бо-

лезни Твоея, егда позабыла Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, в церкви и через три дни Его не видела еси; умоли Его и испроси у Него всех грехов моих прощение и оставление, Едина Благословенная.

(Поклон)

Молитва 3-я

Отче наш. Яко Твое есть Царство. Богородице Дево, радуйся.

О Мати Света, Преблагословенная Дево Богородице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, поймана и связана слышала еси. Умоли Его, да возвратит мне добродетели, чрез грех изгибшия, да Тя, Пречистая, во веки величаю.

(Поклон)

Молитва 4-я

Отче наш. Яко Твое есть Царство. Богородице Дево, радуйся.

О милосердия Источниче, Дево Богородице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда на кресте между разбойники видела еси Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Его же умоли, Владычице, да подаст ми дар милосердия Своего в час смерти моея и да напитает мя Телом и Кровию Своею Божественною, да Тя, Заступницу, славлю во веки.

(Поклон)

Молитва 5-я

Отче наш. Яко Твое есть Царство. Богородице Дево, радуйся.

О надеждо моя, Пречистая Дево Богородице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда видела еси Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, во гробе полагаема, Его же умоли, Владычице, да явится мне в час смерти моея и да приимет душу мою в живот вечный. Аминь.

(Поклон)

О Премилостивая Дево, Госпоже Богородице, чадолюбивая Горлице, небесе и земли Самодержавная Царице, любезная Приемнице всех простирающих к Тебе свои мольбы, печальных Утешительнице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, пяточисленное мое сие моление, в нем же воспоминаю земныя и небесныя Твои радости, умильно вопиюща к Тебе сице:

(Земныя радости) Радуйся, Зачентая во чреве без семене Христа Бога нашего. Радуйся, во чреве без болезни Носившая Того. Радуйся, Порождшая чудным смотрением. Радуйся, Восприимшая от волхвов-царей дары и поклонение. Радуйся, яко обрела еси посреди учителей Своего Сына и Бога. Радуйся, яко Рождество Твое преславно из мертвых воста. Радуйся, Видевшая возносящагося Своего Создателя, к Нему же Сама душею и телом восшла еси.

(Небесныя радости) Радуйся, девства ради Своего, паче Ангел и всех Святых Преславная. Радуйся, близ Пресвятыя Троицы Просияющая. Радуйся, Миротворице наша. Радуйся, Властительнице, обладающая всеми Небесными Силами. Радуйся, паче всех дерзновение к Сыну и Богу Своему имущая. Радуйся, Милосердая Мати всем, к Тебе прибегающим. Радуйся, яко Твое веселие во веки не скончается!

И мне, недостойному, по неложному обещанию Твоему, в день исхода моего Милостива предстани, да Твоим руководством управлен буду к горнему Иерусалиму, в нем же прославленно царствуеши с Сыном Твоим и Богом нашим, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и с Пресвятым Духом в безконечныя веки веков. Аминь.

От скверных устен моих и от мерзкаго сердца, от нечистаго языка и от души оскверненной приими, Госпоже Царице, сие похваление, Радосте моя. Приими, яко же вдовии прияла сеи две лепты, и даруй ми принести Твоей благости дар достоин, о Владычице моя, Пречистая Дево, Небесная Царице якоже хощеши и волиши. Паче же и научи мя, что ми подобает Тебе, Матери Божией, глаголати и к Тебе Единой грешных Прибежищу и Утешению. Радуйся, Владычице, да и аз многогрешный раб Твой радостно зову Тебе, Всепетой Матери Христа Бога нашего. Аминь.

На Твой пресвятый образ взирая, яко истинную Самую Тя зрю Богородицу, верою сердечною и любовию от души припадаю и покло-

няюся с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господом нашим Иисусом Христом, Боголепно почитаю и молю Тя со слезами, покрый мя Покровом Твоим от враг видимых и невидимых, Ты бо род человеческий ввела еси в Царство Небесное. Аминь.

По сем:

Достойно есть, яко воистину...

Слава и благодарение Господу за все!»

Уже кончал я записывать эти святые молитвы великого святителя Димитрия, как пришла ко мне одна простенькая слепенькая старушка и, узнавши, что я пишу и уже кончаю «Повесть о пяточисленных молитвах», сказала мне:

— Знаешь ли ты, трудник Божий, силу того, что ты пишешь?

— Знаю, бабушка, одно, что молитвы это святые, и силу молитвы всякой знаю, — ответил я старушке.

— Ну, так вот, — сказала она мне, — послушай, что я тебе скажу: жила в Костроме у нас барыня одна, а звать — Сарра Димитриевна, госпожа Турыгина. Богатейшая она была барыня и моя благодетельница. У ней был в Костроме дом большой, что теперь под Духовной семинарией, да и капитал у ней был значительный. Так вот, когда у нее умер муж, то она все свое имущество распродала, а капитал обратила в наличные денежки, а денежки эти самые поворотила на дела Богоугодные. Вишь, собор-то Бабаевский: в нем ровнехонько, как

копеечка одна, ее сто тысяч сидит... И пошла после того моя барыня, Сарра Димитриевна, благодетельница, в Горицкий Девичий монастырь, где и поднесь живет великой молитвенницей и затворницей; и годков-то ей теперь близ девяноста, а то и поболе.

Пришла когда Сарра Димитриевна в Горицкий монастырь, чу*, то посетил ее Господь великой Своей милостью: ослепла моя Сарра Димитриевна на оба глазочка. И позавидовал ей враг нашего спасения, и стал люто нападать на нее, рабу Божию; и стала всего бояться Сарра Димитриевна. Мышка ли проскочит, мушка ли прозвенит, а то и нет ничего, а Сарру Димитриевну такой страх берет, что и деваться некуда... И пожалела ее одна древняя старушка монахиня, и стала читать ей на каждый день пяточисленные-то молитовочки святителя Димитрия Ростовского: весь страх той-то, весь у Сарры Димитриевны и прошел... Вот, батюшко ты мой, какова сила этой молитвы-то великой!

Да послужит же мой малый труд в наше лютое и многобедственое время всякого страха во утешение и успокоение сердца моего православного и верующего читателя!

* Костромское присловье.

ИГУМЕН МАНУИЛ
(В СХИМЕ СЕРАФИМ)

*Автобиография,
составленная С. А. Нилусом
по материалам, собранным
послушником Саввою Буренком*

ЧАСТЬ I

Глава I

Родители и семья игумена Мануила. Черты из детских лет. Видение в десятилетнем возрасте.

Сказывал мне отец Игумен:

Родился я 3 июля 1850 года. Мирское мое имя было Митрофан Иванович Ковш, а родина — слобода Алексеевка, Воронежской губернии. Отец мой был крестьянин, уроженец той же слободы. Матери я лишился семилетним ребенком, с двумя старшими братьями — Евдокимом и Павлом — сам-третий и младшей сестрой Пелагией — четвертой остался на попечении своего родителя. Так как все мы были малолетки (старшему брату Евдокиму было 12 лет, среднему Павлу — 10, мне 7, а сестре всего 4 года), то, ради воспитания детей и сохранения домашнего хозяйства, родитель мой женился вторично. В то время ему было только 35 лет.

Отец мой был человек выдающийся по своим душевным качествам: доброта его была ред-

костная, отзывчивость к нуждам и горю ближних исключительная, смирение истинно евангельское. Особенно любил он принимать у себя в доме странников, и не было ни одного из них, кто бы, зайдя к нам, не был обогрет и накормлен. Больше же всего любил он храм Божий, и надо было видеть, с каким благоговением и сам он посещал Дом Господень и как к тому же приучал и нас, детей своих! Бывало, приведет он всех нас с собой в храм в воскресный или иной праздничный день, поставит нас в порядке впереди себя, и уж тут смотри стой благочинно и по сторонам не оглядывайся. Односельцы наши нас всегда в пример ставили своим детям, и все нас в глаза и за глаза хвалили:

«Ну уж, — говорили они, — и дети у Ковша: экие хорошие!»

А мы, слыша такие похвалы, старались сделаться еще лучше.

Отец наш за добродетели свои находился в большом почете среди своих односельчан, и к нему тянулись за советом и со всякой нуждой все, кто только в нем нуждался. Слобода Алексеевка принадлежала графу Шереметеву и состояла из четырнадцати тысяч жителей крестьян, находившихся на оброке, и восьмидесяти тысяч крестьян разных сел и хуторов, тоже принадлежавших графу Шереметеву. Кому только из этого многолюдства не помогал мой отец и добрым словом, и материальной помощью из своего весьма нескудного по тому времени состояния?! Кто страдал от помещичьей жестокости и неправды (были, что греха таить, и

среди помещиков жестокие и несправедливые люди), тот знал, что в доме отца моего он найдет всякое утешение, включая и медицинскую помощь домашними средствами; о странных людях, Божиих человеках, всю жизнь свою скитающихся ради Христа и Царства Небесного по святым местам, о тех и говорить нечего: ими всегда был переполнен весь наш дом. Да еще в доме нашем на постоянном иждивении моего родителя до самой своей смерти пребывали две старушки: одна была дальняя его родственница, ноги ее были в ранах. Другая — безродная, ростом маленькая; у этой руки и ноги были скрюченные узлом так, что сама есть не могла, и ее родители мои кормили из своих рук и носили на двор на себе. Во всех делах милосердия, особенно же помощи больным и увечным, ближайшим помощником моему родителю был я, и потому некогда было мне исправно посещать школу, и мировая наука, таким образом, находилась в пренебрежении. Но за это процветала наука Слова Божия: каждое воскресенье и всякий праздничный день дом наш был переполнен жаждущими слышания Слова Божия, так как отец мой любил читать и всегда читывал в эти дни вслух книги духовного содержания. Все это действовало на мою душу, направляя ее от міра и плоти к тому, что не от міра сего, к жизни духа, к горнему, к небесному. Особенное же влияние на меня оказывали беседы странников: их рассказы из жизни святых Божиих угодников, повествования о святых местах, о монастырской жизни, о подви-

гах и духовных дарованиях еще живых сокровенных подвижников благочестия, тайно подвизающихся в мужских и женских обителях широкой земли Русской. И уже тогда, во дни малолетства своего, я положил в сердце своем твердое решение посвятить себя на служение Богу и сделаться монахом. Девятилетним ребенком я познал впервые сладость молитвы и ради нее тайком от всех вставал ночью с постели и прочитывал по нескольку раз молитву Господню. И в храм Божий я ходил неопустительно к каждой службе и, хотя от нас до церкви было две версты, поспевал к Богослужению всегда раньше звона. В жизни своей я уже и тогда старался подражать тем святым, жития которых нам вслух прочитывал родитель. Однажды я услыхал из его чтения Евангельские слова Спасителя: *Тебе же творящу милостыню, да не увесть шуйца твоя, что творит десница твоя* (Мф. 6, 3). Глубоко запали мне слова эти в сердце, и я стал усердно подавать тайную милостыню, отдавая на нее всякую перепадавшую на мою долю копейку. Отец мой был шубник (шил полушубки и шубы). Из обрезков меха я стал делать кошельки на продажу и все вырученные за них деньги раздавал нищим. Бывало, спросят меня:

— Куда ж ты деньги деваешь от своего рукоделья?

А я отзовусь, что или потерял, или кто отнял, или на какой-нибудь детский вздор истратил, а про милостыни свои не сказывал... И вот сижу я как-то раз, притулившись на

печке; был день воскресный, входит к нам моя крестная и спрашивает отца:

— А где ваш Митрофан?

— Должно, на улицу пошел гулять, — отвечает отец.

— Он у вас кошельки делает, — продолжает крестная, — много ль денег приносят?

— Откуда ему приносить? — возражает отец. — Он у нас такой розява (ротозей): то сам загубит (потеряет), то кто-нибудь отнимет.

— Ну, нет, — говорит крестная, — нет, Иван Васильевич (так звали отца моего), это он милостыню раздает нищим и даже от меня укрывается, чтобы я не видела.

Крестная торговала бубликами на людном месте, где всегда было много нищих.

Так открылось мое нищелюбие.

Задумался отец и сказал:

— Уж если с этих лет стал мой Митрофан нищелюбцем, то что выйдет из него, когда подрастет? — И, конечно, препятствий с его стороны к деланию сей добродетели я не встретил.

Посты, установленные Церковью, я тоже соблюдал очень строго, иногда даже и по целому дню не едал.

И с ранних лет прозвали меня монахом.

Когда исполнилось мне десять лет, я увидел во сне святителя Николая Чудотворца, стоящего на облаке. Угодник Божий предсказал мне всю мою жизнь, но добавил:

— Ты слаб на язык и не сумеешь сохранить тайны, а посему мои слова от тебя отнимутся!

И действительно, когда я утром проснулся, то ничего из предсказанного вспомнить не мог. Тем не менее, видение это произвело такое сильное впечатление, что я его доселе живо помню*.

С этого видения рвение мое к подвижничеству усилилось: я стал приучать себя к еще более суровому посту и начал чаще прежнего удаляться в пустынные места для уединенной молитвы. Пост же свой доводил до того, что раз, следуя примеру преподобного Марка Фраческого, пробовал вместо всякой пищи есть землю, но, тяжко заболев от этого желудком, искуса сего выдержать не мог, ибо он оказался выше моей меры.

Глава II

Кончина родителя. Обеднение. Жизнь в батраках. Стремление к грамоте. Приемы ее изучения. Переход в г. Бирюч.

В 1864 году, на 44-м году своей жизни, родитель мой окончил свое земное странствование. Уходя в загробный мір, он за неделю до смерти предрек свою кончину. Благословляя меня, он предсказал мне тернистый путь жизни, а брату Павлу — скитальческую жизнь, что и сбылось впоследствии в точности.

---

* О. игумен Мануил так чтил доселе память святителя Николая, что, будучи настоятелем в Церковщине, выстроил там храм во имя дивного Чудотворца. (Здесь и далее все постраничные примечания, кроме оговоренных специально, принадлежат С. А. Нилусу.)

Горько оплакал я своего отца, потеряв в нем руководителя и наставника, и на свежей его могиле решил всеми силами души во всем следовать его примеру и быть верным слугою Господу.

Месяц спустя после кончины родителя, умер следом за ним и мой старший брат Евдоким. Не прошло и года с этих двух смертей, вышла вновь замуж мачеха, а затем вскоре сгорел наш дом и все бывшее в нем имущество, без малого тысячи на две рублей, что по тогдашнему времени представляло собой капитал, равный (если не больший) теперешним двадцати тысячам. Ни дом, ни имущество застрахованы не были. Старший мой брат Павел (ему было 16 лет) ушел на заработки на Кавказ, а я 14-летний с 6-летней сестрой Пелагией остались круглыми бездомными сиротами, выброшенными на голод и холод улицы.

И трудно ж нам в ту пору было!

По милости Божией, сестру мою взяли к себе соседи, но приют этот был временный, и ей пришлось в течение нескольких лет не иметь постоянного крова, а переходить от одних соседей к другим, живя у каждого по неделе, по две, не более. Тяжелое было ее сиротское житье, пока она не поступила в нянюшки, но и там ей не было слаще. Родных-то у нас никого не было, и никому на всем белом свете не были мы нужны.

Всей душой захотелось мне тогда укрыть себя и свою сиротскую горькую долю под кровом святой обители, но нельзя было оставить

сестру, и мне пришлось взять место у хозяев за 6 рублей в год. И что же это было за место! Довольно сказать, что мне, едва окрепнувшему 14-летнему мальчугану, довелось быть единственным работником в семье, состоявшей из 21 человека. Хозяева мои были люди жестокие, бессердечные и обращались со мной без всякой милости и до крайности грубо. Не поддержи меня невидимо Господь, голод, холод, жажда и непосильная работа свели бы меня в безвременную могилу.

Угнали, помню, летом меня в поле, на пчельник, верст за десять от слободы Алексеевки, да и заставили там прожить безысходно около четырех месяцев. Днем я должен был присматривать за пчельником и пахать землю, а ночью пасти лошадей. Ни днем, стало быть, ни ночью не было мне покою, и ни одного раза за все это время мне не удалось побывать в слободе ни у Божественной службы, ни помыться в бане. Горячую пищу я получал крайне редко, а смены белья мне никогда не посылалось. От сухоядения и грязи и душевных страданий развелось на мне столько насекомых, что я не знал, куда от них деваться. Чтобы как-нибудь от них освободиться, я мазал голову дегтем, от чего на малое время насекомые уничтожались, но зато волосы на голове слипались и образовывали непроницаемую кору. Когда волосы подросли, то слиплись от дегтя, сделались на голове как котел, а под котлом этим появились болезненные струпья, около которых копошились мириады вшей. Без

горячей воды отмыть всего этого ужаса было невозможно, а горячей воды достать было неоткуда. Ни описать этого страдания, ни рассказать о нем невозможно. Спасибо добрым людям, они со стороны заметили мое несчастное положение и пристыдили хозяев, которые и взяли меня наконец домой, где с трудом остригли меня, обмыли и тем облегчили мои невыносимые муки.

У тех же хозяев был со мной такой случай. Послали меня возить глину. В одном неудобном месте доверху наполненный глиною воз опрокинулся на меня и всей тяжестью придавил мне грудь и живот. Шесть недель невыносимо страдал я от этого животом, но никому до этого не было дела, и ни от кого из хозяев я не видел ни сожаления, ни слова участия.

Вскоре после того мне опять пришлось перенести тяжелое испытание и быть на краю гибели. В слободе Александровке жил богатый купец. В трех верстах от Александровки у него была **левада***, а в леваде пасся верблюд. Мальчики загнали этого верблюда в сад, смежный с пасекой моего хозяина. В это время я с возом, запряженным парой лошадей, приехал на пасеку и стал распрягать их, не подозревая такого соседства. Мальчишки раздразнили чем-то верблюда, и он, подойдя к плетню, неожиданно для меня и для лошадей заревел неистовым голосом. Услышав этот рев и увидев верблюда,

* Огороженное усадебное место.

лошади испугались, бросились в сторону, сбили меня с ног, и я угодил прямо под тележный шкворень. Шкворень зацепил мою одежду, и испуганные лошади протащили меня под телегой саженей сто. У меня повреждена была спина и живот, и я долго лежал без сознания. Привели меня в чувство те же мальчишки, что находились в соседстве: они ножом разняли мне стиснутые зубы и насильно вливали мне в рот воду и этим привели меня в сознание. После этого я долго страдал болью в животе и кровавым поносом.

Конечно, и до этих страданий моих никому не было дела.

В таких-то условиях и протекала моя сиротская жизнь в работниках у бессердечных хозяев.

Несмотря на тяжесть моего положения, у меня в это время явилось непреодолимое стремление к грамоте. Один знакомый крестьянин по моей просьбе немного помог мне в этом, показав мне азбуку. Выучил я наизусть все отдельные буквы, заучивая их с усердием, как, бывало, затверживал молитву Господню, но в слоги их складывать долго не мог. И солоно ж доставалась мне грамота — одних упреков от хозяев сколько пришлось перенесть, и не перечесть!.. Скоплю себе от трудов своих немного деньжонок да и куплю сальных свечей. Придет ночь, возьму свою книжку-букварь, подарок того крестьянина, засяду под нары в гусиное гнездо да и примусь за науку. Знал я наизусть 50-й псалом «Помилуй мя, Боже»: вот возьму я книж-

ку, отыщу в ней этот псалом да и начну присматриваться, как в нем буквы в псаломские слова сложены — так слагать слоги и слова и научился. Иной раз так всю ночь напролет и просидишь на гусином гнезде за своими занятиями. Ну, конечно, ночь не доспав, к работе-то и не очень-то окажешься днем способен. И попадало же мне за это от моих хозяев, всего попадало: и ругани, и даже побоев. Кончилось тем, что они как-то ухитрились мой букварь отыскать и разорвали его в клочки. Это уж было для меня хуже побоев, так как в те времена в нашей местности книги раздобывать можно было с большим трудом.

Таковые были мои первые опыты в изучении грамоты. Тяжелы они были, правда, и нелегко досталась мне грамота, но зато она меня вывела из беспросветной тьмы невежества на святой путь служения Высочайшему Свету — в Троице Славимому Единому Богу, Свету міра Иже *во тьме светит и тьма Его не объят* (Ин. 1, 5). Да будет благословенно Имя Господне отныне и до века!..

Между тем прошло два года, и мне исполнилось 16 лет. Не будучи в силах долее переносить жизнь в работниках у этих хозяев, я задумал покинуть их негостеприимный кров и перейти в г. Бирюч Воронежской губернии, известный в то время своими шубными мастерскими. Там я хотел научиться шубному делу; туда я взял и сестру с собой.

В Бирюче я прожил четыре года.

Глава III

Жизнь в г. Бирюче. Болезнь. Чудесное исцеление.

Но и в Бирюче не легка была жизнь моя.

Придя в Бирюч, я поступил на ченборный завод*, а сестру свою определил в услужение к богатому купцу.

Чтобы дать понятие о тяжести работы на подобного рода заводах, скажу, в чем она состояла. Три человека должны были каждодневно во все время производства работ на заводе выжать руками сто овчин. Овчины эти предварительно на ночь вывозились на реку и вымачивались в проруби всю ночь. Утром их промывали и, несмотря ни на какой мороз, голыми руками ножами очищали от навоза. От холода руки коченели и трескались до крови. Привезенные с промывки овчины сдавались в ченбарню, и там мы должны были сдирать с них сало и после класть на пять дней в раствор квасцов. Таким образом «выченитые» (вымоченные) овчины мы, рабочие, должны были натянуть на жерди и просушивать в течение суток, непрерывно переворачивая с одной стороны на другую. При сушке овчин жара поддерживалась невыносимая, доходившая, думается, выше 60°. При этом от овчин исходило нестерпимое зловоние. Жара и смрад заставляли выбегать из сушильни на мороз прохладиться в одном нижнем белье и затем вслед возвращаться на ту же работу, в ту же атмосферу. От такой ра-

* Где производится выделка овчины.

боты я вскоре заболел мучительною болезнью: я жестоко простудился, открылись по всему телу раны; раны покрылись струпами, и все тело обратилось в один сплошной струп. От малейшего движения струпы эти ломались и причиняли невыносимую боль, особенно тогда, когда приходилось сменять рубашку: снимать ее было нельзя, нужно было стаскивать, сдирая вместе и кожу с тела.

Видя мои страдания, хозяйка моя принялась меня лечить по-деревенски, как в деревнях лечат корости: сварила дегтю вместе с воробьиным и куриным пометом и этим снадобьем стала смазывать мне струпы. От этого лекарства все тело жгло невыносимо; страдания были так адски-жестоки, что я кричал и просил предать меня смерти. Окружающие боялись, чтобы я не решился на самоубийство, и прятали от меня ножи и все, чем бы я мог убить себя, чтобы не мучиться более... В нестерпимых муках молил я Бога или исцелить меня, или послать смерть как избавительницу. Но Господь, видимо, испытывал терпение мое и веру и не давал ни смерти, ни исцеления. А тут к мукам моим присоединилось еще и унижение: хозяева, брезгуя мной и опасаясь заразы, поместили меня в подполье, под нарами, чтобы не заразилось от меня прочее семейство. Кормили меня, как зачумленное животное, из черепка, а остатки пищи после меня зарывали в землю, чтобы не заразились хозяйские свиньи и куры.

Так страдал я от Рождества и до Пасхи, когда Господу Богу угодно было меня исцелить

поистине чудесным образом за молитвы, верую, Пречистой Его Матери, к Которой я неустанно обращался с мольбой во все время моей болезни. И произошло чудо следующим образом.

Настала Великая седмица Страстей Господних, подошел Великий и Святый Четверток. Пасха в тот год была ранняя, и стояли еще довольно сильные заморозки. И вот, ни с того ни с сего, явилось у меня сильнейшее желание искупаться в реке по вере, что в этот святой Свой день Господь непременно услышит непрестанный мой молитвенный вопль к Нему и ради спасительных Страстей Своих пошлет мне исцеление. Этого дня, как спасения своего, я ожидал с невыразимым нетерпением, и каждый день перед ним мне казался годом, тем более что страдания мои к этому времени усилились еще более, и я перед Великим Четвертком от боли и ожидания не спал почти пять дней напролет. И вот, ровно в 12 часов ночи, когда наступил Великий Четверток и все в доме спали глубоким сном, я потихоньку вылез из своего гнезда, взял ключ от ворот (хозяева мои содержали постоялый двор), открыл их, вышел со двора и пошел к реке, протекавшей верстах в двух от дома. Была темная, непроглядная ночь. Тишина стояла мертвая. Я перекрестился и, предав себя водительству Божью, смело зашагал вперед, держа в руке белье для перемены. Так прошел я с полпути. Вдруг передо мной из мрака вынырнуло что-то живое в образе человеческом, но нечеловечески страшное. У меня от ужаса на голове зашевелились и стали дыбом волосы. Я стал крес-

титься, читал молитву «Да воскреснет Бог» и псалом 50-й. Страшилище, как вихрь, закружилось вокруг меня и троекратно пыталось кинуться на меня, но я не прекратил молитвы, и оно отступило. Когда же я подошел к реке и стал взламывать на ней попавшимся мне под руку колом тонкий лед (река прошла, но от утренников у берега вода замерзала тонким слоем льда), то вдруг послышался шум, как от ударов крыльями или деревянными лопатами по воде. И опять напал на меня страх пуще прежнего, и я дрожал как в лихорадке, чувствуя присутствие и здесь того же страшного, что пыталось преградить путь мой к реке. Но Господь помог мне преодолеть все эти страхи: я сбросил с себя все одежды, перекрестился и погрузился в ледяную воду с молитвой веры и упования на Всемилостивого Бога. «Господи! — так возопил я к Нему, — призри на сиротское страдание мое и исцели болезнь мою!» Так помолившись, я троекратно окунулся в воду и вслед почувствовал в себе такую радость, что ее и изобразить человеческим словом невозможно. Боль мгновенно прекратилась, и душу мою осиял невыразимый, радостный, животворящий свет Христов; сердце забилось спокойно и ровно, и все чувства мои слились в один умиленный восторг, в одно торжественно-умиленное благодарение Создателю моему, Царю и Богу... Когда я вышел из воды и надел чистое белье (старое я оставил тут же, под мостками), я не заметил и не знал, как уже очутился у ворот своего дома. Совершилось это столь же чудесным образом, как и мое

исцеление. Объяснить себе этого я и до сих пор не могу... Вернувшись с купанья домой, я залез опять в свое гнездо под нары и заснул вслед как убитый. Сон мой продолжался без просыпу три дня, несмотря на все усилия встревоженных хозяев разбудить меня. За эти три дня струпы на теле засохли и стали как чешуя на рыбе.

В Великую Субботу, после обедни, я проснулся, подкрепился пищей и пошел в баню. В бане чешуя моя отстала, не оставив по себе ни малейшего следа. Тело мое сделалось белое и нежное, как у новорожденного младенца, но такое чувствительное, что еще долго после того самая тонкая рубашка казалась мне грубою власяницей.

В бане я так ослабел, что оттуда меня принесли на простыне, и я тотчас заснул, а проснулся уже на Пасху, к обеду, значительно окрепшим и совсем здоровым.

Так дивно совершилось надо мной чудо великой милости Божией.

Глава IV

Паломничество по святым местам. Возвращение на родину. Бегство от искушений.

После чуда исцеления силы мои стали быстро крепнуть, да и вся жизнь моя изменилась к лучшему. После того я с большим успехом проработал еще четыре года в Бирюче и за это время отлично изучил все тонкости шубного дела и стал для всех хозяев желанным мастером. Бог помог мне стяжать к себе доверие и

даже любовь со стороны всех, с кем я имел отношения, и не было семьи из знавших меня, кто был бы прочь от того, чтобы путем брака породниться со мной. Но ничто меня не радовало, и сердце неустанно звало и тянулось к монастырской жизни, к служению Богу и людям житием монашеским в подвиге добром служения иноческого. Каждогодно я к Пасхе ходил в Воронеж на поклонение св. мощам великого Божьего угодника, святителя Митрофана, и там уносился молитвенным воздыханием в те Святые небесные обители, где лики праведных с ликами Ангельскими воспевают непрестанно Творцу всяческих дивную песнь Аллилуия. В то время на всю Россию славился хор певчих Воронежского архипастыря Серафима. Кто из русских паломников того времени не знал или не слыхал о Серафимовских певчих?! И вот, помню тот первый приход мой в Воронежский собор, когда мне удалось проскользнуть мимо полиции, пускавшей в собор только чистую публику, залезть между колонн в храме и впервые услыхать этот стодвадцатиголосовый дивный хор. Был ли я тогда на небе или на земле, не вем того, но уверен, отрежь мне кто тогда руку, я бы и не почувствовал, и не пошевельнулся. И тогда же сказалось мне в сердце и подумалось: если тут еще на земле могут так хорошо петь, то что же будет там, на небе, где поют голоса Ангелов и святых небожителей?.. И еще более с тех пор укрепилось во мне стремление к иноческой жизни, готовящей странника и пришельца земли к бу-

дущему непрестанному ангельскому славословию Отца Небесного. Но как было привести это намерение в исполнение, когда на руках моих была все еще бесприютная сестра моя, которой я служил единственной опорой и поддержкой в сиротской ее доле? Сестра моя была неграмотная и не знала ни одной молитвы. Мне было уже 22 года, а ей шел 19-й год. Страшно мне стало за участь сестры, хотя и крещеной в Православии, но пребывавшей в языческой тьме неведения самых первых оснований своей веры, и надумал я совершить вместе с ней паломничество к Киевским святыням, чтобы на них показать ей всю красоту и силу святой нашей Православной веры. Там, в Киеве, в благоухании его святыни у меня с сестрой произошел серьезный разговор о нашей с ней дальнейшей участи, и я предложил ей на выбор или замужество, или поступление в монастырь. «Если желаешь пойти в монастырь, — сказал я ей, — то я тебя постараюсь обучить грамоте, но я в міру ни за что не останусь, а, как только тебя пристрою, сам тотчас же уйду в монастырь». К великой моей радости, сестра тоже выразила желание посвятить свою жизнь Богу.

Так предопределилось у Киевских святынь наше будущее; там же мы решили в Бирюч более не возвращаться, а идти в слободу Алексеевку, где родились и где провели под родительским покровом все детские наши беспечальные годы.

В Алексеевке все шубники приняли меня с распростертыми объятиями как хорошего мас-

тера, да еще обладавшего талантом вышивать узорами на шубах, что в то время удваивало ценность полушубков. Я тут же поступил на хорошее место, а сестру определил к золотошвейной мастерице обучиться искусству вышивать золотом и в то же время учиться грамоте. И то, и другое должно было ей проходить для поступления в монастырь. У самого же меня не было иного помысла, как только о монастыре и о подвиге иноческом. Я и место-то принял только из-за того, чтобы приготовить к тому же и мою сестру, для которой я был вместо отца и матери.

Вот в это-то время и пришлось мне вытерпеть тяжелую борьбу с искушениями от плоти и диавола, от которой едва осталась жива душа моя.

Началось с того, [что] все стали мне советовать вступить в законный брак с единственной дочерью одного богатого слобожанина. Брань за бранью восстали на меня помыслы: с одной стороны мое стремление к иночеству, а с другой — страсти молодости, невеста, достаток, обеспеченная, более того — богатая семейная жизнь: что выбрать, на чем остановиться?.. Дошло до того, что сам родитель богатой наследницы повел на меня энергичное наступление, чтобы склонить меня к браку на своей дочери. Помню, завел он меня раз в трактир и стал уговаривать жениться.

— Это ведь счастье ваше, — говорил он мне, — вам его Бог посылает за терпение ваше. Вот вам 70 золотых на одну лишь свадьбу, а

потом идем домой, и я вам покажу столько золота, что вы и не видывали. И все это будет ваше!

Ой как трудно было тогда душе моей избыть это великое искушение, тем более трудно, что богач, так упорно и настойчиво сватавший за меня дочь свою, был моим хозяином, и я жил в его доме. Что было делать, на что решиться? Молод я был тогда и неопытен, посоветоваться с кем-либо из духовно опытных было не с кем, и я не нашел способа отстранить от себя искушение, как притвориться внезапно онемевшим. Взял и положил себе в рот камень и неожиданно для всех онемел. Никто, конечно, этому не поверил, но я целый месяц не отверзал уст своих, как ни старались меня вывести из молчания мои хозяева: и детей ко мне подсылали, и шутками, и всяким ласкательством пытались заставить меня заговорить, но ничто не могло нарушить моего молчания. Тогда надумали устроить вечеринку и наприглашали множество гостей, а, чтобы я не убежал, мать той, которую мне навязывали в невесты, спрятала всю мою верхнюю одежду и шапку так, что мне волей-неволей пришлось остаться дома. Гостей набралось великое множество. Расчет казался верным: устыдится, мол, молодой человек людей и откажется продолжать свое притворство. Но на деле вышло не так: я забрался на печку, и никакие просьбы не могли меня вызвать оттуда. Так ничем и не кончилась затея эта.

Когда разошлись гости и хозяева уснули, я слез с печки, собрал потихоньку всю свою одеж-

ду — сюртуки, пальто, шелковые жилеты — по тому времени целое богатство — завязал все в узел и понес в богадельню. Перед уходом я написал и оставил своим хозяевам записку следующего содержания: «Блажен разумеваяй на нищи и убоги, в день лют избавит его Господь. Меня не ищите: мой путь на четыре стороны». Дойдя до богадельни, я постучался в дверь. На стук вышла старуха богаделка. Я вручил ей узел с одеждами и сказал:

— Молись за меня Богу!

Имя свое сказал, а лицо спрятал, чтобы не узнали.

Когда я вышел из Алексеевки, была темная, непроглядная ночь. Оглянулся я на родную слободу, залился слезами, поклонился матери родной сырой земле, вздохнул молитвенно к Богу: «Скажи мне, Господи, путь вонь же пойду!» — и направил стопы свои в Валуйский мужской монастырь, что в г. Валуйках Воронежской губернии.

Глава V

Неудача с поступлением в монастырь. Определение сестры в Белгородский монастырь.

По пути из Алексеевки я встретился с мужичком, ехавшим в Алексеевку на базар. Мужичок отпряг своих волов и пас их. Я сказался идущим тоже в Алексеевку, и мужичок предложил мне заночевать у него под возом. Я принял предложение, но заснуть не мог: сердце билось тревожно, и я, полежав немного, вновь

пустился в путь. До Валуек от Алексеевки считается 60 верст. С солнечным восходом я уже был в селе Никитовке, в 36 верстах от Алексеевки. Весь этот путь я прошел без шапки, непрестанно творя молитву.

В Никитовской церкви уже начиналась обедня. Когда она отошла, я попросил священника отслужить мне молебен с акафистом Спасителю. Господь видел, с какими слезами молился я Ему, прося Его указать мне путь спасения. И священник заметил мои слезы и горячую молитву и спросил меня о причине их. Я ответил:

— Хочу в монахи. Иду в Валуйский монастырь, да боюсь — не примут.

— Примут, — ответил мне батюшка, — отчего не принять — примут: ты человек молодой.

Бальзамом для израненного моего сердца были мне слова эти, и, узнав от батюшки, что до Валуек осталось не более шестнадцати верст, я принял его благословение и бодро зашагал в указанном направлении, уверенный, что еще немного и я наконец достигну столь желанной и долгожданной тихой пристани. Но Бог судил иное.

В то время в Валуйском монастыре подвизался один всеми уважаемый иеросхимонах; он давал благословение и советы народу. К этому подвижнику зашел и я за благословением и советом. Но, увы, меня уже ожидало горькое разочарование: от меня потребовали паспорт, а его-то у меня и не было. Сколько ни просил, сколько ни молил, обливаясь слезами, ничто не помогало — ответ был один:

— Принеси паспорт!

И только после долгих усиленных просьб иноки согласились оставить меня у себя в монастыре, и то под условием, чтобы я не заживался долее нескольких дней. Горько мне, тяжко было; и я стал усиленно молиться Богу и класть за ночь по тысяче поклонов в надежде ими вымолить у Господа перемену моей участи. Но не помогло и это и вызвало только на меня неудовольствие моих соседей по келье, других богомольцев, пожаловавшихся на меня за беспокойство: по ночам-де сам не спит и нам не дает. Позвали меня к схимнику, и он сделал мне строгий выговор за мое самочиние.

— И сам с ума сойдешь, — сказал он мне в заключение, — и других вводишь в искушение и беспокойство.

Однако после выговора обласкал, и я прожил в обители целый месяц.

И пришлось мне, к великому стыду и горю, когда прошел этот месяц, возвращаться вспять и — куда же? Опять к тем же хозяевам, откуда с такой ревностью служить Богу вышел я в ту достопамятную для меня ночь.

Первою на хозяйском дворе встретила меня хозяйская бабушка и едва меня узнала — так я переменился от душевных тревог и всяких лишений за это короткое время. И, Боже мой, с каким плачем и радостью встретило меня это семейство, приняв в свои объятия, как вернувшегося блудного сына! Все я порассказал им о своих злоключениях, и на этот раз они, убедившись в моем непреклонном желании уйти в мона-

стырь и стремлении к иноческой жизни, охотно на этот многотрудный путь благословили. Но тут встретилось мне новое препятствие: старшина отказал мне в выдаче паспорта. А старшиной был тогда друг моего покойного отца, которому отец, умирая, и поручил всех нас как покровителю*.

— Куда ты пойдешь таскаться, бросая бесприютную сестру? — сказал он мне. — Сперва ее определи и обеспечь, а затем и сам ступай на все четыре стороны.

И вернулся я несолоно хлебавши обратно к своим хозяевам.

Прожил я у хозяев несколько месяцев и решил устроить свою сестру в Белгородский женский монастырь Курской епархии. Там была монахиней троюродная моя тетка, монахиня София: к ней-то я и надумал отвести мою сестру. Сказал я об этом старшине, и на этот раз отказа им в виде на жительство уже не было, хотя все же он выдал мне только краткосрочное двухмесячное свидетельство, а не паспорт, как я того домогался.

В Белгород мы с сестрой пришли Великим постом. Тетка приняла сестру, но с условием, чтобы я помогал ей и давал денег на ее содержание. Было у меня тогда с собою 60 рублей: я все их отдал тетке, приложив к ним и свою верхнюю теплую одежду, оставшись сам в одной летней, несмотря на холодное время. Но

---

* Имя его было Илья Васильевич Кривенко. Впоследствии он вступил в число братии Скита Церковщины, восстановленного о. Мануилом, где 3 февраля 1912 года, приняв от его руки пострижение, и скончался с именем Терентия.

все мне было нипочем на радостях, что наконец-то сестра моя устроена, и я, как птица, свободный, могу теперь идти куда угодно. По шестидесяти верст в день уходил я, когда оставил сестру свою в Белгороде: немало помогало мне в этой быстроте и то, что я остался налегке без теплой верхней одежды — поневоле и бежать иной раз приходилось, чтобы отогреть застывшие от холода члены.

Глава VI

Ночлег у разбойников.

И пошел я, держа свой путь по святым обителям, присмотреться к ним и остаться в той из них, какая больше полюбится. Первой, лежавшей мне на пути и намеченной мною, была Белобережная пустынь Орловской епархии; к ней я и направился через город Орел.

На всем моем пути из Орла до обители мне не встретилось ни одного селения. Прошел я день, стало смеркаться, настала ночь. Стал я спускаться в балку по соседству с известными своими разбоями Брянскими лесами и наткнулся на одиноко стоящий двор и избушку. Там жили лесные объездчики, и меня пустили к ним ночевать за три копейки. Кроме меня, уже находилось в избе шесть мужиков и одна старуха. Лица у этих мужиков были точно звериные, такое же было и у старухи. Все они ругались между собою и о чем-то спорили. Тогда один из них схватил нож и бросился на старуху с яростным криком:

— Замолчи, растакая-сякая, а то я тебя зарежу!

У меня, что называется, душа ушла в пятки. Что тут было делать? И порешил я всю ночь ту провести в углу вместе с бывшими там тремя телятами... Мужики скоро затихли, поужинали и улеглись спать. Старуха указала мне место на печке; но сон далеко убежал от моих глаз. Когда все уснули, я тихонько собрал свои пожитки и затаив дыхание пробрался из избушки к воротам, вынул из-под ворот доску и с большим трудом протиснулся на дорогу. И о радость! В это время мимо двора по дороге шли два крестьянина, и я почувствовал, что спасен от смертельной опасности. Крестьяне с любовью приняли меня в свою компанию и были крайне удивлены, что я живым и невредимым выбрался из этого страшного разбойничьего вертепа.

— И как же это ты, — говорили они, — ушел из их рук? Ведь это разбойничья шайка: кто бы к ним ни забредал, живым не возвращался.

У меня дрожали ноги, и сам я весь трясся как в лихорадке, слушая рассказы этих добрых людей о злодейских подвигах разбойников и благодарно ограждая себя крестным знамением.

— Летом, — сказывали мне крестьяне, — здесь ни пройти, ни проехать от смрада разлагающихся человеческих трупов, вся балка полна ими, выкинутыми туда вместе с навозом. Не приведи Бог, что там у них делается!

Отошли мы с версту от этого страшного места и стали подыматься в гору. Ночь была лунная... Вдруг сзади нас послышался лай собак — это разбойники, проснувшись и заметив мое исчезновение, пытались натравить на мой след собак, но, к счастью, безуспешно, так как ночевал я один, а собаки чуяли след троих, что и путало разбойников. Так и пришлось им оставить свои поиски. Я был спасен и от всей души возблагодарил Господа.

— Дивное дело! — говорил мне один из моих богодарованных спутников, — мы ведь завтра днем идти хотели, да мне ночью что-то не поспалось; я и говорю товарищу: «Вот что, кум! пойдем-ка в Белые Берега пораньше, а то посойдутся утром соседи, и потеряем мы с тобой целый день». Так и сделали — и спасли человека.

Тут подъехал к нам с перекрестка мужичок в санях, запряженных одной лошадкой. Посадил он нас всех троих с собой, и мы вместе доехали до большой Карачевской дороги, здесь стоял большой крест, на нем было написано, что здесь разбойники убили человека и нашли у него 3 рубля, которых не взяли, а оставили на его погребение. Здесь уже мы были в полной безопасности.

Велии же, Господи, и чудны дела Твоя, и ни единое слово довольно будет к пению чудес Твоих!..

Глава VII

Таинственный старик.

В Белых Берегах, в монастырской гостинице, довелось мне встретиться со старичком странником, который уговорил меня там не оставаться, а идти с ним ближайшей дорогой в Оптину Пустынь к славившемуся в то время своей богоугодной жизнью и прозорливостью старцу-иеросхимонаху Амвросию. Странная была эта встреча, и я в ней доселе, как следует, разобраться не могу. Бог все один весть. Сказываю я об этой встрече потому, что оставила она во мне такое сильное впечатление, что оно и до нынешнего дня не может изгладиться из моей памяти.

Был канун Благовещения. Только два дня прошло, как я пришел в Белобережную пустынь. За эти два дня я свел знакомство с каким-то стариком. Несмотря на преддверие великого праздника, старик этот стал меня уговаривать торопиться с уходом из монастыря, уверив меня, что неподалеку будет где заночевать, а наутро попасть и к обедне. Не хотелось мне под такой праздник быть в дороге, но спутник настоял на своем, уверив меня, что нам с ним к Пасхе необходимо быть в Новом Иерусалиме, где все делается и служба правится, совсем как в Старом священном граде Иерусалиме. Я послушался, и мы отправились в путь.

Дорогой я спросил своего спутника, почему, несмотря на холодное время и приближаю-

щуюся распутицу, он путешествует не в сапогах, а в лаптях.

— Если желаешь, — ответил он мне, — то я тебе расскажу.

И он рассказал мне следующее:

— Я был пять лет подрядчиком в Москве на шоссейных дорогах. Зарабатывал я очень хорошо. Был я женат, но детей у меня не было, а были только старик отец да жена, которым я и посылал ежегодно по нескольку сот рублей от своих прибытков. Прошло пять лет, я вернулся домой, но не на радость, а на горе: узнал я, что отец мой — снохач и живет блудно с моей женой. Вскоре узнали и они, что тайна их стала мне известна, и задумали они извести меня ядом; подсыпали они мне его в пищу, да порции не рассчитали — мало положили, — и я жив остался. Сводили меня судороги, корчило меня и бросало во все стороны, и я временно лишился рассудка. Воспользовавшись моим безумием, они забрали находившиеся при мне пятьсот рублей, посадили меня, как умалишенного, на собачью цепь, прикрепили ее к костылю, вбитому в стену, а сами пошли к колдуну.

Вскоре я пришел в себя. На мое счастье, возле меня лежал макогон*, я отбил им костыль, к которому была прикреплена цепь, и с цепью в руках пошел к роднику, который вытекал из-под горы поблизости от нашего селения. В конце села я встретил жену с отцом; позади

* Тяжелый деревянный пест, которым в прежнее время деревенские бабы в ступе толкли коноплю на масло.

их шел колдун. Повстречавшись со мной, колдун сказал мне:

«Не думай того, что думаешь!»

Я был сильно раздражен и ответил:

«Отойди, собака!»

Но колдун не унимался и все продолжал твердить одно:

«Не думай того, что ты думаешь!»

Я не удержался и в ярости одним ударом макогона по голове свалил его на землю.

Отец и жена закричали:

«Бей во второй раз!»

Я ответил:

«Добрый молодец по два раза не бьет: будет с него и одного раза».

А есть поверье, что от второго удара колдуны, убитые первым ударом, оживают.

Отец и жена остались при колдуне, а я быстрыми шагами направился к источнику, напился там воды, подкрепился кусочком хлеба, прочитал какие знал молитвы и, ограждая себя крестным знамением, отправился к старцам в Площанскую пустынь* за советом.

Старцы не посоветовали мне жить дома, а указали обосноваться в каком-нибудь монастыре. Пока же я был в Площанской пустыни, у меня украли сапоги, и мне пришлось идти оттуда до ближайшей деревни босиком. В деревне этой я прожил целый месяц, занимаясь плетеньем лаптей. Заработал я там рубль в месяц, там же и себе сплел лапти и в них теперь иду

* Орловской губернии, Севского уезда. В то время она славилась духовным опытом монашествующих.

за советом к знаменитому Оптинскому старцу о. Амвросию, чтобы он указал, как жить мне на белом свете.

Этот рассказ расположил мысль к старику страннику, и я от души пожалел, что суждена была ему такая скорбная участь.

Отошли мы версты две от обители и вошли в дремучий, темный лес. Настала ночь, едва видно; дорога незнакомая; под снегом всюду вода. Страх напал на меня и уныние. Но старик все меня подбадривал, говоря, что скоро дойдем до назначенного для ночлега места. А мне с чего-то очень жутко было... Ровно в полночь дошли мы до какой-то избушки.

— Сторожка лесного объездчика, — сказал мне мой спутник.

Собаки почуяли нас, подняли тревогу и, как разъяренные львы, бросались к забору извнутри двора и грызли доски. На их лай вышла старуха, уняла их и провела нас в свою сторожку.

За всю свою жизнь не встречал я ничего, подобного тому, что я по житью увидел в этой сторожке!..

Первое, что я увидел, войдя в избу, то был какой-то страшный мохнатый старик, сидевший на печке, весь оборванный и черный, как эфиоп. Не успели мы переступить порог, как он уже кричал нам с печки:

— Нет ли у вас, рабы Божии, табачку? Я уже несколько дней пропадаю без табаку.

И когда мы ответили, что нет, то он заворчал на нас:

— Что ж вы за рабы Божии, коль нет у вас табаку!

И, порезав чубук от трубки, наложил его полную трубку и тем удовлетворил свою страсть. И жалко, и страшно было смотреть на такое чудище!..

Старуха светила лучину; кругом шныряли ребятишки, все черные, полунагие, закоптелые от грязи и дыму до того, что у них одни только глаза да зубы белели. Белья, видно, они никогда не мыли и не снимали, а носили его до тех пор, пока оно не сносится, не разорвется в клочки и само не свалится с тела. На стенах избы везде была сажа, ползали черные тараканы, а воздух был такой, что впору было задохнуться от вони. И немудрено: тут же в избе, под печкой, помещались телята и свиньи, и тут же доили коров.

Так жили люди эти от осени до Рождества, когда переходили в другую избу через сени, а эту замораживали, сметая со стен и с печки тараканов и вычищая навоз. После Рождества вновь переходили на старое пепелище, опять копили всякую грязь и нечистоту, опять под Пасху переселялись через сени в соседнее помещение — и так и жили, кочуя от праздника к празднику из одного жилья в другое, едва сохраняя на себе подобие человеческое.

Поглядел я на такое жилье и не чаял от этого ночлега и в живых остаться. К счастью, были у меня с собой в котомке баранки и крестики. Я стал ими щедро одаривать и ребятишек, и хозяев. Это сразу изменило их располо-

жение в нашу пользу. Хозяйка засуетилась и стала готовить ужин, состоящий из холодных щей и гнилого хлеба, в котором копошились черви. Меня чуть не стошнило, когда я увидел разрезанный на ломти этот хлеб и в нем разрезанных червей. А хозяйке это, видимое дело, было не в диковинку, и она усердно хлопотала, приготавливая:

— Кушай, мой касатик, кушай!

Но я отказался кушать и попросил в свою деревянную чашку холодной воды, намочил в ней сухари и посыпал их мукой из толченых груш. На моей родине сушат груши, толкут их и эту муку берут с собою во всякое путешествие, особливо же в паломничество по святым местам. Та же мука могла служить и вместо квасу — на стакан воды чайную ложку муки.

Заметил мою стряпню старик на печи и заинтересовался.

— Чем ты, малый, посыпаешь-то?

Я объяснил, что у нас на родине в хохлатчине растет такое дерево, что грушей прозывается, и что из плодов ее делают муку.

— Ею, — говорю, — и посыпаю.

— Сем-ка, — говорит, — малый, я попробую!

Я подал ему чашку на печку. Старик отведал и заговорил:

— Вишь, малый-то гладкий! Хотите, чтобы он после своего дерева нашей щицы хлебал!

Одобрил, значит.

Все семейство, точно саранча, сразу набросилось на мою похлебку, детишки даже по-

дрались над ее остатками; пришлось приготовить им другую чашку...

Мой спутник все время сидел молча и к еде не прикасался. Я стал приглашать его к столу, так как в течение трех дней я не замечал ни разу, чтобы он кушал, но он и на этот раз отказался от пищи.

Немало меня это тогда удивило.

Переночевали мы в этой сторожке ночь на Благовещение и утром в самый праздник спешно отправились в путь, чтобы поспеть в ближайшее село к Литургии. Дорога шла лесом. Был легкий морозец, на низинах стояла вода, а по балкам весенняя вода шла широким потоком. В одной из балок, через которую нам пришлось переходить, вода разлилась саженей на пятьдесят. По самой середине водополья виднелся мостик, а вода от утренника покрылась тонким слоем льда. Обойти воду было негде, и мы поневоле решили идти вброд. Сапоги у меня хорошие, с длинными голенищами. Оградил я себя крестным знамением, и, пробивая палкой с железным наконечником лед, я пошел вперед. Спутник мой все не решался идти вслед за мною и пошел только тогда, когда увидал, что я перешел уже самую глубокую воду под мостиком. Сняв с себя лапти, он босыми ногами отправился по моему следу. От быстрой и холодной воды старик едва мог добраться до мостика и, упав на мосту, стал метаться во все стороны. Я не был в силах ничем ему помочь. Вдруг он поднялся, обмотал ноги онучами, надел лапти и быстро стал переходить вторую

половину разлива. Саженях в трех от берега я вошел в воду, взял его под руки и с большим трудом довел до берега. Бледный как мертвец старик упал на землю, и глухой стон вырвался у него из груди. Я перепугался и стал срывать с его ног лапотки и оборки. Наскоро собрав между кустами сухой травы, я подостлал ее в лапти и, обернув ноги старика сухой онучкой-суконкой, с трудом надел на него мокрые лапти. Жутко и страшно мне тогда было...

Кое-как поднял я старика с земли и, взяв его под руку, пошел с ним далее, все более и более углубляясь в чащу леса. Прошли мы так несколько верст и вышли наконец на опушку. По выходе из леса, у самой дороги, стоял столб, а на столбу в футляре икона Божьей Матери. Перед иконой горела кем-то возжженная свеча. Подойдя к этой иконе, старик пал на колени и долго и очень горячо молился. Молитва его была самосложная и настолько сильна, что я никогда ни раньше, ни после не видал, чтобы кто-нибудь из людей так молился. Молитва же его была о воплощении Бога Слово от Пресвятыя и Пречистыя и Пренепорочныя Девы Марии.

Поразительно мне это было видеть и слышать...

Прошли мы немного от иконы и увидели село, куда торопились к обедне, но когда подошли к церкви, то из нее народ уже расходился: обедня кончилась, и так мы и остались в великий праздник без обедни.

Заметила нас какая-то женщина, выходившая из храма (впоследствии оказалась матерью

местного псаломщика), и пригласила к себе в дом. Там нам предложили горячего чаю и свежих пирогов, но и тут мой спутник от всего отказался, сказав при этом:

— Брата моего угостите, а я пойду к знакомому мне священнику.

Попросил себе мой спутник дать ему коты*, надел их и ушел, а я после тяжелого пути и пережитого страха, подкрепив себя чаем с пирогами, прилег отдохнуть и крепко заснул. Когда проснулся, то было уже четыре часа пополудни, и на столе уже снова стоял самовар и пироги. К этому времени вернулся и мой спутник. Мы сели за стол. Хозяйка стала упрашивать старика сесть с нами и покушать, но он отказался, ссылаясь на то, что хорошо закусил у священника.

Так я и не видал за всю дорогу своего спутника за трапезой или что-либо евшим.

Гостеприимная старушка хозяйка предложила нам на дорогу кое-что из белья и немного денег. Я взял все предложенное, но спутник мой от всего отказался.

День уже клонился к вечеру, когда мы оставили гостеприимный дом псаломщика и пошли своей дорогой. Зашли мы в лощинку, изредка поросшую мелким кустарником и ракитником. Я шел впереди старика, изредка перебрасываясь с ним словами. Так прошли мы версты четыре. Вдруг, к великому моему изумлению, старика не стало — как в воду канул. Куда он девался и что это был за старик, я и до сих

* Большие ботинки.

пор не знаю и не понимаю. Скрылся же он из моих глаз чудесным образом, ибо место кругом на далекое расстояние было открытое и спрятаться ему от меня было некуда. Был ли он мне посланец Божий во спасение, про то один Бог весть, но память о нем у меня жива в сердце еще и доселе, особенно же по той горячей молитве, которую он сотворил тогда пред иконой Божией Матери, на опушке леса, в свят день Благовещенский.

Глава VIII

Цыганская деревня. Мое спасение. Оптина Пустынь. Старец Амвросий. Иеромонах Даниил у Саввы Звенигородского. Его прозорливость.

Потеряв столь неожиданным и чудесным образом своего спутника, я совершенно растерялся и не знал, что делать. Близилась ночь, а я остался один в незнакомом пустынном месте. Что было делать? Назад идти было далеко, ночевать на пустыре и безлюдье было жутко... решил идти вперед.

Вскоре я увидел деревушку; туда я и направился в надежде там переночевать. Деревушка эта оказалась сплошь заселенной цыганами. И что ж тут со мной было — как я только жив остался?! Как только завидели меня цыгане, то встретили меня такими ругательствами, каких я сроду и не слыхивал, бросили в меня камнями, свалили меня в лужу и тут надругались надо мной, сколько было душе их угодно. Они, наверно, и убили бы меня, если бы

на ту пору не послал Господь проходившего той же дорогой, где я валялся в луже, мужичка, завидев которого цыгане оставили меня и разбежались.

— Уходи скорее отсюда, — сказал мне мужичок, — уходи, раб Божий, а то эти цыгане не отпустят тебя живым. Тут неподалеку есть село — там и заночуешь.

Я скорее, сколько было силы, бросился бежать вон из цыганской деревушки, пока не добежал до леса, где остановился, почувствовав себя в безопасности от возможной за мной погони. Стою я и горестно думаю: куда ж мне идти? Вдруг слышу лошадиный топот: кто-то едет в мою сторону... Меня объял ужас: видно, гонятся за мной цыгане — не уйти мне от них живым! Я скинул шапку и, дрожа от страха, стал читать 90-й псалом «Живый в помощи Вышняго» и твердить слова: «В руце Твои, Господи, предаю дух мой...» Во всю жизнь мою не был я так близок к Господу Богу, как в те страшные минуты, прося помилования и помощи от надвигавшейся на меня гибели... Тут подъехал ко мне всадник; это был некий юноша из того села, куда я направлялся, и я был спасен: вместо ожидаемого разбойника он оказался моим проводником и спасителем. Посадил он меня позади себя верхом на лошадь и, подобно доброму Самарянину, избавил меня от руки разбойников, привезя в дом своих родичей.

Когда я несколько оправился от пережитых волнений, я стал расспрашивать, где я нахожусь и далеко ли до Оптиной Пустыни, где

живет старец о. Амвросий, и узнал, что об о. Амвросии никто не имеет никакого понятия, а до Оптиной Пустыни, вернее до г. Козельска, около которого находится эта Пустынь, 300 верст.

Переночевав в том селе и не узнав ни от кого дороги на Оптину Пустынь, я пошел вперед, рассчитывая только на одну Божию милость и водительство. Пройдя порядочное расстояние, я набрел на место, от которого расходились три дороги. Предав себя Воле и Промыслу Божью, я вырезал три палочки по числу дорог, поделал на них зарубки — на одной одну, на другой — две, а на третьей надрезав крест, положил их в шапку, встряхнул их несколько раз, перекрестился и вынул палочку с одним надрезом. Выбрал я ту дорогу, которая обозначена была этой палочкой и с помощью Божией дошел по ней до Оптиной Пустыни, нигде не заблудившись.

В Оптиной Пустыни я прожил недели две, но, к прискорбию, с великим старцем о. Амвросием беседовать и посоветоваться мне не пришлось: в то время он был болен, и мне удалось только принять его благословение.

Из Оптиной Пустыни я отправился в Московскую губернию, в обитель св. Саввы Звенигородского, куда и дошел милостью Божией благополучно. Первым долгом вошел я в храм, где в то время шла Литургия. В конце нее ко мне подошел древний старец иеромонах. Это был о. Даниил, славившийся святостью своей жизни и прозорливостью. Подал он мне ключ от своей кельи и сказал:

— Вот что, брат Митрофан, иди ставь-ка самовар — будем пить чай.

Я впервые с ним встретился и был поражен, что он, никогда не видавши меня, назвал меня по имени.

Напился я со Старцем чаю, побеседовал с ним по душе и стал собираться в путь, чтобы к Пасхе поспеть в Новый Иерусалим и оттуда в Троице-Сергиеву Лавру, но Старец стал настаивать, чтобы я остался у него до третьего дня Пасхи.

— Поговеешь, — прибавил он, — причастишься в Великий Четверг — я тебя и поисповедую, — а потом и пойдешь, а иначе я тебя не отпущу.

Отказываться было нельзя, чтобы не оскорбить Старца, оказавшего мне столько любви и заботы, и я остался. Каждый день он звал меня к себе и обращался со мной как родной отец. В Великий Четверг я приобщился Св. Христовых Таин, а когда о. Даниил меня исповедовал, то во время исповеди преподал мне много добрых советов и еще более удивил тем, что рассказал мне подробно все мои грехи, как будто он сам был в них моим соучастником. Дивное это и поразительное было для меня дело, показавшее на живом примере, что есть истинное монашество и чего можно им достигнуть в жизни духа, если не уклоняться с пути правильного монашеского подвига.

На третий день Пасхи, согласно воле Старца, я собрался в путь. Старец о. Даниил подарил мне на дорогу книгу «Путеводитель по св. мес-

там» и пошел со мною сам показывать мне путь. Пройдя версты полторы, он стал прощаться со мною и сказал мне на прощанье:

— По пути встретятся тебе испытания и искушения. Ты пройдешь много монастырей. Будут тебе предлагать остаться в них, но ты не останешься в этот раз. Когда же вернешься домой и поживешь с год, тогда у тебя появится такое непреодолимое желание поступить в монастырь, что ты себя не сможешь удержать, и тогда иди и поступай в тот монастырь, куда пожелаешь, и терпеливо переноси все наносимые тебе от диавола искушения, потому что не даст тебе диавол покоя до самой твоей смерти.

На этих словах, как с отцом родным, распростился я с дивным Старцем и пошел своей дорогой, направляясь в святые места, прославленные подвигом отца монашествующих, великого во святых угодника Божия, Преподобного Сергия, Радонежского и всея России Чудотворца.

Глава IX

Волк. Журавли. Разбойник. Дядя. Возвращение на родину.

Слова прозорливого старца о. Даниила: «По пути тебе встретятся испытания и искушения» — не прошли мимо. Прошел я верст с двадцать, как уже наткнулся на первое. Шел я лесом. Вдруг вижу — передо мною как из земли вырос волк, да такой огромный, страшный; стоит сгорбившись, хвост поджал под себя, ощетинился и морду держит вниз к земле. Вид у

него был такой злой, что я до полусмерти было испугался, но тут — благодарение Богу — вспомнил про силу Честнаго Животворящаго Креста Господня, овладел собою, оградил себя крестным знамением и произнес вслух, обращаясь к зверю и указывая ему рукой дорогу:

— Молитвами Преподобного отца нашего Сергия, Радонежского Чудотворца, иди ты в свою сторону!

И волк, наклонив голову, послушно сошел с дороги и побрел в сторону. Как же я тут возрадовался и возблагодарил Господа Бога, дивного во святых Своих!

Иду я дальше лесом. Место глухое, пустынное. Далеко кругом нет и следа жилья человеческого. Вдруг слышу, в стороне от дороги, неподалеку, какой-то особенно сильный крик журавлей. Меня это заинтересовало. Зная, что птица эта крайне осторожная и умная, я ползком, стараясь не производить ни малейшего шума, стал пробираться кустами лесной чащи по направлению скошенного куста. И что же я увидел? Я бы не поверил, если бы не видел того своими глазами. Среди кустов в чаще леса находилась полянка. На этой поляне, расположившись кольцом, чинно стояло парами больше сотни журавлей. Посреди кольца стоял старый журавль, видимо, ихний набольший. И вот, вижу я, этот набольший наклоняет свою голову, как бы подавая этим какой-то условный знак, и по этому знаку из журавлиного круга выступает вперед пара журавлей на середину круга, делает поклон во все сто-

роны; старший журавль затягивает протяжно песнь: «крю-крю!» — и журавлиная пара пускается в пляс под эту удивительную и не лишенную своеобразной красоты музыку. Каждая пара плясала минут десять. Так на моих глазах перетанцевало несколько пар, и все в таком же удивительно странном порядке. Пролежал я за кустом более часу, любуясь на Божие творенье; день уже стал склоняться к вечеру, и мне надо было идти дальше. Заслышав произведенный мной шорох, вся журавлиная стая, по сигналу старшего журавля, снялась и улетела, а я направился далее, дивясь премудрости Божией, даровавшей разум всякой твари и установившей всюду и во всем свой вековечный, незыблемый порядок. Только человек один по грехопадении своем явился и доселе является его нарушителем; и сколько же за то горя и слез человеку, нарушающему порядок и закон Божий!..

Дальнейший мой путь до Нового Иерусалима был благополучен, но по дороге оттуда в Троице-Сергиеву Лавру новое испытание уже подстерегало меня по слову старца о. Даниила.

Из Нового Иерусалима в Лавру я пошел через Москву. На пути к Москве, верстах в четырех от нее, по обеим сторонам дороги появились пустые ракиты. Смотрю, из-за крутого поворота дороги идет мне навстречу еле двигаясь избитый и весь в крови какой-то старик. Дойдя до меня, он раскрыл свой рот, чтобы сказать мне что-то, но от пережитого ужаса не мог сразу вымолвить ни одного слова. Нако-

нец, несколько опомнившись, он прокричал не своим голосом:

— Меня разбойник ограбил: отнял сумку, восемь рублей денег и паспорт!

Простирая ко мне свои окровавленные руки, он с плачем сказал мне:

— Спаси меня, раб Божий, ради Христа!

— Далеко ли тебя ограбили? — спросил я.

— Вон на той закруглине! — сказал он и тут же прибавил: — Не ходите туда, а возвращайтесь назад, а то и вас там убьют разбойники!

Было около четырех часов пополудни. Слышно было, как в Москве звонили к вечерне. Это было на пятый день Святой Пасхи... Долго я стоял и думал, не зная, что делать и на что решиться: возвращаться назад, надо было идти до деревни верст двадцать, а в Москву — не миновать опять идти тем же путем. На мое счастье, ехал по этому пути подвыпивший мужичок и с ним мальчик. Мужичок растянулся в телеге и спал, а мальчик правил лошадью. Я у мальчика попросился подсесть на телегу, но как только я на нее взобрался, как из-за куста выскочил разбойник, подбежал к телеге и, не заметив лежавшего в ней мужика, бросился на меня, намереваясь стащить меня с телеги и ограбить. Я перекинулся от него на другую сторону телеги. Разбойник забежал с другой стороны. Я опять назад. Так три раза, желая меня схватить, разбойник обошел вокруг телеги. В это время мальчик разбудил спящего в телеге мужика; тот вскочил, схватил с телеги кол и кинулся на разбойника. Разбойник, пере-

пуганный неожиданностью, бросился бежать, и я был спасен. Куда девался тот ограбленный старик, я с перепугу не заметил.

Проехав с мужичком разбойничью заставу и поблагодарив его за спасение, я слез с телеги и пешком пошел в Москву, а оттуда в Лавру, в Гефсиманский Скит и к другим подмосковным святыням. Наконец зашел я в Скит Параклит. Здесь я сшил мантию старца великому отцу Иакову. Из Свято-Духова Скита Параклита я отправился в соседнюю Владимирскую губернию к родному своему дяде, Даниилу Васильевичу Ковшенку, управлявшему в то время в Юрьево-Польском уезде имением графа Шереметева при селе Самынском. Там я прожил около трех месяцев, подучивался грамоте. Занимался я там и рыболовством, налавливая, к удовольствию дяди, ежедневно от 10 фунтов до пуда рыбы. К рыболовству я был способен и понимал это дело, научившись ему по слову покойного моего родителя, говорившего нам:

— Деточки мои! Старайтесь с младости беречь старость и учитесь чему-нибудь полезному; счастье скоро проходит, а наука никогда.

Поставлю я, бывало, у дяди три ятера, перегорожу ими быстротекущую, каменистую речку и наловлю ему столько рыбы, что он диву дается. За это дядя выхлопотал мне взамен двухмесячного моего просроченного отпуска новый паспорт; но, узнав о моем стремлении к иноческой жизни, сильно на меня вознегодовал и возмутился.

— И чего ты себя вздумал мучить, — кричал он на меня, — и не думай, и не помышляй о монастыре!

Но дядины речи и негодование не переубедили меня, а заставили уйти от него в новое странствие по святым обителям, которых я и прошел тогда немало в ближайших местах Владимирской и Московской губерний. Был у святынь и в самом г. Владимире.

Во время этих странствий у меня родилось непреодолимое желание пойти домой. Долго я колебался, но слову о. Даниила и тут суждено было сбыться, и я через Москву, где прожил 9 дней у шубника, отсюда направил свой путь на родину, в родную слободу Алексеевку.

Глава X

Странник Павел. Новое странствие. Видение Спасителя и диавола. Поступление в Св.-Троицкий монастырь старца Ионы. Последняя встреча с Павлом.

Вернувшись домой в слободу Алексеевку, я застал там свою сестру, что меня сильно удивило и огорчило. Оказалось, что тетя, у которой я оставил сестру, израсходовала в течение трех месяцев 60 рублей, мною данных на ее содержание, а ее отослала домой, сказав при этом:

— Если брат будет присылать деньги, то будешь дальше жить, а иначе — иди домой.

И пришлось мне идти опять в работники к хозяевам. И была мне эта жизнь не жизнь, а одно сплошное мучение. Все мечты мои разом рухнули, и остался я как рак на мели. Куда ни

пойдешь, на тебя чуть что пальцем указывают — монах! святоша! — смотрят как на чужого, глумятся... С другой стороны, старые старухи чуть на тебя Богу не молятся, почитают, как угодника Божия. Жизнь моя совершенно расшаталась... Пошел я было опять к старшине за паспортом для поступления в монастырь, но вновь получил отказ.

— Пока не определишь сестры, паспорта не получишь!

С таким ответом, казалось, была потеряна для меня всякая надежда на освобождение от уз міра. И взмолился я тут к Единому Сердцеведцу Господу Богу, и не презрел Он, Всеблагий, горячей моей молитвы. Но прежде Богу было угодно провести меня через новое испытание моей к Нему любви и веры, а также и стремления моего к иночеству.

Спустя некоторое время после этого, через слободу Алексеевку проходил странник, молодой человек лет двадцати двух, неся с собой для продажи книги духовного содержания. Я зазвал его к себе, за три рубля купил у него молитвослов и, питая особую любовь к странникам, пригласил его в чайную. Имя странника было Павел. В беседе за чаем я объяснил ему о давнишнем своем стремлении к иноческой жизни, о тех препятствиях, которые воздвигались мне на этом пути, и просил его совета, как победить мне их и уйти в монастырь.

— Поклянись мне, — сказал Павел, — что ты никому не скажешь обо мне, и я выведу тебя из трудного твоего положения.

Я пообещал сохранить все в тайне.

Тогда Павел сказал:

— Я, славы ради Господа, странствую по святым местам уже два года без паспорта. Я — единственный сын богатого купца Костромской губернии. Задумал я, подобно тебе, идти в монастырь и открылся своим родителям, но они воспротивились моему желанию и захотели меня женить. Но я по глаголу Господа нашего Иисуса Христа — «аще кто любит отца, или матерь, или жену, или детей, брата или сестру паче Мене, несть Мене достоин» — тайно ушел из родительского дома и вот милостью Божьею два года уже странствую по святым местам без всякого паспорта, питаясь от продажи книг и грамоток. Если желаешь, пойдем со мной странствовать вдвоем, — вдвоем нам будет веселее, — а сестру Господь не оставит, как сказано: «Возверзи печаль твою на Господа и Той тя пропитает».

И пришлись мне эти слова Павла по сердцу; сблизились мы тут с ним и решили больше не разлучаться до самого гроба.

Из чайной мы с Павлом пошли в дом одних благочестивых людей и стали там приготовлять все необходимое на дорогу. Хозяева этого дома были люди бездетные и любили меня еще с детства, почитая во мне как бы старца за то, что я им когда-то, еще будучи мальчиком, сказал на желание их усыновить меня: «Не дал вам Господь детей, за все благодарите Его. Теперь и свои-то, кровные, и те не хотят почитать родителей, не только чужие». Старики заплакали тогда, слыша такие речи, и с тех пор прозвали меня своим старцем.

Заказали мы со своим спутником кузнецу вериги фунтов на двадцать весом, надели на тело, захватили в котомку самое необходимое для дороги и ночью с котомками за плечами двинулись в путь, вернее, бежали из Алексеевки.

Найдя себе мужа по сердцу, я так увлекся ожиданием близкого события всех своих надежд, что от радости забыл и про паспорт, и о сестре, хотя на первое время и оставил ей сто рублей на расходы. Старик и старуха, у которых перед уходом мы прожили две недели, провожали нас версты три от Алексеевки и простились с нами, говоря:

— Идите, деточки, да за нас молитесь Богу!

Путь наш на Киев лежал через Свято горский монастырь. Странствование наше, продолжавшееся десять недель, было очень трудное; грязь невылазная, голод и холод. Домашние запасы вскоре истощились, и мне приходилось работать у крестьян и за себя, и за Павла. Я шил крестьянам одежду и, получив за то хлеба и денег, продолжал таким образом путь свой далее, прокармливая и себя, и своего спутника. Так как в запасе у нас белья для перемены не было, то вскоре на нас напали вши в невероятном количестве. Их было так много, что мы доходили от них до полного изнеможения. Но хоть плоть и немоществовала, зато дух наш был бодр и, несмотря на всю трудность подвига, мы крепились и вериг с себя не снимали, пока не открылись на теле нашем от них гнойные раны. Тогда волей-неволей вериги пришлось снять. Павел закопал свои тут же в землю, а я

свои донес в котомке до Киева, где и закопал их у ворот моста, ведущего из Лавры в Выдубецкий и Св.-Троицкий монастыри.

Думал я, что в Киеве-то меня уже непременно примут в монастырь, хотя и без паспорта, но горько пришлось мне разочароваться в этом: не только в число иноков меня не приняли, но даже и в ночлеге мне всюду отказывали, так что негде нам с Павлом было приклонить усталых голов своих. Видя такое безвыходное положение, я решил вернуться домой, чтобы раздобыть себе во что бы то ни стало паспорт, но Павел восстал против такого решения и убеждал меня продолжать без паспорта наше путешествие, пока не заберет нас как бродяг полиция и не сошлет в Сибирь, где мы выкопаем себе землянки и будем жить подобно древним подвижникам. Я возражал, что прежде, чем решиться на такой подвиг, нам необходимо сперва пожить в монастыре и поучиться у опытных старцев; но Павел и слушать меня не захотел. На том мы и расстались. Я отправился на вокзал, чтобы вернуться домой, а спутник мой пошел далее.

Это было в 1873 году.

С одним рублем в кармане пришел я на вокзал. Что тут было делать? Недолго думая, помолился я Богу, забрался в вагон под лавку и так, никем не замеченный, под лавкой и добрался до Курска. Остальные 180 верст от Курска до Алексеевки я прошел пешком.

Вернувшись домой, я на этот раз не с коротким пристал к старшине требованием вы-

дать мне паспорт. Сестру я брал с собою, и старшине ничего не оставалось делать, как выдать нам обоим паспорта на руки.

Получив паспорта, я тотчас же велел сестре собираться со мной в Киев.

В ночь перед выходом я увидел во сне дивной красоты и богатства чертог. В нем стоял Спаситель міра и с улыбкой смотрел на меня. Два раза я хотел подойти к Нему и не мог, и только в третий раз я был допущен приблизиться к моему Искупителю.

Два раза впоследствии просился я поступить в Троицкий монастырь, но меня не принимали, и только на третий приняли меня в число братии. Так и исполнилось на мне видение это.

По пути в Киев, в одном странноприимном доме мне было еще видение: откуда-то явился мне диавол в образе какого-то громадного чудовища. Он разинул свою огромную пасть и кинулся на меня, чтобы поглотить меня. Неистовым голосом закричал я во сне так, что весь народ сбежался на мой крик. С большим трудом привели меня тогда в чувство и успокоили. До сих пор памятен мне пережитый мною ужас.

Когда же мы пришли в Киев, то оказалось, что сестру ни в один из женских монастырей без вклада не приняли, да и меня постигла такая же неудача. И порешил я уйти на Афон и там навеки скрыть себя от міра, но прежде этого отправился на совет к великому старцу Ионе, основателю и настоятелю Св.-Троицкого общежительного монастыря. У не-

го наконец, по троекратной моей просьбе, и решилась наша участь с сестрой: мы были им приняты в его обитель: сестра — в прачешную в монастырском имении «Гусеницы» в Полтавской губернии, в семидесяти верстах от Киева, а я —в монастырь, на послушание в портняжескую мастерскую.

Произошло это величайшее в нашей жизни событие 24 мая 1874 года.

Вскоре по вступлении моем в монастырь мне еще раз пришлось встретиться с бывшим моим спутником Павлом. От него я узнал, что после нашей разлуки он странствовал еще более года, пока не был взят за бесписьменность под стражу, предан в полиции пыткам и, не вынесши их, открыл место своей родины и имя родителей, куда и был препровожден этапным порядком. В доме родителей, однако, Павел жить не захотел и стал настойчиво просить их отпустить его на Афон. Видя его непреодолимое стремление к иноческой жизни, родители дали ему на дорогу триста рублей и отпустили его с миром. Из дома Павел пошел пешком прямо в Киев и по дороге был ограблен разбойниками, отнявшими у него половину денег. Полтораста рублей уцелели, потому что были зашиты под подкладкой одежды. Я уговаривал Павла остаться в Киеве, но он не захотел и ушел на Афон. Подарил я ему на память свою кожаную сумку. С той поры мы уже с ним более не видались.

Глава XI

Знамение Божие. Болезнь сестры. Искушение и вразумление свыше. Новое вразумление.

Первым помыслом моим по принятии меня в обитель было пойти в Божий храм и воздать благодарение Господу Богу за великую к нам с сестрою милость. Вошел я в храм, взглянул на иконостас и едва устоял на ногах от восторженного изумления: на местной иконе я увидел Спасителя в том самом виде, каким Он являлся моему окаянству в сонном видении пред выходом нашим с сестрою из слободы Алексеевки. От страха и радости у меня даже подогнулись колени, и я вынужден был в порыве душевного волнения присесть на лавку, пока не пришел в себя и не оправился. Это было для меня явным знамением милости Божией, указавшей мне, что здесь место мое, предуказанное Самим Богом. Так я это тогда и понял. Но такова немощь веры нашей: несмотря на такое знамение, я при первом же ее испытании подпал под искушение и не устоял.

Живя в прачешной, сестра моя во время одного водополья сильно простудилась, не имея теплой одежды. Жаль было мне сестры, а помочь нечем. Тогда, вместо того чтобы возложить печаль свою на Господа, да нас препитает, я взял благословение у старца Ионы якобы на устройство дел своих на родине и пошел искать средств для поддержания слабого здоровья сестры. Но тут явилась задача: откуда их

взять? Вернуться на родину и опять поступить в работники казалось неудобным, а для людей даже и соблазнительным — скажут: «Вот так монах: намонашил!»

Было у меня девять рублей, и я порешил начать на них торговлю. Купил я на эти деньги в Воронеже иконочек, крестиков и других предметов веропочитания и направился с ними через Рязань на Москву с целью распродажи их и с тем, чтобы в Москве вновь накупить тех же товаров и по пути через Харьков в Киев распродать их с барышом, на который и обеспечить сестру теплой одеждой. Таким образом я рассчитывал заработать не менее ста рублей.

Через несколько дней моего путешествия у меня вместо девяти рублей образовалось уже 24 рубля наличных денег и на 4 рубля товару. План мой по-видимому казался верным, но Бог судил иначе.

Не доходя до Рязани, я зашел в Петропавловский мужской монастырь. Там я познакомился с о. экономом монастыря. Узнав, что я путь держу на Рязань, о. эконом сказал:

— Вот что, братец, завтра я по этому пути еду верст тридцать на монастырскую мельницу. Лошади наши, монастырские, и я тебя подвезу. Я люблю гуторить с хохлами — они народ очень простой.

На другой день, рано утром, мы и поехали. Дорогой о. эконом стал меня расспрашивать о цели моего путешествия. Выслушав мои объяснения, он сказал:

— Это тебе, раб Божий, искушение. Ты хочешь обеспечить сестру уже после того, как сам поступил в монастырь, А если бы ты умер и тебя не было бы, как ты думаешь, оставил ли бы Бог твою сестру? Это — одна мечта твоя. Советую тебе оставить все свои планы, возвратиться в монастырь и предаться во всем в волю Божию. Господь Сам вами управит, как и в Священном Писании сказано: «Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя пропитает».

— Верю я словам вашим, батюшка, — ответил я о. эконому, — но в том же Слове Божием сказано, что устроить сироту дороже пред Господом, чем церковь построить, а потому я и возложил на себя труд этот не ради себя, а ради сироты-сестры. И вот что я вам скажу: если слова ваши от Бога, то пусть Он накажет меня болезнью, а если этого не случится, то я до конца исполню намерение свое.

— Помоги тебе, Господи, молодой подвижник! — сказал мне о. эконом, — только ты уж очень высоко о себе думаешь.

На этом разговор наш о цели моего путешествия и окончился.

Доехав до того места, где с дороги на Рязань сворачивают к монастырской мельнице, я распрощался с о. экономом и пошел по шоссе на Рязань.

Подойдя к рязанскому лесу, я почувствовал себя дурно, сел под кустиком и заснул. Проснулся я, когда солнце уже давно закатилось. Идти дальше я оказался уже не в силах — так

меня скрутила внезапная болезнь. Собрав последние силы, я с трудом прополз подальше от дороги в кусты и там заснул крепким сном. Проснулся я на другой день рано утром и не только не мог продолжать далее своего путешествия, но почувствовал себя настолько больным и слабым, что не в силах был отогнать от себя мух, которые целыми роями кружились и садились на меня. Был август месяц. Жара стояла невыносимая. Мне уже почудилось как бы реяние смерти надо мной. Я испугался и зарыдал.

«Господи! — подумал я, — умру я здесь; съедят мое тело черви, и кто тогда будет хлопотать о моей сестре? Живет она хоть и при монастыре, да не на месте: не в мужском же ей жить монастыре, а надо в женский пристроить. Что мне делать теперь?»

И со слезной горячей молитвой обратился я к Господу Богу, прося выздоровления, и обещался немедленно возвратиться в монастырь. И была услышана моя молитва: совершилось чудо — я сразу почувствовал себя здоровым.

«О глубина богатства премудрости и разума Божия! Яко неиспытаны судьбы Его и неисследованы путие Его!»

Кто уразумеет милости Господни, совершающиеся над нами не по нашим заслугам, а только лишь по неизреченной благости Его?!

На обратном пути в Киев я зашел в Троицкий монастырь, что в трех верстах от Тулы. Там я инокам стал раздавать, кланяясь всем в ноги, оставшиеся у меня крестики и иконочки, прося у каждого его святых молитв. В обители

меня сочли за юродивого и оказали всякую любовь и почтение, а о. архимандрит, настоятель монастыря, распорядился даже в трапезу меня поместить с особым почетом. Туда мне монахи стали носить ежедневно и просфоры, и жареные грибы, и всякую снедь, чтобы оказать мне свою любовь и усердие, как к мужу святу и богоугодну. По-видимому, и о. архимандрит весьма мною заинтересовался. Подозвал он однажды меня к себе и стал расспрашивать, откуда и кто я и куда путь держу. Я все ему рассказал. Тогда он предложил мне остаться у него келейником. Поначалу я наотрез отказался, устремляясь всей душой к прежнему своему старцу о. Ионе, но когда от о. архимандрита вернулся к себе в трапезную, взяло меня раздумье и все на той же мысли о необеспеченности сестры моей и о том, как помочь ей устроиться. И опять взмолился я ко Господу, прося Его указать мне путь мой. Взял я тут же, в трапезной, лежащую на аналое книгу жития святых, по которой совершается чтение во время братской трапезы, и порешил, что первым откроется, то и будет мне изъявлением воли Божией. И что же? Открылось житие и подвиги св. Феодора, столпника Едесского, память которого совершается 9 июля. И в житии том я прочел нижеследующий ответ святого на вопрос святителя Феодора, епископа Едесского, о том, что заставило его взойти на столп и столько лет подвизаться на нем.

«С міром, — ответил он, — мы расстались вместе со старшим братом моим. Сначала три

года мы провели в монастыре, а затем ушли в пустынь и, нашедши здесь пещеры, поселились в них каждый в отдельной пещере. Время мы проводили в молитве и безмолвии, только в воскресные дни сходились вместе. Такая жизнь для меня в пустыни, однако, продолжалась недолго. Раз, когда мы оба вышли из пещер для собирания злаков и корней в пищу и были в недалеком расстоянии друг от друга, я вдруг заметил, что брат мой внезапно остановился на одном месте, как будто чего-то испугавшись, а потом стремглав побежал в свою пещеру. Недоумевая, что бы это значило, я пошел к тому месту, чтобы посмотреть, что же там такое, и что же? Вижу громадное количество рассыпанного золота. Недолго думая я снял с себя мантию и в нее собрал найденное сокровище, с трудом принесши его в свою пещеру. Не сказавши брату ни слова, я немедленно ушел с найденным сокровищем в город, где купил большой дом и устроил в нем странноприимницу и больницу и при этом устроил монастырь на сорок человек братии. Поставив для братии игумена и вручив им на нужды тысячу златниц, а другую тысячу раздав бедным, я снова оставил мір и возвратился в пустыню к брату своему. На пути я начал высокомудрствовать и осуждать брата за то, что он не захотел сделать добра из найденного им прежде сокровища; а когда же стал подходить к братней пещере, то помыслы высокоумия и осуждения совершенно завладели мной. Вдруг является Ангел Божий и говорит: «Все сделанное тобою добро не стоит и одного братнего скачка, и он

выше и достойнее тебя пред Богом. Ты даже недостоин и видеть его и не увидишь его до тех пор, пока не загладишь своего греха покаянием и молитвой». После сего Ангел стал невидим, и я пошел в братнюю пещеру, но, к ужасу моему, не мог видеть брата и так много пролил слез, что совершенно изнемог. Наконец Господь сжалился надо мною и указал мне место спасения, на котором я нахожусь уже 49 лет и на котором ты видишь меня. Ангел возвестил мне полное прощение и обещал, что я увижусь с братом в обителях небесных.

Прочитав это в житии святых, я понял, что все мои предприятия не что иное, как одна мечта. Поэтому, раздав все оставшиеся у меня иконочки и книжечки на молитвенную память инокам того монастыря, я немедленно отправился обратно в Киев.

Глава XII

Новое искушение. Видение во сне Божией Матери.

Вернулся я в Киев, в Свято-Троицкий монастырь, под руководство великого старца о. Ионы и, казалось бы, после всего пережитого и переиспытанного должен был бы успокоиться — но нет: искусительный помысл об оставлении предуказанного мне места спасения все еще не оставлял меня, продолжал тревожить мою душу и увлекать ее за ограду на страну далече. «О сестре, — думалось мне, — правда не следует прилагать заботы — ее Господь пропитает и

управит к вечному спасению, — но о своей душе я должен пещись и подыскивать ей место, где бы ей всего удобнее было управить себя в Царство Небесное. Что выше для этого и удобнее может быть прославленного царства иноков, Святой Горы Афонской, этого великого жребия на земле Самой Царицы Небесной?» И душа моя, непрестанно волнуемая этим помыслом, неудержимо устремлялась к этому земному монашескому раю...

Прошло уже 4 года со дня моего водворения в Свято-Троицком монастыре. Наш монастырь посетил один Афонский схимник, оказавшийся моим земляком по Воронежской губернии. Узнав о моем стремлении быть на Афоне, он предложил мне отправиться туда с ним вместе, обещаясь провести меня туда без заграничного паспорта. Жаль мне было оставлять сироту-сестру, жаль было оскорбить и старца моего о. Иону, но стремление уйти на Афон было столь сильно, что никакие препятствия были уже не в силах побороть его. Но прежде чем принять окончательное и бесповоротное решение, я пошел со схимником помолиться в Киево-Печерскую Лавру с тем, чтобы на следующий день, если Богу угодно, пораньше утром бежать из своей обители навсегда.

Тяжело и скорбно было у меня на душе, когда я вернулся из Лавры, слезы ручьями текли из глаз. Почти всю ночь проплакал я, с горькими слезами прося Матерь Божию разрешить мое недоумение: бежать мне на Афон или же оставаться в Троицком монастыре?

В этой мучительной борьбе я заснул. Во сне увидел я себя молящимся в Троицком монастыре пред чудотворной иконой, именуемой «Троеручица». И вот, когда я молился, послышался вдруг большой шум в левой стороне храма. Я оглянулся и увидел Матерь Божию, приближающуюся ко мне в архиерейской мантии, с венцом на главе, с архиерейским жезлом в руке. Окружена была Царица Небесная бесчисленным множеством святых дев неописанной красоты. Все они были облечены в монашеское одеяние. Приблизившись ко мне, Пресвятая Дева грозно ударила жезлом о помост и сказала:

— Что ты так дерзко призываешь Меня?

Я припал к Ее пречистым стопам, облобызал Ее десницу и сказал:

— Матушка, Царица Небесная, ищу Старца!

Пресвятая Владычица рекла:

— Мой Сын приемлет тебя в ученики. И се — отрок, который и доведет тебя до Него.

Сказавши это, Матерь Божия поставила передо мной некоего отрока, и мы с ним, приняв Ее благословение, отправились в путь. Пришли мы к Днепру и переправились через него, как по суше. Сначала мы шли по глубокому и зыбкому песку. И был крайне утомителен и тяжел путь тот. Затем песку начало становиться все меньше и меньше, стала появляться растительность; и чем дальше мы шли, тем гуще становилась растительность. Наконец вступили в такое место, что красоты его и описать невозможно. Воздух того места был напоен неизреченным благоуханием от несметного мно-

жества цветов невиданной красоты и разнообразия. Хор бесчисленных птиц умилял душу неизглаголанным умилением; и пение их было так прекрасно, что никаким земным подобием его и изобразить невозможно. На месте том раскинулся прекраснейший луг, и так был он чудно прекрасен, что по нем ступать боялась нога моя. И вот, подошли мы наконец к некоему дивному в красоте своей чертогу. И сказал мне мой спутник:

— В чертоге этом обитает Сын Пресвятой Девы, что послала нас сюда. Его нет здесь: Он отошел на некоторое время и приидет паки судить живых и мертвых. Если ты хочешь быть Его учеником, то вот Его заповедь...

И он указал мне перстом на столб. На столбу же было надписание:

«От Марка глава 10, стих 43–45».

На этом я проснулся. Трепет, ужас и радость объяли душу мою по пробуждении. Я перекрестился, взял в руки Святое Евангелие, нашел в нем указанное место и прочел:

Иже аще хощет вящий быти, да будет всем слуга, и иже аще хощет в вас старей быти, да будет вам раб. Ибо и Сын Человеческий не прииде, да послужат Ему, но послужити и дати душу Свою за други своя.

И долго сидел я в раздумьи, размышляя в сердце своем, что означает собой и видение это, и эти Евангельские слова применительно к моему положению, и пришел наконец к тому убеждению, что все мои советования с Афонским схимником и его увещания не иное что,

как козни диавола, стремившегося совратить меня с пути Божия.

С того времени я стал избегать встреч и бесед с этим Афонским выходцем, несмотря на все его старания видеть меня и говорить со мною. Так и уехал он, не успев сманить меня из обители старца Ионы.

Год спустя, как дошло до слуха моего, схимник этот попался в чем-то уголовном, был судим и посажен в тюрьму.

После этого искушения я твердо решил остаться в Троицком монастыре и не покидать его самовольно.

«Даже если и выгонят меня из него, — говорил я себе, — и тогда не отойду от него, а лягу и буду умирать под его оградой».

Глава XIII

Начало построения в Киеве Введенского женского монастыря. Явная помощь Божией Матери в устроении сестры и моей участи. Козни диавола.

Вскоре после этого заботами Петербургского митрополита Исидора начала строиться в Киеве Введенская женская обитель. Строительницей этого монастыря им назначена была монахиня Казанского монастыря Тверской епархии Исидора. Как строительница, она часто ездила к старцу Ионе за советами. К ней, улучив удобный случай, я и обратился, прося ее принять мою сестру в свою обитель. С благословения старца Ионы она не только определила ее

в свой монастырь, но и приблизила к себе, взяв в свои келейницы. Великая то была мне радость, и в ней я усмотрел явную помощь Царицы Небесной, к Которой я неустанно обращался с молитвой о сестре.

Сестра, таким образом, была устроена, и я счел себя вправе думать, что с ее определением в монастырь порвалась последняя моя связь с міром. Но не тут-то было. Прошло три года, и из Алексеевского волостного правления поступило ко мне требование уплатить недоимку за землю, оставшуюся после смерти отца. Я обратился к казначею, прося его помочь мне. Казначей отказал, ссылаясь на устав монашеского общежития. После этого мне ничего более не оставалось делать, как возвратиться на родину и там, на месте, изыскать средства для уплаты недоимки и уже тогда окончательно расстаться с міром, взяв увольнительное свидетельство из общества для поступления в монастырь.

И вот тут вновь оказалась явная помощь Царицы Небесной, Скорой Помощницы всем, с верою к Ней притекающим.

Оставив обитель, я с горькими слезами пошел в Киево-Печерскую Лавру. Забрался я там на хоры в Великой церкви и беспомощно опустился на колени пред иконой Божией Матери, моля Ее о помощи в моей горькой сиротской доле. Слезы катились из глаз моих градом. Из глубины моего скорбящего сердца взывал я: «Мати Божия! Я служу Тебе: дай Ты мне руку помощи». И чудесная помощь не замедлила: вняла Царица Небесная горячей молитве. Сошел

я с хор, вышел из храма; смотрю, идет мне навстречу какая-то неизвестная мне госпожа. Увидала она меня, остановила и спрашивает:

— Куда ты идешь?

Я объявил, что иду из монастыря на родину за увольнением из общества.

— Ты, — говорит, — его не получишь. Тебя обскубут там, как гусочку. Пойдем со мной!

И она повела меня за собой в лаврскую гостиницу, в свой номер. Там она обо всем подробно меня расспросила и взяла мой паспорт. Паспорт оказался просроченным. Тут же она застраховала паспорт для пересылки по почте в 25 рублей, приложила к нему 15 рублей недоимки и написала в Алексеевское волостное правление требование о немедленной высылке увольнительного свидетельства. Позвала она к себе полицейского чиновника, велела ему выдать годовую отсрочку на паспорт и отправить пакет в волостное правление. Госпожа эта оказалась весьма важной и влиятельной особой: она была начальницей Красного Креста, вдовой убитого в Севастополе генерала. Звали ее Анна Никитична Степанова. Происходило же все это в 1878 году.

Отпуская меня, благодетельница моя наградила меня фунтом чая, 10 фунтами сахару и дала еще 10 рублей денег. Мало того, сама проводила меня за ворота Лавры.

И не знал я от радости, во сне ли или наяву все это происходило. И как же, от всей полноты своей душевной, возблагодарил я тогда Царицу Небесную!

Когда я вернулся в свой монастырь и объяснил все со мной бывшее старцу о. Ионе, то он немало подивился и в благодарность за оказанную мне помощь послал со мной Анне Никитичне две просфоры. Анна Никитична была этим присылом очень обрадована. В разговоре со мной она спросила:

— А дают ли тебе молока?

Я ответил, что не дают, так как в обители коров очень мало. Тогда она своей прислуге велела мне носить еженедельно по ведру молока (у нее на черном дворе у коменданта крепости была своя корова). Но недолго пришлось мне пользоваться этой милостью. Братья стали подозревать меня в чем-то недобром, видя, что ко мне каждую неделю ходит женщина и носит молоко. Пошел я к Анне Никитичне и просил ее не приносить больше молока.

— Тогда возьми, — сказала она, — в монастырь к себе корову, а я напишу Старцу, чтобы он приказал тебе давать молока.

И отослала в монастырь корову.

Вскоре было получено из волостного правления мне увольнительное свидетельство, и 18 декабря 1879 года я был приукажен как действительный послушник Свято-Троицкого Киевского общежительного монастыря и поставлен рухольным*.

Вскоре моя односельчанка, старуха крестьянка Парасковья Евфимиевна Рубинштейн,

* Заведующим рухольною. Рухольной зовется мастерская и склад всякой монашеской одежды, начиная с белья и кончая обувью.

оставшись после смерти всех близких совершенно одинокой, распродала все свое имущество (более чем на 2 тысячи рублей), купила себе келью в Писарском Воронежской епархии женском монастыре, внесла за себя вклад, а оставшиеся 700 рублей отдала мне для обеспечения сестры моей Пелагии. Деньги эти в государственной ренте я передал за сестру ее игумении Евфалии на хранение.

Не прошло и полгода, как явилась ко мне с родины еще одна моя землячка, Варвара Михайловна Шестакова. Она внесла мне на то же дело обеспечения моей сестры 300 рублей.

Перед своей смертью первоначальница Введенского женского монастыря, игумения Исидора, у которой сестра моя была келейницей, подарила мне 200 рублей да сестре 300 рублей, при кончине же своей еще добавила сестре 200 рублей за ее честное и усердное исполнение послушания.

Еще одна помещица София Николаевна Кислинская, любившая и уважавшая нас с сестрой, оставила нам, умирая, через душеприказчицу свою Леонову по 300 рублей каждому.

Еще одна петербургская благотворительница Анна Николаевна Касаткина, неожиданно со мной познакомившаяся, вручила мне для обеспечения сестры 500 рублей. И многие иные благотворители и благочестивые люди, питая ко мне любовь и уважение, давали мне для той же цели обеспечения сестры деньги, так что я без всяких забот и мирских хлопот, помощью

Божиею и добрых людей, смог устроить будущее моей сестры как нельзя лучше.

Часто вспоминал я — да и теперь вспоминаю — своевольный выход свой из монастыря, чтобы торговлей книжечками, крестиками и образками накопить денег для обеспечения сестры, вспоминаю и дивлюсь безграничному милосердию Божию, во благо управляющему стопы наши на пути служения Ему в преподобии и истине. Будь ты только верным служителем Его, ищи прежде всего Царствия Божия и правды Его, и все остальное приложится к тебе мерой доброй, утрясенной, переполненной...

Пока сыпалась на меня и на сестру вся эта благостыня милости Божией, не дремал и исконный враг и душитель рода человеческого. Некоторые из братий Троицкого монастыря, узнав, что у меня есть деньги и что они хранятся у игумении Евфалии, стали подозревать меня в том, что я нечисто веду дела в рухольной. Доказать свою невиновность мне не составило особого труда, так как все закупки по рухольной я производил не один, а или с казначеем монастыря, или с кем-либо из доверенных иеромонахов, да к тому же на каждый истраченный рубль я в любое время мог представить оправдательные документы в виде оплаченных счетов от продавцов; но, тем не менее, скрытая, глухая зависть и злоба вражии не угасали и не давали мне покою. Мало-помалу дело дошло до того, что я, расстроившись, хотел было уйти от искушения в Киево-Печер-

скую Лавру. Там на ту пору экклесиархом был мой земляк, архимандрит о. Валентин, и он меня звал к себе в Лавру. Но об этом узнал старец о. Иона и стал меня уговаривать не обращать на клевету и досаждения никакого внимания. Не желая оскорбить Старца, я остался, и таким образом были разрушены все козни диавола, устремленные на то, чтобы вывести меня вон из обители, в которой я дал обет пребывать до смерти...

И вот, вскоре после этого испытания проснулся я ночью в полночь и слышу, как под окном моей кельи пляшут два беса и в такт своему танцу припевают свои диавольские напевы. Один из них был как запевало и тонким женским голосом выводил:

— Тю-рю-рю, фить-фить-фить, тю-рю-рю!

Плясали они так немалое время и потом прокричали мне в окошко:

— Наведем на тебя искушение: и не только от отцов, но и от монастыря откажешься! Палестинский патриарх не такой, как ты, да и тот с нами песни поет, а с тобой-то мы легко управимся. Вот скоро наш!

Я испугался, стал креститься и класть земные поклоны. Поклонов до 500 положил я тогда. После этого бесы стали удаляться и наконец, гонимые молитвою и призыванием имени Божия, совсем исчезли.

Это было в 1885 году.

Четыре года спустя я был пострижен в монашество с именем Мануила.

Глава XIV

Страшное видение после пострига. Клевета и наказание клятвопреступника. Дивное видение.

В первые дни моего монашества мне было страшное видение, показавшее тайные козни диавола и послужившее мне предостережением на случай нападения на меня этого исконного клеветника и человекоубийцы.

По уставу Киево-Троицкого монастыря, новопостриженные иноки должны в первые пять дней после пострига пребывать неисходно в храме Божием. Поэтому и мне после пострига моего надлежало провести указанное время в храме. В ночь на пятый день я заснул нелегким, тревожным сном, и вдруг глазам моим представилось следующее страшное видение.

Чистое поле. На этом поле толпа бесов в образе эфиопов зажигает подземный пламень. Тут же толпа некиих белоризцев прилагает усилия, чтобы потушить этот пламень. Среди этих белоризцев я вижу и себя: помогаю и я им в этом деле. Победа остается на стороне белоризцев.

После этого все исчезло, и я остался один среди чистого поля. Вокруг меня необозримое пространство... Я пытался разыскивать свою обитель. Подхожу к какому-то громадному зданию и знаю, что мне через него надо пройти. Вхожу в него и вижу, что дно полно уродливых, отвратительно-зверообразного вида бесов. Бесы, по-видимому, о чем-то страшно скорбели... У меня не было никакого страха, и смотрел я

на них только с любопытством, не испытывая ни смущения, ни боязни... Вдруг вдалеке показался яркий свет адского пламени. Шел сам князь бесовский в сопровождении полчищ бесовских. Вид его был ужасен и подобен льву, ищущему кого поглотити. На голове его был венец, из-под которого торчали три рога, а сзади был длинный хвост... Подойдя к скорбевшим бесам, он грозно спросил их:

— Почему вы, друзья мои, так унываете?

Бесы встали перед ним навытяжку, по-военному, и ответили:

— Как же не унывать нам, наш повелитель, когда о. Иона столько народу постригает в монахи?*

На это сатана ответил им:

— Ах, какие вы малодушные! Монахов боитесь! Постараемся же, друзья, показать им міp: все тогда наши будут... Этих ли нам монахов бояться?

И при этом пальцем показал на меня. Все бесы при этих словах повалились ему в ноги, как гром, а я в ужасе проснулся.

Предупрежденный этим видением, я усугубил свою осторожность, но не дремал и диавол. Вскоре меня по рухольному послушанию вновь оклеветали в расхищении вверенного мне монастырского имущества. Нашелся среди клеветников один брат, который ложное свое на меня показание подкрепил даже целованием Св. Креста и Евангелия; но этого клятвопреступника Господь вскоре покарал жестоко: терзаемый

* В то время постригалось 26 человек. В их числе был и я.

угрызениями совести, он заболел и через шесть недель умер. Тем не менее, после этого состояние моей души было мучительно тяжелое; я даже говорить не был в состоянии, и вся моя надежда была только на Правосудного Бога и Его Пречистую Матерь: от Них одних я только и ждал избавления от напасти и оправдания.

В таком-то горестном состоянии, возвратясь однажды вечером с послушания в свою келью, я заснул с чувством великой скорби. И представилось мне, что будто бы я уже умер. Душа моя, расставшись с телом, имела вид малого ребенка. Я смотрел на лежащее передо мной мертвое мое тело и так рассуждал сам с собою:

— А где же те Ангелы, где же демоны, которые, как говорится в Слове Божием и в Священном предании, являются при разлучении души с телом?

В то же время я обернулся лицом по направлению к Киеву и увидел, что весь город как бы озарился адским пламенем, а с неба, как сливы с дерева, когда его трясут, падали звезды. Весь народ стонал и кричал неистовым голосом.

Невозможно описать, какой ужас испытывала тогда душа моя при этом страшном зрелище!

И вдруг явились два Ангела. Одеты они были в светлые диаконские одежды, опоясанные крестообразно орарем; в руках у них были хоругви с двумя наконечниками, как это обычно пишется на иконах Воскресения Христова. От кроткого и лучезарного взора их мучительное

состояние моей души мгновенно перешло в неизреченную радость.

— Куда же мы определим его? — спросил один из них, указывая на меня.

— Ты его блюститель, — сказал другой, — ты и должен позаботиться о нем.

— Что ж, — продолжал первый, — нужно его окрылатить.

И вдруг при этих словах у меня, как у птицы, выросли на спине крылья. Ангелы сказали мне лететь на восток, чтобы поспеть к ранней обедне, и показали мне дорогу. Дорога шла среди глубочайшего мрака и представляла собою как бы луч солнечного света шириной аршина в полтора, пробивающийся в скважину темного места.

На этой дороге я встретил свою сестру. Сестра была без крыльев. Я схватил ее и стал тащить, хватая то за руки, то за волосы. С обеих сторон дороги клубились адские огни и слышны были неумолкаемые человеческие стоны и вопли... Наконец мы вместе с сестрой прилетели в неведомую прекрасную обитель. Сестру приняли внизу, а мне свет указывал лететь выше, как бы на второй этаж. И здесь я увидел дивное зрелище.

Предо мной — беспредельное поле, и поле это было сплошь покрыто как бы полками святых угодников Божиих. Полк святителей стоял отдельно; тут же, отдельно, стояли полки преподобных, мучеников, хоры Ангелов: и все они воспевали величие и славу Творца Небесного. Увидел я тут вдали и себя в том же образе

ребенка. Группа иноков, среди которых я не усмотрел никого из своих, приняла меня на руки, как младенца, и я услышал невыразимо сладкое пение: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф! Исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних!..» И я чувствовал и сознавал, что недостоин этой славы, и скорбел, что так плохо жил на земле с братией и не любил их так, как здесь любят... И услышал хор Ангельский, и пел он на лаврский напев: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. Аллилуия, аллилуия, аллилуия». Пения того ни изобразить, ни даже представить себе невозможно: нет слов на языке человеческом, нет подобия, которому бы уподобить было можно это сладкое пение. От пения того сердце мое бысть аки воск таяй, и сам я точно растаял, как бы превратился в некую жидкость не чувственную, а духовную, умную, коей я и пролился с неба на землю. Проливаясь или летя на землю (изъяснить сего состояния человеческим языком невозможно), я сохранял, однако, в себе свои человеческие чувства и сознавал, что возвращаюсь с неба на землю.

Когда очнулся я от этого видения, то в течение нескольких часов не мог прийти в себя от изумления, быв вне себя от пережитого и перечувствованного, и не знал, где я нахожусь — на небе ли или на земле. Стал я ощупывать себе лицо, руки, ноги — все тело свое: я ли это или не я? сон ли это или явь? Объяснить того состояния, в котором я тогда находился, совершенно невозможно... Наконец я ощупал

стенку кельи и, ползком наощупь добравшись до двери, выбрался на двор. Была прекрасная ясная светлая звездная ночь. Я с горьким плачем присел на лавку и только тут понял, что мне было видение, а не простой сон. На душе у меня стало так тихо и мирно, что сердце мое было готово принять все страдания и муки с полной покорностью воле Творца моего и Бога, посетившего скорби души моей Своею милостью. Тут постиг я самим опытом, что значит озарение души благодатью Божией, коею Христовы апостолы, мученики, исповедники и все святые победили мір подножию Креста Господня, ни во что вменяя все страдания свои и муки.

Две недели после этого видения я находился как бы вне міра сего и даже вне себя. Все видимое и окружающее меня было как прах или пепел. Идет братия в трапезную, а я стараюсь незаметно забраться или в кусты, куда-нибудь подальше, или в темный коридор и сижу там неподвижно, углубившись в себя, пока не хватятся меня и не отыщут.

«Ах, если бы ты знал, — сказывал так однажды преподобный Серафим Саровский некоему иноку, — какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то ты бы решился во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. Если бы самая эта келлия наша (при этом он показал на свою келью) была полна червей и если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь, то со всяким желанием надобно бы на это согласиться, чтобы только не

лишиться той небесной радости, какую уготовал Бог любящим Его. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания; там сладость и радость неизглаголанные; там праведники просветятся как солнце. Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам св. апостол Павел (2 Кор. 12, 4), то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горняго явления, в котором водворятся души праведных»*.

*Блажени есте, егда поносят вам и ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех***.

О, если бы Господь не лишил и меня, грешного, сей великой небесной награды, предвкушение которой дано было мне испытать во дни великой моей скорби от клеветы человеческой!

Глава XV

Скорби по послушанию. Ропот и осуждение. Знаменательное, вразумляющее сновидение. Усиление скорбей. Отказ от послушания. Грозное видение. Прозорливость старца о. Ионы. Значение и сила послушания. Назначение на приход. Видение во сне митрополита Феогноста и виноградной лозы. Толкование сновидения. Перевод в Церковщину.

После этого дивного видения я долго с любовью к Богу переносил всякие находящие на меня обиды и неприятности.

---

* [*Архимандрит Серафим (Чичагов)*.] Летопись Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Изд. 2-е. СПб., 1903. С. 362.

** Мф. 5, 11–12.

11 октября 1887 года я был рукоположен во иеродиакона.

Оставаясь на послушании заведующего рухольной, я продолжал нести тяжкое иго гонений, скорбей и всяческой напраслины. Хлопот было много, а неприятностей и того больше. Дело было в том, что наш настоятель, великий старец о. Иона, нося сам старческую, плохонькую одежду, ходя и зиму и лето в валяных сапогах, требовал той же скромности и от братии, и потому в рухольной запасов, особенно одежды, не делалось; братия же с этим не мирилась, и от меня, как от рухольного, требовали одежды приличной, которою удовлетворить всех я не мог. Отсюда и все мои скорби, ибо меня многие обвиняли во всем, не желая подчиниться духу простоты и смирения, которыми столь изобиловал дивный наш настоятель. Чтобы избавиться от нареканий и обвинений, я неоднократно отказывался от своей должности, но старец о. Иона и слушать меня не хотел. Доходил я иногда, бывало, до того, что с себя самого снимал последнюю одежду, чтобы сколько-нибудь удовлетворить нуждающихся, но это было каплей в море, и я тогда начал роптать и осуждать своего Старца, забывая все величие и святость своего наставника, отца и благодетеля.

И вот заснул я однажды и во сне увидел лежащего на земле нагого человека. Подойдя к нему, я снял с себя одежду и прикрыл его наготу. Тут подошли ко мне какие-то двое, ставшие около него и, видимо, власть имеющие; подошли они ко мне и сказали:

— Так как ты живешь старым языком, то ты наш пленник.

Связали они мне руки, повели по какому-то незнакомому пути. На пути пришлось нам переходить через балку. По правой стороне ее шло пять прекрасных дев. Эти девы остановили ведущих меня и спросили:

— Куда вы его ведете?

Те ответили:

— Он наш пленник, так как живет старым языком.

Тогда старшая из дев сказала:

— Еще жив Господь Бог: мы не допустим его до обиды и берем его на поруки.

Затем, обратившись ко мне, она сказала:

— Если ты обещаешься жить новым языком, то мы тебя отпустим.

Я понял, что это означает не осуждать ближних и творить Иисусову молитву, и обещал жить «новым языком». Тогда говорившая со мной дева, развязав мне руки, взяла меня за них и довела до некоего чудного места, огороженного оградой, в которой были только одни ворота. Когда мы дошли до этих ворот, то они сами собой раскрылись и глазам моим представился чудесный сад, в котором росли прекрасные цветы и деревья. От них исходил такой аромат, что от чрезмерного благоухания, казалось, даже и дышать было трудно. В саду этом я увидал души праведников в бе[лых ризах] [...] [Зрелище]* было до того поразительное, и так

* В квадратные скобки здесь и далее взято предположительное прочтение утраченного текста. — *Сост.*

было прекрасно место это, что я боялся даже ступать по земле дивного этого сада. И услышал я голос:

— Это селение, в котором говорят на новом языке.

На этом я проснулся и, проснувшись, решил, что это мне вразумление, чтобы я не осуждал Старца, не смел роптать и занялся бы изучением великого умного делания молитвы Иисусовой. На сем я и успокоился.

Так прожил я год.

Ежедневные недоразумения по делу заведования рухольной довели все-таки в конце концов меня до того, что я окончательно решил отказаться от заведования ей. Решив так, я взял ключи, принес их к Старцу и заявил ему, что отказываюсь заведовать рухольной. О. Иона сначала пытался меня уговаривать добром, успокаивая меня, а затем, видя, что уговоры не действуют, строго объявил мне, что бросить послушание мне не позволит и что для меня лучше будет, если я возьму ключи обратно. Но я снова наотрез отказался и вышел из кельи Старца, бросив ключи от рухольной у него на столе и сказав при этом:

— Лучше из монастыря уйду, нежели приму ключи.

Прошла неделя, прошла другая, а оставленные мною ключи как лежали на столе у Старца, так и продолжали лежать, пока не созвали собора и на нем не постановили возвратить ключи мне же, оставив меня на том же послушании в рухольной. Вызвали меня на со-

бор и объявили мне его решение. Я схватил шапку и со словами:

— Господь с вами и с вашими ключами, — убежал и заперся в своей келье.

От сильного волнения я прилег и не заметил, как уснул. И увидел я во сне дивное и знаменательное для меня видение.

Вижу я рай Божий, обнесенный высокой оградой с воротами неописанной красоты. У райских врат сидела Матерь Божия, одетая во власяное рубище. Я хотел было пройти в райский сад, минуя Ее, но врата были закрыты; пошел искать других, но не нашел. Тогда стоявшие у врат стражи сказали мне, указывая на Божию Матерь:

— Что ты врат ищешь, а Вратарницы не спросишь?

Тогда я пал ниц перед Нею, стал целовать пречистые Ея ноги и говорю Ей:

— Матушка, Царица Небесная, пусти меня в рай.

[...] [Предо мною предстала] отвратительно обезображенная и необыкновенно уродливая женщина: нос ее отгнил, все конечности отгнили, и от нее несся отвратительный смрад.

Пречистая указала мне на эту женщину, велела ее поцеловать и при этом сказала:

— Поцелуй эту женщину — тогда пущу в рай!

Ослушаться я не посмел и, прикоснувшись осторожно и брезгливо к носу женщины, поцеловал ее. Тогда Матерь Божия сказала женщине:

— Покажи ему дела человеческие.

И страшная эта женщина своими руками разодрала прямо против сердца утробу свою, и я с ужасом увидел там бесчисленное множество разнообразнейших и отвратительнейших гадов, которые там копошились, извивались и ползали, смешиваясь друг с другом, как каша.

Святая Вратарница рекла женщине:

— Набери и дай их ему в припол (то есть в одежду).

Та набрала гадов обеими руками и подала мне. И что же это было за ужасное зрелище! Гады извивались, высовывали жала, тянулись ко мне своими отвратительными, злобными головами... Я оцепенел от ужаса...

— Бери, бери еще, — услышал я голос Царицы Небесной, — иначе не попадешь в рай!

Я взял вторично и проснулся.

Поразительно было это сновидение, и я в нем ясно усмотрел волю Царицы Небесной, чтобы я продолжал нести свое послушание, несмотря на все чинимые мне скорби, клеветы и нарекания, и что если я буду ослушником Ее велению, то не спасусь и рая не удостоюсь. Сон этот произвел на меня глубочайшее впечатление, означая под гадами монастырскую братию, досаждавшую мне всевозможными клеветами.

Наутро меня позвали в келью о. Ионы, где уже были собраны соборные старцы. Отец Иона, обратясь ко мне, погрозил на меня пальцем и сказал:

— Матери Божией угодно, чтобы ты был рухольным, а иначе ты, батюшка, не попадешь в рай!

Я горько заплакал и, пораженный прозорливостью Старца, покорно принял от него ключи, поклонился ему и всем присутствующим и, ни слова не говоря, вышел.

Прошел я в свою келью, забрался на чердак, положил несколько поклонов, прося помощи и заступничества Царицы Небесной, и принялся вновь за свое послушание, почувствовав себя сильно укрепленным в духе против наветов вражеских и клеветы человеческой.

Таковы значение и сила послушания.

Вскоре после этого, 30 марта 1897 года я был возведен в сан иеромонаха.

Год спустя, как бы в новое подтверждение значения и силы послушания, я имел следующее видение.

Вижу я, стоит старец о. Иона на высокой горе; вершина этой горы упирается в облачное небо. Лицо Старца было светло и сияло подобно солнцу. Возле Старца стояла некая величественная Жена, одетая в монашеское одеяние. И был я как бы без чувств от этого видения. Придя в себя, я спросил:

— Это ты, батюшка?

Старец ответил:

— Да, это я.

— А кто же, — спрашиваю, — возле тебя стоит?

— Это, — отвечает, — пришла из Палестины Госпожа и за всех вас требует от меня отчета. Есть ли у тебя, чем заплатить за себя?

Я ответил, что денег у меня нет.

— Я знаю, — сказал на это Старец, — что у тебя денег нет, а мне все-таки нужно за вас всех расплатиться. А можешь ли оправдать себя послушанием?

Я ответил:

— Не знаю.

— Ну, я тебя испытаю, — сказал Старец.

На эти слова мои Старец сбросил мне с горы толстое треугольное стекло по подобию того треугольника, который пишется на иконах Бога Отца.

— Поди, — сказал мне Старец, — и принеси это стекло.

Я пошел за ним, поднял его и понес к Старцу, держа обеими руками. Страшный ветер не давал мне ходу. И я нес стекло с большим трудом, становясь к ветру и боком, и задом, и наконец с большими усилиями донес его все-таки до Старца. А о. Иона и та Госпожа стояли все время на горе и смотрели на мои труды. И когда я принес стекло, то старец Иона сказал:

— Ну, слава Богу, что ты послушанием оправдал себя.

Тем видение и кончилось. Я понял его как новое подтверждение мне значения и силы послушания, помогшего мне оправдать себя пред Старцем и Госпожою, в которой я предположил Царицу Небесную, и соблюсти в чистоте (подобно чистому стеклу) веру мою Православную в Триипостасного Бога (треугольник).

Вскоре после этого видения я за послушание был послан для исполнения Богослужения

и треб в приход в село Шибеное взамен больного приходского священника. Это меня вначале очень порадовало, так как освобождало от обязанностей рухольного, которые я с таким трудом и скорбями нес в течение 20 лет. Но радость моя вскоре превратилась в печаль, так как приход оказался сильно запущенным, а я в исправлении мирских треб как монах был совершенно несведущ.

Не успел я приехать в с. Шибеное, где я остановился в доме священника, как ко мне явились сельчане и заявили, что у них на кладбище похоронено 20 человек без священника и что нужно отпеть и отслужить панихиду. Затем сразу принесли крестить 9 младенцев. С совершением Таинства Св. Крещения я как монах не был знаком. Затем псаломщик заявил мне, что на субботу и воскресенье у меня будет до 300 исповедников, так как приход с. Шибеного оказался довольно большим. Тут же и крестьяне стали просить пройти по приходу с молитвой, так как их пастырь уже 4 года не ходил с молитвой по домам своих прихожан. Одно время я даже растерялся было от наплыва стольких многоразличных обязанностей, но затем с Божией помощью стал справляться с делом. Невзирая ни на какую погоду, на дождь, грязь и холод, я стал ходить по приходу, но кончил тем, что жестоко простудился, и, прослужив с великим трудом семь месяцев, подал прошение об увольнении меня с прихода и о возвращении обратно в свой монастырь. Вернувшись домой в монастырь, должен был подвергнуться

операции, так как на левой ноге у меня от расширения вен образовались большие раны. После благополучно перенесенной операции, я был вторично послан на приход в село Шупики Киевской губернии, Каневского уезда, где пробыл четыре месяца.

Это было на 51-м году моей жизни, в 1900 году. Отмечаю это событие потому, что в это время совершился великий перелом в моей жизни, вызвавший меня волей Божией на новый путь служения Богу и Его Святой Церкви.

Незадолго до отъезда моего из села Шупиков явился мне во сне митрополит Киевский Феогност, еще находившийся в то время в живых. Около митрополита стоял некий светоносный муж, в руках своих он держал прекрасную виноградную лозу, покрытую, однако, тонким слоем льда, как то бывает иногда во время гололедицы. На лозе местами видны были почки. Митрополит пел какие-то духовные стихи, касающиеся меня, но я не мог запомнить ни одного стишка. Затем он велел тому светоносному мужу отрезать от лозы ветвь и передать мне. Я принял ее с великим благоговением и усердием, с мыслью развести от нее в саду побольше отводков, и на этом проснулся.

Наутро приехал ко мне мой знакомый миссионер о. Ва[силий. Я спросил его о значении сновидения.]

— Лоза, покрытая льдом, — истолковал он мне, — это какое-нибудь запущенное, забытое и как бы мертвое духовное место, которое будет поручено вам оживотворить высшим духов-

ным начальством. Что почки были видны на лозе, означает, что место сие хранит в себе достаточно жизнеспособности для своего возрождения. Вручение же вам лозы митрополитом в полном облачении с пением духовных стихов означает вручение вам начальствования и строительства на том запущенном месте. Не миновать вам, стало быть, о. Мануил, быть настоятелем в какой-нибудь обители, ныне находящейся в великом запустении.

Верность толкования сновидения вскоре оправдалась самым делом. Две недели спустя, в марте 1901 года, когда я еще жил на приходе, я получил от сестры своей, монахини Поликсении, письмо; в письме этом она меня поздравляла с назначением начальником и строителем Церковщины. По возвращении в монастырь с прихода, то же и с тем же поздравлением я получил уже почти от всей братии. От нее же я узнал, что ректор Киевской Духовной академии, он же настоятель Киево-Братского монастыря, епископ Димитрий* три раза приезжал к старцу о. Ионе хлопотать о том, чтобы он отпустил меня от себя для начальствования и строительства Скита Пречистыя в Церковщине.

Наконец 10 апреля 1902 года указом Киевской Духовной консистории я был уволен из Киевского Свято-Троицкого монастыря и назначен в Церковщину в Скит Пречистыя настоятелем его и строителем.

---

* Впоследствии архиепископ Одесский и Херсонский.

Так начался третий и, надо полагать, последний этап моей жизни перед переходом моим в вечность, в небесные обители Творца моего и Бога, аще удостоен буду от Него сей великой милости.

Богу нашему слава.

ЧАСТЬ II

Глава XVI

Древние предания и свидетельства исторические об иноческой обители Церковщина*.

Многими великими подвигами просиял, яко звезда пресветлая, первоначальник в Российской земле монашеского общего жития, сподвижник преподобного Антония по устроению славной Киево-Печерской обители, игумен ее, преподобный и Богоносный отец наш Феодосий.

Измлада Христа возлюбив, в юные годы жизни Феодосий оставил родительский дом, пришел в Киев к преподобному Антонию и умолил принять его в число подвижников пещерных. На 24-м году жизни, по благословению преподобного Антония, Феодосий пострижен был в

* *Прот. И. Троицкий.* «Скит Пречистыя» у пещеры преп. Феодосия Печерского в «Церковщине». Киев, 1913; *П. Лашкарев.* Дача Киево-Братского монастыря «Церковщина»: реферат; *В. Палицын.* Начало восстановления Скита Пречистыя; [Краткая история восстания «Церковщины» (Скита Пречистыя, Киевской губ.), 1913 // ОР ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН УР. Ф. 160.1109. 16 л. —*Ред.*]

иноки (в 1032 году). В течение двадцати лет иноческого жития он трудился в обители Киево-Печерской более других начальников ее: носил другим воду, рубил дрова, молол рожь и относил каждому муку; ночью отдавал тело свое комарам и мошкам. Кровь текла по телу, а он прял волну и пел псалмы. В храм Божий являлся он первым и, став на своем месте, не сходил с него во все время Богослужения, с благоговейным вниманием слушая пение и чтение церковное. В 1054 году Феодосий был поставлен иеромонахом, а в 1057 году избран игуменом Киево-Печерской общины, после — Лавры, построил в ней Великую церковь и келлии и ввел общежительный монастырский Устав Студийский. Будучи игуменом, он исполнял самые черные работы по обители и во всем являл братии поучительный пример. Слава преподобного Феодосия как игумена Киево-Печерского монастыря привлекла в обитель множество иноков. И сами великие князья того времени любили наслаждаться беседою Феодосия и в храме, и в келье, и у себя во дворце. Преподобный не боялся обличать и сильных міра сего. Обращал он в христианскую веру и евреев, живших в г. Киеве. Особенно же любил Преподобный бедных и странников: для них он построил в обители общий двор, и здесь они бесплатно кормились.

Пищей для самого преподобного Феодосия был сухой хлеб и вареная зелень без масла. Ночи у него проходили почти без сна, а если и спал он малое время, то сидя, а не лежа. Одеждою его была жесткая власяница, надетая пря-

мо на тело, сверху нее была свитка, и то весьма худая. Такими трудами и болезнями умерщвлял он тело свое, уготовляя его в честное жилище Духа Святаго.

Верстах в двадцати от Подола, за селом Пироговым, у села Лесники, приблизительно в таком же расстоянии от Киева, как дача Михайловского монастыря Феофания (ныне Скит), во владении Киево-Братского монастыря находилась небольшая дача, известная у окрестного населения под названием Церковище или Церковщина. Трудно найти местность, до такой степени со всех сторон закрытую от наблюдения прохожих и проезжих, как Церковщина. Сама по себе местность и в настоящее время привлекательна своей уединенной своеобразной красотой; но что же была она в те отдаленные от нас времена подвигов первых иноков Печерских, когда еще во всей первобытной красе и мощи была не затронута девственная сила и величие приднепровской природы?! Чтобы иметь представление об этой красоте, нужно лично побывать там.

Из жития преподобного Феодосия Печерского известно, что в неделю мясопустную он, обыкновенно, удалялся из монастыря в пещеру, в которой потом был погребен, и затворялся в ней до Вербной недели. Но затворившись в ней, он, по словам жития, «оттуду паки многожды и яко того не ведущю никому же, в нощи восстав, и Богу того соблюдущю, отходяше един на село монастырское, и ту уготован суще пещере в скровьне месте, и никому же

тому ведущю, пребыва[ше] в ней един до вербныя недели, такоже и паки в нощи и в прежереченную пещеру, и оттуду в пяток вербныя недели к братии излазяше».

Сохраняющиеся с глубокой старины предания лаврские указывают это монастырское село и бывшую в нем пещеру преподобного Феодосия именно в даче Киево-Братского монастыря под Лесниками, именуемой Церковщиной.

Смежно с Лесниками село Ходосовка, именовавшееся первоначально хутором Феодосиевкой (Хвеодосиевкой, Хвеодосовкой — Ходосовкой). Смежные селения Лесники... Ходосовка принадлежала в старину к лаврским имениям. В патерике Печерском оба эти села называются «селами Пресвятыя Богородицы». Церковщина как «село монастырское» упоминается в Печерском патерике двукратно по поводу впечатления, которое оно производило на покушавшихся разорить его злодеев и половцев. Один раз были введены в город пойманные и связанные разбойники. Когда, — рассказывает Патерик, — «по изволению Божию, случися им мимо миновати село монастырское, един от злодей тех связанных, покивав главою на село то, глаголаше: «якоже неколи во едину сущу нощь придохом ко двору тому, разбои хотяще творити, поимати вся сущая, видехом город сущий высок зело, яко не помощи нам приближитися ему...» «Сице бо бе благий Бог оградил невидимо вся та содержанья молитвами праведного сего мужа» (Феодосия), — замечает сказатель жития.

Другой случай рассказывает Георгий, ростовский тысяцкий, сын Симона (Шимона) варяга:

«Везде молитва Феодосиева заступает. Егда бо придохом на Изяслава М[с]тиславича с Половцы и видехом град высок издалеча, и идохом ныне. И никто же знаяше, кый се град. Половцы же бишаха у него и мнози явлени быша, и бежахом от града того: последе же увидехом, яко се бысть село Богородицы, града же николиже бывало; ниже сами сущие в селе разумеша бывшего; но изшедша видеша кровепролитие и почудишася бывшему».

Естественный характер местности Церковщины как нельзя более отвечает тому впечатлению, какое она произвела в том и другом случае. Урочище имеет вид глубокой котловины, образовавшейся внутри горы с окрестными приподнятыми выше горизонта гор[ами] в виде окружающего котловину вала. Обитатели церковщинской котловины кажутся до такой степени удаленными и огражденными от всего окружающего, что могли действительно, как это отмечено во втором случае, не иметь представления о том, что за окраинами в известное время кипела битва, тем более что огнестрельных орудий в то время не существовало.

Вот эта самая Церковщина вблизи от Ходосовки, среди чудной по красоте холмистой местности, подле холма, в глубине которого устроены пещеры, издавна называвшиеся пещерами преподобного Феодосия, и была тем самым «сокровенным местом», где преподобный Фео-

досий и совершал свои великопостные уединенные молитвенные подвиги.

После блаженной кончины преподобного Феодосия (3 мая 1074 год[а]) «сокровенное место» — пещеры, где в дни светлой Четыредесятницы совершал он свои молитвенные подвиги, стало привлекать любителей безмолвия и пустынного жития из Киево-Печерской обители, и образовался в XII веке монастырь близ «села Богородицы», получивший название Гнилецкого.

В этом монастыре в первой половине XII века подвизался преподобный Герасим, основатель Троицкого Кайсарова монастыря близ г. Вологды, Вологодский чудотворец. Преподобный Герасим еще юношей прибыл в Гнилецкий монастырь, усердно прося пустынную братию принять его в свое сожитие. Согласились добрые старцы, видя его усердное желание, и постригли его 4 марта в монашество. Под руководством опытных старцев он стал подвизаться в совершенном послушании и непрестанных трудах. И какое чудное время тогда было для иноческой жизни! Еще свежи были и живы предания о жизни Богоносных Печерских первоначальников; еще некоторые из братий Гнилецкой пустыни знали лично преподобного Феодосия и как очевидцы рассказывали об его подвигах в их пещере. Внимал этим рассказам о преподобном Феодосии и других славных Печерских подвижниках инок Герасим и с великим усердием и ревностью проходил свое иноческое послушание. По настоянию пустынной братии он при-

нял сан пресвитерский и каждодневно стал приносить Богу Бескровную Жертву, а ночи часто проводил в Феодосиевой пещере в богомыслии и молитвенных подвигах.

Промысл Божий судил преподобному Герасиму выйти из Гнилецкого монастыря и идти в Вологду для распространения христианской веры среди язычников этого северного края. В 1147 году преподобный Герасим достиг берегов реки Вологды вблизи ручья Кайсарова, среди лесной чащи, в тиши уединения, поставил себе хижину и предался богомыслию и иноческим подвигам. В этой местности он поставил храм во имя Живоначальной Троицы и положил начало древнейшему в северных краях России Троицкому Кайсарову монастырю. В этом храме он нашел себе вечный покой 4 марта 1178 года.

Из жития преподобного Герасима, Вологодского чудотворца, можно видеть, что в XII веке монастырь, основанный на месте великопостных подвигов преподобного Феодосия Киево-Печерского процветал: в нем была церковь, много в нем было и братии. Монастырь этот существовал и в следующем XIII веке. Когда совершилось нашествие татар на Киев и разорение ими Киево-Печерской Лавры (в 1240 году), иноки этой обители вынуждены были удалиться в леса и пещеры близ Киева. В это время некоторые из Киево-Печерских иноков удалились в Гнилецкий монастырь и расширили здесь Феодосиеву пещеру наподобие пещер Киевских. В нашествие Батыево Гнилецкий монастырь пострадал, но не уничтожился. Полное

разорение его произошло, по мнению ученых, «от татар» после нашествия Едигея в 1416 году или Менгли-Гирея в 1480 году. «Татарове воеваша около Киева и монастырь Печерский пограбиша, и пожгоша, и со землей соровна (Едига), яко оттоле Киев погуби красоту свою и даже доселе уже не може быти таков», а о Менгли-Гирее говорят, что он «град Киев взя и огнем сожже» и что его татары, уведши в плен бесчисленное множество населения, «землю Киевскую учиниша пусту». Вот тогда-то церковь в монастыре Гнилецком и была разрушена до основания, а иноки, спасавшиеся в пещерах, были засыпаны землей и здесь предали души свои Богу.

Так после четырехсот лет окончилась пора первоначального цветущего существования монастыря «Святыя-Пречистыя Гнилецкого», основанного на месте великопостных подвигов преподобного Феодосия.

С разорением монастыря и запустением местности его оказалась заброшенной и пещера преподобного Феодосия. Перестав быть местом хотя бы и временного только подвига монастырских отшельников, пещера была предоставлена естественной судьбе такого рода подземелий. Обрушившиеся края устья пещеры завалили спуск в нее и прекратили приток внутрь ее наружного воздуха. Скоплявшаяся вследствие этого внутри нее сырость повела за собой и внутренние обвалы, и на месте святе, таким образом, водворилась мерзость запустения, продолжавшаяся свыше четырехсот лет.

Уцелели в эти годы одни развалины, густо поросшие лесом, и среди них остатки фундамента церкви — «Церковище», — от которых все монастырское урочище получило в народе название Церковщина.

Опустевшая Церковщина, принадлежавшая Киево-Печерской Лавре, перешла во владение — сначала Киево-Софийского наместничества, то есть Киевского Митрополитанского дома (в XVI и первой половине XVII вв.), а затем Выдубецкого монастыря. Во второй половине XVIII века она вошла в состав государственных имуществ, а с 1835 года и по настоящее время находится в ведении Богоявленского Киево-Братского монастыря.

Такова история Церковщины.

Глава XVII

Начало восстановления Церковщины. Преосвященный Иннокентий (Борисов) и мальчики-пастухи. Преосвященный Димитрий и иеромонах Свято-Троицкого монастыря Мануил. Продолжение автобиографии игумена Мануила. Благословение старца Ионы и его духовное завещание. Перевод в Церковщину.

Начало восстановления Церковщины после четырехсотлетнего запустения связано с именами двух преосвященных ректоров Киевской Духовной академии и настоятелей Киево-Братского монастыря Иннокентия (Борисова) и Димитрия (Ковальницкого)*.

* Впоследствии оба архиепископы Одесские и Херсонские.

В тридцатых годах прошлого столетия преосвященный Иннокентий, будучи ректором Киевской Духовной академии, часто по временам проживал летом в соседнем с Церковщиной хуторе Киево-Братского монастыря — Пироговке (Володарке).

«Каждый раз, как приеду в Пироговку, — рассказывает преосвященный Иннокентий студенту-священнику Гапонову, — особливо весной и летом, первым моим и любимым делом было ходить по лесам. Места здесь, вообще, хороши. Но одно из них особенно обратило на себя мое внимание. Оно известно под именем Гадючьего Лога, видно, оттого, что в нем действительно водится много змей.

Раз — это было весной (около 1835 года) — прихожу я к Гадючьему Логу, смотрю: близ колодца разложен огонь, по лесу бродит скот; пастухов, однако ж, не видно. Где же это они? Стою и думаю себе. Вдруг услышал я говор мальчиков. Я обратился туда, откуда послышался мне говор, и увидел на холму трех мальчиков. Я пошел к ним, смотрю — их там нет. Взошел на самый холм — нет, обошел холм вокруг, смотрел туда и сюда — всё их нет. Что за диво? Между тем по правую сторону, при спуске с холма, я увидел взрытую землю, подошел туда, вижу — какая-то нора. Я тотчас догадался, что мальчики здесь скрылись. Моя догадка вскоре оправдалась: голоса мальчиков послышались в норе. Я уклонился несколько в сторону, чтобы дать время выйти им оттуда (впоследствии оказалось, что они, увидев меня, испугались да со

страху и скрылись в нору). Действительно, один из мальчиков выполз из норы. Я постарался приласкать его, дал ему монету и спросил, где же прочие его товарищи?

«Там, в яме», — отвечал он.

«А что же это за яма? Глубока ли она? Не лисья ли это нора?»

«Ни, це, кажуть, печери».

«Печери?! Позови-ка своих товарищей, скажи им, чтобы они меня не боялись: я добрый человек».

Выползли наконец и те. Для ободрения их, я [и] этих наделил деньгами.

«Скажите же теперь, хлопцы, можно ли мне туда слазить?»

«А чему неможно? Можно!»

«Да ведь там темно? Ничего не увидишь?»

«Дак що ж, що тэмно? Мы визьмемо с собой огню, наберемо сухих трисочек, засветим и пийдем. Мы всэ так робим».

«Ну, сделайте ж это сейчас».

Они тотчас же побежали, насбирали сухих щепок, где-то нашли несколько соломы, принесли огня.

«Да вы, паноче, — сказал один из мальчиков, — скиньте с себя одежу, вона така хороша, як-небудь замараете».

В самом деле. Я послушался и скинул с себя рясу.

«Господи, благослови!»

Спустились ползком в нору, зажгли огонь. Один из мальчиков пошел вперед, я за ним, двое за мною. Как же я удивился! Лишь про-

шли мы шагов несколько, я увидел, что это в самом деле пещеры, точно такие, как и в Лавре, судя по их улицам и проходам. Дальше я даже не ходил, предоставив другому времени запастись свечою и рассмотреть их как следует.

На другой или третий день я снова приехал в Пироговку, пришел сюда, нашел по уговору тех же мальчиков. Они ожидали меня не с боязнью, а с радостью. Мы тотчас приступили к делу. Опять ползком спустились в пещеры (проход в них от времени завален и зарос кустарником; оставалось одно лишь небольшое отверстие). Зажгли свечи и пошли уже спокойно рассматривать пещеры. Оказалось, что весь холм (в объеме своем холм будет сажен около пятнадцати)* покрыт мелким лесом, изрыт пещерами. Улицы, или проходы, идут извилисто, в разные стороны, и потом сходятся к одному какому-нибудь месту, например к церкви или к трапезе. Я заметил и другой выход из пещер на другую сторону холма, но он совсем завален землею.

Вот какую редкость нашел я в Гадючьем Логу».

Как ценил значение этого открытия сам преосвященный Иннокентий, свидетельствуют следующие его слова:

«Лаврские пещеры, — говорил он, — много изменены чрез расширение и повышение, конечно, ради богомольцев; а вот эти настоя-

---

* Верхний поперечник холма имеет 15 саженей ширины: в окружности же, при основании, холм имеет 175 саженей, а окружность верхней части холма равна 45 саженям.

щие, подлинные, как были ископаны святыми отшельниками — почем знать? — может быть самими преподобными Антонием и Феодосием или, по крайней мере, близкими к ним современниками».

По ходатайству преосвященного Иннокентия и с Высочайшего соизволения, в 1835 году этот Гадючий Лог перешел во владение Киево-Братского монастыря под именем Церковщины.

Впоследствии преосвященный Иннокентий предпринял некоторые меры к поддержанию пещеры и благоустройству местности, но, за переводом его на самостоятельную епископскую кафедру, Церковщина опять надолго осталась без надлежащего благоустройства.

С 1900 года преосвященный Димитрий (Ковальницкий), бывши в то время ректором Киевской Духовной академии и настоятелем Киево-Братского монастыря, возымел желание возобновить монастырь в Церковщине и начал в нем постройку храма в честь и память Рождества Пресвятыя Богородицы, по достоверному предположению, что и в глубокой древности на этом месте был Рождество-Богородичный храм. Церковь эта была начата постройкой на месте древней, на ровной площади, кругом обсаженной садовыми деревьями и окруженной высокими горами, покрытыми лесом...

* * *

И вот, — сказывал мне отец мой, священноигумен Мануил (так продолжает описатель жития его), — когда затем было сие восста-

новление Церковщины и построение в ней храма, то владыка Димитрий стал подыскивать себе нужного человека, которому он мог бы доверить его продолжение. Сам он мне, убогому Мануилу, сказывал, что спрашивал о нужном ему человеке всех известных ему игуменов, иеромонахов и даже послушников, не знают ли они такого иеромонаха, который бы задуманное им дело мог довести до конца. И указали тогда ему на меня, грешного. До четырех раз приступал владыка к старцу Ионе, прося его отпустить меня в Церковщину для устройства в ней общежительного Скита, но Старец все никак на это не соглашался, считая меня необходимым для своей обители. Наконец на четвертый раз, когда приехал к нему с тою же настоятельной просьбой преосвященный, старец Иона согласился отпустить меня и благословил на этот подвиг. Горько заплакал я, когда он благословлял меня, и я говорил ему:

— Куда вы меня посылаете, батюшка? Я здесь прожил 28 лет и желал бы и кости свои здесь сложить.

Старец оградил себя трижды крестным знамением, вздохнул и ответил:

— Я тебя, батюшка, не забуду ни в сей жизни, ни в будущем веке.

Произошло это в первой половине 1901 года, а 9 января 1902 года старец Иона скончался.

После погребения его, пред поминальным обедом, было прочитано духовное завещание Старца, и в нем было упомянуто и обо мне в следующих выражениях: «О. Мануил, мной ис-

пытанный и проверенный, вполне может защищать монастырские права, а поэтому он должен быть соборным старцем».

При чтении этого духовного завещания присутствовал и преосвященный Димитрий. Это его еще более утвердило в мысли об официальном со стороны высшей духовной власти переводе меня в Церковщину, что и состоялось по указу Киевской Духовной консистории от 10 апреля 1902 года.

Глава XVIII

Пещеры в Церковщине. Перевод епископа Димитрия. Храм во имя Рождества Пресвятыя Богородицы.

Самой большой достопримечательностью Церковщины являются древние пещеры — место великопостных подвигов преподобного и Богоносного отца нашего Феодосия, Киево-Печерского чудотворца. Я по назначении своем в Церковщину застал их приблизительно в том виде, в каком они некогда были описаны протоиереем о. И. Троицким в брошюре его «Скит Пречистыя» *.

«В первый раз, — так пишет о. И. Троицкий, — я осматривал пещеры в Церковщине 19 августа 1901 года, то есть в самом начале благоустроения Скита Пречистыя.

Проводник подвел меня к южному входу в пещеры, имеющему вид входа в подгорный по-

* *Прот. И. Троицкий.* «Скит Пречистыя» у пещеры преп. Феодосия Печерского в «Церковщине». Киев, 1913.

греб с наружным деревянным навесом. Зажгли мы восковые свечи и, перекрестившись, двинулись по подземному жилищу пещерных отшельников, как бы по подземному коридору шириной около полутора аршин, а высотой в сажень. Песчано-глинистые стены и своды по местам осыпались, и комья земли лежали на нашем пути. Двигаясь медленно, при мерцающем свете восковых свечей, приблизились мы к тому месту, где по обе стороны хода увидели небольшие три келлии. Каждая келлия не более двух аршин ширины и трех длины. В каждой келлии у стены — лежанка (земляное ложе). Здесь пещерный ход разделяется. В месте разделения хода на два особые находится более обширное помещение (несомненно — церковь), в которой при выемке земли у восточной стены оставлен столб-материк. Столб этот на высоте $1^3/_4$ аршина от основания, разрезом накрест, разделен на 4 столба, образуя таким образом престол с киворием. На левой стороне церкви выделана в стенке ниша в том месте, где устрояется жертвенник. Церковь эта имела большое сходство с лаврскими пещерными церквами, да и сами пещеры, кстати сказать, напоминали лаврские, только в более первоначальном виде.

Осыпавшаяся земля не дозволила нам пойти по пещерам далее, и пришлось обратно возвратиться тем же путем. При выходе из пещеры проводник указал нам вход в виде ямы в нижний ряд пещер, но спускаться туда было небезопасно».

Вот за эти-то пещеры мне, убогому и немощному монаху, и пришлось приняться и с приведения их в порядок начать благоустроение Церковщины. Храм, начатый постройкой преосвященным Димитрием в 1900 году, уже был почти готов к освящению, построен был при нем, в нескольких саженях от храма, и дом на восемь человек братии общежития, пришедших со мной. Пещеры надо было расчистить и укрепить, чтобы они были доступны для посещения паломников. Этим главным образом я и занялся в сотрудничестве с братией, которых вместе с двумя сторожами было всего-навсего 10 человек.

При первых расчистках пещер в них было найдено множество человеческих костей, более пятидесяти человеческих черепов и один неистлевший палец. В одном уголке пещеры тогда же был найден целый скелет человека в сидячем положении. Впоследствии же, при раскопках, мы нашли также цельный костяк человека в стоячем положении, а пред ним подсвечник, у ног — остатки кожаного переплета истлевшей, очевидно богослужебной книги. Положение костей в пещерах подтвердило, что в пещерах нашли себе вечный покой засыпанные в них землею во время разорения Церковщины татарами. Но обнаружившееся после расчистки первоначальное устройство пещер показало также, что в них были устроены, по восточному образцу, и братские усыпальницы. Таких усыпальниц было найдено свыше двадцати. Человеческие кости и черепа, обнажив-

шиеся при расчистке пещер, мы собрали в усыпальницу (кости положены во гроб, а черепа поставлены в стенах ниш пещер).

Открыты были в пещерах и отшельнические кельи, числом 8, имеющие в длину около трех аршин, а в ширину около двух аршин. В кельях найдены малые земляные лежанки, сделанные, очевидно, для отдыха, а в переднем углу выступы для моления.

В усыпальницах и иноческих кельях мы нашли хорошо сохранившиеся иноческие одежды и другие вещи Афонского образца: параманцы, аналавы, сандалии, [...образы] Успения Божией Матери и других святых Ликов, толстые огарки старинных восковых свечей, крест-складень, напрестольный крест, подвижнические вериги и другие предметы.

Возобновил я и древнюю пещерную церковь (впоследствии, 21 августа 1905 года, она была освящена преосвященным Платоном в честь преподобного Феодосия Печерского). Много пришлось трудиться, а что скорбей перенесть за то время, — того и не перечислить!..

С великим смущением и тревогой переходил я в Церковщину, зная хорошо, что много мне потребуется положить на нее подвига душевного и телесного, но я принял это назначение с преданностью воле Божией за святое послушание. С полной верою, что без воли Божией не спадет с головы человека и волос един, я принялся за новое дело, не без упования, однако, на помощь и содействие преосвященного Димитрия, который меня уверял в том, говоря:

— Да не смущается сердце ваше: я вас беру под свое крыло, Церковщины я никогда не оставлю.

Не прошло и месяца со дня моего перехода в Церковщину, как во второй половине мая 1902 года преосвященного Димитрия перевели на самостоятельную кафедру в Тамбов, а на его место настоятелем Киево-Братского монастыря назначен был епископ Платон. Таким образом, непосредственное попечение о Церковщине епископа Димитрия прекратилось, а [игумен и брат]ия Братского монастыря оказались к судьбе ее совершенно равнодушны. И Скит, и я очутились в крайне печальном, можно сказать критическом положении, потому что выдача муки и прочих продуктов с Братского монастыря прекратилась, и я остался предоставленным собственной участи, подобно рыбе, выброшенной на берег далеко от родной стихии.

Единственной отрадой в то тяжелое для меня время было окончание постройки нашего храма в честь Рождества Пресвятыя Богородицы и освящение его 11 июня 1902 года. Великая это была для меня радость и знамение милости Божией к восстановляемому святому месту, которому я призван был служить в мерах сил своих и разумения.

Для нашего общежития храм вышел довольно обширным. Построен он в форме базилики с двумя боковыми пристройками к закругленной части, расположенными на юг и на север (ризница и пономарня). Храм украшен тремя главами по длине корабля и увенчан блистающими кре-

стами, покрытыми алюминием. Выстроен он из крепкого дуба, обмурован кирпичом; иконостас резной, золоченый, изящной работы, пол из дубовых досок. Большие окна дают много света. Притвор с колокольней в три яруса; из них средний предназначен для хранения церковного имущества, а в верхнем повешены колокола.

Впоследствии, 8 лет спустя, стены и потолок храма были расписаны священными изображениями и орнаментами на средства, пожертвованные монахиней Казанского монастыря Тверской епархии, м[атерью] Евстафией.

Храм этот был мне светом очей моих в то многоскорбное время, и в явное подтверждение слов Господа и Бога моего, изрекшего Божественными устами Своими через пророка Исаию: *Забудет ли жена исчадие утробы своея? Но аще и жена забудет, то Аз не забуду тебе**.

Глава XIX

Скорби и искушение. Неожиданная помощь. Поездка к епископу Черниговскому, к епископу Димитрию, к о. Иоанну Кронштадтскому, к о. Варнаве Гефсиманского Скита.

В то время лошадей в Церковщине не было, поэтому мне часто приходилось ходить в Киев пешком. От Церковщины же до Демиевки 12 верст. Сходишь купишь там на кое-какие гроши, что нужно для насущной потребы, взвалишь все на «биндюжного» извозчика, а сам опять

* Ис. 49,15.

рядом с ним пешком отмериваешь вёрсты от Киева до Церковщины. А покупать на первых порах приходилось все, что называется, «от ложки и до плошки»: и хлеб насущный, и лемех, и иголку, и нитки, и рубахи... И неоднократно приходилось голодать нам с братией по целым суткам.

— Бедная душа моя! — говорил я иногда себе, — что мне делать? Бежать ли или же переживать все это с терпением?..

И был я тогда близок к бегству. Но Господь Бог и Его Пречистая Матерь не оставили меня: в этом крайне затруднительном и тяжелом положении я совершенно неожиданно от неизвестного лица получил для Скита со станции железной дороги 75 пудов ржаной муки да с Житного базара из Киева 25 пудов.

Эта неожиданная и очевидная помощь Божия очень подкрепила тогда уже совсем было упавший дух мой.

Тем не менее, искушение оставить Церковщину все еще не покидало меня.

Узнав о крайне тяжелом и, казалось, совсем безвыходном моем положении, преосвященный Антоний, епископ Черниговский, прислал за мною своего эконома. А с владыкою я был знаком давно, когда он, еще будучи студентом Академии, проживал в Свято-Троицком монастыре старца Ионы. Преосвященный Антоний предлагал мне перейти в Чернигов и устраивать Скит на месте, где ископал пещеры преподобный Антоний Печерский во время своего изгнания из Киева.

Когда приехал ко мне о. эконом и я узнал цель его приезда, то рассудил прежде, чем решиться на принятие предложения епископа Антония, съездить в Тамбов к преосвященному Димитрию и объяснить ему всю безвыходность того положения, в которое он меня поставил, изводя из Свято-Троицкого монастыря и не дав никаких средств к существованию затеянному им делу.

Да простят Господь, Матерь Божия и преподобный Феодосий немощь моей веры!.. Очень уж тяжко мне тогда было! Не говоря уже о материальных недостатках, вернее сказать — о полной нищете устрояемого Скита, достаточно указать на следующий случай из жизни моей того времени, чтобы дать понятие о том, что приходилось мне переносить как непосильное для меня бремя.

По освящении храма в Церковщине не было ни одного певчего. Я обратился в Киево-Братский монастырь, которому принадлежала Церковщина, с просьбой дать мне на первое время какого-нибудь певчего. Монастырь отказал, ссылаясь на то, что у него самого нет певчих. И пришлось мне в силу необходимости принять певчего-алкоголика. Это был замечательный бас, прошедший все московские монастыри и нигде не удержавшийся из-за несчастной слабости. И вот, 5 января 1903 года, в самый сочельник Богоявления Господня, напился этот мой певчий пьян вдребезги и перед самой вечерней упал у врат монастырских в бесчувственном состоянии. Пришли ко мне крестьяне

и сообщили об этом для того, чтобы я распорядился убрать пьяного. А убрать было некому: всей братии тогда было 10 человек, и все они были [разными послушаниями заняты. Пришлось позвать] крестьян, и они пьяного певчего, как мертвого, втащили в гостиницу... (За этот год мы при всей своей скудости успели устроить небольшое помещение под гостиницу...) Наступило время вечерни, и пришлось мне одному служить ее и за иерея, и за певчего. Вышел я на воду и с трудом начал читать паремии. Прочитал первую и вторую благополучно, но при чтении третьей так разволновался, что горько заплакал. Заплакали, глядя на меня, и собравшиеся богомольцы, особенно женщины. А собралось в новый монастырь послушать пение и Богослужение народу полна церковь. И пришлось мне чего словами не дочитать, то слезами докончить и тем завершить освящение воды.

По милости Божией, на народ такое Богослужение произвело умилительное впечатление, и он с радостью и как бы даже в духовном восторге стал разбирать воду, освященную благодатию Духа Святаго и слезами. Но мне-то каково было?!

По дороге в Тамбов я заехал в Чернигов к преосвященному Антонию. Владыка был мне очень рад и встретил меня словами:

— Вас Сама Матерь Божия прислала ко мне!

— Ваше преосвященство, — ответил я на его приветствие, — я приехал к вам за советом, а не на жительство, зная ваше архипастырское незаслуженное ко мне расположение.

Меня старец Иона благословил на подвиг в Церковщину восстановить древнюю, запустелую обитель, и я считаю долгом своей совести довести дело сие до конца. Но меня постигли такие испытания и так взволнована душа моя, что требуется совет, и его-то я и прошу у вашего преосвященства.

Тут я изложил все дело Владыке и спросил:

— Как же благословите мне теперь поступить: ехать ли к преосвященному Димитрию в Тамбов или же переходить к вам?

Владыка выслушал меня, подумал, внутренне, мнится мне, помолился и ответил:

— Конечно, прежде вам надо побывать у преосвященного Димитрия, а затем приезжайте ко мне!

Прощаясь со мной, Преосвященный дал мне на дорогу 12 рублей и велел отвезти на станцию железной дороги на лошадях архиерейского дома.

Тем мое путешествие в Чернигов и окончилось. Для преосвященного Димитрия приезд мой в Тамбов явился со[вершенной неожиданностью...] Изложил я ему тут все свои скорби и недоумения, сообщил и о том, что зван в Чернигов владыкой Антонием. Выслушав меня, Преосвященный ни под каким видом не согласился на переход мой в Чернигов и посоветовал, в крайности, перейти к нему в Тамбов вместе с братией, обещая настоятельство. Напутствовал же он меня, прощаясь, такими словами:

— Поезжайте обратно в Церковщину и живите там. Церковщины я никогда не оставлю.

На прощанье Владыка дал мне 100 рублей и преподал свое архипастырское благословение. С тем я и отъехал.

Но такой ответ преосвященного Димитрия меня не успокоил и не удовлетворил, и я из Тамбова приехал прямо в Петроград к о. Иоанну Кронштадтскому.

Великого пастыря я встретил в Петрограде в алтаре церкви Экспедиции заготовления государственных бумаг. Объяснив вкратце свое положение, я получил от него такой ответ:

— Боже вас спаси! Бросать Церковщины не советую. Нужно терпеливо все переносить, и Господь все вам устроит.

При этом о. Иоанн добавил:

— Об этом подробно я поговорю с вами завтра. Приезжайте ко мне в Кронштадт.

Я повиновался и, по слову батюшки, рано утром на следующий день приехал в Кронштадт. Это было 19 октября 1903 года, день Ангела о. Иоанна, и я, к великой для меня радости и изумлению, угодил к такому торжеству, какого ни раньше, ни после мне не приходилось видеть. Мне пришлось участвовать в Богослужении, которое совершало 33 священнослужителя, а после Литургии — в обеде, за которым обедало более трех тысяч душ обоего пола.

Поговорить, однако, подробно обо всем с о. Иоанном мне из-за необычайной суеты и спешного его отъезда в Петроград не удалось, и я, приняв его благословение, отправился в Москву, а оттуда в Гефсиманский скит Троице-Сергиевой Лавры к другому великому старцу,

известному своей великой жизнью и прозорливостью, иеромонаху Варнаве. С отцом Варнавою мне удалось обо всем подробно побеседовать и посоветоваться, и он тоже не благословил мне бросать Церковщину, а велел терпеливо переживать нужду.

— Господь, — сказал мне Старец, — все устроит.

В благословение старец Варнава дал мне икону Спасителя, дал и денег, и я от него, окрыленный духом, поехал обратно в назначенную мне Богом Церковщину, как на святое и несменяемое послушание.

Икона, данная мне о. Варнавою в благословение, в настоящее время хранится в алтаре Скитского храма.

Глава XX

Возвращение в Церковщину. Видение о. Ионы. Николай Васильевич и Анастасия Никифоровна Бочаровы. Мои сновидения о них. Новая помощь.

Когда я возвратился в Церковщину, то нашел на всех кладовых и сундуках наложенными монастырские печати: правление Братского монастыря в мое отсутствие порешило, что я в Церковщину более не возвращусь, а потому и братии оставаться в ней не для чего. В невыразимой печали братия собралась уходить, да и сам я смалодушничал было и стал увязывать корзины и собираться в Чернигов. Горько плакал я тогда, прощаясь мысленно с местом, с

которым уже успела сродниться моя душа. И вот, как-то раз в 12-м часу ночи читал я у себя в келлии правило ко святому Причащению, готовясь наутро причащаться Святых Христовых Таин. Вдруг слышу за дверью кто-то как будто козлиным голосом начинает молитву: «Молитвами святых отец... — но словами — Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас», — не кончает.

Открывая двери, я говорю: «Кто там?» — но за дверями никого не было.

Тогда я возвратился в келлию, где у изголовья слышу собачий лай: гау, гау. Сильно усталый, я, не обращая внимания, лег в постель и уснул. Во сне явился мне тот же дух злобы и говорит:

— Ты напитаешь алчущих, напоишь жаждущих, прославишься между людьми, но вечного блаженства не достигнешь, — на что я, не оробев, ответил:

— Зато ты достигнешь...

После этого чудовище заворчало и, замотав головой, исчезло, а я проснулся. Ставши на молитву, в слезах я просил Господа об избавлении меня от пережитых ужасов и напастей и во время молитвы услышал голос: «Я тебя избрал — не бойся», — отчего сердце мое исполнилось неизреченного мира и радости о Дусе Святе.

И вот, в скорби сердечной уснул я тонким сном. Во сне явился мне старец мой о. Иона и спрашивает:

— Отчего ты так горько плачешь?

— Как же, — говорю, — мне не плакать, батюшка, когда в Церковщине жить невозможно?

— А ты, — говорит Старец, — не бросай Церковщины: я тебе помогу; я для тебя приготовил шестьдесят тысяч, но ты получишь пока три тысячи, потому что меня бессовестный Мельхиседек обобрал до грош*. — При этих словах старец горько заплакал.

Когда я проснулся, то всякая мысль об уходе из Церковщины меня оставила, и я решил все терпеть до конца, а не покидать своего послушания.

Вскоре сновидению моему суждено было осуществиться на самом деле.

Когда я жил еще в Свято-Троицком монастыре — было это в 1889 году, — я познакомился с курским купцом Николаем Васильевичем Бочаровым, одним из крупнейших благотворителей Свято-Троицкого монастыря. Бочаров часто посещал монастырь и старца Иону, к которому относился с истинно сыновнею любовью и великим почтением. Приехал он как-то в августе 1889 года и пожелал соорудить к особо чтимым иконам Божией Матери «Троеручицы» и «Взыскания Погибших» бархатные пелены. Старец Иона послал меня в помощь Бочарову за покупкой бархата. Когда мы съездили с ним в город и вернулись обратно в монастырь, то Николай Васильевич, которому я почему-то полюбился, пригласил меня к себе на чай. Заве-

* Заместитель по настоятельству в Троицком монастыре почившего [старца Ионы].

лась у нас с ним беседа, да такая задушевная, что у обоих растворилось сердце великой любовью друг к другу. Поведал я ему за беседой всю сиротскую жизнь свою, все ее минувшие скорби, страдания ее и злоключения, поделился с ним всем, чем богата была жизнь моя, паче же милостями Великого Бога моего и Спаса Иисуса Христа, не оставлявшего меня в самые тяжелые минуты моей жизни.

Смотрю: плачет мой Николай Васильевич.

— О чем, — спрашиваю я, — вы так плачете, Николай Васильевич?

— Как же, — отвечает, — мне не плакать? Всего у меня довольно, но кому достанется все это богатство, не знаю: детишек у меня нету.

Я стал утешать его, чем мог. И сорвись тут с моего языка от полноты преисполнившей мое сердце жалости такое слово:

— Не горюйте, дорогой Николай Васильевич! Истинно сыновней любовью полюбил я вас: смотрите на меня как на родного вашего сына. Нет у меня ни матери ни отца, и буду я молиться за вас и любить, как сын отца своего родного.

Дошло слово это до сердца нового моего друга. Обнял он меня, поцеловал несколько раз, и с той поры стал мне Николай Васильевич истинно, как родной отец. В 1900 году он скончался. В течение же 11 лет нашей дружбы он был моим постоянным щедрым благотворителем и другом, не оставлявшим своим попечением и помощью ни одной моей нужды, которой у всякого монаха, живущего в общежитии, если

только оно не Лавра, бывает предовольно, а у старца Ионы — в особенности. Старец Иона сам был такого духа, что не принадлежал уже ни к чему земному; того же требовал он и от братии. Но мы, в числе их и я, далеко еще были от духовного совершенства нашего великого аввы и часто скорбели от всяких недостатков. И вот, все эти недостатки, бывало, щедро и пополняла неоскудевающая в благодеяниях рука Николая Васильевича. Первый мой по рукоположении иерейский крест был даром того же незабвенного моего друга. Царство ему Небесное!

Очень скорбел я по кончине моего друга и благодетеля. Жена покойного Анастасия Никифоровна, зная, какую любовь ко мне питал ее муж, прислала мне по смерти его всю его одежду. Часть ее я переделал на свою потребу, а часть раздал кое-кому из своих монахов, прося молитв о упокоении раба Божия Николая.

Прошел год после смерти Николая Васильевича. Явился он мне во сне: вид его был измученный, худой — еле узнать можно.

— Где это вы были, — спрашиваю, — что такой худой?

— В больнице.

— Неужели ж вас там ничем не кормили?

— Кормили, — говорит, — железными палками.

При этом он обнажил плечи свои, а на плечах, смотрю, следы от палочных ударов. И стал тут Николай Васильевич благодарить меня, что я помог ему вылечиться.

Я понял, что это он благодарит за молитвы по нем как по усопшем. С этим я и проснулся.

И вот, прошло с той ночи еще побольше года. Вскоре после того, как привиделся мне старец мой Иона, обещавший мне три тысячи рублей в помощь, вижу я во сне: сидит будто бы мой Николай Васильевич [...в] кресле. Надета на нем белая, шелкового атласа одежда и по атласу чудные розы, распространявшие от себя дивное благоухание. На лице Николая Васильевича играла приветливая и радостная улыбка. Возле него стояла и жена его Анастасия Никифоровна, и тоже в белом атласном одеянии, но по нем не розы были, как у Николая Васильевича, а темные пятна. Я спросил Анастасию Никифоровну:

— Откуда вы себе такую чудную одежду взяли?

— От своих, — отвечает, — трудов прикупила.

— Как бы, — говорю, — и мне прикупить такую же?

— За чем же, — отвечает, — дело стало? Время еще не ушло: можно прикупить.

Смотрю, вслед за этими ее словами Николай Васильевич схватился с места, быстро пошел в свой кабинет, вытащил оттуда большой саквояж, весь насыпанный деньгами.

— Держи, — говорит он мне, — дружок мой и отец!

Я подставил полу своей одежды, и в нее Николай Васильевич всыпал мне две части бывших в саквояже денег со словами:

— Вот тебе, отец, на одежду!

Остальную, третью часть денег он отдал своей жене.

Деньги были смесь золота, серебра и меди.

Увидел я это множество денег да и говорю Николаю Васильевичу:

— Не мешало бы их посчитать!

А он мне на это:

— Ты, — говорит, — дружок мой, смотри только, чтобы тебя Анастасия Никифоровна не обсчитала.

Я на это сказал, что она не обсчитает, да и я ее никогда не оставлю... Смотрю, между деньгами, откуда ни возьмись, свечные церковные огарки и ладон в бумаге. Стал я их выбирать из денег и передавать в руки Анастасии Никифоровны, а она улыбается мне и их с любовью принимает от меня с рук на руки.

На этом я проснулся.

Вскоре я вновь заснул и вижу, что я нахожусь в доме Анастасии Никифоровны и говорю ей:

— Какой я про вас чудный сон, Анастасия Никифоровна, видел.

И стал ей рассказывать только что бывшее мне сновидение. Она слушает и плачет, плачу и я. Когда я проснулся, то все изголовье мое было омочено слезами.

После этих снов я написал письмо Анастасии Никифоровне. [Ответ от нее прийти] не замедлил. Пишет: «Дорогой батюшка! По получении моего письма немедленно приезжайте ко мне и получите капитал, завещанный Вам

Николаем Васильевичем. Свой родовой капитал он оставил мне и при смерти просил меня употребить его на какое-нибудь благое дело, а куда именно, не сказал. Я измучилась с ними, не зная, куда их определить, и глубоко верю, что Вам Сам Господь Бог открыл об этом. Прошу, приезжайте немедленно за деньгами».

Я тотчас же по зову ее выехал к ней в Курск. Приехал я в ту пору, когда у нее в доме было много гостей, так что говорить с ней не пришлось. Улучив удобное время, она вышла в кабинет своего мужа и вынесла мне тайком от гостей платок и в нем сверток. По приезде в Церковшину я раскрыл его: в нем оказались деньги.

И было их ровным счетом три тысячи рублей. С тех пор усугубилась моя грешная молитва и молитва братии о супругах Бочаровых: Николае Васильевиче — о упокоении в селении праведных, а супруги его — о здравии и благоденствии.

Так и смешались с их деньгами виденные мною во сне огарки (от молебнов) и ладон (от поминовения за упокой).

Глава XXI

Будущее состояние Церковщины. Видение старца Ионы.

Получивши столь чудесно помощь свыше чрез А. Н. Бочарову по предсказанию и молитвам великого моего старца о. Ионы, я совершенно успокоился духом и ревностно принялся

за дело благоустроения Церковщины и ее пещер, свидетелей тайных подвигов преподобного и Богоносного отца нашего Феодосия, Печерского чудотворца. В это время Господь сподобил меня следующего видения.

Вижу я, что стою посреди пространного поля, поросшего низенькой пшеницей вершков так четырех-пяти — и такою редкою, что от колоса до колоса было не менее полутора аршин. И знаю я, что это поле находится в моем заведовании и что мне надо его осмотреть и перейти. Иду я по этому полю, и чем дольше иду, тем гуще и выше становится пшеница и колос ее толще. Наконец я дошел до такого места, где уже стало затруднительно и продвигаться далее из-за густоты вы[росшей пшеницы... рост] ее был как у кукурузы или камыша, а колос длиною около 8 вершков. Сорвал я один такой колос и стал его тереть в своих руках. Зерно в нем оказалось величиною с боб или крупную фасоль, в руке же моей оно стало увеличиваться и дошло до размеров средней величины огурца. Стал я рассматривать это диковинное зерно, смотрю, а верхняя его оболочка уже лопнула, и из нее стало выходить новое зерно. В моих руках это зерно тоже стало увеличиваться, так что его и удержать было нельзя, и оно осыпалось из рук на землю. Когда же я вышел из этой пшеницы, явился мне старец о. Иона и подал мне Святое Евангелие величиною с аршин. Я взял его на свое левое плечо, — оно было необыкновенно тяжелое, и с ним пошел вперед, а Старец мой — за мною.

Путь мне лежал по болотистой местности. Смотрю, невдалеке от берега болота, в топком месте, лежит другое Евангелие, и из грязи виднеется только лишь один угол его.

— Пойди, — сказал мне старец Иона, — возьми и это Евангелие.

Повинуясь старческому велению, держа на плече одно Евангелие, я пошел по болоту по колена в грязи и с трудом правой рукой вытащил из грязи и второе Евангелие. И когда я с ним вышел на берег, то услышал старца моего Иону, говорящего мне:

— Слава Богу, что вытащил и другое Евангелие.

На этом окончилось мое видение. Было оно мне в тонком сне, и я проснулся от него, быв как бы в восторге.

И сему видению судил Господь исполниться самым делом на Церковщине, а впоследствии, в 1907 году, на Св.-Георгиевском скиту, что близ города Умани Киевской епархии, отродившемся от Церковщины, подобно виденному мною во сне зерну, вылупившемуся в моих руках из оболочки пшеничного зерна. О нем речь будет впереди. Что была Церковщина и что стала теперь? Гнездилище змей, место выпаса крестьянского скота, теперь же — за молитвой преподобного Феодосия и по благословению великого моего Старца — приют молитвенного подвига почти двухсот человек братии!.. Недаром, когда, обуреваемый духом уныния, я многократно собирался уходить из Церковщины под тяжестью, казалось, непо-

сильного для меня послушания, являлся мне мой великий старец Иона и всякий раз запрещал мне это делать, говоря:

— Не уходи: я тебе помогу!

Недаром, благословляя меня еще при жизни своей [...он говорил]: «Я тебя, батюшка, не оставлю ни в сей жизни, ни в будущем веке».

Дивен Бог во Святых Своих, Бог Израилев!..

Глава XXII

Новая помощь Божия Скиту Пречистыя. Явление во сне старца Ионы и обещание денежной помощи.

При новом оскудении средств летом 1904 года, во время постройки дома, Господь за молитвы Пречистыя Своея Матери явил новое чудо Своей милости. Средства в Скиту оскудели, и нечем было докончить постройки дома и оправки пещер. По примеру старца моего о. Ионы, я собрал малое свое духовное стадо в церковь и там вместе с братией усердно помолились Господу Богу и Пречистой Его Матери. Отслужили мы всенощное бдение, а на другой день после Литургии акафист Б[ожией] Матери и Св[ятителю] Николаю. Насельники Скита усердно просили в нужде своей помощи и заступничества Пресвятой Девы Богородицы и св. Николая. Службы были долгие, и я, придя к себе в келью, от переутомления прилег отдохнуть и уснул. Вдруг меня будят:

— Батюшка, батюшка! — говорят, — проснитесь. У нас чудо: собака в зубах принесла двести рублей, зашитые в пояс.

Надо ли сказать, каково было мое удивление и радость. Нам на первую нужду и этих денег было довольно, чтобы не прекращать начатых работ. С чувством величайшей благодарности Промыслу Божию, повелевающему и животным служить человеку во славу Его Пресвятаго Имени, я немедленно собрал в храм всю братию и вместе с нею в присутствии многих посторонних лиц, бывших свидетелями и нашего моления, и совершившегося по нашему прошению чуда, мы отслужили благодарственный молебен. Чудо этого события так подействовало на народ, так как слух о нем распространился чрезвычайно быстро, что мною в течение двух недель было получено с разных мест жертвы более трех тысяч рублей.

Впоследствии оказалось, что у нас в Скиту более недели прожил послушник Троице-Сергиевой Лавры. Он часто ходил гулять по лесу, окружающему нашу обитель, и там потерял этот пояс. Наша монастырская собачонка нашла его и принесла к своему логову как раз в тот час, когда мы [...], когда у нас и своих денег собралось уже довольно, послушник этот вернулся в Киев искать свои деньги. Искал он их и в Киево-Печерской Лавре, а затем приехал в Церковщину, где тоже чудом обрел свою пропажу. Получив от меня свой пояс и деньги, он из них тут же пожертвовал на наши нужды в дар Пречистой 50 рублей.

Слух об этом чуде продолжал чрез очевидцев распространяться все шире и шире. Народ щедро жертвовал Скиту деньги, и мы на них

безбедно достроили корпус, расчистили древние пещеры и привели в надлежащий вид древний пещерный храм в честь преподобного Феодосия Печерского, который и был освящен 21 августа 1905 года.

Часто Господь, по неизреченному милосердию Своему, укреплял немощь мою замечательными сновидениями, предзнаменовавшими мне грядущие судьбы Церковщины. Он же чудесным образом посылал мне и материальную помощь через добрых людей, как это уже и видно из событий всей предшествующей моей жизни. В видениях же своих чаще всего я посещаем бывал великим моим старцем о. Ионою. Как обещал он, благословляя меня на Церковщину, не забывать и в будущей своей жизни, так и исполнял нерушимо обещание свое святое.

Собранные деньги вскоре на помянутую потребу были израсходованы. Приток новых пожертвований сократился настолько, что когда пришло время освящать пещерный храм, то оказалось, что средства иссякли. Я загоревал и, признаться, немало поплакал. Помолился я и уснул. Во сне является мне старец мой Иона и спрашивает:

— Зачем ты плачешь?

— Как же, батюшка, — отвечаю я, — мне не плакать? Не на что освятить храм в честь Преподобного.

— Я тебе помогу, — говорит Старец.

С этими словами он надел на себя епитрахиль и ризу и говорит мне:

— Пойдем храм освящать!

— Батюшка, — возражаю я ему, — да в храме-то еще и иконостаса нет.

Старец подумал и, немного помолчав, сказал:

— Тебе на это дело одна женщина поможет.

Когда я проснулся, то почувствовал себя охваченным какою-то особою радостью.

По некотором времени приходит ко мне из Киева одна раба Божия по имени Мария Ивановна Осипова, вручает мне восемьсот рублей и говорит:

— Простите меня, батюшка, что даю вам не полную тысячу.

А я ей на это отвечаю:

— А я вас с нетерпением ожидаю по предсказанию мне об этом во сне старца Ионы. Скажите же, — говорю, — какая причина заставила вас принести именно нам такую жертву, которая так нужна нашей обители в данное время.

— Я, батюшка, — ответила она, — великая грешница. Мне уже 65 лет, а я еще и доселе нигде не записала себя на поминание. Часто я об этом тосковала. И задумала я себя записать куда придется, куда Господь укажет. Деньги-то, что я вам принесла, у меня не последние. И вот, раз во сне вижу я чудный новый дом. Я спрашиваю провожатого моего: чей это дом? «Это, — говорит, — твой». «Кто ж мне его выстроил?» «В Церковщине, — отвечает, — тебе монахи выстроили». После этого я пробудилась в великой радости, но о Церковщине и что такое Церковщина узнала только теперь, а ранее и понятия о ней не имела и ни от кого о ней ничего не слыхала.

Впоследствии эта жертвовательница добавила еще 100 рублей да на 400 рублей купила колоколов для пещерной церкви. Они у нас теперь находятся на пещерной звоннице.

Спустя шесть дней после этого события в Киево-Никольском монастыре сильно захворал игумен о. Дамиан. В болезни своей он начал думать, куда бы ему определить свой капитал, находившийся у него в тысячерублевой государственной ренте. И вот, представились ему во сне какие-то древние пещеры в разоренном виде; в пещерах этих идет расчистка, но еще не окончена, начата живопись, но недописана.

Когда о. Дамиан проснулся, то был в недоумении, что бы означало это видение. Рассказал он свой сон монаху о. Феофилакту, тот ему и объяснил, что подобные пещеры находятся в Церковщине, куда о. Иона послал о. Мануила, а он над ними трудится уже три года, старается оправить, да денег не хватает. И церковь уже у него оправлена, а освятить не на что. Так это повлияло на о. Дамиана, что он тут же свою ренту передал о. Феофилакту для передачи мне и при этом сказал:

— Господи! Как же я рад, что Ты открыл мне, куда определить мне мои деньги.

Чудо это совершилось в первых числах августа. О. игумен Дамиан через пять дней после того оправился от своей болезни, приехал в Церковщину и был поражен тем, что виденные им во сне пещеры оказались точь-в-точь теми самыми, что он увидел по приезде своем в Церковщине. Это так подействовало на о. игу-

мена, что он все время только и делал, что крестился и восклицал:

— Господи, да как же я рад-то, что Господь открыл мне сие. Теперь-то уж я уверен, что меня будут здесь поминать по смерти.

21 августа 1905 года пещерный храм в честь преподобного Феодосия Печерского был уже освящен чудом помощи великого моего старца о. Ионы и добрых людей.

Кто Бог велий, яко Бог наш?!

Глава XXIII

Мысль о построении в Скиту второго храма. Новое чудо милости и помощи Божией.

Православный народ, узнав об открытии в Церковщине древних пещер, во множестве потянулся к нам в обитель, так что в главной нашей церкви Рождества Богородицы стало причащаться Святых Таин по пятьсот и больше богомольцев, а храм наш может вместить только около трехсот человек. Пещерный же храм так мал, что и вовсе сколько-нибудь многочисленного народа вместить не может. Это обстоятельство понудило меня заложить пред входом в пещеры новую церковь, на что явлена была воля Божия и молитвенное дерзновение пред Богом павших от татарского меча и почивающих здесь в костях мучеников.

В то время по случаю с торгов было куплено 150 тысяч кирпича по 9 рублей за тысячу. Одна госпожа на эту покупку пожертвовала тысячу рублей да свой о. казначей дал 700 руб-

лей. Кирпич был заготовлен, разрешение от Митрополита выхлопотано, и план церкви был составлен, а заложить храм было не на что. А тут настоятель Киево-Братского монастыря, к которому приписана Церковщина, преосвященный Платон, получил назначение в Америку и, собираясь отъезжать туда, хотел, чтобы храм сей был заложен при нем, до его отъезда.

В это самое время в Церковщину приехали из Петрограда две довольно зажиточные старушки: Екатерина Гаврииловна Соболева и Анна Николаевна Касаткина. Зная их отзывчивость и христианское усердие, я им рассказал о своем безвыходном положении. Одна из них, Соболева, и задумала было мне помочь, да в то же время в ее душу закралось и смущение, так как на это дело надо было выложить не менее 700 рублей. И вот, во время этой душевной борьбы, в первую же ночь, проведенную ею в Церковщине, является ей во сне множество монахов и послушников, все кланяются ей в ноги и в один голос вопиют:

— Помогите, помогите, помогите!

Бедная старушка проснулась и так перепугалась, что всем телом дрожала от страха. Поняв сердцем, что это ей из загробного міра явились мученики, ожидающие молитв за них в предпещерном храме, старушка вскочила с постели, и, как была, не успев даже и умыться, захватила с собой 1500 рублей, и в душевном волнении и со слезами на глазах прибежала ко мне, и, положив деньги на стол, начала класть земные поклоны, говоря сквозь слезы:

— Приими, Господи, жертву сию от рабы Твоея!..

И тут же рассказала мне, какое ей было во сне видение.

— А я-то, — приговаривала она со слезами, — окаянная-то грешница, вчера пожалела было жертвовать. Уж, батюшка, ты мой дорогой, не откажись только принять от меня эту жертву. С такою радостью я жертвую, что и выразить вам не могу.

Все это так подействовало на ее спутницу-товарку Анну Николаевну Касаткину, что и она мне тут же принесла полторы тысячи рублей.

Таково было над нашей нуждой новое чудо милости Божией.

Так как новый, предположенный к постройке храм должен был быть по плану двухэтажный с тремя престолами: в честь Святителя Николая (нижний), в честь преподобного Серафима Саровского и в честь преподобного Антония Печерского (верхний), то я собрал братию Скита и соборне отслужил благодарственный молебен Господу Богу, Богоматери, акафист Святителю Николаю с припевами преподобным Антонию и Феодосию Печерским и Серафиму, Саровскому чудотворцу.

По окончании молебна о. Мануил обратился к братии со следующими словами: «Отцы и братия! Мы в настоящее время вознесли свои убогие молитвы ко Всемилостивому Господу Богу и Его Пречистой Матери, а также и угодникам Божиим: св. Николаю и преподобным и Богоносным отцам нашим Антонию и Феодосию Печер-

ским и Серафиму Саровскому за те блага, которые они неожиданно послали нам чрез Екатерину Гавриловну и Анну Николаевну, тут же стоящих. Это столь неожиданное над нами милосердие Божие совершилось по молитвам павших здесь мучеников от меча татарского. Явившиеся Екатерине Гавриловне в великом множестве, по ее объяснению, монахи и послушники все в один голос кричали: помогите, помогите! Из этого ясно видно, что мученики жаждут восстановления Церковщины для неусыпного славословия Божия. Мы же, братия, постараемся пролить пот и приложить свой труд к труду над врученным нам от Господа Бога делом; за что, без сомнения, недалеко будем от мучеников, павших здесь. Нужно, братие, помнить то, что это место освящено подвигами преподобного и Богоносного отца нашего Феодосия, который и состоит нам и всем здесь почивающим духовным отцом по делу: он начал, а нам пришлось кончать, по слову Спасителя міра: *ин есть сеяй и ин есть жняй* (Ин. 4, 37). Мы же в жатву его вступили. И скажет св. Феодосий о нас Господу Богу на Втором Пришествии: «се аз и дети, яже ми даде Бог». А потому своя работа по обители прекращается, пожалуйте на расчистку места для храма Божия! Эти благотворительницы дают нам руку помощи: я же надеюсь на вашу любовь и послушание; дело не ждет, нужно расчистить гору».

Радости не было конца: вся братия плакала навзрыд и долго не могла успокоиться. Успокоив плачущих иноков, о. Мануил отправился с

ними на место для расчистки горы под храм, где благословил братию на труд. Это было 5 июля 1907 года.

Глава XXIV

Закладка храма при пещерах. Помощь Божия по молитве Святителю Николаю. Чудесное пожертвование по внушению преподобного Серафима Саровского.

Благословив братию на труд, я поехал к преосвященному Платону. Рассказал ему все происшедшее и просил его назначить день закладки храма. Владыка очень был обрадован моим сообщением и назначил днем закладки 17 июля, так как 20 июля ему уже предстоял отъезд в Америку.

Оставалось, стало быть, всего десять дней. Надо было торопиться. В течение этих десяти дней руками братии — помяни, Господи, труды ее! — было вынуто более ста кубических сажен горы, прокопаны канавы под фундамент, и к 17 июля 1907 года заложен был и самый фундамент.

Сам владыка митрополит Киевский Флавиан пожелал совершить закладку храма, а с ним приняло в этом участие четыре архиерея, четыре архимандрита, а иеромонахов столько, что и не упомню. На торжество пожаловали и профессора Академии, а народу было такое множество, что только одних киевских было более трех тысяч человек. Всем был предложен от обители бесплатный чай и обед. Радость и

подъем духа у всех присутствовавших на торжестве были огромные. В тот же день новой жертвы на созидаемый храм собралось более тысячи рублей.

В том же 1907 году, исключительно трудом братии фундамент был закончен и выведены две стены первого этажа храма, но за недостатком средств дальнейшие работы были приостановлены.

В строящемся храме мы соорудили временную часовню и в ней поставили большую медную чашу с крестом. В эту чашу самонапором струится вода, подаваемая из горных источников. Воду эту мы ежедневно летом, после ранней обедни, освящаем, и в народе она почитается целебною.

В 1908 году Господу Богу и Его Пречистой Матери благоугодно было, по молитвам Святителя Николая, явить Церковщине новое чудо.

На постройку храма было приготовлено в долг 15 тысяч кирпича, постройку же вести средств совершенно не было. По примеру великого моего старца Ионы, я обратился за помощью к Святителю Николаю. В будний день отслужил соборне всенощное бдение, а на другой день после Божественной Литургии двинулся крестным ходом к источнику, к месту заложенного в честь Святителя Николая храма при входе в пещеры. Здесь был отслужен соборне акафист Святителю Николаю и прочитаны с коленопреклонением все три молитвы Святителю.

Через день я получил письмо из Ораниенбаума от одной знакомой мне старушки. Пишет:

«Дорогой батюшка! Приезжай скорее. Я умираю... Получишь 5 тысяч рублей».

За год до письма старушка эта была в Церковщине и обещала оказать помощь в постройке храма. По приезде из Скита домой старушка о своем обещании позабыла. Накануне того дня, когда у нас в Церковщине совершалось всенощное бдение в честь Святителя Николая старушка так заболела, [...] ее к смерти. Тогда же она вспомнила о своем обете и тотчас написала мне письмо, вызывая в Ораниенбаум.

С трудом выхлопотал я себе отпуск и поехал на зов старушки.

Старушку я застал в живых, но уже слабой. Она очень обрадовалась моему приезду, приказала прислуге удалиться из комнаты под предлогом исповеди и вручила мне ренту в 5 тысяч рублей.

— Спаси вас, Господи, — говорила она мне, — что вы приехали. Я так этому рада. Теперь спокойно умру, зная, что вы будете поминать меня в молитвах. Я дала своему наследнику — племяннику — тысячу рублей, а он их пропил. Оставлю ему эти пять тысяч, он и те пропьет, а помянуть меня будет некому.

К этим 5 тысячам жертвовательница прибавила мне еще сто рублей на дорогу.

Вскоре по отъезде моем старушка скончалась, успев пред кончиной своей распорядиться по завещанию отказать Церковщине все свои вещи в двух сундуках пудов в десять весом.

Ренту я продал за 4500 рублей, и на эти деньги был выстроен по плану весь первый этаж

храма при пещерах, были установлены четыре железобетонные колонны и зацементирован потолок.

Но дальнейшие постройки приостановились по случаю Уманского дела: настало время вытаскивать мне из болота, по виденному мною во сне благословению старца Ионы, второе Евангелие, пришел час воли Божией созидать новый Скит во славу Божию и в честь святого Великомученика Георгия Победоносца, что близ города Умани в Киевской епархии. Об этом речь будет ниже, а пока поведаю еще о чуде преподобного Серафима, Саровского чудотворца, находящемся в связи с построением предпещерного храма.

Храм этот, как я уже говорил, был заложен в честь Святителя Николая с двумя приделами. Так как наш пещерный храм был освящен в честь преподобного Феодосия Печерского, то один из приделов новостроящегося храма мною было преднамечено освятить в честь преподобного Антония Печерского. Относительно же того, кому посвятить второй придел, я колебался и не мог сразу порешить. И вот, в одну из ночей августа 1907 года, является мне во сне преподобный Серафим Саровский, вручает 350 рублей [и говорит:]

— Это тебе на постройку храма!

С этим я проснулся. Сердце мое было преисполнено великой радости.

В тот же день, по окончании Литургии, был отслужен молебен преподобному Серафиму.

Не успел я вернуться из храма к себе в келью и выпить стакана чаю, как жалует, смот-

рю, ко мне иеромонах Выдубецкого монастыря о. Петр и вручает мне на постройку храма ровным счетом 350 рублей*. Это было явным для меня указанием свыше на то, что второй придел должен быть освящен великому Божьему угоднику и чудотворцу, преподобному Серафиму, тем более еще и потому, что мой старец Иона, благословивший меня на Церковщину, прожил при ноге преподобного Серафима 8 лет и от него получил указание и благословение на дальнейший путь иноческого своего подвига, а я под руководством старца Ионы прожил 28 лет и им был послан на труды строительства и настоятельства в Церковщину.

Такова одна из тайн Божия домостроительства, в которой предопределил мне Промысел принять посильное участие во славу Божию и Его святого Угодника.

* Сей благословеннейший иерей Божий и впоследствии не оставлял своими [заботами обитель].

ЧАСТЬ III

Глава XXV

О том, как началось созидание Свято-Георгиевского Скита близ г. Умани. Митрофан Коленчук и повесть о нем брата Мирона Кериза.

В созидании храмов Божиих, в особенности же святых обителей, Всемогущий Господь и Его Пречистая Матерь, Заступница рода христианского, невидимою благодатною силою Своею всегда помогали и будут помогать верующим людям до окончания века. Недаром сложилось народное слово: «Храм сам себя строит»...

Так-то, но не без великих скорбей и болезней сердца помог мне Господь, Матерь Его Пречистая и святый Великомученик Георгий построить Скит в честь и славу свою на хуторе Левада, отстоящем от г. Умани Киевской епархии в шести верстах.

Начало этому святому делу было положено крестьянином села Кочержинец Митрофаном Коленчуком. Вот что об этом поведал мне мой келейник, брат Мирон Кериз, друг и сота-

инник Коленчука, уроженец села Подобной Уманского уезда.

«Я был еще юношей, — так сказывал брат Мирон, — это было в 1897 году. Я только что окончил церковно-приходскую школу и стремился всей душой к продолжению дальнейшего учения. Желание мое было поступить в какое-либо среднее учебное заведение, но бедность родителей моих заставила прекратить учение, и в 1903 году я занял должность сидельца в казенной чайной лавке в г. Умани, где и прожил до 1910 года. Тут я и познакомился с Коленчуком. Он в то время служил сторожем в уманской вольно-пожарной дружине. Коленчук часто заходил ко мне, так как здание, где помещалась вольно-пожарная дружина, находилось неподалеку от чайной. От людей я слышал, что Коленчук копал какие-то пещеры. Я очень этим заинтересовался и несколько раз при удобном случае просил его рассказать мне, что побудило его этим заниматься. Долго он не хотел признаваться мне в этом, но потом по неотступной моей просьбе рассказал мне обо всем подробно. Вот что я от него услышал:

«Пещеру я копал лет десять тому назад, еще будучи юношей. Мне часто приходилось пасти лошадей по ночам на хуторе, называемом Углярки-Левада. Хутор этот прилегает к казенному лесу... В одну ночь я въяве, а не во сне увидел чудесное явление: от земли к небу в одном месте восходил огненный столб. Со мною были товарищи. Я говорил:

«Смотрите-ка: что за чудо? Видите: там столб огненный».

Но они никакого столба не видели и начали смеяться надо мной, думая, что я хотел их обмануть. И я видел, как столб этот, постояв некоторое время на месте, стал медленно подниматься вверх и наконец скрылся в облачном небе.

Явление это глубоко запало мне в душу.

Прошло некоторое время. На том же месте явление это повторилось, и оно было видимо только мне одному. Поразило оно меня еще больше прежнего, но я не мог понять, что бы оно значило.

Вскоре после того явился мне во сне старец с бородой, борода рыжеватая.

«Митрофан, — сказал он мне, — иди, копай пещеру на том месте, где ты видел огненный столб».

По этому видению я несколько раз ночью ходил на то место, чтобы начать копать пещеру, но всякий раз на меня нападал такой страх, что я не в силах был продолжать начатой работы. Место было пустынное, да к тому же чрез него пролегала большая дорога, и я боялся, что меня заметят. Работу, таким образом, пришлось оставить.

Прошло после того много времени. О пещере я забыл и думать. Я успел жениться и обзавелся своим хозяйством. И вот, в одну ночь является мне во сне тот же старец и строго мне говорит:

«Я до тебе буду довше ходыть. Иды и копай! Я сам тоби покажу, як копать».

Несмотря на вторичное явление мне старца и строгое его приказание, я не мог все-таки решиться идти копать пещеру: все чего-то боялся.

И вот явился мне этот старец во сне в третий раз. В руках у него была палка.

«Иды ж, копай!» — сказал он мне грозно и при этом ударил меня два раза палкой.

От этих ударов я проснулся и почувствовал боль в тех местах, по которым меня старец ударил.

В ту же ночь, когда жена еще спала, я потихоньку вышел из дома, взял железную лопату и пошел копать пещеру на указанном месте. Копать мне было необыкновенно легко, точно кто помогал мне в этом. И вот, с тех пор я каждую ночь тайком проводил за этой работой. Но, несмотря на все мое старание сохранить тайну, я не мог укрыться от своего семейства, и оно, заметив частые мои отлучки по ночам неведомо куда и зачем, стало прятать от меня и обувь и одежду. Но это не помогло: я так предался своему делу, что даже в зимнюю пору в одной рубахе убегал в пещеру, где и проводил время без пищи и пития, неустанно работая.

Вскоре о моих ночных подвигах стало известно многим. Прошло уже около месяца с тех пор, как я начал копать пещеру, и хотя я, чтобы скрыть свою работу от стороннего глаза, разносил вынутую из пещеры землю по полю, несмотря на это, я был замечен, и ко мне стали приходить желающие со мной вместе

потрудиться ради святого дела. Я никому не отказывал.

«Трудись, — говорю, бывало, — во славу Божию, если тебя на это привела сюда Царица Небесная».

Желающих потрудиться во славу Божию было так много, что слух об этом прошел далеко за окрестности. Народ потянулся к пещере вереницей, неся с собой кто хлеб, кто одежду, а кто и святые иконы. Хлеб и одежду я раздавал приходящим нищим, а святые иконы поставил в нишах пещеры. И стали перед ними возжигать лампады и читать псалтирь.

Узнав о неусыпном чтении псалтиря в пещере, народ начал, кроме хлеба и вещей, приносить и деньги. В день стало поступать доброхотных приношений деньгами до ста рублей и более. Деньги эти я не задерживал у себя, а при первой возможности старался раздать нищим. Но тут нашему делу позавидовал враг-диавол, и открылось гонение. Нашлись люди, которые о начинании моем довели до сведения местных властей на основании якобы того, что пещера может обвалиться и задавить приходящих. Полиция не замедлила явиться на место и запретила копать пещеру.

Несмотря на запрещение, народ не перестал, однако, приходить к пещере, и я, зная, что никакого обвала произойти не может, стал по-прежнему продолжать начатое дело. Диавол опять вмешался. Опять наехала полиция, пришло несколько пьяных мужиков; меня связали, взвалили на телегу, сверх меня положили

деревянный крест, стоявший при входе в пещеру, и повезли в город, а народ весь разогнали. Из города меня, как умалишенного, отправили в Киев, в Кирилловскую больницу.

Что я перенес тогда, про то знает Один только Господь Бог. Недаром сказано в Писании: «Аще хощеши работати Господеви, уготови душу во искушение».

В больнице мне стали давать лекарство. Чувствуя себя здоровым, я от лекарств отказывался и не хотел их принимать. Тогда мне стали железом разжимать зубы и насильно вливать в рот лекарство. Пришлось подчиниться врачам и принимать добровольно их снадобья, веруя слову Спасителя, сказавшего, что «аще что и смертное испиют, не вредит их». И, действительно, лекарства их ничем мне повредить не могли.

По ночам, когда все больные засыпали, я становился на молитву. Но это было замечено, и, конечно, как вредное, по мнению врачей, для здоровья, было запрещено.

Тогда я стал проситься у мучителей своих, чтобы они мне разрешили ходить на какую-нибудь работу. Это было мне разрешено, и я стал ходить на кухню чистить картофель.

Пока я томился в заточении, нашлись добрые люди и стали хлопотать об освидетельствовании меня и об отпуске домой. Назначена была комиссия, которая признала меня здоровым, я был отпущен на все четыре стороны и благополучно прибыл домой».

Глава XXVI

Продолжение повести брата Мирона Кериза.

«17 февраля 1906 года, — так продолжал рассказ свой брат Мирон, — зашла ко мне утром в чайную женщина, прилично одетая, лет приблизительно сорока от роду, роста выше среднего. Судя по одежде, она походила скорее на монахиню, чем на мирскую горожанку. Войдя в чайную, она поздоровалась со мною и назвала меня по имени. На мой вопрос, откуда она знает меня, она ответила, что знает меня уже три года.

— Я, — говорит, — послана к вам покойным Антонием болящим. Он жил в Грановском монастыре, Подольской губернии, Гайсинского уезда. Год тому назад он скончался.

Я на это ей ответил, что с Антонием знаком не был и даже не слыхал о нем, и просил объяснить, по какому же делу она прислана ко мне. Женщина эта на мой вопрос дала мне понять, что это тайна, о которой на людях говорить неудобно. Я собирался в то время идти за покупками для буфета чайной и пригласил ее с собой. Дорогой она мне сказала:

— Антоний болящий, когда еще был жив, сказал мне: «Ровно через год после моей смерти пойди в Умань к Мирону, и пусть он напишет и издаст в пяти тысячах экземпляров все то, что я тебе скажу». Я стала отказываться, говоря, что не знаю вас. На это он мне сказал: «Когда приедешь в Умань, то на пути от

станции ты увидишь женщину, несущую воду. Имя ей будет Мелания. Муж у нее пьяница, но сама она женщина благочестивая. Эта женщина укажет тебе того Мирона, о котором я тебе говорю». Так и вышло: эта женщина мне и указала вас.

Услыхав, что мне предстоит что-то написать и издать, я подумал: не прокламации ли какие-нибудь? В том году наше отечество особенно ими наводнялось: революционная пропаганда сеялась повсюду, и в мои руки попалось несколько таких прокламаций, которые я немедленно же и представил в полицию. Тотчас пошли допросы, дознание, откуда они ко мне попали; а тут в чайную ко мне забрело как-то пять человек революционеров, с ними была и женщина. Я поставил им закуску, а сам пошел заявить о них в полицию. Но пока я ходил и вернулся с урядником в чайную, их и след простыл. Всем этим я был так напуган, что когда незнакомка эта стала мне говорить об издании чего-то, в голове моей мелькнуло: уж не товарка ли она тех революционеров и не собирается ли она и меня запутать в их сети? И только успел я об этом подумать, как она уже мне на мою мысль ответила:

— Что вы, брат Мирон, сомневаетесь? Не думайте, что я какая-нибудь революционерка: я к вам прислана совсем по другому делу. В этом вы сами убедитесь, когда будете писать.

Я был поражен такой прозорливостью, стал извиняться и просить, чтобы она мне открыла

свою тайну, но она повела речь совсем о другом и о тайне своей ничего не сказала.

В это время мы уже были с ней в центре города. Спутница моя вдруг указала мне на городские здания да и говорит:

— Смотрите, какие дома, какое устройство! Все это разрушится — не останется камня на камне. А через три года в окрестностях Умани будет явление чудотворной иконы Божией Матери и откроется монастырь.

Я тут же подумал: не на том ли месте, где Митрофан Коленчук копал пещеры, но спросить не осмелился, так как спутница моя говорила, как власть имеющая или как пророчица. Но на мои мысли она ответила, что здесь и монастырь будет.

— В этот монастырь будет большое стечение народа: архиереи, генералы, монашество, духовенство, гражданское и военное начальство, князья, и даже сам Государь посетит его со своей свитой, и будет там много чудес. Монастырь устроится за третьим разом, и первые его благодетели сделаются его же первыми врагами. Но Господь сказал: созижду Церковь Мою и врата адова не одолеют ей.

Теперь, брат Мирон, идите домой, запасайтесь бумагой и чернилами, а завтра пораньше приходите сюда: я здесь буду вас ожидать, а пока подыщу себе квартиру.

Я предложил ей было три рубля на квартиру, но она отказалась и просила только не говорить никому ничего.

Такое желание тайны опять навело меня на мысль, не революционерка ли она, и я вновь настроился подозрительно против нее. Когда я вернулся домой, то пригласил к себе одного знакомого, рассказал ему о таинственной незнакомке и попросил его совета, как мне поступить в дальнейшем. Знакомый мне советовал быть с нею как можно более осторожным, и, по совету его же, я хотел было пригласить кого-либо из полиции, чтобы он тайно проследил за нами, когда я буду писать за этой женщиной то, что она мне будет говорить.

На другой день утром — это было 18 февраля 1906 года, я спешно стал собираться идти на условленное место свидания, но вчерашняя моя собеседница меня упредила и сама пришла ко мне в чайную. Она, видимо, была чем-то встревожена.

— Часов в двенадцать ночи, — сказала она мне, — когда я еще не успела заснуть, явился ко мне вдруг страшный зверь. Из пасти его восходил огонь. Разинув пасть, он бросился на меня, но я не растерялась и сотворила на себе крестное знамение. Страшилище исчезло. Утром же, когда я проснулась, то увидела на стене надпись: «Не пишите завтра, а то будете арестованы. Писать будет иной». Я и пришла предупредить вас об этом. Тому же, что я вам говорила, я хочу, чтобы кто-нибудь был свидетелем. Позовите кого-нибудь.

Я позвал Митрофана Коленчука.

Когда Митрофан вошел в чайную, она взглянула на него и сказала:

— И вы много претерпели за имя Христово.

А Митрофан ее никогда и в глаза не видал. Подумав же, что она знает о нем от меня, ответил:

[Обрыв страницы. —*Ред.*]

— Терпи, — сказала она ему, — до конца. Я вас призвала, чтобы вы были свидетелями тому, что я была у брата Мирона.

На вопрос же его, в чем же дело, ответила:

— После узнаете.

Когда женщина эта собралась уходить, я спросил ее имя и фамилию. Она сказала, что зовут ее Анной. Она назвала и фамилию, да я забыл. Приглашала она меня в село Россоши Уманского уезда, где она собиралась служить панихиду по усопшем Антонии болящем и где должно было совершиться в это время, по ее словам, какое-то чудо, но я не согласился... На третий день Пасхи ко мне зашел незнакомый человек, спросил мое имя, а затем сказал, что чудо на панихиде было, и вслед поспешно скрылся.

Спустя год я написал к женщине этой в Россоши письмо и послал его с Митрофаном Коленчуком. Митрофан навел о ней справки. Она действительно оказалась там живущей, но кого только он о ней ни спрашивал, все говорили, что она сумасшедшая.

Когда Коленчук вошел к ней в дом, она с места встретила его такими словами:

— Чего ты пришел ко мне? Мне твое письмо не нужно. Я знаю, от кого оно. Почему он не исполнил того, что я ему велела?

Затем она стала говорить какие-то непонятные слова. Митрофан застал ее одетой в одной грязной рубахе. Жители Россошей говорили ему, что она уже давно больна и никуда не ходит, но это была та самая женщина, которая являлась ко мне.

Что это за человек, Бог весть, но только кое-что из предсказанного ею уже исполнилось: на месте, где была пещера Коленчука, уже возносятся молитвы около ста человек братий новоустроенного там мужского Скита в честь святого Великомученика и Победоносца Георгия.

Сбудутся ли другие ее предсказания, покажет будущее, которое всецело в руках Божиих».

* * *

«Это мне, — сказывал так старец мой, батюшка о. Мануил, — поведал брат Мирон, и с его слов это было записано в особой тетрадке, тетрадка эта и доднесь сохраняется у меня как материал для истории Скита, если будет на то изволение Божие».

Глава XXVII

Продолжение истории созидания Св.-Георгиевского Скита.

По выходе из больницы Митрофан Коленчук предуказанного ему места подвига не только не оставил, но замыслил нечто значительно большее, чем копание пещеры. Руководству-

ясь всем, что для него являлось как бы внушением свыше, он обратился ко всем знаемым и сочувствующим ему с предложением пожертвовать от своих земельных угодий хотя бы по малому участку под постройку на избранном месте монастыря, но не женского, о котором предсказывала брату Мирону раба Божия Анна, а мужского. Призыв этот не остался гласом вопиющего в пустыне: благочестивых жертвователей нашлось двое кочержинских и двенадцать уманских крестьян. Они выразили готовность пойти навстречу доброму начинанию и из своих земель назначили 8 десятин и 1500 кв. сажен для будущего монастыря.

После этого Митрофан Коленчук отправился в Киев искать строителя обители. Обошел он все Киевские монастыри, но не обрел ни в одном желающего принять на себя такой подвиг, потому что жертва крестьян была слишком скудна. Некоторые старцы Киево-Печерской Лавры указали Коленчуку на меня.

— Попробуй, — говорили они, — сходи к о. Мануилу в Церковщину: не возьмется ли он?

Пришел он ко мне. Я выслушал его просьбу и сказал ему:

— На сие великое и святое дело на малом участке земли, да еще без всяких средств, никто не согласится. На устройство обители требуются большие затраты как деньгами и иными средствами, так и трудом, а у вас нет ничего.

Стал меня Коленчук уверять, что за этим дело не станет: жертвователей найдется много, было бы лишь начато дело.

— Ну, — говорю, — приводи своих жертвователей, потолкуем — увидим.

Вскоре явилось ко мне восемь человек от числа жертвователей. Первым долгом помолились в храме Царице Небесной, потом пришли ко мне. Церковщина и все ее порядки, начиная с пения и чтения, так им пришлись по душе, что усердие их воспламенилось еще более. Выслушал я их просьбу и направил за советом к преосвященному Платону, тогдашнему ректору Духовной академии и моему начальнику [обители] по зависимости ее от академического Киево-Братского монастыря. [Сразу после разговора с ними я сам] поехал к Владыке и все ему поведал, не исключая и своих сомнений:

— Что ж, — говорю, — делать, Владыко?

— Что Бог ни делает, — отвечает он, — все к лучшему. Я вам, батюшка, не советую отказываться. Предайтесь совершенно воле Божией: Господь и Пречистая Его Матерь все устроят.

Пока шла у нас с Владыкой беседа, пришли крестьяне-жертвователи. Преосвященный вышел к ним, благословил, выслушал и сказал:

— Весьма радует меня, что вы от земельной скудности своей жертвуете на святое дело половину. В простых сердцах почивает Бог. Бог вас да благословит, а вы просите этого старца: он вам все устроит.

И указал на меня.

Поклонились крестьяне Владыке, получили его напутственное благословение и отбыли

на родину, а я остался лицом к лицу пред новым крестом.

Так началось мое Уманское дело. Было это ранней весной 1907 года.

Глава XXVIII

Хлопоты по созданию Георгиевского Скита. Вражьи козни.

После этого, в последних числах марта 1907 года, я, по благословению преосвященного Платона, поехал в Умань осматривать землю, даримую крестьянами под монастырь. Жертвователи встретили меня на вокзале с хлебом-солью и пригласили в приходское училище, чтобы там заняться обсуждением нашего дела.

— Не по моим дело это силам и способностям, — сказал я крестьянам, — но помощью Божиею и Пречистой Богоматери, за святое послушание, общими силами, Господь поможет создать и осуществить задуманное. Помолимся прежде всего Царице Небесной «Нечаянной Радости», да поможет нам Заступница рода христианского совершить задуманное вами великое и святое дело. Трудов и скорбей будет много, ибо диавол не престанет творить нам козни и препятствия, а человек без благодати Божией, что рыба без воды, сам собою ничего не может.

Отслужил я молебен Царице Небесной. С великим умилением и верою пели тогда молившиеся со мной припев [акафиста]:

«Радуйся, нечаянную радость верным дарующая».

Верили мы и уповали, что не посрамит веры нашей Царица Небесная.

Помолившись Богу, мы сели пить чай, и тут же под диктовку слепого адвоката Евдокима Андреевича Андреева учительница школы Христина Ивановна написала от имени жертвователей заявление на жертвуемую землю.

На другой день я поехал осматривать эту землю, известна она под именем Левада. Слух об этом немедленно же разнесся по городу. Пошли сплетни, кто во что горазд, и когда я вернулся в Киев, то за мною вслед поспешила и кляуза в виде прошения в консисторию со стороны местного белого духовенства, жаловавшегося на то, что я смущаю темный народ, поместился без дозволения в приходском училище и без разрешения местного священника служил там молебен с акафистом Божией Матери. В народе возбуждено-де этим волнение и всякие толки. Сообщая об этом, жалобщики просили подвергнуть меня взысканию, как возмутителя народа.

Я по жалобе этой был вызван в консисторию для объяснений. Объяснение свое я дал, начав с того, что совершил я эту поездку с благословения своего начальства, преосвященного владыки Платона, и к объяснению своему добавил:

— А если вам неугодно, то я брошу это дело. Это сделать тем легче, что средства на него таковы, что на них ничего и сделать-то нельзя: ни земли достаточно, ни денег; а какая есть земля, то она вся в клоках по разным местам.

На мое счастье принимал от меня объяснение достойнейший член консистории, протоиерей о. Павел (впоследствии епископ Чигиринский). Выслушал он меня, понял, откуда сие, и сказал:

— Бог благословит. Дело это хорошее. Только держитесь и поступайте осторожнее, чтобы не возбуждать против себя местного духовенства.

Тем дело на этот раз и кончилось.

Узнав, что в консистории по-ихнему не вышло, жалобщики написали на меня обширный доклад самому владыке митрополиту Флавиану. Благостнейший архипастырь вызвал меня к себе и по виду весьма сурово принял меня.

— Чем это ты возмущаешь и бунтуешь народ? — сказал он. — Вот послушай-ка, что на тебя пишут.

И стал мне Владыка читать, что было в жалобе написано. Кости мои трепетали от стыда и ужаса, слушая, какая нанесена была на меня в ней клевета и ябеда от врага рода человеческого.

Выслушав мое объяснение, Владыка-митрополит согласился с тем, что в деяниях моих не было ничего ни предосудительного, ни незаконного, и заметил при этом, что рано ли, поздно ли, а в Умани быть монастырю, так как Уманский епископ со временем должен будет жить в Умани, а без монастыря жить ему негде.

— Ну, Бог тебя благословит, — сказал мне и митрополит, — будь только поосторожнее с

этим делом и не возмущай против себя белого духовенства.

Горько заплакал я при этих словах Владыки, поклонился ему в ноги и сказал:

— Неповинен я в этих обвинениях ни в чем. Вы сами, Владыко, знаете, что это не что иное, как козни диавола, который не желает допустить до святого начинания.

Ушел я от митрополита со слезами, не видя перед собою дороги, и пошел на хоры в Великую церковь. Пал я там на колени пред чудотворной иконой Божией Матери и стал Ей слезно молиться, прося помощи и заступления. «Матушка, Царица Небесная, — вопиял я к Ней со слезами, — Ты Сама была строительницею сего храма и поныне управляешь сею святою обителью. Прошу и молю Тебя, Матушка, приими меня под Свой покров и руководи мною, яко Сама веси и хощеши».

Так помолился я и после молитвы на душе своей почувствовал такую необыкновенную радость, что, аки крилатый орел, не пошел, а полетел к преосвященному Платону, которому и рассказал подробно все бывшее у митрополита. Преосвященный меня успокоил, а сам немедленно поехал к митрополиту, велев мне быть у него на следующий день. Когда на другой день я был у владыки Платона, то он меня встретил словами:

— Ничего не бойтесь. Владыка-митрополит благодушно к вам настроен и даже смеялся, когда рассказывал мне о вас. «Ну, — говорил он, — и перепугал же я вашего Мануила...»

Не бойтесь же ничего, — сказал мне преосвященный Платон, — Бог благословит.

Так и на этот раз был посрамлен ненавидяй добра враг диавол.

Глава XXIX

Первое прошение жертвователей. Официальный ход Уманскому делу. Дивное чудо милости и помощи Божией.

Крестьяне-жертвователи, тем временем, не покладали рук на пользу святого дела и успели собрать и прибавить к прежнему пожертвованию еще 3 десятины земли — всего, стало быть, 11 десятин 1500 кв. сажен.

5 апреля 1908 года от них поступило на имя митрополита такое прошение:

> «Его Высокопреосвященству Члену Святейшего Правительствующего Синода Высокопреосвященнейшему Флавиану, Митрополиту Киевскому и Галицкому, Священно-Архимандриту Киево-Печерския Лавры

крестьян: жителя села Кочержинец Уманского уезда, Киевской губернии Антона Коленчука; жителей предместья г. Умани: Христины Ивановны Янчинской, Мефодия Семеновича Адаменка, Евфимия Афанасьевича Чаплаусского, Поликарпа Исидоровича Чаплаусского, Ивана Ивановича Чаплаусского, Василия Ивановича Колесниченка, Игнатия Антоновича Ковален-

ка, Михаила Янкового, Параскевы Николаевны Чаплаусской и жителя с. Громы, Уманского уезда, Мефодия Андреевича Рябина

Прошение

Господу Богу и Царице Небесной угодно было явить пред некоторыми благочестивыми людьми Свои чудесные знамения на хуторе Левада, находящемся в 6–7 верстах от Умани. На этом месте многие из крестьян удостоились видеть такие чудесные явления, как восходящую от земли на небо церковь, огненный столб, простирающийся до облаков, икону Божией Матери, нисходящую с небес. Некоторые слышали подземный колокольный перезвон. Местность эта представляет неглубокую балку, обрамленную казенным лесом и замечательную по красоте своего местоположения. В середине ее протекает небольшой ручей с чистой родниковой водой, пользующейся у нас целебной известностью. По пролегающей вблизи дороге, на поклонение Киевским святыням, во множестве проходят богомольцы, которые, обыкновенно, отдыхают здесь и часто остаются на ночлег. Этим воспользовались штундистские вожаки соседних сел Киевской и Херсонской губерний и стали являться к месту отдыха православных путников. Своими [...] не одна уже душа, таким образом, погибла для Православной Церкви.

Движимые ревностью к Святой Православной вере и видя перст Всеблагого Промыслителя, чудесными знамениями указующий, где должна воссиять благодать Божия для ограждения

и укрепления веры отцов наших, мы, в числе многих других жителей окрестных местностей, возымели искреннее желание, чтобы на сем месте вознесся Крест Христов и чтобы место это навсегда оставалось святыней Православия и оплотом веры Православной против пагубных сектантских учений. С этой целью мы приобрели означенную Леваду и сверх того предназначили для той же цели из нашей, расположенной вблизи, собственной земли 8 десятин 1500 кв. сажен, а с Левадой 11 десятин 1500 кв. сажен. Всю эту землю мы жертвуем в собственность Скита Пречистыя в Церковщине, дабы на ней первоначально была построена часовня с жилыми помещениями для иноков, а потом и общежительный мужской монастырь, что настоятельно необходимо для местных православных жителей уже и потому, что в окрестности на большом протяжении нет монастырей.

С чувством глубокого смирения просим о принятии оного дара и о назначении начальником и строителем часовни иеромонаха Мануила, начальствующего в Ските Пречистыя. Дерзаем просить о сем, движимые чувством христианского восторга пред благолепием служения и церковного пения, слышанного нами и другими в храмах Скита Пречистыя, и желая иметь у себя обитель, где бы местные люди могли слушать то же истовое уставное служение и прекрасное церковное пение и получить душевное назидание и руководство к жизни благочестивой».

На прошении этом его Высокопреосвященству 10 апреля 1908 года за № 1731-м благоугод-

но было положить резолюцию: «На рассмотрение консистории».

Духовная консистория на основании этой резолюции при постановлении своем от 12 мая 1908 года за № 13045 препроводила прошение благочинному 4-го округа Уманского уезда, священнику о. Лаврентию Крижановскому на заключение и для беспристрастного отзыва о чудных явлениях на хуторе Левада.

Таким образом, было положено начало официальному ходу Уманского дела.

Пока прошение крестьян-жертвователей находилось у бла[гочинного Владыки... За это] время жертвователи подыскали еще участок земли, расположенный возле уманского вокзала и заключающий в себе 10 десятин по цене 250 рублей за десятину. На покупку этой земли они собрали между собой 700 рублей, которые и внесли в задаток; остальной же суммы уплатить не могли за неимением средств. Обратились они ко мне за помощью.

— Что вы, — говорю, — братцы? Не то что двух тысяч, у меня и двухсот рублей нет.

Приуныли мои жертвователи. Что делать, как быть? Не пропадать же задатку, да и земля-то по всему удобная, лучше и придумать нельзя.

— Не будем, — говорю, — унывать, рабы Божии. Если дело это Богоугодное, то Всеблагий Бог и Его Пречистая Матерь невидимою рукою пошлют средства. Тогда мы сугубо будем уверены, что начатое дело есть от Бога.

По возвращении своем на родину жертвователи известили меня, что продавец земли

Дрозденко уезжает в Сибирь на вольные земли и долее трех дней ожидать не может и что на его землю есть уже другие покупатели, которые дают ему по 300 рублей за десятину, но с рассрочкой платежа на три года, чего Дрозденко не хочет, желая получить наличными.

Известие это я получил телеграммой, и — о велие чудо Божие! — вместе с этой телеграммой повестку из Государственного банка на перевод 2000 рублей на мое имя на нужды Скита из Харбина от совершенно неизвестного мне лица.

Не в первый раз приводилось мне получать свыше явным чудом милость Божию, но и я был потрясен совершившимся. Ведь подумать только: едет человек в Сибирь, ждать не может, а тут из той же Сибири одновременно и для него, и для нас развязка по делу святому и Богоугодному!.. Без умиленной и благодарной слезы к Богу и Матери Его Пречистой я и доселе об этом чуде вспомнить не могу.

Впоследствии узналось, что жертвователем этих денег был умирающий в одном из харбинских госпиталей солдат. Умирал он от ран, а в Государственном банке у него хранилось 7000 рублей. В госпитале работала в качестве сестры милосердия одна монахиня Е.: она и посоветовала ему 5 тысяч послать на Афон, а 2 тысячи в Скит Пречистыя.

И надо же было быть тому, что ровно столько, сколько нам было нужно — ни копейкой больше, ни копейкой меньше. Дивны дела Господни!

Глава XXX

Второе прошение крестьян-жертвователей Митрополиту. Дознание о чудесных знамениях на месте пещеры Коленчука. Преграды к созданию Скита.

Крестьяне-жертвователи, получив 2000 рублей, сейчас же внесли их продавцу в уплату за землю, совершили купчую крепость на имя одной из благотворительниц Христины Ивановны Янчинской и купчую эту представили митрополиту Флавиану при следующем прошении:

«В первых числах апреля 1908 года нами было подано Вашему Высокопреосвященству прошение с приложением документов на участки земли, расположенной между селами Кочержинцы и Громы Уманского уезда, каковые участки мы возымели желание принести в дар Скиту Пречистыя в Церковщине в лице начальника оного, иеромонаха Мануила, почему и просили архипастырского ходатайства Вашего Высокопреосвященства об испрошении Высочайшего соизволения на закрепление за упомянутым выше Скитом даримой нами земли для устройства на оной мужского монастыря.

Ваше Высокопреосвященство, любвеобильный архипастырь и отец! Приносимый нами дар вызывается тем, что мы, будучи движимы чувством беспредельной преданности нашей Матери, Святой Православной Церкви, скорбим о том, что нас окружают как местные, так и шатающиеся самозванные проповедники, желая сбить кого-либо с пути истинной Право-

славной веры, а местные власти смотрят на это равнодушно. Мы, к великому нашему прискорбию, не находим тех высоких христианских идеалов, которые бы укрепляли нас в Православной вере, так как в приходских церквах все Божественные службы совершаются с большой поспешностью и то не каждый день; иногда и в праздничные дни, по случаю болезни священника или по каким-либо другим причинам, остаемся и вовсе без Богослужения. Поэтому невольно иногда переносимся мыслью в Киевские святыни, где так много тех примерных монастырей, в которых Богослужение совершается торжественно и располагает душу к молитвенному настроению. Мы избрали более выдающийся порядок Богослужения в Ските Пречистыя в Церковщине. Желает душа наша, точно елень на источники водные*, видеть у себя те высокие примеры духовно-просветительного порядка, которые мы видели и слышали в Ските Пречистыя.

На основании изложенного мы, желая более обеспечить Скит Пречистыя в Церковщине, вновь приобрели покупкой на Христину Ивановну Янчинскую в Ивангородском предместье г. Умани, вблизи вокзала, усадьбу с постройками и участком пахотной земли количеством в 10 десятин, каковой участок мы приносим в дар тому же Скиту. Представляя при сем документ и план на землю, честь имеем смиреннейше просить Ваше Высокопреосвященство принять на себя милостивое архипастырское ходатайство

* Пс. 41,2.

об испрошении Высочайшего соизволения на закрепление за Скитом Пречистыя в Киевской епархии, кроме вышеупомянутых участков, и сего даримого нами участка земли в количестве 10 десятин с находящимися на оном постройками».

Владыка-митрополит направил прошение в консисторию, а та потребовала от благочинного незамедлительного представления подробных сведений о чудесных явлениях на хуторе Левада. Благочинный же все медлил и требуемых сведений не доставлял. Тогда уже сами крестьяне взялись за это дело и настояли пред благочинным о скорейшем исполнении предписания консистории. Тогда только и дан был делу надлежащий ход путем опроса лиц, видевших чудесные явления. Эти лица под присягой показали:

1) Крестьянин с. Громов Пимен Запорожец: 28 декабря 1907 года он возвращался из г. Умани часов в шесть вечера и видел над тем местом, где были ископаны пещеры Митрофаном Коленчуком, огненное пламя, сиявшее над тем местом наподобие пожара, а затем вытянувшееся в огненный столб, державшийся в воздухе минут двадцать, затем постепенно померкнувший.

2) Крестьянин с. Громов Нестор Джевач: в субботу, пред новым годом, он возвращался из г. Умани и видел над местом, где пещера Митрофана Коленчука, огонь в виде хмарки (тучки), которая поднималась все выше и выше, наконец обратилась в огненный столб, который начал садиться все ниже и ниже и наконец исчез минут через двадцать после появления.

3) Крестьянин с. Громов Игнатий Янковый: года два тому назад он с братом пас лошадей в поле. Время было осеннее. За два часа до рассвета, проснувшись, они пошли разыскивать лошадей, и вдруг, саженях в тридцати от них, левее Митрофановых пещер, из земли поднялся огненный столб, очень яркий. Они испугались, повернули назад, и когда оглянулись опять, то столба уже не было. На другой день они осматривали всю местность и никакого горючего материала или остатков от него вроде пепла не нашли.

4) Крестьянка с. Громов Евгения Пироговская: за неделю до праздника Рождества Христова она с мужем ехала в г. Умань на рассвете и видела над тем местом, где находятся пещеры Митрофана, икону Божией Матери, которая в виде яркого облака спускалась с неба. Икона была четырехугольная, размером в квадратный аршин. Лик Богоматери она видела ясно. Икона опустилась и скрылась в лесу, и сейчас же по всему лесу покатился туман*.

Представляя дознание свое и всю переписку, благочинный о. Крыжановский донес Духовной консистории, что по делу постройки монастыря создалось в той местности серьезное движение, которое-де возбудил и поддерживаю я в каких-то, надо думать, своекорыстных видах. Чтобы поддержать в народе веру в затеянное дело, о. Мануил-де распорядился начать на Леваде какую-то постройку. Жертвователи

* Дело № 198-1908 г. Киевской Дух[овной] консистории, по 3-му столу.

объявили, что это строится дом на тот случай, что когда приедут архиереи для закладки монастыря, то, чтобы было место, где остановиться. «При таком положении дела, — пишет благочинный, — прекращать его было невозможно, так как это повело бы к какому-то серьезному брожению в народе, которым бы заинтересованные лица постарались воспользоваться, чтобы его раздуть с целью произвести давление на высшую епархиальную власть».

Для выхода из такого положения благочинный о. Крыжановский предлагал такую меру.

Чтобы не оскорблять добрых чувств истинных жертвователей и не создавать почвы для разных нашептываний, следует объявить жертвователям, что дар их принимается с благодарностью, но что епархиальное начальство, минуя о. Мануила, само уже позаботится о том, чтобы жертвуемая земля как можно лучше была использована для блага Церкви и местного населения и чтобы имена жертвователей не были забыты в молитвах пред Престолом Божиим. Жертвуемую же землю лучше всего отдать в распоряжение миссионерского комитета, которому и поручить представить свои соображения, какое лучшее назначение дать земле. Что же касается его, благочинного, личного мнения, то он бы полагал, что на жертвуемом месте удобнее всего было бы устроить временную (дачную), если не постоянную, резиденцию архиерея с домашней, возможно больших размеров церковию. Здесь же можно было бы устроить и дачные помеще-

ния с даровым содержанием для епархиальных миссионеров, где, действительно, среди прекрасной природы эти истинные труженики на ниве Христовой могли бы иметь временный отдых и запасаться силами для дальнейшего своего труда. Средства на все это, если бы не хватило местных, могли бы дать монастыри и церкви епархии. Архиерейские соборные служения, с прекрасным чтением и пением, для чего на место можно было бы командировать чтецов и певцов из монастырей, живое апостольское слово миссионеров — все это привлекало бы сюда всегда массу богомольцев из разных классов. Помимо этого, сюда можно было бы устраивать нарочитые паломничества и массовые крестные ходы из соседних сел, чему благоприятствовала бы масса праздников весенних и летних, свободное от работ время и присущая православному человеку любовь к паломничеству.

Таково мнение о. благочинного: все, что угодно, но только не монастырь и не о. Мануил.

Кончает свое донесение о. Крыжановский тем, что не желает вдаваться в подробности того, что могла бы здесь хорошего создать миссия, ибо это преждевременно да и не дело-де это его компетенции, «но, — пишет он, — не надо быть пророком, чтобы предсказать, что миссия создала бы здесь действительно оплот Православия и что Крест Христов возвысился бы здесь на страх врагам Церкви, а не на поругание, о чем так старается о. Мануил с жертвователями».

Получив донесение благочинного, епархиальное начальство определением своим от 6 октября 1908 года постановило:

«Объявить лицам, ходатайствующим об учреждении мужского монастыря вблизи г. Умани на жертвуемой ими для сей цели земле в количестве 11 десятин и 1500 кв. сажен:

а) что ввиду отсутствия средств, необходимых для сего дела, разрешение сего вопроса представляется преждевременным;

б) что жертвуемая ими земля временно может быть причислена к Скиту Церковщина;

в) что для исходатайствования Высочайшего соизволения на закрепление их жертвы за сим скитом они должны представить в консисторию надлежащие документы; и

г) что до передачи установленным законным порядком выстроенного ими на одном из участков вышеупомянутой земли дома в духовное ведомство предполагаемый ими крестный ход не может быть разрешен епархиальным начальством».

На определении сем преосвященный Феодосий, заместитель епископа Платона по должности ректора Академии — настоятель Киево-Братского монастыря и в то же время епископ Уманский, положил такое мнение:

«Как настоятель Братского монастыря, к которому причислен Скит Церковщина, считаю возможным согласиться с постановлением консистории»*.

---

* В этом месте при первоначальном наборе, вероятно, был допущен незначительный пропуск текста. — *Сост.*

«...Определение консистории и мнение преосвященного Феодосия резолюцией Владыки-митрополита 21 февраля 1909 года за № 683 утверждаю, а указом Духовной консистории от 4 марта 1909 года за № 6028 объявлено жертвователям».

Таковы были препятствия к осуществлению великого и Богоугодного дела строения новой обители иноков, которые восстали в самом начале ее возникновения. Но так строились на Святой Руси все монастыри, на создание которых свыше изъявлялась Божественная воля: пот, слезы и даже кровь — вот то основание святым обителям, егоже положи во власти Своей и утверди Господь, дондеже определил Он стояти им и строитися на Святой Руси*.

Таков удел и всем хотящим благочестно жити.

Глава XXXI

Посещение епископом Феодосием Левады. Новый ход делу устроения Уманского Скита. Неожиданное искушение. Божие наказание и вразумление искусившемуся и его раскаяние. Вящее прославление Имени Божия. Вражье искушение.

23 апреля 1909 года, на день празднования св. Великомученика Георгия Победоносца, преосвященнейший Феодосий, епископ Уманский, настоятель Киево-Братского монастыря и мой непосредственный начальник по Церковщине, посещая уманскую паству, пожелал посетить и место вновь устроенного скита. При многочисленном

стечении народа Владыка благословил и освятил там место и для молитвенного дома в честь св. Великомученика Георгия Победоносца. При этом, обратясь к народу, Преосвященный сказал трогательное и сильное слово, коснувшись в нем устройства созидаемой обители. Владыка благодарил благотворителей за их ревностное старание об ее устройстве и указал, что только те монастыри высоко стояли и стоят на Святой Руси, которые воздвигались потом и слезами.

— Препятствующих же этому делу, — добавил Владыка, — да посрамит Сам Господь!

4 сентября 1909 года я представил в Духовную консисторию необходимые документы для испрошения Высочайшего соизволения на закрепление за Церковщиной жертвуемого имущества. По рапорту моему, по которому были эти документы представлены, состоялось 15 сентября того же года такое определение консистории:

«Признавая возможным ввиду скудости средств Скита Церковщины принять приносимые ему в дар крестьянами Янчинской и Коленчуком земельные участки, консистория полагала бы:

а) ходатайствовать перед Святейшим Синодом об испрошении Высочайшего соизволения на закрепление земель за упомянутым Скитом и

б) поручить начальнику Скита, иеромонаху Мануилу, ныне же принять в свое заведование это имущество и представить в консисторию свои соображения о способах эксплуатации сей земли».

Определение было утверждено митрополитом Флавианом, и Владыка-митрополит

29 сентября того же года вошел с ходатайством в Святейший Синод об испрошении Высочайшего соизволения на закрепление за Скитом Церковщиной даримой земли.

13 декабря, в том же году, я обратился к митрополиту с новым прошением разрешить мне приспособить дом, выстроенный на жертвуемой земле, под домовую церковь. В этом чувствовалась большая нужда, так как окрестное население уже издавна стремилось к молитвенному подвигу на этом месте.

Владыка-митрополит уже на следующий день положил на моем прошении такую резолюцию:

«Разрешается устроить домовую церковь на хуторе Левада, в Уманском уезде, но лишь после укрепления за монастырем земли и по представлении надлежащего плана предполагаемого храма».

22 декабря того же года за № 17498-м митрополиту Флавиану последовал указ Синода о том, что Государь Император в 7-й день декабря 1909 года Высочайше соизволил на принятие недвижимого имущества, жертвуемого Янчинской и Коленчуком в пользу Скита Пречистыя, в Церковщине за совершение непрестанного поминовения о здравии и по смерти об упокоении рабов Божиих Христины, Антона со сродниками.

После укрепления за Скитом земли было приобретено еще 4 десятины пруда с водяною мельницею за 3 тысячи рублей. Всей же земли, с прудом и водяною мельницею, было приобретено к тому времени уже 25 десятин.

С наступлением весны мы уже собирались готовиться к приспособлению дома на Леваде к устройству в нем домовой церкви, как случилось неожиданное обстоятельство, повернувшее наше дело на новый путь: Антон Коленчук, по навету врага-диавола и наущению [не]доброжелателей Скита, отказался не только подарить, но и продать за какие бы то ни было деньги свой участок земли, который он присоединил было к новостроящемуся Скиту с целью подарить его монастырю. Участок этот состоит из 1¾ десятины и расположен как раз у входа в монастырские ворота. Вокруг этого места находится казенная земля, и другого выезда, кроме как через этот участок, не имеется. Крестьяне-жертвователи предлагали Антону Коленчуку за этот клочок земли по тому времени огромные деньги, полторы тысячи рублей, но он уперся.

— И за десять, — говорит, — тысяч не уступлю.

Так и пришлось отказаться в то время от мысли устроения храма на Леваде. Очень тяжело мне было тогда это испытание, но, как последствия показали, искушение это было к славе Божией и к вящему прославлению Его святого Имени.

Спустя четыре года после того, как Антон Коленчук отказался от своего обещания, он в первой половине мая 1913 года был поражен параличом. Сознав свою вину и карающую его Десницу Божию, он чистосердечно раскаялся в своем грехе и по духовному завещанию отказал эту землю Скиту с тем, чтобы Скит уплатил его

жене тысячу рублей, что в свое время и было исполнено.

Когда произошло это недоразумение с Антоном Коленчуком, пришлось тогда волей-неволей боголюбцам направить усердие и силы свои на тот участок Скита, который доселе находился как бы в тени и не привлекал к себе того внимания, каким пользовалась Левада. 11 августа 1911 года я вошел к митрополиту с прошением о разрешении соорудить часовню близ станции Умань на пожертвованной и укрепленной за Скитом земле в количестве 10 десятин с прудом и водяною мельницей. Разрешение было дано. Но вслед за сим, обсудив вопрос этот со старшею братиею, мы пришли с ней к общему решению: просить епархиальное начальство разрешить вместо часовни построить там храм. Разрешение было дано и на это. Тогда местные крестьяне, движимые Духом Божиим, пошли навстречу этому святому делу, и в своем селе Кочержинцах купили на снос старую дубовую церковь, и перевезли ее на место предполагаемой постройки. Храм этот предположено было заложить в 1912 году в честь Преображения Господня с приделами в честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость», и в честь святителя Иоасафа, Белгородского чудотворца. Но Богу угодно было сотворить дело Свое не по нашему предположению, а по Своей Святой воле. Весь строительный период 1912 года ознаменовался такими проливными дождями, что нечего было и думать о возведении постройки на новом месте: канавы, вырытые для фундамента,

заливало водой, и не было возможности подвозить с Левады, где у нас был устроен кирпичный завод, кирпича, песку и камня. Пришлось весь заготовленный заранее материал для церкви и подвезенный по железной дороге употребить на постройку братского корпуса вблизи станции с пристройкой к нему алтарной части с целью освящения ее для домовой церкви. К тому времени братии там собралось уже до 70 человек.

10 января 1913 года алтарь этот и при нем домовая церковь были освящены в честь иконы Божией Матери «Нечаянной Радости». Освящение совершал преосвященный Иннокентий, епископ Каневский.

Тако изволися Царице Небесной, Хозяйке Скита Ея Пречистыя, чтобы первый храм на новом месте подвигов скитской братии был посвящен Ея Пресвятому Имени. Святое и великое событие это было предварено чудесными исцелениями, совершавшимися и доныне совершающимися от Ея скитской чудотворной иконы в часовне «Нечаянной Радости», находящейся в г. Киеве*. Вскоре явилась необходимость освятить и второй престол во втором этаже этой же церкви, ибо народу стало собираться так много, что в праздничные дни бывало причастников до полутора тысяч человек, так что храм не мог вмещать молящихся.

Второй престол в том же 1913 году, 26 октября, был освящен епископом Каневским Иннокентием в честь св. Великомученика и Целителя Пантелеймона.

По смерти Антония Коленчука я все усилия употребил на то, чтобы из купленной крестьянами старой дубовой Кочержинской церкви устроить и освятить в Леваде храм в честь св. Великомученика Георгия Победоносца. С помощью Божиею совершилось и это святое дело: храм был окончен и 6 июля 1914 года освящен епископом Каневским Иннокентием при огромном стечении молящихся. Одних листков религиозно-нравственного содержания было роздано богомольцам более 10 тысяч.

Не могу умолчать и об одном таинственном случае, имевшем место в последние годы моей жизни.

Живо вспоминая неизреченные милости Божии, являемые мне в течение всей жизни моей, я, памятуя, *что тайну цареву подлежит добро хранити, дела же Божии прославляти славой*, заносил в свои памятные записки наиболее достопримечательные случаи из жизни моей. И вот, сидя в своей келлии за упомянутыми записками, — было это в 1918 году, — я отлучился на короткое время из келлии своей, по возвращении куда с ужасом заметил, что драгоценная тетрадь моя почти вся обуглилась, и без ведомой причины, ибо огня вблизи не было...

Так-то ненавистны врагу нашего спасения дела милости Божией...

Благо, что у меня имелась другая тетрадка того же содержания.

Богу нашему слава, Ему же честь и держава во веки.

Аминь.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КЕЛЕЙНЫХ ЗАПИСОК ПОСЛУШНИКА САВВЫ БУРЕНКО

Приложение к автобиографии игумена Мануила

После мученической кончины присного ученика и послушника игумена Мануила, брата Саввы Буренко, сохранились две тетрадки черновых его записок. В эти тетрадки заносилось покойным для памяти все, что в той или иной степени останавливало его внимание; главным же предметом этого внимания для почившего был все тот же руководитель его, наставник и отец, духом своим его породивший, о. игумен Мануил.

От плод познаете их, — глаголет Господь. По Савве-послушнику познаем и его «авву»: *всяко бо древо доброе плоды добры творит* (Мф. 7, 16–20).

В тетрадке № 1-й, на первых ее страницах списано рукою брата Саввы себе в назидание письмо игумена Мануила к неизвестным рабам

Божиим Платониде и Марии. В нем написано следующее:

«Христос посреде нас. Боголюбивые благодетельницы наши, матушки Платонида и Мария! Благословение Божие и державный покров Царицы Небесной да почиет на вас вовеки.

Как я рад, что вы, по внушению Божественного Промысла, прислали мне на украшение св. церкви сто рублей. Действительно, из этого видна милость Самой Царицы Небесной, пекущейся о нашей обители. Для уверования же вашего подробно объясню, как совершилось это чудесное событие,

11 июля 1902 года митрополит Феогност благословил меня иконой Успения Божией Матери, художественно изображенной на кипарисовой доске. На обороте иконы своеручная надпись митрополита:

«С благословения Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшаго Феогноста, Митрополита Киевскаго и Галицкаго, от Успенския Киево-Печерския Лавры Скиту Пречистыя у пещеры Преподобнаго Феодосия Печерскаго в Церковщине — в благословение».

Пред сей иконой теплится неугасимая лампада. Я особенно благоговею пред этой иконой и чту ее, как драгоценнейший дар Божией Матери. Такою же ведь иконою Сама Царица Небесная благословила преподобных Антония и Феодосия на устройство в Киево-Печерской Лавре церкви в честь Ея Успения.

Тридцатого августа сего года явилось у меня желание устроить эту св. икону по образцу

Лаврской, то есть чтобы икона эта, будучи помещена над Царскими вратами, по особо устроенному механизму спускалась бы для благоговейного ее лобзания и чтобы при опускании ее певчие пели «под Твою милость прибегаем», а братия и богомольцы во время сего пения подходили и прикладывались к ней... Подумал я о сем и с горечью сказал себе: «Что ж, и сделал бы это для Царицы Небесной, да денег нет». На том, стало быть, и делу конец. Смотрю, на Покров неожиданно является ко мне одна знакомая женщина, лет семь тому назад пожертвовавшая в наш Скит Плащаницу, и говорит мне:

«Что же вы, батюшка, до сих пор не устроили иконы Успения Божией Матери над Царскими вратами?»

Я подивился да и говорю:

«Вы отвечаете на мою мысль. Я бы и очень был рад устроить, но беда в том, что не хватает денег даже на насущную потребу братии. Подходит зима: нужен хлеб, отопление, освещение...»

«Не скорбите, — говорит, — батюшка: не оставит вас Царица Небесная, да и я помогу вам». Вынимает из кармана сто рублей и подает мне. Поблагодарил я Царицу Небесную и жертвовательницу и вслед отправился в город к мастеру. Мастер объявил мне, что устройство иконы будет стоить двести рублей. Я ответил, что пока больше ста рублей дать не могу, а остальные пусть ждет, доколе не пришлет их Царица Небесная. Мастер ответил:

«Матерь Божия не замедлит».

Возвращаясь от мастера домой, заехал на почту, а там от вашего боголюбия ровным счетом сто рублей, и притом не на иное что, а на украшение храма».

«Переписал я это письмо с черновика, составленного самим о. Мануилом, — так записывает в своей тетрадке брат Савва, — и пошел с ним в кабинет к батюшке.

— Вот видишь, — говорит он мне, — будем мы только жить по-Божьему, а Господь и Царица Небесная не оставят нас. Вот видишь: не успел я и погоревать, а Царица Небесная уже прислала».

* * *

Возвращался наш батюшка из Киева в Скит. Напал на него средь бела дня разбойник, сорвал с него золотой наперсный крест, серебряные часы и полученные с почты братские 300 рублей и скрылся с ними в соседней роще. По приезде домой батюшка со слезами отслужил молебен Царице Небесной и св. Иоанну Воину, прося защитить его и вознося благодарение за свое спасение. Вскоре после этого разбойник был арестован и попал в тюрьму. Из тюрьмы он написал письмо батюшке, преисполненное угроз, даже покушением на его жизнь. Прошло немного времени, злодей, все еще находясь в тюрьме, был поражен тяжелой болезнью ног. После этого от него пришло письмо, и в нем он уже смиренно просит у батюшки прощения. Батюшка не только простил его с любовью, но

и послал ему нечто от любви своей, между прочим утешительное письмо и несколько книг духовного содержания.

* * *

При приеме в число братии пришедших из міра, батюшка сначала посылал прибывшего на общие работы. Если пробудет честно месяца два или три на этих работах, то одевал в подрясник и зачислял в число временных послушников. Первым его вопросом всегда бывало:

— Скажи по совести, чего ради пришел ты сюда: ради ли Иисуса или ради хлеба куса?

При приеме же брата, вышедшего из другой какой-либо обители, он всегда говорил своим:

— Будьте с ним осторожны и мудры, как змии. Раз он вышел уже из обители, значит, он больной. Пусть сперва поработает за деньги, а там видно будет.

* * *

Пожертвовала одна киевская госпожа тысячу рублей для Скита. Прошло сколько-то времени, приезжает она в Скит и спрашивает батюшку:

— Что сделано у вас на мои деньги?

И что же? Повел ее батюшка показывать, подвел к мусорной яме, подвел к помойным трубам.

— И это, — говорит, — тоже на ваши деньги.

Очень расстроилась этим госпожа та и, не захотевши выпить даже стакана чаю, уехала домой. Через несколько дней батюшка поехал к ней.

— Не гордитесь, — говорит, — своей жертвой, а меня простите великодушно, что я вас оскорбил.

И привел жертвовательницу в сознание своей недостаточности духовной: она и впоследствии не переставала благотворить обители.

* * *

Приходит к батюшке эконом и говорит:

— Батюшка! там-то стена дала трещину, а там валится.

— Ничего, — отвечает батюшка, — мы еще разов несколько перестроим.

Ему все нипочем: такова крепкая у него вера.

* * *

8 сентября, на день Рождества Пресвятыя Богородицы, было у нас в Скиту огромное стечение народа. Богомольцев было столько, что братия с трудом протискивалась на хоры. Литургию служили собором, начав с 8 часов утра и до часу пополудни. По окончании Литургии сборщик сообщил батюшке, что всей жертвы поступило только четыре рубля.

— Царица Небесная! — ужаснулся батюшка, — что ж я теперь буду делать с этой бедной братией? Что ж они будут кушать?

С сердечной скорбью вышел он из церкви.

— Смотрю, — говорит батюшка, — подбегает ко мне какая-то женщина и говорит: «Снимите, батюшка, с меня эту змею, которую я уже 25 лет как ношу». И подает мне 125 рублей.

Это я от самого батюшки в тот же самый день слышал.

Рассказывая об этом, батюшка добавил:

— Видишь ли, как близок к нам Господь! Наше дело творить добро по силам нашим, творить его искренно, с любовью, радостью, а Господь уже Сам знает, когда и как наградить нас. Только веруй, только знай наверное, что ни одно доброе дело, ни одна добрая мысль, ничего ради Господа содеянное не пропадет даром. За все получишь награду свою...

* * *

К себе батюшка принимал всех: как мужчин, так и женщин. Но бывали случаи, когда некоторых не только не принимал, но и говорить с ними не хотел.

— Поди, — скажет в таком случае, — спроси, что надо.

* * *

После обеда, в субботу, на 1-й неделе Великого поста, когда вся братия уже отговелась, батюшка обратился к ней со следующим словом:

— Вот, братия. Преподобные отцы наши Антоний и Феодосий не вкушали такой пищи, какой сегодня мы напитались. Царица Небесная удостоила нас перед сим приобщиться Святых Христовых Таин. Будем же осторожны как в делах, так в словах и помышлениях своих, ибо диавол, как лев рыкаяй, ищет кого бы поглотить*. Чтобы обезопасить себя от него, ходите к духовнику и, кого что будет беспокоить в совести, объясняйте ему. Таковые без труда спасутся; а кто

* 1 Пет. 5, 8.

будет крыться и делать по-своему, тот погибнет навеки, ибо ни к кому диавол так не подходит, как к самочинникам... Время наше печальное. Мы переживаем дни всеобщего развращения: уже весь мір поклоняться стал идолам, посты забыты, Церковь оставлена, даже от Самого Бога и от Того отступили люди. Нам же надо стоять крепко. Ученики преподобного Антония Великого вопрошали его о последних монахах, каковы будут они. Преподобный ответил им:

«Мы, — сказал он, — имеем благодать. После нас грядущие наполовину иметь ее будут, а последние — только наглавники на головах своих носить будут, убегут из пустыни и устроят себе хоромы, как цари, и будут горды. Но найдут скорби на них и обрящутся выше отец своих».

На скорби, братия, только и надежды. Будем же благодушно переносить все находящие на нас скорби и невзгоды, ибо ясно уже видно, что вдруг, неожиданно для всех, последует с неба последний удар, и мы погибли.

После этих слов все во главе с батюшкой пошли в церковь и отслужили молебен Царице Небесной, Удостоившей нас причаститься Святых Пречистых Таин Тела и Крови Христовых. После молебна батюшка просил затвориться каждому в своей келлии и заняться чтением душеполезных книг.

* * *

Сказывал мне брат Николай:

— Вернулся я в Скит с дальней дороги, устал. Звонили на правило. Помысл мне гово-

рит: «Ты уморился. Прочитай в келлии молитву да ложись: ты ведь с дороги наморился». Я не захотел слагаться с помыслом, преодолел себя и пошел в церковь. В церкви стоять было одно мучение: ноги подкашивались, всего меня ворочало, так что я чуть было с ног не свалился. Я все терпел. Измученный борьбой, но не сдаваясь, я открыл глаза и вижу, что у образа еле теплится лампада, а братии никого не видно. В церкви стоял густой сумрак. Вдруг из этого сумрака явился диавол. Пасть его была раскрыта, вид безобразен. Диавол хотел поглотить меня. Я задрожал от страха и закрыл глаза. Взглянул опять — опять то же. Я стоял ни жив ни мертв. Чтец читал в это время молитву «Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе...» Я еще раз взглянул: видение исчезло и в церкви стало по-прежнему светло.

После этого брат Николай пошел к батюшке и подробно объяснил ему все бывшее. Батюшка его утешил и сказал:

— Да, этот гость того вечера и у меня был. Вышел я из кабинета в залу; вхожу обратно, а у меня за письменным столом какой-то господин сидит и что-то пишет. Я оградил себя крестным знамением и, творя молитву, вошел в кабинет. Незнакомец встал с места, подошел к аналою и стал невидим.

Брат Николай спросил:

— Что мне, батюшка, делать? Я поначалу испытал великую ревность, влекущую меня в церковь, а теперь такая лень обуяла, что не могу долго стоять в церкви.

— Нуди себя, — отвечал батюшка, — ибо нуждающие восхищают Царствие Божие. Благодать Божия, как мать чадолюбивая, воспитывая дитя, иногда как бы оставляет его, прячась от него. Дитя с испуганным плачем бросается искать ее и, когда находит, сугубо радуется. Подобно сему и благодать Божия оставляет на некоторое время человека, а потом возвращается, управляя и наставляя его на все доброе.

* * *

Один раз — это было в августе 1912 года — батюшка не спал за трудами своими до 12 часов ночи. В четвертом часу утра, проснувшись, я почувствовал себя не совсем хорошо, наскоро оделся и пошел на воздух проветриться, прогуляться. Взошел я на хребет нашей горы. Смотрю и глазам не верю: на противоположной стороне, опершись на перила изгороди, где посажены сосны, стоит батюшка. Я, разумеется, поспешил сойти вниз. Так мало времени отдавал батюшка отдыху.

А то, бывало часто, зайду я к нему в кабинет, а батюшка, до крайности утомленный, говорит:

— Бери ручку, садись пиши, а то я решительно ничего не в силах делать.

И в то же время уже готовился ехать в Киев по делам обители.

* * *

17 сентября 1912 года. Было половина двенадцатого. Трапезный, по обыкновению, три раза

ударил в колокол. Созывал на трапезу. Стала братия сходиться, пришел и батюшка. Братия сходилась так медленно, что батюшке пришлось просидеть в ожидании около четверти часа. После обеда, когда батюшка благословил трапезного и повара, он велел братии остаться, а посторонним удалиться.

— Спасибо, брат Николай, — сказал он повару, — пищу ты варишь хорошо, но только нехорошо ты делаешь, что отпускаешь кушанье в келью. Вот, смотри, братии почти нет.

— Благословите, — отвечает повар, — никому не буду давать, а то придет иеромонах, как ему отказать?

— Иеромонаху или кому другому, — прервал его батюшка, — кто бы ни пришел, все равно никому не давай. Когда я жил у старца Ионы, то он говорил, что кто в трапезе бывает, тот особую от Бога благодать получает, потому что в трапезе пища благословляется и вкушается по общей молитве и при чтении душеспасительных книг...

— А ты, — обратился батюшка к трапезному, — после обеда никому — ни куска хлеба, разве крайность какая: кто, например, с дороги не поспел к обеду — тому необходимо, конечно, дать обед в келью. А то сколько уже раз я вызывал всю братию к помойным кадушкам и наказывал, чтобы никто ни одного кусочка хлеба не бросал в них. А теперь загляните-ка, сколько там кусков.

— Простите, батюшка, — ответил трапезный, — это с келлий: у меня этого никогда не бывает.

Тогда батюшка обратился к братии и строго сказал:

— Это могут делать только те, кто пришел сюда не ради Иисуса, а ради хлеба куса, потому что не зна[ю]т, как этот кус добывается. У нас никаких доходных земель нет, а есть только одна над нами великая милость Божия. Это помнить надо и ею дорожить. На одни уманские постройки я израсходовал уже десять тысяч, а откуда они добыты, никто не знает. Здесь постройка за постройкой, за 700 рублей сено, да 3000 рублей за картофель, да хлеба нужно с вагон. А ведь братии — слава Тебе, Господи — до двухсот человек: надо всем обуться, одеться. Я ни в чем не стесняю: надо сапоги — иди бери, надо подрясник — бери; разве только готового нет, тогда поневоле откажешь. Одним словом, живи только друг с другом в любви да Бога благодари. А будем мы небрежно относиться к милости Божией, то, не дай Бог, она оставит нас, что тогда нам делать? Как клопы, разлеземся по разным углам, потому что и богатые обители и те разоряются, а о нашей и думать нечего. Трудитесь же, молитесь да хлеб берегите, яко зеницу ока. Я когда пришел сюда, то нужду имел в куске хлеба такую, что, бывало, пойду пешком в город да на коленях выпрашиваю у иноков Братских отпустить мне хоть сколько-нибудь хлебца, а они и говорить не хотят. Вернусь домой тощий часам к двенадцати, отслужу вечерню, а затем утреню и опять бреду за хлебом в Киев. Там вымолю, выпрошу, найму «биндюжного» да и привезу муки на малое время. Так я жил целых два года. И было

нас тогда всего — два сторожа да я; а теперь вишь вас сколько. Дорожите ж, молю вас Христом Богом, хлебом и не расточайте его на попрание, да не в грех вам сие будет.

* * *

20 сентября 1912 года. Зашел я к батюшке в кабинет. Сидит читает книгу.

— Батюшка, — говорю, — там госпожа одна просит выслать ей еще брошюрок. Как благословите? Я перешлю ей через часовню, а то имени ее я не знаю. Может, вы помните?

— Поверь мне, — отвечает, — у меня так слаба голова, что я, думая, думаю другой раз, как тебя звать, и никак не удумаю, а то чтоб ее помнить? Сколько их, Господи! Пиши ей так, как будто показываешь вид, что я ее не помню. Старые благодетели — другое дело, а то, сохрани Господи, эти знакомства!

Так неискателен мой дорогой батюшка.

* * *

Когда еще канцелярия находилась на третьем этаже, в одном коридоре с покоями батюшки, я, подойдя со смирением к батюшке, бросился на колени и сказал: «Дорогой батюшка, благословите меня написать мне вашу биографию, ибо жизнь ваша так назидательна и многому может научить читателя...» Батюшка любовно посмотрел на меня и спросил: «А ты разве можешь сохранить сие в тайне до смерти моей?» Я поклялся, что сохраню тайну. Тогда батюшка с миром отпустив меня, сказал: «Бог благословит».

Для этого я часто уединялся в свою келью и там приводил в порядок и переписывал батюшкины черновички. Батюшка потом все сам пересматривал и исправлял. Были у него тетрадки о житии его, написанные каким-то студентом, прожившим в Скиту во время летних каникул, но батюшка не сохранил — плохо был[о] написан[о].

Когда наш старший канцелярист о. Симеон и его помощник Вячеслав уехали от нас, то батюшка поручил мне канцелярию, и мне пришлось тогда оставить писать его биографию.

4 августа 1913 года. Сидел я с батюшкой за чаем на балконе, что против церкви Рождества Пресвятыя Богородицы. Батюшка говорит:

— Когда умер наместник Братского монастыря архимандрит Антоний, отказавший мне в куске хлеба, я не мог о нем молиться. И вот, является он мне, да не во сне, а прямо-таки вижу тень его наяву: руки сложены на груди, и мне кланяется. С той поры преодолел в себе это искушение и стал молиться за него.

* * *

В трапезе, после обеда, 7 января 1914 года, батюшка обратился к братии со следующим кратким словом:

— Отцы и братия! Семь лет уже прошло, как, по милости Божией, заложен храм при пещерах. Достройке его помешала Уманская обитель. Средств у нас нет, а поэтому прошу вас, пожалуйте сегодня убирать храм, а завтра будем служить всенощное бдение Святителю

Николаю, ибо Господь говорит: стучите, и отверзется вам. Да поможет нам угодник Божий, и да ниспошлет он нам нужные для его храма средства, а затем начнем доставку кирпича.

8 января, в половине четвертого, послышался звон большого колокола, и вся скитская братия скорыми шагами направилась в церковь Рождества Богородицы, где, отслушавши вечерню, ожидали выхода в недостроенную, что над пещерами, церковь крестного хода. Из алтаря вышли два иеромонаха — оо. Аполлинарий и Кесарий, — взяли на свою руку икону Святителя Николая, стоящую в киоте левого клироса, и крестный ход со святыми иконами и хоругвями направился к пещерам. Несмотря на глубокую зиму, погода стояла хорошая, свечи в руках певчих и на подсвечниках горели всю дорогу и не тухли. Батюшка о. Мануил встретил нас в облачении, с крестом в руке, в сопровождении иеродиакона о. Иоанна с кадилом. Подойдя к иконе, батюшка сотворил поклон и приложился. У батюшки в это время был такой вид, что он весь ушел в молитву с несомненной верой и надеждой на помощь угодника Божия. Глядя на него, я не мог не прослезиться, но скрыл это даже от своего сотрудника, несшего подсвечник.

Сначала был отслужен с водосвятием молебен угоднику Божию, и все иконы и люди были окроплены святой водой. Затем началось служение утрени. На душе что-то было особенное. Я мысленно обращался в то время к родителям своим, братьям, сестрам и ко всем знако-

мым, приглашая их прийти и разделить с нами радость эту.

После 1-й кафизмы, сам батюшка читал народу из жития угодника Божия Святителя Николая и в заключение добавил следующее:

— Да, — сказал он, — великую он нам оказывал помощь. Это хорошо известно здешним старожилам, насельникам нашей обители. Угодник Божий — это моя путеводная звезда. Я от самого младенчества питаю к нему глубокую веру. Никогда я не представлял себе, чтобы на этом месте был храм, но мне пророчески сказал об этом дедушка уставщика нашего левого клироса, брата Феодосия, он же отец нашего пасечника Петра, старец Полагута. Человек он был очень благочестивый и ежегодно присылал нам по 60–100 пудов хлеба, хотя своего и не имел, а сбирал по крупице с міра. Пред освящением пещерного храма в честь преподобного Феодосия я посылал ему приглашение приехать к нам и вместе с нами разделить нашу великую радость. Отчасти по болезни, отчасти и по другим обстоятельствам, он приехать не мог к назначенному дню. Когда же приехал, то со слезами говорил мне:

«В ночь после освящения у вас храма преподобного Феодосия я видел во сне такое видение: вижу я, на пещерный храм собираются со всех сторон светоносные юноши, и у каждого из них копье в руках, а на копьях по яркой звезде, и звезды эти одна от другой, как говорит св. апостол Павел, «разнствуют в славе своей»*. Я смо-

* 1 Кор. 15, 41.

трел на них, недоумевал, что бы это значило. Смотрю: у источника стоит преподобный Феодосий Печерский и с ним старец Иона, который послал меня сюда. Я подошел к ним да и говорю:

«Отцы святии, что это за светоносные юноши?»

А преподобный Феодосий отвечает:

«Сегодня в Скиту в Церковщине освящен храм преподобного Феодосия, а где стоит полк юношей, там будет построен собор».

Как видите, братия, сами угодники, павшие на месте сем от меча татарского, ожидают прославления их мученического подвига храмом Божиим. И быть тому, ибо на сие есть изволение Божие.

Батюшка сказал слово это в таком духе, что не только мирские, но даже и братия тронута была до слез.

* * *

25 мая 1914 года. День Св. Троицы*. Церковь Рождества Богородицы в этот день походила не на храм земной, рукотворенный, а на Эдем сладости, только что исшедший из творческих рук Создателя и Бога всяческих. Голубой цвет стен, ясная позолота иконостаса, зеленые ветви деревьев, сквозь которые просвечивали лики святых, чудное пение клиросной братии и соборное благоговейное служение — все это такой небесной благодатью веяло на душу, что, кажется, вовеки не вышел бы из храма Пречистыя Богородицы.

---

* В рукописи подчеркнуто.

Литургию соборне служил батюшка, а затем и вечерню. Началось чтение молитв Святому Духу. Став на колени и отерев рукою набежавшие на лоб капли горячего пота, он начал внятно читать первую молитву. Читал он просто, но умиленно. И вот, слышу, голос его стал ослабевать, и вдруг из глаз его покатились горячие слезы. Слезы неоднократно прерывали чтение молитвы, особенно на тех местах, где молитва возносилась о прощении грехов и освобождении нас от власти диавола. Вся церковь преисполнилась плача. Остальных молитв от душевного волнения и потоков слез батюшка читать был уже не в силах; за него их прочел казначей о. Аполлинарий.

Вот как в простых сердцах почивает Бог.

* * *

16 июля 1914 года. На другой день после торжественного празднования памяти Св. князя Владимира в часовне на Крещатике, находящейся в заведовании Скита, батюшка о. игумен Мануил возвратился в Скит совсем больной. Болезнь (дизентерия) уложила его в постель, и батюшка заболел не на шутку. Два дня спустя расстроенное его здоровье еще более поколебалось: неожиданно для всех объявлена была мобилизация по случаю войны с Австрией и Германией. Келейники доложили, что забирают лошадей, повозки, упряжь и требуют братию, как раз тех, которые являются, можно сказать, нужнейшими членами общежития, как-то: заведующих столярней, кузницей, уставщика,

фельдшера, канцеляристов; взяли и записчика — о. Филиппа, только что перед тем заболевшего дизентерией. О. Филиппа, по освидетельствовании, как больного, оставили и препроводили в киевскую Кирилловскую больницу, где он 28 июля и скончался. Царство ему Небесное! Святой он был жизни человек. Много он молился и постился, целые ночи проводил не ложась, но сидя на койке и не раздеваясь, и, чем только было можно, смирял себя. Трудился больше всех. Зайдет, бывало, в алтарь — и это по крайней нужде — и там старается слова лишнего с братией не только с меньшей, но и со священнослужителями не вымолвить, памятуя присутствие в алтаре Господа... Батюшка услыхал, что забрали братию, загоревал, умолк и тихо опустился на постель. Это было 13 июля. После сего благословил двух ставленников — о. Михаила и о. Пантелеимона — и велел им идти в Братский монастырь для рукоположения — первого во иеромонаха, а второго во иеродиакона. Призвав к себе в залу, батюшка взял крест и после краткой молитвы благословил нас, уходящих (в их числе и меня), и сказал:

— Не скорбите, братие: Господь все устрояет на пользу нашу!

Я не удержался и зарыдал, зарыдали и бывшие со мною. Да и кто бы не заплакал при взгляде на покрытое сединами, так быстро осунувшееся и исхудалое лицо Старца, держащего в руках крест и благословляющего им братию на бой с врагами?

Благословив нас, батюшка того же дня уехал в Киев в лаврскую больницу, откуда и прислал нам в благословение по серебряной иконочке; мы же, ратники ополчения, остались в обители до следующего дня, а те из братий, кто состоял в запасе армии, ушли раньше.

Жаль было расставаться с обителью, и, сколько ни старался я не скорбеть, ничего с собою не мог поделать: плоть, несмотря на бодрость духа, онемощнела, и горячие слезы катились из глаз. Жаль было расставаться с пустынею, и особенно я жалел о том, что больше мне не придется найти такого наставника и руководителя, каким был о. игумен Мануил. Скажу, что другой отец родной так не печется о своем сыне, как заботился он обо мне. Я плакал, но плач этот был не в горечь, а в сладость. Я скорбел не так, как неимущие упования. Чтобы скрыть слезы свои от братии, я мысленно начал утешать себя, приводя на память примеры из Священного Писания. Но кто-то будто говорил мне:

«Это свойственно человеку».

Я согласился с этими словами и говорил сам себе: ведь и Господь, егда восхоте отдать живот Свой за душу мою, скорбию великою объят был...

Буди воля Божия!..

По уходе из обители — это было в воскресенье 20 июля — мы втроем заехали к батюшке, чтобы в последний раз, как думал я, проститься с ним и получить последнее его благословение.

Батюшка благословив нас, опять сказал: «Не унывайте, братия: предайтесь во всем воле Божией!»

Так мы и расстались.

Два дня мы пробыли на сборном пункте, где ожидали сформировки. Требуемое число было набрано, мы за излишком были оставлены. Я с уставщиком и другим братом возвратились в обитель. Из обители я написал в свое волостное правление, — так как из-за меня местные власти беспокоили моих родителей, — объяснив все подробно, и просил старшину сообщить мне распоряжение начальств. Старшина написал мне немедленно явиться. По приезде на родину, в г. Александрию, я справлялся в канцелярии воинского начальника. Мне сказали, что я свободен. Из Александрии заехал на родину, где прожил одни сутки и, простившись с родными, 4 августа в 3 часа утра уехал в Киев. Долго меня упрашивали родители пожить хотя бы еще несколько дней, но мне так жаль было обители и моего батюшки, что я ни на какие их мольбы не согласился.

В Киев я приехал в 2 часа утра 5 августа. Узнав, что батюшка уже в обители и поправляется (он проболел 12 дней), я, несмотря на свою усталость, порешил 15 верст из Киева до обители идти пешком. Придя в обитель, был встречен самим батюшкой. Радости моей не было конца. Батюшка, хоть и слаб был, а обласкал меня и позвал попить с ним чаю. То-то мне была радость!

* * *

10 августа 1914 года. Во время обедни, после «Тебе поем», батюшка позвал меня в алтарь. Подойдя к нему, я взял благословение. Батюшка был только в мантии и епитрахили.

— Иди, — сказал он мне, — прочитай мне благодарственные молитвы.

А сам стал читать еще не прочитанные молитвы ко св. Причащению. Глядя на него, я не мог удержать слез. Жаль было мне смотреть на исхудалое лицо моего Старца. Сознавая свое недостоинство, я еще более умилился и говорил себе: «Господи! достоин ли я послужить такому Старцу, да еще где? — в алтаре, пред святым Твоим жертвенником?» Я плакал, закрывшись дверью ризницы, размышляя в себе: ну, а если батюшка умрет, кто ж попечется о мне тогда так, как он?.. Я весь взволновался и, когда читал батюшке молитвы, читал их с большим напряжением, так как слезы не переставали катиться из глаз.

По прочтении молитв батюшка велел мне скушать принесенный ему антидор и запить из корчика теплотою. Из алтаря я провел батюшку в келлию, а сам возвратился слушать окончание Литургии.

* * *

17 ноября 1914 года. Я стоял в пещерной церкви за ранней Литургией. Еще до чтения часов батюшка позвал меня в пономарку да и говорит:

— Видел я дивный сон в эту ночь: будто вышел я из корпуса возле трапезной и вижу, что весь пещерный холм объят каким-то чудным светом, деревья же, растущие на холме, сделались неописуемой красоты; птиц же над храмом было так много, что, казалось, это была туча, и пели они так чудно-хорошо, что и передать невозможно. Когда я проснулся, то пение их все еще продолжало звучать в ушах моих. И когда я смотрел и дивился на все это, то ко мне подошла жена некая и сказала: «Что это за красота, что за пение птиц!»

На это батюшка ответил: «А еще нет соловьев... А как Господь весною еще соловьев пришлет сюда... и начнут они славить Господа и людей своим пением услаждать... Истинный рай... Это рай Божий, ах, Боже мой, какая красота, чудная обитель!»

И вспомнив об этом сне своем, батюшка добавил:

— Это, должно быть, мученические косточки, что здесь почивают, радуются Богослужению в их храме и созиданию нового. Птицы же — это наша певчая братия. Пускай с сегодняшнего дня служится здесь ежедневно ранняя обедня, а братия пусть к ней ходит и поет, как те птицы.

* * *

25 ноября 1914 г. Батюшка к 3 часа пополудни возвратился из Киева. Позвал меня в кабинет и, вручая почту, сказал:

— Сегодня Божия Матерь сотворила чудо со мною. Я все время думал, как бы о. Сильве-

стру помочь обзавестись лавочкой в домике, что возле пруда. Приезжаю в часовню, а о. Зосима выносит мне 100 рублей да и говорит: «Это принесла какая-то девочка и сказала: помолитесь. Деньги эти от неизвестного лица».

Я взял эти деньги, возблагодарил Господа и Его Пречистую Матерь и послал о. Сильвестру.

Притом батюшка добавил:

— Что-то я стал ослабевать. По ночам стал у меня появляться сильный пот, после чего я чувствую себя очень нехорошо.

Помилуй и спаси его, Господи!

* * *

На сем прерываются тетрадки черновых записей брата Саввы, послушника и ученика о. игумена Мануила. Из этих тетрадок извлечено только то, что касалось лично самого о. игумена и взаимоотношений между ним и учеником его. Немного этих заметок, но в этом немногом просвечивает так много теплого света, так много говорит от сердца к сердцу, что и этого самого с лишком достаточно, чтобы показать, что и в наше время царства тьмы «свет еще и во тьме светится, и тьма не объяла его».

И свет этот — Любовь во Христе Иисусе Господе Нашем, та любовь, которая *никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится**.

Богу же нашему Слава и честь и держава во веки веков.

Аминь.

---

* 1 Кор. 13, 8.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В Скиту Пречистыя

Фрагменты из «Воспоминаний» кн. Н. Д. Жевахова

Брат и я [...] оставались [в Скиту Пречистыя] 3 месяца, вплоть до изгнания большевиков из Киева Добровольческой Армией генерала Деникина, вступившей в город 18 августа 1919 года.

Эти три месяца были, с одной стороны, непрерывным страданием, с другой — непрерывным свидетельством дивных знамений Божиих, теми аскетическими, хотя и подневольными опытами, которые возводили настроение до предельных высот религиозного напряжения, возможного только при необычных условиях вне міра. И брат, и я были облачены в послушнические одежды, ходили в подрясниках, с скуфейками на головах, и, искренне желая слиться с прочей монастырской братией, радостно и охотно подчинялись общему укладу

монастырской жизни. При всем том, однако, мы не могли на первых же порах, не почувствовать той высокой стены, какая стояла между нами и братией, состоявшей сплошь из крестьян окрестных сел и деревень, и какую эти последние не только не могли, но и не желали перейти. Насколько внимателен был к нам расположенный к моему брату игумен Мануил, впоследствии схиигумен Серафим, пользовавшийся разного рода благодеяниями со стороны моего брата, в последнее время почти единолично поддерживавшего Скит хлебом и продуктами из своего имения, настолько недоверчиво и неискренне относились к нам прочие насельники Скита. Глухое недовольство и ропот, с трудом сдерживаемые первое время, стали все более резко обнаруживаться по мере того, как большевики, грабя окрестные обители, стали добираться и до Скита. Наряду с жалобами на «объедание» игумену стали приноситься и жалобы на то, что, укрывая «князей», он подвергает опасности весь Скит. Возможно, что такие опасения и были основательными, однако Старец-игумен приходил в страшное негодование от этих жалоб, указывая, между прочим, и на то, что весь Скит кормится тем вагоном хлеба, какой был пожертвован моим братом. Препирательства игумена с маловерною братией все более учащались, и мы с братом не раз задумывались о том, куда идти и где искать приюта, о чем и заявляли игумену. Но он и слышать не хотел о нашем уходе и мужественно, не церемонясь в выражениях, проби-

рал свою братию, называя ее разжиревшими на монастырских хлебах, зазнавшимися хамами, не только забывшими, но никогда не знавшими Бога, Который сильнее всяких большевиков и может защитить обитель от каких угодно зверей, лишь бы только обитель любила Добро и творила его, утверждалась бы на страхе пред Богом, а не пред людьми.

Какою мудростью веяло от этих слов престарелого игумена, сколько подлинной веры выражали они!

— По человечеству, я и точно навожу опасность на обитель, укрывая вас, — говорил нам игумен, — а по-Божиему, я творю добро, спасая вас от смерти, за что же Господь будет наказывать меня и обитель?! Они, — говорил игумен, указывая на братию, — не знают, что Господь скорее накажет меня, если я выпущу вас на растерзание большевиков, имея возможность укрыть вас... Живите себе спокойно, пока не скажется воля Божия, а на человеческую волю братии не обращайте внимания... Они все большевики, и если бы я им дался, то меня бы первого они разорвали.

И действительно, прошло немного времени, как братия предъявила игумену Мануилу требование об уходе на покой, и Старец советовался с нами, как ему реагировать на такого рода наглое требование. Разумеется, и брат мой, и я усиленно убеждали игумена не только отклонить такое требование, но и использовать всю полноту его власти для обуздания зачинщиков. Кончилось тем, что игумен созвал всю братию и

выбранил ее площадною бранью, проявив при этом совершенно исключительное мужество, изумительную находчивость и из ряда вон выходящую смелость. После учиненного разноса братия мгновенно смирилась, и жизнь обители вошла в свое обычное русло. Это была едва ли не единственная в епархии обитель, где еще держалась власть законно поставленного игумена. Во всех прочих монастырях братия быстро революционизировалась, изгоняла прежних начальников, заменяла их выборными и проявляла открытое неповиновение к законной власти.

Личность игумена Мануила до того примечательна, что я должен остановиться на ней подробнее.

Крестьянский сын игумен Мануил с детства чувствовал влечение к иноческой жизни. Он, несомненно, родился не только с дарованиями, но и с той тоской по идеалу, какая обесценивала в его глазах все окружающее и гнала его из міра. Заглушая эту тоску, он подвергал себя не только аскетическим опытам, но и тяжелым епитимиям, добровольно налагая на себя всякого рода испытания, носил вериги, предавался посту, проводил ночи в поле на молитве и пр. Будучи сыном состоятельных родителей и не испытывая нужды, он добровольно бичевал себя, помогал больным, отказывая себе в куске хлеба, и горел только одним желанием всецело предать себя воле Божией и поступить в монастырь. Однако родители были против такого намерения и, пристроив его на службу приказчиком в соседнем городе, думали женить его.

Это решение до того испугало 16-летнего юношу, что он без оглядки бросился бежать куда глаза глядят, пока не добежал до ближайшего монастыря, где и укрылся. Чистосердечно рассказав настоятелю монастыря о причинах, заставивших его бежать из родительского дома, он попросил принять его в число братии, что тот и исполнил, обещая заступиться за него пред родителями.

Как протекала дальнейшая жизнь игумена Мануила, я не знаю, ибо познакомился с ним лишь незадолго до революции, а ближе узнал его только во дни своего пребывания в Скиту. Это был уже глубокий старец, очень растолстевший и обленившийся, ничем не интересовавшийся и равнодушный ко всему окружающему. Он еле передвигался с места на место, да и то с помощью двух послушников, поддерживавших его, хотя не пропускал ни одной церковной службы и аккуратно являлся в храм четыре раза в сутки на утреню, раннюю обедню, вечерню и всенощную, где предавался дремоте. Тем не менее от его зоркого наблюдения не ускользал ни малейший промах священнослужителей, которых он грозно окрикивал, замечая ошибку. Его игуменское кресло стояло раньше в алтаре, но по требованию братии, заявившей игумену, что он своим присутствием в алтаре вносит соблазн, было вынесено на левый клирос. Игумен Мануил подчинился требованию, однако не простил его и, сидя на клиросе, проявлял свою игуменскую власть в формах еще более строгих, чем раньше.

— Чего ты вертишься в алтаре, как скотина, — раздавался с клироса властный голос игумена, обращенный к новопоставленному диакону, неумело совершавшему каждение.

В устах всякого другого такие приемы и напрашивались бы на осуждение, однако со стороны игумена Мануила здесь было столько простодушия и незлобливости, столько опытов дознанной уверенности в неприменимости никаких иных приемов отношения к его невежественной и грубой братии, что, конечно, осуждать его было бы несправедливо. И сам игумен прошел суровую школу жизни, сам вышел из крестьян и братию свою дисциплинировал способами, казавшимися ему наилучшими, не допуская и мысли, что его методы и системы воспитания братии могут рождать соблазн. Скит, начальником которого он был, являлся в его глазах вотчиной, а братия — его даровыми работниками. И со своей точки зрения он был прав, ибо никак не мог стать на другую точку зрения. Игумен Мануил, вступив в управление Скитом, застал там только заброшенное ущелье между горами, не поддававшееся никакой обработке, усеянное пнями от срубленного леса, однако обладая исключительной энергией и большим практическим умом прирожденного строителя, привел Скит в цветущее состояние, обновил старую маленькую церковь, заложил фундамент и довел до первого этажа огромный каменный храм, выстроил игуменский и братский корпуса, гостиницу для паломников, создал дивную пасеку и фруктовый сад и заставил говорить о себе и своей

деятельности не только Киев, но и соседние губернии. Так как в этой работе ему не только никто не помогал, а наоборот, все, кто мог, мешали, то игумен Мануил, закончив свою строительскую деятельность, замкнулся в Скиту, не входил в общение даже с архиерейской властью и проявлял чрезвычайную независимость и самостоятельность.

С назначением митрополита Владимира в Киев, Владыка, объезжая свою епархию, посетил и Скит Пречистыя, расположенный на окраине города. После торжественного Богослужения и достодолжного приема Митрополиту была предложена роскошная трапеза, стол ломился от питий и яств, а в хрустальных вазах, откуда-то взятых напрокат, красовались дивные груши-дюшес. Залюбовавшись ими, Митрополит взял одну.

— Вот вы взяли грушу, — сказал игумен Мануил Митрополиту, — а того не знаете, что каждая из них стоит 10 рублей. А кто мне дал денег, чтобы купить их?! Лавра? Нет, своим потом и трудом заработал их, да теперь и вас угощаю! Вот оно что! Кушайте, Владыка, на здоровье!

Митрополит поморщился, но ничего не ответил, зная, что с игуменом Мануилом препирательства бесполезны и психологию крестьянина переделать невозможно.

Часто вспоминая о посещении Скита митрополитом Владимиром, игумен Мануил любил рассказывать и об эпизоде с грушами, и я однажды не удержался, чтобы не сказать игумену:

— Как же вы так нелюбезно поступили с митрополитом, да еще вашим гостем!

Игумен сделал очень удивленное лицо и недоумевая спросил меня:

— Почему нелюбезно? Это вот братия моя точно отговаривала меня от лишних затрат, ну а я ради митрополита не пожалел и 100 рублей за один только десяток груш. Оно, конечно, за трапезою кому-либо из братии более бы пристало сказать об этом митрополиту и тем подчеркнуть мое усердие, но братия, как нарочно, сидела точно воды в рот набравши, и все молчали как рыбы. Я крепился и выжидал, да так ничего и не дождался. Тогда я сам сказал об этом митрополиту, чтобы Владыка знал, что я не поскупился на прием, хотя последний и влетел мне не в одну сотню рублей, одна рыба чего стоила, а кроме рыбы чего только не было! За месяц того не проешь, что проели за один только день, прости Господи!

Побуждения игумена были чистые, а выливались они в форму, обычную в крестьянском быту, и попытки изменить эти формы явились бы бесполезными.

Брату моему была отведена келлия в игуменском корпусе, меня же поместили на пасеке, где я жил в соседстве с старцем-монахом Петром и послушником последнего в маленьком домике, окруженном со всех сторон фруктовыми деревьями и цветами. Пасека была отрезана не только от всего міра, но даже от Скита, и вокруг царила удивительная тишина. Если бы не беспокойство и тревоги о сестрах,

из которых одна томилась в N-ской губернии, а другая уехала на неизвестное в N-скую губернию, о брате, которого я хотя и видел каждый день, но в безопасности которого не был уверен, о друзьях и знакомых, повсюду рассеянных и трепетавших за свою участь, то я должен был бы признать, что не нашел бы лучшего места для духовной жизни. Там, на пасеке, было все, что возносило дух к небу, что успокаивало мятежную душу, научало и возрождало ее. [...]

А между тем вокруг меня были только грубые, неотесанные мужики, жившие интересами желудка, не способные учесть ни благодатных условий внешней обстановки, ни проникаться сущностью и красотою монастырского Богослужения. Они шли в храм, точно на работу, какою тяготились, шли нехотя и лениво, ибо все их интересы вращались вокруг хозяйства Скита и его доходов, вокруг черной работы в поле и на огороде, а богослужение в храме только отвлекало их от этой работы.

В свободное же от черной работы время шли суды и пересуды, и, разумеется, более всего доставалось игумену Мануилу, которого невежественная братия хотя и побаивалась, но изрядно ненавидела, быть может, именно потому, что он в духовном отношении стоял неизмеримо выше всех прочих насельников Скита. [...]

Таков был состав братии Скита.

И глядя на нее, я с новой силою ощущал то великое недоразумение, какое представлял собой нынешний состав современных монастырей.

С точки зрения міра, братия монастыря состояла из монахов, доводивших свое смирение до таких пределов, что даже настоятели в сане архимандрита или игумена, иеромонахи и иеродиаконы не гнушались черной работы в поле, на огороде или в конюшне, сливаясь в братском единении со всеми послушниками обители. На самом же деле там были не священнослужители, занимавшиеся черной работой, а чернорабочие, по недоразумению носившие рясы и облеченные священным саном.

Будь то действительные монахи, чернорабочие по послушанию, а не по призванию, по природе же культурные, образованные люди, сознательные христиане, какую бы огромную нравственную силу вносили бы они в жизнь, каким бы явились несокрушимым оплотом Православия и противовесом злу міра! [...]

Внешнее расстояние между нашими положениями теперь и раньше было, действительно, огромным, однако и брат, и я, тянувшиеся к иночеству, любившие и понимавшие его, если и тяготились в Скиту, то не положением послушников, ибо никаких послушаний не несли, а окружавшей нас средой, с которой не находили общего языка и которая не высказывала нам открыто своего недоброжелательства и нерасположения лишь потому, что боялась игумена.

Такое отношение не мешало, однако, той же братии обращаться к нам за разного рода нуждами и даже вести с нами в часы досуга беседы на отвлеченные темы. Особенно инте-

ресовалась братия вопросами астрономии и космографии, в какие вкладывала своеобразное содержание, рассматривая светила небесные как места пребывания Бога и ангелов и интересуясь расстоянием этих мест от земли. Конечно, наши рассказы и объяснения никогда не удовлетворяли братию, ниспровергавшую доводы разума и науки такими репликами, против которых возражать было трудно.

— И одного только я не возьму себе в толк, — горячо возразил однажды один из таких оппонентов, — зачем это нужно господам морочить нам головы и говорить то, чему и малый ребенок никогда не поверит... И где же это видано, и кто же сему поверит, что земля вертится?! Да если бы она вертелась, то первыми бы попадали наши колокольни, прости Господи... А коли не падают, значит, по милости Божией, земля пока стоит на своем месте... И опять-таки, зачем ей и понадобилось бы вертеться!.. Все это ни к чему...

— Так-то оно так, — возразил другой, — а про то бывают и землетрясения...

— А где же они бывают, — запальчиво возразил первый, — бывают, да не у нас, а у басурман, да и опять-таки только затем, чтобы они познали Бога, а православному люду землетрясения без надобности, их Бог и не посылает.

— Это конечно, — мешался в разговор третий монах, — ну а на чем же, собственно, держится сама земля-то?!

— На чем держится, — скептически посмотрел на вопросившего первый монах, гово-

рívший уверенно и пользовавшийся авторитетом у братии, — на том и держится, на чем ей полагается держаться...

— Батюшка, батюшка, а вот ученые говорят, что даже знают, сколько верст от одной звезды до другой, да во сколько дней бы можно было доехать к ним от земли, если бы можно было построить железную дорогу до неба, — сказал какой-то молодой послушник...

— А ты им и веришь, — скептически заметил батюшка. — Во-первых, не нашлось бы и такой длинной лестницы, чтобы ее приставить к небу, а во-вторых, если бы и нашлась такая, то до чего ты ее зацепишь, чтобы держалась? Ну, положим, на земле бы еще и можно было ее утвердить, ну а на небе-то к чему ее приставишь, коли там один только пар? А если не к чему приставить, то и не полезешь на нее, а если не полезешь, то и не вымеряешь и не пересчитаешь... Глупости это все...

Неизвестно, до чего бы договорилась братия, если бы на горизонте не показался игумен Мануил. Тяжело опираясь на руку моего брата, игумен медленно поднимался по крутой тропинке, направляясь в пасеку, куда заходил ежедневно для осмотра огородных продуктов и фруктовых деревьев, составлявших предмет его особенных забот и попечений. Чего только не было на огороде?! Ярко-красные, пухлые, сочные помидоры, огурцы, арбузы, дыни и клубника, морковь, редька и редиска, упитанные, красивые, свидетельствующие своим видом о нежном уходе за ними хозяина.

Между ними на расстоянии одной сажени друг от друга росли фруктовые деревья, яблони и груши разных сортов, сливы, вишни, персики и абрикосы, а вокруг сада, с трех сторон, огромные кусты всевозможных ягод... Там была и малина, и смородина, и крыжовник, и ежевика и чего только не было!.. И, любуясь плодами своих трудов, игумен с любовью останавливался подле каждого дерева и кустика, и, срывая фрукты, наполнял ими свои карманы... Особенно часто он останавливался на помидорах и то и дело наклонялся к земле, чтобы сорвать наилучшие, приговаривая при этом: «Если я их не заберу сегодня, то завтра уже их не будет... Придут «черти» и покрадут». Под «чертями» игумен разумел свою братию, которая, действительно, часто появлялась на пасеке, занимаясь «тайноедением». Я не мог воздержаться от улыбки, глядя на то неимоверное количество разного рода плодов, какое помещалось в карманах игуменского подрясника. Оказалось, что там были не карманы, а привязанные к обеим сторонам мешки, один из которых предназначался специально для помидоров, часто даже недозрелых, которые потом отлеживались на солнце, а другой для прочих плодов, в том числе для арбузов и дынь...

К ним игумен Мануил проявлял особенно трогательную заботливость.

Как-то однажды, гуляя с игуменом по огороду и обратив внимание, что он срывает огромные листья лопуха и покрывает ими арбузы и дыни, я сказал: «Зачем вы это делаете, ба-

тюшка, они любят солнце, скорее созреют, а вы покрываете их лопухом...»

Игумен тяжело вздохнул и ответил: «Конечно, любят, но если их не скроешь, то они и не уберегутся от братии... Братия — это те же большевики... Чуть только увидят хорошенького кавунчика (так в Малороссии зовется арбуз) или красавицу дыню, так сейчас же и проглотят их... Вот я и спасаю их под лопухами, авось не приметят...»

Мирно и тихо протекала наша жизнь в Скиту в первые дни нашего приезда. Скрытый в ущелье горы Скит был отгорожен от міра точно высокими стенами, мало кому был даже известен, и его трудно было найти. Но вот прошел месяц, большевики неистовствовали в городе все больше, из Киева доходили слухи один ужаснее другого, и от моего взора не укрывалось то беспокойство и те тревоги, какие переживала братия. На расспросы или не отвечали, или успокаивали меня.

И тут, быть может, впервые предо мною раскрылась нежная, полная братской любви душа моего брата Владимира. Странные отношения связывали меня с моим братом. Мы точно боялись признаться друг другу в своей любви, никогда и ни в чем ее не выражали вовне, оба были достаточно угрюмы, необщительны, тогда как оба в одинаковой мере тревожились друг за друга и внутренне были между собой связаны неразрывными нитями. Беспокойство моего брата обо мне выражалось всегда так наглядно, он так мало умел скрывать его, что

мне достаточно было только взглянуть на него, чтобы угадать какую-либо беду. Так случилось и тогда, когда брат, узнав о расстреле кузена Димитрия, скрыл от меня эту ужасную весть, и я узнал о ней лишь позднее, да и то случайно, от одного из иеромонахов, совершавших панихиду по «убиенном рабе Божием Димитрии», который на вопрос мой, о ком он молился, выдал тайну моего доброго брата. [...]

Все чаще и чаще покидали мір лучшие люди, все сиротливее становилось на душе, и не за кого было держаться.

Вокруг же бушевали стихии ада, владычествовал сатана...

Было страшно и жутко... Стою я однажды в храме за всенощной, и мой взор случайно пал на высокое окно, через которое виднелись очертания горы, у подножия которой стоял наш скитский храм. Затрепетало мое сердце, когда на фоне зарева заходящего солнца я увидел черные силуэты большевиков, осторожно пробиравшихся с ружьями в руках через кусты и спускавшихся по направлению к церкви...

Увидела их и братия, и ледяной ужас сковал всех. Как сейчас, помню то страшное беспокойство, какое охватило особенно священнослужащих, совершавших Богослужение... Дрожащим голосом, тихо, точно про себя, они подавали возгласы и, будто приговоренные к смерти, не знали, продолжать ли Богослужение или прервать его, заблаговременно скрыться или ждать нападения на храм. Страшно волнуясь, они беспомощно и робко оглядывались на

игумена Мануила и, казалось, безмолвно вопрошали его, что им делать и как поступить...

— Чего ты уставился на меня как баран, — крикнул на весь храм игумен, и этот властный голос Старца с корнем вырвал панику, охватившую монахов. Богослужение продолжалось, хор стал петь еще громче, нисколько не смущаясь присутствием большевиков, которые в числе 5—6 человек вошли в храм.

По окончании всенощной игумен Мануил, поддерживаемый с двух сторон послушниками, не обращая ни малейшего внимания на большевиков, вышел из храма по направлению к своим покоям. Его сейчас же окружила толпа богомольцев, подошедшая под благословение.

— А вы, черти, почему не подходите под благословение, — обратился игумен к большевикам, — безбожники вы, нехристы, чего лазите по монастырям да мутите народ, грабители...

— Батюшка, батюшка, — шепнул послушник, дергая игумена за рясу и останавливая его.

— Чего там батюшка, — оборвал игумен, а затем, обращаясь к большевикам, сказал им:

— Вас сколько здесь, — 6 человек, ну а нас 26, убирайтесь откуда пришли, а то прикажу выгнать...

Большевики, привыкшие, что перед ними все трепетали, и не ожидавшие такой встречи, пришли в страшное замешательство и до того смутились, что, глядя на них, богомольцы, и особенно бабы, заступились за них.

А кто же из знакомых с деревней и крестьянским бытом не знает, в каких формах прояв-

ляется такое заступничество крестьянских баб, отражающее столько юмора, им одним свойственного? Недаром крестьянские парни так боялись привхождения в их взаимные споры баб, особенно жалостливых, движимых только участием, но еще более обострявших всякого рода споры. Так случилось и здесь. Желая сгладить неприятное впечатление от слов игумена, бабы сказали ему:

— Батюшка, да то они так только сдуру, а ребята они ничего себе...

Сказанные на малороссийском языке эти слова приобретали обидный смысл и задевали самолюбие большевиков, которые были пристыжены настолько, что ушли из Скита, ничего не тронув и отказавшись даже от предложенной им трапезы.

— Не жизнь, а каторга, — нередко раздавалось в среде братии...

И умный игумен Мануил всегда находил слова, вразумлявшие братию.

— На каторге только подневольный труд, а нет страха за завтрашний день, за свою жизнь, все живут на готовом, обо всех заботится начальство, только воли нет свободной... А на что она монаху... А сейчас Господь послал такое время, что позавидовать можно и каторге... Трепетать приходится день и ночь, от страха работа валится из рук, молитва на ум и на сердце не идет, дрожим все, точно приговоренные к смерти... Не знаем, на что и для кого трудиться... Завтра придут жиды и все заберут, да вдобавок еще и убьют... Вот оно что! А отку-

да же трепет, откуда не знающий жалости к жертве страх?.. От маловерия! От непонимания, что значит нести Крест Господень и в чем сей Крест заключается!.. Заключается же Крест Господень в скорбях, печалях и болезнях, в трудах и заботах, в досадах, огорчениях и неудачах, в туге душевной и телесной. Многозаботливость и многопопечение увеличивает тяжесть Креста, а смелое предание себя воле Божией снимает эту тяжесть. Думайте не о грядущих напастях, а о том, что вы — дети Божии, хотя и окаянные и недостойные, а все же Его дети... Он ли, Милосердный, не попечется о вас?! Тогда и страха не будет...

Игумен Мануил представлял собой в данном отношении полную противоположность своей братии. Он вырос и состарился в совершенно иных условиях жизни, отвергал революцию, как таковую, вовсе не считался с ней, не признавал ее и даже не хотел верить тому, что революция — совершившийся факт, с которым приходится считаться поневоле. Он был слишком умен для того, чтобы радоваться революции, однако же, как и всякий крестьянин, был уверен, что революция коснется только интересов господского класса и не заденет ни его лично, ни результатов его упорного долголетнего труда.

На большевиков он смотрел так же, как смотрел на каждого бунтовщика и смутьяна в стенах своего Скита, и, не допуская соглашательства с последним, не мыслил иного отношения и к большевикам, возмущаясь общим пресмыкательством перед ними и жалуясь на

то, что русский народ без боя сдал свои позиции «страха ради иудейска». В этом игумен Мануил был бесконечно прав, а своим собственным примером оправдывал свои теории.

Положение в Киеве становилось все более нестерпимым; с просьбой о приюте в Скиту обращались к игумену Мануилу даже епископы, но игумен категорически отказывал им, ссылаясь на то, что содержание епископов разорит Скит. Тем не менее, каким-то образом в Скит пробирались не только монахи из Киевских монастырей, но даже миряне, причем последние без ведома игумена, а по протекции низшей братии. [...]

С каждым днем настроение в Скиту делалось тревожнее... Достаточно было большевикам найти дорогу к нему, дабы их посещения участились, и не проходило дня, чтобы жизнь не нарушалась внезапными налетами негодяев. Одновременно росли и слухи, один ужаснее другого, и эти слухи впоследствии подтверждались. В соседнем монастыре большевики перерезали братию и ограбили имущество; в одном из прилегавших к Скиту сел убили священника, жену и детей его; в уманском имении, принадлежавшем Скиту, расстреляли настоятеля храма, заведовавшего имением, и нескольких монахов. Братия Скита трепетала... Один только игумен Мануил сохранял невозмутимое спокойствие. И как же дорого было это спокойствие для окружавших, с какой любовью взирали на игумена даже те, кто втайне его ненавидел, когда игумен, сидя за обедом, смаковал его, продолжая спокойно

сидеть за столом в те моменты, когда большевики грабили хозяйство Скита и угрожали игумену убийством. В этих случаях растерянная братия бросалась к игумену и, вместо того чтобы защищать его, сама пряталась за игумена и просила его защиты. Между тем в распоряжении игумена, кроме запаса бранных слов, не имелось никаких других средств самозащиты. Он был немощен и стар, толст и неподвижен, и вся его наружность отражала нечто до крайности комическое, его природа была точно насыщена юмором. Он не испытывал ни малейшего страха перед большевиками, а наоборот, был убежден, что они боятся его, ибо должны бояться, должны ценить в его лице игумена и подчиняться ему.

Был день, когда большевики, ворвавшись в Скит, начали открыто грабить его. Братия прибежала к игумену и подняла вопль.

— Гони их к чертям, не дадут даже пообедать спокойно, — сказал игумен, громко отрыгнувшись.

Однако братия была до того терроризована и запугана, что без игумена не решалась возвращаться к большевикам, которые собирались уводить лошадей и коров.

И, приказав вести себя под руки, игумен Мануил, тяжело переваливаясь с одной ноги на другую, вышел к большевикам и разразился страшной бранью. Эффект, однако, получился на этот раз обратный. За каждым его словом следовала такая отрыжка, какая мешала ему говорить и какая в результате вызывала друж-

ный смех не только у большевиков, но и у братии. Я уже упоминал о наружности о. игумена, на которую нельзя было смотреть без улыбки, и читатель может себе представить эту картину разноса большевиков игуменом, вся фигура которого и отрыжка, сопровождавшая каждое его слово, так настойчиво опровергала его ссылки на скудость материальных средств Скита, живущего впроголодь.

Пересмеиваясь между собой, большевики делали свое дело, однако игумена не тронули, а уходя из Скита и уводя лошадь и корову, даже сделали в шутку под козырек.

— Оставьте же хотя корову, подлецы, на какого черта она нужна вам, — бросился им вдогонку игумен, — разве вы, такие-сякие, не знаете, что коровка здесь и выросла, в Скиту... — И игумен замахнулся на них палкой, приведя своей смелостью в изумление братию, которая удерживала игумена, опасаясь худшего, и хватала его за рясу.

— А почем мы знаем, где коровка выросла, нам это без последствий, — огрызнулся кто-то из большевиков.

Но таковы уже свойства русской крестьянской логики, коим верны остались и большевики. Спор немедленно перешел в другую плоскость, и началась перебранка по вопросу о том, где выросла коровка, и судьба ее была поставлена в зависимость от того, как этот вопрос разрешится. Конечно, вся братия начала клятвенно заверять, что коровка и родилась, и выросла в Скиту, и... в результате

коровку удалось отстоять, а лошадь большевики увели с собой.

На радостях игумен приказал дать коровке двойную порцию сена.

— Да прибавьте ей еще чего-нибудь, — сказал игумен, погладив коровку по голове с той любовью, о которой говорили его добрые глаза.

Эти налеты до крайности нервировали брата и меня, и мы жили не только под угрозой быть ежеминутно схваченными, но и под угрозой причинить много огорчений Скиту, нас приютившему. Появлялись большевики и на пасеке, причем меня всякий раз прятали, запирая на ключ мою келлию и заставляя дверь с наружной стороны тяжелыми шкафами. Между тем Киев непрерывно осаждался то повстанцами, то полками Белой Армии Деникина, и большевики доживали свои последние дни. Сильнейшая канонада раздавалась днем и ночью, и мы со дня на день ждали своего спасения. Однако прежде чем оно наступило, пришлось пережить еще одно последнее, но зато и самое тяжелое испытание, о котором я и до сих пор вспоминаю с нервной дрожью. В ночь с 5 на 6 августа, под праздник Преображения Господня, послышался робкий стук в дверь моей келлии. Я вздрогнул и спросил, кто там.

— Не бойся ничего, — сказал мне глухим голосом мой брат, — открой дверь...

Я увидел пред собой брата, иеромонаха С., казначея Скита иеромонаха Корнилия и еще кого-то, точно не помню. Было 2 часа ночи.

— Не бойся, — сказал мне еще раз мой брат, — одевайся скорее... Получилось известие, что большевики узнали, где мы находимся, и хотят сделать обыск в Скиту. Нам нужно скрыться в другое место, куда мы сейчас и пойдем пересидеть некоторое время.

Я почувствовал, как сильно затрепетало мое сердце... Мое волнение еще более увеличилось, когда я взглянул на брата, который силился меня успокоить, но сам испытывал такое же волнение. Я быстро оделся и покинул свою келлию. Весь Скит уже был на ногах, и общая суета и тревога не укрывалась от меня. Я догадывался, что от меня что-то скрывали, но, глядя на идущих со мной, не расспрашивал их. Мы вышли в противоположную сторону, не по направлению к выходу из Скита, и я спросил: «Куда мы идем?»

Кто-то ответил мне, что не стоит идти через двор и ворота Скита, а для сокращения расстояния лучше идти напрямик. И мы пошли по прямой линии, преодолевая всякие препятствия, перелезая через высокие заборы, причем мне то и дело напоминалось, что не нужно делать шума и стараться идти молча, незаметно. Я недоумевал, зачем нужны были такие предосторожности, когда большевики только «собирались» являться в Скит, и было даже неизвестно, когда явятся. Я не знал того, что от меня скрывалось, именно, что большевики уже давно пришли и в тот самый момент, когда мой брат явился за мной, они уже рыскали по всему Скиту и обыскивали келлии монахов.

Об этом мне сказали мои спутники лишь тогда, когда мы вышли за территорию Скита и находились в лесу.

Моросил мелкий дождь, тучи стремительно неслись по небосклону, то скрывая луну, то заволакивая ее тонким покровом. Казалось, что не тучи, а луна куда-то летела, то прячась за тучи, то выглядывая из них для того, чтобы показывать нам дорогу.

Мы шли в лесную дачу, принадлежавшую Покровскому монастырю и отстоявшую от скита на расстоянии 4–5 верст. Однако прошло уже два часа, а мы все шли и шли, а дача не показывалась. Я чувствовал, что начинаю уже терять силы. Навстречу попадались нам костры и возле них силуэты солдат с ружьями за плечами.

«Это большевики», — раздавалось шепотом, и мы сворачивали в сторону и обходили их. Таких встреч было несколько, но Господь невидимо хранил нас, и мы успевали замечать их вовремя и менять направление дороги. Наконец мы подошли не то к протекавшей в лесу реке или ручью, не то к огромной луже, настолько глубокой, что перейти ее вброд не представлялось возможным. Обходить же ее было опасно, ибо мы неминуемо встретились бы с большевиками. Мы остановились в нерешительности, не зная, что делать. Выручил нас иеромонах Корнилий, который снял сапоги, подвернул до колен брюки и поочередно перенес на своих богатырских плечах сначала брата, а затем меня. Мы пошли вперед... Какое-то непонятное ощущение овладевало мной... Тоска давила меня,

предчувствие чего-то тяжелого, неотвратимого, неизбежного теснило меня и сковывало, и в то же время какая-то необъяснимая апатия овладевала мной... Сознание не работало, я шел, вперив взор вперед, машинально переступая ногами, и чувствовал такую бесконечную усталость, такое безмерное томление духа, что, казалось, отдался бы большевикам, не сделав ни малейшего усилия вырваться из их рук.

Вдруг, точно вкопанный, я остановился на месте и едва не вскрикнул. В нескольких шагах от меня, пересекая нам дорогу, шло какое-то неведомое животное, окрашенное в ярко-пепельный цвет, величиной в теленка. Животное шло медленно, точно не обращая никакого внимания на идущих, мотая головой и разваливаясь во все стороны, как ходят тигры, и вдруг мгновенно исчезло на моих глазах, коих я не сводил с него.

«Видели?» — спросил я своих спутников, трепеща всем телом...

Никто ничего не видел, я же остался в убеждении, какого держусь и доныне, что видел диавола в образе неведомого, не существующего на земле животного. Я не допускаю, что мои нервы, как бы ни были развинчены, могли создать в моем воображении подобную картину, ибо необычайную фигуру этого на редкость гнусного по виду животного вижу и до сих пор пред своими глазами.

Прошло уже четыре часа, как мы вышли из Скита, и я от утомления с окровавленными ногами свалился на землю и не мог идти дальше.

Было уже светло... Но мы находились уже на расстоянии нескольких сот сажен от лесной дачи, и между моими спутниками было решено, что иеромонах Корнилий пойдет на разведку и предупредит о нашем приходе матушку, заведывающую дачей, а остальные останутся дожидаться в лесу.

Прошло не более получаса, как о. Корнилий вернулся, заявив, что лесная дача занята большевиками, которые пока еще спят, и что нам нужно как можно скорее спасаться от них бегством. Куда? Никто не знал. Это известие как громом поразило нас, и особенно меня, не имевшего уже физической возможности подняться с земли. Однако делать было нечего. Страх победил усталость, и мы снова выбрались из леса и очутились в поле, не зная, что делать дальше и в каком направлении двигаться.

Но Милосердный Господь, охранявший нас в пути, послал нам неожиданно чудесную помощь. Не прошло и часу, как мы услышали шум подъезжавшей к нам кибитки, посланной за нами из лесной дачи вдогонку с известием, что большевики, переночевав в даче, ушли в неизвестном направлении и что мы можем вернуться обратно. Так мы и сделали и, приехав в дачный домик, улеглись, измученные и усталые, спать...

Было уже около двух часов пополудни, когда мы вновь были испуганы неожиданно прибывшим из Скита послушником с каким-то поручением к иеромонаху Корнилию от игумена Мануила. Страх, однако, быстро рассеялся.

Послушник объявил, что большевики уже уехали из Скита, увезя с собой жившего в Скиту без ведома игумена Мануила какого-то бывшего казначея или кассира, служившего раньше у них, а затем им изменившего, что предположение о намерении их разыскивать «князей» оказалось неосновательным, что они даже не спрашивали обо мне и брате, а явились к этому кассиру и, арестовав его, увезли с собой. В заключение игумен просил нас всех вернуться обратно в Скит.

Чудо Божие снова свершилось над нами, и мы благополучно вернулись в Скит, где игумен ожидал нас с чаем, сидя за самоваром.

— Учитесь прозревать благую волю Господню о нас в событиях повседневной нашей жизни, — сказал игумен, слушая наш рассказ о том, как мы сбились с пути и, вместо того чтобы пройти три версты, проблуждали ночью около 15 верст.

— Если бы не сбились с дороги, то наткнулись бы на большевиков, а они бы и перестреляли вас всех, вот Господь и не захотел этого и укрыл вас, — закончил мудрый игумен.

И, вспоминая теперь об этом новом заступлении Божием, таком очевидном, таком чудесном, я только и могу воздать хвалу Богу, не постигая того, как безмерна любовь Божия к грешному человеку и как близок к нам Милосердный Отец наш Небесный.

Неделю спустя добровольцы ворвались в Киев, выгнали оттуда большевиков, и мы с братом могли вернуться к себе в дом.

Это было 15 августа 1919 года, в день Успения Пресвятой Богородицы.

Долг глубокой благодарности к игумену Мануилу заставляет меня почтить сердечной признательностью его память.

Это был человек старого закала, своеобычный, настойчивый, подчас тяжелый и трудный в общежитии, но человек глубокой, чисто детской веры, являвшейся для него и крепостью, и силой. Мало образованный и просвещенный светом знания, весьма скептически относясь к завоеваниям науки, он опирался только на свою веру и сквозь призму ее рассматривал и оценивал окружающее. Его вера раскрывала пред ним необъятные горизонты невидимого, казалось, обнажала и тайны загробного міра и давала ему такое спокойствие, рождала такую силу духа, какая заражала малодушных и какую не в силах были ослабить никакие земные ужасы и страхи, так жестоко терзавшие маловерных.

И, глядя на игумена Мануила, я все более убеждался в том, что каждому человеку нужно ровно столько знания, чтобы уметь сквозь призму его видеть, познавать и любить Бога, что надмевает не знание и наука, а гордость, что приближает к Богу не простота и невежество, а смирение, и что гордость и смирение одинаково могут принадлежать и ученым, и простецам.

Великая вера игумена Мануила никогда не посрамляла его, и благодать Божия видимо почивала на нем, охраняя и защищая его, и благословляя его труды.

11 мая 1920 года он скончался и погребен там же, в Скиту, в заранее приготовленном склепе. Мир праху твоему, великий труженик и честный монах! Упокой, Господи, смиренную душу раба Твоего, схиигумена Серафима!

Игумен Мануил...

Печатается по: *Нилус С. А.* Игумен Мануил (в схиме Серафим), основатель Рождество-Богородичного монастыря в Церковщине под Киевом и Свято-Георгиевского Скита близ г[орода] Умани Киевской губ[ернии]: I. Автобиография, составленная С. А. Нилусом по материалам, собранным послушником Саввою Буренком; II. Келейные записки Саввы Буренка. Киев: Типография бывшей 1-й Киевской Артели Печатного Дела (Трехсвятительская, 5), 1919. 143 с.

Единственный доступный для настоящего издания экземпляр книги оказался дефектным — часть страниц имеют обрезанные края. Утраченный текст обозначается квадратными скобками. Предположительное чтение оговаривается особо в постраничных сносках.

Вместо послесловия

Печатается с сокращениями по: Воспоминания кн. Н. Д. Жевахова. Новый Сад, 1928. Т. 2.

ДЛЯ ЧЕГО И КОМУ НУЖНЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ?

В дни разгрома тысячелетнего здания православно-русского духа, в грозные дни, нами переживаемые, дух неверия, вольнодумства, нового язычества, дух антихриста, грядущего в мiр, употребляет тысячи всевозможных средств для торжества своей пропаганды: печать во всех ее видах — от периодических журналов с иллюстрациями и без иллюстраций; уличные газеты, направляемые, за малым исключением, зримой и незримой еврейско-масонской рукой; подметные листки подпольного отечественного и заграничного производства; кагал явно и тайно жидовствующих и лжефилософствующих профессоров высших учебных заведений, на скорую руку сфабрикованных и распропагандированных сельских учителей; различные общества и союзы и, наконец, забастовки всех видов и именований — все это непроницаемой тучей, вырвавшейся из преисподней, охватило самое дыхание русского православного человека, грозя задушить его насмерть.

Очевидно, что против силы недостаточно просто научных доказательств или обращения к смыслу пережитой нами тысячелетней истории, обнажающей всю гибельность того пути, на котором нас насильно и стремительно толкают в пропасть, из глубины которой нам нет и не может быть возврата. Если дух антихриста, которого теперь ожидает бессознательно и в редких случаях сознательно почти все верующее человечество, выступает против нас крепко сплоченной и единодушной армией своих представителей, то и вера Христова должна на борьбу с ним выставить такую твердыню, которая могла бы противостоять всей совокупности адских сил, восставших вкупе на Господа и на Христа Его: она должна действовать тем же испытанным орудием, которым она действовала в жестокие и страшные дни языческого и еврейского гонения на Церковь Христову на утренней заре христианства.

Оружие это — нравственное превосходство святости и смиренной любви исповедников Христа перед современными нам служителями диавола и антихриста. Это оружие в чистых руках, как и самое Имя Христово, как Крест Христов, одно может одолеть всю несметную рать сил адовых, ополчившихся на нашу Родину, тысячелетнюю носительницу духа истинной Христовой, апостольской веры.

Без этого оружия нет средств борьбы, без него поле великой битвы роковым образом останется за врагами.

Это хорошо известно преисподней, и стрелы ее, разженные сатанинской ненавистью, всей силой своей направлены теперь на эту сторону христианского духа. Кому из скорбных наблюдений современности не очевиден поход, предпринятый против христианской нравственности? Стоит только взглянуть на объявления о мирских зрелищах, начиная с театров и кончая кинематографами, на рекламы издаваемых в головокружительном количестве развратных книг, газет и брошюр, безнравственных видов и карточек, чтобы ясно видеть цель, которую строго систематически преследует дух известного противника истины.

Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что времени ему остается уже немного... (Апок. 12, 12).

И вот, развращая христианский міръ, дух действующего в міре антихриста, одолев мирян, набросился яростно на последний оплот христианской нравственности и чистоты, хранителями которой призваны быть православные монастыри. История ближайших к нам по времени тайных и явных нападений на эти твердыни Православия хорошо известна христианам, еще не отпавшим от веры отцов. Клевета и издевательство, щедро рассыпаемые в газетах и журналах на монашество самозванными радетелями человеческого благоденствия, еще свежи в нашей памяти, и нанесенные ими раны общечеловеческой совести не только не заживают,

но ежечасно растравляются. Тяжесть обороны усугубляется тем, что по существу призвания и служения истинного монашества оно поставлено в невозможность защищаться тем же оружием, которое против него поднимается: оно должно молчать, зная и веруя, что, чем больше над его смиренно склоненной головой изливается бешенства, ругани и поношений, тем большая собирается мзда на небесах для поносимых, тем более им веселия и радости. «*Аще,* — говорит Спаситель, — *от міра бысте были, мір убо свое любил бы; яко же от міра несте, но Аз избрах вы от міра, сего ради ненавидит вас мір...*» Не было от века слыхано, чтобы люди, отказавшиеся от міра, были любимы всем міром, чтобы на них не клеветали и не злословили. Отказываясь от этой ненависти, восставая на самозащиту, добиваясь любви от міра, служа и прислуживаясь ему мирским деланием — воспитанием и образованием детей міра, мирской благотворительностью и всем тем, чего от него лицемерно требует дух времени, и таким образом забывая единое на потребу — очищение своего сердца, отдаваясь всецело внешнему деланию, монах изменяет своему существеннейшему призванию, не хочет быть последователем Христа, отказывается от несения Креста, взятого им добровольно, отрекается от стяжания Царства Божия внутрь себя, меняя его на царство князя міра сего, века сего. Пусть бранят его, пусть поносят и в газетах, и в собраниях, в домах и на уличных перекрестках, пусть обливают его помоями, изливающимися из сердца поносителей, — ему не стоит обращать вни-

мания на грязь и пустоту этой бешеной болтовни; пусть ее читают и ею увлекаются те, кому ругань эта по сердцу: ведь разумный и трезвый человек не останется на улице перед пьяным оборванцем, который станет ругать его только за то, что он не так замаран грязью, как тот пропойца.

Не отвещай безумному, — говорит Премудрый, — *да не подобен ему будеши, но отвещай безумному по безумию его, да не явится мудр у себе* (Притч. 26, 4–5). Эта мысль Премудрого в отношении к поднятому вопросу удивительно верна, и единственно убедительным ответом безумию хулителей монашества может быть только, как мы и говорили выше, — **нравственное превосходство святости отрекшихся от міра перед теми, кто из міра возвышает голос клеветы и кощунственной хулы на это святейшее установление деятельного христианства.** Монашеское житие в принципе есть житие равноангельское, а Ангелы живут в сфере, недоступной для клеветы и человеческого злоречия; и пока цвет монашества, который еще и в наше скудное любовью и верою время благоухает святыней деятельной ангелоподобной любви, пока цвет этот еще не осыпался с дерева Христовой Церкви и не лишился способности плодоносить для духовного окормления Святой Руси Серафимов Саровских, Леонидов, Макариев, Амвросиев, Иларионов Оптинских, — до тех пор не страшны монастырям нашим все хулы, вся ненависть, все нападения антихристова міра на эти твердыни Православия.

Когда на Христа Господа клеветали пред Пилатом, Он молчал, и Пилат предал Его на пропятие; но Христос воскрес, и кто может сравниться с Ним в славе?

И монашеству нет иного пути, кроме крестного, нет и оружия защиты иного, кроме молчания на все изветы **и строгого исполнения каждым из монахов тех обетов, которые он возложил на себя свободным изволением.**

Не словом, а делом должно защитить монашествующее братство, да видят люди добрые дела его и прославят Отца Небесного.

Нам возразят: а где добрые дела эти? Мы их не видим!

Ответим: приииди и вииждь!..

Разбирая старые документы и разные рукописи архивов Оптиной Пустыни, я нашел между ними два письма одной монахини Белевского монастыря к казначею Оптиной Пустыни, иеромонаху Флавиану* . Монахиня эта в міру была не из числа последних по родовитости происхождения, образования, богатству и влиятельности. Имя ее в монашестве — Илариона, а в міру — Надежда Сергеевна Лихарева; до пострижения своего она была женой богатейшего помещика Тульской, Рязанской и Симбирской

* Казначей Оптиной Пустыни, иеромонах Флавиан I, умерший в 1890 году, был человек высокой духовной жизни, близкий друг и ученик преемника великого Оптинского старца Макария — Илариона, принявшего начальствование над Скитом Пустыни после кратковременного пребывания в этой должности иеромонаха Пафнутия. Скитоначальник же, иеросхимонах Иларион, был в то же время духовным отцом и старцем как о. Флавиана, так и монахини Илларионы Лихаревой.

губерний, Каширского предводителя дворянства, гвардейского штабс-ротмистра Александра Николаевича Лихарева.

Прочтем их с тобою, мой дорогой читатель, мы своей нескромностью не потревожим тени ни монахини Илрионы, ни иеромонаха Флавиана — ничьей памяти не омрачим мы, если прочитаем эти письма, для нас же с тобою найдем в них кое-что, Бог даст, и на пользу...

Письмо 1-е

Всечестнейший и многоуважаемый, дорогой батюшка, отец Флавиан! — **так пишет монахиня Илариона**. — Более недели задумала Вам писать и едва сегодня собралась с силами исполнить это. Так мое здоровье из рук вон плохо, что не знаю, как мне и быть. С благословения матушки игумении решилась начать лечение минеральными водами, хотя эти затеи вовсе не по моему карману, но матушка сказала, что Господь пошлет на леченье, и я верую сему. Воды из Москвы привезли, пить их буду на монастырской даче. Бог даст, перееду туда на 6-й неделе, дня через три; ранее матушка сказала, что неудобно, ибо эти дни праздника возят туда на три дня всех наших клиросных погулять; когда клиросные возвратятся, тогда я поеду туда со своею Варварою. Кушанье сами будем готовить, да при водах требуется диета в пище. Воды же я начала пить уже здесь с 19-го числа; доктор так посоветовал, чтобы ему можно было видеть действие

вод первые дни. Чувствую себя плохо: ноги невыносимо болят. Вчера для праздника Троицы едва простояла обедню, а как пришла домой, целый день стонала от боли в ногах. К болезни ног присоединились еще постоянное лихорадочное состояние и такая слабость, что все лежу. Вот в каком состоянии здоровье мое, дорогой батюшка. Доктор обещает, что воды помогут, но мне плохо верится, чтобы здоровье мое поправилось.

Вчера немало днем поплакала и посетовала на родимого*, что забыл дочку свою и не вымолит у Господа хотя бы малого послабления скорбям моим и болезням. Пишу Вам все это, дорогой батюшка (может, я ошибаюсь), потому что мне кажется, что никто, как Вы, не примет во мне столько участия: Вы — близкий ученик родимого, дорогого нашего Старца и, верно, любящие его и Вам близки. Прошу Вас усердно: помяните меня грешную и хворую на могилках незабвенных старцев**, а батюшкиной могилке скажите, что дочка изнемогает телом и духом.

Будьте так милостивы, напишите мне повернее, когда будет освящение нового храма в больнице***. Мне нужно знать это: ковер еще до сих пор не дошит, а я уеду на дачу; когда буду знать, к какому времени он нужен, то

* О. Иларион к тому времени уже скончался.

** Льва (Леонида), Макария и Илариона. Отец Амвросий в то время был еще жив.

*** Во имя прп. Илариона Вел[икого] при Оптинской больнице; храм этот выстроен почитателями и духовными детьми иеросхимонаха Илариона в его память.

хотя с дачи сделаю распоряжение подшить его и Вам послать. Пелену шью — хорошо выходит, да медленно подвигается, еще и половины нет: по случаю болезни не приходится работать больше двух часов в день, и то не всегда. С помощью Божией как-нибудь доделаю; если бы прежние силы, давно бы уже она готова была. Хочется и самой быть в Оптиной на освящении храма; может быть, к тому времени здоровье и поправится.

Никому о сем не говорю, Вам же скажу о своем намерении: хочу на даче на свободе заняться делом, о котором давно мечтаю; хочу написать все, что помню о родном батюшке Иларионе с того счастливого дня, когда узнала его. Много интересного помнится, грех даже умолчать о тех чудесах, которые творил с нами дорогой Старец. Соберу все письма по порядку: может быть, придет время, Господу угодно будет прославить смиренного нашего Старца, найдутся желающие записать жизнь родимого*, тогда, может, и записки мои пригодятся. Кажется, ни с кем таких чудес не совершалось, как с нами. Не знаю, одобрите ли мое намерение. Утешьте меня ответом, дорогой батюшка. Письма мне будут пересылать на дачу. Помолитесь о мне грешной: очень мне трудно и тяжело.

С истинным сердечным уважением остаюсь навсегда преданная Вам

Илариона Лихарева
24 мая 1876 г.

* Жизнеописание о. Илариона издано Оптинской Пустынью.

Чувствуешь ли ты, читатель, трепет чистейшей любви и веры, которыми проникнуты эти строки, дышащие такой полнотой чувства, над которой и смерть не имеет власти? «А батюшкиной могилке скажите, что дочка изнемогает и телом и духом!» Слышны ли вам, хулители монашества, бесценные слова эти? Зримы ли вам алмазы слез, оросивших этот вопль души, тоскующей по одном из тех неведомых міру, которых целый мір не стоит? Поймете ли вы даже и самое то чувство, которое диктовало это забытое письмо? А ведь таким чувством и жило, и дышало православное сердце русского человека, строителя былой нашей славы...

А вот и другое письмо:

Письмо 2-е

Многоуважаемый, дорогой батюшка, отец Флавиан! При сем прилагаю труд мой малый — записки о родимом, дорогом Старце. Писала их с любовью. Хотя в этих записках обличается прежняя жизнь моя, но я радуюсь этому, ибо это еще более будет служить в похвалу дорогого отца. Одним словом, отдаю их на Вашу волю святую; прочтите и решите, годятся ли они. Думаю, что родимому нравится мой труд, ибо во время составления этих записок я два раза во сне видела дорогого отца, да такого доброго и ласкового... Скоро думаю возвратиться в келью, хотя здесь хорошо на даче; но

монастырская жизнь как-то более мне по духу. Здоровье мое — слава Богу. 2-го числа кончу воды. Прошу вас, дорогой батюшка, не забывайте молиться о делах моих, которые скоро должны решиться окончательно. На могилке родимого поминайте о сем. Плохо будет, ежели окончатся не в мою пользу.

Несколько раз думала написать Вам, многоуважаемый батюшка, не находите ли Вы нужным пригласить на освящение больницы и храма Тиньковых*, Афанасия Николаевича и супругу его, Наталью Андреевну: они искренно любили покойного Старца; я и теперь часто имею с ними переписку; они до сих пор глубоко чтут память родимого и много скорбят о том, что не стало уже в Оптиной отца Илариона.

Вероятно, они с любовью приехали бы на сие торжество. Простите, что как будто учу Вас, кого приглашать, но я очень люблю Тиньковых за их любовь к родному, потому и желалось их утешить.

Помолитесь о мне грешной; если что не так составлено в записках, то покройте это любовью и Вашим снисхождением.

Июнь 1876 год
Иллариона Лихарева

---

*Богатые в то время помещики Орловской губернии. Афанасий Николаевич Тиньков долгое время был предводителем дворянства Мценского уезда и умер предводителем, оставив по себе такую память как в дворянах, так и в крестьянах, какой дай Бог всякому. Молва ходила, что оба супруга Тиньковы во время предсмертной своей болезни приняли тайное пострижение.

Я нашел записки монахини Иларионы и с любовью к светлой ее памяти и памяти вдохновившего ее Старца делюсь ими с моим дорогим читателем.

В записках этих он найдет ключ к разумению великой тайны влияния истинно монашеского духа на многоскорбное, но верующее человеческое сердце; он поймет, для чего и кому нужны наши православные монастыри; поймет он и то, для чего и кому важно и нужно их уничтожение...

ЗАПИСКИ МОНАХИНИ ИЛАРИОНЫ ЛИХАРЕВОЙ

I.

Три года душа моя стремится к исполнению того, к чему только теперь решаюсь приступить. Возобновить в памяти моей и записать незабвенные дни и годы, прожитые мною близ дорогого старца, отца Илариона.

Немного их было, увы! По воле Божией, скоро я лишилась отца и благодетеля души моей... Робею, приступая к такому трудному делу — изъяснить на бумаге то, что почти необъяснимо: как, бывши низринута в пропасти греховные, погибала душа, погибало тело; чувствовала и скорбела о своей гибели, но сил не было выпутаться самой из сети мирской жизни. Господь, Который видит сердце человека и его произволение, видел и мое стремление к освобождению и послал мне спасителя, отца и покровителя.

Чтобы понятнее было то, что я хочу выразить в своих записках, начну краткую, насколько возможно, биографию свою. Если, вероятно,

придется краснеть мне при воспоминании о прежней моей безобразной жизни, зато я найду утешение в том, что, обличая свою греховность, тем более выясняю силу благодати, данную моему Старцу.

Родилась я в городе Т. от родителей благородных и довольно знатного рода. Хотя отец мой не имел огромного состояния, но жил в полном достатке, содержал большое семейство — нас было семеро — и дал даже более чем приличное воспитание; не щадили ничего, чтобы дать нам и хорошее образование.

Я была в семействе вторая. Насколько помню сама, — а то после и моя мать говорила, — с ребячества я была красива собою и в детстве красотою обращала на себя внимание многих. Воспитание дано было нам строгое. Отец был характера сурового; боялись мы ужасно.

Семейство наше пользовалось уважением, и все находили, что мы получили хорошее нравственное воспитание.

Я рано стала сознавать свою красоту, и с годами во мне начало развиваться кокетство. Мне нравилось, что замечают мою наружность. Еще с двенадцати лет, помню, я уже замечала, кому нравлюсь, и это меня весьма утешало. Чувство это было, конечно, глубоко во мне скрыто: отец, как я уже говорила, был весьма строг; да и по годам мало было случаев развиться этой страсти нравиться.

Наконец минул мне шестнадцатый год. Уроки еще продолжались, но старшую мою сестру и меня уже стали изредка вывозить на вечера.

Сестра моя была не хороша собою, и это еще более выказывало мое превосходство. На погибель ли мою так делалось, но я подчас сама удивлялась, что стоило мне только куда показаться, как меня уже окружала толпа поклонников, и я, несмотря на свои юные годы, более чем искусно умела завлекать их и смеяться над ними.

При таких данных мне недолго было найти себе подходящую партию.

К нам в город приехал случайно по своим делам Александр Николаевич Лихарев. Человек он был известный, богатый, светский, красивый, ловкий. Он был крупным помещиком Тульской, Рязанской и Симбирской губерний; воспитывался в Пажеском корпусе одновременно с Государем Александром Николаевичем и был ему лично известен как по корпусу, так и по службе в гвардии. Лихарев увидел меня на балу у губернатора, и я ему сильно понравилась, а он мне еще более. Мудрено ли было понравиться пятнадцатилетней девочке?.. Лихарева мало знали в Т., и о нем ходили разные слухи: кто говорил, что он богат; другие — что проигравшийся картежник. Все, конечно, замечали, как он неотступно всюду следовал за мною; нашлись даже люди, которые стали предостерегать отца моего о том, что Лихарев имеет обычай в каждом городе, где поживет, выбирать себе невесту, а затем под каким-нибудь предлогом взять да уехать, покинув свою нареченную. Отцу очень не нравилось ухаживание за мной Лихарева, и сколько раз доводил

он меня до слез, отказывая ему от нашего дома. Три месяца продолжалась эта история; наконец Лихарев сделал мне формальное предложение. Отец долго колебался; он прямо говорил мне, что счастья нельзя ждать от такой партии, что я, как дитя, не знаю ни света, ни людей, что у Лихарева только оболочка блестящая, а что для семейной жизни он негоден — пустой человек; многое и другое в том же роде говорил мне мой отец, но никакие слова, никакие убеждения на меня не подействовали: я стояла упорно на своем; да и Лихареву я, видно, серьезно нравилась, потому что он усиленно хлопотал устроить нашу свадьбу.

Наконец родители согласились; и тут пошла обыкновенная жизнь счастливых влюбленных. Лихарев был один сын у матери; состояние было хорошее, родство знатное. Воспитание самое светское, утонченное. Тогда мне все это представлялось в ослепительном блеске, и только теперь я поняла, что этим внешним блеском прикрывалась одна пустота и тщеславие... Жениху нравилось во мне тоже одно только внешнее — моя счастливая, как принято говорить, наружность. Он и сам мне неоднократно высказывал:

— Хочу, — говорит он, — чтобы жена моя была лучше всех.

Можно себе представить, какое действие эти слова производили на склонность мою к кокетству: сам мой будущий муж желал и — чего? Выказывать перед людьми мою красоту...

И к чему же это повело?!

II.

После свадьбы муж повез меня в Москву, представил родным, которых было множество, знакомым, которых было еще больше; и началась жизнь — ряд дней непрестанного праздника, проведенных в безумных удовольствиях: балы, театры, обеды, роскошные наряды. Деньги не жалелись, часу не давалось отдыху; и меня, шестнадцатилетнюю женщину-ребенка решительно закружили до одурения. Поклонников у меня была тьма; но скажу истину — они меня не очень занимали: я очень любила мужа, и он мне один нравился. Я часто даже высказывала ему свое желание — хоть один день, хоть один вечер посидеть наедине дома. Но в ответ на это он только смеялся и говорил, что я — провинциалка, никогда не буду утонченной светской женщиной, и накупал мне все больше и больше нарядов, ревниво следя за тем, чтобы я была лучше всех одета. В угоду ему, я наряжалась, выезжала, кокетничала, но в душе, как и теперь помню, у меня уже тогда запала какая-то грусть: не о такой жизни мне мечталось. Мой муж любил меня как нарядную красивую куклу, но не как жену.

Все это теперь понимается, а тогда почти неопытному ребенку только чувствовалось, что не такова должна быть жизнь счастливая... Пишу я это все, может быть, слишком подробно, но это для того, чтобы выяснить наши характеры, свойства, привычки, наше безумие и сильнее

показать ту перемену, которая после случилась с нами.

Вот такую-то жизнь мы проводили почти постоянно в течение целого ряда лет. На лето мы выезжали в деревню, но и там жили почти так же, всегда окруженные обществом. С каждым, однако, годом нашей супружеской жизни мне яснее и яснее стали открываться дела моего мужа, и наконец я узнала что, хотя у нас состояние и большое, но долгов еще больше. Муж часто занимал деньги, заставлял меня подписывать векселя, и я, движимая к нему любовью, в надежде сильнее привязать к себе его сердце беспрекословно ему повиновалась. Характера он не был крутого, и я не видала от него оскорблений, лишь бы только не противиться его безумию. Не было обиды, но не было и ласки. Странная была жизнь моя... А средства, между тем, все умалялись; не стало возможности наряжать меня, как прежде; да и мне самой все это надоело: я даже рада была оставить всю эту праздную, роскошную жизнь, все эти выезды...

Во второй период моей замужней жизни на мою долю выпало одной сидеть дома, а муж уже один стал продолжать вести безумную жизнь. Он, кажется, часу не мог пробыть без народа. Бывало, одна заря его выгонит, а другая вгонит: картежная игра его почти свела с ума. Иной раз выберешь часок поговорить с ним наедине, начнешь убеждать его оставить такую жизнь; он как будто на словах и согласится со мною, а там — опять за карты да за долги.

И счастье же было этому человеку! — в самую критическую минуту, когда мы были накануне разорения, он неожиданно получил огромное наследство и снова зажил еще безумнее.

III.

Долго не могла я привыкнуть к холодности моего мужа ко мне, равнодушие его меня убивало. Время после все переделало. Нашлись советчики, которые смеялись над моей любовью к мужу и говорили, что жить надо иначе, что надо найти себе утешителей и что я этим скорее верну себе мужнюю любовь.

Стала я этому совету следовать, но ничто не помогало, а самой мне делалось все тяжелее и тяжелее; мужу же моему и дела до меня не было: были бы карты да деньги... Безумная была жизнь наша, греховная, мерзкая пред Господом! Муж играл, тратил деньги, опять делал долги, а я, измученная такою безотрадною жизнью, одного только и искала, как бы забыться и заглушить свое горе.

Не для такой жизни была я рождена: душа моя жаждала тихого семейного счастья, любила домашние занятия; и с годами я все более и более тяготилась тем безобразием, которое меня окружало, и грызла мою душу тоска непрерывная, не всегда сознаваемая, чаще безотчетная... Детей у нас не было: нечем было наполнить пустоту жизни. Я взяла на воспитание маленькую девочку пяти лет; вначале она мне была как будто в тягость, но с течением времени сердце мое, жаждавшее привязанности,

полюбило ее — милое дитя была она! Муж мой тоже был ласков к ней, ничего не жалел для ее воспитания, но и в этом тщеславие играло первую роль. Отдали мы ее замуж, но не дал ей Бог счастья, и теперь ее уже нет на свете: двадцати пяти лет она окончила свое земное поприще. Она счастливее меня — недолго помучилась!..

Отдала я воспитанницу замуж и опять осталась одинока со своею постоянной тоской, которая, конечно, довела бы меня не до добра.

Всего тяжелее для меня было то, что всю тяготу моей жизни я несла одна, не имея возможности никому высказать всего того, что несла двадцать пять лет. Да и кому можно было поведать тайну моей жизни, разве только избранному Самим Богом?

Так это и случилось.

Наше состояние таяло с каждым годом; долги душили. Муж мой сам стал нередко говорить, что дела плохи, жить трудно; а между тем мы продолжали жить почти все так же; да, правду сказать, уже трудно было помочь нам, удержать состояние от разорения.

Наступил наконец и роковой наш день: по требованию кредиторов описали имение, в котором мы жили. Кое-как отсрочили на один год продажу.

В то самое время Господь вразумил меня ехать в Оптину Пустынь. За год перед тем от одной знакомой мне монахини я услыхала, как полезно и утешительно быть в этом монастыре, который славился своими старцами и ду-

ховниками. Слушала я эти рассказы, и загорелось мое сердце желанием ехать туда: видно, чувствовала моя душа, что там найдет она свое спасение. Но не так-то скоро, как хотелось, пришлось мне осуществить свое желание: расстояние в 500 верст разделяло нас от Оптиной, путь был неизвестный; муж меня одну не отпускал, надо было найти верную попутчицу, а такой не находилось.

Наконец настал давно желанный день, когда я села в экипаж и отправилась в Оптину Пустынь. После шести дней благополучного путешествия мы приехали туда...

Я всегда любила монастыри, часто езжала на богомолье, уважала монашество; с таким же чувством благоговения я и теперь въехала в Оптину Пустынь. С товаркой моей мы остановились на гостинице, переоделись, пошли ходить по монастырю и на первых же шагах я встретила знакомых мне мужа и жену Тиньковых, помещиков Орловской губернии. Тинькову я знала с детства, но судьба нас разлучила, и мы не видались с нею более десяти лет. Надо же было случиться, чтобы в самую критическую для меня минуту я встретила ее в незнакомом месте!.. Тиньковы уже 9 лет знали Оптину Пустынь и часто ездили туда к Скитоначальнику, отцу Илариону, которого они были духовными детьми и к которому они относились как к своему Старцу*. Узнав, зачем я приехала, они

* По кончине Оптинского старца о. Макария, часть его духовных детей обратилась за духовным окормлением к о. Илариону, а остальные к о. Амвросию.

пригласили о. Илариона к себе на гостиницу и там меня с ним познакомили. С первой минуты понравился мне Старец: благолепное старческое лицо, тихая его беседа, смиренный взор — все это меня умилило и согрело мою душу. Тут мне мало пришлось говорить. Тиньковы сказали о. Илариону, что я желаю беседовать с ним, и он, прощаясь, тихо сказал мне:

— Ежели вам угодно, то пожалуйте ко мне в два часа в Скит.

IV.

В назначенное время показали мне дорогу, привели в келью, называемую «хибаркой», где Старец принимал женщин*. Недолго мне пришлось ждать. Отворилась дверь из коридора, и к нам вышел отец Иларион. Принял он нас весьма радушно. Не прошло и пяти минут, Старец сказал провожавшим:

— Оставьте нас одних!

Все вышли из хибарки, и мы остались вдвоем.

Вначале он довольно церемонно попросил меня сесть. Началась беседа.

Первый его вопрос был:

— С какой целью вы приехали сюда? Скажите мне откровенно.

Когда я объяснила, что моя душа жаждет покаяния и что я желаю снять с нее все, что тяготит ее многие годы, я заметила, что Старец стал говорить со мною по-иному; и, истинно говорю, — не прошло и двух часов, я сидела уже не на кресле, как светская молодая дама,

* Внутрь Скита вход женщинам воспрещен.

а почти лежала у ног Старца. Душа моя встрепенулась, и с той минуты я только одного жаждала — это открыть всю скверну, которою она омрачена была столько лет. У меня было такое желание высказать все, что мне казалось — я никогда не успею излить всего, что так долго душило меня. Четыре дня, утром и вечером, я приходила в Скит и по несколько часов беседовала с дорогим отцом. Незабвенными для меня остались эти благодатные часы! Клянусь Богом, что в это время я чувствовала свое духовное возрождение! Во сне мне не снилось, чтобы подобные люди были на земле, как тот ангел-Старец, которого я видела перед собою. С какою любовию, снисхождением, терпением выслушивал он всю горькую повесть жизни моей!..

Нелегко обличать себя перед посторонним человеком, хочется ли открывать свои немощи? Ведь правда — стыдно и неловко? Но уверяю, тут иное дело было. С любовью говорилось все, чувствовалось, что при каждом открытом грехе душа получала отраду неземную, и слезы, сладкие, благодатные слезы, лились у меня рекою.

Любвеобильный Старец утешал меня. Его всеобъемлющая любовь в такое короткое время так сумела меня привязать к нему, что все мое прошлое показалось мне сном; одно бы его слово, и я никогда бы не вернулась домой.

Восемь дней я прожила в Оптиной Пустыни. Надо было возвращаться. С каким тяжким чувством, близким к отчаянию, я стала собираться в путь! Не было меры моим слезам. Старец

утешал обещанием, что я опять скоро буду у него. О, как хотелось мне этому верить, как трудно верилось!

«Переменись сама! — говорил мне батюшка. — Оставь прежнюю свою жизнь: муж увидит твою перемену, и сам пожелает приехать к нам».

Я уехала.

V.

Чтобы яснее представить те чувства, которыми преисполнена была в то время моя душа, я приведу здесь мое письмо к Наталье Андреевне Тиньковой, которое я ей написала под впечатлением своего первого знакомства с о. Иларионом.

«Не могу выдержать, — писала я, — чтобы не написать Вам о том впечатлении, которое произвело на меня посещение Оптиной Пустыни. Никогда в жизни моей не проводила я таких дней. После Вашего отъезда отсюда, в тот же день, в два часа, отправились мы в Скит. Батюшка позвал меня первой и беседовал со мною более двух часов. Я вышла от него совершено перерожденная. Найти в человеке столько доброты, участия, ласки!.. Никогда не думала я, чтобы подобные люди могли быть на земле. Я открыла ему всю душу свою; он назвал меня своею дочерью, и я люблю его теперь больше всех на свете. Все другие мои земные привязанности обратились в прах. Чтобы быть достойной называться его дочерью, я готова на все жертвы, на все испытания в жизни. **Душа моя узнала, что такое духовная радость.** Я пробыла в Пустыни

на три дня долее, чем предполагала, — не была в силах уехать, и остальные дни была осчастливлена беседой с батюшкой два раза в день: он мне позволил бывать у него после ранней обедни и в два часа; и он не только позволял мне говорить с ним сколько хочу, но даже сам вызывал на откровенность. Да, это не человек, а ангел во плоти! Что за терпение, что за кротость, что за любовь к человечеству! — только можно удивляться да молиться за него. Я счастлива, я покойна, и это состояние души продолжается и до сих пор. Берегу я это чувство, как скупой — золото.

Приехала я домой. Жизнь приняла обычный порядок, но присутствую я здесь только телом, душа же моя и все мысли — там... Батюшка позволил мне писать к нему, и сегодня я отправила письмо, а теперь живу одною мыслью — побывать там. Я уже получила разрешение ехать туда по первому пути. Если бы то было в моей воле, я бы собрала всех, кого знала, и повезла туда. Мне кажется: кто там хоть раз был и ощутил эту радость, не может продолжать быть дурным человеком. Я смеялась над Вами, что Вы проливали столько слез при отъезде из Оптиной, а сама я не плакала, а ревела, прощаясь с батюшкой, и до сих пор не могу вспомнить об нем без слез.

Счастливы Вы, что так близко живете от такого светлого места![*] Вы не можете пред-

---

[*] Это «близко» — более 100 верст на лошадях: в таком расстоянии находилось имение Тиньковых от Оптиной Пустыни *(прим. сост.)*.

ставить, как я благодарю судьбу, что встретила Вас там: Вы мне дали случай познакомиться с батюшкой. Он Вас очень любит и много о Вас говорил со мною; по милости Вашей и меня приютил...

Прошу Вас: хоть изредка, да пишите мне; я всегда рада буду иметь о Вас известие, да к тому же Вы ближе меня к Обители и более имеете там знакомых. Меня ужасно тревожит здоровье батюшки: ну как он занеможет, а я живу вдали и не узнаю об этом! Добрая Наталья Андреевна, дайте мне слово, что, ежели Вы узнаете что-нибудь неблагополучное — от чего сохрани Бог, — тотчас напишете мне, и я все брошу и приеду. Теперь вся жизнь моя в нем, а начинающей, как я, новую жизнь по вере нужна его поддержка. Вас целую крепко и буду ждать ответа».

VI.

Когда я возвратилась домой, тогда я еще более поняла, какую драгоценность я приобрела в Оптиной для души моей. Истину говорю я, как перед Богом: восемь дней, проведенных мною около Старца в святыне благодатного затишья, любви и мира монастыря, сделали меня другим человеком. Я все поняла чрез благодать святого отца, ясно увидела всю мерзость, греховность, пустоту прежней своей жизни. Неизъяснимое явилось во мне желание исправиться, и я уверенно говорю со всею силою моего убеждения, что молитвами Старца я с тех дней оставила все прежнее, и, право, в сравнении с долгим греховным навыком я

совершила это почти что без борьбы: такова была сила любви и благословения, которую в такое короткое время успел вложить в мою душу благодатный батюшка. Одно желание было — угодить Старцу, одно помышление — жить так, как он учил меня. Моя непрестанная тоска от меня отпала, и еще долго по возвращении моем домой я ощущала тот духовный восторг, который в первый раз узнала в Оптиной Пустыни.

Вернувшись домой, я каждый день писала Старцу; получала и от него частые ответы: он продолжал учить меня, поддерживать в добром начинании. И с первых же дней, проведенных дома, запала мне мысль бросить все и жить в Оптиной подле Старца. Но легко было пожелать этого — как только исполнить? Мне казалось это совершенно невозможным...

Прошло четыре месяца; слова Старца сбылись с поразительною точностью. Мой муж не мог не заметить перемены образа моей жизни. Несколько раз, шутя, он говорил:

— Вот, пустил жену в Оптину Пустынь, а мне ее монахи подменили!

Настал наконец день, когда сердце мое исполнилось неизреченной радости: муж объявил мне, что желает сам побывать в Оптиной Пустыни.

— Хочу сам видеть, — сказал он мне, — что за люди там живут. Простые смертные не могут совершить того, что с тобою совершилось.

Сборы были короткие, и в январе мы приехали в Оптину. Старец, извещенный перепиской, которую я с ним вела, ожидал нашего

прибытия. С каким чувством непередаваемого словами восторга приближалась я во второй раз к вожделенной Обители! Я везла с собою мужа, которого все еще любила, зная и чувствуя, что везу его на спасение...

На мужа моего знакомство со Старцем и беседы с ним произвели сильное впечатление, но все-таки не такое сильное, как на меня. Он с любовью прожил в Оптиной Пустыни неделю, поговел, причастился, но того, чем горело мое сердце, он не получил. О себе же скажу, что я в эту вторую поездку еще более сблизилась со Старцем, еще более полюбила его, и во мне еще тверже укрепилась мысль оставить мiр и жить в Оптиной. Дорогой отец утешал меня и, точно пророчествуя, говорил мне:

— Будете, дочка, жить подле меня, будете!

О, как хотелось мне этому поверить и как это мне казалось невозможным!..

VII.

Предсказание Старца сбылось в самом непродолжительном времени.

Дела наши приняли еще худший оборот. Прошло полгода, и муж предложил мне ехать пожить в Оптиной Пустыни, а сам решил отправиться в Петербург хлопотать по делам: надеясь на знатных родных и связи, которых было немало, он рассчитывал спасти от продажи имение, в котором мы жили.

Я была согласна на все, лишь бы меня отпустили в Оптину Пустынь: все остальное для меня было второстепенным.

Надо сказать, что по возвращении нашем из Оптиной и муж мой во многом изменил образ своей жизни: горе при мысли потерять свое состояние смирило его, да и влияние Старца дало свои плоды. Ко мне он стал относиться иначе — скорбь нас сблизила, а тут еще и друзья, и знакомые стали реже посещать нас, и во дни тяжелых испытаний он только во мне увидал истинного друга. В это страшное для нас время мы только и жили, что письменным общением со Старцем, и даже муж, независимо от меня, писал ему о делах своих, спрашивая совета, а иногда даже поминая в письмах, что, быть может, он и совсем приедет жить близ батюшки.

Я все это относила к молитвам Старца.

Собрала я с собою все необходимое в таком количестве, что можно было уже не возвращаться домой в случае продажи имения, взяла в попутчицы одну преданную нам особу, которая одна знала и положение наших дел, и наши намерения и которая захотела из чувства привязанности всюду следовать за мною и делить вместе горе и нужды бедственного будущего, — собралась я, словом, быстро и уехала из своей деревни, оставляя и дом, и роскошную жизнь, с которою свыклась с детства; с тем и оставляла, что лишилась навек всего, — и, видит Бог, не ощущала особенной скорби. Все мысли и чувства мои были сосредоточены на одном: я буду жить подле дорогого отца, открывшего во мне жизнь новую, давшего мне такое внутреннее сокровище, которого у меня

не могут отнять никакие заимодавцы и никто во всем міре.

Из деревни мы выехали одновременно с мужем: он — в Петербург, а я со своим верным другом — в Оптину.

Приехали мы на житье в благословенную Обитель 5 сентября 1868 года. Отвели нам помещение в гостинице, мы устроились: и зажила я новою жизнью, о которой мне и во сне прежде не снилось... У меня до сих пор сохраняется моя переписка с мужем: я вела ее, как дневник, описывая ему аккуратно и подробно всю жизнь подле Старца и два раза в неделю отправляя ему свои письма в Петербург. Эта переписка продолжалась три месяца... Нахожу нелишним привести здесь одно письмо мое, писано мужу в ответ на его вопрос — не скучаю ли я в Оптиной? В письме мужа, в котором он поставил этот вопрос, он сообщил, что дела идут плохо, что надо думать о приискании службы, ибо без службы нам жить будет нечем; в этом же письме муж просил меня, чтобы я, не стесняясь, написала ему свое решение и как я думаю: ему ли приехать в монастырь навсегда или мне — к нему, чтобы начать и устроить новую жизнь? Приведенное здесь письмо есть ответ мой, который и решил нашу участь.

«Любезный друг, Александр Николаевич, — писала я мужу, — письмо твое получила. Одним оно меня обрадовало, а другим огорчило. Порадовало тем, что твоя душа стремится сюда и что все, касающееся здешней обители, интересует тебя; а огорчило тем, что ты опять от-

срочил свой приезд в Оптину. Напрасно ты обо мне беспокоишься: я и телом, и душою здорова. Душа моя вся во власти батюшки, а он такой искусный врач душевный, что ей болеть не даст. Поживши здесь столько времени и пользуясь советами и беседой Старца, я пришла к полному убеждению, что прежняя жизнь наша до того была мерзка, пуста и грешна пред Господом, что одно воспоминание о мирской жизни приводит меня в ужас. Опыт здешней жизни доказал, что все слова Старца — истина, что все земное — прах. Сколько лет трепалась я по белу свету, чем только не пользовалась: красота была, и удовольствия, и роскошь; и страстям я давала полную волю — на все бросалась я как безумная, забывая Бога и совесть, искала радостей и даже... нашла! Чуть ли не погибла совсем, но ни одной минуты не находила истинной, безмятежной радости, той радости, вслед за которой не являлось бы, хотя бы тончайшего, едва уловимого, но все же горького упрека совести. Здесь же, в глуши, в лесу, далеко от всех, кого люблю, после такого грустного расставания, совершенно одинокая, при отсутствии всех удобств жизни, к которым привыкла столько лет, с ожиданием каждый день узнать, что мы нищие, — со всею этою тяжестью на сердце я нашла здесь великую отраду. Не думай, чтобы я увлеклась или что это дело настроенности воображения: нет — это есть истинная правда. Знаешь ли: бывают дни, когда мне так весело, так радостно на душе, что и слов не найдешь, чтобы это выразить, да и

понять этого невозможно, самому не испытавши сердцем. Сама себе не могу дать отчета, чему я радуюсь, но душа исполнена блаженства неизъяснимого. В эти минуты мне никого и ничего не жаль, не боюсь никаких скорбей... Конечно, не всегда находит на меня такое настроение, да мы, по грехам нашим, и не стоим такого состояния души; но в эти минуты радости я себе представляю, что святой наш Старец за свою высокую духовную жизнь должен всегда находиться в таком настроении. Вот и награда за праведную жизнь! Большего желать нечего... Конечно, показать мое письмо мирским — они назовут меня безумной; тебе же пишу об этом потому, что ты сам собираешься жить тою жизнию, которою я живу теперь. Верь мне — ты сам то же будешь испытывать. Как благодарить Создателя, что хотя при конце жизни нашей, да приводит Он нас на истинный путь? Чем мы заслужили такую благодать, Единому Богу известно...

Насчет же службы твоей скажу тебе одно: в силах ли будешь ты начать новую жизнь в міру? Усталому, разбитому телом и душою разве легко приняться за службу, опять жить с людьми, подчиняться светским обычаям, вновь играть эту глупую, жалкую комедию? Не знаю, как ты, а я чувствую себя совершенно не способной на это. Приедешь сюда, сам увидишь, какая здесь отрада для души. Я каждый день благодарю Господа, что Он указал мне путь в эту обитель: при теперешних наших обстоятельствах я бы не могла пережить всего того, что свали-

лось на нашу голову, если бы не узнала той радости, какую узнала здесь, и не была бы подле батюшки. Ты не пробовал здешней жизни, потому она и представляется тебе и такой страшной, и такой скучной. Вот уже два месяца, как я живу здесь, но клянусь тебе, что ни минуты не скучаю и не скучала и каждый час Бога благодарю.

Вспомни еще, что я здесь одна без тебя, что забота о будущем нашем должна меня тревожить; а если бы не это, то я считала бы себя счастливейшею из смертных. Пишу тебе всю истину, но делай как знаешь. Преданная тебе жена.

Оптина Пустынь. Ноябрь 1868 год[а]».

Вследствие этого письма муж мой, бросив все дела, приехал в Оптину, где мы и стали жить вместе на гостинице.

VIII.

Не лишним сочла я привести здесь это письмо потому, что оно ярко рисует, как отрадны мне были эти три месяца, проведенные подле моего Старца. Не без борьбы, конечно, прошли они, пусть всякий рассудит: легко ли мне было привыкать к новой жизни, лишенной по сравнению с прежней всяких удобств? Но борьба эта легка была с помощью святого отца моего. Счастливое это было время! Любовь Старца, его попечение обо мне выражались на каждом шагу: казалось, он смотрел на меня как на самое дорогое свое дитя, которое надо было нежно лелеять, беречь и баловать, чтобы приучить к себе.

Несмотря на постоянные его занятия с приезжим народом, с монастырскою братиею, он меня, грешную, ничтожную, почти нищую, не оставлял никогда своим вниманием. Сколько в эту глубокую осень проводила я в Скиту незабвенных вечеров у ног моего боговдохновенного наставника! Бывало, с фонариком в руках пробираешься к нему в его «хибарку», кругом темный, почти дремучий лес, отделяющий Скит от монастыря; черная осенняя тьма, ветер шумит в вершинах столетних сосен, лип и дубов; осенний дождик сеет, как сквозь сито, холодную изморось... Идешь себе одна; ни страха в сердце, ни в мыслях помыслов об опасности от дикого зверя, от недоброй встречи... А там в глубокой тьме леса уже, смотришь, что-то неясно как будто светлеет, как будто выплывает что-то из глубины туманного, густого мрака осенней ранней ночи. То Скит, то белые стены «хибарки» Старца, то радость и надежда смягченной, испуганной міром и грехом бедной души моей, там — Старец мой со всею его любовью к моему жалкому, больному сердцу, с его вдохновенной беседой о Боге любви и мира, о Боге прощения кающемуся грешнику, о Боге, Отце блудного сына, Боге вечного блаженства Ангелов и человеков... О, как радостно трепетало мое сердце, какою любовью исполнялось оно из переполненного любовью сосуда благодатной мудрости дивного моего Старца!

Но не подумайте, чтобы святой отец всегда баловал меня: он нередко и строго взыскивал. Более всего не любил и не терпел он своеволия

и гордости: с этими чувствами, бывало, лучше и не являться к нему! Скажешь иной раз ему слово противоречия, ломая его духовное на свой мирской, свободолюбивый лад...

— Ну, что ж, делай как знаешь!

Скажет он это — уже знай, отец недоволен тобою. И это слово его вонзалось, бывало, как нож острый в сердце; после не знаешь, как и загладить вину свою и увидать Старца опять по-старому добрым и ласковым...

Меня всегда удивляло терпение батюшки: в годах преклонных, обремененный многочисленными занятиями по должности начальника скита, он совершенно забывал о себе, по великой любви своей жертвуя собою для утешения и пользы ближнего. И Господь даровал ему за эту любовь такую Свою благодать, что на глазах моих силою ему данною больные исцелялись, скорбящие уходили утешенными, погибающие, как я, находили спасение. Смирение же его было изумительно: как он скрывал благодать, данную ему от Господа!

Если, бывало, говорит что назидательное, то не как свои слова, а как слова из книг отеческих, или упоминал, что так учили бывшие старцы Оптиной Пустыни. Слово же его было со властью: раз давши заповедь, не любил ее повторять. А как удивляло меня знание им сердца человеческого! Казалось бы, что ему, прожившему столько лет в монастырских стенах, должна была бы неизвестной быть наша мирская жизнь; нет — он все, бывало, поймет, все рассудит и решит непременно с поразительною

правильностью, но непременно так, чтобы вышла польза душе...

И как же крепко любила я дорогого отца! Всецело отдала я в его святые руки свою буйную волюшку: не было у меня в сердце ни единого помысла, от него скрытого; и он все выслушивал, объяснял, журил, наказывал, когда же видел покорность, то умел и награждать. От одного его взгляда или слова милостивого душа наполнялась неизъяснимою радостию, и всякая жертва считалась ни во что, лишь бы удостоено было сердце такого духовного восторга...

IX.

Когда мой муж приехал ко мне из Петербурга, и мы с ним зажили на Оптинской гостинице, то духовно мне стало гораздо труднее. Мужа загнала в обитель не любовь к новой христианской жизни, не привязанность к Старцу, а трудные обстоятельства. Ему надо было куда-нибудь деваться, укрыть свою гордость, не допускавшую его вернуться туда, где жили прежде и где уже ничему помочь было нельзя, — он и приехал скрепя сердце в Оптину. Имение, в котором мы жили, вскоре продали за долги; на нашу долю ничего не осталось — все было расхватано кредиторами. Что же оставалось делать?.. Год и три месяца прожили мы на монастырской гостинице, доживая последние остатки нашего состояния. Надо было наконец решиться иначе устроить нашу жизнь: не век же жить на гостинице!

Желание сердца моего с первых дней, как я узнала и полюбила Старца, удалиться в девичий монастырь, и отец святой желал для меня того же. И вот за это много мне пришлось перетерпеть от мужа за время нашего совместного житья в Оптиной Пустыни. Все на мне вымещалось: потеря состояния, скука, все неудобства жизни — во всем я была виновата; и, несмотря на все старание облегчить всю трудность его положения, очень редко мне удавалось успокоить бедного моего мужа. Жаль мне было его: ему было несравненно труднее моего в тяжелые дни великого перелома всей нашей жизни. У меня был Старец, отец и благодетель, которого я любила, в которого верила, под его руководством начинала я жить иною, духовною жизнью, которая захватила все мое сердце; прежняя моя жизнь так уже казалась мне мерзка, что по ней я уже не могла скучать. А бедному моему мужу не то было: старая жизнь его все еще манила, а красота новой от него была сокрыта.

Несмотря на мое желание удалиться в монастырь, я по воле Старца молчала, ждала, пока сам муж не решит нашей участи. И вот пробил наконец час, давно желанный, и у мужа созрело решение: ему остаться в Скиту Оптиной Пустыни, а мне удалиться в один из ближайших женских монастырей.

Старец был рад этому решению: он знал, как нелегка была мне жизнь с мужем, и желал моего освобождения; чтобы снять с меня иго, он взял его на себя. Батюшка был начальником

Скита и решился принять мужа моего в число братии.

5 ноября 1869 года одели мужа моего в монастырское платье и в глуши, в лесу, в стенах Скита скрылся бывший знатный, богатый, избалованный барин.

Так завершилась одна жизнь; так началась новая.

Что побудило мужа моего решиться на такой шаг, осталось тайной для всех. Три года он прожил в Скиту. Старец знал всю трудность его жизни, много делал ему снисхождений против других братий. Сколько слез было им пролито, сколько страшной борьбы было перенесено! Во всем поддерживала его любовь Старца, все облегчала, во всем утешала, отражая неусыпно невидимых врагов, которые в лице мужа не хотели выпустить своей жертвы. Изумляться надо было умению отца Илариона ладить с новым послушником. Бывало, только улыбается батюшка и скажет мне:

— Чему удивляться? Посадили дикого зверя в клетку: как же ему сидеть смирно?

Скоро постигла моего мужа болезнь — у него открылась водяная. Мы всячески старались успокоить его, доставлять всевозможные удобства; но болезнь брала свое. Пострадав почти три года, дожил он и до часа своего смертного и пожелал принять постриг. За три недели до кончины его постригли в мантию, и с той минуты он совершенно переродился: «дикий зверь» в нем умер и в мiр иной возродился христианин.

Прилагаю письмо его к о. Илариону, писанное им несколько дней спустя после пострижения. Вследствие болезни того и другого они не могли видеться, и потому все сношения между ними проходили через переписку.

«Дорогой Батюшка! — писал мой муж. — Не знаю, как и благодарить Бога за Его ко мне бесконечное милосердие, а Вас — за все милости, попечение и любовь. А я-то, глупый, неблагодарный слепец, огорчался, думая, что Вы меня не любите. Простите меня, Бога ради! Истинно, Вы извели из темницы душу мою, и велико Вам будет за нас воздаяние на небеси.

Сказано, что Ангелы радуются более об одном спасенном грешнике, чем о десяти праведных; а какого крупного грешника выручили Вы! Вы мне открыли глаза, показали истинный путь и доказали мне возможности спасения: будьте благословенны за сделанное нам добро!

Великие дела в немощах совершаются. Мне страшно подумать: два дня тому назад — окаянный, нераскаянный грешник, а теперь, за молитвы Ваши, **спасен**, да еще, по милости Вашей, возведен в монашеский сан, сопричислен к ангельскому лику. Стою ли я этого счастья? Уж не во сне ли все это совершается? Что я чувствую, и высказать невозможно. Я счастлив, как никогда не был, быть не мог, да и не понимал подобного счастия. Я покоен, благодушен, мирен ко всем; желал бы, чтобы все меня простили и любили, как я всех люблю. Во время пострига я желал умереть, чтобы не потерять своего благодатного настроения; но теперь мне

не хочется умирать: я желал бы пожить до осени, чтобы погулять летом в нашем райском лесу и показать, если не людям — слепы бо суть, не увидят и не поверят, — то хотя птичкам Божиим мою светлую, ликующую душу. Если желание мое не преступно, то помолитесь об его исполнении, а в противном случае простите мою глупость и неопытность, и да будет воля Господня надо мною».

Пусть, кто прочтет письмо это, сам и решит, какова была дана сила благодати старцу отцу Илариону. Его молитвами, старанием и уменьем совершилось это дивное превращение «дикого зверя» в кроткую и послушную овечку.

Была и я после этого в Скиту*, видела новопостриженного, радовалась его новому рождению, слышала из уст его такую беседу, о которой он прежде и понятия не имел, присутствовала и при его погребении.

Кончина его была мирная, в полном сознании и покаянии. Схоронили его, по его же назначению, в том же Скиту под тенистою липой. Старец Иларион видимо духовно радовался такой блаженной кончине. И как было ему не радоваться? Душа эта, спасенная из ада преисподнейшего, была делом его рук...

В это время о. Иларион сам уже страдал неисцельною болезнию. Хотя и употреблялись всевозможные средства для помощи, но все

* В то время доступ женщинам в Скит открывался один раз в год. По особому разрешению Скитоначальника, монахиня Илариона могла быть допущена в Скит и в какой-нибудь иной день, кроме установленного. — *Прим. авт.*

мы, духовные его дети, видели, что недолго отец святой поживет с нами. Каждый месяц я посещала больного. Нередко он так страдал, что не в силах был и слова вымолвить; но лишь только получит малейшее облегчение от страданий, то спешит утешить всякого, кто бы ни пришел к нему, всею тою любовию, которою горела его святая душа...

Полгода прошло со смерти моего мужа, схоронили и дорогого Старца и благодетеля. Вот уже три года, как я живу без него, и его молитвами хранит меня Господь; живу я теперь в Белевской обители, тихо, спокойно, мирно, а найдут на меня скорби, чувствую, что тут мой Старец, близ меня стоит он великим своим духом...

Кому случится прочитать эти страницы, тот да не усумнится ни минуты в истине написанного: я пишу это в утешение себе, а отец Иларион не требует себе похвалы и мирской славы. «*Праведницы во веки живут, и в Господе — мзда их*».

На этом оканчиваются записки монахини Иларионы (Лихаревой). В других старых монастырских келейных записях, которые в Оптиной Пустыни велись некогда, а может быть, и теперь еще ведутся, я нашел такую отметку:

«Александр Николаевич Лихарев, помещик Тульской, Рязанской и Симбирской губернии, воспитывался в Пажеском корпусе одновременно с Императором Александром Николаевичем, почему и был лично известен Государю; служил в гвардии; после был Каширским предводителем дворянства. По прибытии в Оптину

Пустынь, жил до поступления в Скит около года на монастырской гостинице вместе с женою, Надеждою Сергеевною. 6 ноября 1869 года он поступил в Скит на жительство в число братства, а супруга его — в Орловский девичий монастырь, оттуда же в апреле 1870 года перешла в Белевский.

Во время пребывания своего в обители Александр Николаевич при тучности тела страдал легкою водяною болезнью, а между тем всегда нудился к исполнению скитских правил. Ездивши в последних числах января 1873 года в Белев, простудился и заболел. В болезни, согласно его желанию, был пострижен в мантию 9 февраля того же 1873 года, а 12 февраля особорован св. елеем. До самой кончины своей он с верою готовился к ней и часто приобщался Св. Таин; 5-го же марта, в час пополудни, тихо и мирно скончался, а 7 марта, после преждеосвященной Литургии, похоронен на скитском кладбище, на месте, им самим избранном, — под большою липой, где над прахом его положена чугунная плита.

Во время келейного его пострига в мантию духовником, отцом Памвою, Александр Николаевич сказывал, что видел поодаль от себя, на ручке кресла, двух бесов в образе красивых мальчика и девочки с печальными лицами. Видение это продолжалось до чтения Евангелия, после которого они исчезли. Александр Николаевич просил покропить святою водою, чтобы прогнать сидевших; но так как, кроме его одного, их никто не видел, то просьбе его удив-

лялись, пока он сам не объяснил видения. О видении же этом старец о. Иларион сказал, что оно обозначает те грехи, в которых Александр Николаевич, по забвению, еще не принес покаяния; Старец советовал ему припомнить, не осталось ли еще чего-нибудь у него на совести, и отец Александр (имя ему при постриге переменено не было), перебирая в памяти свое прошлое, нашел, действительно, забытые грехи и в них покаялся».

Не от хитросплетенных словес премудрости века сего рассказано тебе, дорогой мой читатель, то, что я передал тебе на этих страницах: из книги самой жизни вырваны они с их забытыми словами и событиями. Что сказали они тебе, что напомнили, чему вразумили? Спроси у голоса своей божественной совести: не подскажет ли тебе она, в чем заключена тайна монашеского православного труда, тайна его влияния на жизнь верующего и даже уклоняющегося от веры человека; не объяснит ли она тебе поставленного мною вопроса: для чего и кому нужны монастыри? И если голос совести твоей скажет тебе вещее свое слово, то поймешь ты и то, для чего и кому нужно их уничтожение.

Лихаревы всех сословий и состояний — это вся православная Русская земля. Иларионы — это все истинное православное русское монашество.

Тебе указывают, и ты сам видишь отбросы монашества: по этому отребью, которое есть и,

увы! — всегда было, ты берешь на себя право суда над всем монашеством, которого не видишь и не знаешь. Но взгляни когда-нибудь на быстротекущую реку — что видишь ты на ней? По ней плывут и уплывают в далекое море всякие отбросы; но прозрачна и чиста глубина ее живительной струи. Не раскрывай перед нею насильнической рукой подземной бездны, чтобы из-за отбросов, которые должна поглотить она, не иссяк навеки источник животворный: чем утолишь тогда ты свою жажду, чем освежишь запекшиеся уста?..

«Ваше Боголюбие, — говорил некогда одному боголюбцу преподобный Серафим, — без праведников не стоять ни граду, ни веси. И если вы блазнитесь, что ныне плохо живут и монахи, и мирские, то знайте, что и между ними есть сокрытые от взоров ваших благоугождающие Господу. Скажу вам: если стоит кладбище, то стоянию его терпит Господь из-за святых мощей сокрытых в нем угодников Божиих. Так и о градах, и о весях, и о монастырях, и о всей земле разумейте!»*

Запомни же, покрепче запечатлей это в своей памяти, православный мой читатель!

Оптина Пустынь
Предрождественские дни 1908 года

Печатается по: «Троицкий Цветок». Сергиев Посад, 1909. № 57. 52 с.

* Эти слова Преподобного мне известны из рукописей Н. А. Мотовилова, и известны мне они как составителю очерка жизни этого великого духом послушника и сотаинника преподобного Серафима. См. книгу мою «Великое в малом». — *Прим. С. Н.*

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЕРОМОНАХ
ДАНИИЛ (БОЛОТОВ)

ДНЕВНИКОВЫЕ
ЗАПИСКИ

Даниил (Дмитрий Михайлович Болотов, 9. III. 1837–25. XI. 1907) — иеромонах; живописец. Из дворян, родился в селе Бахметьево, Тульской губернии; правнук Андрея Тимофеевича Болотова, подвижника русской науки и замечательного бытописателя. С детства Дмитрий Михайлович проявил способность к рисованию, в 1854г. определен «вольноприходящим учеником» в Петербургскую Имп. Академию художеств. Его рисунки с натуры обратили внимание педагогов; в числе других воспитанников — Константин Маковский, Василий Верещагин, Иван Шишкин и Алексей Корзухин. На шестом году обучения он удостоился серебряной медали. Позже, в 1862г., Дмитрий Болотов был отмечен высшей оценкой и награжден большой серебряной медалью за академический рисунок «Моисей иссекает воду из скалы». По окончании Академии в 1865г. получил звание классного художника третьей степени. Охотно участвовал в академических выставках,

предоставляя к обзору портреты, исполненные маслом, пастелью или карандашом. Из наиболее удачных произведений молодого художника запомнились портрет И. К. Айвазовского (1876) и автопортрет (1866).

С юных лет Дмитрий Болотов предается благочестивым размышлениям о месте в жизни и религиозным чувствам. В его дневниковых записях запечатлены душеспасительные размышления о добродетелях, ведущих к духовному совершенству, возвышению чувств к Богу.

В пятидесятилетнем возрасте Дмитрий Михайлович Болотов был зачислен иноком Скита Оптиной Пустыни. В монастырской летописи указана точная дата этого события — 2 апреля 1887 г. Свой талант художник употребил здесь на создание икон и стенных росписей; им основаны иконописные мастерские в Оптиной и Шамордине. Иконописное послушание инок Димитрий исполнял по благословению старца Амвросия. Им же написан и проникновенный портрет этого Старца, а также совершена уникальная роспись монастырской трапезной. Затем инока постригли в рясофор с именем Даниила, а 4 апреля 1899 г. — в мантию. Постриг совершил игумен обители архимандрит Ксенофонт, а в иеромонаха посвящал Преосвященный Макарий, епископ Калужский и Боровский.

Отец Даниил (Болотов) был заметной личностью в Оптиной. Его пророческие картины на сюжеты предстоящих событий в России отправлялись к Царскому Двору, его беседы с выдающимися паломниками в Оптиной запомнились

собеседникам своею духовностью и великой болью за Россию, раздираемую врагами нации. Будучи в Оптиной, Сергей Нилус поверял отцу Даниилу самые сокровенные свои мысли, а по отъезде из обители, отдавал ему на хранение особо драгоценные документы.

Скончался о. Даниил 25 ноября 1907 г. В скитской летописи об этом имеется такая запись: «Сегодня в час дня скончался скитский иеромонах о. Даниил, в міре Дмитрий Михайлович Болотов, брат первой настоятельницы Казанской женской общины, устроенной Оптинским старцем о. Амвросием в Шамордине, схимонахини Софии, ревностной помощницы Старца по устроению означенной общины. Отец Даниил сподобился сегодня утром Причащения Божественных Таин и окончил жизнь по прочтении над ним отходной. Пред вечерней тело усопшего было перенесено из келлии в скитский храм, а после вечерни была совершена по нем панихида настоятелем архимандритом Ксенофонтом соборне со Скитоначальником игуменом Варсонофием и иеромонахом о. Некта-рием». Погребен отец Даниил против алтаря Введенского собора.

В Оптинском архиве сохранились записки о. Даниила, относящиеся к раннему периоду его жизни. В этих записках запечатлены мысли человека ищущего, полного стремления к духовному устроению и служению на пользу людям. В них воссоздана картина переживаний светского человека, настроенного на отрешение от себя суеты и соблазнов. Исповедальные стра-

ницы художника весьма важны для уяснения пути, которым шел замечательный Оптинский подвижник. Оригиналы его дневниковых записей хранятся в рукописном фонде Российской государственной библиотеки (ф. 213, 62. 18–31) в составе Оптинского архива. Записки о. Даниила публикуются впервые.

От составителя

Иеромонах Даниил (Болотов)

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСКИ

1857 год. Ноябрь 24
День святыя великомученицы Екатерины

Человек — гражданин двух міров. Тот мір — жизнь Вечная блаженства бесплотной души — цель и исполнение желаний и предназначения, Господом определенных человеку, и от которых человек по ухищрению диавола уклонился на время своей земной жизни.

Наша земная жизнь — жизнь материальная, жизнь тела и формы видимой, слышимой или осязаемой. Испытание, данное по милосердию Божию второй раз человеку после падения Адамова.

Каждый человек есть частица неотъемлемого Духа Божия, полная высоких чувств и стремления к блаженству, к своему счастию и славе Бога, Который создал всех тварей для того, чтобы было Ему с кем поделиться блаженством.

Эта душа заключена в узком, но прекрасном и удовлетворяющем ее сосуде — теле!

Однако душа чистая, не заснувшая в теле и не ставшая его рабынею, свободно стремится в свою отчизну и старается снова получить позволение вечно жить в ней. Она чувствует, что удовлетворить ее может только возвращение в отчизну к счастию, наслаждению и любви!

Молитва — некрадомое сокровище наше, всегда может нам служить сообщением с тем міром!

И как восхитительно приятны те светлые минуты, когда дух, забыв все земные заботы и попечения о мелочах житейских, как бы сливаясь с небом, идет к Отцу своему милостивому, любящему, как никто не может любить. Со слезами рассказывает он все свои ошибки, потери, которых сам был виною, просит Отца не огорчаться и забыть его недостойное поведение, просит советов, приказаний, которые готов с радостию исполнить. И что же? Светлые мысли озаряют его голову, горячие чувства любви, признательности согревают его душу и сердце; сознание сил своих и средств подымает его энергию, требующую полезной для людей деятельности. Чувствуя премудрость, любовь, милость Творца, может только благодарить Творца, горько себя осуждая за обиды нерадением, лению и слабостию противу соблазнов, нанесенные Тому, Который Единородным Сыном Своим пожертвовал, чтобы спасти нас, в омуте погибающих!

Что же мы можем сделать для Бога? Только отдаться с радостию и добровольно Его святой Воле. Сотворить из себя храм для рождения Слова — Сына Божия! Вычистить храм сей, освободить его от мыслей, от ненужных чувствований и привязанностей, забот и беспокойств, и шума житейского, и развлечений, дабы в тишине и от всего беспрепятственно можно было слышать советы своего Ангела Хранителя. И тотчас исполнять на деле эти советы, если не хочешь потерь и болезней.

Но каким же образом в міре нашем, загрязненном, измельчавшемся и стесненном, в толпе людей, еще не посвященной в тайны природы нашей, догадаться о существовании Истинного пути? Как попасть на него? Как не сбиться с него? Не знающим, но желающим все узнать, как поучиться и у кого?

На это мы имеем великих и знающих наставников: Ангела Хранителя — совесть, Святых мужей и угодников; гениев, разрабатывающих каждый свою часть. Имеем Церковь и учителей ее — духовенство. Только в этой сокровищнице сохраняется в міре чистая истина — сей источник для жаждующих, которые легко могут в нем утолить свою жажду!

1858 года, февраля 6-го

Наша жизнь — есть капитал, подаренный Богом. Волею или неволею мы его весь истратим, то есть умрем непременно! Но мы можем его положить в ломбард здесь, на земле, и

страшные проценты нарастут на него после нашей смерти. До Второго Пришествия много утечет времени, и потому-то так и важно то, что мы посеем и произведем на свет.

Но мы можем также просто даром потерять наш капитал. Можем сделать страшное зло, пустив его на полный оборот, приносящий вред обществу.

Мы все здесь на свете воины Божии против диавола и его сонма злых духов, желающих нас погубить, а Господа огорчить. Мы здесь не для наслаждений, но для битвы и потому должны всегда уметь сказать своим желаниям — нет! Дать отпор злым духам. Ни одно наше действие не скрыто от взоров Господа, нашего Небеснаго Полководца. И трус, убегающий жаркой битвы и ищущий безопасного места, будет всегда изобличен на Страшном Суде! А биться мы должны со своими пороками и похотями, выковывая бессмертную свою половину — душу нашу, с ее способностями. И просторное и широкое поле для подвигов лежит перед нами. А то стыдно нам будет войти в Царствие Божие, и невыносимо горько и стыдно будет нам, запачканным, оскверненным, неразумным, находиться среди светлых святых истинных сынов Божиих.

Чтобы быть христианином вполне и пользоваться здоровьем, энергиею, светлым разумом, вечно свежим, сильным, молодым стремлением духа нашего вперед и вперед до самой глубокой старости, должно умерить страсти свои и вести умеренную жизнь, должно практико-

ваться непрерывно в святой душевной жизни внутри себя. Собрав свои рассеянные силы внутри себя, быть учеником вечным на земле сей, то есть чтобы уметь из самого незначительного случая или личности извлечь для себя пользу и мудрую сторону дела и происшествия; всегда иметь пред глазами и хвалить милость к нам Господа Бога нашего! Надо уметь слушаться советов Ангела Хранителя нашего и должно совершено уничтожить самость: иначе Небесная гостья — мудрость и Сын Божий — Слово Божие — не могут сойти и поселиться в нас, ибо они не любят грязных и шумных жилищ. А без них нельзя нам никак спасти Душу нашу!

1858 года, 1 марта

Бог, желая разделить Свое блаженство с кем-нибудь, создал тварей, Ангелов, людей.

Целию жизни тварям Он поставил Себя, то есть Блаженство.

Путь верный к сей цели определил ненарушимыми законами, дабы каждый мог наверняка без сомнений и трусости дойти до цели.

Цель дьявола — разрушить порядок этого пути, смешать законы, чего он и достигает, жестоко обманывая людей ложью, прельщениями, соблазном, лению, удовлетворением чрезмерным страстей тела — нашей физической, материальной организации. Чрез ветренность ума — суетность и отсутствие целомудрия — он достигает гибели и разрушения нашей нравственной духовной природы, а чрез крайности и

пресыщение страстей и материальных потребностей губит наш физический капитал — силы (агония, хандра, немощь духа).

Бог дал человеку совершенную свободу подчиниться сим законам, то есть дойти до цели, или нарушить их и пасть. Первое испытание в послушании люди не вынесли, и Адам пал. Второе испытание — это наша теперешняя земная жизнь. Третье испытание, должно будет, после нашей смерти до Второго Пришествия.

Постоянная, непрерывная, ежеминутная борьба идет между Господом Богом и диаволом. Место, поле битвы есть человек и его сердце. Спорный пункт — блаженство человеков, ибо его только может диавол оспаривать у Бога, надеясь тем сделать неприятность Господу. Человеку остается только стать под знамена Того или другого, то есть слушаться советов Ангела Хранителя или черных мыслей.

Притом каждое нарушение законов, Богом поставленных, непременно должно быть искуплено. Если человеку и удастся себя спасти, то его спасение все-таки куплено ценою крови Спасителя.

Братие! Спаситель пожертвовал мучениями и Своею жизнию для нас, то не должны ли и мы всею нашею жизнию служить Спасителю нашему, Который за наше одно смирение и покорность имеет право прощать грехи, то есть освободит человека от выкупа. Не должны ли мы отречься самих себя и самости? Чтобы быть всегда чистыми и достойными служить Спасителю.

Господь не только никогда не отталкивает к Нему прибегающего сына, но Сам ищет удобного случая сблизиться с ним, но наше несмирение и нечистота преграждают путь Его любви. Самый гнусный поступок людей есть самовольное глупое уклонение от любви и милосердия, которыми всегда готов осыпать, обогатить нас Отец наш Небесный.

Больно, грустно, тяжело видеть Богу-Отцу, как мы, дети возлюбленные Его, позволяем Его врагу — нечистому мучить, дурачить, обирать, оплевывать, насмехаться над нами и обманывать нас на каждом шагу, оставляя нам мучения.

Братие! ведь так жить — это подлость!

Евреи распяли тело Спасителя, а мы этою жизнию ежеминутно распинаем, мучаем Дух Спасителя нашего.

Падение Адама наложило на нас ответственность за каждое нарушение закона, даже неведением сделанное!

1858 года, 5 апреля

Слез и молитвы достойны те люди, которые, сами того не ведая, стремятся своевольно к цели — и благой, и своевольной; и страдать должны не за свое стремление, а за то, что стоят в полчищах диавола и служат ему орудием противу Господа, ибо сказал Христос: «Кто не за Меня, тот против Меня!»

Потому, от чего бегут эти люди, того не минуют; за чем стремятся, того не достают, а получают только себе ненужные мучения.

«Аз есмь камень краеугольный Церкви Божией, аще кто споткнется на него — расшибется, а на кого камень сей упадет, того раздавит!»

Богу человек ничего не может сделать, но себе все делает и строицею всякое дело его к Богу, от Бога отражается.

Юбилей Академии художеств
Среда 4 ноября 1864года

Итак, самые грубые и большие ошибки мои заключалися в следующих пунктах:

1) Выбрав себе целью самое достойное, высокое — полное всецелое служение Господу — монастырь, я не понял сущности, пути к этой цели, не понял, что есть громадное различие между путем приготовительным до Христа и путем истинно целительным и совершительным со Христом. Не понял различия обязанностей и состояния душ на этих путях! Не понял, что именно нужно для пути приготовительного в міре и пути-целителя по исшествии из міра за его пределами в монашестве: в пути и образе ангельском и его служении в его невидимой борьбе со врагами невидимыми в сферах сверхчувственного и вышеестественного, где один только Дух Святой может выдержать борьбу с естеством и духами тьмы, злобы и лести.

2) Не понял и не потрудился разобрать, что такое есть повеление — воздать кесарево кесарю, и смешал его с Божиим, и потому оно мне показалось вместо добродетели грехом, и ненужным, ибо я думал, что прямо уже шаг-

нул в высокое духовное, тогда как сам находился еще в телесном и душевном, где требуются добродетели, свойственные этому месту, а не чуждые ему.

3) Не понял, что прежде необходимо приготовление и правильное шествие путем приготовительным, чтобы быть в состоянии вместить и до конца выдержать путь высокий, чрезъестественный, который только дается выдержавшим испытания жизни естественной.

4) Я откладывал день за днем приготовления к монастырю, а время уходило, привычки дурные укреплялись, новых хороших не приобретал, а время не стояло, а все шло вперед, и в этом хаосе понятий ничто не спорилось. Не понимая ясно своего положения и места в отношении к Богу и міру, я действовал как-то сонно, без энергии, робел на каждом шагу, и не было никакого единства в моих действиях, ни ясного отчета пред совестью, никакой решительности, но все сборы да сборы, а дело выходит такое, что и сам не понимаешь, отчего оно такое, что никакой критики не выдерживает. Не понял, наконец, что на пути необходим человек, знающий жизнь, и опытный руководитель, и что таким человеком должно дорожить и жертвовать ему всем второстепенным, если потребуется. Господь по Своему Бесконечному Милосердию даровал мне такого человека, — и что я ему дал, и как я с ним поступал, и подумал ли я, какое он должен занимать место в моем сердце и в моей будущей жизни на пути к моей цели?

Конечно, слава Богу за все случившееся, за обличение, предостережение от пагубного шага, безрассудного пускания корней в міp сей. Слава Господу, что я наконец проснулся от этого бестолкового сна. Не понимая, где нахожусь я сам, я не понимал и то, что было вокруг меня, не молился и не болел сердцем о согрешающих людях, болеющих и духом, и телом, и душою, не понимал их скорби и уныния при потерях дорогого для их сердца, одним словом, ни Богу, ни людям от этой путаницы и дисгармонии я не воздавал должного. По этой же причине я упустил из виду дух дела и попал в мертвую форму, часто смешную и соблазнительную для людей, так, например, понуря голову ходить шибко по улице, стоять в церкви или класть лишние поклоны, копанья дома не вовремя, отчего опаздывание в церковь и недостаток времени для работы, позднее вставание утром, позднее сидение вечером (хотя часто и очень нужное и полезное для жизни), нерадение о молитве, и соблазн на перекрестках, и отсутствие ощущения необходимости молитвы и безвыходности своего положения без молитвы и Духа молитвенного, ибо только молитвой можно все приобрести и от всего избавиться.

А сущность пути так проста и ясна! Беги, прячься в смирение, молитвою бей врагов, гони уныние и отчаяние, усердием приобретай дерзновение и побеждай препятствия. Добросовестностью цели получишь решимость в действиях, и самостоятельность между людьми, и мужество, и силу при нападении врагов.

Осторожностью, рассудительностью и обдуманностью действий своих, поверкою с законами Господа, советами Церкви и Святого Писания и творений святых Отцев — устранишь всякое сомнение и нерешительность и всякое бестолковое дело. Мыслью о Суде и Награде поддержишь энергию! Мыслью о смерти умертвишь и отгонишь соблазн и все, растлевающее душу и тело человека! Мыслью о Боге и Его всевидящем Оке при чувстве благодарности за все бесконечные Милости, Блага и Любовь согреешь свое сердце, родишь любовь и преданность Всемогущей, Милостивой и Премудрой деснице Всевышняго и радостно с самоотвержением пойдешь к Царству вечному со всевозможными усилиями, да не постыдится в Царстве Святых! Ибо только здесь на земле, во время свободы нашей воли, мы можем доказать благодарность нашу Господу Богу. Но берегись, воздавая кесарево кесарю, думать, что тем воздаешь и Богово Богу, или, служа міру, думать, что служишь Богу.

1865 г., январь

Путь истинного Христианина

Нет сомнений ему ни в чем, нет страха иного, как только огорчить Бесконечную любовь Творца своего или удалиться чрез грех и преступление заповедей от Бога своего, то есть удалиться от этой всесильной помощи, от счастья, от добра, от блага и попасть во зло и под его влияние и власть князя тьмы.

На жизнь земную он смотрит как на срок времени, назначенный ему жить в Царстве благодати и запасаться всем нужным для жизни Вечной, как на посев для вечной жатвы, как на время, где царствует смерть, следовательно, где можно умертвить все пороки, зло и грех!

На врагов своих он смотрит как на благодетелей и учителей — терпения, милосердия, истинной любви, как на купцов, продающих Царство Вечное. На несчастья, утраты и обиды — как на горнила испытаний, открывающие истинное состояние его души, сокрушающие его сердце и очищающие его. Толкающие его к Богу и заставляющие тверже и усерднее хвататься за молитву и приобретение вечных, никогда не гибнущих благ, и усиливающие презрение к ничтожным, скоро гибнущим благам земным и тленным...

Понедельник на Страстной
1865 года, вечером 29 марта

Тогда человек находится в настоящем чине своем, когда утопает, тушуется, исчезает мыслию своею и чувством радости и благодарности и любви в Господе Творце своем и Отце по любви и благости своей. Когда себя и всех спокойно и сознательно предает премудрости, Всемогуществу и благости Господа и Бога. И вполне веря в верность Бога, надеясь на Его Всемогущество и Премудрость, любит Его яко высочайшую, неизреченную Любовь, доказанную тем, что Бог ничего не делает вполовину,

но жертвует самым лучшим и дает человеку решительно все — Сына Своего, Самого Себя и с Собою все, и дает наперед прежде Сам, а потом от облагодетельствованного уже человека ждет, что будет делать человек и как он будет поступать: станет ли подражать своему первообразу Богу и исполнит ли цель своего назначения — быть образом Бога своего или уклонится от своего назначения и достигнет противного. Но это предоставил Бог решить самому человеку, его свободе и произволу, дабы было за что награждать и наказывать, чего требует Святое правосудие Божие.

Суть зла в міре есть незаконное действие и употребление созданных Богом вещей — свободною разумною тварью!

Причина неправильного действия — неведение и неверие. Причина неверия и неведения и непокорности есть гордыня — ложь, мечта (несуществующее, принимаемое за существующее). Гордыня и сластолюбие (чувственность) суть источники всякой мерзости, виновники отпадения от Бога, от жизни, то есть смерть, мучение и проклятие.

Смирение пред Богом, то есть вера и послушание и любовь к Богу (а не к плоти) суть основание и средства ко спасению и блаженству Вечной жизни человека, усыновленного Богу Христом!

Ключ ко всему — молитва, ею можно получить от Бога решительно все необходимое!

Каждый факт в жизни и каждый предмет должны напоминать человеку о Боге, Творце,

Искупителе, Утешителе, Промыслителе нашем и приводить человека к Богу или в покаянии (по греху) или в радостном благодарении за великие несчетные благодеяния Божии всегда: и здесь, и там в обетованиях Вечных, верных во веки веков, как Бог. Аминь.

О Всепромышляющей руке Божией

Каждый факт, как искушение, дает возможность видеть самому человеку его состояние, его наклонности и страсти, открывает и показывает, что скрывалось внутри у человека, и таким образом дает возможность человеку позаботиться об исправлении познанной раны или дурной привычки, ибо нельзя врачевать того, чего не знаешь. Так если человеку попущено потерпеть обиду, то тем дается ему возможность преуспевать в добродетелях терпения, незлобия, прощения ближнему, чем очищаются грехи наши и приобретается дерзновение в молитве и надежда, ибо сказано: «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим...»

Истинный христианин

1869 год. Август 19. Вторник

Истинный христианин должен всегда иметь пред собою душу свою, видеть все ее движения и следить за ними внимательно, управлять ими и всеми движениями тела разумно сообразно цели, то есть видеть всегда образ действий Христа и,

сообразуясь с Его повелениями, заповедями, советами и Его примером, учиться святой беспорочной жизни, для которой силы нам поданы суть Христом и которые просить нам повелено заповедью: «Просите и дастся вам!» Другими словами, истинный христианин должен, отрекшись своей безумной порочной воли (то есть всего своего безобразного испорченного ничтожного внутреннего строения, всей грязи внутренней, всех негодных побуждений и стремлений души, ума, мыслей, чувств, желаний, всего своего), дать Христу исполнить в душе грешной великое Его Божественное дело — искупление, спасение, очищение, освящение, исцеление центра души и сердца и помогать самому старанием своим и усердием Христу в Его великом сем деле спасения души, помогать Ему молитвою, воздыханиями, неизглаголанным послушанием и любовью, просить разума, рассуждения, силы, страха Божия, веры, надежды, любви, смирения, целомудрия, милосердия, терпения, истинного покаяния всеочищающего. И таким образом подвигаться к цели, положенной Всесовершенным Творцом твари — «Будьте совершенны якоже и Отец ваш Небесный совершен есть!» Должно дать Христу царствовать и распоряжаться в душе, чтобы Он перестроил ее, исцелил и освятил, сделал годною для Царствия Небесного и потом, по смерти, когда минует срок, данный на переделки и перестройку, удостоил бы ее быть членом Его святого Вечного царства, гражданином Горнего Иерусалима.

«Что посеешь, то и пожнешь!»

14 сентября 1870 года
Воздвижение Честнаго Животворящаго Креста

Горе допускающим гордость, самооправдание, осуждение ближних (путей промысла Божия), гнев. Все это удаляет нас от Бога и Его помощи, защиты и милосердия, уродует человека и приготовляет ужасное в будущем!

Когда Господь подает дар человеку, Он научает его тем смирению, показывая, что решительно все от Бога и Богом и ничто без Бога! И человек без Бога — ничто! И Богу Единому должно воздавать подобающую славу и благодарение; и горе похищающим славу Божию!

Подавая дар человеку, Господь налагает на него ответственность в должном употреблении сего дара! И показывает, что много даров у Бога есть для людей, но человек не скоро делается готовым принять, вместить дары и управлять ими. И что эта неготовность причиною тому, что человек не получает даров от Бога или не получил ранее.

Если человек и много получит даров от Бога, но не приобретет любви Божией, то будет яко медь звучащая, бесчувственная и никакой пользы не будет человеку! Неготовность часто губит человека — светильник не горит без елея, который должно припасти заранее! Ной начал строить ковчег и обделывать дерево для него за сто лет до потопа, и, когда настал час его по указанию Божию, он вошел в него и был спасен от потопления!

8 июля 1870 года
День Казанской Богоматери

Многомилостивая Матерь Божия! Царица Небесная! Освободи нас от уз вечныя смерти! Разреши нас от губящего неведения и неразумия!

Каждое дело и каждый факт жизни может принести пользу человеку или осквернить его, смотря что родит он в человеке — молитву, покаяние, смирение, благодарение или осуждение, ропот, и гордыню, и тщеславие!

10 июля 1870 года. Пятница.

Святые Отцы плакали и рыдали о своих добрых делах, сознавая их несовершенства, а у нас нет слез оплакивать грехи наши несчетные! Очень может быть, что грех оплаканный и покаянный отпустится, а доброе дело, не орошенное слезами или чувством глубокого смирения не примется и не признается достойным!

Павловск. 31 июля 1870года

Река начинается источником, потом течет и впадает в море и теряется в нем. Так и отдельные личности живут отдельно в міре сем и потом теряются, сливаются в вечности, впадая в море добра или зла.

13 августа 1870года

Часто, когда приобщают Св. Таин детей, они плачут и кричат — не понимают и не подозревают, какое сокровище приемлют и получают от Господа, какого величия, какой славы сподобляются, принимая Владыку всей твари, а с Ним и все блага небесныя и земныя! Так часто и люди взрослые с горечью, слезами, ропотом, с неприятностию приемлют то, что Промысел Премудраго и Благаго Владыки посылает им ко спасению, пользе их, к излечению, очищению, и вместо того, чтобы с радостию лобызать Крест свой спасительный, с которым неразлучен и сам Владыка, ко кресту пригвожденный, и благодарить Бога за Его о нас заботу, попечения, за Его милости и благодеяния, промысел и Святые законы и нам дарованное право принимать и пользоваться всем, что только есть лучшего, и, наконец, принимать Самого Владыку, — человек все-таки чем-то недоволен, страдает, потому что не хочет принять Волю Божию и радоваться о Ее исполнении, но ищет исполнения своей безумной вредной воли и печалится о неудачах, ибо если бы хотел исполнения Божией Воли, то постоянно радовался бы и благодарил за все, ибо это все случается внутри нас и все по промыслу Святаго Бога Творца, Искупителя и Промыслителя нашего!

Аминь!

Помни, человек, что каждое твое столкновение и сношение с каждым ближним твоим

имеет свои последствия, приносит тебе или пользу, или вред; так же и ему приносит или осуждение, или благодать по праведному Суду Божию! Каждый ближний в каждую минуту есть для тебя пробный камень твоего душевного состояния и настроения, и если ум трезвится, то сейчас заметит за собой человек, что в нем рождается худое или доброе. Ближний есть поле для посева и будущей жатвы; есть наказание за прежние проступки и следствие их; есть награда за труды и средство заработать нечто на будущее время! Ближний есть благодетель, дающий средства расти, укрепляться, практиковаться и совершаться лучшим добродетелям христианским: любви, милосердию, терпению, прощению обид и за то отпущению от Господа собственных своих согрешений. Ближний дает человеку великую честь и возможность услужить самому Христу, нуждающемуся в лице ближних! Ближний есть судилище для человека, в котором суд себе человек подписывает сам добровольно своим поведением. Ближний есть зеркало нашего прежнего поведения и отголосок грехов наших, есть наше естество, зараженное тем же грехом с его страшными последствиями, страдающий тою же ужасною болезнью, требующий помощи, сожаления, молитвы, совета на доброе. Это больной, над которым сжалился Христос и пришел искупить, спасти, исцелить его к нам на землю; он любезен и дорог Господу!

Воля Божия хочет спасти его, а не погубить! Ближний — это великая драгоценность,

ибо куплена страшною ценою! Его Судия только Христос и его собственное поведение, результаты которого известны только Богу Спасителю. Как же после всего этого не любить ближнего яко самого себя!

14 августа по приобщении Святых Таин

Человек — существо ограниченное и несовершенное, потому и его каждое дело носит печать ограниченности и несовершенства, следовательно гордость и тщеславие совершенно немыслимы для человека и его дел и суть крайнее невежество и безумство!

17 августа 1870 года

Гнев должен утонуть в любви и исчезнуть совершенно! Зло должно потонуть в добре! На это нам дана сия земная жизнь — время, чтобы учиться этому и практиковаться в этом! Если же случится противное у кого-нибудь, то ясно, что человек погиб, ибо утонул во зле.

7 сентября 1870 года

Деятельная сторона человека должна руководиться заповедями Божиими. Воля человеческая должна быть покорена Воле Божией — открытой нам в заповедях; должна стремиться соединиться с Нею, а не противоборствовать ей.

Пассивная сторона человека должна быть покорена Судьбам Божиим — попущениям Божиим — и с любовью и покорностью принимать промыслом Божиим нам посылаемое и определенное, смотря по нашему же поведению.

Когда мы сами нарушаем заповеди Божии и тем стесняем других и причиняем вред — ясно, по справедливости, должны покорно принимать попущения Божии на нас от ближних, также через нарушение заповедей другими совершаемое и часто нам очень неприятное!

8 сентября 1870года
День Рождества Богоматери

Мыслительная способность человека может принять мысли Божии, в Слове Божием нам открытые; ими руководиться, их одни любить более всего, усвоить их (мыслить свято). Чистое сердце может принять и усвоить Любовь Божию (чувства Божии).

Воля человеческая может принять Волю Божию, открытую в заповедях и являемую в судьбах Промысла, следовательно, действовать правильно, покоряясь с радостию Воле Божией и лобызая и благословляя крест свой и промысел, ведущий нас ко спасению. Человек может, если захочет, стать образом и подобием Божиим...

Бог — почва наша, на которой мы растем, Источник нашей жизни и Единый Питатель ее, Им и в Нем мы только держимся и существу-

ем, всегда и во всем от Него зависим. Без Бога — вечная ужасная смерть (мучение — ад).

Наше место — у ног Спасителя и в радости и в скорби. Он видит, понимает и чувствует наше положение, состояние и каждый наш вздох и искренний вопль!

21 сентября 1870 года
(Церковь святителя Николая Морского)

Слава Тебе, Господи, Троица Живоначальная Нераздельная о всем! Слава Тебе, Заступница и Покров наш Пресвятая Богородица, Матерь Божия и наша Царица Небесная и земная. Слава Тебе, святителю отче Димитрие, угодник Божий, скорый помощник, заступник и ходатай у Престола Владыки. Слава вам, все святые угодники и угодницы Божии, ходатаи, заступники, непрестанные молитвенники о нас грешных! Слава вам, святые Силы Небесные крылатые, верные слуги Владыки, органы непрестанного хваления и пения Славы Триипостаснаго Божества! Слава Тебе, Честной Животворящий Крест Господень, орудие нашего спасения, оружие непобедимое противу видимых и невидимых врагов спасения! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь! Свят! Свят! Свят! Господь Саваоф исполнь Небо и земля величества Славы Твоея! Кто еси Бог наш, Бог велий. Ты еси Бог, творяй чудеса!

Святый святителю отче Димитрие, скорый помощник, ходатай, покровитель мой у Пре-

стола Живоначальной Троицы; молю тя со смирением, поревнуй о славе Господа и Бога нашего, помоги мне грешному рабу Божию доставить радость Господу Богу Творцу, Спасителю, Искупителю, Промыслителю моему покаянием истинным, оставлением грехов!

Господь хощет всем спастися и в разум истины прийти и радуется о единой душе кающейся! Помоги мне, Святый, умоли Владыку Христа, да совершится надо мною недостойным сия Воля Его, да прииду в разум Истины и да буду спасен Господом Иисусом Христом во Славу Его! Да совершает Сам Христос служение Свое, Отцу благоугодное во храмине Им же самим созданной души человеческой! Святый Димитрие, целебник Церкви Христовой, кормило правления, управи мя во дворы Христовы, да буду причтен к овцам Его и да помилует, да спасет Пастырь добрый и сильный овцу, всю надежду свою только на Него Единаго возлагающую. Что могу воздать Ему, разве только то, что Ему благоугодно будет дать мне! И научи добрым образом на пользу себе и братиям употребить данное мне не во осуждение себе! Спаси мя от раскола, ереси, обольщения! Защити душу мою и всего меня, да не похулится во мне Вера, Надежда и Любовь Божии и Его Святое милосердие, сила и премудрость! Помоги держаться крепко за Спасительный Крест Господень и лобызать его с благоговением, благодарностию и терпением, принимать все, что благоугодно будет Владыке послать мне на пути ко спасению! Да победит Христос во мне

всех врагов своих. Ему Единому со Отцем и Духом Святым — честь, слава, поклонение и благодарение во веки веков. Аминь.

Не заботься о грехах чужих. Христос знает, что с ними делать и куда употребить их. Он один знает их конец и главный общий результат всего. Он один только может судить, и судить праведно. Спасенным грехи не повредили! Погибшим и добро не помогло! А ты молись и проси Господа милосердовать о созданиях своих, обратить все во благо. Да проходят люди путем покаяния ко оставлению грехов и ко спасению от погибели в жизнь Вечную и блаженную!

День св. Сергия Радонежского
25 сентября 1870 года

Центр человека — сердце — сокрушилось падением. Источник замутился, и все осквернилось и стало непотребным, негодным. Адам ветхий пал, и если осталось что доброго в этом источнике, то это — правильная мысль, сознание, понимание своего крушения и недостоинства, и Вера в Бога, Его обетование восстановить, дать новый источник истинного Святого добра! Терпеливое несение последствий падения с молитвой к Богу, слезами сокрушения, покаяния, — услаждаемых только верою в обетованного Мессию! И паки глубочайшее смирение — чин и удел падшего! Это начало — Адам — есть в каждом человеке; то, что мы называем — я, ты, он!

И привел Господь Милосердный Свое обетование в исполнение, даровал міру Сына Своего единородного Иисуса Христа! Нового Совершенного Богочеловека, новый Всесовершенный Источник. «Кто жаждет, приходи и пей!» Все, что из этого источника — принадлежит Богу и есть Божие. Славу и Хвалу подобает воздавать за все Единому Богу! Из всего этого человек ничего не может приписывать себе, ибо это будет ложь, кража. Христос говорит, что «не требуют здравые врача, но больные!» Следовательно, Христос пришел для грешных, сокрушенных, слепых, немощных, алчущих и жаждущих — пришел целить всякий недуг и всякую язву, и все больные получают целение, если с верою к нему приидут.

Содержание

ЧАСТЬ II

Сергей Александрович Нилус

Собрание сочинений
в шести томах

Том II

Директор издательства
Павел Роговой

Художник
Андрей Леднёв

Редактор
Александр Стрижев

Корректор
Надежда Филиппова

Верстка
Дмитрий Зимин

ЛР 066242 от 25.12.98.
Издательство «Паломникъ».
Подписано в печать 06.04.2005. Формат 84x108 $^{1}/_{32}$.
Печать офсетная. Бумага газетная. Гарнитура Журнальная.
Объем 26,5 п. л. Усл. п. л. 44,52. Тираж 6 500 экз. Заказ 53608

Адрес издательства: 127994, Москва, Сущевская, 21.
http://www.palomnic.ru, e-mail: palomnic@mail.ru

Отпечатано с готовых монтажей
в ОАО «Молодая гвардия».
Адрес типографии: 127994, Москва, Сущевская, 21.